КОНТИНЕНТ

137 2008

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

№ 137

Мы должны строить Россию нравственную –
или уж никакую, тогда и все равно.

КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал

Выходит 4 раза в год

137

2008, №
июль — сентябрь

ПАРИЖ · МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И. И. Виноградов

Издатель:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "КОНТИНЕНТ"»

Адреса редакции: ул. Мясницкая, д. 22, офис 114-115
ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

ВНИМАНИЕ! Рукописи принимаются по адресу:
119121, Москва, ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

E-mail: idugina@mail.ru

Телефон редакции:
(499) 248-62-35

Internet: www.magazines.russ.ru/continent/
http://continent-rus.ru/

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

Материалы, присланные по электронной почте, не рассматриваются

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала "Континент"»
© Название журнала «Континент» — В. Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Марина АДАМОВИЧ
Василий АКСЕНОВ
Юрий АФАНАСЬЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Евгений ЕРМОЛИН
Николай ЗЛОБИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Адам МИХНИК
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Валерий СОЙФЕР
Виктор СПАРРЕ
Юлиу ЭДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Редакция:

Галина ВЕЛИКОВСКАЯ, Ирина ДУГИНА,
Евгений ЕРМОЛИН, Марина КОПЫЛОВА, Александр КЫРЛЕЖЕВ,
Сергей ЛЕБЕДЕВ, Светлана ОПАРИНА

Представители «Континента»

АВСТРИЯ
Елена ВОРОНЦОВА
Buchengasse 133/2/32
1100, WIEN, OSTERREICH
☎/fax 0043-1-607-30-23

БОЛГАРИЯ
Наталия ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ
Лев УКЕЛЬСОН
Wertachstraße 11,
86153 AUGSBURG, BRD
☎/fax (821) 41-77-08

ИЗРАИЛЬ
Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

ИТАЛИЯ
Александр и Татьяна Сергиевские
69 via Palestro
00185 ROME, ITALIA
☎/fax (+39) 064-463-249

КАНАДА
Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША
Татьяна ХОХЛОВА
U1 Belwederska 25, Rosyiski osrodek nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ (022) 773-10-93

США
Марина АДАМОВИЧ
315 Oak Street
Garwood NJ 07027
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ
Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalgin, 75116 PARIS, FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА
62-bis, Avenue du general Leclerc
78230 LE PECQ, FRANCE
☎ (1) 30-61-11-24

ШВЕЙЦАРИЯ
Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА
15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ
Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

Памяти Александра Солженицына (1918–2008)

Жорж НИВА
Ушел борец 9

Ион ДРУЦЭ
Вечный пахарь. *Баллада* 17

Виктория ФЕДОРЕНКО
Между вечностью и мигом. *Русская история в контексте художественного мировоззрения Иона Друцэ* 29

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «КОНТИНЕНТА»

Протоиерей Борис ТРЕЩАНСКИЙ
От пятницы до вечности. *Стихи* 35

Пять историй из недавнего прошлого

Роберт РИДЕЛЬ. Ограничения 42
Петр ШУШПАНОВ. Чудесная фасолина 114
Юрий ГОРБАЧЕВ. Виолончель и немного нервно 125
Лариса ЯРКИНА. Спрятаться от жизни 166
Иван ОГАНОВ. Осень в Риме 182

Анна ГЕРШАНИК. Между двух морей. *Стихи* 214

Галина КЛИМОВА. Мираж на память. *Стихи* 219

РОССИЯ И МИР

Владимир МОЖЕГОВ
Шестьдесят восьмой и другие годы.
Исповедь постороннего 224

У книжной полки

Юрий КАГРАМАНОВ
Германия. Осенняя сказка 274

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ
Комментарий к событиям российской жизни
/май — июнь 2008 г./ 285

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Проблемы российской современности *в русской сетевой и бумажной периодике второго квартала 2008 г.* 311

«Поступком отпечатываться в жизненный путь»
Отклики на смерть А. И. Солженицына 348

РЕЛИГИЯ

Владимир КОВАЛЬДЖИ
И не надо нам прав человека 359

Владимир МОЖЕГОВ
Диомидиада. Анатомия раскола 368

Основные события церковной жизни
в зеркале прессы (*июнь — август 2008*) 403

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Религиозная мысль *в русской периодике*
второго квартала 2008 г. 413

ПРОЧТЕНИЕ

Ольга СЕДАКОВА
Под небом насилия 418

ГНОЗИС

Ольга СЕДАКОВА
Дитрих Бонхёффер для нас 433

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Философская, социологическая и политологическая мысль
в русской периодике второго квартала 2008 г. 445

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Культовые фигуры литературной ярмарки

Сергей СИРОТИН
Картина мира по Донцовой 460

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Художественная литература и критика
Второй квартал 2008 г. 489

Игорь ВИНОГРАДОВ
ДНЕВНИК РЕДАКТОРА
Выпуск шестой. Июль–сентябрь 2008 г.

1. На сороковины Александра Солженицына 506
2. И еще одно слово Прощания 523

Жорж НИВА

УШЕЛ БОРЕЦ

Я держу в руках тот самый октябрьский номер «толстого журнала» «Новый мир», где в 1962 году был опубликован рассказ неизвестного писателя, чье имя в дальнейшем облетело весь мир: Александр Солженицын. Затем беру следующую его публикацию — крошечную брошюрку, изданную на скверной бумаге, — тираж 100 000 экземпляров, цена 19 копеек. С этого-то, собственно, все и началось: шедевр Мэтра, у которого уже тогда в столе хранились несколько драм, несколько длинных поэм и романы. С ранней молодости и до самой смерти, случившейся 3 августа 2008 года, он неустанно писал тысячи и тысячи страниц. Целых тридцать томов, издание которых в окончательной редакции не завершено и поныне. Человек, от Бога наделенный поистине титаническими качествами, он в первую очередь был титаном-писателем. И той крошечной брошюркой уже была заложена бомба под коммунистическую империю — монолит, созданный, казалось, на тысячелетие и владевший половиной земель и половиной всех умов планеты. Эта повесть соблюдает все три единства классического театра (место, время, действие) и рассказывает об одном дне жизни каменщика Ивана Денисовича, бывшего военнопленного, после освобождения из плена отправленного в ГУЛАГ. За что? Иван Денисович даже и не пытается это понять. Он просто живет. Но живет в соответствии со своими внутренними установками — с прирожденными нормами морали. Он крестится, прежде чем приняться за тухлую баланду. И ощущает себя счастливым, когда, завершив возведение стены при тридцатиградусном морозе, дает своей бригаде некоторое преимущество в коллективном выживании. Он — праведник, но сам этого не знает. И мир этого не знает. Но об этом отлично знает его создатель, автор повести, и громко заявляет об этом. Именно вместе с Иваном Денисовичем, как Данте с Вергилием, Солженицын спустится в низшие круги ГУЛАГовского ада.

Александр Солженицын — один из тех великих писателей, чье творчество неотделимо от борьбы. Как Толстой в России, Вольтер или Гюго во Франции, он принадлежит к борцам, «диссидентам», движению сопротивления. Толстой отрицал общественный строй царской России, базирующийся на неравенстве, и в презираемом русском мужике видел воплощение жизни, угодной Богу. Солженицын же был воплощенным отрицанием коммунизма, атеизма и тоталитаризма. Толстой в работе «Что такое искусство?» подчинял искусство действию, Солженицын в своей нобелевской речи подчиняет искусство триаде Платона: Истине, Добру и Красоте. Ни тот, ни другой не понимали «искусство ради искусства»: «*Я шел по **их** идеологию, но навстречу подмышкой нес же и свою голову*», — писал в 1967 году Солженицын о себе как о святом *кефалофоре*[1] («Бодался теленок с дубом»).

[1] Носящий голову (*греч.*).

Сравнение Толстого с Солженицыным дает представление о колоссальной разнице между теми двумя веками, представителями которых они являются: Толстой диссидентствует, продолжая вести жизнь помещика, публикует в России облегченную версию, а в Лондоне нецензурированный вариант «Воскресения». Солженицын пишет «Архипелаг ГУЛАГ» в упрятанной среди лесов хибаре, скрывая рукопись по разным тайникам. Велит публиковать книгу в Париже, так и не увидев оригинального текста... Кстати говоря, если историческая эпопея Солженицына «Красное колесо» (1971–1991) и напоминает «Войну и мир», то в первую очередь замечаешь в ней полемику с Толстым. Толстой появляется в «Первом Узле» как старый мудрец, к которому юный герой, в ту пору еще гимназист Саня Лаженицын (чьим прообразом в некотором смысле послужил отец писателя) приезжает в Ясную Поляну, чтобы задать вопрос: «*Какая жизненная цель человека на земле?*» И получает ответ: чтобы любить! Да, но на земле существует не только благожелательность, возражает гимназист. «*Вздохнул старик глубоко: — Значит — плохо, недоступно, неумело объясняют. Терпеливо надо объяснять. И — поймут. Все рождены — с разумом*» («Август Четырнадцатого»). На этот откровенный руссоизм Толстого Солженицын всем своим романом отвечает, что человек сам выбирает между добром и злом. Об этом же говорит и одна из пословиц, которыми пронизана вся книга, как строфы хора пронизывают греческую трагедию: «*Коротка загадка, да семь верст правды в ней*».

Солженицын верит в единичный — штучный — поступок, в действенность его даже против тоталитарного монстра. Верит в волю человека, в личный выбор между добром и злом. В то, что он называет «*внутренней организованностью*». Учение о нравственных ценностях доминирует в его творчестве, именно аксиология направляет стиль, жанр и тактику Солженицына. Толстой искал рациональное христианство, а один из персонажей Солженицына, «Звездочет» Варсонофьев (прообразом его, как и Веденяпина в «Докторе Живаго», послужил философ Федоров), демонстрирует пришедшим к нему за советом молодым людям, что христианство совершенно неразумно тем, что ставит справедливость превыше всех земных расчетов...

Собственную писательскую сверхзадачу Солженицын формулирует в самой ткани своего творчества. Вот, скажем, какие слова он вкладывает в уста Глеба Нержина («В круге первом»): «*Допуска в публичную библиотеку у меня нет и тут. К архивам меня и до смерти, наверно, не подпустят. Если говорить о чистой бумаге, то уж бересту или сосновую кору найду я и в тайге. А преимущества моего никакими шмонами не отнять: горе, которое я испытал и вижу на других, может мне немало подсказать догадок об истории...*» Аналогия понятна. Как найденные при раскопках в Новгороде Великом берестяные грамоты[2] помогли ученым восстановить быт Древней Руси домонгольского периода, так и Солженицын в «стране ошеломляющей лжи» (по выражению Анте Цилиги) исподволь стремился восстановить на карте истории правду о советском рабстве...

---

[2] Не случайно лингвист Андрей Зализняк, специалист по берестяным грамотам, получил премию Солженицына: А. И. С. издавна интересовался новгородскими раскопками.

Произведения Солженицына делятся на две части и представляют собою, я бы сказал, два огромных творческих собора. Первый — это рассказы о ГУЛАГе, в центре которых существование человека в условиях «малой зоны» лагеря или «большой зоны» тоталитарного общества. Второй — рассказы об истории России до катастрофы, сиречь до 1917 года, собранные вместе на больше чем 6600 страницах романа-эпопеи «Красное колесо. Повествование в отмеренных сроках». Практически все произведения Солженицына вписываются либо в тот, либо в другой массив. У «Красного колеса» немало особенностей, и первая из них — его структура: роман разбит на очень сжатые временны́е отрезки; знаменательно практически полное отсутствие украшательств, а также то, что само действие романа сведено к ряду ключевых моментов, которые физик Солженицын окрестил «узлами». Никакого постепенного созревания героя, никакого медленного «воспитания чувств», никакого «обретения времени», — только людские судьбы, выхваченные в тот момент, когда человек проявляет либо величие, либо ничтожность своей души. Это напоминает философию экзистенциализма Сартра. К тому же излюбленный «хронотоп» Солженицына — та или иная разновидность затвора: тюремная камера или больничная палата.

Но за пределами тюремного пространства у Солженицына присутствует космос, путь к бесконечному творению Бога. И это сравнимо лишь с одним произведением, где так же наличествует поэтика заключения и стремлéния к Богу, — с «Житием протопопа Аввакума», великого религиозного воителя XVII века, заживо сожженного в Пустозерске после длительного заточения в земляной тюрьме. Диалог Солженицына с Творцом в «Бодался теленок с дубом» зачастую напоминает «Житие» Аввакума.

Моральная автономия, почти автаркия — принцип, который Солженицын позаимствовал у стоиков и осмыслил в лагерях. Правила, соблюдаемые Иваном Денисовичем, есть ничто иное, как перевод на язык каторжан философии Марка Аврелия: оставаться собой, не зависеть от других. «*Подлинный вкус жизни постигается не во многом, а в малом*», — сказано в «Правой кисти». В «Архипелаге» воспевается тюрьма — место, где через заточение познается космос.

Когда в декабре 1962 года вышел в свет 11-й номер «Нового мира», мы стали свидетелями рождения нового писателя. Повесть «Один день Ивана Денисовича» буквально за считанные недели облетела весь мир. Это было снятие табу. Это было повествование, где зэковская «феня» смешалась с тремя единствами классицизма. «*Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится Богу молиться. Почему ж вы ей воли не даете, а?* — говорит Ивану Алеша, его сосед по нарам. — *На воле твоя последняя вера терниями заглохнет! Ты радуйся, что ты в тюрьме!*» Просто поразительна череда разных людей, предстающих перед читателем в этой небольшой повести, описывающей всего один лагерный день: эксплуататоры, привилегированные, отчаявшиеся, жулики, простофили...

Мы вновь встретимся с этой тюремной поэтикой в романе «В круге первом», чье название перекликается с «Божественной комедией» Данте. Здесь в роли мудрецов выступают ученые-зеки, которых власти направили в закрытую лабораторию-«шарашку» — работать над секретными проекта-

ми вроде машины-анализатора голоса («вокодер», позволяющей выявлять предателей). Эти люди — из «привилегированных», но их труд послужит другим. Есть ли у них право продавать свою душу тирану? Они постоянно спорят о тирании, но слепой дворник Спиридон, воплощение народной мудрости, никогда в жизни не читавший Фому Аквинского, дает ответ: «*Волкодав прав, а людоед нет*».

Простая женщина Матрена («Матренин двор»), Степа из «Ракового корпуса», солдат Благодарев из «Красного колеса» владеют той же тайной. Именно в этом и состоит ирония Солженицына: то, что мудрец только ищет, простой человек давно нашел... «*Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша*» («Матренин двор»).

Роман «В круге первом» выходил в нескольких вариантах. Солженицын сначала «смягчил» текст, чтобы у романа появился шанс быть изданным в СССР, потом опять его «обострил», введя, к примеру, тему «новых декабристов». «Декабристы без декабря» («Пленники») — Солженицын однажды уже назвал так одну из своих пьес (в лагере он начал писать поэму и пьесу в стихах).

Герой «Ракового корпуса», Олег, — типичный зек, недоверчивый и упрямый, — сталкивается с миром свободных, который представлен в романе в лице восьми пациентов больницы, соседей Олега по палате. У всех тут один диагноз — рак. Солженицын продолжает тему толстовской «Смерти Ивана Ильича» и чеховской «Скучной истории». Аппаратчик Русанов, даже на пороге смерти цепляющийся за свои привилегии, однажды видит в кошмарном сне одну из своих жертв — утопившуюся женщину. Простой водитель, избороздивший всю страну; депортированная немка-медсестра; усталые женщины-врачи; бывший академик, ставший библиотекарем, чтобы спасти свою шкуру; погруженный в свою боль молчаливый узбек, — здесь представлено все советское общество.

Солженицын любит миниатюру и краткие формы. Такого рода сочинения, названные им «*Крохотками*», хронологически обрамляют его творчество. Глядя на старое ведро, он вспоминает войну. Бродя по родной деревне любимого поэта, Сергея Есенина, восклицает: «*Какой же слиток таланта метнул Творец сюда, в эту избу, в это сердце деревенского драчливого парня, чтобы тот, потрясенный, нашел столькое для красоты — у печи, в хлеву, на гумне, за околицей, — красоты, которую тысячу лет топчут и не замечают?..*» ...Солженицын любил миниатюры, но судьба обрекла его трудиться над гигантскими фресками.

Его «*энциклопедия советского рабства*» исподволь организована на определенной аналогии: если греческий архипелаг был колыбелью нашей цивилизации, то архипелаг ГУЛАГа — наша новая цивилизация. Солженицын создает хронику лагерей, с бунтами 1953–1954 годов, с внутренними войнами между уголовниками, связанными с властью («суки»), и всеми остальными. Он — этнолог нового племени зеков и агиограф новых мучеников. Но, кроме того, «Архипелаг» — это еще и личная исповедь, рассказ о пережитом, о собственном опыте; это оплакивание и молитва. А заодно и ответ другому «воспевателю» ГУЛАГа, Варламу Шаламову, описывающему

бесконечное падение человека в лагерях. Солженицын же стремится показать «святость» за колючей проволокой. Монумент литературы XX века «Архипелаг ГУЛАГ» — это обличение бесчеловечного механизма.

Вторая фреска напрямую связана с первой. Глеб Нержин, герой романа «В круге первом», еще с 1931 года, с первых сталинских процессов «Промпартии», ждал «набата» истории. Того самого набата, что гремел в «Красном колесе». Десятидневная операция по окружению и уничтожению армии генерала Самсонова; убийство в 1911 году премьер-министра Столыпина в Киеве; гигантская ретроспекция, перемежающаяся мирными сценами; юг России, активный и процветающий, напрямую связанный с историей семейства Томчак — предков Солженицына по материнской линии; лавина фальшивой риторики в Думе, — в «Красном колесе» сконцентрирована масса фактов, иногда воспроизведенных поминутно. И пусть произведение грешит некоторым дидактизмом, — поэтика автора достигает своего пика в крупных батальных сценах, в описаниях ожидания битвы. Эффект стереоскопичности тут поразительно высок. Структурируют роман два символа: молотьба зерна на току и лезущий в свете прожекторов по центральному столбу акробат на арене цирка. Первый представляет крестьянскую Россию, проходящую суровое испытание по сортировке душ, второй — Россию революционную, проделывающую свои ужасающие трюки на глазах всего мира...

Можно ли вычислить в этой огромной фреске главное послание? Герои опутаны личными проблемами, ложью, всеобщей истерией. Если тут и есть какое-то послание, то звучит оно так: справедливость, в Аристотелевом смысле этого слова, утрачена, четыре основных средневековых добродетели утрачены, *правильная жизнь* утрачена. Россия, казавшаяся такой гармоничной и единой, распадается. Ее части пришли в движение, и внезапно появился на земле русской мерзостный дух. Стало тяжело дышать, и люди стали ходить, постоянно оглядываясь.

Так что великое произведение, одновременно поэтичное и поучительное, тоже повисает в воздухе. И хотя глаз автора неизменно точен, самый объем романа таков, что цепочка событий теряется. Это не неудача книги как таковой, а скорее просчет путешественника, полагавшего, что следует по курсу, но, погрузившись в огромный поток документов, картинок и лиц, увидевшего, как исчезает путеводная звезда. В общем, гениальная литературная неудача...

Что касается творчества Солженицына как полемиста, то сначала был длительный поединок с советской властью, отмеченный прокламацией «Жить не по лжи», затем изгнание, где прозвучала гарвардская речь о «Расколотом мире» — предупреждение, адресованное американцам и вызвавшее у них раздражение. Затем в 1990 — программа действий «Как нам обустроить Россию» и, наконец, энциклики, изданные после возвращения на родину, обличающие псевдодемократию и воспевающие новую Россию *земств*, наподобие той, что была во времена Чехова...

В 2001 году Солженицын снова впрягается в ярмо историка и вооружается стрелами публициста. Свою новую работу «Двести лет вместе» он посвящает истории сосуществования евреев и русских. Лучшего способа обрушить на себя яростные нападки вряд ли можно было найти! Они и

последовали незамедлительно. «*Рад бы я был не пытать своих сил еще на такой остроте,* — писал Солженицын. — *Но я верю, что эта история — попытка вникнуть в нее — не должна оставаться "запрещенной"*». Эта книга, кишащая фактами (и все из вторых рук, главным образом из «Еврейской энциклопедии» Брокгауза и Эфрона, изданной в 1913 году), — вовсе не труд по истории. Это, скорее, большой эскиз, навеянный идеей, что оба народа, вопреки взаимным обидам (а Солженицын видит, главным образом, еврейские обиды), на протяжении двух столетий сосуществовали в тесной взаимосвязи, конец которой положил новый Исход евреев. Еврейская душа и русская неизбежно должны были встретиться, «*было тут какое-то предназначение*».

Дидактическое и пророческое, тяготеющее к кратким формам стихотворения в прозе, но воплощенное в самых длинных из существующих форм, творчество Солженицына остается парадоксальным и ясным. В последние пятнадцать лет жизни он познал участь «живого классика», но юношеская пылкость оставалась при нем, как, впрочем, и амбициозное желание исправить общество. Старый неутомимый борец двухтомником «Двести лет вместе» бросил последний вызов «*образованщине*» — псевдоинтеллигенции, над которой он издавна насмехался. Еще раз он попытался охватить реальность, взбаламутить ее и интерпретировать. И снова эстеты скорчили мину, а недруги опять обвинили в антисемитизме.

В чем же корень Солженицына, его творчества, его энергии? Быть может, это энергия языка, его дух, вечное *словотворчество,* подталкивающее писателя постоянно обогащать свой словарь, расширять язык? Или аскетизм, являющийся, по мнению Солженицына, жизненным правилом, полезным для всех и каждого, даже для целой нации? Он восхищался русскими старообрядцами, провозглашавшими скромность и бережное отношение к землекормилице. Алчные же, будь то люди или нации, вызывали его осуждение. И если бы нынешние экологи прочли Солженицына, еще когда лежали в колыбели, то нашли бы в нем огромный источник вдохновения. Совершенно очевидно, что в основе этого проповедования скромности у Солженицына лежит религия, тот самый аспект, который игнорирует большинство наших современников. Не то, чтобы Солженицын призывает всех постоянно поститься, но совершенно очевидно, что ему всего милее жесткий монастырский уклад. Примерно так же Гоголь видел в России будущий монастырь... А так как мы сегодня далеки от этого, то и предупреждения, сделанные Мэтром Западу в Кавендише, а особенно в его речи перед студентами Гарварда на ассамблее выпускников университета, не идут ни в какое сравнение с жесткими предупреждениями, сделанными им собственной стране, захваченной капитализмом. И это снова сильно усложнило ему жизнь!

В одной особенно ядовитой книге, опубликованной лет пять назад, Солженицына обвиняют... в русофобии!!!

Разве его кто-нибудь услышал — у нас на Западе или у него дома, в России? По-моему, на Западе, несмотря на многочисленные недоразумения, ему все же удалось кое-что изменить к лучшему, переубедить часть интеллигенции и заставить задуматься тех, кто — особенно в Америке — ждал от него преклонения перед демократией и нашим образом жизни.

Никакого преклонения не дождались, а получили лишь жесткий анализ «за» и «против». В России, вопреки многочисленным нападкам злобствующих, а главным образом, завистливых, он, как мне кажется, тоже оставил глубокий след, пусть даже если сегодня он не так виден (страна довольно-таки гедонистическая и не может понять его призыв к национальному аскетизму), а порой и деформирован (его непримиримый антиимпериализм противостоит глубоким нынешним националистическим тенденциям). Чуть ли не национальные похороны Солженицына — это очевидное официальное признание, совершенно не означающее, что его призывы услышаны.

Возможно, ключ к пониманию Солженицына — в обуздании внутреннего максимализма. В нем кипит страсть с самого начала до самого конца, кипит, как у анархиста, как у пророка, который ради спасения своей страны — жестоко ей выговаривает. Он яростный полемист, но отвечает лишь в выбранное им самим время, чем еще больше раздражает своих врагов. Он научился сдерживать себя, ограничивать. И занимается самоограничением со своего рода страстью.

Итак, умеренный пассионарий, прирожденный диссидент, всегда подозреваемый в тяге к власти? Бунтарский дух присущ ему всегда, а умеренность, хотя она и проповедуется, — проповедуется с неистовством босоногого францисканца. Присутствуют иногда и откровенно озлобленные выпады. Порой удивляют противоречия, вроде призыва восстановить смертную казнь (из его уст! Когда в Росси и так в избытке сторонники смертной казни!)... Можно с помощью избранных цитат выставить его ограниченным человеком, послушником монаха Ферапонта перед старцем Зосимой из «Братьев Карамазовых». Но это было бы совершенно неправильно и мелочно. Это значило бы позабыть значительность его творчества, его бьющую ключом энергию, восторг борца за Добро и Истину, его открытость к диалогу между людьми, познавшими свободу в тюрьме. Это значило бы позабыть, что он подарил нам роман «В круге первом» — шедевр, достойный античности... Это значило бы позабыть его диалог-полемику с Сахаровым о способах спасения страны: больше от Запада — или больше русского, деятели эпохи Просвещения или русское смирение? А речь ведь идет о настоящем диалоге и о по-прежнему острой для России проблеме выбора, — сейчас, быть может, даже более насущной, потому что нынешняя Россия куда лучше знает Запад, видит и его достоинства, и его недостатки и не может больше укрываться за предвзятыми идеями. В творчестве Солженицына есть ответ на этот великий вопрос. И не один. Таково свойство всех великих творений.

Чудовище Китоврас, персонаж народного эпоса, упомянутый в «Раковом корпусе», шел всегда прямой дорогой и давил на своем пути людей и их жилища. Однажды он собрался раздавить избушку бедной старухи, но та умолила его пощадить ее, и Китоврас сменил маршрут... В некотором смысле в Солженицыне есть что-то от Китовраса. Это он, борец, упрямец, с юношества вынашивающий замысел романа «Р-17» («Красного колеса»), всю жизнь толкал перед собой эту глыбу и остановился, закончив девятый «узел» и 6600 страниц, потому что думал, что нашел «узел», с которого все и завязалось, — болтовня и трусость Февральской революции 1917 года в

России. Не Октябрьская революция, не Ленин, о котором давно говорили, что у него есть общие с Солженицыным черты и потому у писателя он пользуется скрытой индульгенцией, а Милюков, генералы, шкурники — все те, кто потерял честь и перестал думать о главном: за что человек должен сражаться? Толстой говорил: «Чем люди живы?» Маленькая толстовская притча с таким названием, лежавшая в палате Ракового корпуса, попала в руки больного раком гортани Поддуева. И вот он, столь много в жизни лгавший, онемел! И для этого простого человека, отродясь не думавшего о смысле жизни, это откровение: человек живет, когда готов к смерти. Солженицын был готов.

Перевод с французского Ольги Косовой

Жорж НИВА — родился в 1935 г. в Клермон-Ферране. Окончил Сорбонну и Высшую нормальную школу (Париж). В 1972–2000 профессор Женевского университета, заведующий кафедрой славистики. Ныне почетный профессор. Председатель Международных Женевских Встреч. Автор книг «О Солженицыне» (1974), «Солженицын» (1980), «Конец русского мифа» (1981), «Конец русского раскола» (1993), «Возвращение в Европу» (1999), «Европа картофеля и метафизики» (2002) и многих статей по проблемам русской культуры, главный редактор выходящей в издательстве «Файар» семитомной «Истории русской литературы». Переводил на французский язык произведения А. Белого, А. Солженицына, А. Синявского. Член редколлегии и постоянный автор «Континента». Живет во французской деревне под Женевой.

В номере, выходящем в дни восьмидесятилетнего юбилея Иона Друцэ, нам доставляет особое удовольствие представить нашим читателям новую, только что законченную им поэтическую балладу «Вечный пахарь», в яркой, характерной для художественного мышления Иона Друцэ монументально-торжественной мифо-поэтической символике которой сконцентрированно выражена, как нам кажется, самая суть той высшей человеческой мудрости, к которой вывел нашего замечательного писателя, одного из подлинных классиков современной литературы, его долгий, трудный и славный писательский, человеческий и духовный путь.

Мы надеемся, что в особом контексте этого юбилея с интересом и признательностью будет встречена нашим читателем и посвященная творчеству Иона Друцэ статья молдавского театрального критика Виктории Федоренко, печатаемая нами сразу же после «Вечного пахаря».

Ион ДРУЦЭ

ВЕЧНЫЙ ПАХАРЬ

Баллада

1

Возложивший
Руку на плуг
И озирающийся
Не достоин
Царствия Божия.

Великие слова,
Святые слова.
Увы...
Хотя бабушки
Таскали нас по храмам
С малых лет
И грамоте выучили рано,
Только к двадцати
Дошли до нас
Слова Завета.

Ион ДРУЦЭ — родился в 1928 г. в селе Городище Сорокского уезда, Молдавия. Окончил Высшие литературные курсы. Автор многих книг прозы и драматургических произведений, в том числе биографических: «Возвращение на круги своя (Уход Толстого)», «Апостол Павел», «Ужин у товарища Сталина». Живет в Москве.

И то!
Уловив суть,
Рассмеялись:
Кто это пашет,
Озираясь?!
Да и что там,
За нами,
Такого,
Чтобы вертеть головой
В двадцать лет?!
Не морочьте нам голову:
Есть поле,
Есть лошади,
Есть плуг.
Запрягаем.
Выезжаем.

Лошадки — огонь.
Плуг — чистая сталь.
Огромный круг земли,
Огромный мир вдали,
Огромнейшие небеса,
И сами мы —
Непостижимы.
Все с нас начнется
И нами же
Свершится.
Стало быть,
Пошла, гнедая!
Пошел, вороной!

2

К тридцати
Подбираются сомнения.
Слова Спасителя
О пахаре и плуге
Не дают покоя.
Само собой,
Много не напашешь,
Постоянно озираясь,
Однако без этого
Тоже не обойтись:
Там, за нами —
Наша вспашка,
Наш труд,
Наши мечтанья,

Друзья и недруги.
А еще дальше,
За холмом,
Вечерами светятся
Пара окошек.
Родное гнездо,
Родные голосочки,
Запах свежего хлеба,
Старинный кувшин,
Прохладный погребок,
Дурманящий дух
Виноградной лозы...
«А не рановато ли?» —
Шепчет на ушко
Ангел-хранитель.
И то сказать!
День в разгаре.
До вечера
Пахать да пахать.
Без вспашки —
Нет хлеба.
Без хлеба —
Жизни нет.
Стало быть,
Вперед, вороной!
Вперед, гнедая!

3

К сорока
Начинает доставать
Демон-искуситель.
Что это за жизнь?!
Где нажитое добро?
Где друзья?
Где праздники?
Где те сладкие прегрешения,
О которых толкуют
На всех перекрестках?!
Сколько можно —
Пахать да пахать!!
Но тут же налетает
Откуда ни возьмись
Мой Ангел-хранитель
И крылышками
Заслоняет искушение.

«Опомнись, друг!
Куда тебя понесло?!»
«Да нет, я просто так.
Про себя. В помыслах».
«Все несчастья поначалу
Зарождаются в помыслах.
Вспашка и загулы —
Вещи несовместимые.
Возложивший
Руку на плуг
И озирающийся
Предает свои посевы».
«Возможно.
Но что делать,
Если мы на полпути?
Куда денем пройденное?
Предать забвению?
Но это значило бы,
Отказаться
От самих себя!
Кто же тогда
Пахать-то будет?»
«Рожденные
Под звездой пахаря».
«То есть опять же я?»
«Опять же ты».
«Как же я буду пахать?
Одной половинкой —
Без своего прошлого?!»
«Почему — без прошлого?
Прошлое и так
Живет в тебе,
И имя ему —
Внутренний голос.
Только не надо
В нем копаться,
Не сооружай из него
Сладкую муку, чтобы,
Казнясь на каждом шагу,
Разрушать самого себя».
«Что же делать?
Как жить без прошлого,
Если мы
Что ни день
Торчим на перекрестках?!

У кого найти опору?
Кого спросить дорогу?»
«Помолившись с утра,
Посвятив свой день
Духу созидания,
Поставь себя
Под его защитой
И — возложивши
Руку на плуг —
Паши и сей,
Не озираясь».
«Это и есть,
Жизнь человеческая?!
Так мало нам дано?»
«Это вовсе не мало.
Пахота —
Это хлеб.
Хлеб —
Это жизнь.
А жизнь дарована свыше.
Пахать и сеять —
Это значит
Множить дары Господние.
Это самое великое,
Самое заветное
Из всего,
Что только может быть».
Пахарь тяжело вздохнул.
Простите, вы, те,
Что остались за нами.
Вперед, гнедая!
Вперед, вороной!

4

В пятьдесят
Завет Господа
О пахаре и плуге —
Это уже наша судьба.
Наша суть.
Конечно, трудно
Всю жизнь
Шагать за плугом,
Не озираясь.
Прошагав день,
Версту за верстой,

Под вечер
Надоедает все.
Устали глаза,
Устала душа,
Руки-ноги устали.
Бедные лошадки
Плетутся еле-еле.
Распрягаем.
Поим. Кормим.
Сами садимся
На свежую борозду,
А сидящий на борозде —
Птица вольная.
Смотрим налево,
Смотрим направо,
Смотрим и туда,
Куда нельзя было.
И Бог ты мой!
Какое это счастье
Пройти еще раз
Исхоженными тропами!
Случайно встретить то,
Что встречено было,
Услышать то,
Что услышано было,
Обнять еще раз то,
Что обнято было,
Поклясться еще раз...
«Клятва — это грех!», —
Шепчет на ушко
Ангел-хранитель.
«Нет, я так, шутя».
«Клятва в виде шутки —
Это еще больший грех».
Господи Иисусе,
Прости нам
Грехи наши тяжкие...

5

В шестьдесят
Одна тоска.
Поле рассохлось.
Кони сдали,
Плуг разболтан,
Борозда —
Одни огрехи.

Боже праведный,
Кто поднимает нас
Ни свет, ни заря
И гонит в поле.
Исполнили же
То, что была наше!
Поле свое распахали
Вдоль и поперек!
Засевали вовремя,
Собирали в сроки.
Выкормили, вырастили,
На ноги поставили.
Бывало, грешили, —
Кто без греха?
Попробуй век прожить,
Не озираясь!
Однако свой долг
Пред людьми
И перед Богом
Исполнили.
Очаг еще теплится,
Лампада веры светит,
И *Ныне, отпущаеши*
Раба твоего,
Владыко,
Яко видеста очи мои...
Стоять, тупые твари!!
Кто взмахнул кнутом?
«Я», — говорит Ангел.
«Да разве может
Такой ангелочек
Поднять такой кнут,
Да еще взмахнуть им?!»
«Конечно, не могу».
«Но как же ты
Погнал моих коней?!»
«Шепнул тебе на ушко,
Что вспашка —
Это хлеб,
Хлеб —
Это жизнь,
А жизнь дарована свыше!
И тогда твоя рука сама...»
Верно, это я взял кнут,
Потому что
Истинный пахарь
Не бросит борозду,

Не доведя ее до конца.
Ну же, вороной!
Наляжем, гнедая!..

6

В семьдесят —
Беда за бедой.
Но главная беда —
Это наше поле.
Опять запустили.
Сорняки душат
Посев за посевом,
А пахарей все нет.
Это горе —
Тяжкий грех,
Ибо поле —
Это хлеб,
Хлеб —
Это жизнь,
А жизнь дарована свыше,
Ее нужно свято...
Пустующее поле —
Это знак беды.
Допустить нельзя...
Кряхтя, собираемся,
На ощупь запрягаем,
На авось выезжаем.
Поле — одна мука.
Земля окаменела.
Плуг выворачивает
Глыбу за глыбой.
Пыль слепит глаза.
Ни плуга, ни коней
Ничего не видать.
Пашем вслепую.
Да и то сказать,
Некуда смотреть,
Некого выглядывать!
И поле пройдено,
И жизнь прожита.
То, что было наше,
Уже отошло,
А то, что пришло,
Уж как бы и не наше.
«Не греши, остановись,
Вслушайся в тишину», —

Шепчет мой Ангелочек.
Останавливаю коней.
Вслушиваюсь.
В самом деле,
Где-то за холмами
Мается подросток.
Тихо так, в кулачок,
Всхлипывает.
Наверняка, из наших.
Хлеборобы свое громкое
Уже выплакали,
Теперь всхлипывают.
Не приведи, Господи,
Умолкнут совсем.
Потерпи, дружок,
Вот-вот допашем,
Вернемся,
Затопим,
Накормим,
Даст Бог,
И на ноги поставим.
Дай дотянуть борозду.
Дорога совсем близка.
Она вот уже, рядом.
Еще чуток, моя гнедая...
Еще чуть-чуть, мой вороной...

7

Старость,
Это —
Когда
Ни сил,
Ни желаний,
Ни поля,
Ни лошадок,
Ни этого, как его,
Ну, то, на которое,
Возложивши руку,
Не озираются...
Вертится на языке,
Никак не вспомню.
Сдали руки,
Сдали ноги.
Сидим в тенечке,
На мягком,

Но ни мира,
Ни покоя.
Поле! Вот наше горе,
Наша вечная беда.
Веками залитое
Потом и кровью,
Преданное и поруганное,
Осиротевшее,
Оскудевшее,
Одичавшее.
Земля без устали,
День и ночь,
Вопиет,
Зовя пахарей,
Потому что вспашка —
Это хлеб,
Хлеб —
Это жизнь,
А жизнь-
Она дарована свыше!
Отчуждение пахаря
От своего поля,
Отчуждение поля
От своего пахаря —
Это отпадение от Бога,
Потрясение основ,
Конец света!
Мы-то что,
Мы ко всему привыкшие,
Но земле нашей,
Венцу творений Создателя,
Символу вечности
Видеть свой закат
Невмоготу,
И потому
Она день и ночь,
Охрипшим голосом,
Зовет пахаря:
Ауууу! Ауууу!
.....
Все в пустую.
Уж не рожают
Наши бабы пахарей.
В поисках лучшей доли
Наши жены,
Наши дочери
Разошлись по белу свету.

Гнездятся, где смогут,
Рожают, где придется,
От кого случится.
Наши мужики
В полупустых домах,
В полупустых деревнях
Стакан за стаканом,
Все по больницам,
Да по тюрьмам.
Угас род пахарей,
Ушел в свою землицу.
Что поделаешь,
Такова наша планида.
Сижу и плачу,
Как малое дитя.
«Чего плачешь?» —
Спрашивает Ангелочек.
«От одиночества плачу».
«Да не останется пахарь
Никогда одиноким!»
И вдруг поле,
Мое родное поле,
Пришло утешить меня.
Под голыми ступнями
Вдруг задышала
Теплая борозда,
В ладонях хруст
Срезанных корней
Степного бурьяна.
А то еще вот
Вдали замаячил
Друг юности
Горизонт.
Машет платочком,
Подает знаки.
Хотя, похоже,
Там еще кто-то,
Знакомый, похоже...
Бог ты мой!!!
Из сладкого тумана,
Из немыслимой дали
Выплывает и расходится
По холмам и долинам
Чарующий девичий голос.
Да это же она,
Песня юности моей!..

Как же она начиналась?
Я непременно должен
Вспомнить песню юности,
Ибо, если я когда и жил
На этом свете,
Только тогда и жил,
Только тем и жил.
.....
Горизонты, пылая,
Все ближе и ближе.
Песня разворачивается
Во всю ширь,
Во всю мощь,
Еще миг!
Еще стих,
Еще шаг...
Но вдруг поле,
Заброшенное,
Запущенное,
Одичавшее поле,
Встав на дыбы,
Возопив к небесам,
Рухнуло,
Хороня под собой
И пахаря,
И песню его молодости.
«Не надо было прошлое ворошить», —
Сказал Ангел-хранитель. —
Прошлое может дать жизнь,
Но может и лишить ее».
После чего
Все утихло,
Угасло,
Оцепенело
И только по небосклону,
Высоко-высоко,
Далеко-далеко,
Неслась пара коней,
Волоча по облакам
Опрокинутый плуг.

Москва
2007–2008

Виктория ФЕДОРЕНКО

МЕЖДУ ВЕЧНОСТЬЮ И МИГОМ

Русская история в контексте художественного мировоззрения Иона Друцэ

Вступая на литературное поприще, молдавский писатель Ион Друцэ вряд ли мог предположить, что не только будет писать на русском языке, но и углубляться в историю России, досконально изучая отдельные ее эпизоды, которые оживут на страницах его произведений и тем более на сценических подмостках прославленных московских театров. Но, насильно оторванный от своих корней, вынужденный в результате конфликта с молдавскими властями уехать из республики в 1969 году, уже через год он открывает новую страницу в своем творчестве, обращаясь к миру русской истории и культуры.

Пьеса «Возвращение на круги своя» (1970), которой суждена была трудная сценическая судьба (читатели старшего поколения, вероятно, помнят постановку, осуществленную Борисом Равенских в Малом театре с Игорем Ильинским в главной роли), и написанная на ее основе одноименная повесть (1971) — первое такое обращение, пока не столь отдаленное во времени (всего лишь начало XX века), но сразу же оправдавшее себя созданием масштабного, объемного образа Льва Николаевича Толстого, на глазах читателя/зрителя проживающего финальную драму своей жизни. При этом и само произведение, и образ главного героя естественно вписались в общий контекст проблематики и стилистики творчества писателя, зримо обозначив новый этап мировосприятия.

Художественный мир Иона Друцэ отличается своей особенностью в литературе и характеризуется прежде всего цельностью и единством проблематики. Здесь выделяются черты миропонимания, идейно-символически восходящие к народной балладе «Миорица», — если, конечно, в образе ее героя первым долгом видеть не покорность и поэтическую мечтательность (как это зачастую делается), а внутренний конфликт человека с собой и с миром. Конфликт этот прослеживается как в бытовом, так и в философском плане и может быть выражен соотношением категорий *духовного* и *материального* на уровне Человека как микрокосма и Мира как макрокосма, что объединяет национальные проблемы с общечеловеческими проблемами бытия.

Виктория ФЕДОРЕНКО — родилась в 1955 г. в Котовске Одесской области (Украина). Окончила театроведческий факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии,. Доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник сектора театроведения Института культурного наследия АН РМ. Автор монографии «Национальная историческая драматургия XIX века» (2002, на румынском языке.) и ряда статей по истории и теории театра, по драматургии И. Друцэ. Живет в Кишиневе.

Так же и герои Друцэ (вне зависимости от национальной принадлежности), противопоставляя агрессивности материализма в окружающей их действительности всю силу своей духовности, восстанавливают гармонию не только собственного существования, но и существования мира.

В «Возвращении на круги своя» образ великого русского писателя выступает как многозначный символ и не случайно представлен в трех ипостасях: Толстой созидающий, Толстой размышляющий и только в третью очередь Толстой — человек, живущий своей обычной жизнью. Тем самым особо выделяется способность героя осмыслять мир, историю и культуру всего человечества во времени и пространстве разных эпох (размышления о смерти Сенеки, о музыке Шопена, о философии Ганди), но и не меньшая способность воспринимать всей душой события, случившиеся рядом и совсем недавно (сопереживание крестьянину из соседней деревни, у которого пала лошадь; радость по поводу известия о революции в Португалии). Но особая забота и боль писателя связаны с будущим родины: «*России нужна религия. Я тянул эту песенку и буду ее тянуть, сколько мне еще осталось жить, потому что без религии в России наступит на сотни лет царство денег, водки и разврата*». В этой пьесе, где подлинные реплики Толстого перемежаются с авторскими, особенно сказалось свойственное драматургу умение передать магическую силу мысли и слова, создав помимо прямого диалога персонажей еще и подспудный диалог идей.

В этой же пьесе проявилось и умение расширять пространство до масштабов всея Руси, откуда в имение Льва Толстого мешками прибывают письма, приезжают многочисленные посетители — от толстовцев, пытающихся строить жизнь в соответствии с идеями учителя, до барышни, попросившей «*волосок на память*». Тем самым создается масштабный образ писателя, который оказывает влияние на людей и своими этико-философскими учениями, и своими литературными произведениями.

Академик Д. С. Лихачев отмечал, что сохранившиеся в древнерусской литературе описания смерти многих выдающихся личностей отличает одна и та же характерная черта: «*смерти эти совершаются в пути, в отказе от прошлого, от быта, уклада Смерть начинается с ухода от всего привычного*». В 1978 году в статье «Слово о Толстом» он писал: «*...смерть Толстого — это грандиозная, глубоко национальная эпопея. Толстой уходит из быта, из всего того внешнего, чем окружила его жизнь в Ясной Поляне. Он умирает в пути буквально, на железнодорожной станции. Он не допускает к себе жену — символ этого устоявшегося не только яснополянского, но и в целом русского быта. Это смерть льва, покидающего перед смертью свое логово, уходящего из жизни буквально*». Примечательно, что Ион Друцэ, написавший пьесу об уходе Толстого за восемь лет до выхода упомянутой лихачевской статьи, мыслил в том же ключе и передал этот *буквальный уход из жизни* через двойное действие главного героя: сначала как движение мысли (Толстой у Друцэ на протяжении всей пьесы создает «Балладу о волке», метафорически осмысляя в ней свой последний путь), а потом как физическое действие, — когда он ночью покидает яснополянское логово. И оказывается, что образ матерого свободолюбивого волка невероятно близок и русскому писателю, и российским реалиям. Охота на волка соотносится с попытками властей

заставить замолчать графа-писателя, который своими этико-философскими идеями и критическими выступлениями («Не могу молчать») подрывает устои их существования, и без того уже подгнившие.

С другой стороны, создаваемая на глазах читателя/зрителя баллада словно визуализируется в нашем воображении, подобно тому, как это происходит в народной балладе «Миорица», где также легко можно представить себе «космическую свадьбу», которую рисует в своем воображении молодой пастух. И не случайно Друцэ определил жанр своей пьесы о Толстом как драматическая баллада: стилистика «Миорицы» здесь очевидна — в обоих случаях речь идет о завещании, связанном с профессиональным занятием героя и понимаемом как акт самопожертвования, в результате которого устанавливается равновесие прожитой жизни с Вечностью; в обоих случаях в художественной форме осмысляется описание смерти. «Баллада о волке» — это постижение конца живого существа, будь то животное или человек, отражение общих законов природы. Это наука ощущать свободу бытия до последнего вздоха и уходить достойно из этого мира — все то, что являют нам и друцевский герой, и герой «Миорицы». Так в творчестве писателя выражается философская и поэтическая суть народной баллады, передающая своеобразное мировосприятие и способствующая созданию в его произведениях оригинальной художественной картины мира.

* * *

Столь же значительным событием оказалось обращение писателя к эпохе конца XVIII века, отразившей общие эпизоды истории России и Молдавии, связанные с русско-турецкой войной. Работая над романом «Белая церковь», Друцэ сначала представил материал в виде драмы, первоначально называвшейся «Обретение Бога» (эту пьесу также ожидала трудная сценическая судьба: ее приняли к постановке в Московском театре Советской Армии в конце 1979 года, потом запретили; через пять лет постановку удалось пробить, однако премьера под названием «Обретение» в постановке Иона Унгуряну была сыграна всего несколько раз, а затем спектакль, поставленный, закрыли. И лишь в 1988 году он вышел уже под названием «Имя странного Потемкина»). Пьеса объединяет множество персонажей разных национальностей, много мест действия — от маленького молдавского села Околина до Санкт-Петербурга — и зачастую представляет события в фантасмагорическом ключе. Проблемы войны переплетаются с проблемами мирной жизни, смешиваясь настолько, что трудно отделить одно от другого: канонада, знаменующая боевые действия, — и тут же орудийный салют в честь прекрасной дамы; трагедия стертого с лица земли села Сэлкуца — и подготовка грандиозного бала в Ясском дворце, где в центре залы выстроена солдатская землянка... Вместе с янычарами против своей родины сражаются сыны молдаван, младенцами взятые от родителей и воспитанные в магометанской вере...

Сопоставляя двух Екатерин — стареющую русскую императрицу, меняющую фаворитов и более государственных дел озабоченную потребностями тела, и молодую молдавскую сельчанку, приютившую чужих осиротевших детей и живущую заботами о душе своей и своего народа, — автор

преследует ту же цель: он представляет дуализм человеческого бытия. Создавая полнокровные и достовернее образы, он в то же самое время отчетливо обозначает полюса материального и духовного, чем обеспечивает то самое соотношение противоположностей, которое отражает величие, динамизм и драматизм эпохи и придает действию жизненную пульсацию.

В центре пьесы и романа — два исторических образа: старец Нямецкого монастыря Паисий Величковский, религиозный деятель, впоследствии канонизированный Православной Церковью; и светлейший князь фельдмаршал Григорий Потемкин, сановник императрицы Екатерины. В сложной друцевской конструкции они также образуют два полюса, вокруг которых закручиваются вроде бы самостоятельные действия, но в действительности, однако, связанные между собой незримыми нитями судеб — людских, исторических. Постигающий Бога в себе старец — и кающийся и вновь грешащий, но ищущий того же Бога князь, мечтающий то взойти на трон, то уйти в монастырь, смерть и его настигает в пути, на бессарабской земле. Разочарованно покидая север, Петербург, Потемкин отправляется на юг умирать, обретая наконец равновесие своего бытия в мире и с миром.

Не случайно в спектакле театра Советской Армии, завершавшемся фразой Пушкина из его «Заметок по русской истории XVIII века»: «*В длинном списке любимцев Екатерины, обреченных презрению потомства, имя странного Потемкина будет отмечено рукою истории*», — этот многозначный образ достигал чуть ли не библейских масштабов. Владимир Сошальский играл человека, идущего сложным путем поиска и обретения Бога, — человека, который вечно балансирует между «*грехопадениями и постоянной готовностью к покаянию*» (эта формула взята из другой пьесы Друцэ, где таким образом охарактеризована вся «странная» страна Россия, — но формула эта как нельзя более подходит для определения житейских и мировоззренческих колебаний светлейшего князя), устанавливая все то же «миоритическое» равновесие между мигом и вечностью бытия.

* * *

Для проникновения в художественный мир Друцэ чрезвычайно важно понимание пространственно-временной структуры его произведений, где обнаруживается сложная система измерений и планов, а также связанных с ними внутренних состояний персонажей. Так, в пьесе «Последняя любовь Петра Великого» (2003), где автор обращается к русской истории первой половины XVIII века, действие начинается во дворце светлейшего князя Дмитрия Кантемира, только что отстроенном в Санкт-Петербурге — новой столице России. Сразу же можно предположить (ибо у Друцэ ничто не возникает просто так), что значение этого сценического пространства выходит за рамки собственно места действия — княжеского дома, где хозяин (к тому времени давно овдовевший) празднует в кругу многочисленных гостей свою свадьбу с молодой невестой из рода Трубецких. И действительно, принимая во внимание, что сам царь Петр распоряжается на этой свадьбе, место действия приобретает некое символическое значение: в разгар свадебного торжества перед нами возникает образ более глобальный — сама Россия, руководимая властным царем, одержимым идеей покорять страны и государства.

И какос бы ни было место действия в дальнейшем (а их много в этой пьесе: от зала заседаний Сената, где в изощренной философской дискуссии решается судьба персидского похода Петра Первого, до соловецкого каземата, куда после смерти царя упрятан начальник его тайной канцелярии Толстой), в подсознании читателя или зрителя продолжает жить идея-образ, возникшая с подачи автора еще в первой картине. И это не случайно: ведь все эти места действия создают обобщенный символический образ России с ее насущными проблемами (от престолонаследия до воровства и несоблюдения законов), о которых постоянно говорится и которые пытается решать царь Петр, беспощадно борющийся за переустройство страны, и которые по-своему, зачастую преступно, решают его приближенные.

Отнюдь не случайно у Друцэ Россия — «*страна обиженных*», говоря словами его персонажа, уже упомянутого Толстого. И тут требуется весьма существенное уточнение: *обиженные* для Друцэ — это и те, кого обидели в других местах, а потом приютила Россия (как и самого писателя), но это и те, кого, как того же Толстого, обидели в самой России, во имя России и ее интересов, те, кого обидела сама Россия, кому на долю выпало вкусить крайности ее политики и ее истории, нахлебаться крайностей царской натуры. И истинное значение этой друцевской пьесы не столько в том, что здесь воссоздан образ Дмитрия Кантемира и эпизоды его биографии, но в том, что на протяжении всего действия создается некий метаобраз — сама Россия. Подспудное существование этого многозначного символического персонажа постоянно ощущается в пьесе. Именем России, вынуждая людей приспосабливаться (если они принимают такие правила игры), вершатся и судьбы человеческие во времени и пространстве, и сама история.

Но в произведениях Друцэ всегда есть герой, который не приспосабливается к внешним обстоятельствам, а противопоставляет им свой внутренний мир, богатство души. В этом прежде всего и сказывается то, что мы называем понятием «миоритическое мировосприятие», и то, что идет от философской трактовки баллады «Миорица», обнаруживающей созвучие национальных и общечеловеческих проблем. В данном случае таким героем становится Мария, бесстрашная и мудрая дочь Дмитрия Кантемира. Друцэ создает необычайно сильный женский характер, и именно Мария Кантемир вступает в конфликт с Россией как метаперсонажем:

Мария. *Они хотели от меня наследника. А я хотела сына. Просто сына. На этом разошлись.*
Бецкой. *Разошлись с кем? С Петром Алексеевичем?*
Мария. *С Россией.*

Но и здесь проявляется особенность драматических произведений Друцэ: этот конфликт не антагонистичен. Автор не обвиняет историю, но старается постичь и передать события, максимально приблизившись к их сути, где бы и когда бы они ни происходили. Здесь Ион Друцэ следует заветам Пушкина, подчеркивающего, как важно для писателя свободное, непредвзятое историко-философское осмысление некогда происходившего в сочетании с живым воображением. С одной стороны, — серьезная кропотливая подготовительная работа, доскональное изучение материалов и документов,

а с другой, — способность автора схватывать и выражать глубинную сущность эпохи, человеческой личности, что, например, в пьесе о Толстом помогло не только создать образ великого русского писателя, но постичь его творческий процесс: ведь «Баллада о волке» написана Друцэ в толстовской стилистике. И здесь сказывается специфика исторической пьесы, которая даже в большей степени, чем другие драматические жанры, дает возможность сконцентрировать и передать суть авторского мировосприятия и его точку зрения на современную ему действительность сквозь призму событий и персонажей из далекого прошлого. Ведь история имеет обыкновение время от времени повторяться, подспудно обнаруживая переклички — сходство эпох, людских характеров, идей в их единстве и противоречии. А умение увидеть и запечатлеть такое сходство и позволяет говорить о провидчестве писателя, тонко чувствующего ход времени. Так, коротенькая реплика о значении религии для России из пьесы о Толстом вызвала в свое время гнев советского чиновника и запрет спектакля, а чуть позже стала одной из основополагающих идей современности для выживания не только русского народа, но всего человечества. Так, в 1979 году была запрещена постановка пьесы «Обретение Бога», где идеи Платона Зубова о новом персидском походе провидчески совпали с введением советских войск в Афганистан. Так, в пьесе об эпохе Петра Великого уже заявлен сегодняшний (и, как видим, вечный!) вопрос о том, сколько земель и морей-океанов нужно державе и где предел этих глобальных и гибельных притязаний. Главная идея этой последней эпической драмы: человек — игрушка судьбы и истории, но и история — всего лишь большая игра великих людей и их приспешников. Замкнутый круг бытия, отразивший современное постмодернистское мировосприятие с его тотальной игрой и процессами глобализации.

Но в то же время художественный мир пьесы «Последняя любовь Петра Великого», так же как и всех остальных друцевских пьес, создается автором по принципу «миоритической» модели, где духовность главного героя как микрокосм своим мощным проявлением призвана уравновесить макрокосм бытия. Мария Кантемир, демонстрируя силу духа, восстанавливает равновесие мира именно в таком глобальном смысле. Самопожертвование как духовный подвиг — сознательный путь друцевских героев, по сути своей близких герою «Миорицы», осознающих необходимость и потребность силой собственной духовности устанавливать утраченное равновесие мира.

Образ России, в другом преломлении мысли автора, соотносится с образом Петра Великого, являясь первой и последней любовью императора. Любовью трагической и священной, требующей жертвоприношений и самопожертвования. Той единственной любовью, которой он принес в жертву все самое дорогое — и сыновей, и народ, и жизнь свою...

В заключение хочется отметить, что обращение Иона Друцэ к русской истории и культуре, глубинное осмысление исторических событий и создание масштабных художественных образов выдающихся личностей разных эпох обогатило литературу обоих народов — и России, и Молдавии, принеся автору заслуженное признание как в этих странах, так и далеко за их пределами.

Протоиерей Борис ТРЕЩАНСКИЙ

ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ВЕЧНОСТИ

Вот уже десять лет я читаю, горсть за горстью, духовный дневник этого подмосковного сельского священника, находящий выражение в странном, но неоспоримо задевающем стихотворчестве.

В «Новый мир» когда-то пришла пачка листков полустраничного формата, испещренных бледной, с помарками, машинописью. Я заглянула в них из чистого любопытства, — так случай, «мгновенное орудие Провидения», сводит нас с чем-то важным, — и вот, впечатление было таково, что я не смогла не поделиться им с читателями журнала, куда стихи были присланы. *«...Попадаешь под гипноз этого мучительного, ртутно-тяжелого капанья стихотворных строк... Мысль, пробиваясь по руслам выстраданной и не вполне преодоленной душевной смуты,.. выходит наружу искривленной, изъязвленной стигматами. И наш автор не хочет ничего исправлять, эти следы муки, жертвы, на коих стоит мир, ему дороги: косноязычие — его принцип, если угодно, "прием"»* («Новый мир», 1999, № 2).

О. Борис Трещанский очень долго не решался, как говорили в старину, «предать свои опыты тиснению» и, когда (возможно, под влиянием и моей новомирской заметки) все-таки решился, воспользовался псевдонимом *Борис Романцев*. Под этим именем в 2001 году в издательстве «Возвращение» вышла его книжечка стихов, озаглавленная строкой из псалма «Прильпе душа моя по Тебе» (тираж не указан, но, думаю, вряд ли превышал 100 экземпляров). Так же подписана большая подборка стихов о. Бориса, переданная мною Никите Алексеевичу Струве, который, как видно, тоже признал их внутреннюю значительность и опубликовал в № 2 (188) «Вестника христианского движения» за 2004 год. То, что сейчас предложено о. Борисом «Континенту», он едва ли не впервые подписывает своей настоящей фамилией.

Стихи Трещанского по способу выражения мысли с годами не меняются. Его мотивация, его позыв к писанию отличаются от того, что движет профессиональным поэтом. Последний, хочет того или нет, живет внутри своего цеха и ориентируется по отношению к этому цеху и

Протоиерей Борис ТРЕЩАНСКИЙ — родился в 1948 г. Закончил Музыкальное училище им. Гнесиных. С конца 80-х годов — священник, настоятель одного из сельских храмов Центральной России. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Вестник РХД», на сайте журнала «Фома». В 2001 году в московском издательстве «Возвращение» вышла книга стихов «К Тебе прилепилась душа моя...»

традиции; сознает это или нет, ставит перед собой задачи изменения, развития, мутации, реагируя на «бег времени». В нашем же случае автор крепко держится за однажды найденную форму слегка «юродивой» миниатюры, как за надежный сосуд, безотказно вмещающий то, что переживается в предстоянии у Жертвенника («где с Богом мы вдвоем в кадильном дыме») и в одиноком самоуглублении. Откуда взялась эта форма, я не знаю; я не нахожу в ней явных следов читанного (разве что Хлебников?.. — и то не похоже), не ведаю, что подсказало автору отчаянную ломку синтаксиса (с легкой стилизацией его строя под церковно-славянский), парадоксальность речений — все то, что в случае промаха выглядит непростительной нелепостью, но в случае удачи бьет по сердцу и выказывает очень твердую руку.

Это сразу исповедь и проповедь. И то, и другое — вблизи единственной темы, объявленной апостолом Павлом: «...мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, для Еллинов безумие» (1 Кор 1:23). «А все, что сверх и кроме — не о том / *И от Голгофы в мире тесно*». Эта поразительная строчка (из стихов, напечатанных в «Вестнике...») объясняет, как кажется, исток того *самостеснения*, которому инстинктивно подверг свою творческую способность автор. Сосредоточенность над словами Евангелия открывает ему дверь в глубину собственного сердца (и порой удивляет точностью религиозной антропологии). А интимный опыт самопознания обобщается до проповеди.

От года к году все это отслеживая как душевно заинтересованный читатель, я заметила, пожалуй, лишь одну перемену. Исповедь и самосуд у подножия Распятия:

За семью одиночествами
Познающе себя
Куда ни хула
Не достанет, ни почести
И где суд свой
короче
В горечи явленный
И тем полномочнее
Чем необжалуемей, —

сменились не такими надрывными, более умудренными и медитативными, проповедническими тонами, что и отличает представленную «Континентом» подборку от прежних публикаций (автору в этом году исполнилось шестьдесят лет). Трагизм земного пути не исчезает, но оттесняется в метафору («притча» о состарившемся коне); главным же тоном становится не вопль «из глубины», а обращение к тихому опыту исихии, затворничества, где «не старый умирает, а поспелый». И ближе оказывается главная цель: «Остаться с Богом в доле».

Ирина Роднянская

* * *

Что в имени тебе моем
Иль в безымянности гордыни
Иль даже до смиренной
Перемены в схиме
Где с Богом мы вдвоем
В кадильном дыме —
Слабый лишь снаружи звон
И только здесь по пуповине
Через сердца пульс
Причастьем в скинии
Жизнь обретает вкус
Заучиваемым «аминем»

* * *

Неумолимость вечного открытия
Даже для подрубленного навзничь
Господь решителен
И всепобеждающ
И под земной коростою
Всегда же есть и был
Наследуемый кротостью
Пресветлый мир

* * *

Для зашедшего так далеко
Уже нет пути обратно
Не пробежать бегом
Назад путь ратный
Не выползти ползком
Но иго Его — только благо
И бремя же Его легко
Успеть еще сказать об Истине Пилату
Хоть время на дворе
Уже Страстным Пятком
И как никогда смерть рядом
А жизнь — так далеко

* * *

Где бездна призывает бездну
И смерть смертью попрана
Смиренья крест — орудие работное
В котором нет протеста
Ведь и само сердце отдано
Но земное время
Лишь простирается вперед
Настоенным терпением
Из рода в род
Сколь не терпнет
За Элогимом эпилог
Бог долго терпит
Да уж больно бьет

* * *

Чин постриженья в схиму
Заучиваем сердцем наизусть
Еще невидимей для мира
Да будут слезы пусть
И исповедь совсем короткая
Как перед самой уже смертью
С отметиной
Оставленной на шее волком
Себя предам на Божье милосердие

* * *

И на миг в Распятии не усомниться
Вся история упразднена
Окровавленной плащаницей
На ней с Христом пронзенным
сквозь века
Проявится моя вина
И останется на шее крест
Смыслом всем неизреченным
Священного Писанья чтение
Во укрощение
Жизнью всей
Переводимою в подтекст

* * *

Пасынком лихой Отчизны
Покатиться часом утренним
Покатиться смертным кубарем
Из жизни
И болью сердца невместимой
Всполохом последним зренья —
Вся в снегах забвения
Обетованная Россия
Указателем к спасению
От преданья в руце —
Сразу прямо
Чуть от срединного Креста правее

* * *

Лучина с верой
Разве не свеча
И не всего ли станет мерою
Душа
Сожженного еврея
Когда последняя из человеческих мечта
До праха догорела
В освенцимских печах
И жизнь стала
Самою обыкновенной
Ни холодна, ни горяча

* * *

Как кровь, лишенная биенья
Стрела без оперенья
Мимо пролетит
До урона в терниях
Застрявши в плевелах судьбы
Назначено ей быть расстрельной
А стать лишь украшеньем
И выражением тщеты
И жизни отлетающей
Открытие
На взгляд загробного биографа
Обличение вещей невидимых
Разрушение оплота бутафорского

* * *

Когда жить уже не мило
Живущее через немощь, через силу
И по отточенному обоюдоострому мечу
Кровавой ощупью
Все ближе к острию
В глубь таинственную
Совести
Последним из паломничеств
Приду
Из обиталища самодовольства
Большего и вящего
К погосту хоть не хочется
А возвращаться же

* * *

Нет умиранья русских проще
Есть, был, и дальше — длинный прочерк
Ничего никто здесь не обрящет
Но от того и Пасха будет точно
Нет умиранья русских проще
Нет и вместимей совести
Но не глубже, чем до кости пролежни
И не изощреннее ли
Чем обоюдоострый постриг
И как во времена Батыевы
Не имеющих почти и имени
Нет умиранья русских проще
И в яму братскую
Сволакиваемою сволочью
Но от того и Пасха будет точно
И сколько б ни всеобщая
Но и каждого восстановленьем именно

* * *

Сверх могуты не скачущего
Коня состарившегося
Выпрягают из арбы
И страшен напослед
Встающий на дыбы
Чтоб быть застреленным сейчас же
Иноходь его была легчайшей
А уж взвешен на пуды

* * *

Без защитного покрова
Не со злодеями ль налево и направо
Остаться с Богом в доле
Когда позорней самого позора
слава
И больше всех синедрионов
Полюбивши жизнь
Мы с Тобою рядом вместе
Помяни мя, Господи, в моем злодействе
И о моем неведении помолись

* * *

Есть ли поразить еще куда
От подошв до темени
Духа лишь томленье
и тщета
Но молитва неусыпная Иисусова
Сверяет время с пульсом навсегда
Здесь не старый умирает
А поспелый
И разве еще очень смелый
Живага Бога соразмерный сану
А не праху с тленом
И кадильному после моления
Нагару

* * *

Скорописца трость легка
Записывает летопись страдальчества
И молчания пожизненного
Вдохновляющего до конца
И не приметный внешне
Обращеньем внутрь
Огонь прицельный
Как на иконе семистрельной
Претворяется в животворящий Дух

Роберт РИДЕЛЬ

ОГРАНИЧЕНИЯ

...Нету легких времен.
И в людскую врезается память
Только тот,
кто пронес эту тяжесть
на смертных плечах.

Наум Коржавин,
1952 г.

Мы жили на Волге, в городе Энгельс, главном городе Республики Немцев Поволжья. У меня были каникулы, осенью я должен был пойти во второй класс. Но началась война, и нашу семью, как и всех «советских» немцев, отправили на восток. После двух недель езды в телячьем вагоне мы оказались в Красноярском крае.

Родителей мобилизовали в трудармию: отца — в лагеря Вятлага, маму — в тогдашнюю Бурят-Монголию. Какое-то время я жил у чужих людей, потом попал в детприемник, жил в детских домах Сибири и Урала (один из детских домов, когда я в него приехал, был исправительным, другой — школой глухонемых).

С отцом мы встретились в 1948 году в Казахстане, с мамой — в 1953 году, через десять лет, как мы с ней расстались.

Несмотря на все мои приключения (учиться мне пришлось в шести разных школах, один год пришлось пропустить), я закончил десятилетку. Потом, и тоже не сразу, я получил высшее образование. Много лет работал.

Когда меня спрашивают о моем детстве, после моих ответов всегда возникают новые вопросы. Почему я провел годы в детских домах и жил в чужой семье, имея родителей? Как, находясь среди беспризорной шпаны и малолетних преступников, я не стал уголовником? Как я, детдомовец и спецпереселенец, смог получить образование, стать специалистом?

На все эти вопросы просто не ответишь. И я решил записать историю моего детства.

Свой рассказ я начну с 1941 года (когда мне было восемь лет) и закончу 1953 годом, когда мне исполнилось двадцать один год и по всем европейским понятиям я стал уже взрослым.

1. Тетрадка по чистописанию

Учиться в первом классе мне было скучно. Читать я научился еще до школы, а выводить буквы на уроках чистописания у меня не хватало терпения. Перед летними каникулами учительница вручила мне чистую

тетрадку и сказала, что летом я должен выполнять в ней упражнения по чистописанию, и только тогда она переведет меня во второй класс.

Лето 41-го года было теплое, солнечное, и я днями пропадал на улице. С соседскими мальчишками мы шумно играли в войну, делали вылазки к летному училищу, где у авиационных мастерских находили детальки от настоящих самолетов, бегали на старое кладбище, разыскивали красивые памятники и по буквам читали старинные надписи.

Иногда мне разрешали сходить в кино на дневной сеанс. В кинотеатр, который находился в центре города, я добирался городским автобусом и всегда приезжал заранее, чтобы успеть рассмотреть развешанные в фойе фотографии, которые постоянно обновлялись, полистать журналы. Звучал первый звонок, и толпа детей спешила в зал. После третьего звонка в зале гас свет и происходило чудо: на большом экране возникал серый с белыми искрами фон, потом слегка дрожащий текст, появлялись люди, и начиналось кино! И я не переставал удивляться, как это получается, что на экране все движется, а на кинопленке, обрывки которой мы находили, картинки неподвижны?

Кинофильмов тогда было мало, и все они нам очень нравились. Посмотрев очередную картину, мы ее горячо обсуждали и, перебивая друг друга, громко пересказывали отдельные эпизоды.

Иногда я не сразу ехал домой, а отправлялся на Волгу, на городской пляж (что мне строжайше запрещали). Автобусом я доезжал до грузовой пристани, недалеко от которой находился пляж.

У грузовой пристани я всегда задерживался: здесь была своя интересная жизнь. Кругом пахло рыбой и смолой, возле пристани и вдоль берега стояли черные с коричневым верхом баржи, на берегу лежали штабели мешков, деревянных бочек, ящиков, каких-то грузов. Пристань соединялась с берегом широким мостком.

Шла разгрузка баржи, стоявшей у пристани, и по мостку в обоих направлениях двигались грузчики с козлами (двуручными носилками) за спиной. Грузчики, полусогнувшись, несли на берег мешки, кирпичи, какие-то тюки, двое из них скатывали деревянную бочку. Сбросив груз, грузчики почти бегом возвращались на баржу и, взвалив новую ношу, опять спускались на берег.

Налюбовавшись этой картиной, я шел вдоль берега к лодочному перевозу. Там я забирался в большую лодку, в которой уже сидели пассажиры, и дядька лодочник, ритмично скрипя уключинами, перевозил нас через рукав Волги на остров, где находился городской пляж.

Наплескавшись на мелководье и навалявшись на теплом мелком песке, я на той же лодке возвращался на берег, шел к автобусной остановке и отправлялся домой.

Об этих моих путешествиях родители, конечно, не знали, а деньги на поездки у меня были: мама давала на карманные расходы.

Еще я любил читать книжки, которые брал в школьной библиотеке. Сначала мне давали только тонкие книжки, сообразно возрасту. Такую книжку я прочитывал по дороге домой и с полпути возвращался за

следующей. Мне не верили, задавали вопросы по книжке. Потом разрешили брать книжки потолще, и я просиживал часы за их чтением.

Все было хорошо на каникулах, но когда я вспоминал про тетрадку по чистописанию, все еще чистую, настроение портилось.

Для взрослых это было непростое время. Еще свежа была память о репрессиях тридцатых годов, когда посадили нескольких знакомых моих родителей. Кроме тихих разговоров на эту тему, это время мне запомнилось тем, что перепуганные и несильные в грамоте родители для демонстрации своей лояльности купили «Краткий курс истории ВКП(б)» (который листал потом только я), а вместо коврика над моей кроватью они повесили плакат с портретами членов политбюро. Суровые лица этого «политбюро» надолго врезались в мою детскую память...

Только недавно закончилась негромкая финская война. В городе появились очереди за хлебом, были перебои с продуктами. Где-то в Европе воевала Германия, в которой были фашисты — враги Советского Союза (я это знал из киножурналов и политических карикатур).

От всего этого в доме было неспокойно. Родителей особенно волновала война в Европе: если фашисты станут воевать с Советским Союзом, то советских немцев опять начнут арестовывать, как это было в тридцать седьмом.

Показывая кому-то журнал, в котором был фоторепортаж о приезде в Москву какого-то германского министра, отец с облегчением сказал:

— Ну вот, войны с Германией не будет!

Но он, как и многие, ошибся: война началась.

В первый день войны по радио передавалось обращение к народу, были тревожные сообщения о бомбежках, постоянно звучали боевые марши и громкие песни. Я тоже проникся ненавистью к напавшему на нас врагу и крупным почерком первоклассника написал что-то вроде патриотического стихотворения.

На нашей городской окраине мало что изменилось. Только иногда объявлялись учебные воздушные тревоги, нас стали учить пользоваться противогазом, и курсантов летчиков в летной школе почему-то сменили молоденькие матросы. И в длинных очередях за хлебом порядковые номера стали писать на ладонях химическим карандашом.

В эти дни родители заканчивали строительство нашего дома. Въехали мы в него года два тому назад. Он был недостроен, и все два года продолжалась стройка (отец многое делал сам). У родителей было бедное сиротское детство, им непросто пришлось в жизни, и последние годы они только и жили мечтой о своем доме.

Дом получился небольшим, но нарядным. Он стоял на цокольном кирпичном фундаменте, наружные его стены были покрыты свежим тесом. Его украшали красная черепичная крыша и яркие оконные ставни. Картину завершали резные деревянные ворота, которыми отец особенно гордился.

Стоя на стремянке, отец заканчивал красить ставни, когда с газетой в руках подошла мама и вслух прочитала ему указ о выселении немцев из Поволжской республики.

Дослушав маму, отец медленно спустился со стремянки. Таким потерянным я его не видел.

На другой день началась непонятная для меня суета.

Соседи выносили из дома отданные им посуду, мебель, какие-то вещи. Кто-то уводил со двора корову-симменталку Милку, кто-то, гремя цепью, тащил упирающегося Полкана, нашу большую белую собаку.

К вечеру к нам во двор пришел худой, усталый человек в полувоенной форме, переписал нас и сообщил время завтрашней погрузки в эшелон. Переписывал он нас почему-то со слов. От волнения у отца усилился акцент, и нашу фамилию этот человек записал неправильно (спустя годы я долго переписывался с Саратовским архивом МВД, который упорно отвечал, что нашу семью из города Энгельс никто не высылал).

Во время этого разговора из выходящего во двор окна выглянула дородная женщина, уже въехавшая в наш дом. С одесским говором она закричала:

— Вы же ж там запишите, что они не всю меблю нам оставляют!

Усталый человек молча посмотрел на нее и отвернулся.

На другой день мы грузились в эшелон, состоящий из пустых товарных вагонов. Народу было много, но погрузка проходила организованно, с немецкой деловитостью. В одном из таких «телячьих» вагонов расположились мы и еще несколько семей. Несмотря на запрет, родители взяли с собой сундук с одеждой. Отец взял еще цыганскую гитару в черном футляре, а мама, к большой моей радости, тайком взяла с собой нашу собачку-болонку Чарлика.

Погрузка в вагоны, наконец, закончилась, какие-то военные проверили нас по списку, и эшелон тронулся.

Началась наша долгая дорога в Сибирь.

Везли нас окружным путем, через Среднюю Азию. Первые дни мимо проходила сухая осенняя степь, потом появились участки песчаной пустыни. Через пару дней на горизонте показались голубые горы с белыми шапками, стала появляться зелень садов, поля с незнакомыми нам растениями.

Пропуская встречные поезда, эшелон часто останавливался на разъездах. На коротких остановках выходить из вагонов не разрешалось: за этим бдительно следила охрана, вагон которой был прицеплен к нашему эшелону. Но иногда эшелон останавливался надолго. Наш состав окружали солдаты, и все высыпали из вагонов. Люди разминались, собирались в кучки, спрашивали друг друга о новостях, но что происходило в стране и на фронте, никто не знал. Семьи собирались на земле кружком и, если попадалось топливо (сухие стебли перекати-поля, старая доска, щепки), разводили костерки, что-нибудь варили.

Засидевшись в душных вагонах, дети затевали беготню, с любопытством разглядывали солдат с винтовками, темнолицых узбеков, бродивших в стороне ишаков и верблюдов.

К эшелону на продажу стали приносить яблоки, дыни, арбузы. На одном из разъездов отец купил полмешка яблок. Потом мы ими угощали сибирских ребятишек, видавших яблоки только на картинках.

От долгой езды в товарных вагонах все устали. Стояла жара, постоянно возникали какие-то трудности с едой, с водой. У взрослых было, конечно, много проблем, о которых я могу теперь только догадываться. А для меня это было интересным приключением, самым ярким впечатлением от которого были высокие, с белыми вершинами горы да смуглые до черноты узбеки в цветастых халатах.

На каком-то разъезде мужчины нашего вагона принесли доски и смастерили нары. Мы с Чарликом почти не слезали с них, не докучая взрослым своей возней. В вагоне были еще дети, но неприятная история произошла почему-то только со мной.

Перед самым нашим отъездом соседский мальчишка подарил мне два полностью заряженных охотничьих патрона. Я по одному положил их в нагрудные карманы моей рубашки, карманы застегнул на пуговицы и так и ходил с патронами.

Папа обнаружил их только на второй день пути, когда на одной из стоянок помогал мне спуститься с вагона.

— Что это у тебя?! — спросил он.

Вынув патроны и ничего не сказав, он поспешно отошел с ними в сторону. Стараясь быть незамеченным, он закопал патроны в землю. Теперь я представляю, как он испугался: патроны были с капсюлями и от удара могли взорваться у меня в карманах. Да и время было военное, и, если бы их обнаружили, неизвестно, чем бы это для нас закончилось.

По Сибири дорога стала более скучной: эшелон двигался днем и ночью, долгих стоянок уже не было.

К концу второй недели наш эшелон стал укорачиваться: на некоторых разъездах и небольших станциях от него стали отцеплять по одному, по два вагона. Людей из вагонов развозили потом по ближним и дальним окрестным деревням.

Как-то утром мы обнаружили, что наш вагон стоит в тупике на какой-то станции, а эшелон ушел. Потом мы узнали, что находимся в Красноярском крае и наш вагон стоит на железнодорожной станции Боготол.

Люди высыпали из вагона, с беспокойством оглядывались: всех пугала неизвестность. Дети тоже притихли.

А я вспомнил тетрадку по чистописанию, которая так и осталась чистой.

«Уж здесь-то про нее никто не спросит», — подумал я с облегчением.

2. В Сибири

Вскоре к нашему вагону, одиноко стоявшему в стороне от небольшого вокзала, подъехали подводы. Мы погрузились, и возницы-женщины направили наш обоз по дороге, ведущей в сторону от станции.

После долгой езды в «телячьем» вагоне это путешествие показалось нам настоящим праздником. Сентябрьский день был ясным, солнечным, дорога проходила среди лугов и убранных полей, часто попадались пере-

лески с нарядной осенней листвой. Это больше напоминало европейскую Россию, чем ту суровую Сибирь, о которой так много говорили и которую все боялись. Настроение у всех поднялось, люди оживленно переговаривались, громко смеялись. Жизнь и здесь может наладиться!

К концу дня мы добрались до деревни Аскаровка, за которой начиналась настоящая тайга. Это была большая сибирская деревня, обычная для здешних мест. Ее высокие бревенчатые избы вольготно раскинулись вдоль наезженного тракта.

О том, что везут каких-то «немцев», в деревне уже знали, но особого интереса к нам не проявляли. Хозяйки изб, куда нас определяли, помогали устраиваться, ни о чем не спрашивая. Было видно, что новые люди здесь не в диковинку. Мы потом встречали здесь самых разных поселенцев: белоруссов в белых холщевых одеждах, пригнанных еще при раскулачивании, литовцев, привезенных недавно и выделявшихся остатками своей ярко-клетчатой одежды. И неизвестно почему были в этой глуши какие-то старики евреи в широких черных балахонах.

Нас поселили в просторной избе-пятистенке, в которой жила хозяйка с сыном лет шестнадцати. Муж ее, как и у многих здесь, был на фронте.

Через темные сени нас провели в избу. В просторной комнате находилась широкая русская печь, в правом дальнем углу стоял большой некрашеный стол, над которым темнели иконы. Вдоль всех стен шли тоже некрашеные лавки, такие широкие, что на них можно было лежать.

Хозяйка провела нас в комнату поменьше, в «красную» комнату. В ней стояла деревянная кровать с периной и горой подушек. Был еще стол, покрытый белой вязаной скатертью, и несколько венских стульев. В комнату занесли наш сундук, который стал моей кроватью.

Приехавшие немцы стали работать в местном колхозе. Отец, с детства знавший и любивший лошадей, работал на конюшне, мама — на ферме.

А я стал учиться во втором классе местной начальной школы. К моему удовольствию здесь не очень-то следили за чистописанием. Тетрадей у нас не было, писали мы на разных листках.

Учеба мне давалась легче, чем местным мальчишкам. Зато они знали много чего, что мне было незнакомо. С гордостью они рассказывали, как ловили зайцев на проволочные петли, как с ружьем охотились на лис. Однажды на такой вот охоте погиб наш одноклассник (в стареньком ружье взорвался патрон). Смерть моего сверстника меня особенно потрясла.

Я сразу же включился в местную жизнь: играл с деревенскими мальчишками, участвовал в зимних праздниках с переодеванием в вывернутые шубы и катанием на санях с высокого речного берега, толкался среди более взрослой молодежи на вечерних посиделках, поочередно устраиваемых в деревенских избах.

К концу года ударили невиданные для нас сорокапятиградусные морозы. Над засыпанной снегом деревней стояли столбы белого дыма. Казалось, что она вымерзла от мороза: не было видно ничего живого,

даже не слышно было собачьего лая. Только иногда раздавался пушечный треск лопавшихся от мороза стенных бревен, особенно громкий по ночам. Но жизнь деревни, конечно, не останавливалась, даже занятия в школе не прекращались. И на зерновом складе, на конюшне, на ферме велись работы.

Наша семья собиралась вместе только по вечерам, после работы. Иногда отец брал гитару, и они с мамой пели до поздней ночи.

Вот один из таких «музыкальных» вечеров.

Во дворе трескучий мороз, окна покрыты густым инеем. В натопленной комнате мы сидим у стола, на котором тускло светит «коптилка». Я, как всегда, читаю книжку, родители беседуют о чем-то своем. Отец встает, снимает со стены черный футляр и осторожно вынимает из него темную с перламутром цыганскую гитару. Настроив ее, он берет аккорд и негромким высоким голосом начинает старинную немецкую песню, одну из тех, которые они пели дома, на Волге. Ему вторит мама, и вот эту грустную песню они поют уже вдвоем. Поют красиво, в два голоса, мягко звучит гитара.

Закончив песню, они начинают другую, такую же печальную. Послушать необычное для них пение в соседней комнате собираются женщины из ближайших изб. Они по-соседски рассаживаются по лавкам, некоторые подходят к открытой двери нашей комнаты. Кто-то вытирает слезы, кто-то вздыхает:

— Как в церкви поют!

За прошедшие десятилетия я успел эти песни забыть. Но одну из них я все-таки помню, правда, только мотив и только припев:

So lebe wohl, leb wohl, du, mein Tirol, Tirol!
(И так, прощай, прощай, ты, мой Тироль, Тироль).

Пели они и русские песни, такие же печальные, например, эту:

Сижу я в неволе в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном.

Потом я узнал, что это романс на стихи Пушкина.

Сразу после Нового года всех немцев мужчин мобилизовали в трудармию. Отец рассказывал, что их отправили в Кировскую (теперь Вятскую) область на лесоразработки.

Обращались с ними так же, как и с заключенными, и содержались они в лагерях с колючей проволокой, вооруженной охраной, собаками и т. д. Еще он рассказывал, что от непосильной работы и плохого питания много трудармейцев погибло, и умерших складывали штабелями. В первую очередь погибали неприспособленные к такой работе учителя, врачи, артисты. В первый же месяц умер наш хороший знакомый, аптекарь дядя Карл. Он приходил к нам в гости вместе с женой и всегда со свеженакрашенными черными усами.

Мы с мамой остались вдвоем. В колхозе, где мама работала, оплаты не было, только начисляли трудодни («палочки»).

Жители деревни как-то обходились: у них были прошлогодние запасы, да еще они приворовывали в колхозе. А у нас запасов не было, и кормились мы тем, что выменивали на вещи, которые привезли с собой. Иногда мы ели то, что мама выкраивала от корма для свиней.

Выменянное на вещи зерно мы мололи на мельнице, которая находилась в соседней деревне. Однажды, смолов на мельнице зерно, мы с мамой возвращались поздним вечером. Выпало много снега, и мы с трудом тянули санки с мукой. Заснеженная дорога была едва различима в лесной темноте. В тот вечер я очень испугался: мне казалось, что мы заблудились. И еще я боялся волков, о которых здесь рассказывали страшные истории. Уставшие (а я еще и перепуганный), домой мы добрались только глубокой ночью.

Чтобы помочь папе в трудармии, мама посылала ему посылки с деревенским табаком. Веники высушенного на чердаках табака она выменивала на что-нибудь у соседок. А я изготавливал табак. Сухие табачные стебли я крошил ручным резаком и смешивал их с растертыми в порошок табачными листьями.

Постепенно мы променяли на продукты все наши вещи. Только папину гитару мне было жалко: мама отдала ее за три фунта масла. Больше не давали: на ней никто не умел играть.

Время от времени мы совершали походы в баню.

Бревенчатая банька стояла в огороде, через три дома от нас. Мы пробирались к ней поздним вечером, когда хозяева баньки уже помылись. Черные от копоти потолок и стены баньки были еще теплыми, топка была еще горячей. Жестяным ковшиком мама плескала воду на раскаленные камни, а я, спасаясь от горячего пара, бросался на прохладный пол. Раздевались и одевались мы на морозе перед входом, а одежду складывали на тут же стоявшие старые сани. И, что удивительно, никаких простуд после этого не было.

Постепенно мы приладились к деревенской жизни. До обеда я был в школе, хозяйка с сыном Петькой весь день работали в колхозе, а мама была на ферме. Придя со школы, я приносил из колодца воду, готовил уроки, потом выходил на улицу гулять. Иногда Петька оставался дома, и мы с ним пилили и кололи дрова для нашей печи. Особенно трудно было пилить дрова: пила была слишком тяжелой.

По вечерам все собирались в большой комнате у жаркой буржуйки, которую недавно поставили для экономии дров.

Приходили на огонек соседки. Жарко горели дрова, на жестяной буржуйке, раскаленной почти до красна, мы с Петькой жарили пластики картошки. Женщины перемывали кому-то косточки, обсуждали деревенские новости. И часто вспоминали довоенную жизнь, которая была такой далекой и казалась такой счастливой.

Прошла суровая зима, потом короткая весна.

Наступило лето 1942 года.

3. Свинопас

Госпоставки прошлого года, первого года войны, оставили колхоз совсем без зерна (на трудодень колхозники получили только 400 грамм овса) и без достаточных запасов кормов. И с приходом лета оказалось, что нечем кормить колхозных свиней. А их надо было сохранить, и не только сохранить, но и выкормить, как тогда говорили, «для фронта, для победы». И в колхозе пришли к необычному решению — вывести свиней на свободный выпас, на открытое пастбище. По крайней мере, там будет подножный корм.

Маме, работавшей свинаркой, сказали, что пасти свиней придется ей и что на лето она должна будет поехать на хутор, где находились пастбища.

Отказаться мама не могла, но настояла на том, что одной ей не справиться, и попросила определить меня к ней помощником. Она не очень-то верила, что я смогу ей в чем-то помочь, просто она не хотела оставлять меня одного. Потом, правда, оказалось, что с таким беспокойным стадом без меня она действительно не смогла бы справиться.

В правлении понимали, что пасти свиней очень непросто, особенно в лесной местности, поэтому они приняли мамино предложение и на время выпаса согласились считать меня помощником свинарки (а фактически — помощником свинопаса, подпаском). Мне было девять лет, и это мое назначение было, конечно, неофициальным. Проявилось оно в том, что за один рабочий день маме стали начислять полтора трудодня, из которых полтрудодня установили за мою работу.

В стадо, которое мы должны были пасти, собрали около тридцати свиней самых разных пород. Я и сейчас не очень-то в этом разбираюсь, да и тогда породу свиней определяли, как мне кажется, приблизительно. Двух больших курносых свиней и той же породы крупного борова с торчащими в сторону клыками все считали свиньями английской породы. К украинской относили небольших коренастых черно-белых хрюшек. Несколько поджарых длинномордых относили к русской породе. И никто не знал происхождения мелких круглых свинок с курчавой рыжей щетиной.

Ранним майским утром мы погнали наше стадо на хутор. Двигались по лесным дорогам, причем было жарко, свиньи уставали и норовили разбежаться. Приходилось догонять их, возвращать. С нашим «разнокалиберным» стадом до хутора мы добрались только к обеду.

Заброшенный хутор представлял собой деревянную избу, одиноко стоявшую на опушке леса. Рядом был огорожен загон, в который мы и направили наше стадо.

В одной из двух комнат уже поселился сторож Ганн — высокий, худой старик-белорус, одетый в белые полотняные штаны и рубаху. В другой расположились мы с мамой.

Наш рабочий день начинался ранним утром, с восходом солнца. Мы с трудом выгоняли из загона свиней и, не давая им разбежаться, гнали

стадо к месту выпаса. Дойдя до поляны с росистой травой, мы пускали стадо пастись.

Но свиньи не держались стадом, они сбивались в отдельные группки, каждая из которых брела по своему хотению. Они вели себя так, как их отдаленные предки, которые жили отдельными группами, семьями (как теперешние дикие кабаны).

Удерживать стадо вместе было постоянной нашей заботой, особенно, когда рядом был лес или, что еще хуже, кустарниковые заросли, в которых свиньи могли легко затеряться. Этого мама особенно боялась: за пропавшую свинью могли дать десять лет тюрьмы. Она постоянно покрикивала на меня, посылая за разбредающимися животными то в одну, то в другую сторону. Ее нервный крик нередко переходил в слезы, и тогда я совсем терялся, не зная, в какую сторону бежать.

Иногда недалеко от нас паслось стадо коров. Я с завистью смотрел на пастуха: коровы спокойно жевали траву и не разбредались, как наши хрюшки, а он дремал под каким-нибудь деревом или курил свою козью ножку.

Время от времени он вставал и, громко щелкая бичом, перегонял свое стадо на другое место.

Я тоже сплел себе бич из сыромятной кожи. Громкое щелканье у меня получалось, но бич помогал мне мало, особенно когда свиньи забиралась в кустарник, откуда их можно выгнать было только прутом.

У супоросных свиней, ожидавших поросят, здесь на воле проснулся еще один древний инстинкт: они постоянно куда-то прятались и сооружали себе логово. Мы с трудом находили их и возвращали в стадо.

Однажды мама предупредила, что две свиньи русской породы скоро принесут поросят и надо смотреть, чтобы они не сбежали. Как мы ни следили, одна из них все-таки убежала. Мама долго ее искала и в конце концов пригнала, неся в корзине новорожденных поросят.

Вскоре исчезла и вторая супоросная свинья. Сами мы ее найти не смогли, но к нам на помощь пришли люди из деревни.

Редкой цепью мы стали прочесывать ближайший лес и кустарники. На берегу лесной речушки обнаружился проход в высоких травяных зарослях. Пожилой заведующий фермой и мы с мамой двинулись по проходу и скоро вышли к вытоптанной площадке, где увидели сбежавшую свинью. В центре площадки она соорудила что-то вроде гнезда из мягкой травы, в котором тесной кучкой спали маленькие детки. Я протянул было руку, чтобы переложить их в корзину, но свинья кинулась на меня и, пытаясь схватить за руку, сбила с ног. Только сильный удар кнута заведующего отогнал от меня разъяренную мамашу. Когда мы потом возвращались на хутор, она с громким хрюканьем бежала за корзиной с поросятами, которую нес заведующий.

Постепенно мы приспособились к повадкам нашего стада. Когда были жаркие дни, мы подгоняли свиней к какому-нибудь лесному болотцу. С громким хрюканьем они забирались в грязь, рылись в ней и подолгу там валялись. В такие часы мы могли передохнуть, не заботясь, что стадо

разбредется. Теперь мы уже знали характер каждой свиньи, некоторым дали клички. Большого английского борова мы звали Васькой, бросившуюся на меня поджарую свинью — Рысью.

С появлением в стаде поросят хлопот у нас прибавилось. Малыши старались держаться возле матки, но, несмотря на это, постоянно терялись. Приходилось их пересчитывать и недостающих искать в траве или в ближайших зарослях.

Со своим стадом мы были заняты, как говорится, от зари до зари, без перерывов и без выходных. Работа была беспокойной, но мне все равно было скучно, и я старался найти себе какое-нибудь развлечение. Когда удавалось, я собирал землянику (единственно знакомую мне тогда ягоду), по вкусу напоминавшую довоенную карамель, ловил и разглядывал нарядных бабочек, разных жуков, с интересом наблюдал за жизнью трудолюбивых муравьев. Встречались мне и звери — белки, зайцы, лисы, но особенно нравился небольшой полосатый зверек — бурундук, который мог встать столбиком и спокойно меня разглядывать. Иногда я катался на борове Ваське. Лежа на его спине, я прутиком подстегивал его по выступающей сзади части, и он двигался вперед. Когда я почесывал ему брюхо, он, провесив его, останавливался. Однажды я решил узнать, умеют ли новорожденные поросята плавать. Для этого я загнал свинью, у которой были суточные поросята, в небольшую речку. Свинья быстро, рассекая воду, поплыла к другому берегу. Оставшиеся на берегу поросята сначала потоптались возле воды, потом один за другим попрыгали в воду и так же быстро поплыли за свиньей.

Здесь в лесу я со многим встречался впервые. Но я набирался опыта, и в этом мне помогал сторож Ганн. Он много знал, многое умел и постоянно что-то мастерил, плел ивовые корзинки, делал туески из бересты. Для себя он плел лапти, но не из липового лыка (липа в тех краях не растет), а из очищенной ивовой коры.

Летней обуви у меня не было, и, как все деревенские дети, я бегал босиком. Мои ноги были постоянно сбиты, но я не обращал внимания. Но пошли сенокосы, и на скошенных лугах я часто ранил ноги острыми концами наискось срезанной толстой травы. Иногда они впивались в прежние ранки, и от дикой боли я кричал, катаясь по земле. Мама попросила Ганна сплести лапти и для меня. Лапти получились легкими и удобными, в них я мог бегать где угодно, не опасаясь пораниться.

И вот еще: с нами жил Чарлик — белый, пушистый песик-болонка, которого мы привезли из Энгельса. Был он комнатным, изнеженным, и мы его не брали на пастбище. Днем он находился на хуторе, а вечерами встречал наше стадо звонким лаем. Сторож недолюбливал его, считая такую собаку никчемной, бесполезной.

Однажды вечером мы, как обычно, пригнали стадо, но Чарлик почему-то нас не встречал. Мы загнали свиней в загон, где они накинулись на молочную сыворотку, привезенную для них днем. Я побежал к Ганну:

— Дядя Ганн, а где Чарлик?

Он нехотя проворчал:

— Да здесь где-то, скоро прибежит.

Чарлик в тот вечер не прибежал, не появился он и на следующее утро. Вечером я отправился его искать. Я ходил по соседнему лесу, громко звал, высматривал в зарослях, но все было напрасно. Уже возвращаясь, я заметил в кустах что-то белое. Подойдя поближе, я увидел, что на толстой ветке висит какой-то белый пушистый столбик, и я сразу подумал, что это Чарлик. Я не стал его разглядывать и со слезами бросился на хутор, крича:

— Мама, там Чарлик висит!

Мама стала успокаивать, говорить, что мне показалось. Позднее она повела меня на то место, и там, действительно, ничего не было. Но я ей все равно не поверил и подумал, что сделать такое с Чарликом мог только наш сторож. После этого случая я стал его сторониться, даже побаиваться. Много позже, уже зимой, мама рассказала, что Чарлик заболел бешенством, и, чтобы он никого не покусал, она попросила Ганна отвести его в лес...

В конце августа нам пришлось перебраться в деревню: для ночевавших в загоне свиней ночи стали холодными. Теперь мы их пасли недалеко от деревни — сначала на полянах, а позднее — на убранных колхозных огородах, где свиньи всегда находили остатки урожая. Но пасти их стало труднее: было много соблазнов в виде деревенских огородов.

Первого сентября 1942 года я, как все дети, отправился в школу, в третий класс. Но проучился я только один день. В этот день мама не справилась со стадом, часть свиней разбежалась. Они забрались в деревенские огороды и понаделали там бед, были скандалы. Так что нечего было думать об учебе, и уже на следующий день я вернулся к нашему стаду.

Моя работа свинопасом закончилась поздней осенью, когда заморозки стали сильными и свиней перевели на зимнее содержание.

Мы с мамой поселились на колхозной ферме, где, кроме свиней, держали еще овец и крупный скот. Жили мы в избушке над погребом для колхозного картофеля. Я помогал маме на ферме, но за мою работу ей уже не доплачивали.

Постоянно обитая на колхозной ферме, я насмотрелся всякого и далеко недетского. Но были и трагикомичные случаи, одним из которых — история с сороками.

Ночью наши свиньи находились в теплом свинарнике, а днем их выгоняли в открытый загон (видимо, для закаливания). На открытом воздухе, несмотря на крепкие морозы, они чувствовали себя совсем даже неплохо. Но для толстых англичанок настоящей бедой оказались обыкновенные черно-белые сороки. Хитрые птицы садились на их широкие спины, проклевывали шкуру и лакомились свежайшим салом. Свиньи беспокойно бегали по загону, визжали, но сороки продолжали свою трапезу. У свиней образовались обширные раны, они стали худеть. Надо было что-то делать.

Заведующий фермой принес дробовик, настрелял шесть-семь сорок и их тушки развесил на шестах вдоль всего загона. Только после этого истязание свиней прекратилось.

За зимние месяцы прежнее наше стадо сильно изменилось. Многих свиней забили, среди них и толстого добряка Ваську. Подросли молодые свинки. В теплом свинарнике полуодичавшие на воле свиньи стали забывать свои древние инстинкты и снова превратились в обыкновенных домашних животных.

4. Маму увезли. Тетя Шура

Мобилизацию в трудармию проводили почему-то всегда в начале года. После Нового 43-го года тоже объявили мобилизацию. На этот раз забирали женщин-немок, не имевших детей, и девушек с 15-16 лет. Уже потом мы узнали, что в эту мобилизацию попала мамина младшая сестра, которая находилась где-то здесь в Сибири. Ее увезли в Заполярье, в Туруханск.

Все думали, что отправка в трудармию на этом закончится. Но через месяц объявили еще одну мобилизацию. На этот раз забирали женщин, дети которых были старше трех лет. Но куда девать этих детей «старше трех лет», остающихся без матерей, в приказе о мобилизации ничего не говорилось. Некоторые из матерей могли оставить детей у родственников, а когда родственников поблизости не было, приходилось отдавать их в чужие семьи или просто оставлять там, где проживали. Отказаться от мобилизации из-за детей женщины не могли: это объявлялось дезертирством.

Маме тоже принесли повестку. Родных у нас здесь не было, а куда-нибудь меня пристроить мама не успела: всех мобилизованных вскорости отправили в район. И ей пришлось оставить меня на ферме в избушке, в которой мы жили.

Маму увезли, но что она уехала насовсем, мне не верилось. Я уже оставался один, — когда мама отвозила на станцию зерно, — но она всегда возвращалась. Мне и теперь казалось, что она вернется.

После ее отъезда я послонялся по деревне, покатался с ребятами с горки и к вечеру вернулся в избушку. Растопил печку, разогрел ужин, который оставила мне мама, поел и лег спать. Но сна не было — только теперь, в темной избушке, я вдруг почувствовал, что остался один. И что дальше делать, я не знал.

Дверь избушки вдруг открылась, и вместе с клубами мороза вошла мама. Я бросился к ней:

— Ура! Ты вернулась!

— Я не насовсем, я скоро опять уеду.

Утром сбежались женщины, работавшие на ферме. И мама рассказала, что произошло в Тюхтете.

Когда их привезли в Тюхтет, у здания военкомата уже стояла толпа мобилизованных женщин, собранных со всего района. Некоторые, несмотря на запрет, привезли с собой малышей. Стоял крик и плач, слышны были окрики охраны.

Женщины с детьми умоляли разрешить им взять их с собой, обещая кормить из своего пайка. Охранники с руганью оттаскивали детей от

матерей, но куда их девать, особенно совсем маленьких, они не знали. Дети вырывались и с ревом возвращались к матерям. Наконец, ничего не добившись, начальник военкомата отправил женщин по домам, пообещав собрать их позднее.

Через неделю женщин снова вызвали в район, но теперь только тех, у кого дети были старше семи лет.

На этот раз у мамы было больше времени на то, чтобы куда-нибудь меня пристроить. Помогало ей и то, что у меня было хорошее «приданое» — три мешка пшеницы, которые мы получили на трудодни. Время было голодное, и без такого «приданого» кому бы я — лишний едок — был нужен. Мама металась по деревне, и в конце концов ей удалось договориться с одной из местных, — та согласилась взять меня к себе.

В день отъезда мама привела меня в избу, где мне предстояло жить (мешки с зерном привезли еще раньше). Хозяйку избы звали тетя Надя, у нее были две дочери моего, примерно, возраста.

Мама познакомила меня с тетей Надей, передала ей мои документы и стала прощаться. Мы вышли ее провожать. Обняв и поцеловав меня, мама с плачем пошла к саням, ожидавшим ее вдалеке. До сих пор стоит перед глазами: морозный солнечный день, долго-долго уходит от меня плачущая мама, и ее голубое пальто ярко выделяется на ослепительно белом снегу.

Маму отправили на лесоповал в Бурят-Монголию (теперь это Бурятия), куда-то недалеко от китайской границы.

Тетя Надя показала мне мой угол, куда я поставил свой сундучок, показала лавку, где я буду спать. В избе было чисто, тепло, но все это было чужим. В отведенном для меня углу я так и просидел до позднего вечера.

На другой день тете Наде дали колхозную лошадь, чтобы привезти сена для коровы. В поездку за сеном она взяла меня и одну из дочерей. Дорога шла по засыпанным снегом полям, сверкавшим на солнце, по лесу с покрытыми инеем деревьями. Мы загрузили сани пахучим сеном, и низкорослая лошадка повезла нас домой. С высоты возка мы видели ярко-рыжую лису, пробегавшую по пушистому снегу. Поездка мне понравилась, я повеселел. Но вечером опять стало тоскливо.

На третий день к нашей избе подъехали красивые сани с запряженной в них статной лошадью. В санях сидели мужчина и женщина. Высокая, по-городскому одетая женщина прошла в избу, поздоровалась со всеми и спросила меня:

— Ты Роберт?

Я ответил:

— Я.

Она сказала:

— Меня зовут тетя Шура. В Тюхтете я встретила твою маму и пообещала ей взять тебя к себе. Поедешь со мной в Тюхтет?

Я вспомнил, как в деревне говорили, что в Тюхтете живется хорошо: по каким-то там «карточкам» хлеб там дают всем, работаешь — не работаешь. И я сказал:

— Поеду.

Женщина еще поговорила с тетей Надей. Мужчина погрузил в сани мешки с пшеницей, и мы поехали в Тюхтет.

Когда мы приехали к тете Шуре, дома у нее оказался шестимесячный сын Женя. Пока она ездила за мной, за ним присматривала тетя Паша, хозяйка избы, где тетя Шура занимала комнату. В этой комнате мы и стали жить втроем.

По утрам тетя Шура уходила в промкомбинат, где работала в бухгалтерии, и мы с Женей оставались одни. Я смотрел за ним, варил ему кашу, кормил, укладывал спать, менял пеленки, гулял с ним во дворе. Иногда тетя Шура прибегала узнать, как мы тут. Вечером, когда у меня не было поручений, она отпускала меня на улицу поиграть с соседскими ребятами. Часто я на улицу не шел, а оставался дома, чтобы заняться любимым занятием — чтением. Брать книги в школьной библиотеке я не мог, так как в школу не ходил, приходилось выпрашивать их у соседей, у знакомых тети Шуры, у ее коллег по работе. В этих поисках мне попадались самые разные книги. У соседской старушки я нашел старинную книгу в темно-коричневом переплете с дореволюционной орфографией. Толстая эта книга была сборником анекдотов. Анекдоты были довольно нудные, вроде этого:

«При обходе госпиталя генерал обратился к солдату, лежавшему на койке:

— Как фамилия?

Перепуганный солдат, не разобрав вопроса, ответил:

— Понос, Ваше превосходительство!

— О, греческая фамилия! — удивился генерал».

Остальные анекдоты были в таком же духе.

Когда книг не было, я читал все, что попадалось на глаза — газеты, старые журналы, какие-то брошюры, инструкции для молодых охотников и т. п.

Запойное мое чтение сердило тетю Шуру: и с керосином трудно (по вечерам я читал при коптилке), и глаза порчу. А тетя Паша все повторяла: у них в деревне один вот читал, читал, да и тронулся.

Но я продолжал читать при первой возможности.

Почти всю небольшую зарплату тетя Шура тратила на продукты для маленького Жени, которые покупала на базаре. Мы с ней питались в основном картошкой и еще привезенной вместе со мной пшеницей. Пшеницу мололи на мельнице, и из муки варили кулеш. Иногда смолоть не успевали и кашу варили из цельной пшеницы, после чего я корчился от боли в животе.

Выручало нас молоко, которое тетя Шура покупала по дешевке у соседей, да черный, тяжелый хлеб, который, хоть и понемногу, выдавали по хлебным карточкам.

С моей мамой тетя Шура была знакома еще по Саратову, но последние несколько лет они друг о друге ничего не знали. Здесь, в Си-

бири, они виделись всего два раза, и каждая их встреча была не совсем обычной.

Тетя Шура была русской. В Саратове она вышла замуж за немца, но сохранила свою девичью фамилию — Яковлева Александра Семеновна. В 41-м году ее, как жену немца, выслали вместе с мужем в Тюхтет. Мужа взяли в трудармию, и, решив, что с русской фамилией ее в Сибири ничего не держит, она вернулась в Саратов. Там быстро установили, кто она такая и откуда она приехала. От ареста ее спасло только то, что она на последних месяцах ждала ребенка. Ей сказали, что если она не вернется в Тюхтет, ее посадят. С большими трудностями она добралась до станции Боготол. До Тюхтета было еще сорок километров, но регулярного транспорта туда не было. И она застряла на станции без еды и без денег.

В это время на станцию пришел санный обоз с зерном из нашей Аскаровки. Сдав на элеваторе зерно, сопровождавшие обоз женщины, среди которых была и моя мама, решили сходить на вокзал. И мама увидела там тетю Шуру.

Грязная, уставшая, с большим животом, она ходила по перрону и просила милостыню. Плача, они обнялись. Выслушав ее историю, мама отвела ее к своим саням, чем могла покормила. Потом закутала ее в тулуп и так довезла до Тюхтета, через который проезжал обоз.

А следующей зимой, случайно проходя мимо военкомата, тетя Шура увидела маму в толпе мобилизованных женщин. Плача, та ей рассказала, что оставила сынишку в деревне у чужих людей. Еще сказала, что с ним оставила три мешка пшеницы. И тетя Шура пообещала, что возьмет меня к себе.

Две эти встречи во многом определили мою судьбу.

Еще неизвестно, как бы она сложилась, если бы я остался в деревне, из которой я, как спецпереселенец, не имел права выехать. Так бы и остался безграмотным, какими оказались многие мои сверстники, высланные на окраины Сибири и Средней Азии.

Иногда я приходил с Женей на руках на промкомбинат, где работала тетя Шура. В одном из цехов я с интересом смотрел, как из коровьих рогов делали гребешки. Женщины распиливали рога на короткие отрезки — получались широкие трубки. Трубки разрезали вдоль, разворачивали под горячим паром и под грузом распрямляли. Полученную роговую пластину обтачивали и круглыми пилками на специальном станочке выпиливали в ней частые прорези — получались гребешки. Была там сапожная мастерская, где из сыромятной кожи делали ботинки на деревянной подошве, была пимокатная, в которой из овечьей шерсти валяли валенки (по-сибирски, — катали пимы).

Иногда тетя Шура брала у меня Женю и, отдав свой талон, отправляла в служебную столовую. Там мне давали зеленый от черемши суп с говяжьей требухой, который казался мне необыкновенно вкусным.

У тети Шуры я прожил до осени 43-го. Закончилась привезенная со мной пшеница, и совсем плохо было с моей одеждой. Из старой, еще привезенной из Энгельса, я окончательно вырос, да она уже по-

рядочно обтрепалась. Другую одежду достать было негде. А тут еще я стал проситься в школу, где уже начались занятия. И тетя Шура решила отдать меня в детский дом, который только что организовали в Тюхтете.

5. Школа глухонемых

Районный центр Тюхтет был небольшим сибирским городком, больше похожим на широко раскинувшееся село. Застроен он был деревянными домами и обычными избами, и только в центре находилось несколько кирпичных строений — здание администрации, городская школа и школа-интернат для глухонемых детей (ее здесь называли «школой глухонемых»). Размещалась «школа глухонемых» в мрачном одноэтажном здании, окруженном глухим деревянным забором. Городские мальчишки стороной обходили эту «школу», так как глухонемые, если их хоть как-нибудь задевали, остервенело кидались на обидчика, так что с ними лучше было не связываться.

К осени 1943 года в районе скопилось много неустроенных детей, в том числе детей, чьи матери были мобилизованы в трудармию. И чтобы пристроить хотя бы часть этих детей, власти решили на базе школы глухонемых создать детский дом. Глухонемых детей куда-то увезли, а здание и весь персонал передали вновь организованному детскому дому.

В начале октября тетя Шура привела меня в детский дом. Директор его, строгая пожилая женщина, просмотрела мои документы, о чем-то спросила тетю Шуру, несколько вопросов задала и мне. Пришла воспитательница, отвела меня в спальню и показала мою койку. С этого началась моя детдомовская жизнь.

Еще по дороге сюда я думал, что главное — я смогу там учиться. Меня не очень-то волновало, как я буду там жить, какие там будут условия. Но довольно быстро эти условия дали о себе знать.

Прежде всего, мы были всегда голодными. Несмотря на трудное военное время, продуктами детский дом обеспечивали. Но добрую их часть, судя по всему, разворовывали, так как положенные нам порции, и так довольно скромные, доходили до нас сильно урезанными. Однажды нам на ужин дали макароны, приправленные маслом. Это было необычайно вкусно, но на мою тарелку положили три коротенькие макаронинки. Острое чувство голода после такой еды я помню до сих пор.

Зимой в здании было холодно, особенно в сильные морозы: не хватало дров, хотя вокруг стояли леса. По ночам приходилось спать в верхней одежде. Я приспособился и, одевшись в пальто, спал на животе, поджав под себя колени и с головой укрывшись суконным одеялом, под которым можно было надышать тепло.

Но самое трудное — в детдоме была тяжелая обстановка, которую принесли с собой воспитатели из бывшей школы глухонемых, привыкшие работать с дефективными детьми. Видимо, мы очень отличались от глухонемых, потому что всегда взвинченные и издерганные воспитате-

ли никак не могли справится с собранной ребятней. В детдоме постоянно что-то случалось: кто-то из мальчишек схулиганил или подрался, кто-то ушел без разрешения в город, часто пропадали ложки, полотенца, простыни (это продавалось на соседнем базаре). Устраивались допросы, обыски в спальнях.

Особенно мы боялись молодого, чахоточного вида воспитателя. Он по одному вызывал нас в кабинет и там допрашивал, поигрывая резиновой трубкой. Ребята рассказывали, что некоторых из них он больно хлестал этой трубкой.

За чью-нибудь провинность не всегда наказывали только виновного, были и коллективные наказания. Особенно часто наказывали нашу мальчишескую группу: мы часами выстаивали в строю или нас днями не выпускали на прогулку.

Каждый вечер нас выстраивали на линейку, на которой проводилась обязательная перекличка и почти всегда устраивались громкие разносы. Во время таких разносов воспитатели могли вдруг замолчать и перейти на язык глухонемых. Они жестикулировали, что-то энергично обсуждая. Посовещавшись в мертвой тишине, они сообщали свое решение:

— Иванов, выйди из строя! Из-за твоего поведения ваша группа не идет завтра на прогулку!

Или еще что-нибудь в этом роде.

Все это гнетуще действовало на ребят. Несколько раз из детдома сбегали, но до станции, куда стремились сбежавшие, было, как я уже говорил, сорок километров, и устроенная погоня каждый раз настигала беглецов.

Потом мне пришлось побывать в железнодорожном детприемнике и в другом детском доме, но время, которое я провел в этой «школе глухонемых» (как продолжали называть наш детский дом), было для меня самым трудным.

Местом, где можно было хоть на время вырваться из всего этого, была городская школа. Учились мы вместе с городскими детьми, учителя там были обычные, поэтому в школе я себя чувствовал почти как дома. Учился я с большим желанием, да и учеба давалась мне легко. Домашние задания мы готовили все вместе, и я, ученик третьего класса, часто решал задачи пятиклассникам.

Еще одним способом уйти от действительности было чтение книг, которые я брал в школьной библиотеке. Я погружался в совсем другой мир, в мир приключений, в мир прекрасных и смелых людей.

Весной 1944 года тетя Шура получила вызов от своего мужа, Христьяна Хорста (без таких вызовов нельзя было ездить по железной дороге). А ехать к нему надо было далеко, на Северный Урал. Отправляться одной, с ребенком на руках, тетя Шура не решилась. Она пришла в детский дом и предложила мне поехать с ней. Я, конечно же, согласился: появилась возможность сбежать из этой «школы глухонемых».

6. Северный Урал

Дорога на Северный Урал была действительно непростой. Пассажирские поезда шли долго, с частыми остановками, а в Новосибирске и в Свердловске надо было делать пересадки. На пересадках я обычно сидел с вещами и с маленьким Женей, а тетя Шура бегала по билетным кассам, оформляла какие-то документы и узнавала, где можно получить питание по дорожным карточкам. Их можно было отоваривать только на пересадках, и за время езды суточные талоны этих карточек у нас скапливались.

В Новосибирске мы талоны отоварили в железнодорожной столовой, расположенной в стороне от вокзала. Мы ожидали получить какие-нибудь продукты, а вместо них нам выдали целое ведро кукурузной каши и полведра соленой горбуши.

По дороге в столовую меня поразила магазиная витрина, уставленная головками сыра, «колясками» колбасы, кусками ветчины, — она так напоминала довоенное время. Только приглядевшись, я понял, что все это не настоящее, а искусно выполненные муляжи.

Много хлопот нам доставляла санитарная обработка, без которой не пускали на поезда. Приходилось идти в специальный санпропускник (привокзальную баню). Каждый снимал там одежду, через рукава и штанины надевал ее на большое кольцо из толстой проволоки, сцеплял кольцо и сдавал его в «прожарку», где одежда обрабатывалась раскаленным воздухом для уничтожения возможных насекомых. После бани каждый получал кольцо со своей одеждой, которая была еще горячей, пахнущей горелым. А некоторые пуговицы оказывались расплавленными.

В конце мая 44-го мы прибыли в город Краснотуринск. На маленьком вокзальчике нас встретил невысокий плечистый мужчина с крепкой лысой головой и крупным носом. Это был дядя Христьян — муж тети Шуры. После объятий и приветствий он погрузил наши вещи на телегу, помог взобраться нам. Сев рядом, он подобрал вожжи, и лошадь тронулась. Ехали мы долго, через весь город. Остановились мы у одноэтажного деревянного барака, в котором нам предстояло жить.

Старинный поселок Турьинские рудники только недавно был переименован в город Краснотуринск. Недалеко от старой части города рос Новый город и сооружался Богословский алюминиевый завод (сокращенно БАЗ). Уже стояли первые кварталы Нового города, работала электростанция и действовал глиноземный цех. Рабочие его были приметны: их лицо и одежду покрывала красная пыль глинозема, из которого получают алюминий.

Вокруг Краснотуринска располагалось несколько лагерей ГУЛАГа. В одних — с колючей проволокой — отбывали «сроки» заключенные, в других лагерях (с такой же колючей проволокой) находились немцы-трудармейцы, у которых вообще не было «сроков». И заключенные, и трудармейцы были рабочей силой «БАЗстроя», строительной организации НКВД, возводившей промышленные объекты и жилые дома.

Дядя Христьян находился в одном таких из лагерей. В 44-м году трудармейцам, имевшим дефицитные специальности, стали делать некоторые поблажки. Дядя Христьян был таким специалистом (он работал вагранщиком в литейном цехе), и его расконвоировали: разрешили жить за пределами лагеря и позволили вызвать к себе семью. Но он был обязан приходить каждый день в «свой» лагерь, чтобы отметиться и получить дневную пайку хлеба.

Барак, в котором мы поселились, был рабочим общежитием, и вскорости тетя Шура стала здесь работать комендантом.

Теперь я меньше занимался с маленьким Женей: он подрос, и у тети Шуры было больше времени за ним присматривать. Главной моей обязанностью было доставать дрова для нашей плиты и корм для козы, которую завели для Жени. С дровами было проще: кругом были стройки, и я притаскивал оттуда доски и разные обрезки и рубил их на дрова. Сложнее было с кормом для козы. Летом я пас ее по канавам и обочинам дорог и иногда рвал для нее траву, а зимой подбирал остатки сена на грузовых платформах на соседней станции или там же надергивал сено из сложенных в штабели сенных тюков. Мне так часто выговаривали за нехватку корма, что однажды я решился и унес со станции целый тюк сена. Я не знаю, сколько весит такой тюк, возможно, это были какие-то мелкие тюки, но факт остается фактом: я, одиннадцатилетний мальчишка, взвалив на спину, приволок тюк домой. Объяснить это можно еще и тем, что меня подстегивал страх: я боялся, что появится стрелок с винтовкой, только что завернувший за угол.

И еще одна обязанность была у меня: я продавал на базаре котелки и кастрюли, которые дядя Христьян делал тайком на работе. Вместе с литейщиком он отливал эту посуду из остатков дюралюминия в вагранке, а отливки обтачивал им знакомый токарь. Из дюралевого листа вырезались крышки, которые выбивались вручную. Потом я начищал их наждачной бумагой. Посуда получалась отличной. Блестящая, с толстой стенкой, она была лучше заводской, которой, кстати сказать, и в продаже-то не было.

Я ходил по базару с кастрюлями и котелками на руках. Покупали хорошо. Однажды небольшой котелок купил у меня важный лилипут из гастролирующего театра, — для меня это было событием!

И была проблема с одеждой: она сильно обтрепалась, и к тому же я из нее быстро вырастал. Но все это как-то образовалось — дядя Хорст принес откуда-то солдатские штаны, а с наступлением холодов — серую ватную телогрейку (такую носили заключенные). Но сложнее было с обувью. Мне сказали, ордера на обувь дают в управлении алюминиевого завода. Я запасся справкой, в которой стояло, что мои родители находятся в трудармии, и отправился в управление завода.

Когда через годы я прочитал у Маяковского: «Я тыкал мандат, прикрывая “Известия” и упирая на то что “ВЦИК”», — я вспомнил свои хождения с этой справкой. Я тоже «тыкал» справку, прикрывая «труд» и упирая на то, что «армия». И ордер мне дали, и заветные ботинки я получил.

В Краснотуринске я впервые познакомился с буднями «лагерного города». Мимо нашего барака ежедневно проезжали на стройки колонны открытых грузовиков, в кузове которых сидели на полу заключенные (или трудармейцы, — отличить их было трудно), а за деревянным щитком у кабины стояли солдаты с винтовками. Иногда проходила пешая колонна заключенных, окруженная вооруженной охраной с собаками. И приходилось видеть, как на помойках роются «доходяги» — опухшие лагерники-дистрофики, среди которых были и заключенные, и трудармейцы. За территорию лагеря их выпускали, так как работать они не могли, а где их застанет смерть, охране было все равно.

Обычным явлением для города были заборы с колючей проволокой и вышками по углам. Окружали они не только лагеря, но и строительные площадки, где работали заключенные и трудармейцы. За таким забором я побывал в трудармейском лагере, в котором отмечался дядя Христьян: несколько раз он брал меня с собой. А через проходную меня пропускала хорошо его знавшая охрана.

Когда я пришел туда впервые, было дневное время, и лагерь был пустым. Меня поразили царившие в нем чистота и порядок. По обе стороны главной дорожки ровными рядами стояли аккуратно побеленные бараки. Побелены были и молодые деревца перед бараками, и низкие оградки вокруг пустых весенних клумб. Все дорожки были чисто подметены, скамейки тоже были покрашены в белое. Это напоминало порядок больницы или какого-то необычного кладбища.

Еще меня удивило, что пайка, которую получил дядя Христьян, была с довеском, пришпиленным к булке деревянным колышком, а в хлебораздаче, где мы получали хлеб, заготовленные пайки (с колышками и без них) лежали навалом на полу.

О том, что существуют какие-то «лагеря», в которых люди «сидят», я впервые услышал еще в Тюхтете. К тете Шуре приходил «на чаек» бледный, аккуратно одетый в старенькую одежду мужчина. Женщины говорили, что он недавно вышел из какого-то «лагеря» и в Тюхтете находится в ссылке. Еще говорили, что он сидел по какой-то «58-й статье». Я осмелился и спросил, за что он сидел. Он ответил:

— Ни за что.

Я ему, конечно, не поверил...

Я не переставал мечтать о школе. Первого сентября 1944 года в школах начались занятия. Я упросил тетю Шуру и пошел в школу, в четвертый класс. Недели через две дядя Христьян потребовал, чтобы я бросил учебу, так как он «не собирается кормить дармоеда». И для меня все пошло опять по кругу: Женя, дрова, коза, сено, котелки и кастрюли.

Так прошла зима. Весной 1945 года я наконец взбунтовался и сказал, что хочу учиться и уйду в детский дом. Наш барак собирались сносить, и тете Шуре давали квартиру с удобствами и место в детском саду для Жени. Возможно, поэтому мне не очень-то и возражали: без меня могли уже обойтись.

Я взял свои документы и отправился в ГОРОНО (городской отдел народного образования) проситься в детский дом. Работавшие там женщины сказали, что помочь не могут: в городе нет детского дома. Я сказал, что никуда не уйду и, если надо, буду здесь ночевать. Я устроился на деревянном крыльце здания ГОРОНО и просидел там целый день (со мной была интересная книга — сборник рассказов Павла Бажова «Малахитовая шкатулка»).

Вечером, видя мое упорство, мне сказали, что завтра куда-нибудь определят, а сейчас я должен идти домой.

На другой день одна из этих женщин повезла меня в интернат, который находился в городе Карпинск (недалеко от Краснотуринска). Но интернат был переполнен, и меня не приняли. Пришлось опять вернуться домой. На третий день мне дали направление в детский приемник, купили билет и посадили в поезд, идущий до Серова.

* * *

Много лет спустя (в 1958 году) я был на Северном Урале в командировке. Жил я тогда в Караганде, работал в должности горного инженера-проектировщика, учился в вечернем институте, имел семью. Вместе со мной был молодой инженер-железнодорожник Анатолий Алексеев. Стояли морозы, и на нем был грубый, черный, с лохматым воротником полушубок, подаренный ему каким-то деревенским родственником. В этом полушубке рослый, темнолицый и бровастый Алексеев был похож на опереточного разбойника.

Мы с ним проехали несколько городов, были в Свердловске, в Нижнем Тагиле. В Карпинске я рассказал ему про тетю Шуру. И мы решили найти ее. На рейсовом автобусе отправились в соседний Краснотуринск. С большим трудом, через отдел кадров алюминиевого завода, мы все-таки отыскали тетю Шуру.

Жила она в однокомнатной квартирке в центре Нового города. Мы застали ее вместе с Женей, которому уже исполнилось 16 лет. Похудевшая и постаревшая тетя Шура, как мне показалось, не столько обрадовалась, сколько удивилась моему приходу. Она рассказала, что вскоре после моего ухода дядя Христьян бросил ее и ушел к молодой. Она сошлась с каким-то узбеком, который увез их в Среднюю Азию. Она не смогла вынести тамошний климат, ребенок, который там родился, умер, и ее еле спасли. Вместе с Женей она вернулась в Краснотуринск. Устроилась она мотористкой в хорошо оплачиваемый, но вредный для здоровья глиноземный цех. Ей дали квартирку, где они живут до сих пор.

Женя оказался незнакомым для меня подростком, что-то отрывисто бросавший матери и почему-то сквозь зубы разговаривавший с нами. С трудом в нем угадывался тот симпатичный мальчик, которого я когда-то нянчил.

Я рассказал ей о себе, но тетя Шура слушала меня с недоверием. В разговоре она несколько раз повторяла, что все эти годы думала, что я

пошел в уголовники. При этом она опасливо поглядывала на мрачноватого Алексеева.

Уже провожая нас, она сказала, что и сейчас не верит, что я не уголовник. Переубедить ее мы так не смогли...

7. Детский приемник

До Серова я ехал несколько часов. Вагон был переполнен, приходилось стоять, и рядом со мной стоял пацан, ехавший куда-то в сторону Нижнего Тагила. Мы разговорились, но началась проверка документов, и пацана задержали: он предъявил какую-то справку с протертыми до дыр углами и со свежей датой.

— Дата подделана, — сказал солдат-стрелок и передал мальчишку другому стрелку. Потом он просмотрел мои бумаги и вдруг сказал:

— Ты из Тюхтета? Я тоже оттуда. Где ты там жил? Это недалеко от наших, ты должен знать моего Вовку!

Сына его я не вспомнил, но не решился в этом признаться и как мог отвечал на его вопросы, что-то рассказывал про Тюхтет, в котором он, видно, давно не был. Довольный, что я напомнил ему родные места, он похлопал меня по плечу и пошел по вагону дальше.

Наконец наш поезд прибыл в Серов. У меня было пятнадцать рублей, которые дала мне тетя Шура. Рядом с вокзалом находился кинотеатр, и я решил сначала сходить в кино. Там я впервые посмотрел американский фильм — цветной боевик с голубым океаном, зелеными пальмами и тайфуном (кажется, фильм назывался «Ураган»). На привокзальном базарчике я купил шаньгу и чекушку молока. Шаньгу я съел тут же возле прилавка, запил ее молоком и, вернув пустую чекушку, отправился искать детприемник.

Нашел я его быстро: он находился недалеко от вокзала.

Подойдя к нему, я увидел высокий кирпичный забор с колючей проволокой поверху, глухие ворота и проходную, в которой сидел охранник.

Посмотрев мое направление, охранник пропустил меня через проходную. Я оказался в небольшом дворе, в глубине которого находилось серое здание. У его входа стояла группа наголо остриженных мальчишек в серых халатах. Увидев, что я пришел без милиционера, один из них сказал:

— Идиот, сам пришел!

Это заведение официально называлось «Детский приемник-распределитель при железнодорожном отделении милиции станции Надеждинск» (так раньше назывался город Серов). Сюда собирали беспризорников, которых милиция снимала с поездов и вылавливала на вокзалах. Многие из них были бывалыми бродяжками, умевшими и попрошайничать, и воровать. Документов ни у кого не было, у каждого была придуманная семейная история, многие называли вымышленные фамилии. Тот, кто постарше, старался снизить свой возраст, так как сюда

принимали только до 14-ти лет. Более старших увозили в ФЗО (школы фабрично-заводского обучения) или передавали на какое-нибудь производство. Легенды, придуманные беспризорниками, здесь вынуждены были принимать на веру, и только их возраст определяла специальная медицинская комиссия.

Я был крупнее сверстников, и, несмотря на то, что у меня были все документы и мне было только 12 лет, меня пытались отправить учеником на обувную фабрику. Но я сказал, что пришел сюда сам, что хочу учиться в школе и, если меня не отправят в детдом, я сбегу. После этого от меня отстали.

Беспризорники были самых разных национальностей, и среди них, наверняка, были немцы. Но кто же в этом сознается? Только про меня было известно, что я немец. И меня невзлюбила одна из надзирательниц, крупная женщина с очень сильным косоглазием. Когда на вечерней поверке она кого-нибудь отчитывала, уставившись на него своим глазом, на другом конце строя поеживался пацан, на которого смотрел другой ее глаз. Она постоянно цеплялась ко мне, стремилась как-то задеть. Она могла громко сказать:

— Ну, ты, фриц, иди сюда!

или:

— Эй, немчонок, встань в строй!

И пока я был в детприемнике, она продолжала меня травить. И, как я понял из ее намеков, попытка отправить меня на обувную фабрику была ее же затеей.

Другие надзирательницы были обыкновенными женщинами и, понимая, что я не шпана и не уголовник, относились ко мне хорошо — расспрашивали, откуда я, где мои родители. Они разрешали мне выходить за ворота и брать книги в городской библиотеке, которая обслуживала и детприемник. И я проводил часы за чтением книг.

Кроме чтения, заняться здесь было нечем, и ребята целый день слонялись без дела: школьных занятий не было, играть было негде из-за тесноты. Надзирательницы нами не занимались: их задачей было следить за порядком. Только иногда они разучивали с нами военные песни и марши, постоянно звучавшие по репродуктору в эти последние дни войны.

Каждые десять дней нас водили в городскую баню, и для нас это было большим событием. Перед походом в баню мы снимали серые халаты и одевали так называемые «американские подарки». Эта заграничная детская одежда имела яркую и пеструю окраску, была диковинных фасонов с разными замочками и блестящими пуговицами. Многим она была не по размеру: кто-то с трудом влезал в красный вельветовый комбинезончик, один из младших запахивал на себе оранжевую кофту, подпоясываясь шнурком, кто-то подворачивал штаны в крупную клетку. А девчонки специально искали что-нибудь «понаряднее».

И вот толпа серолицых, наголо остриженных мальчишек и девчонок в разноцветной иностранной одежде нестройно вышагивала посреди

улицы, громко распевая военные песни. Наша колонна привлекала всеобщее внимание. Смеясь и что-то выкрикивая, за нами двигались городские мальчишки. Улыбаясь, останавливались прохожие. Произведенным эффектом были довольны наши надзирательницы: «заграничное» одеяние должно было демонстрировать наше благосостояние, а громкие песни — высокий уровень их «воспитательной» работы.

Прошел апрель, наступил май. В День Победы, 9 мая, все мы радовались окончанию войны. Теперь все изменится к лучшему, и я мечтал, что скоро встречусь с родителями, и мы опять будем вместе...

Время тянулось, а меня никуда не направляли.

Наконец, в двадцатых числах мая одна из надзирательниц повезла меня и еще одного мальчишку в Кленовской детский дом, который находился на другом краю Свердловской области.

8. «Исправдом»

Детский дом, куда нас привезли, во время войны был эвакуирован из-под Киева. Там был исправительным детским домом, и здесь на Урале он продолжал быть тем же (местные называли его «исправдом»). Здесь находились малолетние (до 14 лет) преступники, совершившие самые разные преступления (воровство, участие в грабежах и т. п.).

Детдому выделили бóльшую часть школьного здания. Помещение не было приспособлено для содержания правонарушителей, главное, не было изолированной территории: в этом же здании действовала местная школа. Пока шла война, с этим приходилось мириться, но к концу войны исправительный детский дом решили ликвидировать и на его месте создать обычный детский дом. Предстояло вывезти около сотни криминальных малолеток, постепенно заменяя их обычными детьми. И первой партией таких «обычных» детей оказались мы двое из Серовского детприемника.

Вот так и получилось, что я снова оказался во вновь организованном детском доме (в первый раз это было в Тюхтете). Как и в Тюхтетском детдоме, в котором много было от бывшей «школы глухонемых», в новом Кленовском детском доме практически все осталось от прежнего «исправдома».

Остались не только прежние воспитательницы, но и прежние их подопечные, которых только собирались вывозить.

Характерный для той обстановки случай: перед нашим приездом уволили недавно назначенного директора нового детдома, бывшего директора «исправдома». Он не успел отвыкнуть от прежних методов воспитания и на новом месте продолжал заниматься рукоприкладством. Особенно нравилось ему больно бить мальчишек пальцами по наголо остриженным головам.

Детский дом располагался на краю села Кленовское, на несколько километров растянувшегося вдоль тракта. Село было большим, — тогда в нем было четыре колхоза. Рядом с селом проходила железнодорожная

магистраль Казань—Свердловск, недалеко от села находился разъезд Кленовской.

Двухэтажное, с широкими окнами здание школы, в котором размещался детдом, стояло на самом берегу реки Пут, недалеко от места ее впадения в реку Бисерть. Напротив здания на реке Пут стояла плотина с мельницей и небольшой электростанцией.

Метровые стены первого этажа здания были сложены из естественного камня, — раньше здесь был кожевенный завод (под полом мы находили каналы, ведущие в сторону реки). Второй этаж был надстроен позднее и представлял собой неоштукатуренный деревянный сруб темно-золотистого цвета.

Глухие перегородки в коридорах первого и второго этажа отделяли детдом от школьных помещений. Двор был отделен от школьного длинным забором. В дальнем углу двора стояло красивое двухэтажное здание, за которым виднелись большие деревья старого сада. Здание называли «господским домом»: когда-то в нем жил управляющий заводом. Теперь там жили директор детдома и некоторые воспитатели. Там же были и медпункт, бухгалтерия и еще какие-то службы. В другом углу двора находилась конюшня с сеновалом.

Когда мы приехали, детский дом показался нам пустым: в коридорах мы встретили только нескольких младших ребят, да во дворе играла небольшая их группа. Старших ребят я увидел в спальне, куда нас привела одна из воспитательниц. Я обратил внимание, что это не та сероликая масса беспризорников, какую я видел в детприемнике. Это были крепкие ребята тринадцати — пятнадцати лет, и чувствовалось, что каждый из них знает себе цену. Они сидели вокруг стола, на котором горкой лежала печеная картошка. Невысокий коренастый парень пригласил меня к столу, предложил картошки. Потом я узнал, это был Кипка (Киприян) Топорищев, главный здесь заводила. Меня стали спрашивать, кто я, откуда, где бывал. Я проговорился, что читал интересные книги и знаю новые военные песни. Они проявили к этому неожиданный интерес, даже попросили напеть одну из песен. Я пообещал разучить с ними эти песни и рассказать им самые интересные книги. Сами они книг не читали, — некоторые из них с трудом могли читать и писать.

Я знал много приключенческих книг и рассказывать их пришлось в течение нескольких месяцев. Рассказывал я после отбоя, время от времени спрашивая в темноте:

— Кто не спит?

Если отвечавших было мало, я прерывал свой рассказ до следующего вечера.

В первые же дни мы разучили несколько песен. И когда отправлялись куда-нибудь строем (например, на дальний огород с лопатами на плечах), мы сами, без приказа воспитателей, запевали одну из этих песен, и вся колонна, дружно шагая, подхватывала ее.

Эти криминальные ребята не были похожи на тех воров и грабителей, каких я себе представлял. Обычные пацаны! Но я удивился, узнав,

что небольшого роста и простоватый на вид мальчишка был участником банды, грабившей квартиры. Он через форточку пролезал в квартиры и изнутри открывал двери.

Но не все здесь были уголовниками. Одного из мальчишек привезли в «исправдом» за побег с производства. Его из детприемника направили на завод, где поставили на такую тяжелую работу, что он не выдержал и сбежал. Его поймали, и ему грозила колония, но медицинская комиссия установила, что ему нет четырнадцати лет, и его привезли сюда в «исправдом».

Несмотря на достаточно свободный режим, ребята эти, что удивительно, не разбегались. Пребывание здесь их, видимо, устраивало: у них был кров над головой, их как-никак кормили, и здесь, в сельской местности, они всегда могли подкормиться.

Но были и такие, которые весной сбегали, лето беспризорничали, а осенью возвращались. Схема таких побегов была проста. На соседнем разъезде пацан подсаживался в один из воинских эшелонов, которые во время войны шли непрерывно на запад, на фронт, а после войны — на восток, на войну с японцами. Солдаты, давно не видевшие своих семей, с охотой подсаживали мальчишку, просившего подвести до какой-нибудь станции. Ехать в солдатских теплушках было безопасно, да там еще и кормили. На какой-нибудь станции пацан сходил, и начиналась вольная жизнь.

Осенью, когда наступали холода, беглец являлся в милицию, говорил, что сбежал из Кленовского исправительного детдома. Его, конечно, возвращали. Следующей весной он, при желании, мог все это повторить.

Были случаи, когда сбежавшие не возвращались. В милиции они называли другую фамилию, рассказывали историю пожалостливей (обязательно с эвакуацией и с бомбежкой эшелона). Их направляли в ближайший детприемник, а оттуда — в обычный детский дом. Но, побывав в другом детдоме, все они всегда возвращались сюда.

Один из таких вернувшихся попал в детский дом, который находился в большом городе. Режим там был строгий, и было очень голодно. А подкормиться было негде: там не было, как здесь, ни огородов, ни реки, ни леса.

С этими криминальными ребятами у меня сложились неплохие отношения.

— Ты будешь прокурором, — говорили они, и у них это была самая высокая похвала.

От них мы многому научились, а главное, искусству добывать пропитание. Первый такой урок я получил сразу же по приезде. Был май, было голодно: ни в огородах, ни в лесу ничего еще не выросло. Но у ребят всегда была печеная картошка. И мне показали, как ее добывали.

В пустой комнате первого этажа «господского дома» была свалена картошка, которую привез один из местных колхозов. Для вентиляции окно в комнату открыли и редко забили досками. Картошку свалили подальше от окна, чтобы нельзя было достать ее руками.

Ребята показали мне длинное удилище, на конце которого был привязан большой гвоздь. Удилище просовывали между досок в окне и ударяли им по картофельной куче. На гвоздь нанизывалось несколько картошин. Удилище подтягивали, картошку снимали. И так несколько раз. Картошку пекли на разведенном в саду костре.

Таких ухищрений было у них множество.

Учебный год обычно заканчивался в конце мая, но в местной школе, где детдомовские и деревенские занимались вместе, этой зимой был месячный карантин, поэтому школьные занятия продлили еще на месяц.

Один из ребят, ученик четвертого класса, предложил мне пойти вместе с ним на занятия. Делать мне было нечего, и я решил побывать на уроке. Шло повторение пройденного. Урок мне показался интересным, и я остался на следующий. Я стал регулярно ходить на занятия.

Старенькая учительница Зоя Бонифатьевна обратила внимание на мой интерес к учебе (переростки-детдомовцы вообще не хотели учиться). Она стала мне помогать, давать задания по всему материалу.

Предстояли экзамены за четвертый класс, первые экзамены в моей жизни. Я стал усиленно готовиться. Чтобы мне не мешали, я уходил в сад, забирался высоко на развилку старого дерева и там занимался. И эти экзамены я сдал, хотя проучился всего один месяц. Раньше я уже потерял один учебный год (когда пас свиней в Сибири), а этот год мне удалось спасти.

В конце года бывших воспитанников «исправдома» стали интенсивно вывозить и партиями привозить новичков. У нас уже был новый директор, и сменилось большинство воспитателей. И к началу 46-го года детский дом перестал быть «исправительным». Теперь уже фактически.

9. Детдомовские воспитатели

Наши воспитатели работали в очень непростых условиях, особенно в первые годы существования детского дома.

У нас были дети с разными, часто с исковерканными судьбами, с разным уровнем развития. Были бывшие беспризорники, знакомые с дном жизни. Некоторые из них не учились в школе и были почти безграмотные. И были дети из интеллигентных, чаще всего, репрессированных семей. И к тем, и к другим требовался очень разный подход.

Приходилось учитывать, что дети всегда голодные и что в первую очередь их интересует все, что связано с едой. Были трудности и с учебой: в детдоме было много переростков, не очень желавших учиться, нехватало учебников (потрепанных, довоенных), не было тетрадей, писали мы на разных листках. Плохо было с литературой: своей библиотеки у нас не было, а в школьной были старые, довоенные книги. В детдоме отсутствовал спортивный зал и практически не было музыкальных инструментов.

Первыми у нас были воспитательницы из бывшего «исправдома». Эти мрачные женщины знали, что их скоро заменят, и у нас они про-

сто отбывали время. С нами они общались мало, и от них мы чаще всего слышали команды, вроде:

— На обед строиться!

— На вечернюю линейку становись!

— Отбой! Всем спать!

И так далее...

Через несколько месяцев на смену им пришли новые воспитательницы, большей частью молодые женщины. Эти обращались с нами просто, и только за это они казались нам почти домашними.

Тогда же появились воспитатели мужчины. Бывшие фронтовики, они не очень-то с нами сюсюкали, что нам, мальчишкам, очень нравилось.

В конце 1945 года к нам приехал Владимир Петрович, молодой демобилизованный офицер. Стройный брюнет, с небольшими усиками, он сразу же покорил нас военной выправкой и неугомонной энергией. Любые задачи он решал с чисто фронтовой смекалкой.

Понадобилось поставить ограду вокруг нашей территории. Жерди для нее мы заготовили на лесной делянке, находившейся на берегу реки Пут. Заготовить-то мы их заготовили, а привезти их было не на чем. Владимир Петрович собрал группу ребят постарше, прошел с нами до делянки, где лежали заготовленные жерди. Из этих жердей ивовыми прутьями мы каждому из нас связали по узкому плоту. Плоты спустили на воду, и каждый, раздевшись, в одних трусах, оседлал свой плот.

Отталкиваясь длинными шестами, мы поплыли вниз по реке в сторону детдома. Владимир Петрович следовал по берегу, страхуя нас и подавая команды.

Некоторые плоты переворачивались, но ребята забирались на них снова, и плавание продолжалось. До детдома было неблизко — несколько километров, и река местами была глубокой, но наше плавание закончилось благополучно.

За это рисковое мероприятие Владимиру Петровичу очень попало на педсовете, но мы были в восторге.

Другое опасное приключение тоже было связано с Владимиром Петровичем. После сильных дождей снесло деревянную плотину, стоявшую на реке Пут. Она стояла напротив нашего здания, и я случайно видел, как ее сносило: вода прорвала один ее край, и плотина стала разворачиваться, как открывается дверь. По бурной воде поплыли бревна, на некоторых спасались мельничные крысы. Было видно, как хлынувшая вода переполнила реку Бисерть, куда впадала Пут, и на короткое время течение Бисерти пошло вспять. Потом вода схлынула, и часть вынесенных бревен осталась на берегах. Одно из бревен оказалось недалеко от детдома, и наши решили его забрать на дрова для кухни. И приходилось спешить, пока его не взяли другие. Транспорта у нас, конечно, не было, и за решение задачи взялся Владимир Петрович.

Он по росту выстроил нас по обе стороны бревна, длина которого была не менее пяти-шести метров. Потом он сказал, чтобы каждый взялся за бревно снизу. Мы стояли так тесно, что наши руки касались. По его

команде мы дружно подняли бревно, подставили под него плечи и, как муравьи, понесли его в сторону детдома. Шагать мы могли только в ногу, и, чтобы не сбиться с шага, мы завели озорную песню:

Из-за леса, леса темного
Привезли его огромного.
Привезли его на семерых волах,
Он, бедняга, был закован в кандалах.

И так далее... В этой песне были и не совсем пристойные слова, но перепуганные воспитательницы, встретившие нас возле детдома, не решились остановить наше пение, опасаясь, что мы собьемся с шага и тяжелое бревно нас покалечит. Хотя для каждого из нас оно было не таким уж и тяжелым: во-первых, древесина была очень сухой, а во-вторых, нас было не менее 35-40 человек, и каждому доставался только небольшой его отрезок. Но, если бы один из нас упал, завалился бы весь строй, и бревно, действительно, могло наделать бед.

Но все обошлось: мы дошагали до нашего двора, по команде перевели бревно с плеч на руки и дружно опустили его на землю.

За эту историю Владимиру Петровичу попало опять, а у ребят она стала настоящей легендой.

В детдоме он пробыл всего год: с его энергией у нас ему было тесно. А возможно, что руководство детдома устало от его активности...

Другой наш воспитатель, Василий Сидорович Уткин, пришел в детдом в 1946 году. Артиллерийский офицер, он всю войну прослужил на Дальнем Востоке. Когда началась война с японцами, при переправе через Амур ему снарядом раздробило челюсть. Он долго лечился, и к нам он приехал прямо из госпиталя, где ему по кусочкам восстанавливали лицо. Лет ему было около сорока, и нам он казался совсем пожилым.

Какое он имел образование, я не знаю, но он любил стихи и даже сам сочинял. Он показал мне поэму, написанную им еще в армии, про любовные похождения молодого лейтенанта, как он обманывал ревнивого мужа, как, убегая от него, прыгал со второго этажа, и т. д. Поэма, похоже, была автобиографичной, но на меня она не произвела впечатление.

От него я впервые услышал стихи Сергея Есенина, о существовании которого даже не знал. Мы заготавливали в лесу дрова, и во время перерыва он отвел меня за деревья и показал небольшую книжку в твердом переплете:

— Это Сергей Есенин, он запрещен, — сказал он, оглядываясь. — Вот послушай.

И раскрыл книжку:

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет, тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

— Какие стихи! — сказал он.

Он был из здешних мест, и многое из того, что мы знали о сельской жизни, об окрестных местах, мы узнавали от него.

Когда я готовился поступать в техникум, Василий Сидорович сказал:

— Я дал тебе хорошую характеристику, с ней тебя обязательно примут.

Эту характеристику я увидел перед самым отъездом, когда мне вручили мои документы. Среди похвальных эпитетов («пользуется уважением у сверстников», «прилежен в учебе», «общественно активен» и т. д.) в ней стояло:

— Любит спорить и в спорах стремится победить, особенно любит спорить со старшими.

— Трудолюбив, но старается найти ряд объективных причин, чтобы не делать порученную ему работу.

Если с первым я еще мог бы согласиться (хотя не скажешь, что оно очень уж положительное), то из второго нельзя было понять, трудолюбив я все-таки или нет. Когда я спросил, что он имел в виду, когда писал про «объективные причины», он напомнил мне случай с пилой.

Его я, конечно, помнил. Мы заготавливали в лесу дрова, и у нас сломалась лучковая пила. Василий Сидорович направил меня за пилой в соседнюю деревню к своему знакомому. До деревни было неблизко, и, чтобы не возвращаться порожним, я стал допытываться, брать ли другую пилу, если у его знакомого не будет лучковой, к кому мне обращаться, если знакомого не будет дома. Отвечая на все мои «если», Василий Сидорович стал закипать, видимо, считая, что я придумываю причины не ходить за пилой. Я же, выяснив, что считал нужным, сходил в деревню, принес пилу, и мы работали дальше.

Он всегда стремился к «высокому слогу», и слово «трудолюбивый» показалось ему уж очень простым. Вспомнив историю с пилой, он дописал красивый оборот — «ряд объективных причин». Над полученным смыслом он, видимо, не задумывался...

И все-таки я запомнил Василия Сидоровича как доброго и сильного человека, не очень грамотного, но на свой лад стремящегося к прекрасному, много сделавшего для того, чтобы мы стали нормальными людьми.

Среди наших воспитателей всегда было не более одного-двух мужчин, основную их часть составляли женщины. Все они были городскими, в местной деревенской жизни им не находилось места, и, к тому же, многие из них не имели семей. И в детдоме они, можно сказать, дневали и ночевали. Их трудовой день продолжался с утра до позднего вечера: персонала не хватало, и они работали на двух-трех ставках, да и по ночам еще дежурили.

Много душевных сил отдали эти женщины детдомовским детям, и всех их я вспоминаю с благодарностью. Особенно теплые воспоминания у меня сохранились о Нине Ивановне Пятковой, воспитательнице нашей группы.

Это невысокая женщина, которой было около тридцати, с ровным спокойным характером. Она никогда не повышала на нас голос. К ней

подходили с любым вопросом: она выслушает, что-то посоветует, может пожалеть, а может и отчитать. В ее отношении к нам было что-то материнское, и мы это чувствовали.

Помню, как, немного дурачась, я спросил:

— Нина Ивановна, а что такое — голова болит? Может, она у меня болит, а я не знаю?

На что она ответила спокойно:

— Заболит — узнаешь.

В каком-то отношении «воспитателями» были и рабочие из детдомовского персонала. Они были местными, от них мы узнавали деревенские новости, они нас учили крестьянской работе. Настоящими авторитетами были для нас два брата, два рослых красавца — сапожник дядя Толя и конюх дядя Митя. Дядя Толя, младший из братьев, еще мальчишкой потерял ногу на железной дороге и ходил с деревянным костылем. Дядя Митя был на фронте и только недавно демобилизовался.

На старинной швейной машинке дядя Толя шил для нас тапочки из конвейерной ленты и автомобильных покрышек. Когда мы приходили в его маленькую мастерскую, он оживлялся, рассказывал какую-нибудь историю, которых знал множество, вместе с нами хохотал над своими, далеко не детскими, анекдотами. Часто рассказывал про очередную свою драку, о том, как его хотели избить, как всегда, из-за любовных похождений, и он ловко отбился своим костылем. При этом он посмеивался: какие же это мы неумехи в таких делах...

Дядя Митя, человек семейный, был тоже завзятым ловеласом. Он хвастался своими победами, в том числе и среди женщин нашего детдома... Он знал множество солдатских баек, часто их рассказывал. От него, например, я узнал, что легендарный маршал Жуков был очень жесток, и по его приказам расстреливали своих же солдат и офицеров. У дяди Мити было много боевых наград, но он не раз повторял: «...на фронте больше наград получал не тот, кто воевал, а кто был поближе к штабу».

Спокойное и вполне доброе отношение к нам воспитателей, относительно свободный режим, да еще окружавшая нас уральская природа создали в детдоме обстановку, близкую к домашней. И благодаря ей, как я думаю, у нас не было случаев злостного хулиганства, прекратились побеги ребят.

Для всех нас (а для меня уж точно) Кленовской детский дом стал настоящим родным домом.

10. Рецидивист и гармошка

Однажды у нас появился штатный баянист — Валерий Иванович, низкорослый горбун с бледным рябоватым лицом. Он был профессиональным музыкантом: своими длинными, как у всех горбунов, пальцами он виртуозно играл на своем концертном баяне.

Деревенские пацаны рассказывали, что он подселился к чудаковатой старой деве, о которой по деревне ходили разные анекдоты. Еще

говорили, что он играет на деревенских свадьбах и этим хорошо зарабатывает. В детдоме он появлялся нечасто — на репетициях нашей самодеятельности, да на праздничных утренниках.

За хорошие показатели по успеваемости наш детский дом премировали хроматической гармошкой — хромкой, как все говорили. Для сохранности ее убрали в склад. Узнав о гармошке, Валерий Иванович настоял, чтобы ее передали нам, и сам принес ее в нашу спальню. Мы сразу же выстроились в очередь на ней попиликать.

Через несколько дней он пришел к нам в спальню и, взяв гармошку, сыграл на ней простую частушечную мелодию (что-то вроде — та-та-ти́-та, та-та-ти́-та, та-та-ти́-та, та́-та-та). Потом сказал:

— Кто сможет повторить?

Повторить попытались многие. У меня получилось лучше, и он предложил мне дальше потренироваться и пообещал прийти еще.

На другой день Валерий Иванович пришел с баяном. Я показал, как у меня получается. Послушав, он сказал:

— Играй, не останавливайся.

Мою незамысловатую игру он стал сопровождать сложными вариациями на своем баяне. Неожиданно зазвучала красивая музыка, на звуки которой сбежались ребята, пришли воспитатели. Всех поразило именно мое участие в создании этой музыки: мы оба растягивали меха, оба играли, а кто что играл, они не разбирались. С этого момента я для всех в детдоме стал гармонистом.

Я разучил эту частушку, потом стал подбирать мелодии, многие из которых я знал еще с довоенного времени. Дело в том, что в Энгельсе, еще до переезда в наш недостроенный дом, мы жили на первом этаже детской больницы, где завхозом работал мой отец. Окна нашей квартиры выходили на танцплощадку городского сада, где по вечерам постоянно звучали вальсы, танго, фокстроты. Иногда там ставили щиты с текстами новых песен, и их разучивала вся танцплощадка. Мне было всего пять или шесть лет, но многие мелодии остались в моей памяти.

Со временем я играл уже бегло, наигрывал песни, танцы, деревенские наигрыши, быструю «улочную». Девчонки часто ходили за мной:

— Робка, поиграй!

Если это было летом, я выходил во двор, растягивал меха, и девчонки начинали танцы, запевали песни. Однажды мы с мальчишками забрались на крышу нашего здания и под гармошку горланили частушки с довольно «соленым» текстом. Бывшие во дворе воспитательницы не могли разобрать слов, но, слыша наше пение, одобрительно нам улыбались...

Из села приходили девушки, просили поиграть у них на «пятачке». Играть в селе мне случалось не только летом, но и зимой. Вспоминается один из морозных дней: парни и девушки, взявшись за руки и перегородив улицу, идут по селу, громко распевая частушки. Я иду в середине этого ряда и в тонких варежках, чтобы не обморозить пальцы, лихо играю на гармошке разухабистую «улочную».

По «Самоучителю для хроматической гармоники» я познакомился с нотами и даже разучил несколько мелодий. Но дальше меня не хватило: мне было проще играть «на слух». Пробовал я играть на кустарных гармошках «русского строя» и на трофейных гармошках «немецкого строя». У таких гармошек высота звука зависит от направления движения мехов.

Играть на них сложнее, но звучание красивее, чем у моей «казенной» хромки.

Валерий Иванович организовал у нас «шумовой оркестр», куда вошел его баян, моя хромка, гитара, балалайка, огромная балалайка-контрабас, угол которой упирался в пол, кастаньеты, трензель (металлический треугольник) и школьный барабан. Мы разучили несколько мелодий, девчонки подготовили русский перепляс с чечеткой, сочинили бойкие частушки. В детдом привезли двух беленьких сестер, учениц балетной школы, и в нашем «ансамбле» появился балетный номер. Гвоздем нашей программы было сольное выступление Валерия Ивановича: его виртуозная игра завораживала слушателей.

С нашими концертами мы ездили по окрестным деревням. Репертуар у нас был незамысловатый, но в деревнях, где артистов никогда не было, нашими выступлениями были очень довольны. Платили ли за наши концерты, не знаю, но нас кормили,. и это было главным.

Создание «шумового оркестра» подняло авторитет Валерия Ивановича, и его назначили подменным воспитателем: он замещал воспитателей в их выходные дни и во время отпусков. Он неплохо ладил с ребятами, был всегда дружелюбен. Но мы знали, что он мог быть и строгим, даже жестким.

Было лето, уже заканчивались каникулы. Я находился во дворе, когда кто-то из пацанов срочно позвал меня в спальню. Там в окружении ребят стоял Валерий Иванович, бледный и весь какой-то взъерошенный. Он сказал, что ему нужно бежать, что здесь ему грозит тюрьма. Он просил достать ему булку хлеба и почему-то простыню.

Он рассказал, что произошло. Прошлой зимой, проезжая с очередным нашим директором через какую-то деревню, он стащил бочку керосина — просто перевалил ее со стоявших возле одной избы саней в свои сани. Керосин нужен был детдому, как говорится, позарез: после смыва плотины электростанция не работала, и вечерами мы сидели в темноте. С появлением именно этого керосина у нас зажглись керосиновые лампы.

Горбун ругался, что слабак директор сразу же во всем сознался и выдал его. Тут же он рассказал о себе.

Вырос он в Свердловске, родители его были уважаемые в городе люди. Он закончил музыкальную школу по классу баяна. Потом он стал уголовником, несколько раз был осужден. В лагерях ему было неплохо: на тяжелых работах он, как инвалид, не работал, а с лагерным начальством он дружил, играя на их пьянках. У нас он отсиживался после неудачной воровской операции.

Ребята достали ему хлеба и простыню, он попрощался и исчез.

Через полгода он снова появился и сразу прошел в нашу спальню. Он рассказал, что, убегая в прошлый раз от ареста, сел в поезд, идущий в сторону Москвы. В поезде он сразу же нашел таких же дружков-уголовников.

— Поезд идет медленно — чемоданы летят, поезд идет быстро — пассажиры летят, — рассказывал он. — Так мы работали.

Так он добрался до Москвы. В электричке его, как он сам сказал, по глупости задержали: он ехал без билета, и при нем был где-то украденный аккордеон. На суде ему припомнили и бочку с керосином. Его осудили, дали срок. В лагере ему, как всегда, было неплохо. Через несколько месяцев прошла амнистия для инвалидов, и его выпустили.

Рассказав о себе и расспросив про наше житье-бытье, он распрощался с нами и ушел. Ни с кем из сотрудников детдома он не поговорил: они шарахались от него, как от чумного. Видимо, очень уж большой был скандал из-за того, что целый год с детьми работал рецидивист, профессиональный уголовник.

Да он и не искал с ними встречи. Ему важней было поговорить с ребятами, с которыми он единственный раз в жизни чувствовал себя не уголовником, а просто человеком, учившим хорошему детдомовских мальчишек.

11. Сенокосы

В первое лето утром, когда мы еще спали, нас разбудил громкий мужской голос:

— Кто поедет на сенокос?

Еще не проснувшись до конца, я подумал: там же кормить будут, — и вызвался ехать. Еще согласился ехать только Генка Логинов.

Кроме нас с Генкой, на заготовку сена для наших лошадей поехали взрослые из персонала: две девушки уборщицы, парень рабочий и завхоз Василий Иванович, крепкий старик с черной с проседью бородой.

На другой день мы погрузились на телегу, на которой уже лежали какие-то мешки и косы, и, после долгой езды по лесным дорогам, прибыли на выделенную нам делянку.

Приехавшие с нами взрослые были деревенскими, для них заготовка сена было обычным делом, а для нас с Генкой все здесь было впервые.

Сначала построили два шалаша, один из них для девушек. Выбрали место для косьбы и отдельно участок для нас с Генкой. Нам с ним вручили детские косы с коротким лезвием, показали, как их держать, как косить так, чтобы не оставалось позорных «хвостов» (пучков несрезанной травы).

После десятиминутного обучения мы с Генкой приступили к работе.

В первые дни мы с ним очень уставали. Наши прокосы были короче, чем у взрослых, но мы все равно отставали от них: не хватало ни

сил, ни уменья, да и наши косы были поменьше. На последних метрах прокоса я думал, что упаду и больше не встану. С Генкой было то же самое.

Закончив прокос, мы без сил валились на траву, где уже отдыхали взрослые. После короткой передышки мы приходили в себя, дощечками со смесью вара и песка (вместо брусков) правили наши косы и вместе со взрослыми начинали новый прокос.

Потом мы приноровились, и косьба не казалось нам такой тяжелой, как в первые дни.

Делянка для покоса находилась на каменистом холме, и наши косы часто попадали по камням. По вечерам Василий Иванович правил косы, молоточком «оттягивал» их лезвия на маленькой наковальне, прибитой ко пню.

Когда сено в валках подсыхало, девушки начинали его «ворошить» — переворачивать толстые валки деревянными граблями. Высохшее сено мы сгребали в копны, которые с помощью нашей лошади сволакивали к месту, где намечали ставить стог. На этом месте уже стоял «стожар» — высокий шест в центре будущего стога. К нему шалашиком были прислонены «боганы» — более короткие шесты с рогульками на конце.

Стога мы сметывали все вместе, но принимал сено и складывал его в стог самый опытный из нас — Василий Иванович. Чтобы сено оставалось сухим, стога ставили пустыми внутри и с норами внизу для вентиляции. Когда ночи стали холодными, в этих теплых, пахнущих свежим сеном, стогах мы потом ночевали.

Вечерами, сидя у костра, Василий Иванович любил порассуждать со мною и с Генкой на самые разные темы. Он, например, доказывал, что «образованные», все эти «профессора» — просто дармоеды, и они сидят на шее у них, у крестьян. Мы пытались спорить, но переубедить его было невозможно: в деревнях, похоже, так думали все.

Видя в нас «образованных дармоедов», Василий Иванович старался поставить нас в тупик, ехидно задавая нам каверзные вопросы, вроде: почему трещат дрова в костре? Мы, как могли, отвечали, а Василий Иванович только посмеивался в бороду.

И все же к нам, к мальчишкам, он относился по-доброму. Рассказывал про окружавший нас лес, учил угадывать погоду на завтра, показывал съедобные и ядовитые растения, пересказывал местные байки про волков, которых здесь было множество, про рысей, которые, как говорили, прыгают людям на спину, про медведей, с которыми бабы сталкивались в малинниках. На соседней речке он показал нам места, где в молодости добывал платину. Полузасыпанные старательские ямы были окружены зарослями белой малины.

На следующий год на сенокосе нас было четверо ребят и еще несколько взрослых. Не было с нами Генки Логинова: он заболел какой-то хронической болезнью, и для лечения его увезли в Одессу.

Лето в тот год было дождливым и холодным. Сено в валках не сохло, приходилось многократно его ворошить, а из-за дождей косьбу часто

останавливали. От бесполезной работы и вынужденного безделья настроение было паршивое. Ничем другим этот сенокос не запомнился.

В 47-м году для покоса нам выделили горный склон, у подножья которого протекал лесной ручей, густо заросший черемухой. Далеко за ручьем простирался старый сосновый лес.

Нас приехало пять мальчишек, а из взрослых был только воспитатель Василий Сидорович, демобилизованный офицер из местных (о нем я уже говорил).

В нижней части склона из срубленных молодых деревьев мы построили односкатный балаган, открытой стороной обращенный вниз к ручью. Покрыли его толстым слоем свежескошенной травы и такую же траву постелили внутри. Развели костер и сварили на ужин картошку. Василий Сидорович расщедрился и вместе с вечерней пайкой раздал нам по кусочку вкуснейшей американской колбасы. Она была в красивых голубых баночках с припаянным ключиком для открывания. Кстати сказать, в столовой нам такую колбасу не давали, хотя в детдом она, как видим, поступала...

Перед балаганом мы подготовили костер-нодью — одно сухое бревно положили на другое и закрепили кольями. Такой костер горит всю ночь, давая много тепла. Для растопки бревна обложили сухим хворостом.

Еще заранее Василий Сидорович предупредил, что ночевать он будет в соседней деревне. Солнце садилось, когда он ушел, пожелав нам спокойной ночи. Мы остались одни.

Стало быстро темнеть. Мы подожгли растопку в ночном костре и, закутавшись в одеяла, улеглись на пахучую травяную постель. Спать на новом месте не хотелось. Мы разговаривали, наблюдая за разгоревшимся хворостом. Растопка прогорела, между бревнами уже тлел огонь, слабо освещая темноту. Покрапал мелкий дождь.

Со стороны соснового леса вдруг послышался щенячий тявкающий полулай-полувой. К нему присоединился такой же голос, потом еще несколько более низких голосов. И вот, казалось, весь лес наполнился многоголосным волчьим воем.

Тоскливый вой волков наводит невольный ужас даже на взрослых, а мы, мальчишки, были одни, нас окружала глухая темнота, которую только подчеркивал слабый свет ночного костра. Притихшие, мы слушали этот вой, напряженно вглядываясь в темноту. Вдруг кто-то из ребят показал в сторону леса и сдавленным голосом произнес:

— Волки!

В темноте мы увидели холодные, фосфоресцирующие огоньки, и их становилось все больше и больше. Мы не сомневались, что это волки: в их глазах отражался свет нашего костра. Мы вскочили, сгрудились у костра и, чтобы пламенем отпугнуть волков, стали бросать в него сухие ветки, приготовленные на утро.

Из-за горы поднялась полная луна, осветила все вокруг, и огоньки вдруг исчезли. Только теперь мы поняли, что это не волки, а мокрые листья стоявших ниже по склону черемух, блестевшие на слабом свете поднимавшейся луны.

Вой волков внезапно прекратился. Стало тихо, слышен был только шелест листьев. В костре ярко горели брошенные нами ветки. Мы снова улеглись, нервно посмеиваясь над случившимся.

Где-то в стороне вдруг раздался человеческий крик, скорее вопль. Кричала женщина, на которую, очевидно, напали волки. Мы вскочили, не зная, что делать, как ей помочь. Ночная местность была незнакома, да и оружия у нас не было. Крик внезапно оборвался, можно было только гадать, почему... Но через некоторое время вопль раздался опять.

— Раз кричит — значит жива, — подумали мы, — возможно, она спаслась на каком-нибудь дереве.

Крик прекратился и через несколько минут опять повторился. Крики с перерывами продолжались всю ночь. Толком спать в эту ночь мы так и не смогли.

Я уже говорил, что в те годы на Среднем Урале было настоящее нашествие волков. Возможно, это были полярные волки, так как их окраска была светло-серой. Отстреливать их было некому: в деревнях почти не было мужчин. Волки даже днем «задирали» овец, телят, жеребят. Были случаи нападения на коров и лошадей.

Наутро вернулся Василий Сидорович. Рассказав про наши ночные страхи, мы дружно заявили, что одни больше не останемся. Он стал нас успокаивать, сказал, что такими криками здешние женщины отпугивают волков:

— Похоже, что недалеко отсюда в ночном пасли лошадей. Женщины, которые всегда пасут по двое, услышали, как и вы, вой волков и стали по очереди кричать, отгоняя волков.

— Эти-то крики вы и слышали, — сказал Василий Сидорович.

Объяснил он нам и многоголосие ночного воя:

— Судя по всему, недалеко отсюда находится волчье логово с молодыми и старыми волками.

Он по-военному приказал нам не трусить, а самим перейти в наступление.

Вооружившись косами, мы гуськом двинулись за Василием Сидоровичем, перешли ручей и углубились в старый сосновый лес, откуда мы слышали ночной вой. Волков мы, конечно, не встретили, но зато нашли их логово. На толстом слое хвои были видны следы их лежбища, остро пахло псиной. По предложению Василия Сидоровича мы ногами разворошили логово.

— Волки сюда не вернутся, — сказал он.

И действительно, волков мы больше не слышали. Только иногда доносились крики женщин, пасущих в ночном лошадей, но эти крики нас уже не пугали.

В четвертом моем сенокосе (это был 1948 год) принимало участие несколько взрослых и более десяти мальчишек и девчонок. Расположились мы целым лагерем: у нас было три просторных шалаша — для взрослых, для ребят и для девчонок. В центре лагеря была площадка с местом для общего костра.

По вечерам все приходили уставшие. После ужина собирались у костра, я приносил гармошку, и нашей усталости как не бывало. Девчонки начинали танцы, на весь лес раздавались лихие частушки. Все вместе запевали песню, потом другую. И только поздним вечером нас с трудом отправляли спать: утром надо рано вставать, пока роса.

Этот последний сенокос я вспоминаю как какой-то праздник, хотя это было совсем не так: была и тяжелая, с утра до вечера работа, были дожди и изнуряющая жара. Но в памяти остались именно эти веселые и, как я теперь понимаю, счастливые вечера у ярко горевшего лесного костра.

12. Добыть пропитание

Вспоминая, как мама уговаривала меня что-нибудь съесть, а я отказывался, я думал:

— Какой же я был дурак. Теперь-то я бы съел все, что мне давали...

В детдоме нас кормили три раза в день, но из столовой мы выходили голодными. Мы постоянно хотели есть, и каждый был озабочен, как добыть себе пропитание.

С дополнительным пропитанием трудно было зимой, когда добывать еду было негде: леса, поля и огороды засыпаны снегом, реки покрыты льдом. И перебои с продуктами, случавшиеся в детдоме, происходили почему-то всегда зимой. В какой-то год, например, нас всю зиму вместо мяса кормили бочковой камбалой.

Единственно, что удавалось зимой достать, — это картошку. Одну-две картошины кто-то смог стащить, помогая на складе, кто-то — во время дежурства на кухне. Несколько картошин можно было выменять у деревенских мальчишек на карандаши и перья.

Добытые картошины мы пекли в печах-голландках, дверцы которых выходили в общий коридор. Мы собирались возле них по вечерам, когда печи протапливали на ночь, и каждый терпеливо ждал, когда за чугунной дверцей испечется его заветная картошина.

С приходом весны мы начинали собирать перезимовавшую в земле и еще мерзлую картошку. После оттаивания она становилась мокрой и мягкой. Некоторые клубни оставались белыми, а другие оказывались почему-то черными. Мы лепили из них лепешки, которые называли «крахмал». Эти «крахмалы» мы пекли в тех же печах.

В одну из зим из-за нехватки дров нас переселили в «господский дом». В новой нашей спальне было очень тесно, по всей комнате кровати стояли вплотную друг к другу. Но нас эта комната устраивала: в ней находилась печка с чугунной плитой, на которой мы пекли свои «крахмалы».

В этой спальне мы прожили всю зиму. Весной мы, как обычно, стали собирать перезимовавшую картошку. Как-то мы сидели на кроватях у плиты, на которой пеклись наши «крахмалы». Дверь открылась, и в спальню вошли какие-то городские дядьки с портфелями. Они стали рас-

спрашивать, как мы живем, чем занимаемся, как питаемся. В спальню заглянула испуганная воспитательница младшей группы, но один из пришедших закричал:

— Вон отсюда!

Воспитательница исчезла.

Один из дядек брезгливо показал на наши черно-белые лепешки:

— Что это у вас ?

Мы ответили, что это «крахмал», который мы сейчас будем есть. Одну из лепешек он попросил взять с собой. Завернув, еще горячую, в бумагу, он положил ее в портфель. Потом мы смеялись над пацаном, который оказался сегодня без «крахмала».

А дядьки с портфелями были какой-то комиссией из Свердловска, приехавшей снимать нашего директора (директоров у нас снимали почти каждый год).

Когда наступала пора посадки огородов, наш «голодный» период заканчивался. Нам доверяли посадку только картошки, и, где бы мы ее ни сажали (на детдомовском или на колхозных огородах), на костре для нас всегда варили картошку. И несколько картошин можно было прихватить с собой.

А уж летом еду мы добывали, как говорится, везде: на полях и огородах, в окружавших нас лесах и в наших реках.

Рыбачили мы чаще всего на Бисерти, где были и быстрые перекаты, и тихие заводи. Некоторые рыбачили уже весной: в омутах у мельницы хорошо ловились налимы. Но обычно ловили рыбу попроще: пескарей, ершей, окуней. Одно время в детдоме был свой рыбак с лодкой и с рыбацкой снастью. Иногда он брал нас с собой, и мы с удовольствием ему помогали — заводили на глубину бредень, в тихих заводях загоняли рыбу в сеть «боталом» (длинным шестом с пустым колоколом на конце). Свой улов он сдавал на кухню, но какая-то рыбешка перепадала и нам.

У каждого из нас были свои крючки и лески (в местном кооперативе мы их выменивали на лекарственную ромашку), у каждого был котелок для варки, сделанный из банки от американской тушенки, и немного соли. Для разведения костра каждый имел кресало с кремнем и коричневый трут из чаги (березового гриба).

В окрестных лесах было много ягод, но наибольшей популярностью у нас пользовалась малина. Особенно много ее было в малинниках на старых гарях. Придя на малинник, мы наедались малиной, как говорится, до отвала, а потом только пили сок, который надавливали из ягод в котелках. В болотистых низинах мы собирали черную смородину, в зарослях вдоль лесных ручьев — черемуху. А на солнечных полянах «клевали» сладкую землянику.

Встречались в лесу и другие съедобные растения. Это могла быть маслянистая луковица лесной лилии, или толстый корень обыкновенного лопуха, по вкусу напоминавший капустную кочерыжку, или молодые побеги высокой трубчатой травы, по местному «пиканы». Поближе к осени мы собирали и пекли в кострах кедровые шишки. А вот грибы, которых

в лесу было много, мы не ели: мы их плохо знали, и еще, возможно, потому, что местные жители почему-то не увлекались сбором грибов.

Поспевали колхозные огороды, и мы понемногу таскали с них картошку, морковь, капусту, толстые корни турнепса и еще один корнеплод, который я никогда потом не встречал. Назывался он «буква», по внешнему виду и на срез он был похож на редиску, но в диаметре достигал 10-15 и более сантиметров и был сладковатым на вкус.

Деревенские огороды мы не трогали, хотя деревенские приписывали детдомовцам любую пропажу (возможно, что это сохранилось со времен «исправдома»). В одном из деревенских огородов кто-то ночью накопал и увез несколько мешков картофеля. Хозяйка огорода с криком прибежала к нашему директору. Нас построили, стали выяснять, кто это сделал. Напрасно мы объясняли, что мы не могли это сделать, что столько картошки нам не надо, а если мы берем, то только куст-другой, а деревенские огороды мы вообще не трогаем. Но нас не слушали и для наказания продержали в строю несколько часов.

Кроме выстаивания в строю, нас наказывали и запретом на выход с нашего двора. Тогда нам приходилось туго: добывать еду было негде, а если у кого-то была припасена картошка, ее негде было ни испечь, ни сварить, — костерок не разведешь, а летом печь топилась только на кухне. Пробовали мы есть картошку сырой, но от нее вязло во рту. А потом приспособились — поднимались на крышу, подбирались к кухонной печной трубе, опускали в нее длинную проволоку с нанизанной на ней картошкой. Проволоку закрепляли, и картошка пеклась горячим дымом.

Возможность получше поесть появлялась и тогда, когда мы участвовали в работах за пределами детдома — на сенокосах, на заготовке дров. Иногда нас посылали на колхозные работы (за это детдому давали автотранспорт). Там, кроме обязательной картошки, нам давали деревенский хлеб, пахту или обрат (снятое молоко). Во время дежурств на кухне и в столовой приходилось много работать: мы чистили овощи, мыли котлы и кастрюли, разносили по столам порции. Но дежурящие получали порции побольше, а иногда им доставались остатки пищи в тех же котлах и кастрюлях.

Я уже говорил, что директоров у нас снимали почти ежегодно. Снимали «за материальные злоупотребления», а если попросту, за воровство. Вместе с ними снимали еще несколько человек, но для нас это мало что меняло: приходили другие, и все продолжалось, — продукты растаскивали все, кто мог, — и администрация, и кладовщики, и повара. Одна из сотрудниц, у которой была большая семья, специально переехала сюда из города, чтобы кормиться возле детдома.

Многочисленные комиссии, устанавливавшие эти факты, удивлялись: при таком воровстве они ожидали увидеть худых и изможденных детей, а мы были довольно крепкими и загорелыми. Они не знали, что здесь, в сельской местности, есть много способов добыть себе пропитание. И еще свежий воздух, солнце, купание в реке и т. п. Они не понимали, что здесь нам помогает сама природа.

13. Перка, Коник

У нас всегда был какой-нибудь пес, но так уж получалось, что выживал он у нас не больше года.

Одну нашу собаку звали Тузик. Небольшой песик с густой коричневой шерстью был всеобщим любимцем, с ним всегда кто-нибудь возился. Жилось ему у нас сытно: его кормили всем детским домом. Во время обеда кто-нибудь с собачьей миской обходил все столы, и каждый отливал туда ложку супа и бросал кусочек хлеба. Нас было много, и Тузику перепадало достаточно еды. Когда он к нам прибился, он был худой и какой-то чахлый. У нас он отъелся, шерсть его залоснилась, стала пушистой.

Среди зимы Тузик вдруг исчез. Ребята часами искали его в окрестных зарослях, но все было напрасно.

Недели через две у нового кладовщика, молодого крепкого мужика, появились рукавицы с пушистым коричневым мехом. Мы решили, что это мех нашего Тузика. Так это было или нет, не знаю, но дети дружно возненавидели кладовщика. Началась настоящая травля: то его хором дразнит малышня, то какую-нибудь гадость напишут на дверях склада, то столкнут штабель пустых ящиков возле склада или еще что-нибудь. В конце концов он исчез: или уволился сам, а может, ему предложили уйти (дирекция знала о нашей с ним войне). Как бы то ни было, но у нас появился другой кладовщик.

Другую нашу собаку звали как-то странно — Перка. Это был черный короткошерстный пес с закрученным в кольцо хвостом. Очень живой, он весело играл с ребятами, часто увязывался за кем-нибудь в лес или на реку.

Однажды мы с ребятами возвращались с рыбалки. Только мы зашли на мост через Бисерть, как нам навстречу на мост влетела толпа детдомовцев с криком:

— Перку убивают!

Кто-то видел, как деревенские гонялись за нашим Перкой, и половина детдома бежала его спасать. Мы тоже присоединились. Побоища с деревенскими, к счастью, не произошло: Перка нашелся целым и невредимым.

Перка прожил у нас лето и осень. Наступила зима. В эту морозную зиму волки были особенно дерзкими. По ночам они выманивали собак со дворов, а потом утаскивали их (деревенские говорили, что волки подманивают собак, тихо поскуливая у ворот). Со двора мельника волки утащили очень ценную для него собаку: она на мельнице ловила крыс. Мельник ее берег и постоянно держал на привязи. Но собака рвалась к волкам и, освободившись от привязи, сама выскочила за ворота.

В нашем дворе по утрам мы часто видели на снегу множество волчьих следов. И Перка, чуя, видимо, волков, часто рвался по ночам из корпуса. Каждый вечер мы уводили его в корпус и сами проверяли, закрыты ли наружные двери. И просили дежурного не выпускать собаку, как бы та ни рвалась.

В одну из ночей дежурила тетя Маша, очень нервная пожилая уборщица. Во время гражданской войны колчаковцы (кстати, из этого же села) на ее глазах жестоко убили ее мужа, и после этого она стала немного «не в себе».

Вечером мы, как обычно, завели Перку в здание, проверили на дверях запоры и еще раз предупредили тетю Машу, чтобы та не выпускала собаку, как бы та ни рвалась.

Утром Перки в здании не оказалось... Тетя Маша оправдывалась, что он всю ночь рвался наружу, с лаем бросался на дверь, и она не смогла этого долго вынести. В конце концов она открыла дверь и выпустила собаку.

Мы выбежали во двор и на снегу увидели волчьи следы, которые уходили в сторону реки. Мы гурьбой побежали по волчьим следам и на замерзшей реке увидели сначала пятна крови на снегу, а потом и замерзшие части нашего Перки — кусок лапы, часть его бока.

Для ребят трагическая гибель веселого Перки было большим потрясением. Девчонки плакали, все ругали полусумасшедшую тетю Машу. И еще долго вспоминали разные истории, главным героем в которых был всеобщий любимец Перка.

В детдоме были две лошади, которые использовались для хозяйственных нужд. Был у нас конюх, но он больше занимался конюшней, и на лошадях чаще всего выезжали старшие ребята. На них мы ездили за овощами в соседние колхозы, за сеном в поле, за дровами в лес. За старшими часто увязывалась малышня, и иногда им разрешали поправить. Особо заядлые «лошадники» гоняли лошадей в ночное.

Одна из наших лошадок была смирная серая кобыла, покорно выполнявшая все команды. Звали мы ее просто — Серая, и с ней у нас не было приключений. Другая наша лошадь — рыжий мерин по кличке Коник — был очень хитрым и упрямым. Когда его запрягали, он надувал живот, и во время езды вся упряжь съезжала набок. Он всегда знал, когда им правит кто-нибудь из малышей. Тогда он мог развернуться и, не слушая детского понукания, упрямо двинуться в сторону дома. А бывало и так: малыш стегнет его кнутом, а тот, вместо того, чтобы двигаться быстрее, начинает лягаться . Вот так отбиваясь, Коник ударил копытом в лоб восьмилетнего Ахмета. К счастью, удар пришелся по касательной, но синяк у Ахмета был большой...

А живого уголка со зверюшками, птичками и рыбками у нас не было: для этого в детдоме не было ни средств, ни помещения. Да и зачем? Всех этих животных мы могли видеть «вживую».

14. Лыжный плеврит

Зимы на Урале снежные, реки рано покрываются льдом. Но зимним спортом с нами не занимались: не было зимнего инвентаря.

Но плохонький инвентарь у нас все-таки был. Ребята притащили откуда-то пару коньков, один из которых был хоккейный «дутыш», а второй — «снегурка» с загнутым носом. Очередь на них занимали еще с

вечера. И неудивительно, что с такими «разномастными» коньками прилично кататься мы так и не научились.

Были еще старые ободранные лыжи с самодельным креплением и с самодельными палками. Несколько пар этих лыж были нарасхват. Мы пробовали делать лыжи сами. Мы их выстрагивали, а загибать носы у нас не получалось, и лыжи зарывались в снег. Но детдомовская малышня и на них с удовольствием «бродила» в нашем дворе.

На стареньких лыжах мы добирались до ближайшей, довольно высокой горы, наполовину заросшей лесом. Одна ее сторона была крутой, здесь мы катались с небольшого снежного трамплина. Другой ее склон был пологим, можно было долго скатываться, но еще дольше приходилось потом подниматься.

Как это ни удивительно (видимо, по указанию начальства), в детдоме организовали лыжный кросс. Откуда-то срочно привезли много детских лыж, из наших мальчишек и девчонок собрали лыжную колонну. Лыжных костюмов у нас, конечно, не было. Нам, как всегда, выложили кучу одежды из американских подарков и предложили выбрать себе для кросса. Мне понравился тонкий хлопчатый свитерок: в нем я себе казался таким же спортивным, как лыжники на красочном плакате, висевшем у нас в детдоме.

Кросс проходил по гористой местности, и без тренировки многие стали выбиваться из сил. Колонна сильно растянулась, и нам, шедшим впереди, приходилось часто останавливаться, дожидаясь отстающих. На таких остановках я, разгоряченный и взмокший, быстро замерзал: морозный ветер легко продувал мой свитерок.

На следующий день я слег с сильной температурой. Молоденькая фельдшерица, Алла Борисовна, определила, что у меня воспаление легких, и стала усиленно лечить разными лекарствами. Болел я тяжело, температура все поднималась, я находился в каком-то болезненном полусне. Изолятора у нас не было, и я лежал в нашей спальне. Кроме лечившей меня Аллы Борисовны, ко мне часто подходила воспитательница Нина Ивановна. А долгие вечера возле меня просиживала наша бухгалтер Мария Ивановна, моложавая женщина лет сорока. Она давно уже хорошо ко мне относилась, даже предлагала меня усыновить, но я не соглашался: где-то ведь были мои родители (в моих документах стояло: «Родители есть, но их адрес неизвестен»).

Через неделю мне стало лучше, я даже мог ходить в столовую. К большому удивлению ребят, есть мне почему-то не хотелось.

Через пару дней я опять свалился с высокой температурой, временами теряя сознание. Поняв, что дело серьезное, меня решили отправить в районную больницу, до которой было километров сорок. Везли меня в санях, завернув в тяжелый овчинный тулуп и накрыв какими-то шубами. Везли осторожно и поэтому довольно долго. Когда мы подъехали к больнице, я очнулся весь мокрый и вдруг почувствовал себя совсем здоровым. Видимо, под тяжелыми шубами и жарким тулупом у меня прошел кризис. В больнице у меня проснулся зверский аппетит, я все время хо-

тел есть и все просил квашеную капусту. Квашеной капусты в больнице, конечно, не было, но одна из медсестер принесла ее из дома. Она все повторяла, что я очень похож на ее недавно утонувшего сына.

Больничные врачи сказали, что я переболел тяжелым плевритом. Когда потом я проходил рентгеновские обследования, я всегда предупреждал, что темные пятна на снимках — это рубцы от перенесенного в детстве плеврита.

В детдом я возвращался на стареньком райкомовском «виллисе»: по просьбе нашего директора меня попутно подвозил секретарь райкома, сильный дядька в кожаном пальто. Стоял солнечный морозный день, и настроение у меня было преотличное. И от хорошей погоды, и от того, что я ехал в самой настоящей автомашине, и от добрых расспросов секретаря райкома. Вдруг переднее колесо нашей машины вырвалось вперед и одиноко покатилось впереди по дороге. Шофер с трудом остановил машину, не дав ей перевернуться. Сидевшие в машине замолчали, потом, глядя на все еще катившееся колесо, стали громко хохотать.

В этот момент я понял, что и больница, и вся моя болезнь остались позади, что я здоров, что я еду к себе домой, в мой детский дом.

15. Попик, Бедная Лиза и другие

У многих детдомовцев были прозвища, и каждое было результатом, можно сказать, коллективного творчества. Кто-то случайно называл пацана шутливым словом. Если слово было метким, его начинали повторять. При этом могли уточнять, что-то менять. В окончательном виде оно принималось ребятами, становилось прозвищем и насовсем приклеивалось к пацану.

Шутливое слово могло быть неудачным, и тогда его просто забывали. Такое случалось, когда оно было недостаточно метким или не соответствовало, условно говоря, «статусу» пацана — степени авторитета у ребят.

Последний случай произошел, например, со мной. Обыгрывая мое имя Роберт, один из пацанов в шутку назвал меня обер-лейтенантом. Против меня он ничего не имел, просто это показалось ему остроумным. Я не стал обращать внимание, не полез, как говориться, в бутылку. А ребята не стали повторять эту шутку, и она тихо забылась.

Многие из прозвищ были созвучны с фамилиями ребят. У Ваньки Межнякова, например, было прозвище «Межняк», у Попова — «Попик», у Муртазина-Лейзера — «Бедная Лиза», у Ашихматова — «Шихмат». Созвучие часто подкреплялось и обликом пацана. «Попик» был худеньким, щуплым мальчиком, и это прозвище к нему подходило. У полутатарина Муртазина-Лейзера было широкое белокожее лицо с нежным девичьим румянцем, и прозвище «Бедная Лиза» (или просто «Лиза») приклеилось к нему сразу же. А вот крепкий подтянутый пацан, чем-то похожий на артиста Крючкова из кинофильма «Трактористы», получил прозвище «Танкист».

Иногда прозвища давались, исходя из жизненной истории и характера пацана. Например, малорослый мальчишка с лицом безбородого

старичка имел прозвище «Москвич». Так его прозвали не только потому, что он грабил в Москве квартиры, но и потому, что это был хитрый и много повидавший пацан. Он был еще и старше нас: обманув медицинскую комиссию, он занизил свой возраст, своим маленьким росточком выдавая себя за мальчика.

А у пацана, которого звали Владимир Ульянов, прозвища не было: все боялись задеть имя «великого вождя коммунистов» Владимира Ульянова-Ленина. Все мы знали, что за такое по головке не погладят.

У девчонок почему-то прозвищ не было, по крайней мере, мы, мальчишки, их не знали.

Попытка избавиться от мальчишеских прозвищ была предпринята только один раз.

Посреди зимы срочно понадобилось вычистить наш туалет — стоявшую во дворе большую деревянную будку, внутри и вокруг которой намерзло много, условно говоря, «льда». Чистили его обычно ребята по «нарядам вне очереди». Такие наряды получали многие, поэтому туалет всегда был относительно чистым. На этот раз воспитатели ослабили бдительность, нарушителей было мало, и туалет оказался запущенным. Воспитатель Владимир Петрович, недавно демобилизованный офицер (о нем я говорил), решил эту проблему по-военному просто. В воскресенье, когда мы все находились в спальне, он пришел и громко объявил:

— С сегодняшнего дня применять прозвища строго запрещается! Нарушители получат наряд вне очереди — пойдут чистить туалет!

Он расположился за столом в центре спальни и углубился в какие-то бумаги, прислушиваясь к нашим разговорам.

Сначала мы крепились, обращались друг к другу по именам: Колька, Муратка, Вовка, Робка. Через десять-пятнадцать минут мы стали сбиваться на привычные для нас прозвища:

— Танкист, Попик, айда на гору!

— Лиза, дай ножик карандаш починить!

— Шихмат, где второй конек? Ты последним катался!

Ну, и так далее... Короче говоря, не прошло и часа, как почти вся наша спальня дружно скалывала «лед» в туалете.

Потом никто за прозвищами не следил и мы продолжали общаться по-старому. Главная цель воскресного мероприятия была достигнута — туалет вычистили, а за такое безнадежное дело, как искоренение мальчишеских прозвищ, никто и не думал браться.

И эти две системы обращений продолжали существовать, не смешивая ребячий мир с миром взрослых.

16. Труды наши. Лесной Новый год

Программ по трудовому воспитанию у нас, конечно, не было, но трудом мы занимались постоянно. Для текущих работ у нас существовала система нарядов, как в армии. По очередным нарядам, которые давались по определенному графику, мы дежурили на кухне и в столовой, пили-

ли и кололи дрова для наших печей, делали уборку в спальнях и в коридорах, чистили двор. Внеочередные наряды давались, как водится, за провинности, и получали их обычно мальчишки.

Кроме «нарядных» работ, мы работали на детдомовском огороде, заготавливали сено и дрова, работали в соседних колхозах. На работы за пределами детдома мы выезжали бригадами, которые формировались из старших ребят. Состав бригад определяли воспитатели, но некоторые из ребят (в том числе и я) вызывались добровольно: на таких работах сытней кормили.

Про детдомовские сенокосы я уже рассказывал. Такой же непростой для нас была и заготовка дров. Каждый год в начале лета мы выезжали в лес. На выделенной нам делянке мы, мальчишки 12—14 лет, валили деревья, обрубали сучья, пилили стволы на метровые куски, которые складывали для просушки в поленницы.

Самым трудным было валить деревья: пилы были тяжелые, их часто зажимало, а силенок не хватало. Потом появились лучковые пилы, работать с ними было легче.

Заготовка дров была не только тяжелой, но и опасной работой, однако, как это ни удивительно, серьезных травм у нас не было (только порезы и разные ссадины).

Заготовленных дров, как всегда, не хватало, и несколько раз за зиму приходилось снова отправляться в лес. Зимой работать в лесу тяжелее, чем летом. Особенно осложнялась валка деревьев: их надо было спиливать у основания, чтобы не оставалось высоких пней. В уральских лесах снега глубокие, и, чтобы добраться до основания дерева, иногда приходилось глубоко закапываться в снег. В снежной яме и пилить было труднее.

В детдоме был свой огород, на котором выращивали только картофель. В первый год под огород нам выделили целину, и при ее вспашке просто переворачивали плотный дерн. Копать в нем лунки под картошку было трудно, особенно нашими лопатами, поэтому мы просто подсовывали картошку под дерновые пласты. Мы, честно говоря, думали, что картошка не вырастет, а уродился такой ее урожай, какого никогда потом у нас не было. В последующие годы посадку и уборку картошки мы производили под конный плуг, что было намного легче.

В соседних колхозах мы работали на зерновых токах, собирали в поле горох, дергали кормовой турнепс и «букву», о которой я уже писал. А один раз мы трудились на болоте — собирали мох, которым конопатят деревянные срубы.

Срезанную пластину мха мы нанизывали на тонкий прут с сучком внизу. Нанизывали до тех пор, пока не собирался столбик мха. Брали следующий прут, и процедура повторялась. Пруты со столбиками мха мы выносили к дороге и там грузили на телегу.

В «господском доме» у нас организовали столярную мастерскую. Старый мастер чинил там нашу мебель и понемногу изготавливал новую. Нам, нескольким мальчишкам, предложили поработать в мастерской и мы, конечно, согласились. Мастер учил нас столярному делу, и

через какое-то время мы уже сами делали табуретки и стулья. А однажды мы изготовили вполне приличный деревянный диван.

Выполняли мы и плотницкие работы: вокруг нашей территории поставили забор (из жердей, о которых я писал), участвовали в строительстве нашей бани. Сруб для нее заготовили в лесу приглашенные плотники. К нам его привезли в разобранном виде и здесь снова собрали. Мы помогали ставить перегородки, сооружать полки, стелить полы. Ну а полностью нам доверили только засыпку чердака шлаком.

Поработали мы и штукатурами. Второй этаж нашего здания представлял собой неоштукатуренный сосновой сруб. Чтобы утеплить, решили его оштукатурить изнутри. Эту работу директор заказал своему родственнику, а в помощь ему собрали бригаду ребят. Несколько недель мы прибивали дранку, готовили растворы, на отдельных участках штукатурили. Нам даже немного заплатили. А родственник директора, как рассказывали, отхватил за эту работу хороший куш.

Каждый год и всегда в конце декабря наш кладовщик отправлялся в Свердловск за товарами. Оттуда он привозил детскую одежду, обувь, одеяла, ткани и много еще из того, что необходимо детдому на целый год. Товара было много, и в помощь он брал с собой ребят. Раза два ездил с ним и я.

В последнюю из поездок мы возвращались на полуторке. Был поздний вечер 31 декабря 1947 года. Кладовщик сидел в кабине рядом с шофером, а мы, трое ребят, находились в кузове. Проехать надо было двести с лишним километров, и, чтобы не замерзнуть, мы зарылись в наваленную одежду и накрылись одеялами. Нам оставалось километров десять, когда дорога пошла по густому лесу, по обе ее стороны высились засыпанные снегом высокие ели. Высунувшись из кабины, кладовщик громко спросил, все ли у нас в порядке, и добавил, что до Нового года осталось минут пятнадцать и что скоро мы приедем. Мы оживились, стали гадать, какую у нас поставили елку, как ее нарядили.

Полуторка вдруг остановилась, освещавшие дорогу фары погасли. Оказалось, кончился бензин. Кладовщик с шофером, переругиваясь, отправились за помощью в соседнюю деревню. Мы остались одни. Наступила тишина и было жутковато. Прошло какое-то время, мы высунулись из наших нор и огляделись: стояла ясная морозная ночь, при свете луны искрился снег и над высокими елями ярко мерцали бесчисленные звезды. Мы повеселели.

В этой сказочной обстановке, лежа в кузове, мы встретили Новый 1948 год!

17. И «Артек», и дебил

В детском доме были дети разных национальностей: русские, украинцы, татары, башкиры, мордва, удмурты, а из немцев я был один. Но дискриминацию как немец я не чувствовал. Многие просто не знали, что я немец, а которые знали, не принимали всерьез: я был такой же,

как все, а немцами для них были те, которые воевали против нас на фронте (о том, что есть советские, или российские, немцы, здесь вообще не знали: в тот район Урала их почему-то не высылали). Единственно, что их удивляло, — мое имя и моя фамилия:

— И Роберт, и Ридель, где у тебя имя, где фамилия? Не разберешь!

Не последнюю роль здесь сыграло и то, что среди ребят у меня был определенный авторитет. Складывался он еще тогда, когда я, только что приехавший новичок, разучивал с ребятами песни, пересказывал им книги. Прибавил мне авторитета и случай в столовой, который произошел тогда же. Мы стояли в очереди к кухонной раздаче, и один из пацанов грубо оттолкнул меня в сторону. Я остервенело кинулся на него, сбил с ног и стал дубасить, пока меня не остановила воспитательница. Про эту драку почему-то еще долго говорили, она обросла разными подробностями, и, возможно, поэтому никто со мной больше не задирался. А когда я стал «гармонистом», мой мальчишеский авторитет вырос еще больше.

Учился я охотно и считался лучшим учеником. За хорошую успеваемость нас иногда (обычно по праздникам) награждали ценными подарками — новыми ботинками, сапогами, а однажды мне вручили даже костюм. После торжественного вручения подарки забирал стоявший за сценой кладовщик («для хранения»). Больше мы их не видели...

Как-то меня и еще двоих ребят наградили поездкой на зимние каникулы в Свердловск (теперешний Екатеринбург). Нас сопровождал последний наш директор Степан Разумович Белобородов. Билетов на поезд, как всегда, не было, и все двести километров до Свердловска (а потом и обратно) мы ехали на подножках или на площадках вагонов еще довоенной конструкции. При этом мы проезжали несколько тунелей...

В Свердловске нас сводили в драмтеатр на героическую пьесу про военных моряков. В музыкальном театре нас поразила веселая и яркая оперетта. В красочно оформленном Дворце пионеров (бывшем дворце уральского заводчика Демидова) мы участвовали в новогоднем празднике вокруг огромной нарядной елки. Нам вручили подарки с простыми конфетами и даже с одним мандарином. Домой мы вернулись, как говорится, до краев наполненные впечатлениями.

На общем собрании детдома и школы, посвященном завершению учебного года, наш директор торжественно объявил, что за отличную учебу воспитанник детского дома ученик теперь уже седьмого класса Роберт Ридель награждается путевкой в пионерский лагерь «Артек». Такой же путевкой наградили дочь завуча школы. Были громкие аплодисменты, нас поздравляли. Я уже представлял, как побываю в солнечном Крыму, как увижу Черное море, о котором так много читал.

Через неделю меня вызвали в воспитательскую. Там уже находился директор детдома, несколько воспитателей и наша медсестра. Мне предложили раздеться до трусов, и медсестра стала придирчиво осматривать меня со всех сторон. Наконец она нашла у меня несколько ссадин и громко сказала, что с такими ссадинами я не могу ехать в «Артек», меня

там не примут. Все дружно согласились с ней. Такие ссадины можно было найти у любого детдомовца, и я сразу понял, что это повод отказать мне в поездке в «Артек». Ясно понимая разыгранную комедию, мне стало неловко за сидящих передо мной взрослых. Я поспешно оделся и, не глядя на них, вышел из воспитательской.

В пустом коридоре подступила горечь:

— Это все из-за того, что я немец, просто они не говорят в открытую. Выходит, что я не такой, как все, что я хуже всех и что это будет всегда!

Мелькнула мысль, которая приходила ко мне не раз: надо сбежать, взять другую фамилию, и никто не узнает, кто я и откуда. Но тогда я не увижу родителей, а о встрече с ними, о жизни в родной семье, я мечтал все эти годы...

А с путевкой в «Артек» было так: наши простые и честные воспитатели присудили ее мне, считая, что я ее заслужил, а где-то наверху меня не пропустили как немца.

А вместо меня в «Артек» поехал другой наш детдомовец — башкир Валерий Галин, далеко не лучший наш ученик. Он сам мне говорил, что это не настоящее его имя, настоящее он сменил, как это делали многие беспризорники. Но он не только сменил имя, но и сильно занизил свой возраст: рядом с ним мы были совсем детьми. Руководство детдома, видно, догадывалось, что он старше нас: к нему благоволили, на какое-то время даже устроили на платную работу — воспитателем одной из младших групп. А у меня с ним всегда были непростые отношения, особенно после истории с Ваней Межняковым, Межняком. У Галина был с ним конфликт, они даже подрались в лесу, и Галин сделал все, чтобы Межняка отправили в ФЗО, не дав доучится в школе.

Межняк был простым и добрым пацаном, и когда мы об этом (уже потом) узнали, ребята невзлюбили Галина, хотя никто не хотел с ним связываться.

На внутридетдомовской жизни, на отношениях ребят между собой я подробно не останавливаюсь. Только скажу, что ничего экстраординарного у нас не происходило, ситуация была как в обычной школе. Но конфликты конечно были. Еще в детдоме я прочитал книгу «Старшины Вильбайской школы». В ней описывалась жизнь закрытой школы-интерната конца XIX века. И я был потрясен, насколько ситуация в этой школе совпадала с ситуацией, сложившейся у нас в детдоме. Да и главного героя, похожего, как мне казалось, на меня, звали, насколько я помню, Риддель... (Автора я тогда не запомнил и только недавно узнал, что его зовут Тальбот Бейнс Рид и по-английски книга называется «The Captains of Willoughby School».)

* * *

Успехи в учебе приносили мне не только приятные и неприятные подарки, однажды они спасли меня от отправки в ФЗО.

Летом 1947 года мы были на сенокосе, когда в Кленовское приехал представитель военкомата для мобилизации подростков в ФЗО. Пришел он и в детский дом, просмотрел наши списки и всех, кому уже исполнилось четырнадцать лет, наметил для отправки в ФЗО. Среди таких «переростков» оказался и я. По своему возрасту я уже должен был закончить семь классов, но я закончил только шесть, так как один учебный год пропустил в Сибири. Если бы меня взяли в ФЗО, я бы лишился возможности закончить семилетку и, соответственно, учиться дальше. А я собирался поступать в техникум.

Список воспитанников, отобранных в школу ФЗО, обсуждался на детдомовском педсовете с участием представителя военкомата. Когда очередь дошла до меня, ему сказали, что это очень слабый ученик, что он не совсем нормальный и, вообще, дебил, умственно отсталый. От «дебила» он, конечно, отказался.

Таким необычным способом меня оставили в детдоме. Воспитатели, идя на такое, преследовали и свои цели: им был нужен сильный ученик, так как успеваемость была главным показателем их работы.

Обо всем этом я узнал только осенью: Василий Сидорович рассказал мне под очень большим секретом.

Первого сентября я пошел в седьмой класс и следующей весной закончил семилетку. В тот же год, сдав вступительные экзамены, я поступил в техникум. Но это уже другая история.

18. Техникум на одну неделю

Поступать я решил в Свердловский горно-металлургический техникум. Но это было непростым делом: мне предстояло самому добираться до Свердловска (конечно, без билета), на время экзаменов надо найти частную квартиру, да и сдавать приходилось целых четыре экзамена. Но все это удалось преодолеть: до Свердловска я благополучно доехал на вагонных подножках, на квартиру я устроился у родственников нашего директора и вступительные экзамены сдал на «хорошо» и «отлично», что для мальчишки, приехавшего из деревенской глубинки, было совсем даже неплохо.

Возле канцелярии вывесили списки поступивших. Я нашел свою фамилию и подумал:

— Ну, все! Теперь я студент, буду учиться и стану горным электромехаником.

Я уже собирался домой, но оказалось, что это не «все». У директора техникума было правило — перед окончательным зачислением в студенты он с каждым проводил личное собеседование. На собеседование приглашали группами по специальности. Подошла очередь и нашей группы.

Мы сидели в приемной, и нас по одному вызывали к директору. Предстоящее собеседование меня не очень-то волновало: экзамены я сдал хорошо, в техникум меня приняли, а какие могут ко мне вопросы? Я ведь детдомовец!

Меня вызвали последним. Войдя в кабинет, я увидел крупного мужчину, сидевшего за большим письменным столом и читавшего какие-то бумаги. После долгого молчания он вдруг спросил:

— Ты что, немец?

— Да.

Он в упор посмотрел на меня и вдруг закричал:

— Ты что, не знаешь, что Свердловск закрытый город? Немцев мы принимать не будем!

Пришлось долго сидеть в приемной, ожидая свои документы. Из кабинета вышел и куда-то направился директор. С удивлением я увидел, что он был небольшого роста, почти карлик: при крупном телосложении его ноги были очень короткими. То ли это дефект от рождения, то ли последствие несчастного случая. Вид этого «могучего карлика» показался мне зловещим.

Получив документы, я вышел на улицу в полной растерянности. Что теперь делать? В детдом вернуться я не могу по возрасту, родных, к кому я мог бы уехать, у меня не было, где мои родители, да и живы ли они, я не знал. И я решил поехать в детдом, будучи уверен, что там меня не оставят. Какое-то время у нас на чердаке жил бывший наш детдомовец, откуда-то сбежавший. В крайнем случае, я там тоже поживу, пока не определюсь.

Приехав в детдом, я все рассказал директору Степану Разумовичу. Он очень расстроился и сказал, что так он не оставит. На следующий день мы с ним отправились в Бисерть. Обошли несколько районных организаций, в которых заручились ходатайствами и лестными для меня характеристиками. Правда, в одной организации отказались верить, что я немец, посчитав это дурной шуткой. Но, поудивлявшись, нужную бумагу дали.

Подготовив обширное письмо (что там было, не знаю) и приложив к нему бумаги из района, Степан Разумович поехал со мной в Свердловск. У здания техникума он почему-то оставил меня на улице, а сам прошел к директору. Его долго не было. Когда он вышел, он коротко сказал:

— Тебя приняли.

И мы отправились домой, в наш детский дом, где мне предстояло готовиться к переезду в Свердловск.

В Кленовском детском доме я был первым воспитанником, которого отправляли на учебу, и одеть меня старались как можно лучше — выдали дешевенький, но новый костюм, новые ботинки, рубашки. Подобрали и зимнюю одежду, только до зимы оставили на складе. Еще раньше я сделал себе деревянный чемодан, который выкрасил в светло-зеленую краску, какая нашлась. В него я сложил свои немудреные вещи — рубашку, смену белья, пару книжек и немного продуктов.

В конце августа 1948 года, взяв свой чемодан и получив немного денег, я оставил детский дом и отправился в Свердловск. Я уже писал, что до Свердловска мы всегда добирались на подножках вагонов или, если повезет, на межвагонных площадках. Когда проходил слух, что идут контролеры, мы по лестницам залезали на крыши вагонов. Контролеры проходили, и мы возвращались на свои места. Но в этой поездке меня

задержали: спрятаться на крыше мне помешал мой чемодан. Контролер завел меня в вагон и потребовал заплатить штраф. Напрасно я объяснял, что я из детдома, что еду учиться. Контролер был неумолим и пригрозил сдать в милицию на ближайшей станции. Такая перспектива меня не устраивала, пришлось отдать ему половину моих денег. Единственно, что было в этом хорошего, — он не высадил меня, и до самого Свердловска я ехал почти с комфортом — в тамбуре вагона.

Мне дали место в студенческом общежитии, и начались мои занятия в техникуме. Большинство учебников я получил в библиотеке, но несколько книг пришлось покупать, что еще сократило мой «бюджет».

Однажды я решил посмотреть город и вышел к водохранилищу, которое находилось почти в центре города. У берега стояла лодка с двумя мальчишками на борту.

— Пацан, хочешь покататься? — спросил один из них.

Я согласился. Мы отплыли довольно далеко от берега, и тот, который пригласил меня, вдруг сказал:

— Пацан, дай трояк, а то лодку перевернем!

И они стали ее раскачивать. Я стал говорить, что денег у меня нет, что я детдомовец, но они только смеялись:

— Давай, куркуль, не жмись!

В своей одежде я действительно выглядел богатым куркулем. Лодка все больше раскачивалась и уже черпала воду. Я понимал, что в одежде я до берега не доплыву, а для пацанов это не проблема: они были трусах. Пришлось отдать им три рубля.

И были еще расходы. Преподаватель по черчению, седой нагловатый франт в костюме с бабочкой, на первом занятии поучал нас, мальчишек 14–15 лет:

— Запомните на всю жизнь: жену и готовальню никому не доверяй!

Он показал нам заграничные карандаши «кох-и-нор» и сказал, что без таких карандашей чертить мы не научимся, и тут же предложил их купить. Никто не осмелился отказаться, и на последние деньги мне пришлось тоже купить пару карандашей.

Заканчивалась первая неделя занятий, а деньги мои уже кончились. Стипендию я мог получить только в двадцатых числах, но до нее надо было еще дожить. Надо ехать в детдом, там обязательно помогут.

Поезда, идущего в нашу сторону, я дождался только к вечеру. Милиция гоняла нас, и заскочить на подножку я смог уже на ходу. Потом я перебрался на крышу вагона. В дороге сильно раскачивало, пришлось крепко держался за дефлектор (вентиляционную трубу). После Дружинино совсем стемнело. С крыши вагона я видел ритмично загоравшиеся огни автоблокировки — красный, желтый, зеленый, потом снова красный, и так далее. Лежа на крыше и любуясь этими огнями, до Кленовского разъезда я доехал поздно вечером.

Еще километра три надо было пройти пешком, и в детдом я пришел уже ночью. Когда я появился в нашей спальне, ребята повскакивали и кинулись ко мне:

— Робка, у тебя отец нашелся!

Они рассказали, что от отца пришло какое-то письмо, его читали в воспитательской, возможно, оно и теперь там. Воспитательская, расположенная на втором этаже, была, конечно, заперта. По углу нашего здания я забрался на второй этаж (мы проделывали это часто) и через окно влез в воспитательскую. Но там я ничего не нашел и, несмотря на ночное время, отправился на квартиру к Степану Разумовичу. Он не стал выговаривать за позднее время и показал письмо из какой-то комендатуры. В нем стояло, что спецпереселенец Иван Давидович Ридель, проживающий в городе Темир-Тау Карагандинской области, разыскивает сына Роберта Ивановича Риделя. Я не столько обрадовался, сколько почувствовал большое облегчение: мне вспомнились мои многолетние мытарства, моя теперешняя неприкаянность и никомуненужность. И я сказал Степану Разумовичу:

— Не отвечайте на письмо, я сам поеду.

Пришлось съездить в техникум за документами. Завуч техникума, просмотрев, видимо, мои оценки, стал уговаривать не бросать учебу, даже предложил отпуск для поездки к отцу, благо, что студенты в это время были на сельхозработах. Но я уперся. Сказалось, возможно, и то, что здесь я испытал незаслуженное унижение, когда меня, мальчишку пятнадцати лет, выставили за дверь только за то, что я не тем уродился.

Так я ушел из Свердловского горно-металлургического техникума, где, сдав вступительные экзамены, проучился одну неделю.

19. В Казахстан

Ехать-то я собирался, а как это осуществить, не знал, главное — на дорогу не было денег. Детский дом не мог мне их дать: здесь я уже не числился. Выход нашел Степан Разумович: он дал мне бумагу, которую я подписал задним числом. В ней стояло, что в августе, когда я уезжал в техникум, я получил не один, как было фактически, а два костюма. Второй костюм он взял себе, а за него дал мне денег. В детдомовской кухне мне наварили мяса и залили его жиром в литровых банках, напекли сухой выпечки.

С билетом на поезд тоже было непросто. Начальник Кленовского разъезда хоть и с трудом, но забронировал место на проходящий поезд. Но было неизвестно, куда выписывать билет. По железнодорожным справочникам и по карте, висевшей в кабинете начальника, в Карагандинской области не было города Темир-Тау. Начальник предложил выписать билет до города Темир-Тау, который находился в Кемеровской области.

— Возможно, в письме перепутали области, — сказал он.

Но я не согласился:

— Дайте мне билет до Караганды, а с моими детдомовскими документами меня любая милиция доставит к отцу.

Вручая мне билет, начальник разъезда предупредил, что в Петропавловске я должен буду сделать пересадку.

На разъезде меня провожал Степан Разумович. Подошел поезд, Степан Разумович помог мне с моим зеленым чемоданом забраться в вагон, и поезд сразу же тронулся.

Я прошел в вагон и занял место, указанное проводником. За окнами проплывали знакомые места, покрытые лесом горы. Поезд набирал ходу, вагон слегка раскачивало, мерно стучали колеса. И только теперь я почувствовал, что уезжаю насовсем, что детдомовская жизнь и все, что с ней было связано, и плохое, и хорошее, остались позади. И было неизвестно, что ждет меня там, куда я еду.

На подъезде к Свердловску я случайно узнал, что поезд, на котором мы едем, не проходит через Петропавловск: он идет по северной ветке через Тюмень (начальник разъезда ошибся и дал мне билет не на тот поезд). Пришлось поспешно сойти. На вокзале было много народу, люди часами, а то и сутками стояли в очередях у касс. Но мне удалось в тот же день получить место на поезд, проходящий через Петропавловск.

На вокзале Петропавловска народу было еще больше. В одной из длинных очередей я познакомился с двумя парнями, которые ехали в Балхаш. Они были старше меня, да и вид их был довольно подозрительный, но меня это не пугало: взять у меня было нечего, а в компании дорога проще. Когда один из нас отлучался (днем — сходить поесть, сбегать в справочную или в туалет, а ночью — немного поспать), остальные караулили очередь. Только на другой день мы получили места на нужный поезд.

В Караганду мы ехали без особых приключений. Меня волновал вопрос: существует ли там, куда я еду, город Темир-Тау? Уже недалеко от Караганды я узнал, что такой город есть (год назад так назвали поселок Самаркандский) и что мне нужно сходить на разъезде Солончики.

Поздно вечером я сошел на разъезде Солончики. Вместе со мной сошли молодой парень и несколько больших семей. Эти смуглые черноволосые люди показались мне цыганами, но парень-попутчик (он оказался местным) сказал, что это чеченцы или ингуши, высланные с Кавказа во время войны. С ними был вербовщик, откуда-то их перевозивший в Темир-Тау.

На разъезде выяснилось, что железную дорогу на Темир-Тау недавно закончили реконструировать, но еще не сдали в эксплуатацию, и изредка туда ходят товарные поезда, и то с малой скоростью.

Ночь мы провели в маленьком здании разъезда. Утром вербовщик проявил бурную деятельность, и вскорости его горцы забирались на товарный поезд, отправлявшийся в Темир-Тау. Бóльшая их часть расположилась в крытом вагоне с каким-то грузом, а остальные — на открытой платформе с шамотным кирпичом. Мы с парнем тоже пристроились на этой платформе.

Здесь я впервые услышал (не по радио или в кино, а «вживую») многоголосное пение горцев, и не каких-нибудь артистов, а простых людей. Их красивая печальная песня, доносившаяся из соседнего вагона, так отвечала моему тревожному настроению.

Поезд шел очень медленно с остановками в открытом поле. До Темир-Тау, до которого было километров тридцать, мы добирались несколько часов.

С обеих сторон лежала сухая степь, простиравшаяся до самого горизонта. Уже на подъезде к Темир-Тау показалось огромное водохранилище. Пошли большие огороды, на некоторых работали пленные японцы в желтовато-зеленой форме. Появились какие-то бараки, заводские постройки, и поезд прибыл на конечную станцию. На вагончике, который стоял вместо вокзала, было написано «Темир-Тау».

До центра пришлось идти пешком, и до него я добрался только к концу дня. Спрашивая у прохожих милицию, я дошел до старой части города, состоявшей из сплошного ряда низких землянок. Для меня, жившего в Сибири и на Урале, где в любой деревне стояли высокие деревянные дома, все это было непривычным и в наступавших сумерках казалось враждебным. К тому же меня несколько раз направляли в противоположные стороны, так как городская милиция два дня назад переехала на новое место и не всякий об этом знал. К зданию милиции я подошел, когда совсем стемнело.

Начальник милиции просмотрел мои документы и сказал, что мне надо не сюда, а в какую-то «комендатуру». Он долго объяснял, как ее найти, и для ориентира посоветовал держаться старой узкоколейки. В полной темноте (освещения не было) я углубился по этой узкоколейке в район землянок и понял, что, если я ее оставлю, то совсем потеряюсь. По ней же я вернулся к милиции и расположился на ночь на скамейке, благо, что погода была теплая. Скамейка стояла недалеко от входа в милицию, и было видно, как входят и выходят милиционеры, какие-то люди в штатском. Подошел дежурный и сказал, что здесь нельзя находиться. Но уходить мне было некуда. Видимо, обо мне доложили начальнику, потому что он позвал меня в кабинет. Узнав, что я не нашел комендатуру, он предложил на ночь стоявший в углу пустой стол, которому еще не нашлось, видно, места в новом здании.

Заперев мои бумаги в сейф, он ушел, а я улегся на стол и проспал на нем до утра.

Когда начальник милиции утром пришел, я уже не спал. Он расспросил, откуда я, где мне приходилось быть. Потом он куда-то позвонил, и вскорости пришел высокий человек в военной форме. Это был Габуренко, комендант местной спецкомендатуры.

— Ты сын Ивана Давидовича? Пойдем, я отведу тебя к нему.

И он повел меня в артель «Заря», где, как он сказал, работает мой отец. Мы вошли в большой двор, в глубине которого находился колбасный цех. Войдя в цех, Габуренко громко сказал:

— Иван Давидович, я привел тебе сына!

Тут я увидел отца. Он показался мне меньше ростом, очень худым, с сильной проседью. Мы обнялись.

Подошли работавшие в цехе женщины, о чем-то спрашивали. Отец выглядел несколько растерянным: он ждал ответа на запрос комендатуры, а я явился сам.

Он попросил меня подождать. Открыли коптильню, и из нее стали выкатывать деревянные стеллажи с готовым сервелатом. Работая, женщины жалостливо поглядывали на меня, охали, разговаривая между собой. Грязный и измятый за долгую дорогу, я действительно выглядел не ахти. Я сидел и думал, что хорошо бы, чтобы и мама была здесь в Темир-Тау. Но отец ничего не говорил и помогал выкатывать стеллажи. Одна из женщин предложила мне палку еще горячего сервелата. Колбаса была такой душистой и вкусной, а я был такой голодный, что я не заметил, как съел всю палку. В цеху еще долго вспоминали, каким голодным приехал сын Ивана Давидовича. Но от свежего, еще горячего сервелата не отказался бы, я думаю, и менее голодный человек.

По дороге к себе домой отец как-то мялся, говорил, что с мамой у него еще раньше были проблемы, что, где она сейчас, он не знает и что у него живет одна женщина. Мы пришли на квартиру, которую он снимал в частном доме, и там он познакомил меня с тетей Марусей, ставшей теперь моей мачехой.

20. Темир-Тау — Железная Гора

Трудармейские лагеря закрыли только в 1947 году, через два года после окончания войны, и российским немцам предложили на выбор: или они остаются там, где находятся их лагеря, и туда же приезжают их семьи, или они возвращаются в места, куда их высылали. Оставаться на лесоразработках отец не захотел, а возвращаться в Красноярский край ему было не к кому: мама, с которой уже произошел разрыв, находилась где-то в Бурят-Монголии, а где находился я, он не знал. И ему разрешили ехать в Казахстан, в молодой город Темир-Тау, где нужны были рабочие руки.

В переводе с казахского «Темир-Тау» означает железная гора. Название оправдывалось тем, что в городе действовал сталелитейный завод и намечалось строительство крупного металлургического комбината. Железных гор там, конечно, не было, но были горы, похожие на уральские. Ребятам в детдом я потом писал: «Здесь такие же горы, как у нас, только лысые».

Молодой город быстро рос: строились промышленные объекты, жилые кварталы. Как всегда на таких стройках, в городе было несколько лагерей ГУЛАГа, среди которых был лагерь для японских военнопленных, который вскоре закрыли.

Приехав в Темир-Тау и встав на учет в спецкомендатуре, отец пошел работать путевым рабочим. В спецкомендатуре узнали, что он имеет опыт работы по изготовлению колбас (в двадцатые годы в Ташкенте он действительно работал подмастерьем в колбасной артели). Его вызвали и сказали, что ему поручается организовать колбасное производство. Он активно взялся: в одном из помещений тогдашней артели «Заря» сложил печь-коптильню, подобрал оборудование, и колбасный цех заработал. Колбасу, которую выпускал этот цех, в городе знали: она всегда была лучше привозной. И когда намечались важные мероприятия

(партийные конференции, торжественные собрания), городское начальство, знавшее отца как превосходного мастера, обращалось к нему, и он несколько ночей оставался в цеху и сам изготавливал колбасные деликатесы для начальственных буфетов.

Тетя Маруся, моя мачеха, приехала сюда тоже в 1947 году, спасаясь от голода на Украине. Это была крупная грубоватая женщина лет тридцати, говорившая на смеси украинских и русских слов. Она не работала, занималась домашним хозяйством: они держали пару свиней, а потом завели и корову.

Для меня здесь многое было непривычным, особенно в первое время. До этого я жил в ребячьих коллективах, рядом были товарищи, вместе с которыми мы переживали все наши мальчишеские события. Здесь я пошел в школу, в восьмой класс, но мои одноклассники жили в другой части города, у них была своя компания, а я на нашей окраине оказался один. И мои домашние, в отличие от детдомовских воспитателей, были далеки от моих школьных дел, многое, что меня интересовало, о чем я читал в книгах или узнавал от учителей, было им непонятно.

Жизнь моя стала довольно однообразной. В школу я уходил в обед, во вторую смену. С утра шел в центр города за хлебом, где подолгу выстаивал в очередях. Вернувшись, я садился за уроки. Некоторых учебников у меня не было, и иногда приходилось идти к ребятам через весь город.

Времени на домашние задания часто не хватало, но я как-то справлялся, и проблем с успеваемостью у меня не было. А вечерами я читал книги, которые брал в библиотеке клуба строителей, расположенного недалеко от нас.

Вся эта моя возня с книгами и тетрадками раздражала тетю Марусю.

— Такой лоб, и не работает, — повторяла она. — Все романами занимается (с ударением на «о»)!

Но отец, сам малограмотный, научившийся кое-как писать уже взрослым, считал, что я должен получить образование, и не обращал внимание на ее ворчание.

Семейная жизнь у них была какой-то странной. У каждого из них был свой шкаф, который они тщательно запирали друг от друга. Отец никогда не посвящал ее в свои дела, не говорил о чем-нибудь серьезном: их разговоры касались только домашних дел. Когда отец приходил с работы, она так подробно перечисляла сделанное ею за день, что иногда мне хотелось сказать:

— Не забудьте добавить, что один раз переставили табуретку!

Так прошло три года. Я закончил восьмой, потом девятый класс и уже учился в десятом классе. За эти годы наша школа № 1 так и не стала для меня «родной». С одноклассниками у меня были ровные отношения, но в школе тон задавали ученики из «богатеньких», как мы считали, семей. Это были отпрыски разного уровня «начальства». Держались они всегда вместе, свысока, как мне казалось, поглядывая на остальных. Одевались они лучше нас, у некоторых были даже костюмы. Я из-за этого особенно переживал, так как ходил в фланелевых шаро-

варах и в такой же куртке. Все эти сынки казалась мне «лощеными», и возле них я чувствовал себя неуютно.

Возможно, что все это я ощущал слишком обостренно, возможно, что это был подростковый максимализм. Как бы там ни было, но в школьной жизни я практически не участвовал и после уроков старался поскорее уйти домой.

А учиться мне нравилось. Во многом это было заслугой наших учителей, разными путями заброшенных в эти края. Интеллигентная, тонкая по натуре Нина Николаевна увлеченно вела у нас уроки литературы. Благодаря ей многие из нас знали и любили литературу. Даниил Борисович, энергичный кореец, как-то по своему учил нас математике. Вот один из его приемов: на обычном уроке он вдруг объявлял блиц-контрольную без выставления оценок. Такой «блиц» превращался в соревнование, где каждый старался опередить другого. Завуч школы Валентина Александровна так обстоятельно вела уроки по химии, что химия стала моим любимым предметом, и я мечтал стать химиком. Но особенно мы любили Георгия Автономовича, учителя истории и географии, фронтовика со шрамами на лице. Он уважительно относился к ученикам, и на его уроках всегда было интересно. Иногда вместо опроса он проводил что-то вроде международной конференции, выясняя наше мнение о причинах какого-нибудь события столетней давности. И быть не в курсе было просто стыдно. На уроках он размышлял вместе с нами, делился своими мыслями. А некоторые из них меня поражали. Он, например, говорил , что массовое изгнание мусульман-арабов, в основном, ремесленников, было началом заката процветающей Испании. Или такое: после Первой мировой войны промышленность Германии быстро развивалась потому, что была разрушена и восстанавливалась по более современным технологиям.

Спустя годы я с удивлением узнал, что он не был ни историком, ни географом, а был учителем химии.

А дома все оставалось по-прежнему. За эти годы отец пару раз оставался без работы (закрывали организованные им производства по указанию из области). В эти короткие периоды отец посылал меня на базар продать что-нибудь из его одежды (пальто, сапоги и т. п.). И еще — за эти годы у отца с тетей Марусей было несколько крупных скандалов, во время которых она, к моей радости, уходила к своей сестре, тоже приехавшей в Темир-Тау. Но, к моему сожалению, она каждый раз возвращалась.

Глухая неприязнь между мною и мачехой постоянно давила меня, и я не мог дождаться часа, когда я смогу уехать из этого дома. А уехать я мечтал в институт, я собирался учиться дальше.

21. Я — горняк

Школу я окончил (и вполне прилично) в 1951 году. К выпускному вечеру мы готовились обстоятельно, даже нашли средства для праздничного стола: сдали целый грузовик металлолома, собранного на терри-

тории одного из заводов. Выпускной вечер прошел торжественно и весело, много танцевали, пели. Особенно дружно распевались дорожные и студенческие песни .

Одноклассники вскоре разъехались по городам поступать в институты, в университеты. Школьная подготовка у нас была неплохая, и почти все они учились потом в Москве, в Новосибирске, в Новокузнецке, в других городах.

Только мы, трое немцев, не смогли уехать: нас не выпустила спецкомендатура. Нам сказали, что максимум, на что мы можем рассчитывать, это поехать в Караганду или еще куда-нибудь в пределах Карагандинской области, и то, если разрешит областное МВД.

В Караганде был только один институт — медицинский. Разрешат нам туда поступать или нет, мы не знали, но желания стать медиками у нас не было («всю жизнь в больнице»). Для нас оставались техникумы, для которых достаточно было семилетней школы: получается, что три последних года мы учились напрасно.

Не послушавшись коменданта, мы послали документы за пределы Карагандинской области — в горно-металлургический техникум города Щучинск (в названии специальности нам понравились слова «цветные металлы»). Наши документы скоро вернулись с припиской, что мы не приложили аттестаты зрелости, хотя эти аттестаты лежали тут же в конвертах. Таким способом нам просто отказывали.

Мы сделали вторую попытку — послали документы в Караганду, в горный техникум. Там документы приняли: видимо, сочли, что таким, как мы, работать на шахтах можно. И здесь нам повезло: нас приняли сразу на третий курс, в одну из только что организованных групп «десятиклассников» (для имевших, как минимум, десятиклассное образование). На шахтах остро не хватало специалистов, а в Караганде и в области скопилось много репрессированной молодежи, путь в институты для которой был закрыт. Группы «десятиклассников» и были созданы для того, чтобы из этой молодежи ускоренно готовить шахтных специалистов.

Шахтерский город Караганда возник в начале тридцатых годов одновременно со строительством первых угольных шахт. Здесь были поселки Федоровка, Михайловка, Тихоновка, Майкудук, в начале века основанные крестьянами, приехавшими из Центральной России в поисках лучших земель. Поселки оказались в городской черте и стали городскими районами. Нужны были рабочие руки, и возникли лагеря ГУЛАГа, эшелонами стали привозить «раскулаченных» крестьян.

Одновременно с шахтами строились, в основном, бараки и типовые землянки. Во время войны шахты строились особенно бурно, и сюда нагнали много народу, больше всего спецпереселенцев: сначала советских немцев, а потом кавказцев. Вокруг шахт стихийно возникали горняцкие поселки с кривыми улочками и грязными землянками. Эти поселки, вместе с многочисленными шахтами и застройками тридцатых годов, образовали основную часть тогдашней Караганды — Старый город.

В стороне от Старого города, как остров в сухой степи, расположился Новый город с прямыми улицами и многоэтажными домами. К нашему приезду в нем было десятка полтора зданий. Здесь же находилось несколько учебных заведений и среди них горный техникум.

Карагандинский горный техникум считался одним из лучших в угольной отрасли. Здесь были хорошие аудитории, неплохо оборудованные лаборатории и учебные мастерские. Преподавателями были профессора и доценты из немцев-спецпереселенцев и политических ссыльных. Производственную практику студенты проходили на ближайших шахтах.

На шахтах выпускников техникума ценили и часто брали на работу охотнее, чем выпускников каких-нибудь столичных институтов.

Я стал студентом-горняком. Группа, куда меня зачислили, называлась РУМ — 51Д, что означало — «разработка угольных месторождений, 1951 год, десятиклассники». Состав группы был очень разный. Были вчерашние школьники (вроде меня), и были тридцатилетние, уже пожившие, как мы считали, люди, когда-то учившиеся в институтах. И бóльшую часть группы составляли немцы-спецпереселенцы.

Студенческое общежитие, где я стал жить, размещалось в большом трехэтажном здании. Оно было неплохо оборудовано, чистоту и порядок в нем поддерживал специальный персонал. Общежитие считалось лучшим в городе, что объяснялось просто: техникум был достаточно «богат», потому что содержался на средства угольной промышленности.

Наша комната была на шесть человек. Кроме меня, здесь был студент из нашей группы, когда-то учившийся в московском Литинституте и недавно отбывший ссылку в Сибири, были два геолога-второкурсника: один — с поврежденным глазом, родом из Заполярья, где он прошел через приключения, каждое из которых могло закончиться тюрьмой, другой — высокий блондин из Подмосковья, мальчишкой много бродяжничавший на поездах. Однажды он добрался до Владивостока, но на обратном пути его задержали в Биробиджане (главном городе Еврейской автономной области). Рассказывая об этом, он возмущался:

— Ты понимаешь?! Там даже милиционеры евреи!

И были два первокурсника-казаха. Приехавшие из степной глубинки, они вскорости куда-то исчезли: или бросили учебу, или перевелись в другой техникум. Один из них что-то слыхал о «городском обхождении», потому что, сказав: «Извини!», он мог оттолкнуть стоявшего на пути или бесцеремонно взять нужную ему вещь, например, чертежный инструмент. Когда ребята возмущались, он удивлялся:

— Я же сказал: «Извини», — что еще надо?

Старший брат второго первокурсника работал в каких-то «органах». Этот работник органов несколько раз приходил к нам в полной офицерской форме и просил помочь брату в учебе. Но выполнить эту просьбу мы были не в силах: его братец был настолько слаб, что казалось, что он никогда не учился в школе.

Началась наша студенческая жизнь. Нам сшили горняцкую студенческую форму — черную куртку с «золотыми» пуговицами и черные

брюки, выдали форменную черную шинель и фуражку с «молотками». Мы носили эту форму с гордостью, она была и повседневной, и парадной (другой приличной одежды у нас просто не было).

Наших преподавателей я вспоминаю с благодарностью. Они не только глубоко знали и ярко преподавали свои предметы, они воспитывали нас своей манерой обращения и даже своим внешним видом. Горную электротехнику у нас преподавал представительный пожилой немец. Во время переменки я по школьной привычке хотел заглянуть в лежащий перед ним журнал с оценками. Повернувшись ко мне, он сказал:

— Молодой человек, нехорошо читать чужие записи.

Я смутился, а он, улыбнувшись, сказал:

— Ничего, ничего, вы не виноваты, виновато ваше воспитание.

У многих студентов были, как теперь говорят, свое хобби. Кто-то увлекался спортом и пропадал в спортивном зале, кто-то часами просиживал за шахматами, некоторые участвовали в художественной самодеятельности, которая в техникуме была очень сильной. В эстрадном оркестре, например, у нас играли студенты, имевшие музыкальное образование. А в струнном оркестре, где я играл на домре-приме, некоторые ребята были просто виртуозами.

До участия в струнном оркестре я пробовал учиться игре на баяне (по самоучителю). Какие-то вещи я уже играл, но дальше дело не пошло: моя пальцовка была поставлена для игры на гармошке, а самому переучиваться было трудно.

На первую стипендию я приобрел простенький фотоаппарат «Комсомолец» и увлекся фотографией. Снимки получались небольшого формата (шесть-на-шесть, как мы говорили). Потом я купил еще такой же фотоаппарат, а из первого сделал широкопленочный увеличитель. Я убрал у него заднюю крышку, на ее место положил несколько слоев самодельного «матового» (натертого наждачкой) стекла. Фотоаппарат закрепил в горловине бидончика из белой жести, а через его дно пропустил шнур с электролампой. В учебной мастерской мне помогли сделать кронштейн из водопроводных труб. Увеличитель получился довольно грубым, но он функционировал: я мог делать позитивы любого формата.

Фотографии я печатал по ночам и для глянцевания наклеивал их мокрыми на оконные стекла. По утрам нас будил треск отскакивающих от стекол фотографий, высушенных ранним солнцем.

На деньги, заработанные на первой производственной практике, я купил малоформатную камеру ФЭД и старый увеличитель. Качество моих снимков улучшилось, я стал даже зарабатывать фотографией. Обо мне заговорили как о хорошем фотографе и приходили «сниматься» целыми группами. Но мой секрет был прост: я никогда не отдавал плохие фотографии, говорил, что снимки не получились, и повторял съемку.

В сентябре 1952 года у меня была первая производственная практика. Проходил я ее на очень старой шахте «19-основная». Нас, двух студентов, включили в бригаду проходчиков, проходивших главный штрек — большую горную выработку. Часть забоя проходили по углю, часть — по

крепкому песчанику. Электросверлами («баранами») мы бурили шпуры, вместе с запальщиком заряжали их взрывчаткой и потом взрывали. Взорванную горную массу грузили лопатами в вагонетки, которые вручную откатывали к наклонному стволу. С помощью «баранчика» (тросика со штангой, на конце которой был крючок, напоминавший поросячий хвост) мы цепляли вагонетки за постоянно двигающийся «бесконечный» канат, который поднимал их на поверхность. Потом крепили забой (ставили П-образные рамы из толстых бревен), и цикл повторялся: бурились шпуры, их взрывали и т. д.

Нам, юнцам, не имевших нужных навыков, работать в забое было трудно и особенно было тяжело грузить породу лопатой. Мы обратили внимание на стоявшую без действия углепогрузочную машину (похожую на теперешнюю снегоуборочную машину). Неисправность оказалась несложной, машину мы починили и остаток смены грузили породу только ею. В другие две смены машина, не рассчитаная на крепкий песчаник, ломалась, но мы опять чинили и продолжали механическую погрузку. Так повторялось много раз.

Потом нас, студентов, перевели на проходку водосборника, небольшой выработки по углю. Технология работ была такой же, только груженые вагонетки откатывались к стволу конной тягой. Для этого у нас была небольшая лошадь. Когда вагонетки не откатывались, лошадка мирно, как где-нибудь в деревне, жевала в сторонке душистое сено. Раз в неделю ее выводили на поверхность по старому наклонному стволу. В стволе нередко свисали сломанные верхняки (деревянные бревна), о которые лошадь иногда ударялась. На голове у лошади была фибровая шахтерская каска с прорезями для ушей, которая ее защищала.

Шахтерские смены длились тогда по восемь часов, а с учетом процедур на поверхности (выслушивание наряда, получение и сдача шахтерских ламп и самоспасателей, мытье в шахтерской бане) и с учетом времени на длительный пеший спуск и на еще более длительный подъем по полуразрушенному наклонному стволу фактическая длительность смены достигала десяти часов и более. Но я был молод и, по всей видимости, полон сил, потому что втянулся в шахтерскую работу, не стал уставать и в конце практики мне даже нравилось работать проходчиком.

На второй, уже преддипломной, практике я работал подменным мастером на шахте Кирова. В лаве, где добывали уголь, я подменял горных мастеров в их выходные дни или дежурил в ремонтные смены. Для меня здесь были другие трудности: приходилось на ходу учиться управлять конкретным производством, нередко ошибаясь, особенно вначале. Но мне подсказывали бригадиры, а опытные шахтеры сами делали все правильно.

На карагандинских шахтах, особо опасных по газу и угольной пыли, довольно часто происходили взрывы метана, обвалы, пожары, и все с человеческими жертвами. Мы об этом знали, но под землей об опасностях совсем не думалось.

22. «Ограничения»

Когда в детдоме я узнал, что меня разыскивает какая-то «комендатура», в этом слове мне слышалось что-то романтичное. Из книг я знал, что есть военная комендатура, есть комендатура Кремля, у Пушкина я читал о коменданте крепости. И встречи с разыскивающей меня «комендатурой» я ждал с интересом.

Комендант, которого я увидел в Темир-Тау, не разочаровал моих ожиданий: это был высокий подтянутый военный. Какой комендатуры он комендант, я не знал, о существовании какой-то «спецкомендатуры» не имел представления.

Через месяц после моего приезда, в начале ноября 1948 года наступило мое совершеннолетие: мне исполнилось 16 лет. В местной милиции вместо паспорта мне выдали справку об удостоверении личности, — каждые полгода ее надо было обновлять. В спецкомендатуре меня поставили на учет (на «отметку», как тогда говорили) и сказали, что теперь я каждый месяц должен приходить сюда «отмечаться».

Для меня все это было полной неожиданностью и после вольной детдомовской жизни подействовало на меня угнетающе. Потом, конечно, пришлось свыкнуться (как привыкает пес к своей цепи), но внутренний протест против этой несправедливости (никаких преступлений я ведь не совершал) остался у меня на всю жизнь.

Еще в Сибири, когда мне не было и десяти лет, я уже понимал, что наше выселение и все наши беды происходят из-за того, что у нас такая же национальность, как и у тех, кто воюет против нашей страны. Потом я стал постарше и стал понимать, что трудно не только нам, трудно всем, и все из-за того, что идет страшная война. Война закончится, думал я, и все будет так же, как до войны. А теперь, когда после войны прошло уже три года, для нас, оказывается, не только ничего не изменилось, но все стало хуже: режим ссылки становился все жестче и жестче. В сорок пятом для спецпереселенцев ввели спецкомендатуры, а в год моего приезда в Темир-Тау вышел указ, в котором было объявлено, что нас выслали навечно и что каждый, кто выйдет за пределы места проживания, получит 20 лет каторжных работ.

Еще одной мерой ужесточения было введение так называемых, десятидворок. Я был школьником, учился в десятом классе, когда «десятидворкой» назначили меня. Каждую неделю я должен был приходить в комендатуру, чтобы отчитаться, на месте ли ссыльные и спецпереселенцы, живущие на нашей улице. Приходилось делать поквартирные обходы, и это было самым неприятным. Подходишь к квартире какого-нибудь поселенца, стучишься, хозяева открывают и, увидев меня, мальчишку-проверяющего, мрачнеют. Я о чем-то их спрашиваю, они отвечают, но я чувствую: они ждут, не дождутся, когда я уйду. Идешь к следующему поселенцу, и там все повторяется...

Однажды меня срочно вызвали к коменданту, который встретил меня с криком, с угрозами посадить в тюрьму. Из его крика я понял, что сбежала молодая немка, живущая на нашей улице. Накричавшись, ко-

мендант встал, надел шинель и, как я понял, повел меня в тюрьму. Мы вышли в коридор, где группа женщин ждала приема к коменданту. Я шел потрясенный, бледный, как стена, и по моему виду женщины поняли, что меня за что-то наказывают. Они обступили коменданта:

— Куда вы ведете мальчишку? Что он такого сделал?

То ли эти женщины помогли, то ли комендант хотел меня просто попугать, но он развернулся и ушел в кабинет. Женщины о чем-то спрашивали, но я не мог отвечать и побрел домой.

Потом, конечно, выяснилось, что «сбежавшая» никуда не сбегала, а просто съездила без разрешения в Караганду на базар.

Спецкомендатура имела большую власть над нами, своими «подопечными». Комендант при желании мог любому из нас испортить жизнь. Мог навязать какую-нибудь дополнительную обязанность (как это было со мной), мог не дать разрешения на выезд за пределы города (на дальний сенокос или на базар), мог направить на тяжелую или вредную работу, и т. д. А когда спецпереселенец работал в местах, где можно было поживиться (на торговом складе, в магазине, на мясокомбинате, и т. п.), комендант пользовался своей властью для постоянных поборов. Он регулярно приходил к отцу в колбасный цех и бесплатно нагружался там мясом и колбасой. Видимо, ему однажды не доложили (его требования не всегда можно было выполнить), и, чтобы усилить давление на отца, он и назначил меня, подростка, «десятидворкой».

«Десятидворкой» я пробыл около полугода, до самого отъезда в Караганду. Все эти полгода я вынужден был «отмечаться» не каждый месяц, как все спецпереселенцы, а фактически каждую неделю.

Когда в августе 1951 года я приехал в Караганду и поступил в техникум, в спецкомендатуре Нового города нас сразу же поставили на учет. Комендантский режим здесь был еще жестче, чем в Темир-тау. Было запрещено не только выходить за черту города, но даже посещать другие городские районы. В магазинах тогда мало что можно было купить, все покупали на вещевом рынке, который находился в другом районе, в Старом городе. Приходилось ездить на рынок тайком, и эти «незаконные» поездки могли обернуться для нас большими неприятностями.

Комендатура постоянно нас контролировала, и в одно из воскресений проверяющие не нашли в общежитии нас с Николаем Кариусом (мы как раз были на вещевом рынке). На следующий день они специально пришли, чтобы допросить нас: где мы были вчера? Пришлось изворачиваться, что-то придумывать.

Стипендии не хватало, и многие студенты ездили к родителям за продуктами. Для студентов-спецпереселенцев такие поездки оказывалась целой проблемой. Поездка в Темир-Тау считалась «поездкой в другой город» (хотя до Темир-Тау было всего 30 километров) и получать разрешение мы должны были не в районной спецкомендатуре, а в областном управлении МВД. Заявления мы подавали заранее, почти за неделю, но с выдачей разрешения обычно затягивали, и я часто не успевал на поезд. Автобусного сообщения не было, приходилось добираться на попутных

грузовиках. Иногда мы уезжали, не дождавшись разрешения, но тоже на попутках (на железной дороге могли задержать при проверке документов).

После смерти Сталина режим спецкомендатур стал ослабевать. Нам выдали настоящие паспорта, в которых, правда, стояла большая печать с надписью: «Разрешается проживать в пределах Карагандинской области». Эту печать все называли «ограничением».

Спецкомендатуру окончательно ликвидировали в 1956 году. Нам выдали чистые, без прежней печати, паспорта, но обязали подписать бумагу, в которой ставили в известность, что нам запрещено возвращаться в места, откуда нас высылали. Иными словами, «ограничения» (и не только в этом) остались, мы продолжали быть людьми второго сорта.

После всего этого у меня навсегда осталась ненависть к режиму, в котором нам пришлось существовать еще несколько десятилетий. В период «оттепели» мне даже предложили вступить в коммунистическую партию — это, конечно, помогло бы мне в карьере и облегчило бы жизнь. Но я под разными предлогами отказался: я хорошо знал, что это за «партия».

И все эти десятилетия я жил со стремлением доказать, что я не человек второго сорта. И очень надеюсь, что мне это удалось.

23. Наум Коржавин

Когда группа РУМ-51Д собралась в первый раз, я обратил внимание на странного парня в сером свитерке — невысокого роста, с крупной головой на узких плечах, с большими очками на мягком лице. Он как-то неловко двигался и при быстрой ходьбе излишне размахивал руками. Парень был старше меня (мне было восемнадцать, а ему — двадцать пять).

Непрезентабельный его вид резко контрастировал с четкой выразительной речью. Первое, что пришло мне в голову, — это «говорок», языкастый лагерник (таких я встречал). Он подошел, мы разговорились. Оказалось, что он москвич, бывший студент Литературного института и зовут его Наум Мандель (теперь он известен как поэт Наум Коржавин). В Москве его арестовали, сколько-то времени он провел в тюрьме, потом сослали в Сибирь. После ссылки ему не разрешили вернуться в Москву, и он приехал в Караганду (где-то здесь жил его «дядька», как он говорил). Кроме, как писать стихи, он ничего не умел, специальности у него не было, и он поступил в горный техникум, где давали стипендию и место в общежитии.

В Караганде находилось много политических ссыльных, и среди них была группа столичной молодежи, знавшей Наума еще по Москве. Это были студенты, журналисты, молодые ученые. Все они жили в землянках Михайловки, недалеко от Нового города, который уже тогда был культурным центром Караганды. Когда Наум поселился в студенческом общежитии, молодежь потянулась к нему на «огонек» и допоздна засиживалась в нашей комнате.

Когда я познакомился с ними поближе, мне открылся другой, незнакомый мне мир. Я с интересом слушал, как они рассказывают о

Москве, вспоминают общих знакомых, среди которых были известные люди. Говорили и часто спорили о литературе.

Некоторые их привычки казались мне странными. Взрослые люди, они называли друг друга детскими именами. Наума, например, они звали Эмкой (от имени Эммануил), Александра Есенина-Вольпина — Аликом, журналиста Юрия Миронова — Юркой. У молодой женщины, у которой недавно арестовали мужа, было загадочное имя Вавка. Кстати сказать, меня, мальчишку, всегда волновал ее облик: в нем было что-то загадочное, блоковское. Вот сцена в нашей комнате — стройная, в узком черном платье, с тонкими чертами лица, она сидит в стороне от всех и задумчиво курит папиросу, держа ее тонкими пальцами. Позднее у нас появилась Зайка, молоденькая студентка-москвичка, похожая на стройную южную казашку. Это была Заяра Веселая, младшая дочь писателя Артема Веселого, расстрелянного в тридцатые годы.

Я тоже называл их детскими именами, но звать Наума по девчоночьи Эмкой мне казалось несуразным. И в последующие годы московские друзья продолжали звать его Эмкой, но для меня он всегда оставался Наумом — в какой-то мере в память о нашей с ним карагандинской молодости.

Иногда к нам приходил Алик Есенин-Вольпин (сын Сергея Есенина). Светловолосый худощавый молодой человек несколько болезненного вида, он был мало похож на своего отца. Несмотря на молодость, он был уже кандидат наук (в каких-то заумных областях математики). Зная это, я донимал его тоже «заумными» вопросами, вроде — что такое теория относительности или как понимать четвертое измерение.

Осенью 1951 года в местном ресторане мы отмечали день рождения Наума. Нас было несколько студентов, и с нами был Алик. Выпив цимлянского, он преобразился, его лицо посвежело, и он стал удивительно похож на Сергея Есенина. Мы все вместе провожали его домой, и в темноте Михайловки он читал нам свои стихи (что-то про одинокий корабль в бушующем море).

Нас с Наумом часто видели вместе, и не только потому, что мы жили в одной комнате и учились в одной группе. Мне было интересно с ним общаться: он был старше меня и знал жизнь. И еще потому, что он литератор и поэт, и просто потому, что он умный и незаурядный человек. В наших разговорах мы затрагивали самые разные темы, среди которых были и очень серьезные. Инициатором таких тем чаще всего был Наум, и он же был, если можно так выразиться, главным докладчиком. И понятно почему: ему надо было поделиться своими мыслями, так как от литературной среды он был оторван, от читателей изолирован (первый его сборник вышел только через десять лет).

Литературу я знал только в объемах школы и от Наума узнавал много такого, о чем раньше не имел представления. Когда он говорил о литературе, для него не существовало авторитетов и на все у него было свое, ни от кого не зависящее мнение. Он мог, например, сказать, что у Некрасова какие-то стихи недоработаны, или мог нелестно отозваться о модном поэте.

Он рассказывал о встречах с известными поэтами и писателями. Откуда-то он принес сборник стихов Сергея Есенина, изданный еще в двадцатых годах, и многие есенинские стихи я прочитал тогда впервые. У меня был двухтомник Маяковского, которого я любил еще со школы, томик Блока. Стихи этих и других поэтов часто звучали в нашей комнате. Он читал мне свои стихи прошлых лет, показывал вновь написанное.

В наших разговорах не обходили мы и политику. О советском режиме, о карагандинских его несуразностях Наум говорил с таким возмущением, что приходилось его останавливать, особенно, когда рядом были посторонние. Таким явлениям, как массовые репрессии, борьба с космополитизмом, «дело врачей», он давал свои оценки, которые после смерти Сталина полностью подтвердились.

Как и любые студенты, попадали мы и в разные истории. Как-то в коридоре общежития мы встретили студента из нашей комнаты, который где-то напился и еле стоял на ногах. Мы с трудом затащили его в комнату. Мы не заметили, что за нами наблюдал вновь назначенный комсорг техникума. По его докладу на другой день появился приказ, в котором нам троим объявлялся выговор, как говорится, «за пьянство». За такой выговор снижали оценку по поведению и автоматически лишали стипендии. Для нас и особенно для Наума это было катастрофой: других средств к существованию у него не было. Директор техникума, знавший, что Наум московский поэт, относился к нему с уважением, и с недоразумением быстро разобрались. Стипендии нас не лишили, но выговор «за пьянство» у нас остался — в острастку четырнадцатилетним первокурсникам, которые, получив первую стипендию, часто попадали в пьяные истории.

Первую производственную практику Наум проходил на одной из шахт. Он был десятником вентиляции — контролировал работу газомерщиц, производивших замеры метана в шахтном воздухе: по длине пламени в специальной керосиновой лампе, и наблюдал за соблюдением правил безопасности. Наум говорил, что на шахте не очень-то следуют этим правилам и, если так пойдет дальше, шахта наверняка взорвется. И, действительно, через несколько месяцев на шахте был взрыв метана, погибли люди.

Со временем о Науме узнали, в местных газетах стали печатать его стихи. Каждое их появление было для нас событием, которое мы по-студенчески отмечали.

Учиться ему было труднее, чем мне: у меня свежи были школьные знания. Да и по натуре он был настоящим гуманитарием, далеким от технических премудростей.

Как бы там ни было, Наум закончил техникум. Какое-то время он работал в карагандинской газете, потом уехал в Подмосковье, а позднее жил в Москве. В начале семидесятых его стали притеснять, и он вынужден был уехать в США.

После техникума мы с ним встречались от случая к случаю. Но наша дружеская связь, которая зародилась в студенческие годы, никогда не прекращалась.

24. Жаркое лето 53-го

Если верить известному фильму «Холодное лето 53-го», холодным было лето на Колыме, а в Караганде лето в тот год было сухим и жарким. Я проходил преддипломную практику на шахте имени Кирова. Поднимаясь из шахты после ночной смены, я вспомнил, что не ответил на последнее мамино письмо. Надо будет еще раз написать, что, когда я закончу техникум и устроюсь на работу, я вызову ее к себе.

Переписка с мамой началась где-то в январе этого года. Она разыскала мой адрес и прислала длинное, много раз сложенное в гармошку письмо. Она описала, что с ней произошло за прошедшие десять лет. В начале 43-го, после мобилизации в трудармию, ее вместе с другими женщинами привезли в Бурят-Монголию. Работала она на лесоповале, а потом на свиноферме. В последние годы находилась на поселении в Улан-Удэ, работала в детском саду. В своем письме она задала мне много вопросов, спрашивала и про отца.

Я ей ответил, рассказал о своих приключениях, сообщил, что учусь в горном техникуме, после которого буду работать на шахте. Написал, что знал, и про отца. Письма от нее приходили часто, я отвечал. Мы строили планы, как она приедет ко мне и как мы будем жить вместе.

...Поднявшись на поверхность, я сдал самоспасатель и шахтерскую лампу, помылся в бане, переоделся и на трамвае поехал в студенческое общежитие. Там меня остановила дежурная:

— Роберт, тебе звонила твоя мама. Она ждет на вокзале в Старом городе.

Я с недоумением посмотрел на нее: она что-то напутала, я только что собирался писать маме в Бурят-Монголию.

На вокзал я, конечно, поехал, все еще не веря, что это действительно мама. Трамвай долго вез меня до Старого города, потом надо было идти пешком. Был уже полдень, когда я вошел в старое здание вокзала. В дальнем углу пустого полутемного зала одиноко сидела невысокая, совершено седая женщина. Я сразу понял, что это мама. С плачем она кинулась ко мне, мы обнялись...

Можно представить, что она переживала: мы не виделись десять лет, она оставила меня десятилетним мальчиком, а теперь я уже взрослый, мне шел 21-й год. Я тоже был потрясен этой встречей.

После первых минут я спросил, где ее вещи. Не переставая плакать, она сказала, что вещей у нее нет, что у нее все пропало. Немного успокоившись, она сказала, что в дороге с ней много чего произошло, она потом расскажет.

Остановилась она у хороших, как она сказала, людей, с которыми познакомилась в поезде, и первое время побудет в их доме.

Мы направились в этот дом. Хозяевами были пожилая чета лет шестидесяти. Был еще их сын-инвалид лет сорока с искалеченной от рождения ногой. Там же я встретился с маминым конвоиром, сопровождавшим ее в дороге. Это был какой-то блеклый человек в выцветшей солдатской форме. Почему-то он все время виновато улыбался.

Возвращаясь в общежитие, я думал о случившемся. Через несколько дней маму надо будет увозить от приютивших ее людей, для этого нужно снять квартиру, а денег на это у меня нет (зарплату на шахте я получу недели через две). И как ей жить, пока я учусь, я тоже не знал.

С этими проблемами я поехал к отцу. Отец сразу же сказал, что с мамой он жить не будет: слишком много накопилось у них того, в чем они будут упрекать друг друга всю жизнь. Он дал мне денег на квартиру, и с тем я уехал.

Но квартира маме не понадобилась: в первые же дни она нашла себе работу. Она устроилась няней в детский сад, и там же ей выделили угол для жилья. Детский сад находился недалеко от нашего общежития, и мы могли часто встречаться.

Как-то я спросил, почему она приехала, не дождавшись, когда я окончу учебу и устроюсь на работу.

— Если бы я не приехала, ты попал бы на рудники Бурят-Монголии, где люди быстро умирают.

И действительно, в Бурят-Монголии было много подземных рудников, где добывались руды цветных и редкоземельных металлов (свинца, цинка, молибдена и т. д.). Средства защиты были слабые, вредная рудная пыль быстро отравляла людей. Говорили, что на свинцовом руднике человек не выдерживал и одного года. Работали на этих рудниках заключенные и немцы-трудармейцы, а после ликвидации трудармии на рудники стали направлять спецпереселенцев.

Когда в спецкомендатуре узнали, что ее сын заканчивает горный техникум, маме сказали, что на местных рудниках не хватает специалистов и они затребуют ее сына в Бурят-Монголию. Дурная слава этих рудников была известна, и, чтобы спасти меня от них, она правдами и неправдами добилась, чтобы ее перевели в Караганду еще до окончания моей учебы.

До Караганды ей предстояло ехать поездом — неделю до Петропавловска, там сделать пересадку и еще сутки до Караганды.

С какой-то политической целью в 1953 году была устроена массовая амнистия уголовников. Об этом много писали, остались воспоминания очевидцев (об этом же был и упоминавшийся выше фильм «Холодное лето 53-го»).

По стране разъехались тысячи воров и убийц, практически безнаказанно грабя и убивая людей. В окруженной лагерями Караганде мы это почувствовали сразу. В городе и прежде было неспокойно, но тут резко участились грабежи, убийства, случаи злостного хулиганства. Даже говорили, что в городе свирепствует банда «Черная кошка».

Вот такое это было время, когда мама в сопровождении конвоира села на проходящий поезд «Хабаровск—Москва».

В поездах, идущих в сторону Москвы, и в обычные времена было достаточно уголовников, которые возвращались после отсидки в лагерях Дальнего Востока, Магадана, Колымы. А тут была массовая амнистия... Мама знала криминальный мир (в трудармии ей приходилось работать

вместе с заключенными-уголовниками), поэтому она быстро определила, что в поезде едет банда. За долгую дорогу в поезде было множество краж, пропадали люди. В ее вагоне пропал молодой летчик, а в его летной форме стал щеголять один из бандитов. Мама это видела и была настороже.

Бандиты приставали к маминому конвоиру, допытывались, не из охранников ли он. Тот клялся и божился, что он демобилизованный солдат и едет домой (свои погоны он спрятал в сапоги).

Мама любила одеться поярче и в вагоне ходила в шелковом халате. Бандиты давно к ней приглядывались, считая, что она богачка. Уголовниками они были, судя по всему, высокого класса, потому что, несмотря на всю мамину бдительность, они ночью, перед прибытием в Петропавловск, смогли украсть ее чемодан. В нем были все мамины вещи, все документы и все деньги. Мама рассказывала, что ее конвоир не спал и все видел, но от страха молчал.

В Петропавловске мама сразу же отправилась в милицию, где заявила о своем несчастье. Она сказала, что в поезде орудовала банда и эта банда ее обворовала. В своем заявлении она перечислила все, что у нее украли, и описала членов этой банды.

Потом она вышла на улицу и присела на скамейку у входа в милицию. По соседству находилась городская баня, и мама обратила внимание на мужчину и женщину, идущих с сумками в баню. Она сразу их узнала: они были из этой банды. Мама забежала к дежурному:

— Задержите этих двоих, это бандиты!

В сумке у задержанной женщины оказалось мамино белье, с которым она шла в баню, и этих двоих арестовали.

Начались долгие допросы, очные ставки, в которых маме приходилось участвовать. За неделю переловили всю банду. Бандиты знали, что именно мама была причиной их провала, и постоянно клялись ей отомстить. Их мести мама боялась до самой смерти.

Бандитов поймали, но из ее вещей нашли очень мало — немного белья, часть документов и облигации, которые ничего не стоили. Мама особенно переживала, что пропал костюм и наручные часы, которые она везла мне в подарок.

В Петропавловске она пробыла недели две. Все это время ее привлекали к разоблачению бандитов, которых допрашивали обычно по ночам. Она находилась на пределе своих сил, когда вместе с конвоиром ее отправили в Караганду. Через сутки, без вещей и без денег, она наконец прибыла в Караганду «на соединение с сыном», как официально писалось.

* * *

Закончив практику, я написал дипломный проект, и после его защиты мне торжественно вручили первый в моей жизни диплом — диплом техника по разработке угольных месторождений. Это произошло в ноябре 1953 года.

Я поступил на работу — взрывал уголь и горную породу на карагандинских шахтах. На такой работе, как у саперов, ошибиться можно было только раз...

Впереди была такая непростая взрослая жизнь.

Что было потом

Работа на шахтах была посменной, и, чтобы учиться по вечерам, я перешел в проектный институт «Карагандагипрошахт». В 1961 году закончил (с отличием) вечернее отделении Горного института, в 1971 году защитил в Москве диссертацию.

В проектном институте я проработал почти сорок лет. Начинал с младшего техника, закончил вице-президентом проектной фирмы. По разработанным нами проектам были построены крупнейшие угольные разрезы Казахстана и Средней Азии. Такие, например, как разрез «Богатырь», который добывал каменного угля больше, чем все карагандинские шахты вместе взятые (теперь этим разрезом владеют американцы).

Несколько лет преподавал на горном факультете института, доцент.

С приходом Перестройки появилась возможность сотрудничать с зарубежными фирмами, — я несколько раз был в Германии, был в США, в Австралии, в Японии.

Моя работа в угольной промышленности в какой-то мере была оценена и официально: я полный кавалер знака Шахтерская слава, имею правительственные награды, с 1988 года лауреат Государственной премии СССР.

Женился я рано, в 22 года. Жена Таисия Константиновна, урожденная Скрябина, с ней мы прожили уже более пятидесяти лет. У нас дочь и сын, а теперь еще и три внучки.

На дворе 2007 год. В этом году мне будет семьдесят пять, хороший повод подводить итоги. И я могу сказать, что, несмотря на непростое детство и многолетние «ограничения», я доволен своей судьбой. Я смог получить образование, я занимался интересным и нужным для людей делом, у меня хорошая семья.

Что еще нужно человеку?

* * *

В феврале 2006 года я разыскал по интернету двух своих одноклассников. В 1951 году мы закончили десятилетку, они поступили в институты, меня не выпустила спецкомендатура. С тех пор я потерял их след.

Когда я созвонился с одним из них, постоянным нашим отличником, и каждый поведал, как прожил эти годы, он сказал:

— Все эти трудности и ограничения были для тебя «сопротивлением среды». Постоянно преодолевая это «сопротивление», ты и смог чего-то добиться.

Возможно, что и так...

2007

ЧУДЕСНАЯ ФАСОЛИНА

По весне (обычно в середине четвертой четверти), лишь только стаивал снег с асфальта и начинала пробиваться зеленая травка на оттаявшей земле, наше племя замоскворецких мальчишек постигала эпидемия азартных игр: «расшибалочки» и «пристенка». Это девчонкам и прочей дворовой мелюзге вольно было кричать, визжать и радоваться жизни, гоняясь друг за другом или прыгая со скакалочкой, а наш народ, серьезный и рассудительный, кучковался по тихим закоулкам — за кирпичными складами и дровяными сараями, под стенами домов и на белокаменных плитах возле заброшенных церквей.

Тут звенели монеты царской и советской чеканки. Стайки мальчишек слетались на мелодичный звон и, сгрудившись над «коном», чуть что не рыли землю носами; торкались плечами и хватались за грудки, переругиваясь и смолкая перед броском «биты». Но были, как юные пионеры, *всегда готовы* вспорхнуть и разлететься в разные стороны по тревожному сигналу «Атас!» или «Атанда!». Потому что многие сознательные взрослые не одобряли азартных игр, этой буржуазной заразы и пережитка капитализма в головах людей.

Со двора дома номер сорок восемь по Пятницкой улице нас, игроков, гоняла мощная дворничиха тетя Глаша. Всеобщее мнение о ней было такое же, как о Красной Армии: *это — сила*, — и потому перечить ей никто не осмеливался. Она руководствовалась здоровым инстинктом трудящихся масс, хотя, — как я вычитал поздней в энциклопедии, — ее действия полностью соответствовали указам Петра Первого и дочки его Елизаветы Петровны (о существовании которых — указов и императоров — дворничиха и не подозревала). Вырастая со своею метлой, как из-под земли, она раздувала могучую грудь и гремела: «Брысь отсюдова, с моей территории, шпана несчастная! Босота беспорточная! В своем дворе никаких азартов не потерплю! Чем уроки учить да делом заниматься, они — в расшибалочку! Геть отсюдова! Народ страну восстанавливает, а вы, прям как фрицы или буржуи недобитые, — на деньги играть! Кыш, негодные, пошли вон со двора!»

Приходилось спешно убираться со двора. Какое-то время мы играли под стенами церкви, высившейся прямо напротив ворот через улицу и трамвайную линию. С тех пор, как советская власть запретила молиться Богу и разогнала попов, церковь не действовала. На парадной

Петр ШУШПАНОВ — родился в 1941 г. в Москве. Окончил исторический факультет МГУ. Писать начал в 60-е годы, печатался редко — в провинциальной периодике и дважды в «Континенте». Живет в Москве.

двери ржавел громадный замок. И когда в конце войны кое-где по Замоскворечью разрешили немножко звонить в колокола и затеплять свечки, она так и осталась позаброшенной. На пустой трехъярусной колокольне гнездились вороны и галки; под застрехами крыши ворковали сизари и бранились воробушки, — там они высиживали своих птенчиков, там у них был детский сад и ясли. А в ветреные февральские и мартовские дни на облезлом куполе и скатах крыши бухали, как пушки, полуоторванные листы кровельного железа. А внутри церкви ничего нельзя было разглядеть кроме густой черноты: то ли окна изнутри были наглухо заколочены чем-то черным, то ли от пожара мировой революции там все закоптилось дочерна...

На портале церкви, аккурат над голубенькой пивной палаткой, проступал из-под побелки смуглый лик Спасителя. Под ним можно было разобрать слова, писанные дореволюционным шрифтом: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». На правой щеке и во лбу у Спасителя чернели круглые дырки от пуль. Тетя Глаша и другие, пережившие тут войну, рассказывали, что в октябре сорок первого какой-то красноармейский патруль поупражнялся-де из винтовок. Как на стрельбище...

«Труждающиеся и обремененные», выпив пивка после смены или «беленькой» на троих с получки, сворачивали в скверик перекурить и побалакать, а там — игра! О, зрелище! Травка зеленеет, солнышко блестит, — ну как тут не поглазеть? не поболеть? не поучаствовать?

Этот сквер возле церкви был всем хорош: нейтральная зона — ни дворников, ни завхозов, ни добровольных доносчиц и писклявых ябед, ни женских криков: «Иди немедленно делать уроки, негодник!» И мужики от пивной палатки вели себя прилично, как на трибуне стадиона: игрокам не мешали, в игру не встревали, ограничивались вскриками, рукоприкладства избегали. Конечно, в любой момент мог показаться милиционер, но это был один шанс из сотни: в этих тихих краях милиция была редкой птицей и прилетала только по необходимости. Другое дело «фиксатые» — с косыми челками, в шестиклинках с пуговкой и, как полагается, с финкой где-нибудь в кармане или за голенищем.

Когда они появились вторично, мы спешно собрали свои игрушки и откочевали в родимый двор и тут неожиданно вспомнили про заповедный уголок — за углом особняка, в левой части двора. Сюда не простиралась власть тети Глаши. Это были владения Техснаба Академии наук СССР. Тут в два ряда громоздились высоченные серые ящики с ленд-лизовским оборудованием — всякими станками и механизмами. За истекшие годы тут редко ступала нога взрослого человека, а наши ноженьки бегали часто. Главный проход между ящиками, — конечно же, улица Ленина-Сталина, потому что в детском сознании оба вождя слились воедино, или проспект — шел от намертво запертых ворот на Пятницкую и упирался в глухой забор с козырьком из колючей проволоки, за которым пленные немцы в сорок седьмом году построили гараж НКВД. Громадные ящики с английскими словами и черными рам-

ками давно уже не содержали ничего полезного, кроме ржавых станин. Комплекты инструментов, электромоторы, реле и прочие лишние детали были растащены по домам, и теперь этот склад под открытым небом напоминал заброшенный дачный поселок.

Между стеной техснабовского особняка и этим «поселком» оставался трехметровый проход. На припеке у кромки асфальта золотилась «мать-мачеха», а зеленая травка манила, как сукно игорного стола.

И вот на этом чудном месте я продул целый червонец (большое состояние по тогдашним меркам: девять эскимо на палочке плюс два стакана газировки без сиропа).

Играть начали сразу после обеда, вернувшись из школы. Погодка была что надо: солнышко пригревало, ни ветерка. Над трубой кондитерской фабрики «Марат» вился белый дымок, и попахивало карамелью, и всё это предвещало чудный праздник Первого мая.

Играли впятером. Сперва мне везло, я всю дорогу выигрывал, а пацаны продулись и, скорбные, потащились делать уроки. Остался Длинный (он же Лохматый, он же Цыган): фэзэушникам уроков не задают, мать на фабрике, так что еды раньше ужина не будет, а дома у него колченогая бабка сидит перед флигелем на лавочке в валенках, греется на солнышке и бесплатно раздает ценные указания всем проходящим, ползающим и бегающим. В общем, тоска, а пятиалтынный, единственное свое достояние, он мне уже проиграл, и в кармане — ни копья. Но если я ему ссужу двугривенный или поверю на слово, то тогда...

После удачного начала я ощутил крылья за спиной, и с высоты птичьего полета мне почудилось, что теперь всё в моих силах, всё мне подвластно. Фортуна мне улыбается, и на первомайской демонстрации с отцом мы увидим Сталина непременно, и он заметит меня — именно меня выделит среди ликующей толпы! А зачем иначе люди идут на демонстрацию, как не с тайной надеждой, что окажутся в нужном месте в нужное время и вождь всех народов глаз положит именно на них — на него, на нее... Натурально, со всеми вытекающими последствиями!

Но тут в моей игре что-то сломалось, и к тому времени, когда солнце опустилось к крыше фабрики «Марат» и ребята вернулись, я просадил уже пять рублей восемьдесят копеек, а Длинный не сплоховал ни разу.

Что уже подозрительно. Странное везенье. И все стали напряженно следить за Длинным. Ему сделалось не по себе. Он вроде устыдился: как-никак старые друзья, в 44-ом свистнутую мороженую буханку ржавой ножовкой пилили. Совесть что ли его заела, и он предложил: «Шурка, давай кончать. У тебя непруха. Сам видишь: нет тебе удачи! Ну хочешь, я тебе деньги верну?»

— Па-ашел ты! Играй, гнида! Нужны мне твои подачки!

В этот момент я ненавидел всех: Длинного, ребят, самого себя, но больше всех — проклятую Фортуну, толстую тетку в светлом хитоне, подвязанном под грудями. Я видел ее на картинке в «Истории искусств» — коричневом золотом томе, которым мама с бабушкой очень дорожили,

потому что такого теперь не издают. Благостным полным лицом Фортуна похожа была на Екатерину II — и, думаю, не случайно, потому что при матушке-императрице, как рассказывал нам учитель истории, в почете был «фавор» — фавориты и всякие проходимцы, искавшие счастливого случая, благосклонного взгляда, приветливой улыбки.

Эх, всё бы на кон поставил, лишь бы ее переупрямить! Ведь этак нечестно: сперва поманила, дапла выиграть рупь двадцать три, а когда почти возлетел, отвернулась! А ведь в своих пенатах я был одним из первых по части «пристенка»: глаз точный, и рука ни разу не подводила. И бита высший сорт — медный пятак с позеленевшим от старости Георгием Победоносцем. Прежде я на него не жаловался, он не подводил и точно пронзал ползучую гадину, но сегодня... Что ли пьяным набрался и совсем окосел? Ну никак не хотел упасть куда надо — или падал, но скатывался совсем не туда...

Что оставалось? Надеяться и продолжать играть до упора. Ведь надо же отыграться и вернуть первомайскую «заначку». Может, еще повернется и глянет на меня Фортуна, эта тварь беломраморная, бесчувственная, — и тогда святой Георгий протрезвеет...

Но Победоносец не трезвел, а Фортуна по-прежнему опекала Длинного. И зрители уверились почти на все сто, что его серебряная медаль с трехсотлетием дома Романовых — заговоренная. «Это точняк, — перешептывались они, — бабка евонная над ней колдовала. Это она нашептала. Гля, он даже и не целится — сама пришлась куда надо. Не-ет, так играть нечестно! Этак каждый выиграет!»

И тут кто-то сообразил, что у Длинного должен быть при теле какой-нибудь амулет или ладанка с заколдованным предметом — молочным зубом, собачьим клыком или гильзой. Всем известно, что ладанка с пулей делает бойца неуязвимым — в него палят, а ему хоть бы хны, пули его облетают. Но то на войне, а в мирное время? Чтобы всегда выигрывать? Чтобы безошибочно ловить миг Удачи? Ну, с картами понятно: зашил даму «пик» или крестового короля — и дело в шляпе; в домино, наверное, — дупль «пусто-пусто»; в шахматах — белый ферзь... А что, интересно, есть у Длинного? Обязательно должно быть что-то, ведь он Цыган.

И вспомнили мы его бабку. По общему мнению, она была колдунья: на левой щеке имела волосатую родинку, лечила заговорами и травами, а 21 июня 1941 года на закате дня видала в облаках двух красных ангелов, пролетавших на Запад. И молилась регулярно у Всех Скорбящих Радости на Большой Ордынке — и не лень же под старость лет таскаться больными ногами в такую даль! Там же, по слухам, она крестила внука... Длинный (он же Цыган или Лохматый) единственный из нас был крещен. Когда летом мы загорали на крыше, у него на шее всегда болтался маленький крестик на черном шнурке.

Народ категорически потребовал, чтобы Длинный немедленно снял крест и сыграл без него, без божеской помощи, по-честному. Тот заартачился: бабка-де строго-настрого наказала креста нипочем не сымать,

иначе с Длинным случится беда, как с папаней, которого по пьянке переехало трамваем против самого дома. Тут все утвердились в правильности своей догадки. Завопили: «Ага, не хочешь по-честному! Боисся! А ну сымай, цыганское отродье!» — и двинулись на Длинного всею кодлой. И я, и я — тоже, туда же. До сих пор корчусь от отвращения, как вспомню свое ядовитое злорадство и подлый шепоток в мозгу: «Сейчас, сейчас мы с тобой разберемся, сука буду!».

Длинный попятился и прижался спиной к стене, изготовившись к драке. Кулаки у него, как у всякого фэзэушника, были здоровые, маховики длиннющие, на ногах — рабочие ботинки типа «чэтээз» (Челябинский тракторный завод). И много бы тут кровушки пролилось, если б не Федька, мой младший братец.

Черт его знает, как он тут оказался! Ему полагалось быть на виду, в скверике перед Техснабом, и играть под кустами сирени в девчоночьи игры, а он продрался в озлобленную толпу и дернул меня за шаровары.

— Шурка! — сказал он. — У меня фасолина из носу не выковыривается.

Как положено, я двинул братца, чтоб не путался под ногами, но он устоял, потому что падать ему было некуда: кругом сгрудились нижние части тел.

А Длинный крикнул пронзительно: «Не подходи, *подпишу!*» — и крест накрест замахал перед собой правою рукой, как будто зажимал между пальцами лезвие бритвы. Сопящая свора откачнулась назад, а братец снова дернул меня и заныл:

— Шурка, она же совсем не выковыривается! А бабка меня отдерет за это! Помоги, пожалуйста!

Я замахнулся на него вторично, но он уже впился в меня, как клещ, и выл в полный голос:

— Шурочка, помоги, а то бабка с меня шкуру спустит!.. Ты же мой старший брат, мама говорит, ты должен...

— Ничего я тебе не должен! — взревел я, пытаясь отодрать его от шаровар, которые под его тяжестью уже сползали вниз. И чтобы Федька совсем не спустил с меня шаровары, надо было одной рукой держать их, а другой отцеплять брата. Но он пристал, как репей, и не отцеплялся.

— Отцепись, зараза! Ничего я не должен! — кричал я. — Тебе где сидеть велено?! В скверике с девчонками. Пшел на свое место и отцепись от штанов, резинку порвешь!

От нашей возни и воплей у народа как-то прояснело в мозгах. Длинный с крестиком и его воображаемая «писка» отошли на задний план. Всеобщее внимание переключилось на нас с братцем.

— Вот тоже, пристал как банный лист, — пояснил я, нервно усмехаясь и подтягивая штаны. — Базлает. Чего-то ему надо, а чего — не пойму. Ну чего тебе? Говори скорей, а то нам некогда!

Оказалось, что я должен достать из его сопливой ноздри фасолину! Я был так возмущен этим наглым требованием, что даже не спросил, как она туда попала.

— Щас! Разбегусь от Манежной площади! Других дел у меня нет! Только и занятий, что в чужом носу ковыряться!

— Чего это — «в чужом»? — возразил Федька. — Ты мне брат или не брат?

— Ну брат — и что? Может, я тебя и подтирать должен?

— Это я и без тебя умею, — гордо сообщил он. — А фасолина у меня в носу, вот тут, — и он приставил палец к правой ноздре, — вот тут она. Я ее выковыриваю, а она только глубже залезает. И чего теперь делать?

— И я не знаю. Сам засунул — сам и вытаскивай!

— А где ты ее надыбал? — заинтересовался кто-то из ребят.

Выяснилось, что фасолину Федьке всучила некая «баушка». Завернула в наш скверик передохнуть, присела на лавочку, а тут — мой братец. Паренек-то он из себя привлекательный, с начатками воспитания, — по косвенным признакам сразу видно, что из интеллигентной семьи. «Баушка» с ним потрепалась, расчувствовалась и хотела порадовать его ириской. Пошарила в хозяйственной сумке, по карманам вязаной кофты и не нашла, — видать, обронила. А чтоб паренек не огорчался, она и презентовала ему завалящую фасолину и сплела байку про то, что фасолина эта не простая, а чудесная. Надо посадить ее в землю на солнечном месте и не лениться поливать. Тогда выбьется из-под земли зеленый росток, примется расти и быстро-быстро дорастет до самого неба. И тогда Федька взберется наверх, как по лестнице, и оттуда увидит ВСЁ. Ну вот как по радио поют: «Мне сверху видно ВСЁ, ты так и знай».

— А что — ВСЁ? Что это такое — ВСЁ? — зашумели ребята.

— Ну совсем ВСЁ, чего тут непонятного! Всё, что есть на свете и что за горизонтом! Моря-океаны, снежные горы, дальние страны, разные народы — черные, желтые, серо-буро-малиновые, Остров Сокровищ и пятнадцать человек на сундук мертвеца...

— Здорово! А она не сказала: то ВСЁ, что в будущем случится, оттуда можно увидеть?

— Как же его увидеть, если оно еще не наступило?

Логично, убедил нас речистый, и, развесив уши, мы слушали дальше.

Это чудесное растение, обещала «баушка», принесет обильный урожай, так что всем хватит и на фасолевый суп, и на второе, — и еще много останется. Только надо не лениться и аккуратненько оборвать все до единого стручки, просушить их и вылущить. И чтоб ни одной фасолинки не пропало зря, а то... Что именно произойдет, Федька забыл, или «баушка» досочинить не успела. Но мы сами догадались, что случится что-то скверное вроде голода или войны.

— Чего же ты ее в ноздрю-то запихал? Другого места не нашел?

Федька покраснел. Мялся-мялся и в конце концов родил:

— Потерять боялся. У меня кармашков в штанах нету.

По малолетству он гулял в штанишках с бретельками и трикотажных чулках на лифчике. Взрослых штанов с карманами ему еще не полагалось.

Народ покатывался со смеху, и тут кого-то осенило: «Ребя! Она же не простая, а чудесная! Она заговоренная, заколдованная — как пить дать!»

— Чур моя! — выкрикнул Длинный.

— Фиг тебе! У тебя вон крестик, тебе и так везет! Тебе Бог помогает и бабка твоя, колдунья, и всякие силы небесные! А нам — никому никто.

Длинный заткнулся: против правды не попрешь. А у нас разгорелся спор, чья она будет, когда мы ее наружу извлечем. Конечно, уже никто не сомневался в чудесных свойствах фасолины, — иначе зачем ей было залезать в ноздрю к этому косолапому рахиту. Значит, там, откуда возникла эта «баушка», точно знали, что Федька обожает фасолевый суп и за мешочек фасоли он всех продаст, никого не пожалеет, все военные тайны разгласит тут же, не сходя с места. А у нас во дворе, между прочим, за техснабовским особняком, в том месте, где, по преданию, рос некогда барский сад с фонтаном, а в том фонтане нашли спрятанный клад с драгоценной посудой... Короче, теперь там пленные немцы построили гараж для НКВД. И, стало быть, неспроста объявилась в нашем сквере эта загадочная бабушка-старушка. Эх, документы бы у нее спросить, да Федька-дурак мал еще, не знает, что бдительность надо проявлять всегда...

В общем, препирались бы они до позднего вечера, если бы раньше не подрались, но тут выступил я и прямо в лоб им заявил: «Раз Федька мой брат, то и фасолина — моя. А кто не согласен, тому в глаз. Ноги вырву, спички вставлю и ходить заставлю. И кранты».

Ребята заткнулись и поскучнели: возразить нечего, все законно.

А я прямо-таки воспрял духом, представив себе, как зажму в руке фасолину, как прицельно и уверенно брошу Победоносца и он трезвенький, как огурчик, сразу же начнет лепить в цель и отыгрываться. А дальше — уже побеждать и выигрывать. И вот покуда я, пуская сладкие слюни, нежился в облаках, внизу, на асфальтовом пятачке, какой-то гад ползучий подсунул Федьке гвоздь — погнутый и ржавый. Как сейчас его вижу: кованый, с квадратной шляпкой, и такой здоровенный, что им корабли-фрегаты сколачивать, а не фасолины из пятилетних носов доставать!

Никто и охнуть не успел, как Федька уже просунул гвоздь в ноздрю и стал им шуровать, как кочергой в топке. При этом выражение лица у него было сосредоточенное и отрешенное, будто он к чему-то прислушивался.

Похоже, в этот момент все застыло и замерло, затаив дыхание. В этой оглушительной тишине мне почудился слабый треск и хруст разрываемых кровеносных сосудов и скрежет носового хряща.

Кровь хлынула сразу и устремилась по губам — подбородку — шее — груди и пузу, марая отложной воротничок и впитываясь без следа в черный вельвет Федькиной курточки. Это напоминало просмотр немого фильма глухонемыми зрителями. Чем дольше мы все немотствовали (немствовали, оставались немыми?), тем громче должен был лопнуть и взорваться зелено-золотисто-белорозовый пузырь тишины, внутри ко-

торого мы пребывали. С каждым мгновением тишина расширялась и рвалась наружу, и никто не ведал запаса прочности и меры натяжения стенок этого воздушного шара. Но все чувствовали, что вот-вот сейчас что-то грянет — гром и молния, бум-трах-тарарах, и, каменея от страха, все ждали, зажмурив глаза и заглотив языки.

И оно грянуло. Я больно врезался плечом в ленд-лизовский ящик, а когда, оглушенный, с трудом поднялся с земли, наткнулся на приятеля, который шмыгал разбитым носом и отряхивал штаны. Всю нашу компанию расшвыряло, будто взрывной волной: Длинный приплюснулся к стенке, трое корячились на траве, а прочие таращились из-за угла и через забор со скверика.

— А что это было? — выговорил я с превеликим трудом. Во рту было сухо и пыльно, и слова скрипели, как пергаменная бумага. Приятель только глаза таращил, под носом у него блестела кровь, а он все отряхивал и отряхивал задницу и не мог остановиться.

Мужская рука крепко прихватила меня за шиворот и в подвешенном состоянии повлекла куда-то. Дыхание пресеклось. Я зажмурился и свесил руки — покорный, как свежий удавленничек. Меня плюхнули на доску, дали затрещину, чтоб очухался и открыл глаза. Рыжеусый мужик в белесой гимнастерке дыхнул на меня злым перегаром табака и жигулевского пива:

— Он твой брат?

— Его, его! — радостно наябедничали кривоногие девчонки. Я видел только их пыльные ноги и масластые коленки: голова у меня пока не держалась на плечах.

— А ну шустро, бегом за их родителями!

Топот ног, шлепки сандалий. Умчались. Я, наконец, сумел вздохнуть и пошевелил головой. Рядом со мной на лавочке сидел проклятущий Федька, изверг рода человеческого. Так его называла бабка, а нашей бабке следует верить. Попробуй не поверь!..

Он зажимал нос какой-то мокрой от крови тряпицей и корчил из себя раненого героя нашего времени, Онегина или Печорина. Не хныкал, не скулил, но был бледен до синевы и очень задумчив. Как будто к чему-то прислушивался. Опять прислушивался — и с умным видом. Совсем, как большой.

И тут меня зло взяло, я двинул его локтем в бок. Он даже не хрюкнул. Даже не поморщился. Тогда я прошипел ему на ухо: «Фасолина — моя законная, понял? Гляди, если кто другой захапает!» — и показал исподтишка кулак.

Федька не кивнул даже, только отодвинулся на самый краешек. Вернулись девчонки, за ними ковыляла бабушка, вытирая на ходу руки об засаленный передник, за ней быстрым шагом пришел отец, недовольный, что его сдернули прямо из рабочего кабинета — и, конечно, по пустякам. Все вышло так скоропалительно, что он даже не завернул авторучку и держал ее в руке наготове, будто собирался подписать очередной текущий документ. Увидев окровавленного Федьку, отец пере-

менился в лице. Они с бабушкой стали вертеть и разглядывать ребенка. Втроем с рыжеусым мужиком долго совещались и раздумывали, как быть и что делать. Отец говорил: в Морозовскую, там должна быть травматология; бабушка — в амбулаторию на Большую Ордынку, потому что близко и Федька не успеет истечь кровью, а рыжеусый посасывал «Северок» и вспоминал раненых своих ребят с Первого Белорусского фронта.

В общем, мамы на них не было, она еще не пришла с работы. У нас в семье она была главной и в критических ситуациях умела действовать безошибочно, быстро и не раздумывая.

В конце концов они до чего-то договорились. Отец кинул мне через плечо: «Катись домой, с тобой потом разберусь!», — подхватил Федьку на руки и понес в амбулаторию на Ордынку. Он нес его, как хрустальную вазу, точно боялся уронить и раскокать, и при этом еще ласково кудахтал или ворковал. Глядеть противно!

Небось меня никогда так не носили! Со мной вообще не особенно церемонились. Я считался нормальным здоровым ребенком, как все довоенные дети. Мы получали свои заслуженные подзатыльники и нотации, но над нами совсем не тряслись, как над этими жизнерадостными рахитами из военного поколения. Зато мне никогда не приходило в голову поковырять в носу ржавым гвоздем.

Я поплелся домой. Бабушка шла сзади, как пастух или конвоир. Даже она, хитромудрая, считала, что виноват я и никто другой. Не тот гад, который подсунул Федьке гвоздь, не бабушка-старушка со своей соблазнительной фасолиной, а именно я: не углядел — стало быть, виноват.

Опять невезенье, опять несправедливость, опять пренебрежение Фортуны! Ах, если бы она имела человеческий облик, — хотя бы такой, как на старинных гравюрах, я бы не посмотрел, что она женщина, а наподдал бы ей коленкой под зад и заставил взглянуть на себя!

А вот интересно: как она поведет себя завтра? Ведь завтра — это совсем новый день, и что-то мне подсказывало, что Фортуна ко мне переменится. Скорей бы настало завтра!

И вдруг я вспомнил: я же проигрался дотла! В кармане — Победоносец и два алтуха. А в школе на меня будут пальцем тыкать и злорадно посмеиваться: «Проигрался, проигрался в пух и прах, а еще мастак назывался». А Длинный будет ходить гоголем, нос задирать: конечно, целым червонцем разжился, будет на что в праздники погулять! Так что, Шурик, иди семушки кушать, никакого завтра у тебя не будет, если, конечно, не отыграешься. Но на какие шиши?!

Я был в отчаянии. Хотел подлизнуться к бабке, но это была безнадега: она замахнулась на меня тряпкой и погнала из коридорчика от своих керосинок. Что-то у нее там жарилось и варилось, фырчало и вкусно пахло. Хоть бы рублик дала, жмотина, или кусочек печенки стянуть...

Отец с матушкой отпадали по понятной причине: я преступник и виноват в том, что их возлюбленная игрушка маленько поломалась. А уж на фасолину я совсем не надеялся: ерунда, самая обычная фасоль. Во дворе на меня просто нашло помрачение: я вместе со всеми, так сказать,

за компанию, уверовал в чудеса. А чудес не бывает, просто есть удачное или неудачное стечение обстоятельств, в которые попадает человек.

И все-таки я ждал маму. Она у нас была самая сердобольная, потому что думала не только головой, но и сердцем...

И вот они явились, все трое. На сей раз «сокровище» несла мама. Она, оказывается, возвращалась с работы, и у ворот тетя Глаша рассказала ей о трагическом происшествии. Даже не заглянув домой, мама сломя голову помчалась на Большую Ордынку...

«Сокровище» уложили, укрыли до подбородка одеялом, дали чаю с малиновым вареньем. И Федька лежал вверх носом, уставившись в потолок на рыжие разводы. Из ноздри у него торчал ватный тампон. Родители в коридоре, наперебой и захлебываясь, рассказывали бабушке, какой у нее мужественный внук. Слезинки не проронил! Мама чуть в обморок не упала, а он только терпел и морщился, когда доктор ковырялся у него в носу блестящими щипцами! А что там было? Обыкновенная фасолина — такая пестренькая, как курочка ряба. «Батюшки! Зачем же он ее в нос-то запихнул?!» Кто его знает. Может, думал, что прорастет, как у барона Мюнхаузена. «Господи, и чего только эти дети не выдумают!»...

Мне отчего-то стало неловко стоять у притолоки, будто что-то толкнуло в спину. Я оглянулся и увидел, что Федька таращится на меня и шевелит губами. Я наклонился над ним, и братишка протянул мне левую руку. Что-то там было зажато в кулачке. Я подставил ладонь и на мгновение почувствовал, какая горячая у него рука. Федька разжал кулачок, и у меня на ладони оказалась злополучная фасолина, надкусанная врачебными щипцами, в запекшейся крови. Я потрогал ему лоб, — Федька зажмурился, как котенок, которому чешут за ухом. Он весь пылал.

— У него жар! — крикнул я. — У него высокая температура!

Взрослые тотчас опамятовались: мама с бабушкой бросились к болящему. Отец же поманил меня пальцем и повел в заднюю комнату, вытягивая на ходу ремень из брюк. Женщины не заступились. Даже мама, всегдашняя защитница обиженных и слабых, сделала вид, что не замечает. И только Федька пискнул из-под одеяла: «Он не виноват! Это я сам». Но его не услышали, по малолетству он не имел права голоса.

Меня отлупили, приговаривая: «Будешь смотреть за младшим братом! Будешь смотреть!» Сперва, пока отец не разошелся и не достиг полновесного удара, мне страстно хотелось крикнуть поперек: «Не буду! Ни за что не буду!» Потом, закусив губу, я терпел, крепко стиснув в кулаке фасолину. Я чувствовал ее, как живую, и, странное дело, она помогала мне пересилить боль. Жаловаться некому, оправдываться бесполезно, а реветь, чувствуя ее в руке, было почему-то стыдно. Как будто она слушала, так ли я себя веду.

И я вел себя достойно — молчал и терпел, а на душе у меня было даже хорошо, потому что все правильно, «все так и должно быть», как частенько повторяла нам с Федькой наша хитромудрая бабка. И еще одно: в самый унизительный момент, когда я спускал трусы с шарова-

рами, ежась от стыда и холода, я сообразил, где возьму денег, чтоб отыграться...

Я взял их в тот же вечер у отца: вытащил из кармана пиджака горстку мелочи. Я не испытывал угрызений: для бати это была всего лишь мелочишка, деньги ему всегда были по фигу, от жизни ему нужна лампа под зеленым колпаком, письменный стол, книги, чернильница с ручкой и стопа чистой бумаги — и, конечно, ночная тишина. И, само собой, домашний уют и мамина любовь. А при таких запросах человек никогда толком не знает, сколько денег у него в кармане. Матушка выдает из семейного бюджета, когда надо, — и ладушки.

На другой день я ободрал Длинного как липку и объегорил еще парочку пацанов. Фортуна ко мне явно благоволила за перенесенные муки и бичевание. Так что с отцом на Первомайскую демонстрацию я шел не пустой, но Сталин на Мавзолее так и не появился. А я даже не расстроился. «Все правильно, Шурка, — сказал я себе. — Все так и должно быть. С какой стати ему тебя замечать? Вон тут сколько прется народищу, и все только о том и думают, чтоб вождь их приметил и обласкал. Накой тебе? У нас во дворе на Пятницкой веселее. А на Ордынке вообще хороводятся под гармошку. А ребятишки за сараями уже, небось, сидр пробуют»...

С того достопамятного дня я играю всю жизнь. Только больше не впадаю в безумие азарта и не пробую своими силами одолеть Фортуну. Я знаю: она непостоянна, как луна, — то полная и обильная, то со щербинкой, то — середка на половинку. Характер у нее капризный и сердце женское, переменчивое. Я привык терпеливо сносить ее капризы, ждать и сдерживать себя. Так и сидим мы друг против дружки: Фортуна ко мне со всем задом, я к ней — со всем передом. Сидим, отдыхаем. Спешить нам некуда. У меня впереди известно что, и я туда не тороплюсь. Ей тоже некуда торопиться. В запасе у нее — вечность.

ВИОЛОНЧЕЛЬ И НЕМНОГО НЕРВНО

Джо Риссину — скрипачу и человеку, чьи мужество и скромность подсказали мне идею этой повести.

-1-

Руди вошел в мою жизнь через двустворчатые, остекленные, крашенные белой эмалью двери клуба при нашем посольстве в Венгрии: Будапешт, улица Байзе, 5, начало семидесятых.

Этот в некотором смысле ключевой момент моей сегодняшней жизни помню в деталях: я сижу наедине с кружкой Дреера за единственным свободным столиком. Зал, как обычно в пятничный вечер, полон командированными на чужбину соотечественниками (большинство в костюмах темных тонов и при галстуках) и офицерами Южной группы войск (эти, естественно, в форме). Накурено, шумно, из динамиков льются звуки жизнерадостной советской песенной лирики. Краем глаза замечаю очередного только что появившегося в дверях посетителя. В обстановке здешней унифицированной сдержанности он выглядит несколько чужеродно: ростом не ниже меня, но почти вдвое шире, рыжеватая шевелюра и рыжеватая же щетина, двойной подбородок нависает над бычьей шеей, руки оттопырены избытком плоти. Для регбиста тяжеловат, для штангиста, пожалуй, тоже. Одет в просторный, не по сезону светлый пиджак и джинсовую рубашку с распахнутым воротом: повязать на такую шею галстук нереально. Добродушно улыбаясь, оглядывает зал и, чуть помедлив, направляется к единственному относительно свободному столику, — а именно к моему.

То, что посетитель не наш человек, понимаю сразу. Но ведь и не венгр? И действительно: следующее за приветственным кивком американизированное «hello!» не отвечает венгерской традиции. Скорее всего, немец или австрияк. Сдержано улыбаясь, отвечаю ему в тон:

— Hello!

— Gruss Gott. Могу я здесь сидеть?

Ага, австрияк: мягкие гласные и южное «Gruss Gott» вместо привычного «Guten Tag» говорят сами за себя.

Юрий ГОРБАЧЕВ — родился в 1936 г. в Москве. Закончил Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина. Доктор технических наук, профессор, до конца 2003 года заведовал кафедрой Геологического факультета МГУ. Автор многих научных книг и статей, опубликованных в России и за рубежом. Как прозаик дебютировал в 50-е годы: рассказ Горбачева был опубликован в «Огоньке». В настоящее время живет и работает в Новой Зеландии.

— Садитесь, пожалуйста. Говорите по-русски?

— Немного. — Он осторожно опускается на хрупкий (при его-то габаритах!) стул. — Мой руссиш ist sehr schlecht: корошо, привьет, спасибо...

— Для начала — вполне достаточно, — отвечаю я по-немецки.

Он удивленно вскидывает рыжие брови:

— Вы есть немец?

— Русский.

— Оу, ваш немецкий есть sehr gut! Вы жить в Германия или Австрия?

— Учил в университете. Немецкий — мой второй язык.

— Второй язык?!

— Первый у меня венгерский, — вкрадчиво поясняю я. — Моя специальность — языки угро-финской группы. Я филолог.

— Фил... кто? Ich verstehe nicht!

Коротко и, как мне кажется, в высшей степени доходчиво растолковываю смысл понятий «филология» и «языки угро-финской группы». Он понятливо кивает, но, когда дохожу до описания моего нынешнего статуса (я здесь, дескать, как молодой специалист, по обмену между институтами языкознания), восклицает:

— О, ja! Ich verstehe! Я теперь понимать! Обмен — бартер: вы есть бизнесмен?

Углубляться далее в суть филологических проблем бессмысленно. Интересуюсь, чем, в свою очередь, занимается мой визави, и вскоре узнаю, что он — Рудольф Эбнер («Пожалуйста, зовите меня Руди!»), дипломированный (это обстоятельство подчеркивается многозначительной паузой) повар, владеет ресторанчиком в Вене («Вот мой визит-карт: телефон, адрес — kommen Sie bitte!»). В Будапешт приезжает на своем маленьком фургоне по пятницам, чтобы в субботу рано утром, закупив на рынке замечательную венгерскую свинину (цена в три раза ниже, чем в Вене!) и гусиную печенку (такой нет нигде в Европе!), отбыть восвояси. По мере рассказа Руди с аппетитом съедает удвоенную порцию салата «Столичный», закусывая его пирожками с повидлом, — все, что осталось к восьми вечера в здешнем ассортименте, — и выпивает кружку пива.

Портрет Руди Эбнера обретает определенность, не ясно только, что он потерял в таком специфическом заведении, как клуб при Советском посольстве.

Феномен этого клуба заслуживает отдельного рассмотрения. Будапешт славится своими ресторанами, барами, кафе и кофейнями и именно поэтому известен у нас как Второй Париж. Не исключено, что те граждане нашей социалистической родины, кому статус позволяет бывать в Париже первом (лично я знаю только одного такого: моего научного руководителя — академика), не согласятся со столь высокой оценкой. Но воображение рядовых граждан, — мое, в частности, — бывает поражено уровнем венгерского «общепита».

Речь идет, разумеется, не о монстрах, типа Гунделя или Жербо (свои монстры есть везде: дурной тон не знает границ), а о бесчисленных

маленьких заведениях на несколько столиков, где вас ждет ароматный дымящийся говяжий суп с луком и картофелем, именуемый здесь «гуляш», или уха с помидорами, зеленым перцем и паприкой, — венгры умилительно называют ее «суп из вкусных частей рыб». А штрудели, рулеты, ватрушки! А атмосфера неприхотливого уюта, ненавязчивого дружелюбия! А маленькие — гитара, скрипка, флейта или гитара, скрипка, контрабас — оркестры, необъяснимым образом угадывающие ваш душевный настрой и играющие именно то, что вам хочется услышать!

И наряду с этим — клуб при Советском посольстве: столики с пластиковым, не требующим скатертей, покрытием, недружелюбные официантки, до боли знакомые заветренные «столичные» салаты, резиновые пирожки с повидлом и жизнерадостная лирика советских композиторов в ассортименте. И вот поди ж ты: хотя цены те же, что у венгров, посетителей вечерами хватает, а в пятницу так и трудно найти свободный столик. Соотечественники, часто вовсе раньше не знакомые, отводят душу в беседе, поначалу сдержанной, но постепенно все более задушевной. Шум нарастает, так что не разобрать уже слов лирических песен (а и не беда: все давно знают их наизусть). Приносить и распивать строго запрещается, но приносят и распивают и хлопают друг друга по плечу, и в какой-то момент те, кто созрели первыми, вклиниваются нестройным хором, и не иначе, как с «Шумел камыш», другие запевают вслед за ними. Над залом вскипают теплые волны национального единения, и тогда администрация, решив, что хорошенького понемножку и с мелкобуржуазной стихией пора кончать, врубает во всю мощь клубной аудиосистемы «Марш коммунистических бригад». Реакция неодобрения длится недолго. «У советской вла-а-асти сила ве-ли-ка-а-а», — зычно убеждает инакомыслящих Кобзон, и инакомыслящие тушуются. Впрочем, возможно, их не было изначально: одни молчат, другие так даже берутся подпевать. Национально-политическое единство восстанавливается.

Что за этим кроется? Не побоюсь этого слова, — ностальгия. Она влечет нас в этот неуютный зал, где мы можем с головой окунуться в родную атмосферу ненавистного совка, да что там — просто услышать русскую речь после недели сплошного венгерского, на котором «Oroszorszag» означает Россия (попробуйте выговорить!). Но вот в чем загвоздка: мы — да, с нами — ясно... Ну а Руди... что влечет сюда его?

Обмениваемся дежурными фразами: погода, качество венгерского пива. Он заказывает кружку пива для меня, я — для него. Обсуждаем перспективы венского Рапида в чемпионате мира — нормальная беседа двух малознакомых европейцев мужеского пола: он считает, что шансов у австрийцев нет, и принимается излагать свои резоны, я слушаю не перебивая. Но тут соседи справа, вполне созрев и улучив момент, затягивают «Шумел камыш», и Руди мгновенно замолкает, обращаясь в слух и внимание. Его покрытые рыжеватой щетиной щеки интенсивно розовеют, рыжие брови взлетают крылышками, рыжие, слегка на выкате (согласно Ломброзо, свидетельство энтузиазма и желания участвовать в жизни

окружающих) глаза искрятся. На втором куплете к соседям справа подсоединяются те, что слева, на третьем — те, что у окна. Руди слушает, покачиваясь в такт песне всем телом: качать только головой не позволяет бычья шея. И ведь не только слушает — подпевает: губы шевелятся. Я, кажется, улавливаю знакомые, хотя и искаженные акцентом, слова...

Число поющих постепенно возрастает; зал разделяется на певцов и слушателей — безучастных нет; мирные звуки с пеленок знакомой песни несут душевное, да, видно, и физиологическое умиротворение — вот она, ностальгия в действии. И тут администрация решает, что пора врубать Кобзона.

Некоторое время молчим: говорить нормальным голосом нельзя, мениски в пивных кружках подрагивают, оконные стекла позванивают. Кое-кто начинает подпевать. А почему бы и нет: слова давно утратили для нас изначальный смысл. И не в первый уже раз под эти мажорные звуки в обособленном, специально, видно, на то отведенном сегменте моего мозга возникает сюрреалистический образ: из-за сумеречного горизонта движется на нас осененная красным стягом колонна; неторопливо покачиваясь, словно в черно-белых кадрах замедленной киносъемки, маршируют виртуальные потомки тех, кому Господь присудил на собственной шкуре продемонстрировать миру некий мрачный урок, — проплывают мимо и исчезают в небытии... А ведь было время, и я мечтал маршировать в колонне, мечтал повязать красный галстук, удостоиться чести нести знамя... Поймут ли меня мои будущие дети?.. Тем более внуки? Понимает ли смысл происходящего владелец венского ресторанчика, дипломированный повар Руди Эбнер? Боюсь, не вполне: вид у него весьма озадаченный.

Но стихает... Мениски в пивных кружках перестают подрагивать, оконные стекла позванивать.

— Ну, как? — спрашиваю я.

— Ich liebe russische klassische Musik, — смущенно улыбается Руди.

— Russische klassische Musik? — Ну, вот, еще один любитель русской классической музыки на моем жизненном пути! Не многовато ли для индивида, которому медведь с детства наступил на ухо? — И кого предпочитаете? Чайковского? Мусоргского?

— Очи черный... Черный ворон, — отвечает он, продолжая смущенно улыбаться.

— Ах, вот что!.. — Довольно неожиданный поворот. Впрочем, немного зная теперь уже Руди, его музыкальные пристрастия можно было, хотя бы в общем плане, предугадать. А вот ответ на мой следующий вопрос: «Где вы это слышали?» — звучит, действительно, непредсказуемо:

— В лагерь.

— В лагере?..

— Да, в лагерь. Катовице. Тепьер Поланд.

Я ошеломленно соображаю: лагерь?.. лагерь!.. ну, да — лагерь... Польша... Значит — Освенцим... Майданек?

— Лагерь... концентрационный?

— Arbeitslager. Für Ostarbeiter, — деловито уточняет Руди. — Разница с концентрэйшен кемп никакая: тоже колючка, тоже баланда, тоже СС.

— Вы были в лагере?

— Да, я быть. В конец один девять сорок четыре я быть мобилизованный... Я быть молодой... юнг... только шестнадцать... — Он хмурит рыжие брови, надувает покрытые рыжеватой щетиной щеки, но, так и не справившись с языковыми трудностями, окончательно переходит на немецкий. Голос у него громкий, хриплый. Сидящий за соседним столиком майор насторожено поворачивает голову в нашу сторону, и я испытываю от этого некоторый дискомфорт: не люблю привлекать внимание людей в мундирах.

— В конце 1944 меня мобилизовали. Эти негодяи тогда хватали всех, кто попадется. Мне было шестнадцать, но я всегда был крепкий... Хоть и не как теперь... довольно худой. — Он выставляет мизинец, долженствующий символизировать меру его тогдашней худобы, но, поразмыслив, меняет его на короткий и крепкий указательный. — Мне было только шестнадцать, поэтому они не отправили меня на фронт. Моему брату Курту было семнадцать, его отправили. Он погиб в Нормандии. А я попал в Силезию. Помощником повара. Тогда это и началось — моя профессия. СС охраняли лагерь остарбайтеров под Катовицами, а мы кормили СС. Там жили русские девушки — остейки. Двести пятьдесят остеек из Ростова. Вы слышали про такой город — Ростов? Они добывали уголь. Вы знаете, что тогда значил для немцев уголь?

Я киваю и делаю несколько глотков Дреера.

— Заказать еще? — улыбается Руди. — Ты не стесняйся.

Я отрицательно кручу головой. Ну, вот — мы уже на «ты». Что ж, теме это соответствует. Майор за соседним столиком чуть склонился в нашу сторону: видно, знает немецкий — прислушивается.

— Уголь тогда был для немцев — всё. Они делали из него бензин. Работать заставляли с пяти утра до десяти вечера. А кормили — вот... — Руди складывает пальцы щепоткой. — Они были очень голодные и очень худые. Я приходил вечером, приносил хлеб. Они были очень благодарны! У нас у самих было мало. Я был худой — вот... — он опять демонстрирует указательный палец, — но немного хлеба для них удавалось припрятать.

Рассказчик Руди никудышный: масса вводных слов, междометий, не относящихся к делу деталей, — но история очень проста, можно сказать, банальна, так что догадаться о дальнейшем несложно: в лагере была девушка Мария — голодная певунья с русой косой и черными, как у здешних цыган, глазами, и между ней и Руди вспыхнуло и получило естественное развитие то, что и должно было в их возрасте вспыхнуть и получить развитие. Руди приносил им хлеб и, иногда, немного сахара и оставался на ночь. А по Германии уже катился 1945-й. Некоторые девушки бежали. Бежали эсэсовцы из охраны. Могли и они с Марией — в разные стороны, но согласны были только в одну — вместе. Поэтому и оставались в лагере до последнего.

Руди замолкает, его расфокусированный взгляд устремляется в прошлое, без помех проходя сквозь меня, любопытствующего за соседним столиком майора, светло-серые стены клуба при Советском посольстве в Будапеште.

— Она была на четыре года старше меня, — задумчиво произносит Руди.

— Это хорошо, когда первая женщина старше: значит, опытнее, — говорю я, вспоминая свой первый, не столь удачный, опыт.

— О, она совсем не была опытная! Наверно, все ваши девушки... неопытные. Не то, что наши, — на его лице появляется выражение легкой брезгливости.

— Ты женат? — спрашиваю я.

Он смотрит на меня с недоумением, и я догадываюсь, что сморозил глупость.

— Мы собирались пожениться, когда все кончится, — говорит он после паузы, — но тут пришли ваши. Я спрятался на ферме... А их отправили...

Я прикидываю: 1945-й... Сейчас — 1973-й... Прошло 28 лет. Мозг услужливо плодит реминисценции: Улисс... Пер Гюнт... Что поделаешь, испорчен с молодых ногтей: реально лишь то, что описано классиками... Зато от того, что в реальности, чувствую тяжесть на дне желудка.

— Я ее искал. — Его рыжие слегка на выкате глаза увлажняются. — Многие из них погибли за колючей проволокой уже у вас, я знаю. Но ведь не все! Трижды писал в Ростов бургомистру — никакого ответа; обращался в «Красный Крест» — не их, говорят, компетенция; хотел ехать в Ростов — ваши не дают визы: нет, говорят, оснований.

Неприветливая официантка уносит пустые кружки.

— Еще бутылочку? — спрашивает Руди. — Я закажу?

— Спасибо. Пиво сегодня отличное, выпил бы еще, но — хорошенького понемножку.

Он бросает на меня настороженный взгляд. Но беспокойство его связано, оказывается, не с противоречивостью моих сентенций.

— Твой немецкий очень уж хорош, — произносит он с сомнением в голосе. — Ты, случайно, не из КГБ?

Стараясь говорить потише, чтобы за соседним столиком не было слышно, интересуюсь:

— А что... похож?

— Гм-м... — Он озадаченно морщит лоб, скребет рыжую щетину и, наконец, облегченно вздохнув, заключает: — Нет, не похож. — По его большому лицу расплывается добродушная улыбка. — Это была шутка, извини, — говорит он, оправдываясь, и, ясное дело, лукавит.

Льющаяся из динамиков игривая мелодия неожиданно стихает: то ли караул устал, то ли не выдержала техника. Наступает тишина. Любители хорового пения тоже, похоже, иссякли. Висящие над входом часы показывают половину десятого, для Будапешта — поздний час: жизнь здесь замирает в девять, клуб при Советском посольстве не исключение.

Интересно, не заперт ли уже туалет? Как-никак до дома мне полчаса пешком

— У тебя есть жена? — спрашивает Руди.

Вопрос, при всей его простоте, застает меня врасплох: любой односложный ответ будет полуправдой. Секунду поразмыслив, отвечаю:

— Да.

— И где она? — По его тону чувствуется, что мое замешательство не осталось незамеченным.

— В Москве.

— А тебе долго еще быть здесь... с твоим бизнесом?

— Восемь месяцев.

— Так почему она не приедет?

— У нее своя жизнь... своя работа.

— Своя жизнь? Гм-м... У вас есть дети?

— Пока нет.

— Так почему бы ей не приехать?

— Не все так просто. Жизнь сложная штука.

— Это верно.

Следующий вопрос, по логике вещей, должен быть: есть ли у меня любовница? А почему бы не спросить, при его-то непосредственности? Но не спрашивает, обдумывает уже услышанное: моя холостая жизнь при живой жене, видимо, не укладывается в его массивной голове. Как и его двадцативосьмилетнее соломенное вдовство в моей.

Некоторое время молча пьем пиво.

— Может, хочешь что-нибудь покрепче? — спрашивает Руди. — Как насчет хорошей паленки? Я знаю здесь недалеко погребок. Для своих открыт всю ночь.

— Поздновато. Давай в следующий раз.

Он соглашается с обидной легкостью:

— И то, верно, — завтра в семь утра я уже должен быть на границе: гусиная печенка не любит лежать.

А жаль, что не любит: выпить на халяву хорошей паленки было бы неплохо... Но не совсем удобно: при первом-то знакомстве...

-2-

Следующий раз случается через две недели: тоже в клубе, тоже в пятницу и, что примечательно, за тем же столиком. Народу опять много. В соседях на этот раз цивильная компания командировочных с пышной громкоголосой блондинкой, видать, начальницей среднего уровня, во главе. Мужская часть компании — все остальные — вид имеет несколько пришибленный. А и то сказать: будешь пришибленным, если твой шеф такой бабец. Я бы не выдюжил. Слава Богу, в этом вопросе мне повезло: с университетской скамьи у меня прекрасный шеф — мой любезный академик, добродушнейший человек... если не оказаться у него на пути. В этом — последнем — случае перекусит пополам, не моргнув глазом, но мне это пока не грозит, чувствую себя за ним, как за каменной стеной. Кстати,

это благодаря его идее реанимировать гипотезу волго-окской прародины финно-угров, — венгров, в том числе, — я оказался на берегах Дуная. Идея эта, обещающая найти генетическую основу социалистическому содружеству наших народов, была с энтузиазмом воспринята высокими инстанциями, и вопрос о моей годичной стажировке в Будапеште был решен в одночасье — очень вовремя, с точки зрения моих семейных, да и других интимных дел. Теперь, после четырех месяцев изучения словоизменительных и словообразовательных аффиксов, межъязыковых фонетических соответствий, заимствований и прочей специальной хреновины, сомнительность идеи шефа стала мне очевидна, но я продолжаю прилежно трудиться над первоисточниками, ежемесячно отсылая в институт полные оптимизма промежуточные отчеты: перспектива досрочного возвращения в Москву меня вовсе не радует, а мысль о начальственном гневе мгновенно материализуется свинцовой тяжестью в желудке.

Руди, как и в первый раз, полон добродушия. Весь его облик — мощный торс, не скрывающая здоровой розовощекости рыжеватая щетина, светящиеся весельем рыжие слегка на выкате глаза — говорит о здоровье: душевном и физическом. И чтоб такой мужик почти тридцать лет избегал женщин? Да ни в жизнь не поверю! Наверняка не так. Матримониальные проблемы и секс совсем не одно и то же. Даже для меня...

В руках у Руди нарядный пластиковый пакет — вещь малодоступная для моих, живущих в условиях развитого социализма, сограждан.

— Посмотри, что я принес.

В пакете две плоские картонные коробки с долгоиграющими пластинками. На одной — портрет импозантного мужчины в шубе с бобровым воротником и того же меха шапке: «Ivan Rebroff», — песни его, конечно, слышал, но портрет вижу впервые. На другой — группа мужчин в темно-синих бешметах вокруг чернобровой красавицы: «Хор кубанских казаков».

— Дома у меня есть еще кое-что, — загадочно улыбается Руди. — А это, смотри, — он водит толстым пальцем по напечатанному поверх казачьих бешметов списку — «Распрягайте хлопцы конэй», «Взяв бы я бандуру», «По дону гуляет...» — Откладывает казаков и показывает коробку с Ребровым: «Очи черные», «Черный ворон...» — Ты знаешь «Черный ворон»? Моя любимая! А Мариина — «Очи черные».

Тут как раз отрубается клубный магнитофон, и Руди, словно только этого и ждал, негромко запевает: «Черный ворон, черный ворон, что ты въешься надо мной? Ты добичьи не добьешься. Черный ворон...» Голос у него хриплый, да и акцент не приведи Господь, но текст мне хорошо знаком, так что все можно понять. Главное же, он удивительным образом уловил присущий песне дух удалой грусти, или — грустной удали. Ай да австрияк! Мои губы начинают шевелиться, я пытаюсь подпевать. Руди дирижирует — рыжими бровями, и что-то у нас действительно получается. Но тут начальствующая блондинка за соседнем столиком, а вслед за ней и ее пришибленная компания разражаются смехом, и это оказывается почище, чем все клубные динамики вместе взятые.

Руди смущенно улыбается:

— Жаль, что нельзя здесь послушать пластинки.

— Хочешь, узнаю: может быть, у них есть проигрыватель?

— Нет уж, спасибо! — Он ласково поглаживает коробки. — Этого я никому не доверю, только сам, только на моей системе.

— Ну, как хочешь.

— А знаешь, — оживляется Руди, — приезжай ко мне в Вену. А? Я тебе такой концерт устрою. Хорошая мысль! На викенд... Выпьем, послушаем русскую классику... У меня есть еще кое-что... А? Приедешь?

— Да, нет. Это невозможно.

— Почему?

— Хотя бы потому, что у меня нет визы.

— Нет визы? Гм-м... Так получи.

Получи!.. Легко сказать. Как? Вполголоса, чтоб не слышали за соседним столиком, — бдительного майора сегодня вроде бы нет, но никогда нельзя быть в этом уверенным на сто процентов, — объясняю:

— Да я из вашего посольства выйти не успею, как меня в Москву отправят. И хорошо, если не под конвоем.

— Правда? — Он перестает улыбаться, задумчиво произносит: — Хорошие вы ребята. Одного не пойму: как вам удается так испортить жизнь... себе... и другим? А ведь на словах этот ваш коммунизм такой благородный...

— Чересчур, чтобы быть жизненным... В этом-то все дело.

— Гм-м... да. — Руди согласно кивает, хотя вид имеет озадаченный.

Некоторое время молча пьем пиво. «Шумел камыш» сегодня никто не вспоминает. Соответственно, не слышно и Кобзона. Традиции клуба под угрозой.

— Ты говорил, твой бизнес здесь еще на восемь месяцев? — неожиданно спрашивает Руди.

— Примерно так.

— А в Ростове ты когда-нибудь бывал?

— Когда-нибудь бывал. — Смутно припоминаю студенческие времена, когда мы с подружкой пробирались автостопом на черноморские курорты.

— Сможешь, когда вернешься, опять туда съездить? Вам не запрещено?

Так вот каковы его простодушные интенции: разыскать с моей помощью Марию! Что ж... Почему бы не помочь? Дело богоугодное. Много ли богоугодных дел я совершил за тридцать прожитых на этом свете лет? Если по Гамбургскому счету, пожалуй, не назову ни одного. С этого как раз и начать.

— Съезжу. Это нам, слава Богу, не запрещено. Можем вместе: оформлю тебе приглашение.

— Правда? — оживляется он. — Это возможно?

— Почему бы нет? Частная туристическая поездка на черноморские курорты... через Ростов.

Следует пауза... Руди сосредоточенно обдумывает мои слова.

— Ты это — серьезно? — спрашивает он наконец.

— Вполне. Надеюсь, ты не числишься в каких-нибудь черных списках: контрабанда, допустим, или еще что-нибудь в этом роде

— Пока, вроде бы, нет.

— Вот именно что пока...

Мы оба смеемся.

Он осторожно убирает пластинки в пластиковый пакет, аккуратно откладывает его в сторонку и вдруг вскидывается в эвристическом порыве, — стул под ним угрожающе скрипит.

— Послушай! Зачем тебе виза? Ты можешь поехать в Вену со мной. В моем фургоне. Я часто езжу с напарником: на границе все меня знают, за восемь лет ни разу не остановили. Разве только, чтобы взять презент: ваши любят хорошие отбивные, у меня для них всегда готов пакет. А на нашей стороне, так и этого не требуется.

На меня накатывает волна неожиданного энтузиазма: вот она — возможность увидеть, наконец, этот благословенный Запад с его молочными реками и кисельными берегами... Но волна тут же отступает: слишком долго я жил по эту сторону занавеса, слишком много всего впитал с молоком матери, до конца дней, после ареста родителей — моих, никогда мною в жизни так и не увиденных, деда и бабки, сохранившей панический страх перед человеком в мундире.

— Нет, — говорю я с сожалением, — этот спорт не для меня.

— Но почему? — не перестает, мешая немецкий с русским, убеждать Руди. — Никакая проблема нет. Тафай поекали!

Я отрицательно качаю головой.

— Тогда давай по-другому, — не унимается он. — Я положу лотки с мясом сначала вдоль кузова, так, чтобы остался проход и ты мог лечь, а потом второй слой — поперек прохода. Тебя не будет видно. Никто не станет разбирать лотки. Гарантирую! Такого за все восемь лет ни разу не было. Место тебе в проходе достаточно. Это для меня мало, а таких, как ты, двоих положить можно, и еще останется... Ха-ха-ха... Ну, тафай, поекали. Покажи, ты есть ликой парьен!

Это я-то лихой парень? Мысленно вижу себя в зеркале: худой, сутулый, длинноволосый... да еще с псивой бороденкой. Этакий советский хиппи образца 1973 года. Просто удивительно, как меня при такой наружности выпустили за границу. Заслуга академика, да и заграница — эрзац. В настоящую — в Вену, например, — ни в жизнь бы не разрешили. Нет, лихим парнем я не был никогда. С детства боялся шпаны, начальства, людей в погонах...

— Нет, уж извини — этот спорт не для меня. Так ты меня, чего доброго, еще и невозвращенцем сделаешь. Ты когда-нибудь слышал такое слово: не-воз-вра-щенец?

Руди старательно повторяет:

— Нэ-ваза-вра-щьениц.

— Ты знаешь, кто это? Тот, кто не хочет вернуться... остается за границей.

— Так и пусть остается, раз там ему лучше!

— Ну, это вы — европейцы — такие...

— Не только... Американцы тоже...

— Да, и американцы. Почему бы нет? У них там, в Америке, все о'кей. А у нас?.. Ну, представь: болен кто-то из твоих близких... Ты уедешь, чтобы переждать, пока он сыграет в ящик?

— Да... я понимаю, — кивает Руди. — Мария тоже не хотела быть нэвазавращьениц. Мы могли уехать на юг, в Тироль, — у меня там родственники, — но она обязательно хотела вернуться в Ростов. Хоть ненадолго... — И он сокрушенно покачивает всем туловищем. Стул под ним уже не скрипит, а трещит, — похоже, клубу будет нанесен сегодня материальный урон.

Мой предостерегающий жест возвращает его к действительности:

— Ладно... Donnerwetter — черт возьми! Обсудим в другой раз. А сейчас пошли выпьем паленки... в тот погребок, что в прошлый раз собирались.

— Не поздно?

Он решительно поднимается:

— Самое время.

Дальнейшие подробности этого вечера помню урывками. Домой возвращаюсь шикарно — на такси, шикарно оплаченном Руди.

-3-

В ночь с воскресенья на понедельник погода портится. Отрицательных градусов, вроде бы, немного, два или три, но сыро, ветрено — промозгло. Вставать не хочется. За окном лежит снег. С улиц внизу он стаял до рассвета, но крыши еще сияют девственной белизной. Над трубами вьются дымки: топятся печи. Не исключено, что топит и наша квартирная хозяйка, но до моей, заткнутой в конец коридора комнаты, тепло не доходит.

На полу у входа лежит записка: видимо, хозяйка подсунула под дверь еще с вечера. Скорее всего, какая-то бытовая мелочь, — ждать неприятностей, вроде бы, неоткуда, но, глядя на белеющий у двери листок, испытываю чувство легкой тревоги и потому тяну с прочтением насколько возможно: одеваюсь, складываю сумку, предаюсь утреннему туалету. Но вот сборы окончены, пора выходить (завтракаю обычно сэндвичем, купленным с лотка напротив церкви Святого Ласло, кофе пью в институте: венгры большие мастера готовить кофе, — институт, от рецепции до крыши, пропитан его ароматом). Поднимаю листок, исписанный не по-женски крупным угловатым почерком хозяйки: «Николай, звонил коллега Ковач. Вам телеграмма из Москвы».

Телеграмма из Москвы? Мне?.. Это уже что-то новое! Кому я мог понадобиться?.. Только накануне от жены пришло письмо, содержание которого, вроде бы, не предполагает дальнейших эпистолярных контактов. Московским коллегам я на хрен не нужен: когда однажды понадобился, легко нашли по рабочему телефону. Тогда кто?

Перебираю варианты. Вероятность любого крайне мала. Есть, впрочем, один, который нельзя исключить как раз в силу его непредсказуемости, но о нем и думать не решаюсь.

Трамвай в этот час уже почти пуст. Сажусь на полюбившееся с первого дня место в голове вагона, где есть куда вытянуть мои длинные ноги и можно смотреть из-за спины вагоновожатого, как неторопливо ползут навстречу, просительно протягивая голые ветви, еще недавно зеленые будапештские платаны. Достаю из сумки и перечитываю письмо жены, его наиболее яркие строки, — так сказать, избранные места из переписки с друзьями...

«Прошло четыре месяца со времени твоего отъезда, дорогой, и я получила от тебя четыре кисло-сладких письма: по одному в месяц. Немного и не мало — ровно столько, чтобы ситуация выглядела внешне спокойно, не требовала каких-либо решительных действий. Между тем решительные действия в нашем случае необходимы, ты прекрасно об этом знаешь, но, как это тебе свойственно, предпочитаешь прятать голову в песок. Я могла бы привести этому массу примеров, но ограничусь одним из последних, очень меня обидевшим: когда на прошлый Новый год я сознательно, чтобы вызвать твою ревность, стала флиртовать с этим пижоном в вельветовом пиджаке, ты сделал вид, что не замечаешь этого. В сущности, и в Будапешт ты уехал, — сбежал, — чтобы уйти от острой ситуации, возникшей в нашей семье: лишь бы не брать на себя ответственность, не смотреть правде в глаза. Покантуешься за рубежом годик, и проблема, глядишь, решится сама собой. И ты не ошибся, дорогой: я беру ее решение на себя — не могу больше терпеть двусмысленности, улыбаться и делать вид, что все в порядке. Я решила с тобой развестись. В юридической консультации говорят, что до твоего возвращения это сложно. Поэтому считай, что вопрос решен пока де-факто. Когда вернешься, решим его де-юре. Тогда же обсудим материальную сторону. Но уже сейчас хочу подчеркнуть, что, поскольку квартира была куплена на деньги моих родителей, ты не должен...»

Что ж, не должен, так не буду. Тем более, что в чем-то моя — теперь, выходит, бывшая — жена права. Я действительно опасаюсь острых ситуаций: боюсь потерять душевное равновесие, показаться смешным, сделать кому-нибудь, — в данном случае ей же, — больно. Но эта история, на прошлый Новый год, — совсем иное дело: просто в моей жизни тогда уже появилась Эви, а ревновать жену, когда сам только вернулся от другой женщины, действительно, двусмысленность, я бы сказал, банальность. И в Будапешт я уехал — «сбежал» — не только из-за семейных дел. Главное, я попросту не мог жить прежней жизнью после того, как мы с Эви расстались. Сравнивая теперь эти два, с разницей в полгода происшедшие в моей жизни события — тогдашний уход Эви и теперешний уход жены — остро чувствую разницу: первое было, — по крайней мере, казалось, — жизненным крахом, второго я подсознательно ждал с грустью и нетерпением.

Трамвай со скрежетом вписывается в очередной поворот...

В институт прихожу почти вовремя, забыв купить по дороге традиционный сэндвич. «Будете пить кофе?» — спрашивает мой сосед и коллега доктор Ковач — специалист в области пазиграфии (теории систем всемирной письменности). Во всем его облике такое подчеркнутое равнодушие к моим личным делам, что можно не сомневаться: содержание телеграммы ему известно. Машинально беру чашечку с кофе: сначала выпить... или сначала прочесть? Растягивая время, спрашиваю: «Как вчерашний футбол?» Доктор пожимает плечами: «Вы же знаете, я не большой любитель. Спортом надо заниматься самому, а не смотреть, как им занимаются другие». Что-то такое — дидактическое — я и предполагал от него услышать. Телеграфный бланк слегка дрожит в моих руках. Буквы — латинские, слова — русские, текст — как раз тот, в возможность которого я за минуту до этого не верил и который, — мне вдруг становится это ясно, — подсознательно ждал все эти месяцы:

«Skuchayu. Budu Budapeshte chetverg utrom. Naiydu tebia rabochemu telefonu. Vstrechat' ne sleduet. Tseluyu. Evi».

Я опускаюсь на стул. Не могу сдержать улыбку, видимо, глупую. Коллега Ковач с головой, — по крайней мере, в переносном смысле, — уходит в свое основное занятие: перебор карточек в очередном каталожном ящике. Внутри у меня все клокочет от радостного возбуждения: она по мне скучает, она ко мне едет, в четверг я ее увижу!

А ведь не прошло и двух недель с тех пор, как я утвердительно ответил на вопрос Руди, есть ли у меня жена, и предполагал ответить отрицательно на его следующий вопрос — относительно любовницы. И вот теперь жена канула в лету, а... любовница (что поделаешь, если нет более подходящего слова?) складывает чемоданы перед броском в мои объятия. Но как типичен для нее этот неожиданный кульбит: будет в Будапеште в четверг утром, — сегодня, между прочим, уже понедельник (а ведь, наверно, узнала о поездке не вчера: при нашей-то системе оформления загранпоездок). И почему не встречать? Сколько пробудет? Где остановится?.. И главное: что следует предпринять мне?. Ведь пишет, что соскучилась, что надо увидеться, что найдет меня по рабочему телефону... Догадываюсь, что едет по своим концертным делам, и все же вроде как ко мне! Хочется надеяться, что ко мне. Иначе могла бы и не сообщать о приезде, молчать, не подходить к телефону, как делала это все последнее время — с тех пор, как в ее жизни появился гобоист с непрезентабельной фамилией «Пешкин».

Воображение рисует упоительные картины грядущей встречи — в полном несоответствии с убогой обстановкой институтского офиса и подчеркнуто официальным видом педанта Ковача. Но ни о чем другом не могу думать: слишком долго я подсознательно ждал этого момента. Так, что же следует предпринять? Проза жизни в том, что где-то мы должны встречаться, где-то должно быть то место под крышей, где между нами произойдет (а потом будет происходить снова и снова) то, от одной мысли о чем мое сердце начинает стучать, как джазовый барабан средних размеров. Годится ли для этого ее гостиничный номер?.. Ины-

ми словами, куда поселят концертантов второго уровня заслуженности (не победителей, а дипломантов международных конкурсов), к которым относится Эви, — в одноместные или двухместные номера? Из ее рассказов следует, что бывает и так и этак, причем предпочитают — в двухместные: так проще контролировать нравственность и вообще — контролировать. Значит, не исключено, что придется искать что-то другое. Но можно ли допустить, чтобы она томилась в ожидании, а главное, чтобы утекало сквозь пальцы отведенное нам драгоценное время, пока я буду бегать по Будапешту в поисках пристанища?

Проблему следует решить заранее. Моя убогая комната для этого явно не подходит, и не только из-за ее убогости: «Надеюсь, вы не превратите квартиру в место свиданий», — с самого начала предупредила меня моя квартирная хозяйка, обижено поджимая свои и без того тонкие губы. Альтернатива — гостиница. Но с гостиницами здесь не лучше, чем в Москве. Устроиться самостоятельно, да еще с советским паспортом и статусом командировочного нереально: таких обязана обеспечить жильем принимающая сторона. Близких знакомых у меня нет, — не обсуждать же, на самом деле, проблему с коллегой Ковачем! Больше, однако, не с кем. Разве что с моим новым и, как я внезапно осознаю, единственным среднеевропейским другом Руди. Но, во-первых, он появится лишь в пятницу, а во-вторых, что он может предложить: переправлять нас по ночам в Вену, а утром возвращать в своем фургоне обратно? Боюсь, взглянув на кустодиевские формы Эви, он усомнится в возможности уместить нас двоих в проходе между лотками с гусиной печенкой. При мысли об этом на меня нападает приступ смеха, но я сдерживаюсь: рассмеяться в лицо доктору Ковачу было бы катастрофой.

— Что-то мне сегодня нездоровится, — произношу я, морща нос и потирая виски. — Такое резкое изменение погоды! Наверно, надо было остаться дома, отлежаться. Может быть, останусь завтра. — На самом деле, планирую весь завтрашний день посвятить решению проблемы гостиницы.

— Дело не в погоде, — доктор косится на лежащую поверх моих бумаг телеграмму, словно давая понять, что причина моего недомогания ему хорошо известна, и, выдержав паузу, назидательно произносит (непонятно, издевается или всерьез): — Надо принимать по утрам контрастный душ и делать гимнастику под открытой форточкой.

— Непременно начну с понедельника.

— Как, кстати, идут дела?

— Удалось найти еще несколько интересных соответствий.

Он удовлетворенно кивает:

— Это необычайно важно. Необычайно! Как и вся ваша работа. Вы уже сообщили в Москву? — На этот раз, безусловно, издевается, книжный червь!

Сдержано улыбаясь, отвечаю:

— Пока нет: информационные отчеты я посылаю в Москву в самом конце месяца.

-4-

Весь день делаю вид, что работаю: перебираю, подобно моему соседу, карточки, выписываю, перекладываю, но мысли далеки от проблемы финно-угорских фонетических соответствий и заимствований. Удивительно, как неожиданно, в какие-то ничем не примечательные, абсолютно непредсказуемые моменты, происходит в нашей жизни все самое значительное. Просыпаешься утром в снимаемой тебе «принимающей стороной» скромной, — статус младшего научного сотрудника предопределяет, — комнате, несколько минут лежишь неподвижно, разглядываешь ветхие вишневые обои, резные ножки старомодного письменного стола, покрытый линолеумом пол, и ничто, ровным счетом ничто не подсказывает тебе, что в следующую минуту произойдет событие, радикально меняющее твою жизнь: ты увидишь подсунутую под дверь записку... Или другое: звонит телефон, ты снимаешь трубку, с кем-то разговариваешь, с чем-то равнодушно соглашаешься, с чем-то — нет; и так пять раз за день, тридцать раз за неделю, сто двадцать пять раз за месяц, и жизнь течет размеренно и плавно в устоявшихся пределах. Но вот телефон звонит в сто двадцать шестой раз, ты механически снимаешь трубку, и ничто, ровным счетом ничто не говорит о том, что этот звонок будет иметь для тебя судьбоносное значение, ибо она скажет, что увидеться сегодня вечером вы не сможете, и завтра — тоже, а когда сможете — неизвестно, потому что она неожиданно уезжает, а потом от ее подруги ты случайно узнаешь, что она действительно уезжает — в Крым, с гобоистом Пешкиным... А бывает и совсем иначе... Нет, лучше вспомнить другое: вот, два года назад в промозглых январских сумерках ты, до костей продрогший в своей некогда модной, но теперь уже сильно битой, японской куртке, поднимаешься, держась за поручень, по обледенелой лестнице в подземном переходе, что на Пушкинской площади, а впереди тебя поднимается рослая крепкого вида барышня с лакированным виолончельным футляром в руках. Впрочем, то, что она рослая и крепкого вида, ты поймешь потом, ибо в этот момент ты ее просто не замечаешь: твой взгляд скользит мимо нее, потому что ничто в ней не может привлечь твоего внимания. И ничто, ровным счетом ничто не подсказывает тебе, что в следующее мгновение произойдет событие, которое в корне изменит твою жизнь: барышня поскользнется, вскрикнув, ухватится за поручень, выпустив из рук лакированный футляр, и он, гулко стукнувшись о стену, полетит — полетел бы! — вниз, пересчитывая ступени, если бы ты не успел, подставив ногу, прижать его к стене. «Боже! — бросится к футляру барышня, но, вновь поскользнувшись, опять уцепится за поручни. — Боже! Что с ней? Она цела?» «Думаю, цела... Поднимайтесь наверх, я вам помогу». «Вы представить себе не можете, как я вам благодарна!» — воскликнет барышня. Здоровый румянец постепенно вернется на ее побледневшее лицо, и вообще слово «барышня» не очень окажется к ней применимо: крепкая — кровь с молоком — молодая леди лет этак... недалеко до тридцати, не имеющая ничего общего (меланхолически отметишь ты про себя) с твоим идеалом женской красоты. «Сам Бог послал вас сюда, — скажет она, продол-

жая одной рукой держаться за поручень, а другую прижимая к груди. — Эта виолончель для меня — всё, таких инструментов в Союзе не наберется и десяток! Как, хотя бы, вас зовут?» «Пабло Казальс», — ответишь ты, скромно потупясь. «Какая неожиданная встреча, — улыбнется она. — А меня Эви. Позвольте угостить вас чашечкой горячего кофе, а то очень уж у вас в нашем климате замерзший вид, маэстро!»

Как сложилась бы моя жизнь, окажись я в подземном переходе несколькими секундами раньше... или позже... Неужели случайность так всемогуща? Или она — удел отдельных неуравновешенных личностей, склонных к навязчивым идеям? Ведь я любил жену, собирался родить ребенка (если получится — мальчика... и не одного), и, весьма вероятно, так бы оно и случилось, не свались мне, как снег на голову, эта дорогостоящая виолончель. Что если бы в подобной ситуации очутился Руди? Немало женщин, должно быть, прошли через его жизнь, да и через постель, за двадцать восемь лет его соломенного вдовства, но, по большому счету, он по-прежнему верен своей Марии. Вероятно, каждый в том или ином отношении — маргинал. Интересно, какие сексуальные отклонения свойственны доктору Ковачу?.. Любопытно в этой связи было бы поговорить по душам с его женой.

По счастью, с двух часов дня коллега Ковач работает в библиотеке. По счастью, потому что в три, в полном соответствии с мыслями о роли непредсказуемого, неожиданно решается проблема гостиницы: из Вены звонит Руди (оказывается, в угаре пятничного застолья я дал ему свой служебный телефон: пользование домашним квартирная хозяйка не одобряет, — и напрочь забыл об этом).

— Здравствуй, Николай! — слышу я его хриплый голос. — Как есть твой здоровъе? В пятница мы немного много пили.

— Сегодня уже нормально, — отвечаю я по-немецки.

Он тоже переходит на немецкий:

— Увидимся в эту пятницу в клубе?

Я коротко объясняю ситуацию: так, дескать, и так; что будет в пятницу, сам не знаю.

— Вот видишь! — восторгается он. — Я знал, что она приедет. Это есть корошо! Sehr schön — очен корошо!

Похоже, он понял меня в том смысле, что приезжает моя жена. Приходится внести ясность, коснуться некоторых интимных моментов (в этом-то и удача — отсутствие доктора Ковача!), упомянуть о проблеме гостиницы.

— Никакая проблема нет, — деловито произносит Руди. — Пойди в любой отель, подойди к администратору, предложи пятьсот форинтов, и номер твой.

— Ты думаешь?.. А если он не согласится... возмутится?

— Тогда дай ему тысячу.

Как всякий нормальный советский человек, я, конечно, знаю об этом универсальном способе решения проблем дефицита... Но здесь — какая ни какая, а Европа!

— Сомневаешься? — догадывается Руди, словно флюиды моих сомнений перетекают по телефонному кабелю. — Тогда пойди в отель «Рояль»... Улицу точно не помню, но это на Большом бульварном кольце, в самом центре... Спроси администратора Сегледи, скажи, что от Руди Эбнера. Ну и сразу готовь тысячу двести: отель высший класс.

— Сегледи? Отель «Рояль»? Большое Бульварное кольцо?

— Яволь. Как у тебя с деньгами? Если надо, в пятницу привезу, — и поскольку я молчу, весело добавляет: — Не стесняйся: в Ростов поедем — отдашь, ха-ха-ха...

Во вторник с утра иду в отель «Рояль» — Большое бульварное кольцо, в центре, — и все происходит именно так, как обещал Руди. Незначительные отличия («Тысяча четыреста, товарищ: все номера заняты») дела не меняют. «Какой хотите этаж?» — не поднимая головы от своего кондуита, интересуется администратор Сегледи. «Не существенно», — отмахиваюсь я, не подозревая, что очень скоро вопрос об этаже приобретет принципиальное значение.

В целом предшествующие четвергу дни проходят под знаком напряженного ожидания, — правильнее сказать, не дни, а сутки, потому что ощущение ожидания не оставляет меня ни днем, ни ночью. Воображение рисует картины, рассказывать о которых не принято.

В четверг впервые прихожу в институт раньше коллеги Ковача. В тусклом свете ненастного январского утра наш тесный офис кажется особенно убогим: мой захламленный и его идеально прибранный письменные столы у окна, два канцелярских шкафа у противоположной стены и портрет профессора Кальмара — автора знаменитой венгерской пазиграфической системы (так же бесславно канувшей в лету, как и все другие системы всемирной письменности) — против двери. Есть, однако, еще один офисный аксессуар — приставной столик с телефоном... Вроде бы старательно перебираю карточки, вроде бы делаю аккуратные выписки... на самом деле — жду, — жду, когда раздастся телефонный звонок и я, наконец, услышу ее густое контральто, удивительно похожее (некоторые сочтут за банальность, но для меня — это так) на звук ее виолончели. Да что там голос... сам ее облик, очертания ее фигуры напоминают мне виолончель. И ничего удивительного: Ростропович предпочел виолончель другим струнным потому, что увидел в ней женщину. Солдаты в казармах вешают на стены цветные фотографии полуголых девиц, начальство не возражает, полагая, что изображения обнаженной натуры снижают уровень стресса, вызванного чувством сексуального одиночества. В моей комнате над кроватью висит недавняя афиша Будапештской филармонии с изображением виолончели в натуральную величину: фиолетовый флер едва скрывает светящуюся теплым светло-шоколадным светом деку, изящный изгиб грифа, темные впадины эфов, развитые формы обечаек, подчеркивая ощущение легкой обнаженности, — совершенный образ эротического совершенства. И тем не менее, когда вижу, как, упершись в экстазе в пол стройной ножкой, виолончель стонет между широко раздвинутых колен Эви, мне

чудится нечто порочное, лесбийское. «Неужели ревнуешь даже к этой дорогостоящей деревяшке?» — удивляется Эви. Не знаю, может, действительно ревную? На ее концерты, во всяком случае, ходить перестал.

Жду... Время почти не движется.

Собравшись в туалет, прошу подчеркнуто сегодня предупредительного доктора, если мне позвонят, попросить подождать или перезвонить через несколько минут. В ответ на мой молчаливо заданный по возвращении вопрос он молчаливо разводит руками. В первую половину дня нам вообще никто не звонит.

В два доктор, как обычно, отбывает в библиотеку, и я решаю не покидать комнаты. За окном сумрачный январский день. Снег с крыш стаял, и глазу не за что зацепиться. Время тянется изматывающе медленно. Ловлю себя на том, что третий раз перемещаю из ящика и обратно одну и ту же карточку.

Уже темнеет, когда раздается первый за день звонок. Стремительно хватаю трубку — интересуются доктором Ковачем. Через несколько минут телефон опять оживает. На этот раз из библиотечного абонемента спрашивают меня. Итак, два пустых звонка имели место, третьего, как известно, не миновать... Но вот телефон звонит опять, и на этот раз — это она. «Здравствуй, дружок! — звучит в трубке ее певучий голос. — Как же я рада тебя слышать! Я так соскучилась! Даже не верится, что мы увидимся. Как ты живешь?»

Выясняются, наконец, подробности ее приезда: прилетела полтора часа назад в группе музыкантов, сопровождающих Фурцеву. Завтра в нашем посольстве прием, на котором Эви исполняет «Фантазию для виолончели и фортепиано» Пабло Казальса.

— Бог с ним — с завтра? Когда мы увидимся сегодня? Где ты остановилась? У тебя отдельный номер?

Ответ звучит ошарашивающе:

— Сегодня, дружок, боюсь, не удастся: через два часа прием у их министра культуры. А надо еще привести себя в порядок — ванна, косметика... Ну, ты понимаешь: я с пяти часов на ногах, выгляжу ужасно.

— А после... после приема?

— После? — переспрашивает она. — Но ведь это не раньше одиннадцати, и нас сразу отвезут в гостиницу.

— И что из этого?

— Я не уверена, что в такое время мне удастся уйти в город... или принять кого-то у себя. Тебя обязательно остановят в рецепции, спросят, к кому ты идешь. Ведь это не обычный визит: мы сопровождаем... Ну, ты понимаешь.

Честно сказать, нет, не понимаю. Никогда не сопровождал кого-нибудь рангом выше моего академика. Потрясенно спрашиваю:

— То есть мы сегодня не увидимся?!

— Боюсь, дружок, что нет, — тембр ее голоса призван передать всю глубину ее сожаления. — Не обижайся, я так ждала...

— А когда?

— Завтра в первой половине дня мы свободны.

— И на том спасибо. Посетим Национальный музей. А во второй?

— Во второй — как раз прием в посольстве, и мы играем.

— И тоже до одиннадцати?

— Вероятно... Только не обижайся, завтра в нашем распоряжении вся первая половина дня. У нас будет достаточно времени обсудить мои дела.

Вот как, обсудить ее дела... Ничто другое ее не интересует: я сам и мои дела значения не имеют. А ведь когда-то они ее очень интересовали — те первые месяцы нашей близости, до появления на горизонте гобоиста Пешкина. Нет, не так представлял я себе нашу сегодняшнюю встречу!

— А как насчет субботы?

Следует пауза.

— Понимаешь, дружок, я не принадлежу себе, — говорит она наконец. — В субботу днем мы играем концерт в Эгере, — это сто тридцать километров от Будапешта, — а вечером приглашены в оперу.

— До одиннадцати? — Эви молчит. — А в воскресенье утром ты улетаешь? — Она продолжает молчать. Мои руки начинают дрожать, но не от волнения или робости, а от несвойственной мне решимости.

— А где ты все-таки остановилась? У тебя отдельный номер?

— Естественно, я ведь теперь солистка.

— А в каком отеле? Надеюсь, здесь нет государственной тайны?

— Что это меняет?

— А очень многое: я влезу к тебе в окно, детка, минуя рецепцию, так что твоей репутации ничто не повредит. Как Жульен Соррель к мадмуазель Луизе де Ла-Моль.

— Я живу на пятом этаже.

— Это не имеет значения, — теперь существуют пожарные лестницы. Так как называется гостиница?

— Кажется... «Рояль»... Да, «Рояль».

— Ах, вот как! — меня обуревает смех, но я сдерживаюсь: отель «Рояль»... Большое бульварное кольцо... В самом центре... Ай да Руди! Ай да я! — Вы будете удивлены, милостивая государыня, но я снял номер в том же отеле и не прощу себе, если не засвидетельствую вам сегодня же своего почтения. Рецепция, в этом случае вообще не причем. В каком номере вы изволили остановиться?

— Ты все такой же — фигляр... В пятьсот восемнадцатом.

— Великолепно, мадам. Я навещу вас ровно в полночь. До скорой встречи, мадам. Целую ручки, мадам.

-5-

К утру ветер сдувает застрявшие на Будайских холмах облака, и плоскую чашу Пешта накрывает гигантский бледно-голубой свод, все сверкает и светится в лучах холодного зимнего солнца, пахнет дымом бесчисленных печей и каминов, сдобренным ароматом крепкого кофе. Я

неторопливо шагаю вдоль проспекта Андроши — расслабленный, умиротворенный. Если бы за углом меня ждала смерть, я, ей-богу, принял бы ее со стоическим спокойствием как проявление некой высшей справедливости: жизнь дала мне этой ночью все, чем я бредил долгие месяцы моего будапештского аутизма, сделала царский подарок, и я ей премного за это благодарен. Вот и денек выдался — подарок судьбы! Эви молча идет на полшага впереди, чуть прикрыв глаза, подставив лицо солнцу, наверстывая упущенное пасмурной московской зимой. Впрочем, нехватка солнца и связанный с этим дефицит витамина А мало сказались на качестве ее кожи — бархатной, нежно-румяной, какая бывает у прибалтийских женщин, да еще, говорят, у англичанок. Дунайский бриз играет ее белокурыми локонами. Мы спали урывками, но ни ей, ни мне спать не хочется, — человеческий организм устроен очень рационально: если бессонница вызвана причинами такого свойства, как те, что мешали нам уснуть этой ночью, короткие провалы в сон так глубоки, что чувствуешь себя заново родившимся.

— Ты знаешь, что Бродский уехал? — неожиданно спрашивает Эви.

— Слышал. Вроде бы не уехал, а выслан... в наказание за грехи.

— Хотела бы я получить такое наказание, — усмехается она и вновь умолкает.

Минуем здание Будапештской оперы — помпезное и эклектичное, как и сам проспект Дьюлы Андроши. С фасада на нас взирают, мирно соседствуя, Чайковский и Мусоргский... А ведь в жизни на дух друг друга не переносили. Вечером на здешних ступенях будут толпиться многочисленные меломаны, а сейчас среди колонн портика суетятся лишь несколько рабочих в синей униформе с надписью «OPERA» на спине и груди, устанавливают щит с афишей «Figaro».

— Завтра — мы здесь, — тоскливо замечает Эви. — Лучше б по магазинам побегать.

— Причастность к делам сильных мира сего обязывает.

— Следующий раз окажусь в Венгрии не раньше, чем через полтора месяца. Может быть, выкроим сегодня часок на шопинг?

Вот как, через полтора месяца планируется новый визит? Об этом мы еще не говорили. И вообще на обсуждение ее «важных» дел времени пока не нашлось: она молчит, а я стараюсь о них не думать, — на душе так легко и умиротворенно, как и не помню, когда еще было, и хочется елико возможно длить это ощущение всеобщей гармонии. Давая волю чувствам, запускаю в небо мою видевшую виды кожаную кепку. Она описывает, вращаясь, удлиненную вертикальную петлю, и я ловлю ее в прыжке — труль-ля-ля! — словно жонглер-профессионал... «С хорошей, вас, погодой!» — улыбаются редкие в этот час прохожие. «Экий ты, дружок, сегодня! Всегда такой застенчивый...» — улыбается Эви. «Так и ты приезжаешь меня навестить не каждый день», — смущенно улыбаюсь я.

Холодно, однако: термометр на здании Музея венгерской почты показывает минус пять. Пора греться. Заходим в первое попавшееся кафе — маленькое, по-домашнему уютное, как большинство здешних кафе. По-

сетителей нет. Хозяин в черной жилетке поверх белоснежной рубашки радостно нас приветствует:

— О, hello! You are very welcome! I have not seen you for ages, mam!»/ О, привет! Добро пожаловать! Я не видел вас целую вечность, мэм!/ — Похоже, он принял нас за американцев: моя несоветская внешность и парижской вязки кардиган Эви ввели его в заблуждение.

Эви поражена:

— Он узнал меня! Что значит, профессиональная память! Если я и была здесь, то года три назад, в те наши гастроли.

— Доброе утро, — говорю я по-венгерски. — Мы ужасно замерзли! Глинтвейна нам, пожалуйста, да погорячей.

— Сию минуту, господа! Сию минуту, мэм!

Выбираем залитый солнечным светом столик у окна. В чугунной печи гудит пламя, на противоположной стене картина: усатые мадьяры готовятся пригубить бокалы красного вина, — похоже на Пиросмани. Тихо, тепло... Жизнь продолжает расточать свои щедроты.

— Как же мне здесь нравится! — восклицает Эви. — Ведь вот, тоже социализм, а совсем другого толка. — И, вдруг нахмурившись, изменившись в лице и голосе, спрашивает: — Ты еще помнишь, как там, у нас?

— Вернусь — вспомню. А сейчас — глинтвейн, мэм!

Но, похоже, она завелась, и просто так ее не остановишь.

— Ужас! Я больше не в состоянии этого выносить... И раньше понимала, что так жить нельзя, но после того, как поездила по свету, посмотрела, как живут нормальные люди, стало совсем тошно.

— Что поделаешь, — миролюбиво замечаю я. — Есть свои достоинства...

— Это какие же? Прелести социалистической демократии? Ты стал патриотом?

— В этом смысле, нет. Но помнишь анекдот про воробья: попал в дерьмо — не высовывайся.

— А я не хочу больше сидеть в дерьме! Хочу жить при подлинной — не социалистической — демократии: носить норковую шубку, ездить на хорошем автомобиле...

Я вдруг догадываюсь, что мы приблизились наконец к обсуждению тех самых ее — важных — дел. Сказке, стало быть, подходит конец. Хватаясь за последнюю соломинку, спрашиваю:

— Хочешь штрудель к глинтвейну?.. Яблочный, наисвежайший? — и глажу ее холодные, невероятно длинные, — никогда до встречи с ней таких не видел! — пальцы.

Мое предложение остается без ответа, — вероятно, она пропустила его мимо ушей.

— Хочу иметь прислугу, ходить в ночные бары, ездить в Ниццу, послать сына учиться в Кембридж, — продолжает она излагать свою концепцию подлинной демократии.

Хозяин приносит источающие пряный аромат корицы, горячего вина, чего-то цитрусового стаканы с глинтвейном. В чугунной печи гудит

пламя. Нежаркое зимнее солнце золотит наш столик, заставляет светиться стены старого будапештского кафе... И чего бы не жить да радоваться?!

На удлиненном, с неженственно тяжеловатым латышским подбородком лице Эви выражение решительности.

— Короче, с меня довольно.

— Это как понимать? Хочешь остаться на Западе?

— Представь себе, хочу.

— За чем же дело стало?

— Есть проблемы, и ты можешь мне помочь их решить

— Я?

— Ты... ты,— повторяет Эви вроде бы и своим, однако же непривычным мне — плачущим — контральто. — Мне не у кого больше просить помощи.

— Я, детка, могу заказать тебе штрудель с яблоками... или еще глинтвейна, но подделка виз — вне моей компетенции, — говорю я и деловито, словно эта мысль давно зрела в моем мозгу, прикидываю, войдет она или нет, со всеми ее обильно развитыми дамскими прелестями, в проход между лотками с гусиной печенкой.

— Визу подделывать не надо, — прерывает ход моих мыслей Эви. — Из Союза я уеду сама, без твоей помощи, совершенно официально. Просто удрать, стать невозвращенкой, значит навсегда расстаться с сыном, родителями... лишиться многих гастрольных возможностей... Как говорится: спасибо, не надо.

— Вот видишь, ты уже разобралась в этом лучше меня. И каким же образом ты собираешься уехать?

— Выйдя туда замуж.

— Прекрасный вариант! — Я вынужден поставить стакан с глинтвейном на стол, иначе рискую расплескать содержимое. — Претендент, надеюсь, уже найден?

— Да, — невозмутимо подтверждает Эви своим густым, абсолютно лишенным на этот раз слезливого тембра голосом.

На меня наваливается страшная усталость: вот когда дает о себе знать бессонная ночь.

— Поздравляю! И кто на этот раз? Ну, не гобоист же Пешкин?

— Какой, к черту, Пешкин! С этим давно покончено. Его фамилия Эриксон... или Эрифсон... Точно не помню. Но это не имеет значения: брак фиктивный. Важно, что он швед, и я смогу переехать в Швецию. На постоянное место жительства. Рыночная цена такой услуги, между прочим, пять тысяч долларов — не баран чихнул.

— То есть мы навсегда расстаемся: я ведь не планирую фиктивно жениться на шведке?.. Да и пяти тысяч долларов у меня нет и никогда не будет.

— Ты сможешь приезжать в гости, — успокаивает меня Эви с прежней невозмутимостью... и отводит глаза: врать она так и не научилась, хотя и делает это с обычной для нее легкостью.

— Понятное дело, я, разумеется, стану тебя навещать: ведь для меня съездить в Швецию — все равно что в Малаховку. Ну а сейчас?.. Чего ты хочешь от меня сейчас?

Эви разводит руками.

— Господи, это так просто... Виолончель!.. Как вывезти виолончель? Ведь она старинная, якобы так называемое национальное достояние. В нашей замечательной стране я никогда не получу разрешения на ее вывоз, хотя она куплена на наши кровные денежки: родители продали дачу, «Волгу» и все мамины драгоценности, — ты знаешь. Новую такого качества мне на Западе не купить никогда... На Чикагское общество Страдивари рассчитывать, сам понимаешь, не приходится... А без хорошего инструмента — я ноль. Понимаешь? Ноль! Окажусь нищей, без гроша, без средств к существованию. Еще хуже, чем невозвращенка.

— Но ты же возишь ее с собой, когда ездишь на гастроли.

— По возвращении мы обязаны ввезти инструменты обратно — предъявить на таможне.

— Еще глинтвейна, мэм? — интересуется хозяин.

— Если можно, рюмку чего-нибудь покрепче... Паленки, мне... и моей даме... Так прости, дорогая, в чем же тогда моя задача? Что должен сделать я?

Деловито, как нечто давно обдуманное, Эви поясняет: месяца через полтора у них гастроли здесь, в Будапеште. К этому времени я должен купить ординарную — дешевую — виолончель, которую она и предъявит в Москве на таможне. Копаться, «ловить карася» (арго музыкантов-инструменталистов), таможенники не будут да и не могут: надо вызывать специалистов. Риск, конечно, есть, но до сих пор никогда не копались. Подлинник останется у меня в Будапеште: переправить его на Запад из Венгрии гораздо проще, — здесь все гораздо проще.

В кафе появляются новые посетители: седой, коротко стриженный мужчина в куртке «Аляска» и миловидная блондинка в дубленке. Хозяин радостно кидается им навстречу: «O, hello! You are very welcome! I have not seen you for ages, mam!» Эви не обращает на пришедших внимания, я, в общем-то, тоже. Так вот, значит, в чем дело, вот каким нестандартным путем жизнь собирается вновь лишить меня этой, неизвестно почему возымевшей надо мной такую неограниченную власть, женщины. Выходит, идея воспользоваться фургоном Руди Эбнера по-прежнему актуальна? Но следует ли о ней рассказывать, следует ли давать судьбе возможность привести в исполнение ее мне приговор моими собственными руками?

— Мне некого больше просить, — говорит Эви. — Ты у меня единственный. — Ее крепкая с неестественно длинными пальцами рука скользит по столу и накрывает мою, тоже длиннопалую, но жилистую с неумело подстриженными ногтями.

— В принципе, один вариант существует, — говорю я. — У меня есть приятель...

— Вот видишь! Я же знала, что ты поможешь. Ты умный.

— Но не настолько, чтобы удержать тебя.

Неторопливо разъясняю детали транспортировки виолончели через границу в фургоне Руди. Сидим, склонившись над столом, уставившись друг на друга, как два заговорщика. Эви слушает не перебивая. За мгновение до того нордически суровые черты ее лица смягчаются, серые глаза озаряет улыбка.

— Он надежный человек — этот твой новый друг?

— Думаю, да.

— Видишь, дружок, я была уверена, что ты поможешь. Была! Ведь ты у меня, на самом деле, умный. Где там наша паленка? И, знаешь, — к черту шопинг: сейчас только половина первого... Пойдем в гостиницу — к тебе: в нашем распоряжении еще почти три часа!

-6-

Хитроумный план, в соответствии с которым я должен собственноручно лишить себя женщины (как бы это — без патетики?), так много для меня значащей, сформировался, как я сразу предположил, не в ее белокурой головке. Его автор — некто Ферзянский, чиновник Госконцерта, имеющий непосредственное отношение к организации гастролей. Он же нашел вариант с Эриксоном... или Эрифсоном.

— Сколько берет комиссионных?

— Какие комиссионные? — возмущается Эви. — Ферзянский — порядочный человек. Сувениры ему из поездок, разумеется, привозят, но это в порядке вещей: все так поступают. У нас с ним просто приятельские отношения.

— Место Пешкина в приятелях занял Ферзянский? С точки зрения иерархии шахматных фигур, гигантский прогресс.

— Не будь циником, а тем более ревнивцем. Мы просто приятели, поверь! — Эви смотрит мне в глаза хорошо мне знакомым — правдивым — взглядом. Уж лучше бы она подтвердила, что Ферзянский работает за двадцать пять, допустим, процентов. — Кстати, ты скоро сам убедишься, что ему можно доверять: он приедет сюда недели через две для организации наших гастролей, и вам надо будет встретиться, чтобы обсудить детали... ну... замены инструментов. Встретишься?

— Почту за честь.

Но прежде, чем обсуждать «детали... ну... замены» с чиновником Госконцерта (чиновников, между прочим, с детства терпеть не могу!), надо бы договориться в принципе с моим новым, но уже таким незаменимым, другом Руди... Надо сказать, со временем уверенность, что Руди безоговорочно согласится принять участие в авантюре, в которой мы с Эви отвели ему одну из главных ролей, начинает иссякать. Все больше сомневаюсь, а в глубине души надеюсь, хотя и не хочу себе в этом признаться, что он откажется... И тогда план Ферзянского сорвется. И тогда я буду по-прежнему видеть Эви. И тогда она не исчезнет из моей жизни надолго, а то и навсегда.

В ближайшую пятницу встречаемся с Руди как обычно — в клубе при посольстве. Народу полно, шумно, дымно. Руди светится доброду-

шием, с гордостью демонстрирует очередной экспонат коллекции «русской музыкальной классики»: купленную на толкучке, разумеется, у наших, пластинку ансамбля «Балалайка».

— Жаль, что здесь нельзя послушать. Придется все-таки тебе приехать ко мне в Вену. Ну, так как, ты встретился со своей девушкой? Как она, — расскажи. Я так рад, что у вас все опять наладилось. Тебе везет! Я тебе очень завидую!

Он мне завидует... Мне везет... Как утопленнику! Но не объяснять же ему, что к чему: не поймет, да еще, чего доброго, откажется участвовать, и тогда срыв планов Ферзянского (по существу — планов Эви!) будет на моей совести.

Неулыбчивая, но явно благоволящая к Руди официантка приносит заказанные им Дреер и удвоенную порцию салата.

— Мне нужна твоя помощь, — говорю я, когда разрумянившаяся официантка покидает наш столик, и с ходу, чтобы не откладывать сомнительную процедуру в долгий ящик, начинаю рассказывать о задуманной операции. Говорю тихо, без напора, но не из-за опасения навостренных майорских ушей (за ближайшим столиком на этот раз двое провинциального вида командировочных, — такие приезжают для заимствования опыта в области свиноводства, — и оба сильно под градусом), а из-за сомнений нравственного характера: ведь речь на этот раз идет не об относительно безобидной мужской шалости — смотаться на викенд через границу, в Вену, а о самом настоящем криминале, именуемом «контрабанда» и имеющем, как это часто бывает в советской действительности, политическую окраску. Со мной ситуация ясна и достаточно типична: половину преступлений мужчины совершают во имя женщины. Но ради чего должен рисковать Руди?

Стараюсь не упустить детали, ничего не приукрасить. Он внимательно слушает и все больше светлеет лицом.

— Здорово! Здорово, donnerwetter — черт возьми! Это ты придумал?

— Какая разница, кто? Допустим, я.

— Ты есть большой молодьец, — он энергично потирает руки. — Я сделаю, можешь не сомневаться.

— Но подумай еще раз, это опасно: у тебя могут быть серьезные неприятности. Если что, вмешаются наши. Ведь заинтересованная сторона — наши, а не венгры, а это уже очень серьезно!

— КГБ? — спрашивает он многозначительно.

— Не исключено.

Его рыжие брови сходятся к переносице, рыжие глаза сужаются:

— Я давно мечтаю с ними рассчитаться, — говорит он, подчеркивая каждое слово. — Я это сделаю, не сомневайся. — Сам он сомнений, явно, не испытывает. Моя совесть может быть спокойна: надежда на благополучный (для меня) исход отпадает. Что ж, значит судьба. Во всяком случае, я его предупредил, сделал все, что мог, и никто не сможет меня ни в чем упрекнуть. В том числе, не смогу я сам.

— У тебя хватает денег... ну на гостиницу, на покупку этой штуки — как ее? — виолончели? — деловито интересуется Руди. — Если будут проблемы, скажи — помогу... Кстати, а почему твоя девушка выбрала... виолончель?

— Хорошо, что не рояль: с ним было бы гораздо труднее.

— Я... люблю гитару, — произносит он очень серьезно с несвойственной ему грустью в голосе. — Мария хорошо играла на гитаре, пела русскую классику... — Он умолкает и после долгой паузы спрашивает: — Как ты думаешь, она жива?

— Надеюсь, что да.

Лицо Руди озаряет улыбка, он в упоении закидывает мощные руки за мощную шею и откидывается на спинку стула. Раздается оглушительный треск... Мое беспокойство за сохранность клубной мебели на этот раз оправдывается.

В конечном счете, простая, на первый взгляд, операция подмены инструментов обрастает многочисленными подробностями, что становится ясно две недели спустя, после обстоятельной беседы с чиновником Госконцерта Ферзянским — высоким костистым блондином лет пятидесяти. О том, что, по замыслу Создателя, Ферзянский — блондин, догадываюсь, глядя на его волосатые руки и густые брови. Его яйцевидной формы череп гол, как коленка. И вообще его трудно назвать привлекательным, что я воспринимаю с удовлетворением как подтверждение коммерческого характера его отношений с Эви: есть же, в конце концов, у нее глаза! Впрочем, Пешкин был тоже не Жан-Поль Бельмондо.

Мы сидим в сквере, совсем близко от похожего на глазированный торт здания парламента: встретиться в кафе или каком-нибудь другом, более комфортабельном, месте Ферзянский отказался, опасаясь, надо полагать, вездесущих «майорских» ушей. За две недели, прошедшие со времени визита Эви, сильно потеплело. Ветви платанов еще голы, но на здешних, весь день открытых солнцу, газонах уже появились нежно-зеленые островки. В воздухе пахнет весной. Стайка тинэйджеров, побросав ранцы на ступени памятника Кошуту, соревнуется, запуская в небо кольца сигаретного дыма. «Ситуация сильно усложнилась, в связи с побегами Нуриева и некоторых других, — говорит Ферзянский, закуривая. — Придется выполнить ряд условий». Методично, не меняя тембра, громкости и интонации, он излагает их суть. В схематичной форме звучит приблизительно так:

— виолончель, «кукла» (оказывается, есть устоявшийся термин) должна быть по возможности похожа на подлинник: цветом деки и обечаек, естественно — размером, отсутствием (или наличием) специальных примет (на виолончели Эви таковых, слава Богу, нет!), — качество звучания значения не имеет;

— с концертов музыкантов и инструменты везут в отель автобусом, поэтому подмена должна произойти в отеле, в интервале между последним концертом и отъездом (часто — это всего одна ночь: вечером последний концерт, утром отъезд);

— покинуть отель, унося подлинник, надо в промежутке между отъездом оркестра в аэропорт и его прилетом в Москву, так как при таможенном досмотре подмена может все-таки вскрыться, о чем будут немедленно уведомлены здешние сотрудники органов;

— вокруг оркестрантов и непосредственно среди них полно тех, кто по службе или добровольно (последние особенно опасны) блюдет их нравственную и политическую благонадежность, так что действовать надо крайне осторожно: в частности, занять в отеле по возможности ближайшие номера и пронести «куклу» в свой номер за день — два до приезда наших, чтобы никому потом не мозолить глаза.

— Дело, как видите, не простое. — Ферзянский достает новую пачку сигарет. — Курите?

— Спасибо, нет.

— Похвально. Эви говорила, что у вас есть надежный ход в «Рояль»?

— Вроде бы был.

— Уточните до моего отъезда. В «Рояль», кстати, обычно и селю, так что очень... очень удачно!

Сизые будапештские голуби безбоязненно крутятся вплотную к скамейке, и Ферзянский гонит их взмахом ноги. Его тщательно начищенные штиблеты сияют на солнце.

— Хочу дать еще пару советов. — Он бесцеремонно окидывает меня взглядом. — Профессия, она, знаете ли, обязывает: соответствующий имидж и тому подобное. Не обижайтесь, — я пекусь исключительно об удачном исходе дела, но этот ваш... куртец и... кожаный кепарик не совсем соответствуют образу солидного музыканта, проживающего, кстати сказать, в фешенебельном отеле.

— Фрак? Смокинг?

— Ну, зачем же крайности? А вот какое-никакое пальтецо и, не побоюсь этого слова, шляпу приобрести было бы полезно. — Он дружески кладет руку мне на плечо. — Да и к цирюльнику бы не мешало наведаться. Все расходы мы, разумеется, компенсируем сразу по приезде в Швецию.

Я резко сбрасываю с плеча его руку.

— Вы?!

Ферзянский, похоже, осознает свою оплошность.

— Пока вся эта история не закончилась, я рассматриваю интересы Эви Балашайтис как мои... и ваши, — говорит он и, явно торопясь уйти от скользкой темы, спрашивает: — Вы играете на этом инструменте, — я имею в виду, на виолончели?

В моем мозгу всплывет известный анекдот. Рабиновича спрашивают: «Вы играете на скрипке?» Ответ: «Не знаю, не пробовал».

— Не знаю, не пробовал, — отвечаю я.

— Приятно иметь дело с остроумным человеком. Какие, на самом деле, проблемы: берешь в правую руку смычок, а левой — чешешь по струнам... Так вот, левую — забинтуйте. Если вдруг попросят сыграть, скажете, что получили травму.

— Приятно иметь дело с профессионалом, — говорю я подчеркнуто уважительно. — И давно вы на этом поприще?

Он, естественно, угадывает скрытый смысл моего вопроса и, отведя глаза в сторону, отвечает так же двусмысленно:

— Работаю в системе Госконцерта с тысяча девятьсот шестьдесят второго года.

-7-

В Будапеште я люблю совсем не то, что обычно показывают туристам: по мне, так от многого попахивает китчем, которым у себя на родине я закормлен с детства. Куда милее узкие улочки с отполированной подошвами многих поколений брусчаткой; уютные, размером с небольшой староарбатский двор, площади с испокон веку поселившимися на них позеленевшими от времени бронзовыми фигурами или негромко журчащими фонтанами; мощенные выщербленными плитками дворики... После девяти вечера прохожих практически не встретишь, сверкающей рекламы нет и в помине, освещение — глаз выколи. Фасады домов, чугунные ограды, каменные тумбы с афишами таинственно мерцают в свете редких фонарей. Есть во всем этом некий неброский шарм, как раз и отличающий Второй Париж от Москвы и, уж наверно, от Парижа первого. Бывает, я часами иду из одной теряющейся в полумраке улицы в другую, подняв воротник моего старого «куртеца», надвинув на лоб старый «кожаный кепарик», зябко засунув руки в карманы, движимый одной целью: скоротать одинокие будапештские вечера. Иду и сегодня. Но сегодня все иначе. Мои видевшие виды доспехи оставлены дома. На мне черная брючная пара, черное, напоминающее длинный сюртук, пальто, числящееся в пункте проката под названием «редингот», и черная же с жесткими полями шляпа (стиль «директор»), позаимствованная там же. И руки, — по крайней мере, правая, та, что не забинтована, — не в карманах: несу обтянутый черной кожей, местами потертый, но еще вполне приличный футляр с «куклой» (каждый раз при этом слове вспоминаю одноименный роман Пруса, — его обворожительную героиню, — и гоню прочь двусмысленные реминисценции!). И цель моего путешествия на этот раз вполне прагматична и четко географически определена: Большое бульварное кольцо, отель «Рояль».

Наши приезжают завтра утром, и в свой гостиничный номер я, согласно строгим рекомендациям Ферзянского, должен был «заселиться» еще накануне. Но реальная жизнь всегда сложнее схем, рождающихся в головах бюрократов. Взять хотя бы костюмерную проблему: подобрать подходящие брюки и сносно на мне сидящее пальто при моей нестандартной, с точки зрения отношения длины к ширине, фигуре оказалось непростой задачей, решить которую удалось лишь накануне. Но, хотя на роль манекена в витрине провинциального универмага я теперь, вероятно, гожусь, и моя аккуратно подстриженная парикмахером бородка добавляет мне респектабельности, я, думая о том интересе,

который, несмотря на мою теперешнюю солидную внешность (а может быть, как раз благодаря ей), могу вызвать у сотрудников специальных служб, испытываю душевный дискомфорт... Иными словами, попросту робею.

Или проблема гостиницы... «На этих числах у нас русские музыканты, целый филармонический оркестр, заняты абсолютно все номера»,— сухо, не поднимая головы от своего кондуита, говорит администратор Сегледи. Многозначительно добавляет: — «Вопрос под контролем», — и устремляет взгляд к потолку, подчеркивая степень значимости контролирующих инстанций. Нехотя соглашается вернуться к «контролируемому» вопросу на следующей неделе, потом еще через три дня и, наконец, удовлетворяется суммой в три тысячи форинтов, как раз равной моей месячной стипендии (платить, впрочем, не мне, — да простит меня Руди!).

Но самая сложная проблема возникает при покупке виолончели.

— Какие, простите, у вас пожелания? — уточняет пахнущий скрипичным лаком седоусый венгр, владелец магазина и примыкающего к нему мастерской. — Могу предложить вот этот инструмент: недорогой, верхняя дека — ель, нижняя — клен, производство — Румыния. Вещь не новая, поблекла от времени, но звук довольно густой, объемный. За эту цену вы вряд ли найдете что-нибудь лучше.

— Понимаете, — я смущенно мнусь с ноги на ногу — Звук для меня не главное... И цена — тоже... То есть цена — главное, но не самое... Самое — цвет.

— Цвет?! — недоумевает мастер. — Вам, молодой человек, инструмент — играть... или?

— Или! — киваю я утвердительно. — Покупаю для родственницы, а женщины, сами знаете, так капризны!

В конце концов выясняется, что во всем Будапеште нет виолончели нужного цвета. Скрипки и альты — пожалуйста, а виолончели — ни одной. Угораздило же Эви выбрать именно виолончель! А ведь как просто было бы со скрипкой: ее и купить, и спрятать легче, и под пальто пронести... С помощью пахнущего скрипичным лаком мастера выясняю, что нечто подходящее, вроде бы, есть у его коллеги в Сент-Андре, и в ближайший понедельник отправляюсь туда на электричке. Готов встать на уши, чтобы найти нужную вещь, втайне надеюсь, что найти ее все-таки не удастся, и люто ненавижу Ферзянского, в котором для меня теперь материализовался, наполнившись костистой плотью, мучающий меня по ночам призрак грядущего одиночества.

Естественно, ежедневно хожу в институт: читаю статьи и отчеты, перебираю карточки и делаю выписки, обсуждаю с доктором проблемы пазиграфии и пью с ним кофе, строго в назначенный срок — последняя неделя месяца — отправляю в Москву оптимистический отчет о результатах моих последних исследований.

И вот теперь деловито шагаю по теряющейся в сумраке улице Доб в направлении Большого бульварного кольца. На часах пятнадцать ми-

нут десятого. Чугунные ограды, каменные тумбы с афишами тускло мерцают в свете редких фонарей. Дома спят с полуоткрытыми глазами: сквозь неплотно задернутые шторы сочится свет, слышится музыка. Холодный воздух напоен горьковатым ароматом кофе... Чужая жизнь, что чужая душа, — потемки.

В холле отеля «Рояль», несмотря на относительно поздний час, неожиданно многолюдно: одни ждут своей очереди у рецепционной стойки, за которой, опустив глаза в свой кондуит, неутомимо трудится неулыбчивый администратор Сегледи; другие курят, пьют пиво, коктейли и общаются с деловыми партнерами, сидя в старомодных, обтянутых темно-зеленой кожей, креслах; третьи — таких меньшинство — только приехали или, наоборот, убывают: у их ног чемоданы и дорожные сумки. В этой будничной суете посетитель в черной шляпе, рединготе и виолончелью в потертом футляре не бросается в глаза, и я несколько успокаиваюсь. Подхожу к стойке и, в ожидании своей очереди, разглядываю посетителей, пытаюсь от нечего делать угадать, кто есть кто... Тот толстый господин с потухшей сигарой во рту, скорее всего, американец — нефтяник из Техаса или что-нибудь в этом роде; добродушного вида гигант, отдаленно напоминающий Руди, вероятно, немец, а те двое в одинаковых синих велюровых шляпах, бросающие время от времени настороженные взгляды в сторону своих чемоданов, — наверняка наши... С удовлетворением отмечаю, что моя персона ни у кого интереса не вызывает, и тут же, словно по чьей-то подсказке обернувшись, обнаруживаю, что это не совсем так: в дальнем конце длинной рецепционной стойки, облокотившись на нее, стоит невысокий худой джентльмен в темно-сером костюме и в упор смотрит на меня. Поймав мой ответный взгляд, продолжает смотреть, ничуть не смутившись, не стараясь скрыть выражения какого-то... внутреннего... неодобрения. Может быть, ему просто не нравится мой внешний облик?.. В таком случае, не его это, собачье, дело! Его тщательно подстриженные и подбритые усы и аккуратный бобрик мне тоже не по душе, в нем тоже есть что-то опереточное: мог бы без грима играть роль прусского офицера невысокого ранга времен Первой мировой войны... Я первый опускаю глаза и отворачиваюсь, а когда через несколько секунд, так и не преодолев ощущения грозящей со спины опасности, оборачиваюсь вновь, его уже нет у стойки. Невдалеке у автомата по продаже сигарет стоит некто в темно-сером костюме, — невысокий, худой, коротко стриженный, — но я не уверен, что это он.

— Для мадам Балашайтис забронирован номер триста двенадцать, третий этаж, — негромко, не поднимая глаз от кондуита, говорит администратор Сегледи, когда подходит моя очередь, и протягивает мне ключи от номера 325.

— Большое спасибо. — Я беру ключи и, мгновение поколебавшись, спрашиваю: — Кто тот усатый джентльмен в темно-сером костюме, что только что стоял в дальнем конце стойки.

— Понятия не имею, — сухо отвечает Сегледи. — Я никого не заметил. — И вдруг, почему-то передумав, понизив голос, добавляет: — Ве-

роятно, вы имеете в виду нашего куратора по линии МВД капитана Миклоша. Постарайтесь поменьше мозолить ему глаза.

— Учту ваш совет, — отвечаю я и с солидной неторопливостью, не оглядываясь, поднимаюсь вверх по мраморной лестнице.

-8-

Следующие несколько дней проходят словно в тумане. Восстановить цепь событий, понять, что было в реальности, что порождено воображением, а что и вовсе — привиделось во сне, не смогу, пожалуй, при всем желании. При этом ежедневно хожу в институт, отсиживаю свои часы против невозмутимо перебирающего карточки коллеги Ковача, в положенное время отправляюсь домой, где съедаю некоторое количество макарон с дешевым эдамским сыром, и, переодевшись в мою новую униформу, отбываю в направлении Большого бульварного кольца. Квартирная хозяйка смотрит мне вслед снайперским взглядом: если история с виолончелями когда-нибудь окажется в поле зрения правоохранительных органов, она, несомненно, станет ценным свидетелем обвинения.

Холл отеля миную с независимым видом: отсутствие в руках этой бандуры — виолончели (она со вчерашнего вечера ждет своего часа в моем номере в шкафу) — придает мне уверенности. Тем не менее слегка кошу глазами по сторонам, выглядывая капитана Миклоша, и на второй день замечаю его в одном из темно-зеленых кресел с длинным пивным стаканом в руках. Капитан сидит, откинувшись на кожаную спинку, закинув ногу на ногу и, как и в первую встречу, сканирует меня недружелюбно бесцеремонным взглядом. Я отвожу глаза, получаю ключ, неторопливо, не оглядываясь, поднимаюсь к себе в номер. Ни куратор по линии МВД, ни, тем более, исполненная пуританского энтузиазма квартирная хозяйка не могут выбить меня из колеи... хотя бы потому, что ее — колею — я потерял в тот момент, как осознал, что в нескольких десятках метров от меня (пятьдесят пять шагов направо по коридору), в таком же номере, как мой, меня ждет (надеюсь, что ждет!) Эви.

В какие-то моменты вдруг — какой уже раз за эти годы! — задаюсь вопросом: как случилось, что эта женщина возымела надо мной такую непомерную власть? На ум приходит название популярного в мои студенческие годы спектакля: «А если это любовь?» На Руси говорили не «полюбил», а «возжелал», — звучит не так избито, но так же неполно отражает суть: ну, не в кустодиевских же ее формах — черт возьми! — дело! То есть в них, безусловно, тоже, но должно же быть что-то еще. Может быть, прав мой любезный академик, всерьез считающий, что главное — это совпадение неких эзотерических частот, которые излучает и принимает каждый из нас? А вот по Фрейду, любовь — болезнь, заключающаяся в переоценке достоинств отдельной личности на сексуальной почве. Хороша болезнь, если по излечении утрачиваешь смысл жизни.

Несколько раз звоню Эви в номер, и, наконец, она снимает трубку. Говорит приглушенно и немного в нос: видимо, прикрывает рот рукой:

— Как ты, дружок? Все в порядке? Ты готов? Понимаешь, эта сука Лямина — в соседнем номере. В прошлый раз Кисловского заложила именно она. Звукопроводность ужасная: слышно, как скрипит за стеной ее кровать.

— Я в порядке, детка. Увидимся, как в прошлый раз, в районе двенадцати. Предварительно позвоню. Телефон положи под подушку.

— Уже там. Будь осторожен! Говорят, в коридоре дежурят.

В три минуты первого выхожу из своего номера (редингот и шляпа, — слава Богу! — в моем шкафу заодно с виолончелью — куклой, брючная пара — будь она неладна! — на мне). На секунду замираю в дверях, готовый мгновенно шагнуть обратно... Старомодные, полупритушенные на ночь бра тускло освещают длинный гостиничный коридор... Тихо, а самое главное, пусто: разговоры о дежурных, стало быть, сильное преувеличение. Дверь в номер напротив неплотно прикрыта и оттуда доносится негромкий, окончательно успокаивающий меня храп, на фоне которого не сразу улавливаю едва слышимые, несущиеся откуда-то снизу, рояльные синкопы. Еще секунду помедлив, пускаюсь в свое пятидесятипятишаговое путешествие и сразу обнаруживаю, что успокаиваться рано: мои, неделю назад купленные туфли на твердой кожаной подошве в сочетании со старым, давно не ремонтировавшимся паркетом оглушительно скрипят, — накануне не обратил на это внимания: было не так поздно и, соответственно, не так тихо. Не раздумывая, разуваюсь и продолжаю путешествие в носках: этакий бегущий вприпрыжку долговязый джентльмен с туфлями в руках — классический персонаж любовных комедий времен немого кино... Номер 312 не заперт. Эви — второй обязательный персонаж тех же кинокомедий — ждет, застыв против двери: руки прижаты к груди, халат распахнулся, открыв полупрозрачную ночную рубашку. И все проваливается в небытие: виолончели, Швеция, Ферзянский, особенности финно-угорской письменности... капитан Миклош. Остается лишь одна проблема, отдаленно напоминающая ту, что я только что решил в коридоре, но она решается так же просто, причем сама собой: кровать в номере 312 — слава Богу! — не скрипит, что в условиях высокой звукопроводности весьма существенно.

Последующие дни отличаются лишь частностями: в четверг идем с Эви в то самое кафе, где чуть больше месяца назад пили глинтвейн, в пятницу встречаюсь в клубе с Руди. Договариваемся о деталях: он останется в Будапеште до воскресенья (самолет у наших в воскресенье в девять утра), в шесть загрузит фургон и к семи подъедет на нем не слишком близко, но и не слишком далеко, — предлагает сквер на площади Ференца Листа, — сам будет ждать в холе отеля и последует за мной, убедившись, что все прошло гладко и я не нуждаюсь в помощи.

— Ну, это лишнее, — возражаю я. — Чем ты можешь помочь? Жди около фургона.

— Нет, — решительно отказывается он. — Терпеть не могу неизвестности.

В целом, мой ритм изо дня в день неизменен: 6.00 — возвращение в свой номер; 7.15 — возвращение домой: утренний туалет, переодевание (куртец — кепарик), отправление в институт под снайперским взглядом квартирной хозяйки, покупка сэндвича с лотка против церкви Святого Ласло; 9.15 — институт: коллега Ковач, кофе, карточки; 6.30 — возвращение домой: макароны с эдамским сыром, вечерний туалет, переодевание (брючная пара — редингот — шляпа), марш-бросок в направлении Большого бульварного кольца; 0 часов 5 минут — визит в номер 312. Путь между нашими номерами проделываю теперь относительно спокойно, для чего принес в отель свой домашний спортивный костюм и мягкие тапочки. К спокойной жизни привыкаешь быстро: о будущем не хочется и думать.

— Сегодня последняя спокойная ночь, — говорит Эви, когда я прихожу к ней в первые минуты только что наступившей субботы. — В следующую — надо действовать.

У меня перехватывает дыхание, как если бы сказанное ею было полной неожиданностью.

— Ах да, я и забыл! И когда ты выходишь замуж за Амундсена?

— Эриксона, — поправляет она меня. — То есть — Эрифсона, — поправляет она саму себя.

— Вот именно — Эрифсона? Свадьба уже назначена?

— Оставь, и так тошно!

— Так, может быть, отложим... или вовсе отменим этот торжественный акт шведско-советской дружбы? — Едва колеблющийся огонек надежды, оказывается, еще тлеет где-то в глубине моего сознания.

Эви молчит, на ее нежно румянящихся щеках вспыхивают красные пятна.

— Поздно, — говорит она наконец. — Я уже отдала три тысячи долларов. Аванс не возвращается.

Огонек, слабо полыхнув последний раз, гаснет.

— Тогда конечно, — соглашаюсь я. — Сумасшедшие деньги! — И мстительно добавляю: — Ферзянский этого нам не простит.

В последнюю ночь я должен с вечера — и одним махом, чтобы лишний раз не искушать судьбу, разгуливая по коридорам, — перебираться в ее номер со всеми своими манатками: рединготом, тапочками, ну, и, конечно, — виолончелью. Эви покинет номер и сдаст ключи около семи утра, я — еще через двадцать минут, попросту захлопнув дверь. До сих пор все сходило нам с рук, приобретало комедийный характер, и я както перестал беспокоиться, и вот теперь, по мере приближения часа «Х», опять чувствую тяжесть в желудке. Что, если действие начнет развиваться по незапланированному сценарию — комедия под названием «Кукла» трансформируется в драму? Допустим, задерживают меня, — вину в этом случае, ясное дело, возьму на себя: я подменил виолончель, пока она спала. Второй вариант: в Шереметьево задерживают ее, — вину в этом случае, ясное дело, возьму на себя: я подменил виолончель, пока она спала. Не знаю, что думает по этому поводу она сама, — гадать не хочу, — но то,

что умница душевед Ферзянский предусмотрел именно такой расклад, практически уверен.

Авантюрного опыта у меня нет, — парень я, как недавно выяснилось, не лихой, — тем не менее знаю: главное — не дать разгуляться воображению. Аккуратно складываю вещи, стираю пыль с громоздкого лакированного футляра, слушаю московские последние известия, затем — будапештский прогноз погоды и наконец звоню Эви: на часах начало первого — пора!

Облачаюсь в назначенные мне по роли, ставшие уже привычными одежды, последний раз мысленно перебираю в памяти последовательность действий, надеваю шляпу, оглядываю себя в зеркало и вдруг осознаю, что непростительным образом выпустил из виду некую деталь — мои новые кожаные башмаки, блестящие не хуже штиблет Ферзянского и скрипящие не тише тех, что, как поется в песне, «на свадьбу грузчики надели». Ну, и как, прикажете, теперь быть? Идти в них? Куратор по линии МВД будет, боюсь, недоволен, если я побеспокою его в столь поздний час! Но в чем тогда?.. В носках?.. Или мягких тапочках?.. Воображение рисует впечатляющую картину: по коридору фешенебельного отеля шествует солидный джентльмен в шляпе, рединготе, с виолончелью в руках и... босиком, — ну, то есть — в носках... Не иначе, как собрался на симфонический концерт в филармонию, но, по рассеянности, забыл обуться. Когда несколько дней назад я скакал по тому же коридору, держа туфли в руках, я был все-таки хоть и в строгом костюме, но без шляпы и виолончели, так что событие это можно было интерпретировать как заурядную мужскую шалость — ночной поход к даме сердца (чем оно, в сущности, и было). Ну, а как на сей раз? Что подумает уважаемый «куратор», встретив меня самостоятельно или будучи вызван кем-нибудь из бдительных коллег Эви? Выбирать, таким образом, приходится из двух вариантов: рискнуть идти в этих... (эпитет — не для дамских ушей) туфлях или тоже рискнуть, но — в носках.

Откидываю ковер и провожу следственный эксперимент: делаю несколько пробных шагов... В полночной тишине раздается оглушительный скрип. Этот вариант, похоже, не очень реалистичен. Стало быть — в носках. Снимаю туфли и с ужасом обнаруживаю, что один из носков продрался, и давно, к стыду моему, не стриженный большой палец левой ноги вызывающе торчит наружу. Ситуация так комедийна, что я успокаиваюсь: страх парализует волю, пока есть возможность выбора, когда же осознаешь, что вариантов нет, он сменяется холодным безразличием, почти апатией. Собрав манатки и сунув эти... (эпитет — не для дамских ушей!) туфли в сумку с тапочками и прочим барахлом, навсегда покидаю номер 325. Осторожно прикрываю за собой дверь, но даже слабый щелчок замка звучит в тиши как клацанье ружейного затвора, — сегодня, как назло, особенно тихо: ни храпа, ни приглушенных звуков рояля, только старый паркет едва слышно поскрипывает под моими мягкими шагами. Тускло светятся старомодные, полупритушенные на ночь бра, коридор абсолютно безлюден: разговоры о дежурных —

полнейший треп. Что ж, учтем в следующий раз,.. которого никогда уже не будет.

Торопливо шагаю к номеру Эви... Чересчур торопливо (фраера, — говорит мой любезный академик, — губит жадность и иллюзия безнаказанности)... На повороте задеваю футляром за выступ стены, и виолончель отвечает неожиданно громким и длинным, утробным стоном... Казалось бы, всего лишь «кукла», но в ночной тиши звучит, как пожарная сирена. Я замираю. Этажом ниже что-то щелкает: так вот где несет вахту пресловутый ночной дежурный! Времени на раздумье нет: бежать назад — до моего номера сорок шагов, или вперед — до номера Эви полтора десятка?.. В конечном счете, остаюсь на месте... Но ни виолончельный каданс, ни многозначительный щелчок этажом ниже не имеют последствий: никто не проявляется в таинственном полумраке коридора, не торопится задержать подозрительную личность, разгуливающую в рваных носках по фешенебельному отелю: дежурные, пожарные, штатные сотрудники и добровольные энтузиасты, «сука Лямина» и куратор по линии МВД беззаботно спят. Вот где она — основа для нарушений социалистической законности.

Номер 312 не заперт. Эви, прижав руки к груди, мучнисто-бледная, — и куда делся нежный румянец? — стоит против двери.

— Что это было — звук виолончели?!

— Пустяки, детка, — успокаиваю ее, пряча ногу в рваном носке за ту, что пока еще в целом. — Насчет виолончели тебе показалось. Просто я задел лбом одно из здешних бра.

-9-

Без пятнадцати семь последний раз целую Эви. Кажется, смешайся она с многолюдной толпой женщин, я, одними только губами, и при том ни разу не усомнившись, незамедлительно найду ее меж ними. И вот целую в последний раз. Что кроется за этим словом — «последний»: расстаемся надолго?.. навсегда?.. Какие мрачные слова! Звучат, как похоронный звон.

— Поразительно, но у меня даже нет твоей фотографии! Когда-то мы теперь увидимся?..

— Но ты же приедешь ко мне в Швецию.

— Ах да, я и забыл... Стало быть, до скорого теперь свидания в Стокгольме, детка.

— Да-да, дружок! Присядем на дорогу.

Смотрю, как они загружаются в Икарус, как он отъезжает, растворяясь в сизом утреннем мраке, и потом долго еще не могу заставить себя отойти от окна. В семь двадцать пять, в точном соответствии со сценарием, покидаю номер 312 — при полном параде, в полном снаряжении: дорожная сумка и футляр с виолончелью (теперь уже подлинником) в руках, новые, не так уж и громко в суете гостиничного утра поскрипывающие кожаные башмаки на ногах... Солидный, несколько старомодный постоялец фешенебельного отеля.

Неторопливо спускаюсь по мраморной лестнице в холл. Он сегодня почти пуст: наши оркестранты составляли бóльшую часть постояльцев. У рецепционной стойки — один отбывающий посетитель, другой возится с чемоданом в дальнем углу у окна, молоденькая парочка пьет кофе за низеньким столиком, а прямо против лестницы картинно развалился в зеленом кожаном кресле рыжий Руди. В руках у него стакан с какой-то янтарного цвета жидкостью — виски, надо полагать. К моей персоне он не проявляет ни малейшего интереса.

Подхожу к стойке, обмениваюсь приветствиями с Сегледи, сдаю ключи. «Счастливого пути! — сухо напутствует меня неутомимый администратор (и когда только спит?). — Добро пожаловать в следующий раз». «Непременно», — обещаю я, поворачиваюсь к выходу и прямо перед собой вижу короткий бобрик и тщательно подбритые усы капитана Миклоша... Вот оно — событие, ожидание которого все это время гнездилось в моей подкорке. Пытаюсь обойти капитана справа, но он делает шаг влево, преграждая мне путь.

Секунду стою в замешательстве, соображая, что предпринять. Вкрадчиво прошу:

— Разрешите... Я к выходу...

— А я думал, музыканты давно уехали! — кивает капитан на футляр с виолончелью.

— Я не имею к ним отношения, — поясняю я.

— Да? — он удивленно вскидывает брови. — А к кому имеете, позвольте полюбопытствовать?

— Я сам по себе. — То немаловажное обстоятельство, что мы беседуем по-венгерски, а не по-русски, капитан почему-то оставляет без внимания, и я не намерен ему на это указывать.

— Так вы, значит, странствующий музыкант? Миннезингер?

— Миннезингеры пели и играли, я только играю.

— Замечательно! — капитан сладострастно улыбается: не удивлюсь, если ощущение власти доставляет ему физиологическое наслаждение. — И вы действительно умеете играть на этой... штуковине?

На ум мгновенно приходит анекдот про Рабиновича:

— Не знаю, не пробовал, — цитирую я и с удивлением обнаруживаю, что чувство юмора ему не чуждо: капитан смеется. Сквозь смех спрашивает:

— Не разрешите ли взглянуть на ваши документы?

И только теперь я в полной мере осознаю всю уязвимость моей позиции: ему достаточно взглянуть на мой синий паспорт, чтобы все стало на свои места, а если паспорта почему-то нет, — допустим, потерян, — сунуть нос в рецепционные документы, где каллиграфическим почерком администратора Сегледи в деталях зафиксированы мои паспортные данные, профессия, принимающая организация и прочие, не вполне соответствующие статусу венгерского виолончелиста, подробности. Я машинально поворачиваю голову в сторону стойки, — за ней пусто: никогда не покидающий своего места администратор Сегледи бесследно исчез.

Возмущенно спрашиваю:

— А в чем, собственно, дело?!

— О да, конечно, великодушно извините, — топорщит прусские усы капитан. — Забыл представиться: капитан Миклош, Служба безопасности. — Любезно улыбаясь и готовясь, надо полагать, произнести следующую галантную фразу — что-нибудь типа «приятно познакомиться», показывает мне свое служебное удостоверение. Но произнести галантную фразу он не успевает: раздается звон разбитого стекла и оглушительный треск. Я вскидываю голову: Руди стоит, пьяно пошатываясь, посреди холла, широко расставив свои мощные, словно рекламные тумбы, ноги, размахивая обрывком газеты. «К дьяволу! — хрипит он на ломанном венгерском. — Dictature nem! /Нет диктатуре!/... Szabadsag elijen / Да здравствует свобода!/»... На полу — лужица и осколки стакана из-под виски, подлокотник кресла полуотломан. Несколько секунд капитан ошарашено вертит головой, пытаясь решить, кто из нас двоих для него важнее, и, наконец, определившись, и не забыв, надо отдать ему должное, извиниться, бросается к Руди. «Hungaria Magna elijen! /Да здравствует Великая Венгрия!» — хрипит Руди.

В руках капитана возникает некое подобие трубки радиотелефона, — уоки-токи! — догадываюсь я. Он что-то торопливо объясняет, поднеся трубку к усам. — «Убирайся отсюда! — кричит ему Руди теперь уже понемецки, но смотрит — на меня. — Пошел к черту! Исчезни!» — Капитан, видимо, уже вызвал подмогу, теперь совершает короткие пассы зажатой в руке трубкой, но подойти к Руди не решается. Со стороны это напоминает эпизод из американского боевика: тщедушный кучер размахивает кнутовищем перед мордой вставшего на дыбы першерона. «Убирайся!» — отмахивается Руди и буравит меня взглядом выпученных глаз.

Что ж, намек прозрачен. Я торопливо поднимаю с полу свои вещи: сумку, виолончель, — надеваю шляпу стиля «директор»... Начатая нами комедия должна быть сыграна до конца: по роли мне предстоит теперь удалиться, покинуть помещение, убраться, исчезнуть, пойти к черту... И я это сделаю, какие бы кошки ни скреблись у меня на душе. Иное не предусмотрено сценарием.

Торжественно шествую к выходу. По дороге задеваю футляром мраморную колонну, и виолончель отзывается долгим баритональным гудением, — даже я отличил бы этот благородный звук от утробного стона «куклы». «Kommunizmus nem!» — хрипит у меня за спиной Руди.

«К консерватории, — говорю я шоферу такси. — Площадь Ференца Листа». Он бросает взгляд на виолончель и понимающе кивает: «Будем через пять минут». Отъезжаем от отеля... Направление прямо противоположное тому, в котором за полчаса до этого Икарус увез Эви, отмечаю я про себя... Как будто это может иметь теперь какое-то значение.

-10-

С семи сорока пяти слоняюсь по уже начавшему зеленеть скверу против старого здания консерватории. Белый фургон Руди Эбнера сто-

ит невдалеке у тротуара, и я стараюсь ни на минуту не выпустить его из виду. Сижу на лавочках, на ступеньках памятника Ади. Уйти не решаюсь, опасаясь окончательно запутать ситуацию: неумелые авантюристы, мы не догадались оговорить резервные варианты, так что не ясно, сколько еще часов, дней, ночей мне предстоит гулять по площади Ференца Листа. Впрочем, о каких резервных вариантах речь, если ситуация не ясна в принципе: где Руди? Чем кончился его хоть и нарочито пьяный, а все-таки несомненно политически окрашенный дебош? Будучи гражданином западной страны, он рискует меньше, чем любой из нас, да и порядки в Венгрии либеральнее, чем в других соцстранах... Но это теория, а как на самом деле — в нашем конкретном случае? Что если он томится сейчас в каком-нибудь каземате мрачного четырехэтажного здания на проспекте Андроши, где, как всем известно, расположена штаб-квартира службы безопасности?! При одной мысли об этом у меня закипает кровь... Негодяи!.. Мало им пятьдесят шестого года?! Ну, что ж, голыми руками они нас не возьмут! Подожду до одиннадцати и, если он не появится, пойду в Австрийское посольство: пусть принимают меры! Не поможет, обращусь в «Нью-Йорк Таймс», в другие западные газеты. Узнать бы, где они расположены... Но куда девать виолончель?.. А, впрочем, буду ходить с ней: не сдавать же ее в камеру хранения на вокзале и тем более не нести же домой, куда в случае осложнений полицейские ищейки нагрянут в первую очередь.

Возбужденно расхаживаю по аллеям, полный решимости действовать, мысленно поигрываю своими не слишком внушительными бицепсами и вдруг осознаю, что привычное чувство тяжести на дне желудка исчезло... Ну, словно что-то кардинально изменилось внутри моего существа; словно иссякла моя с молоком матери впитанная робость; словно я перестал бояться шпаны... начальства... людей в мундирах; словно некое количество, накапливавшееся во мне последние часы, дни, месяцы, перешло в некое новое качество... Ну, словно я стал теперь лихим парнем!

Перекладываю футляр с виолончелью из руки в руку, — пальцы затекают, — и наконец кладу его на скамейку, прикрыв, для надежности, дорожной сумкой. Сам сажусь рядом, закидываю ногу на ногу, а руку — для пущей надежности — на сумку и неожиданно чувствую мучительное желание спать: при том образе жизни, что я вел последние дни и, особенно, ночи, удивительно, что это не случилось много раньше. Сижу, посматривая на часы, напряженно борюсь со сном и несколько раз роняю все-таки голову на грудь, а шляпу на асфальт. Очередной раз подняв то и другое, вижу Руди, величественно шествующего по аллее к моей скамейке.

Вид у него вполне бодрый: просторный спортивный пиджак расстегнут, рубашка нараспашку, на большом лице широкая улыбка. Кидаюсь к нему навстречу, опять теряя шляпу.

— Ну, что?! Как ты?!

— Пришлось подключить австрийского консула: без него бы мне капут, — смеется Руди.

— И что теперь?

— Как, что? Надо ехать: гусиной печенке, ясное дело, крышка, а свиные отбивные еще часа два потерпят. Ты-то как?

— Что я?... Я в порядке.

— Тогда давай грузить эту твою... «бандуру». — И откуда только узнал это наше словечко?

— Ты хоть расскажи, как что было?

— Потом, потом... Мясо портится.

Заворачиваем футляр в специально привезенную им простыню, кладем на дно фургона между начавшими уже попахивать пластиковыми лотками с гусиной печенкой. Поверху ставим ящики со свининой.

— Это даже хорошо, что пахнет: никто не полезет внутрь, — веселится Руди. — Ха-ха-ха... И хорошо, что с утра догадался подготовить пакет с презентом для вашего пограничного начальства. Так что за виолончель не беспокойся: не выпустить меня они не могут, да, скорее всего, на границе еще ни о чем и не знают: как никак воскресенье. Ночью положу эту бандуру под кровать, а в понедельник сниму ячейку в банке. Пусть лежит, пока твоя девушка не объявится. О'кей? Дело есть карашо? Никакая проблема нет? — и он хлопает меня по плечу (по его представлениям, видимо, легонько, но в моих костях что-то хрустит).

— Эй-эй! Полегче! Я тебе не капитан Миклош!

Садимся в кабину фургона.

— Знаешь, о чем я жалею? — говорит Руди задумчиво. — Что больше мне не попасть в ваш клуб: меня ведь не станут теперь пускать через границу.

Эта очевидная мысль почему-то не пришла мне в голову раньше.

— Постой, постой... Так твой бизнес пострадает?

Он небрежно отмахивается.

— Пустяки! Всех денег не заработаешь. Да и не в них смысл.

— Смысл чего?

— Как чего? Жизни.

Тема весьма актуальна...

— А он есть? — заинтересовано спрашиваю я.

— А как же? — Руди пожимает плечами, как будто речь идет о чем-то само собой разумеющемся. — Конечно, есть. Как без него?

— И ты знаешь, в чем он заключается?

Он опять пожимает плечами.

— Честно сказать, пока не думал. Но если тебе интересно, разберусь и напишу.

Вот так: двое взыскующих смысла жизни в тесной кабине фургона.

— Думаешь, тебе удастся... разобраться?

— А почему ж нет? Если сильно постараться... — Несколько секунд он задумчиво молчит и вдруг, снова развеселившись, «легонько» хлопает меня по плечу.

— Главное, не вешать носа! Donnerwetter — черт возьми!

Так ведь, если обещал, действительно, будет разбираться. И, действительно, напишет. И это будет значимо, от этого нельзя будет отмахнуться, ибо верит, что смысл есть и если хорошо постараться и не вешать носа, его можно найти.

— А в клуб ты будешь ходить теперь один, — сокрушенно покачивает всем туловищем Руди; рессоры фургона скрипят. — Сколько тебе еще осталось здесь быть — меньше семи месяцев? Я не ошибаюсь?

— Ошибаешься, я уеду в ближайшее время.

— В ближайшее время?.. — Что-нибудь изменилось?

— Можно сказать, что так: я разочаровался в своем бизнесе и возвращаюсь в Москву.

— Вот как? Неожиданно. Это твое окончательное решение?

— Окончательней не бывает.

— И когда ты его принял?

Я медлю с ответом. Если сказать правду — сегодня утром, он будет шокирован. Отвечаю уклончиво:

— Я шел к нему давно. — И это истинная правда, хотя оценить, как давно, когда начала зреть во мне эта моя метаморфоза, не могу при всем желании... В последние часы, дни, месяцы?.. Скорее всего, с того пятничного вечера в клубе при посольстве, когда он впервые рассказал мне о своей Марии.

— В Москве уже знают?

— Завтра напишу.

— Твоему боссу это вряд ли понравится.

— Всем нравятся только золотые луидоры.

— Это верно. И чем же ты теперь займешься? У тебя будет другой бизнес?

— Планов много.

Он окидывает меня настороженным взглядом.

— А Мария? Ее мы будем искать? Такое дело у тебя запланировано?

— Это — среди самых первых. Пожалуй — самое. Как вернусь в Москву, начну наводить справки, оформлю тебе приглашение.

Некоторое время мы сидим молча. Наконец Руди прерывает молчание:

— Как думаешь, ее удастся найти?

— Мы сделаем все от нас зависящее. — На самом деле я теперь почему-то верю, что удастся, но вслух об этом не говорю: не хочу искушать судьбу — боюсь сглазить.

Рыжие глаза Руди Эбнера увлажняются:

— Спасибо тебе, — говорит он по-русски.

— Ich danke auch! /Тебе тоже спасибо!/ — отвечаю я по-немецки.

И мы опять умолкаем.

Солнце припекает по-летнему, в кабине становится жарко.

— Ну, тафай, — говорит Руди, — надо екать. Товар пропадать не есть корошо.

Я выхожу из машины, фургон трогается и, тарахтя дизелем, тяжело осев под грузом товара и весом хозяина, сворачивает за угол.

Некоторое время стою в задумчивости... Меньше всего мне хочется возвращаться в мою мрачную опочивальню. Возвращаюсь в сквер. Сажусь на скамейку, ту самую, на которой еще четверть часа назад ждал Руди. Снимаю редингот, кладу его и сумку на то самое место, где еще четверть часа назад лежала виолончель Эви. Глаза закрываются, голова клонится на грудь, но я встряхиваюсь, напрягаю и расслабляю бицепсы, тру виски. Облака наползают на солнце, легкий дунайский бриз теребит мою аккуратно подстриженную бородку, треплет волосы. Я вдруг осознаю, что забыл в кабине фургона черную шляпу стиля «директор», и оттого, что на мне нет больше этого атрибута филистерской респектабельности, на душе становится легче. Но не легко. Ибо щемящее чувство потери чего-то очень нужного, невосполнимого остается. Так ведь и ясно чего: все абсолютно прозрачно, да и я теперь не тот, чтобы прятать голову в песок.

Становится жарко. Расстегиваю ворот рубашки, закрываю глаза и сразу вижу парящую в насыщенном горьким запахом набухающих почек воздухе виолончель: светло-шоколадную деку... изящный изгиб грифа... темные впадины эфов... белокурые локоны... длинные, тонкие, — никогда раньше таких не видел, — пальцы. Кажется, слышу ее глубокий, густой контральто... Протягиваю руку, но она начинает плавно и безостановочно удаляться, уплывать в небо, точно отпущенный на свободу детский воздушный шар. Еще можно успеть, ухватить ее холодные длинные пальцы, но не могу встать: ноги не слушаются. Напрягаюсь до последнего, пытаюсь себе помочь, упираясь руками в скамейку, и, обессилив, откидываюсь на ее спинку... Сердце стучит, как джазовый барабан, в уголках глаз слезы. Хорошенькое дело! — последний раз плакал пяти лет отроду... от обиды... не помню теперь, какой.

В конце аллеи появляются парень и девушка. Идут, взявшись за руки, подставив весеннему солнцу беззаботные смеющиеся лица...

Смогу ли я впредь беззаботно смеяться, смогу ли забыть об этой моей потере?.. Руди не забыл о своей и через двадцать восемь лет. Но ведь — и не пытался забыть. Как раз наоборот. И именно поэтому не утратил смысла жизни!

Так следует ли стремиться забыть мне? Donnerwetter!.. Черт возьми!

СПРЯТАТЬСЯ ОТ ЖИЗНИ

Все это было давным-давно.

А началось — тогда, когда жизнь казалась раз и навсегда неумолимо определенной, расписанной кем-то невидимым, но незримо ощущаемым, на виртуальных (впрочем, слова «виртуальных» еще, кажется, не было) скрижалях...

Когда в приснопамятных НИИ девочки-мальчики, окончившие вузы, и все — совершенно бесплатно, наряду со старшими, опытными товарищами и даже вместе с ними, почти целыми днями курили, пили чай и вели разговоры о том — о сем, а зарплата капала два раза в месяц без каких-либо задержек;

когда к словосочетанию «член партии» совершенно не нужно было добавлять — какой;

когда считанные советские граждане, успешно миновавшие жестокий отбор и пролезшие в игольное ушко райкомовской парткомиссии, за границей передвигались внушительными группами, шарахаясь от слов, произнесенных по-русски кем-то незнакомым, опасаясь *провокации*, а в тамошних продуктовых магазинах особо чувствительные дамы падали в обморок;

когда значительную часть рабочего, а значит, жизненного времени съедали политинформации и различные собрания, на коих можно было, правда, скрасить скуку чрезвычайно распространенными играми в крестики-нолики или особенно в любимый всеми морской бой, прячась за спину впереди сидящего товарища, изнывая от непреодолимого желания уснуть, изредка преданно взглядывая на всякий случай на докладчика...

Именно в это время жила-была Анечка Малышева, которая была очень довольна... Чем же, спросите вы? Да тем, что ей удалось спрятаться от жизни.

Как она смогла это сделать? Секрета здесь никакого нет.

Очень просто: она родила ребенка.

Мысль спрятаться от жизни давно преследовала ее. И в самом деле, представьте: в течение восьми лет... каждый день... ровно в девять ноль-ноль... нужно было пересечь финишную прямую в виде просторного холла родного НИИ и побыстрее шмыгнуть в сторону, к лифту, под-

---

Лариса ЯРКИНА — родилась в Нижнем Тагиле. Окончила Московский технологический институт легкой промышленности и Литературный институт им. А. М. Горького. Редактор, переводчик. Проза публиковалась в журналах «Вокруг света», «День и ночь», «Континент», «Культура и свобода», интернет-журнале «Топос». Живет в Москве.

няться на десятый этаж. Потом уже можно было вздохнуть спокойнее, разложить бумаги на столе, отправиться покурить или посмотреть на новую кофточку, в которой пришла Верочка из соседнего отдела (папа ее был «выездным» и то и дело снабжал вожделенными тряпками к неизбывной зависти всех остальных ее сотрудниц).

Кажется, что такого: в девять часов утра... пересечь просторный холл... Даже приятно. Но сейчас, когда Анечка уже несколько лет сидела дома, по утрам просыпаясь от поцелуя ребенка и минут тридцать еще нежась в кровати и раздумывая о том, как она счастлива, пока сын, мурлыкая, тихонько постукивал на ковре кубиками, строя разноцветный замок, она с ужасом вспоминала то время, когда каждое утро резко звонил будильник (все Анечкино тело содрогалось от этого звука) и сломя голову нужно было мчаться через весь город на работу. Особенно ужасно это было зимой: бр-р-р-р... в холод, в темноту, где еще светят фонари и только начинает разреживаться небо.... Тогдашний Анечкин, родной, дом огибал трамвай, он ходил напрямую, к метро, но на него никак нельзя было положиться: иногда выскочишь по времени впритык, а рельсы занесены снегом... Значит, опять не ходит... И — дворами, бегом, задыхаясь, на угол, из-за которого выворачивалось маршрутное такси: оно, если захочет, Анечку подберет... А нет, так опять придется бежать, бежать... Продираться в метро сквозь людей на пересадке, потом втискиваться в автобус, чтобы проехать две остановки... Вообще-то такое расстояние можно было и пройти, и когда Анечка устраивалась на работу, она, выйдя из метро и безошибочно распознав вдалеке свое будущее родное стеклобетонное здание, пошла пешком и решила это делать всегда, что не получилось у нее, кажется, после этого ни разу за все годы: никогда не хватало времени. Анечке были органически присущи покой и расслабленность, и вечная каждодневная спешка и ранние вставания причиняли ей почти физические страдания.

Когда Анечкин живот выкатился настолько, что его заметила начальница, Анечке было разрешено приходить к полдесятого. Можно было выторговать и к десяти, но Анечке было несвойственно злоупотреблять добротой.

Господи, как прекрасно было быть беременной, вспоминала Анечка. Вообще начиная с того момента, как она поняла, что ждет ребенка, жизнь ее круто переменилась. Не внешне: внешне все оставалось, как прежде, она работала, старательно выполняя все задания, она проводила комсомольские собрания, так как была заместителем секретаря комитета комсомола и все еще «висела» на выборной работе, несмотря на свои двадцать восемь, поскольку недавно вступила в партию и теперь осуществляла связь парторганизации с комсомолом. Но внутри: Анечка уже совершенно абстрагировалась от существующей действительности, однообразие которой опротивело до предела: овощные базы... колхозы... субботники... комитеты... взносы... единые политдни... собрания профсоюзные... комсомольские... партийные... производственные... Когда Анечке позвонили из райкома и сказали, что к весне надо опять снимать

с работы десять комсомольцев и посылать на месяц на строительство образцово-показательной школы, Анечка сначала, зажмурившись, представила, как будут с ней разговаривать начальники отделов, потом вдруг, как мягкой кошачьей лапой, начала отодвигать внутри себя эту заботу и, с виду внимательно слушая указания, чувствовала, что внутри нее, словно цветок, разрастается безмятежная радость: господи, какое счастье, что скоро все это меня не будет касаться. Скорее бы в декрет. Скорее бы.

Впереди маячило лето. Живот уже стал заметен всем и хотя вовсе не беспокоил Анечку, давал немало преимуществ: иногда Анечку пускали без очереди, особенно в молочных магазинах; один раз какая-то старушка подошла и предложила ей пачку творога (это был весьма редкий в то время продукт, закончившийся прямо перед Анечкиным носом). В метро молодые люди вскакивали и уступали Анечке место. Она благодарила лучезарной улыбкой.

Конечно, были и безрадостные моменты: непременно нужно было раз в неделю показываться в консультации, мерить давление, сдавать всякие анализы. Анечка приходила, раздевалась, ложилась на кушетку, неприятно холодившую клеенкой, и врач трубочкой прислушивалась к ее животу, возвышающемуся аккуратной горкой над плоским телом.

Одно омрачало ее прекрасное состояние духа: необходимость в конце концов рожать этого ребенка, так чудесно вызволившего ее из целой череды однообразных рутинных дел, нелюбимой работы, постоянных обязанностей по отношению к далеким и близким родственникам. Наконец она была предоставлена только себе и мужу, с которым было так хорошо общаться, сидя по вечерам, когда он приходил с работы, в уютной кухне, а утром она просыпалась от солнца, которое било в глаза сквозь тонкие шторы. Когда она только открывала глаза, ей просто было хорошо-хорошо, но постепенно, приходя в себя, она вспоминала, что беременна, а потом и про маячившие впереди роды. Да ладно, как-нибудь, уговаривала она себя, может быть, удастся миновать это ужасное предстоящее, такое неэстетичное...

А как миновать? Она не знала, старалась не думать об этом: жизнь ведь была так прекрасна!

— Я подумаю об этом завтра, — повторяла она вслед за любимой своей героиней...

Вы думаете, Анечка ходила распустехой, нежась в своем новом состоянии? Нет, что вы. Она сшила два платья — шедевра изобразительного искусства, если можно так выразиться. Первое: яркий ситец в мелкий цветочек, оборки, рюшечки, рулик, кружева. Второе: снежно-белое кружевное шитье, отделанное золотой каемочкой (а у Анечки были золотые туфельки и сумочка, — представляете, какая прелесть?). За две недели до родов она в белом платье ездила в гости к подруге на другой конец города, возвращалась одна, поздним вечером, вызывая повышенное внимание редких спутников: один подарил ей апельсин, другой, посетовав на то, что муж отпускает ее в таком положении одну, вызвался проводить до дому.

— Нет, спасибо, — отказалась она со счастливой улыбкой. — Муж встретит меня у метро...

Она излучала свет. Это совершенно серьезно заметил ей в другой раз в метро случайный попутчик (опять метро, что поделаешь? Машины у Анечки не было, а вокруг у всех знакомых были, но она не переживала, так уж счастливо была устроена). Муж ее был так себе, человек хороший, но ничего особенного, не имевший доступа к спецраспределителям и Четвертому управлению Минздрава, а Анечка, по поводу мифического сколиоза все детство проведшая в санатории имени Герцена, где на завтрак давали красную и черную икру, а избалованные дети оставляли ее на тарелках, знала, что это такое, до тех пор пока отец не получил инсульт (и вскоре умер). Анечка иногда вспоминала коричневые пакеты, в которых отец приносил из буфета с работы купленные за копейки ранние овощи и фрукты, деликатесы, куски свежайшей вырезки, скромно именуемые бифштексами. Их не нужно было с силой колотить молоточком, что приходилось ей теперь проделывать с принесенным из магазина переморожеенным мясом. Они вспухали на сковородке и прямо-таки таяли во рту. Отец не успел получить и обещанной хорошей квартиры, о чем впоследствии Анечка неоднократно сожалела и при каждом удобном случае не уставала сообщать новым знакомым, что родилась-то она на Арбате, на Собачьей площадке, и только злая воля проектировщиков новой Москвы лишила ее такого чудесного местожительства.

Так вот, мужа Анечка любила и всем его, в отличие от многих сотрудниц по работе и подруг, хвалила. Она всегда рассказывала, как он помогал ей, дарил подарки, цветы. Хотя она и не врала: действительно дарил... Цветы — если несколько дней пошуметь, что-де она женщина, а он совсем забыл об этом; подарки Анечка сама покупала заранее, взяв взаймы деньги, а потом с большим трудом выбивала их из мужа, чтобы небрежно заявить на работе в ответ на вопросы: что? новое кольцо? Муж подарил вчера на трехлетие свадьбы...

Анечка создавала образ щедрого мужа, как ранее свой образ, образ девочки из благополучной семьи, не заботящейся о хлебе насущном: ах, принадлежность к номенклатуре, слегка задевшая Анечку крылом и исчезнувшая навсегда!

Зачем Анечке это было надо, ведь она несла одни убытки: когда всем в отделе прибавили зарплату, кому двадцать, кому тридцать рублей, ей не прибавили ничего, хотя работала она хорошо. Не оттого, что любила работу, — она ее не любила, но Анечке нравилось, когда начальница была довольна ею. Та ее действительно ценила и хотела прибавить хотя бы двадцатку, но плановичка встала грудью и не дала. И директриса ее поддержала. За что руководство так не любило Анечку, было неясно. Может быть, за то, что она взбунтовалась, когда ее в легких туфельках после болезни отправили работать в холодильник на плодоовощную базу? Так тогда была внезапная срочная разнарядка из райкома партии, и всех предупредили тепло одеться, а Анечку нет: она на бюллетене до этого

была и в тот день как раз вышла. Анечка пыталась отказаться, но директриса угрожающе сказала: «Пеняйте на себя, если вам что-то понадобится от руководства!» Хотя тогда Анечка и не могла себе представить, что могло ей понадобиться от малоприятных насупленных женщин, возглавлявших институт, она поплакала и согласилась, несмотря на то, что мудрый начальник соседнего, недавно появившегося, — веяние времени! — отдела АСУ посоветовал ей, когда они курили с ним на лестничной площадке:

— Если уж отказываешься, так стой на своем до конца. А если сдашься, все равно ничего хорошего не будет: здоровье не вернешь, а запомнят-то то, как ты отказывалась, а не то, что согласилась.

Так оно, видимо, и вышло. Даже через несколько лет после того, как Анечка уволилась, протестуя против кандидатуры в партию, предложенной комитетом комсомола, директриса воскликнула в сердцах:

— Малышеву вот приняли! И что?

И что, в самом деле? Не стала же Анечка там диссиденткой или членом ДС под предводительством Новодворской и — боже упаси! — не эмигрировала же в Израиль, покинув воспитавшую ее родину (впрочем, Анечкин пятый пункт и не давал к этому повода). Всего лишь сидела дома с ребенком, наблюдая, как он растет, — как советовал знаменитый доктор Спок. Но мысль о необыкновенной изворотливости Анечки Малышевой почему-то не давала покоя ее бывшей директрисе, что не преминули передать Анечке подружки. А тогда-то хоть ежемесячной надбавки Анечку лишить, и то было руководству приятно. Как мы видим, Анечка проигрывала, искусно создавая свой образ, ненастоящий, потому что в общем-то она была бедна, как церковная мышь, хотя когда гуляли в отделе, непринужденно кидала на стол пачку «Кента». Где же она брала деньги (да и «Кент»), спросите вы?

Она шила. Никто не знал об этом. Небрежно сбрасывая с плеч новый плащ, она видела, как сотрудницы косят глаза на бирку, сверкнувшую на подкладке. Даже начальница уважительно примеряла новое изделие: о, голландский! Анечка улыбалась спокойно: конечно, разве может быть иначе? С бирками, конечно, были трудности. И с тканями. Но кто-нибудь из заказчиц всегда выручит, подкинет отрез в счет оплаты (или сигареты...). А Анечкина подруга Вера работала в библиотеке, куда ненадолго, совершая круг по Москве, приходили «валютные» журналы мод. Все было просто...

Итак, Анечка была ненастоящая. Ненастоящая Анечка ходила на выставки, театральные премьеры, собирала взносы и посещала многочисленные собрания, мечтая о времени, когда она родит ребенка и будет сидеть дома, а не мотаться на работу или время от времени перебирать гнилую капусту, от которой уже идет пар, и подгнивший пронзительно пахнущий лук на овощной базе, а также учиться в университете марксизма-ленинизма на факультете коммунистического воспитания молодежи. Анечкиному образу дочки преуспевающих родителей немного мешало то, что жила она в хрущевской пятиэтажке, где время от време-

ни прорывало какой-нибудь бак и по лестнице хлестал кипяток, с вонючим подвалом, где устраивали драки и откуда выскакивали, истошно мяуча, ободранные коты.

Но при ее везении и это удалось исправить. Она вышла замуж. Она искренне любила мужа, но так совпало, что он жил в престижном районе в буржуйском доме, как именовали его обитатели окрестных старых зданий с коммуналками. И, переехав, Анечка долгие годы, подходя к ставшему своим дому, испытывала то же чувство, что и Люсьен де Рюбампре, когда он подъезжал к особняку герцогов де Гранвиль. Конечно, вокруг были и дома из розового кирпича с улучшенной планировкой с топтунами у подъездов, но у Анечки хватало ума не замахиваться на недостижимое — и удовлетворяться достигнутым. Ну, вздрагивала она каждый раз, когда на экране кинотеатра возникал Ричард Бертон и смотрел на нее своим проникавшим, казалось, в самую Анечкину душу прозрачным взглядом, так на что тут можно надеяться было, когда он на другом конце света в цепких когтях своей Элизабет... А то и вообще, до Анечки доносились слухи, в могиле... Смешно же! Надо быть довольной тем, что у тебя рядом. Стараясь как-то расцвечивать это — раскрашивать действительность кисточкой, окуная ее в воду, а потом в акварель...

Ненастоящесть Анечки достигла такого размера, что, получив наконец больничный лист со словами о декретном отпуске, Анечка, сидевшая в очереди у кабинета заведующей, чтобы поставить на него штамп, вдруг ощутила необъяснимый ужас от мысли, что все это неправда, она получила больничный обманно, а теперь ей заплатят деньги, и не откажешься же от них? А она вовсе не беременна, это невозможно, все в конце концов раскроется, и будет ужасный скандал.

Но беременность — была. И, ничем особенно не досаждая Анечке, спасала ее, — что было абсолютно восхитительно, — от многих неприятных вещей. Когда к Анечке подошла в коридоре секретарь цеховой парторганизации и сказала, что неплохо было бы заслушать Анечкин самоотчет как молодого коммуниста на очередном собрании, Анечка незаметно стала как бы оседать вниз, выставляя тщательно подбираемый при остальных обстоятельствах живот, и пролепетала:

— Я бы с удовольствием... Но... Понимаете... Боюсь, я буду очень волноваться... А мне это вредно в моем положении... Я с той недели уже в декрете...

И она опустила очи долу. Секретарь парторганизации тоже слегка смутилась (а может, и чертыхнулась в душе, но этого не могла знать Анечка) и сказала разочарованно:

— Конечно-конечно. Я понимаю. Ладно.

Анечка вернулась в свою комнату и прыснула. Волноваться. Вот еще. Ничего особенно волнующего, естественно, в этом дурацком «самоотчете» не было, но было даже представить Анечке противно, как она будет стоять перед двумя десятками не слишком доброжелательных глаз и отвечать на их «копающие» вопросы. «Успела вступить в партию и сма-

тываешься, — будет написано в этих глазах. — Ну уж мы тебя подолбаем напоследок».

Анечка и вправду сматывалась. Это совпало, конечно, случайно, как случайно было и само вступление «в ряды». Из райкома спустили разнарядку, и комитет комсомола предложил Анечку, поскольку к ней все относились хорошо за безотказное выполнение своих обязанностей, — взять хотя бы безропотность, с которой она лазала по подвалам здания, вылавливая электриков и рабочих и уговаривая их исполнить свой комсомольский долг — заплатить взносы! Она, конечно, согласилась вступать (не отказываться же ей было от столь редко спускаемого на интеллигенцию блага!), дуриком проскочила цеховое собрание, ну а на общем вышеупомянутая директриса задала ей жару, страшно вспомнить. Довела Анечку до рыданий, добиваясь ответа, почему Анечка не пошла после института вкалывать на производство, в пылу праведного гнева забыв, кстати, о том, что свою собственную дочь сама-то решительно от этого избавила. Тут за Анечку пошли на трибуну вступаться люди, говорили о том, какой она хороший агитатор, политинформатор, что в ее отделе только к ней и можно по любым вопросам обратиться... Словом, все обошлось, и Анечка благополучно вступила в кандидаты. Хорошо, однако, что она тогда беременной не была, а то черт знает что могло случиться от Анечкиных рыданий...

В райкоме, правда, когда утверждали, долго трепали нервы, допрашивая, почему при голосовании на общем собрании был один воздержавшийся (плановичка), но в конце концов секретарь парторганизации института придумала блестящий ответ на этот каверзный вопрос: таде не сталкивалась с Анечкой по работе, а, являясь принципиальным коммунистом, не смогла проголосовать «за», так как плохо знает ее.

Голосование в стране по любому поводу давно уже, несколько десятилетий, было абсолютно единодушным, и наличие даже одного воздержавшегося вызывало недоумение и различные подозрения.

А теперь ребенок толкался, Анечкин живот время от времени ходил ходуном, потом надолго затихал... Как-то она сидела, читая тонкий журнал, и, толкнувшись особенно сильно, ребенок выбил — чем? коленом? пяткой? — журнал, сбросил его на пол. Анечка долго, словно не веря, смотрела на журнал, не поднимая его.

Значит, ребенок все-таки настоящий? И действительно будет?

Вся ее безоблачная, неправдоподобно прекрасная беременность неожиданно кончилась кровотечением, — все-таки двадцать восемь лет — не шутка (а Анечка думала, что шутка), — и кесаревым сечением, к большому облегчению Анечки, временами просто заболевавшей от мысли о том, как она будет корчиться с раздвинутыми ногами на глазах врачей (и, что вполне возможно, — мужчин).

Ребенок оказался реальностью и перемещением Анечки в другой мир, как она и предполагала. Не нужно было больше заниматься созданием образов: это орущее, чмокающее существо, которое сучило ногами и недовольно морщилось, отыскивая ртом Анечкину грудь (главное было

не перепутать, какую давать на этот раз: левую? правую?), заставило забыть, что на свете существует что-то кроме кормлений, сцеживаний, стирки и глажки пеленок, промазываний подогретым подсолнечным маслом складочек кожи, купаний и перепеленываний, кипячения упорно выплевываемой на пол соски и так далее, даже перечислять все довольно утомительно...

А уж выполнять!!!

Но Анечка, как ни странно, не чувствовала безысходности своего положения и новой рутинности ежедневно повторяемых дел. Она наконец-то жила, и вечером, усталая, падая совершенно изнемогшая в кровать, она думала: какое счастье, что завтра опять утро и все начнется сначала...

Значит, Анечка стала настоящей? Ну нет, не совсем. Когда через некоторое время ребенок немножко подрос и стало высвобождаться свободное время, она снова начала совершенствовать образ теперь уже своей новой жизни. Она говорила подругам, которые выли от аналогичных забот и яростно набрасывались на своих мужей, когда те приходили с работы, выливали на них свою усталость и раздражение: неужели вы не понимаете, какое это счастье — сидеть дома, готовить обед, возиться с ребенком, отгородиться от контактов с окружающим враждебным миром, создать свой собственный мир, полный солнца, любви, улыбок ребенка и его достижений... Вот он поднял головку, вот сел, вот встал на еще не слушающиеся ножки, ему больно, он плачет, но стоит посадить его — он опять встает, как Ванька-встанька, и опять рыдает... и вот он, наконец, пошел, карабкается по ступенькам...

Конечно, создавать такую чудесную модель собственного мира легче в центре города, где жила Анечка, чем где-нибудь в каком-нибудь Бескудниково, куда редкий гость доберется и глазу не на чем остановиться: одни дома, и все одинаковые. А еще если нет телефона! Но у Анечки было все в порядке, телефон у нее был, она могла поболтать с кем хочешь, а все знакомые, друзья и приятели всегда шли мимо Анечкиного дома, заходили запросто, Анечка встречала их, конечно, в умопомрачительном длинном домашнем платье (а не в каком-нибудь занюханном халате), поила их чаем, кофе или вином с собственноручно испеченным тортом, общалась, а ребенок тихонечко в своей комнате играл в манеже, позвякивая погремушками, и часто засыпал так, уткнувшись лицом в клеенку и почему-то кверху попкой, подогнув под себя ножки.

Раз в месяц Анечка ездила на работу, чтобы получить свои законные от государства тридцать пять рублей, и однажды встретила секретаря комитета комсомола Зою. Та спросила ее, не хочет ли Анечка оставить себе комсомольский билет на память. Анечка энергично согласилась, они вместе сделали выписку из протокола постановления несуществовавшего собрания комитета комсомола, какая-то юная комсомолка сбегала в райком, подписала, и Анечке отдали ее документ. Дома она аккуратно положила его в коробочку, где лежали свидетельство о рождении, аттестат, грамоты за школьные олимпиады и успехи в деле коммунистического

воспитания молодежи, удостоверения об окончании университета марксизма-ленинизма, курсов немецкого языка и диплом технического вуза. Образ представительницы советской молодежи, активной комсомолки был завершен, Анечка не смогла отказаться от последнего штриха.

Когда она перестала получать на работе деньги и плавно переместилась в отпуск без сохранения содержания, как ни странно, она почувствовала облегчение. Одна нить, связывающая ее с постылой работой, оборвалась. Начальница с нетерпением ждала ее обратно, ибо никто не вел так скрупулезно техническую документацию, как Анечка, никто не мог так же быстро, как она, дать любую справку. Но Анечка уже знала, что не вернется, с этой частью ее жизни было покончено. Как только вышел срок, она, с боем, уволилась, — все шло согласно намеченному плану.

Если ей теперь случалось (очень редко) попасть в транспорте в часы пик, она слегка морщилась, показывая этим самой себе (ибо окружающим было все равно), что она иная, она не из ряда этих усталых замотанных людей, женщин, тянущих по продуктовой сумке в каждой руке (сбегали отовариться в обеденный перерыв, потом наскоро выпили чаю с бутербродами). Она наконец могла позволить себе сделать то, о чем мечтала много лет: не иметь проездного билета. Проездной билет напоминал всегда о том, что ты зависимый, служащий человек, который едет в одну сторону тремя транспортами и так же вечером возвращается обратно. Разумеется, можно было не покупать проездной, раз уж он вызывал у Анечки такие ощущения. Можно было, едва втиснувшись в трамвай, искать в кармане мелочь, передавать ее через головы близко стоящих товарищей по несчастью и мучиться, размышляя, дойдет ли до тебя в обратную сторону билет. Но это было слишком неудобно, а Анечка, как мы знаем, неудобств избегала. С тех пор, правда, способ оплаты проезда изменился. И Анечка с большим удовольствием покупала у водителя длинный листочек с десятью талончиками, складывала их аккуратно гармошкой, один отрывала и прокалывала компостером. Хотя Анечка давно не встречала в транспорте контролеров, — по ее глубокому убеждению, они сохранились лишь в одном месте Москвы — в автобусе, в котором Анечка раньше преодолевала последний отрезок пути до работы, — она всегда прокалывала талон, даже если ехала одну остановку. И не потому, что обладала высоким гражданским сознанием. Она просто боялась, что какой-нибудь невоспитанный горластый контролер обхамит ее и выведет из того прекрасного состояния равновесия и абсолютного покоя, в котором она старалась находиться и находилась в течение уже нескольких лет. Она почти не читала газет и книг, в которых все настойчивее сообщалось о пришедшей эре гласности и демократии, — попались ей на глаза статьи об ужасах тридцатых годов, она долго не могла прийти в себя, после чего этой темой не интересовалась более: она мешала ей радоваться жизни. Да, жизнь была прекрасна! Она омрачалась изредка выпадением очередного товара в дефицит, но Анечке-белочке было свойственно делать запасы. Одежда, к примеру, ее почти не интересовала, поскольку она, как вы помните, умела шить. А обувь? —

злорадно спросите вы. Но Анечка, знаете, в основном носила тапочки, поскольку бóльшую часть времени проводила дома. Несколько импортных пар туфель и сапог осталось у нее от прежних времен, да и выручали то подруги, то случай. В общем, все обстояло чудесно.

С закупкой продуктов было сложнее: постепенно, по мере углубления перестройки, которая происходила в обществе, пока Анечка сидела дома, без очередей стало невозможно купить почти ничего. Анечка сначала растерялась, но ее необыкновенная натура и тут нашла выход: она, видя очередь, стала радоваться: значит, что-то дают! Правда, сын не разделял ее оптимизма и решительно отказывался стоять долго за чем-нибудь, кроме бананов. Они покупали те продукты, которые купить было сравнительно просто: молоко, хлеб, овощи. Муж приносил все остальное (он все-таки в конце концов стал помогать ей, как она и предвидела, воссоздавая это в своих образах). Ну, конечно, не без того, что из очереди когда выпихнут, если она отойдет ребенка соком напоить. Или дурой иногда обзовут, когда старичка пропустит вперед себя кефир взять, который кончается. Но это мелочи. Полуулыбка не сходила с Анечкиного лица — она была счастлива. Разве можно сравнить эти мелкие неприятности с постоянным страхом опоздания или стрессами на работе? Анечка и не сравнивала. А если ей еще иногда по случаю удавалось купить индийский чай или детские колготки, она была не просто счастлива, а счастлива совершенно. Модель «спрятаться от жизни» была сработана почти безукоризненно. Ребенок обожал ее: мама, лю-лю, лю-лю маму, лепетал он, обнимая ее за шею; постепенно продвигающийся вверх по служебной лестнице муж целовал ее, приходя с работы, она кормила его ужином, и потом они, уложив ребенка, вместе смотрели телевизор, обмениваясь впечатлениями. Иногда они отправлялись в гости или театр, когда Анечкина мама соглашалась посидеть с ребенком. Анечка долго одевалась, красилась, брызгалась французскими духами, надевала кольца, бусы, браслеты, походка ее менялась, выражение лица становилось капризным и томным. Можно было бы, конечно, еще что-нибудь пожелать, — скажем, заграничной жизни, приемов там разных, кадиллаков или норковых манто, — но Анечка не мечтала о нереальном, удовлетворяясь «достигнутостью» модели, построенной своими руками, но все-таки без особого труда и напряжения. И будущего не особенно боялась Анечка, какого-то неожиданного поворота судьбы: она была уверена, что со своими руками в любом случае не пропадет. Вот разве что экологического кризиса или атомной войны. Но тут уж Анечка ничему не могла помешать, и она старалась: что делать? Правильно! Не думать об этом. Господи, как хороша была модель, любовно выстроенная Анечкой!

Меж тем вокруг все время что-то постепенно менялось. Опубликовав на своих страницах покойных писателей-эмигрантов, журналы принялись — подумать только! — упоминать о живых. Все чаще попадались Анечке объявления о митингах (Анечка, конечно, не ходила на них никогда, они не вписывались в созданный ею мир), и вот однажды она была остановлена на бульваре иностранными журналистами.

— Скажите, это у вас мальчик? — спросила элегантная в меру женщина (если бы не в меру, Анечка сразу заподозрила бы что-то) на прекрасном русском языке (что тоже усыпило бдительность Анечки), глядя на закутанного в шубку и вязаную шапочку Анечкиного сыночка.

— Да, — радостно ответила Анечка.

С недавнего времени она внезапно обнаружила еще одно свое достижение, которое могла поместить в свою систему: у нее был мальчик! Сын! Андрюшенька! А не девочка какая-нибудь. На Востоке, прочитала случайно Анечка, женщину так и зовут, если она родила сына: мать такого-то, например, Мохаммеда. И точка. Тогда почет и уважение.

— Сегодня начался вывод войск из Афганистана. Не могли бы вы дать нам небольшое интервью? Ростокское телевидение.

— Пожалуйста, — улыбнулась Анечка.

Честно говоря, сначала ей послышалось: *ростовское*, и она не почуяла никакого подвоха. Но пока мужчина снимал с плеча и устанавливал ненашенскую камеру, у Анечки засосало под ложечкой, и она постепенно начала соображать, что к чему. Да к тому же женщина с оператором обменялись двумя-тремя словами на немецком. К чести Анечки, а особенно распространяющейся постепенно и повсеместно гласности и демократии, она не убежала, как наверняка бы сделала пару лет назад. Но ей стало неуютно, это точно. На несколько вопросов она ответила сносно. Но, конечно, от этих иностранцев нечего было ждать деликатности. Последний вопрос был:

— Как вы считаете, решение правительства о вводе войск было правильным?

Анечка растерялась. Вот он, этот каверзный вопрос, а еще ребяты-демократы, Росток же, кажется, в Восточной Германии, все они одинаковые, эти гады-иностранцы, подумала Анечка с тоскою, почему они подошли именно ко мне?

Пауза затягивалась, камера стрекотала. Анечка вспомнила воинствующих пенсионеров-коммунистов ДЭЗа, где она теперь стояла на партучете. Вспомнила, как ее поразила повестка дня первого же собрания, на которое она попала, по контрасту со своим все же милым и тихим НИИ: два вопроса, и оба — об исключении из партии. И сказала, опустив глаза:

— О решениях правительства не мне судить...

Не правда ли, что-то напоминает? «В мои лета не должно сметь свое суждение иметь», — помните?

— Я уже сказала вам, что очень рада, что начался вывод войск... — продолжала лепетать Анечка, — мне так жалко наших солдат...

Она замолчала. Молчали и немцы. Может быть, ждали, что она скажет что-нибудь еще. Например, то, что ей и афганских солдат жалко. Но Анечка широтой мышления не обладала и не сказала. Какое ей было дело до афганских солдат! Душманов каких-то, головорезов!

— Спасибо, — сказала наконец женщина. Мужчина выключил камеру. Анечка пошла дальше. Советская экс-комсомолка, молодая коммунистка, впервые в жизни дав неслыханно смелое интервью зарубеж-

ному телевидению, чувствовала слабость в ногах и потребность закурить сигарету, с чем во время беременности покончила. Пару дней у нее становилось тоскливо на душе, когда она вспоминала этот случай. Дело в том, что Анечка, конечно, войны в Афганистане не одобряла и власти за это (и не только), естественно, с мужем на кухне поругивала. «Почему же я не сказала им это? — огорчалась Анечка. — Ведь сейчас все можно, всё разрешили... Почему? Господи, как раньше хорошо было. Никаких интервью, никаких рассказов о палачах и реках крови...»

Но постепенно Анечка забыла о неприятном происшествии. Как она обычно поступала в случаях, когда нужно было забыть о чем-нибудь ненужном? Обволакивала, обволакивала в своей памяти неприятное чем-нибудь приятным и отодвигала мысленно неприятное все дальше и дальше. Жизнь продолжалась. Наступила весна, муж принес цветы на годовщину свадьбы без напоминаний, ребенок выучил алфавит и цифры и точно решил, что, когда вырастет, станет шофером такси.

— Ты мое солнышко, ты моя ласточка, ты моя рыбонька, мой сыночка Андрюшечка, — приговаривала Анечка, укладывая его спать.

— И ты мое сонышко, мама, — сонно бормотал он, — и ты моя лыбонька... а еще ты... ты... — он задумался, не зная, каким наираспрекраснейшим эпитетом наградить ее, — ты... челная машина волга!

Анечка хохотала, хохотала, целовала его...

Впрочем, ясное небо созданного ею невыразимо прекрасного мира иногда затуманивалось тучками. Однажды Анечка ехала в гости к матери, в субботу, — да, это была суббота, не конец трудового дня, когда усталые, озлобленные люди толкаются локтями, пытаясь отвоевать в транспорте пространство для помещения туда своего тела. Была яркая солнечная суббота, в полупустом трамвае все сидели, сидела и Анечка со своим четырехлетним сыном. Со спокойной полуулыбкой на губах она увлеченно читала в «Работнице» о совершенно новом и наипростейшем способе похудеть (ибо Анечка, к сожалению, начала полнеть от своей спокойной жизни и регулярных занятий кулинарией). Она не обратила внимания на методичный стук, раздававшийся рядом и исходивший от ее малыша, — он методично ударял ботиночком по какой-то выпуклости под сиденьем, — но вздрогнула от злобного окрика:

— Сейчас же скажите вашему ребенку, чтобы он прекратил стучать ногами!

Ребенок и сам тут же испуганно перестал, а Анечка обернулась на злобный голос. По существу, наверное, пассажир трамвая был прав, но интенсивность его тона поразила Анечку. Она встретилась взглядом с горящими от ярости глазами.

— Да-да, я вам говорю! — снова заорал он. — Нечего глядеть, распустили детей!

— Не находите ли вы, что ваше возмущение немного неадекватно поводу? — интеллигентно осведомилась еще полуулыбавшаяся Анечка.

— Безобразие! — закричала теперь соседка сбоку. — Еще и разговаривает!

Все пассажиры вокруг зашумели, поддерживая друг друга, словно были близкими родственниками или товарищами по парторганизации. Анечка поняла, что силы неравны, и замолчала, но шум продолжался.

— Смотри, смотри, — вступила в бой соседка сзади, снова изумив Анечку злобным негодующим тоном, — сейчас он тебе ногами стучит, а вот вырастет, пырнет тебя ножом в бок, тогда запляшешь! — злорадно заключила она.

Ошеломленная Анечка, подхватив испуганно таращившегося малыша, выскочила из трамвая на остановку раньше, чем надо, и разрыдалась. Она плакала, а ребенок повторял: «Мама, мамочка», — обхватив ее ноги, и, задрав голову, заглядывал ей в глаза. Наконец он и сам заплакал.

— Не надо, мама, не надо, — упрашивал он, но Анечка не могла остановиться.

Какие, оказывается, вокруг, в ее Москве белокаменной, столице советской Родины, попадаются ужасные, злобные люди!

Постепенно тучки на ее радужном горизонте все больше сгущались. Муж пропадал на работе, Анечка почти не видела его. Жизнь в любимом городе становилась все тяжелей. Продукты постепенно исчезли из магазинов. В центре уже нельзя было ничего купить, и Анечка ездила по рабочим окраинам, где еще можно было купить что-то из посуды, мыло или — по случаю — даже масляный обогреватель, что и удалось сделать в магазине неподалеку от станции Бирюлево-товарная.

Андрюшу Анечка отдала в детский сад, — как всегда, ей повезло, неожиданно мужу подвернулась возможность отдать в совминовский. Малыш рыдал и утром, когда она его отводила, и вечером, когда она его забирала.

— Что же ты плачешь, Андрюшенька, мы же домой идем? — изумлялась она.

— Да... но ведь завтра же опять... надо в детский садик идти... — подвывал малыш.

Анечка старалась не впадать в панику. Изредка в магазины завозили продукты, и мгновенно образовывались длинные очереди. Анечка спокойно выстаивала их, читая книжки: благо, у мужа была большая библиотека, всю жизнь собирал, книг должно было хватить лет на пятьдесят. Иногда очередь переписывали, ставя каждому номер шариковой ручкой на раскрытой ладони.

Народ слегка роптал. Не сильно. Стука шахтерских касок на Горбатом мостике уже было не так долго ждать, но никто и не подозревал об этом.

— Это временные трудности, — объясняла старушкам Анечка. — Все наладится, — неуверенно добавляла она.

— Конечно, милая, — отзывались старушки, подозрительно оглядывая ее стройную фигурку, завернутую в красивую одежду. — Конечно. Лишь бы войны не было.

Чтобы как-то развлечься, Анечка купила билеты на теннисные соревнования «Кубок Кремля». Билетов было завались, никто не покупал. Анечка начала водить Андрюшу в Лужники на теннис, хотя он и со-

противлялся отчаянно, не желая понимать, что для мальчика из хорошей семьи это первое дело (как и бассейн, посещение которого было дискретным: каждый раз после очередного купания Андрюша в знак протеста заболевал). При входе в «Олимпийский» всем, кто предъявлял билет, бесплатно давали бело-зеленую коробочку с байеровским аспирином. Сам билет стоил раз в десять меньше цены западных таблеток.

— Надо было десяток билетов купить, — засмеялся муж, когда Анечка с сыном вернулись. — Это ж всемирно известное лекарство! Эх, Анюта!

Анечка улыбнулась: коммерции она была подчеркнуто чужда. Мысленно она еще была там, в «Олимпийском». Это был какой-то островок счастья посреди озлобленной, серой, осенней, холодной, голодной Москвы. Внутри, за стеклянными дверями, все было залито ярким светом и по проходам двигались оживленные, радостные группы нарядно одетых людей, которые — улыбались! Продавали теннисную одежду, ракетки, какие-то яркие журналы. Они с Андрюшей прошли в зал. Стены были затянуты голубой тканью, на которой яркими пятнами выделялись разноцветные флаги. Начался матч, и Андрюша стал задавать вопросы, а Анечка в игре ничего не понимала. Ниже, впереди них, сидела молодая пара. Мужчина повернулся и с дружелюбной улыбкой стал объяснять Ане с Андрюшей правила игры. Объяснял долго, подробно, пока и она, и малыш не поняли. Анечка была потрясена.

«Как хорошо, если бы вся жизнь была вот такой... — подумала она с тоской. — Вот такой чудесной, как здесь, на Кубке Кремля...»

Конечно, если бы... Если бы не надо было рыскать по городу в поисках продуктов или магазинов, в которых «отоваривали» талоны на сахар, водку и сигареты... Если бы да кабы...

Но вне стен «Олимпийского» жизнь была совсем другой. Приехав в очередной раз в Бирюлево и забравшись автобусом подальше, Анечка вошла в небольшой универсам и увидела, как выкладывают фасованное мясо. Обрадовавшись, она протянула руку.

— После обеда будем продавать, — грубо оттолкнула ее продавщица. — Сейчас уже на кассе никого нет.

Ну да, конечно, Анечка припоздилась. Застряла в хозяйственном магазине неподалеку. Да и время быстро пробежало: пока отвозила Андрюшу в детсад, пока ехала, — чай, не ближний свет...

Решив не спорить, Анечка вышла из магазина, встала у дверей и открыла книгу. Подумаешь, час, когда после этого гарантированно получишь то, что надо. Может, и еще что будут продавать.

Вокруг постепенно собиралась толпа. Анечку уже прижимали к дверям так, что, если бы ей понадобилось выйти, она бы не смогла вернуться обратно. Народ вокруг возмущенно обсуждал что-то, но Анечка нарочно не слушала: ей не хотелось расстраиваться.

Наконец открыли двери, и толпа, ворвавшись в магазин, разумеется, оттеснила Анечку, и она оказалась где-то в конце. Но, как говорится, кот, прижатый к стене, превращается в льва. Мясо расхватали в один момент, но Анечка, извернувшись, все-таки ухватила большой кусок. Не-

понятно, куда было его положить: большая сумка была заполнена стиральным порошком «Лоск», который она купила до этого. Она расстегнула ее и хотела достать пакет, но в этот момент послышалось:

— Гречку вынесли!

Толпа плеснула куда-то вбок. Мясо подтекало, и, держа его от себя подальше, Анечка подскочила к контейнеру. Неожиданно ей и тут повезло — удалось схватить две последние пачки гречки.

— Отдай одну, — потребовала бабка в мохеровом берете. — Куда тебе столько? Ишь затоварилась!

— Не отдам, — сказала Анечка. — У меня ребенок маленький, мне его кормить надо.

— Вырядилась, сука, откуда ты здесь только взялась, фря, — прошипела бабка и вдруг ткнула в бумажный пакет ногтем.

— Колбаса! — опять закричал кто-то. Бабка злобно сверкнула глазом на Анечку и растворилась в толпе.

Анечка растерянно осталась стоять. С мяса, которое она держала в одной руке, капала на светлое пальто кровь. Другой рукой она прижимала к себе гречку, которая струйкой вытекала на пол...

Она приехала домой. Застирала пальто. Ее знобило.

Она залезла в теплую ванну, и из глаз ее вдруг полились слезы. Она не знала, что делать. У нее плохо получалось справляться с тем, что надвигалось так неотвратимо. Все хуже и хуже получалось... Как будто сжималось какое-то кольцо...

«Может быть, выпить? Кажется, оставалось немного вина», — подумала она и открыла бар. Там рядами стояла водка, полученная по талонам. Вечная конвертируемая валюта советского человека.

Больше ничего.

Анечка снова заплакала. Она не любила водку. Ей не так уж хотелось вина, но она не понимала, как дальше жить — в этом мире, ставшем таким враждебным. Все рушилось, и ей, горемычной, нечем было утешиться...

Она забрала сына из садика, и тот потребовал гулять.

Они пошли вперед по переулку к Арбату. На углу у «Гастронома» остановилась грузовая машина. Шофер выскочил и откинул матерчатый полог. В кузове прямо на полу лежали сардельки. Анечка знала, что до прилавка они вряд ли вообще дойдут: куча была не такая уж и большая.

— Ух, мам, смотри, что это в машине? — спросил Андрюша. Она не ответила. Глаза ее вновь подозрительно заблестели.

— Девушка, — окликнул ее вдруг шофер. Она перевела взгляд на него. — Возьмите, — и он протянул ей веревочку из нескольких сарделек.

Она растерянно взяла.

— Спасибо, — пробормотала она и полезла в карман за кошельком.

— Да не надо, — сказал он. — Зачем? Я ж не продавец. Это для ребенка... У меня такой же пацан растет. Слушаешься мамку? — нарочито строго спросил он Андрюшу.

Андрюша спрятался за Анечку и выглянул из-за полы ее плаща.

— Слушаюсь, — неуверенно сказал он.

— Смотри у меня! — парень погрозил ему пальцем. Андрюша захихикал и побежал.

Он бежал по Арбату, а Анечка — за ним, пытаясь поймать. Он уворачивался и весело хохотал, прячась за скамейки и фонари...

Слезы на Анечкиных глазах высохли, она улыбалась и снова чувствовала себя счастливой. Люди разные и больше всего — хороших, уговаривала она себя. Даже когда они с виду злые, внутри у каждого человека наверняка есть что-нибудь доброе. Всегда найдется тот, кто поможет в трудную минуту. Тяжелое время когда-нибудь пройдет, и все как-нибудь наладится. Надо только подождать. В магазинах когда-нибудь появятся товары. И можно будет выбрать и любить какую-нибудь марку французских духов — и всегда покупать именно их, а не только те, что когда-то «выбрасывали» в ЦУМе и которыми пахла вся Москва... И, может быть, как-нибудь даже сделается так, что можно будет запросто съездить в Италию... Или в Лондон. Или в Париж...

Она наконец поймала Андрюшу и прижала к себе. Он дрыгал ногами и обнимал ее за шею.

— Ах ты мое счастье, — сказала Анечка. — Хочешь в Париж?

— Не хочу, мамочка. Лучше пойдем домой. Я замерз. Там тепло.

— Ну, пойдем, — она спустила его на землю и взяла за руку. — Пойдем домой.

ОСЕНЬ В РИМЕ

Поэма странствий

/Фрагменты/

О небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло...
Осип Мандельштам

Это было жизнь назад.
Это было вчера.

...Нет, я, кажется, изнемогаю от душевной и физической усталости. Загнанный московский учитель, нищий, никому не нужный писатель. Кислород перекрыт. Дайте глоток воздуха!

— Тебе надо бежать в Италию!.. — вот что стало биться в висках. — Надо наскрести денег, влезть в долги, в петлю, одолжить у знакомого гнусного юнца-ростовщика и бежать, очертя голову, в страну Данте и Петрарки.

Толстуха-директриса школы, где я в кабале, в яме, стала орать с пеной у рта:

— Не отпущу! А кто станет без вас тянуть лямку? У вас бычья, нечеловеческая нагрузка!..

Но я стал звонить, шляться по разным турагентствам, туроператорам и фирмам. Пляжи Анталии и бардаки Таиланда. Шоп-тур на Везувий. И друзья, стая доброжелателей, стали сразу дразнить, останавливать, пугать.

— Все они кругом жулики, одно сплошное жулье. Разбойники. Не верь никому. Обманут, отберут деньги, разденут и бросят голого, одного, на большой дороге!

— Ну, если бросят на Старой Аппиевой дороге, — вздыхаю, — это уж и не так плохо.

Да, да, очутиться голому, замерзшему на раннеосеннем, сентябрьском солнце возле Колизея и, протянув дрожащую руку, просить у туристов и толп зевак со всего мира милостыню...

А может, и подаяние просить не придется. Вот подружусь с черными, как молчаливые африканские животные, сомалийцами и сенегаль-

---

Иван ОГАНОВ — родился в 1943 г. в Тбилиси. Окончил Московский институт иностранных языков. Автор романов «Песни об умерших детях», «Венок грехопадений», «Опустел наш сад», «Песнь виноградаря осенью» и «Кровь Пастернака», печатавшихся в 1991–1994 гг. в «Октябре», в «Новом мире» и в «Континенте». Живет в Москве.

цами, что продают деревянных лошадок с длинными ногами, надо только завязать с ними дружбу, вымазать лицо и руки черной сажей — и готов, молчаливый, в красном тюрбане, длиннорукий и высохший торгаш-сенегалец, стоять себе с ними, в стаде экзотических животных... Или же переодеться в римского легионера в каске со страусовыми перьями, как артист миманса из захудалого провинциального театра в Самаре, ежиться голыми коленями, волосатыми ногами в сандалиях с грязными шевелящимися пальцами ног, вымаливать окурок у прохожих и предлагать каждому сфотографироваться с ним рядом на вечную память...

Но мне повезло. Вытянул лотерейный билет. Кто-то посоветовал обратиться к туроператору МОНДО ТУРС. Их немного. Надежных. Вся масса агентств — всего лишь посредники. А МОНДО ТУРС работает с Италией напрямую и числится там в лидерах по сервису, комфорту и классу.

И я несколько ночей не спал, со своими жалкими крохами. А вдруг надуют? Скажут: банк сгорел. Тысячу зеленых, что наскреб за год труда-душегубки, отнимут и сбегут вместе с моей чернеющей дымом, задыхающейся в отчаянии жизнью. Явишься за визой, а вместо турагентства — новоиспеченный, зазывающий каждого прохожего морг...

Но мне повезло. Повезло! Спасибо Любови Игоревне Чистяковой и турфирме МОНДО ТУРС.

В пятьдесят лет — впервые за рубеж. Из совкового рабства.

И вот сданы паспорта и деньги. Получена коллективная виза. Одна — на всю ораву.

Шереметьево. Толпы. Оглядываюсь в страхе. А вдруг за шкирку и обратно?

САНПРОПУСКНИК. ГАДЮШНИК.

Дельцы. Бомжи. Убийцы. Шопники. Челноки. Собаки и кошки. Пончики с вазелином вместо крема за сто тысяч каждый. Толстые румяные буфетчицы, лопающиеся от подкожного жира. Телевизоры с дурацким срамным боевиком. Таможня. Пограничники. Группка обшарпанных интеллигентиков вроде меня. В потертых куртках. Одна девица с большим задом и в разорванных на ягодице шортах. Ногти-когти крокодильего цвета. Помятый профессор исторического материализма из бывшей замусоренной Плехановки. С золотыми, как у мертвеца, и страшно смеющимися зубами в оскале. На тыльной стороне ладони татуировка. Там написано: «КОЛЯ!»

— Я и в Париже побывал! — лыбится золотыми челюстями профессор в замасленных, свисающих на заду штанах.

Седовласая в буклях, в смешной шляпке с матерчатой хризантемой старушка. Белая птичка с ватным голоском.

— Не хочу умереть, не поклонившись Боттичелли, — шепчет выжившая из ума несчастная гимназистка.

Мы — классические туристы. Накопили, раздирая жилы на животе, чтоб один раз за всю жизнь в рабстве повидать ИТАЛИЮ. Нищие учителя, голодные врачи, торгующие жвачкой и трусами инженеры. А так-

же я, спившийся писатель. Инженер человеческих душ. Нас выпускают впервые в жизни. Без профкома, горкома, КГБ и комсомола. Без желтой, подписанной сатанинской кровью души характеристики.

О, БЛАЖЕННЫЙ МИГ!

О, РУССКАЯ ЗЕМЛЯ, ТЫ УЖЕ ПОЧТИ ЗА ХОЛМОМ!..

Сейчас нас погрузят как картошку в мешках в чартерный автобус. Гид Андрис, размахивая голубым флажком «МОНДО ТУРС», держит удар. Вздохи счастья. Надежды. Ликование. Алкаш в нашей группке с испитым лицом уже нагрузился дешевым коньяком, еле держится на ногах, его шатает и мутит.

— Потерплю до Рима, ничего, — шепчет мне в ухо угаром. — Со мной как-то в Лондоне белая горячка случилась. За счет турагентства джином отпаивали. Клево!

— Мужик! — обращается он к сержанту милиции. — А сколько до Риму лёту, не знаешь?

Ура! Пошли. Двинулись.

Давка. Драка. Локти. Ноги. Пинки. Зуботычины. Подзатыльники.

Вот и меня сейчас выпихнут за бугор...

Покорным тяжелым шагом приближаемся к летающему киту, что пока лежит на асфальте с покосившимися от старости крыльями. Мы идем понуро исполнять похоронный ритуал отъезда. Нам страшно. Нам всегда было страшно, бывшим советским гражданам. Совкам. Схватят за руку с поличным, станут истязать, морить голодом, бросят к крысам, а потом возведут в святые.

Но еще миг — и НОВАЯ ЖИЗНЬ!

Данте Алигьери.

Земную жизнь пройдя до середины...

Толстяк с водянкой, одышкой, зобом толкает всех подряд, лезет вперед, топчет. Мечтает первый упасть в изнеможении на ватные колени, сорвать с лысины москвошвеевскую кепку перед «УМИРАЮЩИМ РАБОМ» Микеланджело.

Русский провинциальный одряхлевший интеллигент с выцветшими, жалкими невинными глазками. Вот и пробил страшный час твоей СВОБОДЫ.

Чехов, Тургенев и Достоевский! Братья писатели, в нашей судьбе что-то лежит роковое. Вглядитесь зорко в посеревшие, осунувшиеся лица ваших вымерших славных читателей. Бывших едоков книг. Мы, дети усталого века, взорванные, сожженные, изможенные голодом, летим за бугор за духовным товаром.

ШОП-ТУРЫ НА СКЛАДЫ ОБУВИ В ВЕНЕЦИЮ. УНИТАЗЫ ДЛЯ РУССКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!

Господин инженер человеческих душ! Ты — последний в безобразной очереди в разверстое брюхо летающего кита.

Шаг вправо. Шаг влево.

И меня окружают три молоденьких милиционерчика с автоматиками Калашникова навскидку.

Как-то в Батуми я засиделся на пляже, меня схватил пограничный наряд и чуть не расстрелял на месте. НАРУШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ.

— Кто вы? Куда летите? С какой целью? Откуда и зачем?

Кто я, ты спросишь, дорогая?..

Я безмозглый слизняк, червяк, гнусный правый и левый уклонист, троцкист-бухаринец, сукин сын, террорист, жалкий мафиози, отпетый бомбист. Я великий итальянский композитор Клаудио Монтеверди, родился и умер в Венеции. Лечу в Рим на уличное музицирование. А потом в свою родную Венецию кататься на гондолах, пить ликеры из свежей дыни, вкушать засахаренные сладости и ухаживать за черноглазыми доннами. Меня давно поджидает дож! Пустите, не задерживайте. Я путник. Я бомж. Я писака. Я голодарь. Я родственник Сандро Боттичелли, женат на его троюродной сестре по матери. Я безнадежно влюблен в Беатриче Портинари и повсюду в авиатолпе высматриваю ее собачьими, преданными, обезображенными, кровоточащими, ослепшими глазами.

— Ваш паспорт!

Я влезаю в гигантский, приземистый, валяющийся на боку самолетище. Чрево кита пожирает меня. Я Иона. Ухожу в желудок рыбы. В бездну. Она сама пожрала уже пропасть мелкой рыбешки.

Кит проснулся, чихнул, выпучил и вытаращил глупые глаза. Зачавкал, засопел и нехотя, переваливаясь с бока на бок, потащился в убойное, мрачное аэрофлотовское небо.

Мы взлетаем. Италия! Я слышу концерт для гобоя, струнных и английского рожка. Я — невинный рожок. Клаудио Монтеверди грустит вместе со мной. Брюхо разопревшего, перегруженного человечками кита подвывает мелодии. Жмурится гадина крылатая, дальняя родственница Иеронима Босха. Гудит перегретый или недогретый, как чайник, мотор с изношенным бесконечными перегрузками и чартерами сердцем.

Италия, я твой детский рожок.

Я влюблен в тебя, как младенец. Как ангел-музыкант.

Благословляю месяц, день и час,
Год, время года, место и мгновенье,
Когда поклялся я в повиновенье
И стал рабом ее прекрасных глаз.

Зависая в черном небе, дышащем грандиозной авиакатастрофой века, мы — пассажиры судьбы — начинаем жадно впихивать в свои желудки еле подогретые бутерброды, завернутые в фольгу. Триста пятьдесят два пассажира хором жуют колбасу, зависая во мраке между жизнью и смертью.

Один мужик решительно, хрипло требует пива.

Мы то ли ужинаем, то ли, задыхаясь, завтракаем за свои выстраданные копейки, что обменяли на центы.

Стюарды с вылизанными прическами сбились с ног. Сначала они немо, как в пантомиме, руками и телом показывали нам, как спасаться

и в какой иллюминатор лезть в случае падения лайнера в Средиземное или нежно зеленое Адриатическое море. А потом стали бегать наперегонки по тесному коридору с кучами несвежих бутербродов.

Мы завтракаем, обедаем, ужинаем. Стоим в гигантской, бесконечной очереди в залитый общей мочой туалет.

Не страшно умирать с бутербродом во рту, господа! Именины сердца. Праздник души! Обмен души на валюту.

МЫ НЕ РАБЫ. РАБЫ НЕ МЫ.

Мы — едоки.

Аэрофлот приветствует вас, господа!

Мы на борту. Под бортом. За бортом. Мы летим. Мы ползем в ночь. Брюхастый автобус-кит давится бутербродами.

* * *

ВЕЛИКИЙ РИМ! ВЕЧНЫЙ РИМ! РИМ ЦЕЗАРЕЙ И АВГУСТОВ! РИМ ГЕНИЕВ! СЛАВА ТЕБЕ!

Сколько раз ты снился мне, манил, звал.

Томил.

Ave, Roma!

ИДУЩИЙ НА СМЕРТЬ ПРИВЕТСТВУЕТ ТЕБЯ!

Я даже назвал свой вечно умирающий город детства Тифлис — твоим монументальным именем. ТИФЛИС. КАВКАЗСКИЙ РИМ.

Вечный образ моих погребальных романов.

Два Рима. Восточный и Западный.

И вот они, наконец, соединились, породнились, смешались.

Смешались мертвыми листьями печальных платанов.

Набережные Куры и Тибра осенены платанами. Это усталые фигуры одиноких путников

Я один из них.

Летейские мутные воды двух рек слились в одну.

Я черпаю пригоршнями и пью.

Платаны. Под их сенью венчали на царство лавровым венком Франческо Петрарку...

«ВЕНОК ГРЕХОПАДЕНИЙ». Мой самый выстраданный роман.

О соборе. О его воздвижении, сокрушении и воскрешении.

О сталинизме, о 37-м годе в Закавказье.

О том, как воздвигли капуцины-миссионеры гигантский собор. Во дворе моего разгромленного, как беззащитное гнездо, детства.

Я родился в брошенном капуцинами в годы революции ничейном каменном доме. Напротив стоял собор. Ни жив, ни мертв.

Триста лет держалась культовая постройка. Грузины, армяне, курды, тюрки, айсоры, поляки, немцы сходились на мессу.

А потом 11-я Красная Армия-освободительница вошла в край с пушками. На лошадях. Впереди колонн со штыками дружно вышагива-

ли, оба маленькие и забавные, юркие Киров и Серго Орджоникидзе в длинных, смешных шинелях.

Комиссары путались в длинных полах своих шинелей и то и дело падали навзничь в пыль, с перепугу паля из маузеров и наганов в желтый, невинный воздух. Отряд чекистов окружил не на шутку обеспокоенный собор. «Над всем Кавказом реет алое знамя пролетарской революции!» — отбили депешку Ленину в Кремль.

Но позже, через десятилетия, я проснулся утром от гула и животных криков ликующей грузинской толпы. Оказывается, свалили, накинув на шею удавку, громадный памятник пламенному революционеру Серго. А ранее, ночами, исподтишка, его без конца обливали бензином, краской, мазали всякой гадостью. Теперь чернь ликовала. Его свалили и везли вперед ногами, длиннющего, беспомощного, опозоренного и самого одинокого в мире гражданина, в сапогах и с усами большевика. И хоть я никогда не сочувствовал ни одной партии и даже испытывал гадливое отвращение к выродившимся хамелеонам-коммунистам, мне стало жутко. Это было глумление над мертвым. Над своим прошлым.

Я выглянул в окно.

— Мама! — задрожал я. — Везут. Издеваются над трупом.

Внизу бушевало народное ликование. Римская чернь свалила очередную статую. Рабы плевали в бездыханное тело. Мама заплакала.

— Бедный Серго!

Но сначала надругались над собором чекисты. Божий храм сперва превратили в загаженный склад, а потом в боксерский зал. Предварительно разгромив старинный, многоголосый, весь сверкающий и поющий сотнями труб орган. Работа старых итальянских мастеров.

С кем вы, мастера культуры? — зевал в усы скуластый чахоточник Максим Горький.

На ринге шли нудные бои боксеров всех поколений Страны Советов. От наилегчайшего, куриного веса — до самого наитяжелого. Это был чемпионат Тифлиса за звание лучшего атеиста вонючего города.

Окно нашей убогой комнатки с железной кроватью и колючим солдатским одеялом смотрело на готическую, засиженную вечно гнусаво воркующими голубями крышу собора Успения Божией Матери, сложенного из камней и кирпичей на медные гроши нищего люда.

Капуцины сбежали в Рим — или перемерли в пути, или были застрелены во дворе внутренней тюрьмы НКВД. Весь конклав во главе с седеньким, ослепшим от вечного плача, трясущим детской головкой патером Лазарем.

Вы слышали глухое молчание осквернённого собора?.. И плач голубя над его сваленным телом?

Сбросили с высокого постамента в нише под сводом ангела с нелепо распростертыми крыльями. Сторожиха-нищенка, пьянчужка из двора заколоченного храма ночью, оглядываясь, подобрала в страшных потемках голову сброшенного с наружного портала ангела, хранителя гниющего города.

А потом, спустя десятилетия, умирая в подвале у свечи, вяло потрескивающей на грязной тумбочке, нищенка подарила мне эту невинную голову мертвого младенца с опущенными, спящими веками.

Мы все пытались вылететь из одного гнезда.

Собор простоял целый век, ни жив ни мертв. Он терзал меня, снился каждую ночь с пением и жалобными гулко плачущими голосами. Поедал мою встревоженную убийством душу. Вечная заупокойная месса.

Каждой ночью снится он мне. В разгромленном храме моего детства.

Что за судьба? Что за проклятие?..

Потрескивают ночами тлетворные свечи.

Курятся благовония воспоминаний.

Мне чудилось, еще мальчику, глядящему в улетающее небо, что это небо Италии.

Одно на весь город.

Кто развернул нежно сияющее полотно над нашей крышей?..

— Это Италия! — вздрагивал я.

— Италия! — верил.

Всего лишь один кусочек жалкого, тбилисского, неба.

Часами, залезая на крышу по кривому стволу старой акации, я зорко, не мигая, со слезящимися от восторга глазами потрясенно вглядывался в эту воздушную, лениво плывущую над моей запрокинутой головой чужую, дальнюю страну.

И вот я в Италии. Я не ошибся, не обманулся, я был поразительно прав. Одно и то же небо.

Рим!

* * *

Есть в здешнем небе какая-то манящая, призрачная тайна. Возвышающий душу импульс. Недаром сюда так стремились Гете, Стендаль и Гоголь!.. Умирая, погибая, недомогая.

Пусть Рим неторопливо заберет меня в свой вечный плен. В свои мрачные катакомбы ополоумевших первохристиан. Я отдаю свою душу обезумевшему, языческому божеству. Тенью странника я плыву над твоей грязной мостовой, в кучах слежавшихся листьев.

Гете, погибая духовно, нашел здесь спасение, убежище для своей великой, императорской души. *Путешествие в Италию спасло меня!*

Город птичьего помета, окурков и плывущего колокольного звона. *Я нашел, я встретил здесь тех богов, которым поклонялся с юности.*

А Гоголь? Гоголь, бегущий писать свои «Мертвые души» из мерзлой России в чужой языческий город?..

Вот он, выглядывает из своего квадратного окошка на Виа Систина. Угрюмый тонкий профиль с птичьим, длинным носом. Печальный, налитый свинцовой грустью взгляд. И мелким-мелким бисерным почер-

ком чиркает ломкий лист белоснежной, забрызганной птичьей кровью бумаги. Потом, усмехнувшись одной левой бровью, краешком сжатого плотно, насмешливо рта, Гоголь натруженной писательством ладошкой смахивает со стола в мусорное ведро какие-то сухие хлебные крошки, бумажки, огрызки яблока, яичную, белую, сердито раздавленную скорлупу и, распахнув одну ставню на свою темноватую, длинную, узкую, как тоннель, улицу Виа Систина, вытряхивает все это на черную, широкополую шляпу какого-то одинокого, шатающегося римлянина. По местному обычаю.

— На счастье! — усмехается Гоголь одними тонкими язвительными губами. И тотчас захлопывает окошко. Ныряет в темноту. Как в могилу. Прячется в сырой, одинокой комнате печального, отчужденного дома.

Внизу в окнах витрин мокнут лиловые фиалки. Сверкают на блюдце бронзовые ангелочки с тревожно поднятыми, как у рассерженных мух, крылышками.

И тишина. Поет, смачно струясь, фонтан Тритона на площади Барберини. А неподалеку возвышается колонна в память провозглашения 8 декабря 1854 года догмата о непорочном зачатии Девы. Как долго пришлось ждать, однако!

Умер Гоголь давно в своей заснеженной мерзлой Москве. Не имея ни угла, ни кушетки. Ни тумбочки. Птицы небесные имеют гнезда. А Гоголю негде приклонить голову.

Позеленела мемориальная доска с бронзовыми русскими и итальянскими буквами. Николо Гоголь писал здесь свои «Мертвые души».

— Так вы пишете, что я вам совсем не нужен, даже как приблудшая собака? — нахмурившись, отвечает Гоголь на письмо Вельегорской. — А бы мог всегда быть при вас...

Слышите?! Слышите?

М. И. Гоголь. 12 мая 1849.

«Посылаю, добрая матушка, полтораста рублей серебром не для вас собственно, но для раздачи тем бедным мужичкам нашим, которые больше всех других нуждаются, на обзаведение и возможность производить работу в текущем году, и особенно тем, у которых передох весь скот. Авось они помолятся обо мне. Молитвы теперь очень нужны. Я скорблю и болею не только телом, но и душою. Много нанес я оскорблений. Ради Бога, помолитесь обо мне. О, помолитесь также о примирении со мной тех, которых наиболее любит душа моя! На следующей неделе буду писать к Вам. Обнимаю всех вас мысленно, весь Ваш».

А. О. Смирновой. Начало мая 1849.

«Какие странные мне привез от Вас Аксаков слова: Вы потому ко мне не пишете, что не в силах принять от меня советов. Друг мой Александра Осиповна, если бы Вы знали, как я далек от того, чтобы суметь кому-либо дать умный совет! Я весь исстрадался. Я так болен и душой, и телом, так расколебался весь, что одна состраждущая строчка Вашего

доброго участья могла бы быть мне освежающей каплей. А Вы вместо того приказали передать мне такие слова, точно как бы в насмешку надо мной.

Добрый друг мой, я болен. Бог да хранит Вас!»

Прощай, Николай Гоголь!

Прощай стынущий, умирающий от одиночества, бездомный странник. Пиши и сжигай свою вечную Книгу.

Скоро ты будешь умирать в ледяной Москве, в чужом доме. Тебя объявят сумасшедшим. Свяжут. Станут лечить кровопусканием. Могучий поп с бородой разожмет ложкой зубы, чтоб насильно покормить. Сунуть в задыхающийся, кричащий рот чернослив.

Обреют наголо. Станут капать водой на лоб.

Да не кричи ж ты так отчаянно!

Не надрывай душу.

«Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! Что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучают меня бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! Возьмите меня!..»

* * *

От аэропорта Леонардо да Винчи, когда мы неслись, приближаясь к Риму, к самому центру, к вокзалу Термини, к шикарной старомодной гостинице «Палладиум», — Боже, какой пейзаж лепился к окнам!

Божественные, глядящие на нас с полотен знаменитых художников пинии. Это средиземноморская сосна с круглой, изящно склоненной чуточку набок вечно зеленой верхушкой.

Холмы и пинии. Нежность! Ослепительно синее небо. Сколько безмятежного покоя и младенческой нежности разлито кругом.

Трешь глаза кулаком, смахиваешь слезинку детства, задыхаешься. Не веришь. И плачешь сухими, закипающими в горле слезами одичалого детства.

О вечное Средиземноморье!

О небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!

И вот огромный, древний и современный, город медленно наплывает на тебя своими пригородами-коробками, желтыми, красными, бледно-розовыми, а то и унылыми жилищами, домами с обшарпанными стенами, тусклыми вымершими окнами. Всюду осыпается штукатурка. Риму не хватает денег. Но если затеять гигантский ремонт на века, не хватит

и миллиарда лир. Один раз подновить Рим за тридцать веков. К двухтысячелетию христианства. А ведь не жалко потратиться на столицу мира?

Желтовато-сухой, призрачный свет. Шум толкающихся автомобилей, рев мотоциклов, бензиновая вонь. Грохот. Грязь. Пустые кварталы предместий и переполненный Вавилон толпящихся узких улиц.

То гудящие, а то вдруг пустые, вымершие одинокие улицы. Кадры из фильмов Антониони и Пазолини. Город огромный. Город тесный. Город маленький. С торчащей ввысь среди развалин колонной императора Граанди. На ней битвы, животные, завоевание даков. Рим радостно и равнодушно, снисходительно, шумно, крича и сигналя автомобилями, тарахтящими мотоциклами, звенящими старыми квадратными трамваями, наплывает на тебя.

Распахнутые и наглухо забитые окна, ставни, темные, грязные, закопченные жалюзи. Измазанные черным птичьим пометом подоконники. Город длинных темнеющих окон и жалюзи. Рим наплывает на тебя на всю жизнь и медленно, до последнего вздоха забирает тебя в плен. Черные, бледнокрасные, жалко желтые, равнодушные, унылые и величественные дома. Грязь, вонь, сверкающие роскошные витрины. Меха. Тошнит от душераздирающего запаха кожи в переполненных товаром обувных магазинах. Меха и золотые, платиновые украшения. Нищие. Богатые. Сытые. Голодные. Господа с сигарами и даже кое-кто в цилиндре. Черноглазые римлянки, стройные, с глазами цвета крыла низко проносящейся сверкающей ласточки. Юные римлянки в черной коже, куртках и брюках, в сапогах носятся по дышащему пылью и вонью городу на своих обалделых мотоциклах, носятся среди веками умирающих, но все еще держащихся развалин. Воры. Наркоманы. Бедуины. Ассирийцы. Курды. Собаки. Лошади. Африканки-проститутки с вымазанными, как у храмовых шлюх, гетер, жуткими лицами. Полуголые, на высоченных каблуках деревянных туфель с тюрбанами из волос на головах. И толпящиеся храмы. Поющие разноголосыми горлами, от тонкого, нежного, писклявого до басовых. Соборы, базилики, колокольни. Башни. Лезут друг на друга со всех сторон, толпятся и громоздятся. Площади. Обелиски. Базары. И снова и снова, то засыхающий, а то неизвестно почему пробуждающийся перезвон поющих, старых, полумертвых колоколов. А в облаках колокольного пения взмывают и, сжавшись комочками, стремительно падают вниз серые, неунывающие римские воробьи. Голодные, как и повсюду. Сальве, привет вам, карманники, воры, проститутки и воробьи Рима! Я ваш поэт!..

И монашки на мотоциклах. И кафе и траттории, пиццерии на каждом углу. И афиши, реклама с белыми совокупляющимися лошадьми. И голые красотки. И господа в черных шляпах, с ослепительной улыбкой за рулем кадилаков. И тысячи витрин и магазинов. И ленивые парни, выродившиеся римляне с плутоватыми лицами скучающих на каждом углу жуликов, — о дольче фарниенте, о сладкое безделье, воровские быстрые глаза с искринкой ужаса: ведь умер Древний Рим, а теперь потомки могут продавать свой город толпам туристов распивочно и на вынос!

И снова грязь и окурки на тротуарах. Толстая дама, оседлавшая мотороллер, а сзади девочка-ангелочек с золотистыми струящимися медом и ветром волосами. Голубоглазый римский ангелочек. И пегие платаны с поникшими, усталыми листьями. И тишина обмелевшего желто-зеленого, умирающего годами, как Кура в Тифлисе, мутного Тибра.

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты...

Как-нибудь Бог даст свободу от долговой кабалы, сяду возле развалин с мольбертом и напишу роман о Риме. Пейзаж с пинией и старым шарманщиком.

Дышать в городе античных памятников, статуй, колонн и колоннад нечем. Вонь, гарь, выхлопные газы. Легкие горожан и туристов чернеют астмой и раком легких. Но римляне, всадники, граждане, рабы и вольноотпущенники улыбаются, поют, тянут пиво. Карманники весело очищают карманы и сумочки зазевавшихся восторженных болванов. Карманники всюду — возле Капитолия, императорских форумов, арки Константина, зловонного очумелого смрадного вокзала Термини и даже в самом мини-государстве Ватикан — опустошают чужие карманы. Нагло лезут в дамские сумочки. Может, они вошли в долю со спесиво и зловеще улыбающимися епископами, что проплывают или пролетают мимо в клубах развевающихся розовым тюлем, дымящихся солнцем благопристойных одеяний?..

Молоденькие полицейские в синих мундирчиках с иголочки, усатенькие и смазливые, как девственницы, блаженно улыбаются, фотографируются с пожилыми, в крашеных буклях, толстыми американками. Каждому свое. Армия мотороллеров, мотоциклов и реактивных снарядов, оседланных ездоками, несется на тебя. Как армия спасения. Ищи санитаров! Кричи от ужаса! Увертывайся из-под колес! Один лохматый удалой, юный и наглый мотоциклист возле моста к замку Кастело дель Анжело, где Ангел взлетает над круглой стеной с крестом как с мечом, чуть было не задавил насмерть, как жабу, шарахающегося старика в белой панамке. Воин-мотоциклист обложил свою жертву трехэтажным, навзрыд, как оперная ария, классическим римским матом. Помянув на сумасшедшей скорости всех предков и потомков старика, в строгой, хрипло учтивой последовательности, вплоть до этрусков и внуков-хиппи.

За мной долго гонялась по кривым переулкам толстая нищенка-цыганка на пузатом мотороллере, вымаливая милостыню для кучи своих якобы подыхающих с голода под мостом возле равнодушного об-

мелевшего Тибра детей. И даже совала мне на лоскутке бумажки какое-то благовонное послание, чуть ли не от самого святого апостола Павла, чуть ли не с золотыми тисненными буковками от самого Христа, шепчущего бархатными, жаркими вздохами: «Сын Мой, когда ты не подаешь милостыню даже мерзким цыганкам-воровкам, ты оскорбляешь Меня. Плюешь в Мои глаза!..»

Ночью, когда я остался один посередине какой-то темной, пустой площади с величественными мрачными статуями и неистово, вдохновенно плещущими фонтанами и звал на помощь, грязная и горластая цыганка, которая гналась и ехала за мной, и я ей подал тысячу лир, а она вопила: МАЛО! — и все хватала меня за рукав и пыталась на меня снова наехать и снова орала: «Мои дети, все как один, хотели утопиться с горя в Тибре, но Тибр, увы, будь он трижды проклят, обмелел!», — цыганка лохматая не приехала мне на помощь: может, бензин в уродине-мотороллере с погнутым рулем иссяк, — и я ужаснулся своему одиночеству, что меня схватят легионеры... Но, — о счастье, — какой-то одинокий ночной мотоциклист, ночной чернокожаный ездок проносился мимо и в ответ на мой вздох, тихий вопль, примчался назад, затормозил, спросил, что я ищу, кто меня потерял, и, выяснив из моего сбивчивого плача, что я ищу Колизей, махнул рукой в черной длинной кожаной перчатке в сторону страшного холма с темнеющими развалинами дома Нерона и хрипло крикнул: — КОЛЕЗЕО!

И я трижды обошел ночной ВЕЛИКИЙ КОЛИЗЕЙ, САМУЮ ЖЕЛАННУЮ ЯЗЫЧЕСКОМУ БОГУ-ВСЕДЕРЖИТЕЛЮ ПОСТРОЙКУ РАБОВ В НОЧИ, ЧИТАЯ ДОСКИ С ЛАТИНСКИМИ СЛОВАМИ НАДЕЖДЫ, ПРОЩЕНИЯ И ВЕРЫ. В ЛИЦО МОЕ ВЗИРАЛ НЕСОКРУШИМЫЙ В ВЕКАХ ПОНТИФИКАТ.

А еще дышали в мое вдохновенное, потемневшее от блаженного замирания лицо пинии, овеянные сухим дыханием недалекого моря...

Я шел один в целом мире, мимо древней городской стены с останками водопровода, в сторону черных зарослей, один, один, вечно один, в сторону страшно чернеющих вдали зарослей, в поисках Аппиевой дороги. ВИА АППИЯ АНТИКА.

А молодые люди, выйдя из пивнушки, разъезжались к окраинам на своих фыркающих мотоциклах. Мусорщики-парни в синих комбинезонах ковыляли за ползущей с ревом мусороуборочной машиной и нехотя подбирали упавшие мусорные баки, вытряхивая их содержимое. Студенты колледжей и академий, они подрабатывали на учебу, каждую ночь превращаясь, как в печальной оперетте, в синеглазых призрачных мусорщиков. Я им помахал рукой. Они не оглянулись. Строгие лица их были охвачены делом, порученным муниципалитетом.

В пивнушке, в глухом подвале, в дыму сигарет, из облаков душистого дыма выглядывали оголенные мраморные бюсты, мраморные слепоглазые головки античных женщин. Гирлянды из шафранов и давно вымерших белых лилий унизывали торсы.

— Вам какого налить пива? — ласково пропел бармен-кастрат с бесполым лицом римского евнуха. — Флорентийского, датского, норвежского, испанского, шведского? В какую кружку?

Какую?

Огромную, громадную, исполинскую, как опрокинутая варварами статуя Нерона.

Или кружечку, пенящуюся нежной пеной, маленькую, уютную, крошечную, малюсенькую, детскую?..

Я блуждал по ночному Риму, блудодей. Запоздалый, последний трамвай со спящим вагоновожатым чуть не задавил меня. Неужели это был трамвай Тифлиса, ВЕЧНОГО КАВКАЗСКОГО РИМА, в котором я столько улиц и площадей изъездил безнадежными ночами?

Я вглядывался в мрачные, зловонные тупики, и ветки поникших вязов, как руки неожиданно проснувшихся сумасшедших, махали мне.

Я шел под звездами к какому-то Ботаническому саду.

Я шел, спотыкаясь, в сторону висячих садов Семирамиды. Звенели печалью последние цикады угасшего сухого лета. Давно задохнулся сирокко, дышащий жаром из пустынь Северной Африки. Исчез Ферагосто. Можно дышать.

Из старинного флигеля с колоннами и амурами (как оказалось, полицейского участка) вылетали с воющей сиреной синие, сине-черные, желтые полицейские машины. Они неслись на войну с мафией. Я шарахнулся и прижался к стене. Я почти подошел к дверям ночной полиции, заглянул внутрь, охваченный трепетом, но меня никто не прогнал. Карабинеры улыбнулись мне. Похлопали по плечу. Дали подержать в руках изящный, чуть ли не игрушечный автомат, сверкающий лаком. Пытаясь сделать мне приятное, с восторгом выкрикнули: «ЕЛЦИН! ГОРБАЧЕВ! ЧАО!»

На гранитной доске выбиты сотни фамилий жителей квартала, погибших в двух войнах за свободу родины. За Италию!.. Немые профили офицеров в форменных фуражках с прямыми козырьками.

Ночь. Ночь. И белоснежное платье невесты в кружевах пены с длинющим змеиным хвостом, шлейфом, вьющимся кругом Колизея. Она приехала сюда в роскошном лимузине фотографироваться на память с женихом. Накануне первой брачной ночи. Куча опрятных родственников с букетами и гирляндами живых цветов, синьоров и синьорин с нарядными лицами и наивными, влажными от беспомощного счастья глазами.

Арки. Аркады. Стелы. Обелиски. Триумфальные ворота.

Я искал защиты у римских, бездомных, неунывающих воробьев.

ПАНТЕОН.

СОЛНЦЕ.

ЯРКИЙ БЕЗОБЛАЧНЫЙ ДЕНЬ.

НЕБО НЕЖНОЙ ОСЕНИ.

СВЯТЕЙШИЙ, ИЛИ ХРАМ ВСЕМ БОГАМ.

Древнейшее и полностью сохранившееся здание.

Первоначальный храм построен в 27 году до новой эры Марком Агриппою, полководцем и зятем императора Августа. В 120 году храм пострадал от пожара. Император Адриан полностью его перестраивает, оставив имя Агриппы. Постройка служит замком. В седьмом веке превращается в церковь. Вход в нее через портик, что держится шестнадцатью колоннами из египетского гранита. Гениальное творение рук человеческих, дошедшее до наших дней. Так вещают все справочники мира.

Пантеон мало пострадал от грабежей варваров. Бонифаций Четвертый посвятил его Мадонне, дав ему имя САНТА-МАРИЯ АД МАРТИРЕС.

Круглый храм-ротонда. Каждая колонна высотой свыше двенадцати метров с коринфской капителью. Купол легко возносится воздушным цирком. Храм грандиозен в своей простоте и элегантности. Исключительно круглое пространство. Внизу по стенам семь больших ниш, каждая с двумя колоннами и двумя коринфскими пилястрами на фронтале. Ниши перемежаются углублениями для статуй.

Венчает храм купол с пятью ярусами потолочных кессонов, сужающихся до круглого отверстия в центре свода.

ОКО ПАНТЕОНА.

Я стоял ни жив ни мертв. С обнаженной головою. Низко склонил свою рано облысевшую голову христианского первомученика. Через отверстие в куполе смотрит поющее золотыми бархатистыми листьями и голубым ветром снова и снова нежное, все более нежное римское небо. Небо поет.

Обхожу по кругу, как часовой вечности в почетном погребальном карауле, могилы королей Италии Виктора-Эммануила Второго. Умберто Первого. Королевы Маргариты. И падаю на колени у могилы величайшего Рафаэля. Это за стеклом, как в яме, в глубокой нише, внизу каменная плита. Бронзовый венок. И выбиты, вырезаны на мраморе мучительные буквы: «*Здесь покоится тот Рафаэль, который соперничал с великой матерью природой*».

ПАНТЕОН КРУЖИЛСЯ.
Я КРУЖИЛСЯ ВМЕСТЕ С ПАНТЕОНОМ.
КРУЖИЛИСЬ ВЫСОКИЕ СВЕЧИ.
КРУЖИЛСЯ ДЫМ.
ОКРУЖАЛИ РИМ ВАРВАРЫ.

Это нечеловеческое творение! — рыдал Микеланджело. Согбенный, немощный, столетний старец. Сам себя словно вырубивший из скалы. — *Пантеон родили ангелы,* — глухим голосом повторял он, опустив голову с жесткой бородой. Нос был расплющен еще в детстве. Ударом кулака. Еще у Медичи. Из дикой, необузданной зависти. Пятнадцатилетним скульптором-подросткомТориджаноТориджани.

У входа в Пантеон — юноша, уличный фотограф.

— Я студент, но подрабатываю, — объясняет он смущенно тихим, вежливым голосом. — Я влюблен в Рим, — шепчет он, опуская веки.

Голова античной статуи. Волосы вьются.

— Но Рим не узнать весь НИКОГДА! — вздыхает он. — Это меня мучает.

Зато ничто не мучает грязных бродяг, римских хиппи, что валяются прямо на каменных плитах, под колоннами божественного Пантеона. Лица их вымазаны краской. С ними девушка, зеленоволосая, на лице лишаи оспы. Другая лысая, бритоголовая, с безумным взором. Один из хиппи играет на гитаре. Тянет фальшиво «Аве Мария». С ними коротконогий бандюга на коротких ногах, в рваной майке, с цепью на груди. Придирается к туристам, вымогает у них деньги со зловещим видом, угрожает. Конная полицейская девушка в новенькой форме, черноглазая, опрятная, поглядывает на бродяг. Конь переступает копытами. Длинная туристка из России, доцентша в золотых очках, выспрашивает меня куриным голосом, кудахча:

— Где здесь в Риме самый выгодный *чейндж*? Я не желаю опростоволоситься. Мне сказали, возле Пантеона меняют без комиссионных. Да?

— Может, в самом Пантеоне? В святилище? У могилы величайшего Рафаэля?

— Да на фиг мне сдался ваш Рафаэль? — огрызается доцентша и уносится фурией дальше по вечному Риму.

Раньше она была доцентшей, а теперь, как сообщила, торгует бутылками в ларьке возле станции метро «Каховская».

А я присаживаюсь за столик, их с десяток стоит кругом Пантеона. Юный взъерошенный официант с кольцом в ухе, в зеленом сюртучке с хлястиками, несет в каждой руке сразу дюжину кружек, сверкающих солнцем и пенистым прозрачным пивом. Посетители сидят блаженные, разноязыкие, умиротворенные, нежно убаюканные Римом. Раздается тихое пение скрипки, уличная скрипочка-девочка ублажает слух богатых бездельников. Между столиками таскается согнутая в три погибели нищая старуха. С бельмами в вытекших глазах. Грязная ужасная старуха торгует букетом измученных, умерших, каких-то забулдыжных цветов. Желтеньких. Еле сиреневых. Умирающих. Изнасилованных. Она ползет между плетеными креслами, толкается, беспокоит разомлевших на рафаэлевском солнце японских туристов. Те вежливо отворачиваются. И глядят в сторону. Слеза доморощенная, жуткая, омерзительная остановилась в чернеющем, пустом выбитом глазе обглоданной жизнью старухи.

— ФИОРИ, — придушенно, ватным, тихим голосом больной девочки униженно просит она, слабая. — Купите!

— ФИОРИ! — писклявым голосом поет она дребезжащий романс.

Пиво сверкает осенней радугой в хрустальных могучих кружках.

Старуха плачет пресными чужими слезами.

Бандюга с цепью на волосатой шее, в рваной майке, с хищными гнилыми зубами требует со старухи дань.

— Плати или убирайся!

— Пощади, Джанкарло! — рыдает она.

Японским туристам неловко. Они опускают стыдливые взоры.

— Где же *чейндж* без комиссионных?!! — вопит над Тибром бывшая доцентша.

Кто может знать при слове «расставанье»,
Какая нам разлука предстоит,
Что нам сулит петушье восклицанье,
Когда огонь в акрополе горит,
И на заре какой-то новой жизни,
Когда в сенях лениво вол жует,
Зачем петух, глашатай новой жизни,
На городской стене крылами бьет?

* * *

Я сую дрожащую руку в Уста Истины. В раскрытый рот древнеримской маски, вырезанной под портиком церкви Санта-Мария ин Космедин.

Если лгу, пусть маска с кровью отгрызет мою кисть.

Пьяцца Навона.

Грандиозный ансамбль периода барокко, возведенный на развалинах стадиона Домициана. В древности и почти до середины прошлого века здесь проводились игры «агонии». Пьяцца ин агоне. Иногда площадь заливали водой, и тогда она становилась местом проведения миниатюрных морских боев. Площадь украшена тремя монументальными фонтанами. В центре высится грандиозный фонтан Рек, выдающееся творение Бернини. 1651. Фонтан изображает высокую скалу, вокруг которой человеческие фигуры — это реки Нил, Лаплата, Ганг и Дунай. Голова могучей, страшной статуи, олицетворяющей Нил, окутана покровом. Тогда исток великого Нила был еще неизвестен. МРАК. Статуи фонтана — символ четырех сторон света.

На площадь выходит церковь Св. Аньезе ин Агоне. Здания домов, как и всюду в Риме, бледно-желтые, светло-коричневые, поблекшие красные, ржавчина. Ангельски синее небо. Слеза угасшего с утренним вздохом, как облако, ангела. Желтые сентябрьские листья. Плещутся кипучие струи великого фонтана Рек. Кругом туристы, художники, уличные торговцы. Музыканты. Сидят прямо на бордюре фонтана. Нил с покрытой темной вуалью смерти головой плещет из гортани широкой, пенящейся, горящей струей. Африканцы продают деревянных слонов и лошадок, дудки и цветные бусы. Десятки и сотни художников. Акварели, пастель, уголь, сангина. Кафе-мороженое прямо на площади. Рассыпаны кресла и столики. Официанты-мороженщики в белых легких, опереточных фраках носятся, как летние мухи.

Парень в строгом пиджаке и в джинсах, в черной рубашке с расстегнутым воротом поигрывает на громадном, сверкающем, утробно разговаривающем саксофоне. Утробный джаз. Голуби усаживаются и сидят себе преспокойно на голове саксофониста. Саксофонист с черными

кудрями старается играть негромко и легко, чтоб не потревожить новоселов-птиц.

Захотелось фруктового мороженого. Бархатное солнце греет взор. Жмурюсь. Ко мне идет, поигрывая бедрами, длинноногая девушка, персонаж из Феллини. В черно-зеленых с оранжевым чулках, обтянута узким платьем — рыбьей чешуей, шея длинная, как у лебедя, и сверкает, лицо изрисовано зеленой краской, от узких глаз к вискам тянутся густые стрелки. Волосы распущены, плещутся за спиной ниже извивающихся ягодиц. Она несет в длиннющих худых руках трех куниц. Куницы прыгают по ее фигуре как по экзотическому тропическому дереву. Русалка на высоченных каблуках усаживается прямо за мой столик и нежным, грудным голосом прошлых куртуазных эпох просит угостить ее четырьмя порциями ананасового мороженого с орехами и ванилью. Одна порция для нее самой, три — для куниц. Раскошеливаюсь. Зеваки собрались вокруг нас. Русалка вздыхает, расстегивает воротник изумрудного платья, обнажает грудь, касается ею дымящегося ананасом мороженого в хрустальной вазочке на длинной ножке. Куницы прыгают по мраморному столику, цепляются за мои волосы, грызут мои пальцы и уши.

Розовый сосок прекрасной донны с полотна Боттичелли сверкает и тает спелым мокрым ананасом.

— Хочешь пососать мою грудь? — вздыхает русалка и томно шевелит мокрыми от мороженого устами.

Негры, сгрудившиеся за моей спиною, прыгают на месте и хлопают в ладоши, приплясывая.

— Хочешь? Испугался? — вздыхает русалка. Она уже почти разлеглась змеей на нашем столике. Официанты не обращают на нее никакого внимания.

— Боишься? Ну тогда пусть куницы поиграют моей грудью девственницы.

Куницы с пушистыми, горящими хвостами кидаются, дерясь, отнимать друг у дружки спелый, сладкий сосок, изливающийся ананасовым соком.

У меня кружится голова.

Саксофонист с голубем на затылке снова берется за свое изумительное, глухо поющее оружие. Ржаво-желтый окрас церкви Святой Аньезы ин Агоне умиротворяет душу. Пусть рядом в ресторанчике шум и крики. Пузатые толстенные с стеклянным брюхом сатира бутыли с темнеющим кьянти, амброзио или тосканой. Жареная рыба, грибы в сметане и спагетти. Зато в другой церкви поблизости, Сан-Луиджи Деи Франчез, тишина. Камень ее заложил кардинал Джулио Медичи. Фрески Доменчино вдохновенно рассказывают легенду о Святой Цецилии. А в пятой капелле налево тихо дышат и молчат, освященные мягким лучом лампад, три великолепные картины Караваджо. Св. Матфей, его жизнь и мученичество, а также ангел, диктующий Евангелие. Здесь время остановилось. Тишина, пыль и ожидание чуда. Босые, озаренные багряным солнцем ноги, голые бедра, мускулистые руки, изборожденный

старческими морщинами загорелый лоб то ли святого, то ли простолюдина-рыбака. Смарагдовый балахон. Озаренное лицо, поднятые жилистые руки. Крестьянская возня со страницами Евангелия. Словно не писание записывают крепкие пальцы, а ухватились за бедный, но крепкий плуг. Пахнет землей, сырыми каштанами, тлеющими поленьями.

Мороженщик оказывается сицилийцем.

— За то, что ты угостил Русалку и ее куниц, я выставляю тебе угощение. Наше фирменное шоколадное пирожное-торт!

И приплыл в высоко поднятых руках торт-фонтан четырех Рек. И я пригласил каждого желающего откусить от фонтана.

Первыми ринулись пожирать умопомрачительное благовоние изголодавшиеся сенегальцы с длинными вихляющими руками и ногами. С пепельными лицами моргающих в жару в пустыне страусов.

Но выяснилось, что за торт, как за угощение, надо было как-то отблагодарить хитро-ловкого хозяина-сицилийца. А именно — накупить на баснословную сумму в его лавчонке нарядных пестрых конфет. Я был разорен. Я разбрасывал пригоршнями эти липкие валерьяновые конфеты вокруг фонтана, и назойливые, чудовищно проворные голуби слетались со всех куполов и базилик на дармовое пиршество.

Я прошел Виа Бабуино, соединяющую площадь Пьяцца ди Спанья с площадью Пьяцца дель Пополо. Фонтан-сатир бесстыже брызгал в мое утомленное лицо. Римляне прозвали сатира Бабуином. Он был им страшен. Жуткая, кривляющаяся обезьяна, брызгающая во все стороны пожелтевшей водой. На Виа Бабуино вереница антикварных магазинов и лавок. Хозяева спят с газетой в усталых сморщенных руках. Послеполуденье. Никто не заглянет, не торопится покупать здоровенные, весом в пуды гранитные и мраморные торсы. От надоедливо голых Венер и Афродит отдает могилой. Изысканные туристы иногда заболевают такой привычной болезнью: ПЕРЕНАСЫЩЕНИЕ ПРЕКРАСНЫМ. От античных скульптур и возрожденческих бюстов и холстов начинает тошнить.

В одну из антикварных лавок я заглянул. Зоркая девушка, Бьянка или Пампинея, в короткой юбчонке, щелкая тыквенными солеными семечками, сидела и болтала голыми стройными ножками среди двух титанических, ростом в целый дом, тяжеленных, как паровозы, голов Медузгоргон с распущенными, вихрящимися, мраморными, пожелтевшими, в трещинах времени волосами. Кто купит этих чудовищ по сто тысяч долларов каждая? Это по карману только Гете, у которого и так полкабинета занимала не менее многопудовая голова Минервы, от которой он сбегал, сбросив камзол веймарского мини-министра, в бедный охотничий домик, чтоб кропать там за миской куриного бульона выморочные стишки. «*Не узнаешь?— произнесла устами,/ Дышащими любовью, — не узнал? / А я ведь та, в чьем неземном бальзаме / Иной твой шрам житейский заживал. / На что еще, как не на связь меж нами, / Ты с детских лет так свято уповал? / В далеком прошлом не в слезах по мне ли / Я заставала мальчика в постели*?»

Пампинея или Бьянка, едва я заглянул в это бюро похоронно-ритуальных услуг, принялась со мной отчаянно флиртовать и кокетничать, нежно мурлыча сердцевидными малиновыми губками очаровательную полузабытую песенку. И дело у нас пошло. Я уже сбегал в лавчонку цветочницы и мигом принес милой Бьянке горящую коралловым огнем орхидею, назначая на вечер свидание у дышащего могучей игривой земноводной любовью фонтана Треви, и уже сорвал украдкой первый смеющийся поцелуй в глаза, как вдруг в мрачном помещении появился негодующий пожилой, но все еще молодящийся синьоре со сморщенным юрким лицом — обезьяньей задницей и, топая ногами в лакированных туфельках, брызгая злокачественной слюной, принялся браниться и ругаться. Он был вынаряжен в пижонский оранжевый длинный сюртук с разрезами позади и громадными, якобы золотыми или бронзовыми пуговицами, весь накрашенный и напомаженный, — впрочем, на затылке сверкала лысина убийцы. Этот драчливый субъект, явно затевавший скандал, волочился, как выяснилось, за юной римлянкой со смеющимся загорелым лицом и нежно-зелеными, лукавыми глазками, к тому же он ей приходился троюродным дядей.

— Я прилетел из Бразилии, где ради тебя и нашей сладкой будущей жизни в райском уголке-бонбоньерке я держу бензоколонку, а скоро, Мадонна даст, приобрету и еще одну! А ты, забыв о клятвах ко мне в бесконечных надушенных письмах, забыла о том, что лет через пять мы с тобой обвенчаемся в церкви Санта-Мари сопра Минерва? Презренная, нечестивая, молись! Молитесь оба! Я убью вас! Откройтесь, что между вами было? Ты уже пала, грешница, совратительница?..

Бьянка хохотала, ни капельки не испугавшись, вцепившись своими прелестными обнаженными ручками в исполинские воющие головы двух Медуз-горгон, выставленных на распродажу. И раскачивалась между ними, как на качелях.

— Но, милый дядя! Милый дядя Антонио! Этот синьор вовсе не Казанова, он держит себя безупречно и просто заглянул сюда справиться о цене одной из Медуз. Он собирается снять со своего счета в банке кругленькую сумму! — Бьянка подмигивает мне. — И он очень набожный. Он шел на вечернюю мессу в Ватикан и специально сделал крюк, чтоб нарочно еще раз полюбоваться на одну из двух Медуз-горгон, от которых он просто без ума!!!

А еще мне встретился в тусклом переулке со свешанным из окон стираным бельем синьор в шляпе, очень напоминающий Марчелло Мастрояни. Он курил остаток короткошеей вонюче-дымной сигары и шел спотыкаясь, так как близорукими подслеповатыми глазами читал потрепанную, затасканную книжку в старинном переплете. Наверное, амурный роман. Я спросил его, как пройти на площадь Пьяцца дель Пополо. Он остолбенело уставился на меня, опешив: видимо, чтение захватило его с ногами. А потом смутился, извинился и, прокашлявшись, поправив на горле съехавший старомодный галстук, учтиво, в самых

любезных выражениях, грассируя и шевеля коротко подстриженными благопристойными усами, стряхивая пепел себе на мятые штаны, принялся мне досконально, со всякими нужными и ненужными подробностями объяснять, где она, эта милая сердцу каждого пожилого, истинного римлянина Пьяцца дель Пополо, сотворенная Джузеппе Валадьери. Он приклеился ко мне, как банный лист, он явно гордился своими познаниями, своим несколько пришедшим в ветхость благородством. Я, как мог, благодарил его и раз десять прощался, а он, не мигая выпученными глазами, шел за мной, спотыкаясь, и уверял меня, что любезнее римлян нет граждан в мире, — ну, вспомните хотя бы самого апостола Петра, что жил здесь по соседству!..

Я никак не мог от него отвязаться, даже пустился бежать, а он все брел за мной и бормотал, как привидение:

— Обелиск в центре площади! Не пропустите его, он лезет прямо в ночное римское небо. А знаете, откуда и кем? Говорю вам со всей ответственностью: его украли в Египте во время правления Августа для украшения цирка, а затем установили на площади в шестнадцатом веке по приказу Сикста...

Потом он охрип, сдался, но продолжал верещать жалко и сипло в наплывающие сентябрьские римские сумерки:

— В ренессансной церкви Санта-Мария дель Пополо вы найдете фрески Пентуриккьо! Две гробницы Андреа Сансовино! А еще парочку Караваджо — «Распятие Св. Петра» и «Обращение Св. Павла», а заодно и капеллу Риджи, выполненную Рафаэлем! И никогда меня в этом веке больше не спрашивайте, как пройти на Пьяцца дель Пополо!

В маленькой антикварной лавчонке на Марсовом поле меня схватила за обе руки старенькая хозяйка с дырами на лице от неудач, одиночества и беспомощности. Никто не брал, не желал покупать ее ненужный хлам. Старые диваны с отваливающейся спинкой. Ветхие стулья с потемневшей позолотой. Шкафы с выцветшими гербами.

— Я отдам за полцены. За одну треть. За одну пятую. Подешевке. Я все распродаю. У меня умер сын, остались две внучки. Вот бюст Наполеона. Это хоть и рваный, но гобелен по эскизу Рафаэля. Старинная бронзовая лампа. Ширма с умирающими младенцами, над которыми поют ангелочки. Флейту хотите? Голову императора Адриана с разбитым носом? Умоляю?!.

В лавке пахнет смертью. Тлением. Проснулась на дырявом коврике шелудивая дряхлая кошка. Посмотрела на меня выцветшими, бессильными глазами.

— Хотите гипсовое сердце моего покойного сына? Мне сделали слепок. Хотите?

Я вышел на свет. Меня шатало. Схватился за стену маленькой, несчастной, жалкой церкви Сан-Андреа-делла-Валле. Помутневший ангел с лучистым взором пытался спрыгнуть вниз, во дворик...

* * *

Ночь. Рядом вокзал Термини. А вот на Виа Джоберти, возле гостиницы «Париж», в переулке жмутся жалкие, угрюмо молчаливые, скверно одетые проститутки-африканки. Поджидают клиентов. И им не чета, на широком проспекте, выходящем на площадь, где воздвигнут самый древний из всего периода римского христианства помпезный собор САНДЖОВАННИ ИН ЛАТЕРАНО, чуть ли не посередине площади, объезжаемая со всех сторон несущимся наземным транспортом, среди вони, бензина и выхлопных газов, стоит, протягивая каждой стремительно несущейся автомашине полную обнаженную руку в браслетах, пышная, толстая, толстозадая с ягодицами-полушариями, обтянутыми пурпурными шортами, в прозрачной блузке с алыми нашитыми сердцами, с невероятно огромной грудью, стоящей торчком в сторону базилики, обращенная нарумяненным лицом с золотыми яблоками на щеках и чудовищно зелеными глазами, с золотой лентой в ангелочках, перехватывающей копну рыжих, лошадиных, столбом вьющихся над головой волос, зазывает любых клиентов, на все готовая, даже на самые животные гнусности, знаменитая шлюха Рима, помпезная, величественная, грозная, как античная статуя, — РАМОНА!..

Ноздри ее раздуваются, грудь — вулкан, живот широченный.

Она вышла на ловлю.

Иссиня-зеленый, мечущий молнии и грозы взор ее не смотрит на базилику, где в САНКТА САНКТОРУМ, СВЯТАЯ СВЯТЫХ, СОГЛАСНО ПРЕДАНИЮ, СТОИТ ЛЕСТНИЦА, ПО КОТОРОЙ ПОДНИМАЛСЯ ХРИСТОС ВО ДВОРЕЦ ПИЛАТА...

Китаянка, родившаяся в Риме, катает меня на несущемся молнией черным лаком сверкающем мотоцикле. Это — Моника. Художница. Говорит на итальянском, китайском и английском. Все эти три языка для нее родные. Ей восемнадцать. Она изучает общественно-городской дизайн в академии.

Я познакомился с нею возле площади Испании. Вся лестница была занята влюбленными, юнцами, стариками, увядающими дамами. Влюбленными или влюбившимися в Риме, из всех стран, обнимающимися, плачущими слезами счастья, целующимися. Видали нежно целующегося старика с трясущейся челюстью? Целует негритянку огромного роста с лысым черепом. Она огромна, он старикашка, ползающий по ее развевающемуся парусом подолу, как цепкий паук. Ромео и Джульетта.

Сомалийцы и сенегальцы с приглушенными, присыпанными пеплом зрачками тут же продавали букеты цветов, обвязанных серебристой лентой ожидания. Шарманка кружила свою стеклярусную, дребезжащую песенку для влюбленных. Жарились каштаны. Смачно шлепали струи фонтана-лодочки. Все для счастья бедных влюбленных.

Моника рисовала. Она сидела на ступенях с альбомом на худых коленях, возле подножия церкви. Ветер римского зыбкого, смутного вечера подхватывал и шевелил длинные, распущенные, гладкие ласковые

ее волосы цвета крыла пролетающей низко ночной ласточки. Волосы рассыпались на хрупких коленях, мешали тонким, нервным, быстро рисующим пальцам.

Она поймала мой восхищенный взгляд. Ответила быстрой, сухой улыбкой. Показала рисунок. Ангел-музыкант. Лохматый, смеющийся, исчезающий.

— Кто ты?

— Я поэт. Я из России. Я ангел-музыкант с поблекшими глазами. Я римлянин, как и ты. Для тебя, Моника, родные — три языка: китайский, итальянский, английский. Для меня: русский, грузинский, армянский, итальянский, латынь, испанский, французский, английский, португальский, каталанский. Язык жестов. Язык любви.

— О кей, Джованни! Ты — мой! Поехали кататься.

Мне пятьдесят, ей только что исполнилось восемнадцать.

Папа ее — китайский повар из китайского ресторанчика на берегу Тибра в Трастевере. Он зарежет меня длинным кухонным ножом.

— Поехали кататься!

— Поехали!

— Садись! Обхвати меня сзади! Не бойся! Зажмурь глаза! Я сумасшедшая. Я — амазонка!

— А я — старый кривляющийся сатир.

— Я люблю тебя! — кричит Моника навстречу ветру.

— Я тоже!..

Взор слезится. Ветер в лицо. Вой ветра. Моника! Она в черной бархатной модной куртке, черных кожаных брюках, в высоких черных сапогах. Она лихо завела свой мотоцикл.

— Садись! Помчимся по Риму. Обхвати мои плечи. Не бойся. Ты не один. Ты в Риме. Ты со мной. Я буду нестись сквозь старые желтые стены и тихо петь по-китайски. А ты молись. Ты католик? Это наша с тобой свадьба. Это наша стремительная, сгорающая ветром месса. Аминь?

И мотоцикл «харлей» взревел.

Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной карете,
За капором снега, за вечным, за мельничным шумом...

Мы взлетели и ринулись в душу языческого, святого, безбожного, рабского, счастливого, оскверненного, неубранного, прекрасного, завораживающего и сияющего желтыми облаками Рима!..

Это длилось три дня и три ночи.

Рим грохотал навстречу, опрокидывался стенами базилик, взлетал стремительными колокольнями, шумел, вопил, пел на разные сиплые голоса колоколами, умолял, благословлял, визжал. Сыпал и швырял в глаза желтеющими, вянущими листьями, пылью.

Рим!

Пел сотнями голосов, как вздымающийся в средневековое небо хорал. Как возносящийся в черное небо горящий византийский иконостас. Как

алтарь, похищаемый двумя архангелами с факелами. Архангелы уносили опозоренный слабостью алтарь в небо.

Рим!

Рим завоевывал, завораживал, казнил, тиранил, обожал, устрашал, дарил последнюю надежду и отнимал.

Ветер свистит. Бьет в глаза. Черные, жгучие, сводящие с ума волосы римлянки-китаянки Моники обвиваются вокруг моего воспаленного горла.

Я задохнусь.

Я погибну.

Я погибаю!

Мы неслись, два всадника на одной взбешенной лошади.

Мы мчались через века.

Пыльный ветер бьет в глаза. «Харлей» разрывает облака пыли. РАДОСТЬ вздымает крылья за моей спиной.

Это было Умирание и Воскресение.

Это был полет и кружение над вечным Римом, над веками и временем.

Мы с воем влетали в узкие, мрачные переулки, тупики, переносились через дома, грохотали по крышам, запутываясь в мокрых, влажных простынях, свисающих с балконов, из окон. Простыни при нашем приближении вихрем кружились. Рвались в улетающее бледно-желтое, бледно-сиреневое римское небо. Мы разбивали, низко пригнувшись лбами, стекла роскошных витрин, давили рушившиеся египетские колонны, давили манекены в роскошных костюмах от Валентино, стайки монашек рассыпались в ужасе, как напуганные, девственные птицы. Мотоцикл Моники слепо крушил рестораны, кафе, траттории. Тарелки с изысканными, загадочными кушаньями, с старинным мороженым и лакомствами, рюмки, сверкающие мартини, кампари и шардоне, с тихим, жалобным звоном лопались под нашими грозными, разгоряченными копытами. Кричали нам вслед обозленные официанты в белых куртках у повалившихся столиков. Битая посуда, бокалы, бледные лица дам, вымазанные сливками. Вой полицейской сирены...

Но нас не догнать. Мы вечные римляне. Мы с Моникой вырвались из катакомб Домициана. Тени забытых предков. *Аве, Рома!*

Несемся по Старой Аппиевой дороге. Виа Аппиа Антика. И вот уже кружим кругом Колизея, как на мировых мотоциклетных гонках. За нами гонятся боевые колесницы. Ревущий мотоцикл с двумя обезумевшими всадниками против римской когорты!..

КОЛИЗЕЙ! КОЛИЗЕЙ!

Колизей дышит шумом толпы, криками и кровью. ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ ! Мы вечные бомжи, бездомные парии. Римская чернь. Тени!.. Китаянка с черными раскосыми глазами и развевающимися косами. И я, пропащий писатель из Кавказского Рима, бессмертного города Тифлиса. Мертвого Тифлиса. Овеянного мертвыми, кружащими листьями...

— Держись крепче! — кричит, слегка обернувшись, юная косоглазая Моника. Волосы ее бьются, как грива безумной весталки о мои воспаленные щеки. — Сейчас пролетим под аркой Константина!

В честь победы императора Константина над Максенцием в 315 году была воздвигнута арка. Восемь мраморных статуй дакков смотрят на нас с аттика. А с боковых сводов с восьми медальонов раздается рев и вой диких зверей, на которых идет охота. И льется кровь жертвоприношений. Триумф! Слава Константину! Слава мечу императора! Слава смерти!..

Мраморные безрукие весталки протягивают нам торчащие вместо рук окровавленные кости.

Мы, как два гладиатора на звере, вступаем в битву с Временем! Нас пытаются разорвать львы и леопарды! За нами гонятся воющие волчьи статуи. И мотоцикл Моники с развевающимися длинными косами виляет, скрежещет тормозами, бьется и побеждает и летит среди останков храма Веспасиана, Арки Вулкана, Арки Тиберия, храма Сатурна, Базилики Джулии. На нас пялят свои изуродованные, исковерканные, обезображенные лица храм Диоскуров, Ораторий Сорока мучеников. Развалины домуса Нерона надрывно плачут в небо немыми ртами. Нерон, поджигая Рим, смотрит на него с Палантинского холма. Волчий вой и вой плакальщиц...

Хватит, я оглохну, Моника! Пощади, Моника!

Но она не слышит.

Голоса вакханок и дышащих кровью, вдохновенных воинов! Мечи! Сабли! Копья! Удары мечей. Хоровое пение последней битвы...

Это КОЛИЗЕЙ ПОЕТ МОГУЧИМ ХОРОМ. Ревут звери, вырвавшись из подземного мрачного загона. Стон пятящихся задом обескровленных быков. Гулкие, ужасные крики гладиаторов. Рев погибающих оголенных мужчин, захлебывающихся кровью. Стоны жертв...

КОЛИЗЕЙ! Мой самый глубокий сон. Я ныряю в твое чрево. КОЛИЗЕЙ! Самый великий памятник всех времен и народов. КОЛИЗЕЙ НАД ЭПОХАМИ, ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ, НАД ВСЕЛЕННОЙ. Я ныряю в твою душу!..

КОЛИЗЕЙ!..

А воздвигли в десять лет. И везли каменные глыбы и мрамор на медленных повозках чуть ли не из Египта.

Я разобью вдребезги лоб, чтоб разгадать твою тайну.

Мелькают, как спицы, колонны. Дорические. Ионические. Коринфские.

Три императора из рода Флавиев воздвигали тебя: Веспасиан, Тит, Домициан. Ярусы для черни. Ярусы для рабов. Ярусы для знати. Ярусы для императоров. Ты воешь и горишь тысячами факелов.

Это в Средние века ты станешь гигантской каменоломней. Чрево твое станут разбирать на глыбы для других храмов. Огромную глыбу отвезут на подножие храму Святого Петра! Но сейчас ты жив и гу-

дишь великим ульем, где вместо пчел давят друг друга медведи и голые мужчины с мечами. Медведь рвет мужчину в клочья. Медведь раздирает меня!

Я ГЛАДИАТОР!..

Трибуны весталок заходятся плачем.

Я гладиатор.

Обнаженный, могучий торс из мрамора. Рука воздетая. Рука возносится к небу смертоубийственным мечом.

Я гладиатор.

ЦЕЗАРЬ! ИДУЩИЙ НА СМЕРТЬ ПРИВЕТСТВУЕТ ТЕБЯ!..

Остановись, Моника!

Останови свой изрыгающий бензиновые рыдания и хлопья сажи, ревущий благим матом дьявольский, обезображенный ревом, скалящий дикие зубы мотоцикл!.. Девушка-рокер, пощади меня! Маньяка!..

«Харлей» несется по кругу Колизея. Сумасшедшие гонки по вертикальной стене...

Ревет Колизей. Ревет «харлей давидсон».

Дрогнули от его воя римские форумы. Дрогнула колонна императора Траяна с ползущими по ней, как черви, воинственными даками.

О боги Рима!

Как обхватить мне вас, одну страшную, гордую, жестокую, кривляющуюся толпу, двумя руками?

ЮПИТЕР, КРОНИОН, САТУРН ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ, ПОЖИРАЮЩИЙ НАС, СВОИХ СЫНОВЕЙ!..

Как запечатлеть на листке из альбома кровавую, мраморную душу? Ваша помпезная власть меня подавила, потрясла, уничтожила. ВОСКРЕСИЛА. И повергла в глубочайшую, неизбывную печаль смертного человека. Смерда конца второго тысячелетия от рождества Христова...

ИДУЩИЙ НА СМЕРТЬ ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС!..

Где лягушки фонтанов, расквакавшись
И разбрызгавшись, больше не спят,
И однажды, проснувшись, расплакавшись,
Во всю мочь своих глоток и раковин
Город, любящий сильным поддакивать,
Земноводной водою кропят...

* * *

Я сидел на ревущем мотоцикле позади юной итальянской китаянки, пропахшей дымом, табаком и бензином.

Моника!

Она рассекала, как волну, стену родного ей города. Она родилась здесь, ее нашли в сухой римской листве. Божественная пена бездомного рож-

дения горела на ее лбу, сверкала в мечущихся, расчесанных ветром волосах. Воительница. Богиня. Гера! Юнона! Моника!

Моника!.. Я твой раб, брось меня под твои бешеные колеса. Я жажду быть раздавленным безжалостной любовью, разорванным в прах. И пусть мой опозоренный прах вознесут в горящем солнцем шаре, увенчивающем египетский, бездомный, украденный у фараонов римлянами обелиск, переносимый каждый век честолюбивыми, сладострастными папами с площади на площадь!..

Мы носились среди руин и развалин, влетали на запрещенной скорости в Термы Каракаллы, обдаваемые паром и гулкими банными криками и шумом одновременно моющихся в жаркой бане десяти тысяч голых, мокрых до ожогов вспотевших римлян. Они разгуливали здесь в садах, упражнялись в борьбе, беге, читали эпитафии, наслаждались пением...

Мы мчались и исчезали, мы улетучивались, делались бесплотными и прозрачными, как дымок, мы были с моей богиней-воительницей одно существо. Как лошадь и всадник. Кровь разнесенных вдребезги нашим «харлеем» мраморных императоров блестела на наших воспаленных юных лицах.

Вот они великие!

Застыли в молчаливом круге погибающей осени: мраморные бюсты и статуи с выдранными глазами. Чернеющие провалами вместо живых родных глаз.

Слава тебе, Юлий Цезарь!

Слава тебе, Август!

Слава, Агриппа!

Калигула!

Слава вам всем, жестоким и мудрым, вдохновенным и вялым. Клавдий. Нерон. Веспасиан. Домициан. Адриан. Антоний Пий. Фаустина. Марк Аврелий. Джулиа Домна. Диоклетиан. Максенций.

СЛАВА ТЕБЕ, КОНСТАНТИН!

ИДУЩИЙ НА СМЕРТЬ ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС!..

Моника наддает газу. На бешеной скорости мы проносимся мимо виллы Боргезе, кружим, обгоняем всадников, рабов, трамвай, такси, переполненные, дышащие вонью городские грязные автобусы. Чернь забила транспорт. Патриции и купцы невозмутимо держатся за рули своих «вольво», «мерседесов», «фиатов». Мы несемся в толпе таких же, как мы, очумелых мотоциклистов и мотоциклисток. Школьницы. Старухи. Матроны. Нарушают любые правила движения. Слава мотоциклу!.. Пьяцца Навона, пьяцца дель Пополо, пьяцца Венеция, церкви Санта-Мария Маджоре, Санта-Мария ин Космедин, Санта-Мария ин Трастевере. Храмы Сан-Джованни ин Велабро, Сан-Лоренцо Фуори ле Мура, Сан-Пьетро ин Монторио, Сан-Пьетро ин Винколи...

Все смешалось в доме Облонских.

Свист насмешливого, наглого ветра.

Лай облезлых языческих собак.

Живые мощи худых африканцев с пестрыми тканями в руках.

Замок Кастело дель Анжело, спасший столицу от чумы.

Желтый и жалко обмелевший, высохший легендарный Тибр, стыдливо несущий свою волну.

Старые мосты.

Понте Цельсия. Понте дель Анжело. Дель Витторио-Эмануэле. Выбирай любой!

Прыгай вниз головой!

Старая Аппиева дорога гонится за нами с древними хриплыми ругательствами. То мы настигаем когорту замученных голодом, усталых, с копьями и мечами, с волосатыми обнаженными ногами, в жалких латах легионеров, то они кучей озверелых псов догоняют нас, осыпая животной бранью римской черни...

Брызги вечерних оживающих фонтанов блестят на щеках. Фонтан Тритон... Фонтан Кораблик... Фонтан Лодочка... Фонтан Черепаха...

Фонтан Треви...

Стоп!.. Мотоцикл скользит, и мы с Моникой с размаху летим в знаменитую купель. Туристы кидают сюда, прощаясь, монетку, чтоб вернуться. Мы же кидаем в радужную шумную пену свои тела. Самих себя. На память Риму. Мы вернемся сюда когда-нибудь, Рим?! Вода обрушивается на нас. Воды летейские с глухим шумом плещутся над нами. Мы барахтаемся в пене, обнимаясь с голыми мраморными русалками, тритонами, конями-мужчинами с холодно смеющимися и плачущими мертвыми чужими лицами. Тритон со своей командой грозно хмурит брови. Мощные струи с пьяным пением и поющим шепотом охаживают нас, как из шлангов в городском парке отдыха...

Древнеримский, античный душ!

Слава тебе!

На нас, утопающих, валится весь величественный ансамбль из скал, коней, морских мужчин и женщин, коней и черепах, стоящих на гигантской раковине.

Подростки-голландцы и юные, белобрысые хулиганы-немцы, ошалев от беспробудного пьянства, с улюлюканьем и чумовой бранью кидаются в нас пустыми пивными банками...

Прощай, Моника!

Мы прощаемся с нею в знаменитом кафе «ГРЕКО», открытом в 1760 году возле площади Испании, на углу богемной улицы Виа-деи-Кондотти, такой же как и та, что тянется рядом, не менее фешенебельная, с роскошными антикварными магазинами — Виа дель Корсо. Здесь, в кафе «ГРЕКО», бывали Гете, Стендаль, Гоголь, Вагнер, Лист, Гектор Берлиоз, автор симфонической поэмы «Карнавал в Риме». Здесь чинная тишина. Пожилые седовласые кельнеры в черных оперных фраках. Мягкие телодвижения. Шарканье лакированной туфли. Кивок. Ни тени улыбки.

Старинная живопись на мраморных стенах. Пейзажи. Марины. Заливы. Туманные леса и седые реки. Приглушенно доносится ноктюрн Шопена. Мраморные круглые столики. Антикварная мебель. Кресла с высокими спинками красного дерева с золотыми вензелями. Зеленый атлас кресел. Бронзовые амуры. Мраморные, бронзовые часы. Ширмы, абажуры с рисунками Буше. Кофе из «Тысячи и одной ночи». Одна чашечка равна по цене бутылке парижского шампанского. Хочешь пей, не можешь, убирайся! Самые богатые буржуа и богачи из-за океана в третьем поколении. Римская аристократия. Американские старухи, как мумии, и ансамбль тихих, холодных, как статуэтки, невозмутимо скромных и невозмутимо гордых японцев...

А не заглянет ли вечерком на кофеек, к абажурчику сам Николай Васильевич? Пусть несет сюда дописывать свои толстенные «Мертвые души». Здесь тихо. Не помешают.

Но Гоголю не до нас. Он закрылся ставнями в своей одинокой комнатке. Разжег маленькую лампадку детства. Копошится забрызганными чернилами и слезами холодными пальчиками. Со вздохом листает Евангелие...

Мы с Моникой заказали две чашки благоухающего кофе. Каждая чашечка чудо. Фарфор семнадцатого века. И ждем тоже не один век. Кельнер кланяется, дергая седой торчащей бровью. Оказывается, я мало оставил на чай. Я пересчитываю сдачу, мятые, вымазанные чужой помадой и слюной тысячи жалких лир. Кельнер презирал нас. Но ни одна морщинка не дрогнула на гладко бритых, благовонных строгих щеках. Кельнер вышколен баронами и жуликами с кошельком.

Моника смотрит на меня с грустью.

Мы расстаемся. На солнце глаза у нее посинели. Черные с синим отливом.

Мы слегка поцеловались.

В первый и в последний раз.

В этом тысячелетии.

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волы, и длится ожиданье —
Последний час веселий городских,
И чту обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожной скорби груз,
Глядели вдаль заплаканные очи,
И женский плач мешался с пеньем муз.

* * *

Я стоял ни жив ни мертв.

Площадь перед собором святого Петра!

За моей спиной уносится в летающее небо обелиск, украденный из Египта императором Калигулой. В средние века думали, что в золотом шаре на самой его верхушке, на острие, как на гвозде, — останки Юлия

Цезаря. Но сейчас в урне возглавия — реликвия креста. Два чудесных фонтана безмятежно плещут струю с двух сторон от меня.

Осеннее, сентябрьское, еще жаркое солнце слепит глаза.

Я ОСЛЕП, ЧТОБ СНОВА ПРОЗРЕТЬ.

Восстать поэтом из праха мертвых.

Поймать в дрожащие руки, курящиеся дымом славы, нетленные листья из лаврового венца, увенчавшего Данте и Франческо Петрарку.

На ступенях Капитолия стоял, волнуясь, Петрарка. Первый свободный поэт Возрождения. А прошло всего двадцать лет после смерти Данте в изгнании, в Равенне. Изгнанного навечно из Флоренции. Приговоренного родным городом к смертной казни.

Данте Алигьери. Жертва кровавой схватки гвельфов и гибеллинов. Не прощенный. Вечностью приговоренный к смертной казни. Звезды, остановитесь! Замрите. Погасите свой призрачный дымчато-рассеянный свет...

На площади — бродячий торговец. Уличный беспутный разносчик дешевых католических реликвий. Он, щуря глаза бесенка, бесшабашно торгует с переносного лотка на ремне, что тянется от шеи на грудь.

Паоло, любитель юных девочек и легкого вина, денно и нощно, в жару ферагосто и снежную слякоть, торгует крестами, четками и ладанками. Он улыбчив и приветлив, как кьянти. Или асти спуманте, шипящее. Маленькие глазки лисенка — небесная синь Возрождения. Рыжие курчавые волосы. Голос с хрипотцой. Лукавство блестит на взмокших, загнувшихся рыжих ресницах. Он счастлив жизнью и влюблен в алое, любвеобильное сердце подружки Магдалины. *Кто не грешен, первый брось в нее камень!*

— Эй, синьор, купите четки! Розарий. Пахнет засушенной, нежно и ровно дышащей розой. Тринадцать раз читайте, перебирая их, *Отче наш* и сто раз *Дева Мария*. Держите четки. Это умершие лепестки розы безбрачия. Держите! Я Паоло с Трастевере дешево продам высохшее сердце Иисусово. Понюхайте, это колечко женской пряжи, нежных волос Магдалины. Какой нетленный, томный, страстный и чуть пахучий аромат этих волос! Хотите поцеловать, а?

Синька глаз Паоло хитро сверкает.

— Обожаю кьянти! — смеется он. — Купите! А я выпью за ваше здоровье свежей, горячей крови из золотого, массивного потира...

Я двигаюсь к лестнице, сбегающей с двух сторон от собора Петра. Ветер швыряет горсть пыли в глаза. Ветер кружит кучу платановых листьев. Тибр знойно млеет под развалинами древнего моста. Я, низко опустив голову, не дыша и онемев от ужаса и счастья, торжественным шагом осужденного на смерть приближаюсь к СОБОРУ.

Это собор моего тифлисского детства или его далекий, вечный предок?

Осквернённый храм моего детства плывет в низком небе над моей головой.

СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ БОГ САВАОФ!..

И разом запели пронзительными глотками взлетевшие под величайший купол Микеланджело сонмища голых, розовотелых, лоснящихся рыбьим жиром смеющихся младенцев.

Это ангелы-музыканты. Полчища деток. Младенцы-скрипачи и неугомонные арфисты. Виолончелисты и трубачи. Как смешно дуют в длинные трубы Иерихона! Играют и играют себе пьяненькие шалуны, толкаясь, на валторнах и дудках...

А Колизей весь плыл и плыл в крови, как бездомный бродяга-корабль, кочующий по времени.

И уличные торговцы сливали в бутылки из-под оранжада кровь христиан-мучеников и шумно и назойливо торговали ею на Пьяцца Венеция.

Пейте невинную христианскую кровь, сытые туристы Европы, Америки и Азии!

Запивайте жертвенной кровью горячую пиццу с рыбой и грибами. Жуйте!

Прожевывайте!

И туристы дружно поедают пиццу у входа в Ватиканский музей. Наедаются неподалеку от Сикстинской капеллы. Покупают майки с ликами Леонардо да Винчи и Моисея. Напяливают на жирное, голое рыжее тело. Толпы и толпы. Они жуют, жмурясь на солнце котами, выстроившись в долговязую и длинную очередь за мировыми шедеврами. Чинно шаркают туфлями и фешенебельными ботинками, чтоб глянуть оком ленивого, равнодушного барана на Рафаэля, Леонардо и Гирландайо. Жуют жвачку уже все хором. Нет ни одного не жующего. Идут на поклонение Микеланджело. Как мы в мавзолей забальзамированного вождя-фараона мирового пролетариата.

Это печальный, погребальный, многовековой ритуал. Отметиться. Поставить крестик. Здесь были Петя и Люся. Ау!..

Колизей поет хором.

Это кровавый ополоумевший футбол. Чемпионат мира. Кровавые Олимпийские игры.

Озверелые гривастые львы и голые атлеты.

Пусть папа очнется в своей затемненной спаленке.

Пусть папа в своей белой тюбетейке младенца прилетит сюда на своем личном жужжащем и кружащем ненасытной стрекозой вертолете и остановится прямо над этой кишащей огненной лавой! Над дымящим жерлом Колизея! Пусть опустится с вертолета вниз по веревочной лестнице. Пусть спрыгнет с мотающейся в воздухе лесенки и храбро схватится с львом рыкающим.

С многоголовым чудовищем Апокалипсиса!

Глядите! Глядите, телезрители! Один на один борется весь окровавленный папа римский в изодранных кровавых одеждах с гигантским, исполинским львом греха с рыжей, горящей солнцем гривой...

Худенькое тело мальчика-папы не сдается.
Неравная битва. Неравная схватка...

Я В СОБОРЕ СВЯТОГО ПЕТРА.
Поют хоры. Поют колонны. Капители. Нефы.
Поет величественный, величайший в мире свод.
Гвардия швейцарцев в оранжево-синих одеждах по эскизу Микеланджело поднимает пики, приветствуя меня, бомжа. Посланца Третьего Рима.
Гвардия поднимает к небу секиры, алебарды и топоры на длинных рукоятках. Они спасают папу от любых домоганий страждущих. Я передаю гвардии привет от Кондотьера. В железных доспехах Кондотьер позировал возле Пантеона за скромную плату. Улыбался заезжим женщинам.
С грохотом раздвигаются массивные, чугунные или бронзовые ДВЕРИ СМЕРТИ.
Три входных портала ведут в широкий с портиком Атриум. Атриум украшен статуями. Пол центрального портала выложен мозаикой по рисунку Джотто. А с мозаичного свода плывут на меня Дева и Спаситель. Иисус шагает по водам бирюзового озера навстречу дырявому челну с маловерами-апостолами.
Над Ним под пение сонмища труб взмывает ввысь и кружится облаком чудовищно прекрасный, могучий, титанический купол, поражающий волей неба — гигантский купол Микеланджело. В глубине около пилястра, держащего купол, мозаическая копия ПРЕОБРАЖЕНИЯ Рафаэля. Под куполом в самой сердцевине — ПАПСКИЙ АЛТАРЬ. Над ним все тот же величественный, потрясающий красотой и нежной мощью бронзовый балдахин. Шедевр Бернини, императора Барокко.
Мягко летит на нас лазурный, поющий хором купол неба...

Я с непокрытой, обнаженной головой снова на площади.
Перед собором.
Плещется воздушной, знойной водой фонтан.
Уносится в желтое небо обелиск, похищенный в Египте бандитом Калигулой.
На острие в шаре сгорают останки Юлия Цезаря.
Я АВГУСТ.
Я ИМПЕРАТОР.
Я ПОЭТ.

Топча по осени дубовые листы,
Что густо стелются пустынною тропинкой,
Я вспоминаю Цезаря прекрасные черты —
Сей профиль женственный с коварною горбинкой!

Здесь Капитолия и форума вдали,
Средь увядания спокойного природы,
Я слышу Августа и на краю земли
Державным яблоком катящиеся годы.

Да будет в старости печаль моя светла:
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся;
Мне осень добрая волчицею была
И — месяц Цезаря — мне август улыбнулся.

А в аэропорту Шереметьево-2 какой-то бездомный старик с всклокоченной, как расщепленный веник, бородой, напоминающий Микеланджело своим неистовым безумием, мой попутчик, бродяга, в три часа ночи укладывается прямо на каменном заплеванном полу, расстелив под своим немощным грузным телом две газеты.

Наш самолет запоздал, и мы с ним не могли выбраться.

Никто не встретил, а наглую шоферню, требующую миллион за доставку наших тел, как ветром сдуло. Они мигом догадались, что мы нищие духом. Придется ждать шести утра. Первого самого дешевого автобуса на заре.

Но мы все равно счастливы.

Оба в дырявых, износившихся в Италии штанах.

— С неба на землю! — говорю я.

— Плевать! — говорит старик и заходится завывающим кашлем. — Будем ночевать на полу.

Грязь. Вонь. Тусклый свет. Бомжи. Все туристы давно разъехались. Осталась одна бедная шваль, вроде нас.

Буфетчица-толстуха в грязном фартуке торгует дохлыми бутербродами. По миллиону за штуку.

— Так вот твоя цена, господин античный писатель! — смеюсь я над собой.

Я ложусь на чужие окурки и плевки, рядом с восторженным стариком, бывшим профессором. Попрошайкой.

Он обнищал до нитки.

Ради поездки в рай он продал свою комнату в коммуналке бандитам.

Теперь он бомж.

Но глаза его разгораются вдохновенным безумием.

Он отхлебнул водки. Один глоток.

Мы вспоминаем Рим. Цветы. Церкви. Музеи. Памятники. Фонтаны. Ватикан. Сикстинская капелла. Тиволи...

Я побывал в Перудже! — шамкает он беззубо. — Я видел Пизу с падающей башней...

— Чтоб она тебя прихлопнула! — просыпается и трет кулачищем мутный взор какая-то заспанная бомжиха, прилегшая по соседству.

— Теперь я могу умереть! — хрипит мой старик, закатывая глаза...

МЕЖДУ ДВУХ МОРЕЙ

* * *

Все-таки в этом городе что-то есть,
В вывернутых наружу, как потрошеная рыба,
Двориках, в постоянных мыслях «успеть до жары бы»,
В том, что успеть невозможно. Повсюду здесь
Солнце и ветер. Живу между двух морей,
Между двух государств, на две стороны халтуря,
В очаге десяти культур и блаженного бескультурья.
Видимо, не уеду — стану скорей
Высохшим деревом, дальним дымом в степи,
Запахом глины, ветром из Хохластана,
Пылью, водой, собакой на ржавой цепи,
Рыбой... Пожалуй, рыбой скорее стану.
Чтобы лежать на темной живой волне,
Брюхом до влажного блеска ее засалив.
Чтобы твои корабли, отплывая, мне
Что-то кричали длинными голосами.

Стареющая Сольвейг

Почему-то хочется вновь и вновь говорить с тобой,
Зная, что ты не слышишь, ты далеко.
Слова закипают в горле, торопятся наперебой
Выкрикнуть очередную пошлость, сдобренную тоской.

Все же любовь удивительно нехороша —
Ни ума ни фантазии — переходящий шаблон.
И главное, непонятно: то ли поет душа,
То ли прима-сопрано насилует голос, и он

Тянется над побережьем — звучен, но до смерти стар;
Подкидываешь его вверх — он камнем падает вниз.
Но как остановишься? Пою. Зритель устал.
Зевает привязанный к мачте проезжий Улисс.

Анна ГЕРШАНИК — родилась в 1980 г. в Керчи. Окончила филологический факультет Таврического университета. Автор поэтического сборника «Осколки речи», стихи также публиковались в журнале «Октябрь» и антологии «Освобожденный Улисс». Живет в Керчи.

Ждать не имеет смысла — старух не хотят
Друзья скандинавы, не только мой милый Пер:
Приятель Генрик — в соплях с головы до пят,
Приятель Эдвард — во власти каких-то химер.

Подружки опротивели: что ни судьба — желе,
Патока чувств, томленье, воск ночника...
Пенелопа ткет, Лорелея сидит на скале,
Ифигения плачет, Ярославна кычет. Тоска.

Художник Денисенко

Плохой художник Денисенко
Рисует пошлые пейзажи.
Он пишет море на продажу
И с той же целью — небеса.
О, плоские, тупые волны!
О, перламутровые степи!
О, чайки! Чайки! Чайки! Чайки! —
Пускай заткнется Ричард Бах.

Есть у художника бородка,
Есть у художника беретка
И есть особый блеск во взгляде —
Он так художнику идет!
И тот, кто шляется без дела,
И даже тот, кто пьян изрядно,
Поймет, что перед ним — художник,
А не какой-нибудь маляр.

Художник продает картины,
Точнее — трупы побережья,
Тела знакомых с детства улиц,
Убитых кистью наповал.
Ему бы киллером работать,
Когда бы он писал портреты.
Чем эти руки пахнут? Смертью!
Во что макает кисть он? В яд!

Из года в год на том же месте
С женой, настолько пожилою,
Что дальше пожилеть нет смысла,
Он продает свои холсты.
Плохой художник Денисенко —
Уверена — и сам не знает,
Что врос в пейзаж, стал частью мира —
Правдивейшим его штрихом.

И в этом качестве он вечен,
Неизъяснимо совершенен.
Он так прописан, что восторга
Я не сумею удержать!
Плохой художник Денисенко
Не стал творцом, а стал твореньем,
И Бог его нам, между прочим,
Не продал — просто подарил.

Дойна

Наши цвета — золотистый, коричневый, бежевый —
Жареный лук, румяная рыба, хрустящий вечер.
Беженка, сидя в золе, повторяю:
«Где же вы? Где же вы? Где же вы?»
Слышится: «Где же я? Где же...» Не части — осколки речи.

Это жаргон, то есть идиш — немецкого пасынок.
Отчим посмотрит прищурясь — и слово сожмется
в кричащий от страха холодный комочек.
Сколько веков мы служили рудой для потных побасенок,
Для показательных пыток и порок и прочих примочек?!

Красным покрасили горло нам, спины — малиновым,
Синим — лицо и губы, желтым — грудь и плечи.
«Либо вы, — нам говорили, — сдохнете к дьяволу,
либо вы
К дьяволу сдохнете». Крыть оказалось нечем.

Сдохли. Умерили жесты, картавить бросили.
Воздух очистили от чесночной вони.
Лексику освободили от «цигэле», «фидэле»,
«фишэле», «фейгэле»,
«мамэле», «Йосэле»,
Чтобы арийской фене не тушеваться на этом фоне.

Те же, кто по недосмотру случайно выжили,
В южной стране одичали, оближневосточились, ожесточились.
Лучше ли, хуже ли стали они — не знаю — ниже ли, выше ли.
Стали другими. Не нами. А мы, значит, стали — ничьими.

Нас больше нет. Мы свое отдышали, отпели, отбегали,
Отторговали, отпрыгали птичьим поскоком нелепого танца.
«Люлэньки, Йосэле, майн либер кинд —
кляйн качкэле, фишэле, фейгэле...»
Спи, нерожденный малыш. Спи, мой милый.
Не вздумай рождаться.

* * *

Нашу бухту парусник Грэя минует. И все же
Пара-другая ассолей топчется на берегу.
Приезжие узнаются по сожженной до запаха коже,
Так что эти — местные, хотя утверждать не могу.

В их спокойствии — что-то эпическое, неземное.
Осветленные волосы — словно из мрамора! — не дрожат.
Их не трогают заботы, давно управляющие мною,
Им и в голову не приходит суетиться, куда-то бежать.

Я завидую: хоть бы кусочек их бессмертной души нам,
Веры в чудо, в детство, преданное нами давно!
Их здоровые парни уводят к большим машинам —
Не иначе, друзья заботятся: становится темно.

Они уходят. Я вижу: мерцают упругие спины,
Темнота расступается, обнаруживая изначальный брак.
А я разгребаю ночь, как покойник — могильную глину,
И долго оттираю с кожи налипший полуночный мрак.

Грэй, гляди веселей! Как мушкетерской шпагой,
Покалывай море не знающим устали веслом.
Спи, Александр Степаныч, — ты не зря изводил бумагу
И затягивал нам души гордиевым морским узлом!

* * *

Живешь — и сам себя хоронишь,
Выталкиваешь вон, во вне.
Широкой мордою Воронеж
Качается в пустом окне.

Распаренное тело лета,
Гусыня света, кошка сна —
На всех обыденных предметах
Лежат иные имена.

Проверьте их на звук, примерьте —
Им несть числа, им нету слов,
И только смерть подобна смерти —
Любым метафорам назло.

Живешь, хотя никто не просит,
Рядишься в ветхое вранье...
Ты все равно исчезнешь, Осип,
Как имя первое твое.

И унавоженный Воронеж,
И ледяная купина —
Есть смерть. Ее не проворонишь —
Она одна.

Но в этот миг — как хруст — короткий,
Свой птичий округлив зрачок,
Пропой последние две нотки,
Щелкунчик, дудочка, сверчок.

МИРАЖ НА ПАМЯТЬ

* * *

На босу ногу, натощак, в сорочке,
как только пришлый день раскинет сеть,
вожу по строчкам пальцем, силюсь петь
псалмы и тропари...
Я к Божьей Матери напрашиваюсь в дочки
с домашней живностью, со всей своей семьей,
с потомками борцов за справедливость,
юристами, врачами...
Сделай милость,
прими ты, гордых нас, как травостой,
как тот полынный жухлый из пустыни
и тот — стеной степной — из ковыля.
О, Мати Дево,
всех, кто без руля
и без царя,
пригрей отныне...

Такие завернули холода,
что воробьи скукожились на ветке.
На подоконнике крещенская вода,
«Бон Аква», если верить этикетке.

Галина КЛИМОВА — родилась в Москве. Закончила географо-биологический факультет МГПИ им. В. И. Ленина и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор четырех стихотворных сборников, составитель антологий. Участница многих литературных фестивалей, организатор и ведущая литературного салона «Московская Муза». Лауреат литературной премии «Венец» (2004) и международного фестиваля поэзии «Славянские обьятья» (Варна, 2007). Сборники избранной лирики «Имена любви» и «Автограф волны»вышли в 2002 г. билингва в Болгарии. Живет в Москве.

* * *

Когда я не была твоей женой,
кремлевскою с бойницами стеной,
когда провинциальна и бедна,
в пальто из уцененных промтоваров
шла из «некрасовки» под Новый год одна,
перебирая лужи вдоль бульваров,
читала вслух «Нет мест в кафе»,—
как внутренний приказ к аутодафе.

Когда я не была твоей женой,
твоей гражданской маленькой войной,
смотрела в мир через двойные рамы
хрущевской оттепели узкого окна,
уже ждала как мужняя жена
все поезда твои, шаги и телеграммы.

Когда я не была твоей женой,
в той жизни, что с повадкою иной,
известной, как партийный многотомник,
мы так любили звательный падеж
и площадь, где конем стоит Манеж,
и город — шумной радости питомник,
крещенный и слезами, и водой,
когда я не была твоей вдовой.

Скарабей

Елене Ивановой-Верховской

Я знала одного скарабея
с иероглифами золотом по пузу,
он в пустыне горячей скитался,
до холодного пота катался,
забегал впереди каравана
перед носом корабля пустыни,
ловкий скотник, торгаш, погонщик,
понимал, где тропа, где колодец,
где рогатая бездна бархана.
И верблюды его уважали,
не плевали ни вслед, ни в морду
лишь за то, что прощал их гордыню,
их большой фараонов комплекс:
в час, когда животные спали,
кто под небом разлегся, кто — стоя,
как египетские пирамиды
на открытке «С любовью из...»,

их горбы горизонт подпирали.
Это был караван пирамид.
И у всех — исторический возраст,
имя, адрес и гиблая тайна
иероглифами золотом по пузу
скарабея... Мираж на память.

* * *

Птицы водят клювами и перьями,
правят воздух, утыкаясь в точку,
часто стаями, но чаще — в одиночку,
дух захватывая или строчку,
и в карман за словом лезут первыми,
как за крошками и мошками, и перлами.
И — ку-ку вам! — пишущая братия,
есть в моей сердечной сумке птица,
в птице — слово, чтобы не разбиться,
в воздухе, где я, как ученица,
чтоб в полете повторять распятие.

Галчинский

Зачарованный дрожками странник,
те же сны и мурашки по коже,
тот же конь — без пальто — до дрожи
по дорожке, как воздух прохожий,
то ли в Кракове, то ли в Пране
— всё похоже.
Там луна вышла круглою датой,
неуместною точкой с наскока,
в голове трехсложна морока:
не дается по-польски дактиль,
не звучит «Незнакомка» Блока
издалёка.
И поэт, чья любовь бездонна
и, как рифма, почти взаимна,
практикуясь в латыни in Vino,
у горящего мерз камина,
мерз и плакал: *Servus, madonna,*
o, муза,
моя половина!

* * *

В разгар студеного распада
воспоминания мои
видны, как сильная рассада
на почве детства и любви.

В том опыте землеустройства
мне не учесть межи и меры
в прямом родстве и общих свойствах:
мои —
кошмары и химеры,
мой —
счет зерна...
На поле плевел
круглогодично длится сев.
И — дико розов — клонит клевер
ветра на знаменный распев.
И ливней стебли, солнца жилы
уходят в корни,
не в песок,
и в путь пустившийся росток
на мой отеческий Восток
всех обнадежит:
будем живы!

И буйной порослью горда,
я памятный сверяю список:
лопух, и лютик, и любисток,
и сплошь — татарника орда.

* * *

Я видела сны:
там — сын мой веселый, как мячик
пинг-понговый дачный,
взлетал в скорлупе яйца
с крученой подачи в Париже ученого мачо,
спортивного, шебутного, еще молодого отца;

там — я на прополке
средь строфики сбивчивых грядок
или на кухне, или в лесу на велосипеде,
супруга в упруге —
на том и почин, и порядок,
как в дефинициях из советских энциклопедий;

там — папа
душит в объятьях трофейный аккордеон,
отборной цензурой настраивая баритон
с прононсом одесским:
черти, рожна вам, хаять режим!
А сам —
как рванет во всю мощь:
здесь под небом чужим...

Я тут же — луженая глотка: *о, караван!*

Кто из нас гость нежеланный в такой-то стране?

Я видела сны:
там — небо из рваных ран,
там — сын мой...
Я знаю,
когда он впервые всплакнет обо мне.

* * *

Ночь,
промотав последнюю звезду,
точно заначку на особый случай,
ушла в кусты... и еле дышит, слушай,
в репейнике, чей нрав колючий
глаза мне колет за версту.

А тьма слепит, сбивает с ног дорогу.
Светляк, фонарик, свечку б на подмогу
Но выпал месяц чуткий... чу, тревога!
И затаившись ухо навострил
багровое... Свое или Ван Гога?

Как страшно, будто некуда идти...
Все мимо: города и веси,
равнины в беспросветном равновесье.
Лишь бы рассвет в ближайшем поднебесье,
не обошел меня часам к пяти.

Владимир МОЖЕГОВ

ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ И ДРУГИЕ ГОДЫ. ИСПОВЕДЬ ПОСТОРОННЕГО

Что же мы дали? Друг мой,
кровь задрожавшего сердца,
отчаянную смелость гибельного мгновения,
которого не искупишь и веками благоразумья...
Т. Элиот. Бесплодная земля

Часть первая. «Под булыжником — пляж»

В памяти мира 68-й остался переломным годом. Едва ли не самым удивительным и важным во всей новейшей истории. Годом самых безумных надежд и их крушений. Годом «красного парижского мая» и «пражской весны», навсегда изменивших самосознание запада и востока Европы.

Танковый клин в Праге положил конец мифу о социалистическом содружестве и предопределил будущее крушение социалистической системы. Движение, импульс которому дали события красного мая в Париже (которые сам президент Де Голь назвал *кризисом цивилизации*), продолжается и сегодня в сексуальной революции, феминизме, экологических и нью-эйдж движениях... И, в конце концов, именно 68-й открыл двери в тот глобальный мир в котором мы сегодня существуем.

Да и сам 68-й запомнился отнюдь не только событиями «красного мая»: культурная революция и хунвейбины, бушующие в Китае, будущие красные кхмеры в Камбодже, американцы во Вьетнаме, арабо-израильская война на Ближнем Востоке, латиноамериканские повстанцы в Центральной Америке... Невиданного накала президентская кампания в США, убийство Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди... Что-то похожее на единый взрыв (всхлип), единый выдох мировой души (или ее минутное окосение, как сказал бы, возможно, Венедикт Ерофеев). Словно все вдруг достигло какой-то полноты и вдруг разом прорвалось (остается помянуть мировой рекорд лондонских банкиров, в один день продавших более двух тонн золота, и полет «Апполона-8», облетевшего Луну).

Владимир МОЖЕГОВ — родился в 1968 г. в Воркуте, окончил Академию кино и телевидения в Санкт-Петербурге. Публиковал работы на религиозно-философские, культурологические, историософские темы в «Московских новостях», «Литературной газете», «НГ-религиях», в «Русском журнале», журнале «Политический класс», «АПН», обозрении «Радонеж», альманахе «Илья» и др. Живет в Волоколамске.

События «красного мая» кажутся лишь самой яркой манифестацией, кульминационным моментом этой глобальной эскалации самых безумных надежд и их крушений. Кажется, что именно в парижских событиях высказывал-ся, являл себя центральный сюжет мировой драмы. Однако, читая многочисленные публикации, посвященные его юбилею, убеждаешься, что и спустя сорок лет мысль остается в недоумении относительно тех странных событий.

Что и говорить, нелегко сыскать точку опоры в том эпицентре хаоса, которым является всякая революция, в особенности такая, вдохновляемая лозунгами вроде: «*Вся власть — воображению*» и «Je veux dire quelque chose mais je sais pas quoi» (*Я хочу что-то сказать, но я не знаю, что*). Тем более, что процесс, как стало тогда известно, важнее результата — открытие, которым не пренебрегли позднее и наши Перестройка с Гласностью, предполагавшие сдвиг, движение, эскалацию, но не указующие ни их смысла, ни цели.

Остается, отрешившись от бесконечной сказки про «перманентную революцию», попытаться взглянуть со стороны (скажем, взглянуть со стороны на себя, эту жвачку перманентно жующего) и отыскать основание если не революции, то хотя бы самого этого «конфликта ума и сердца». И начнешь отчасти понимать это недоумение мысли, раздраженной какой-то вопиющей несерьезностью (какие-то инфантильные студенты, Че Гевары, Мао и Троцкие, лозунги вроде: «*Запрещается запрещать!*», «*Нет экзаменам!*», «*Все хорошо: дважды два уже не четыре*», «*Всё — и немедленно!*», «*Оргазм — здесь и сейчас!*») этой революции и ее нешуточным результатом.

Все это было бы мило, будь действительно лишь карнавалом, спектаклем, хеппинингом, экранизацией «Праздника непослушания» или «Вредных советов». Хорош, однако, спектакль: 10 млн бастующих, баррикады на улицах, сотни перевернутых и подожженных машин! Биржа горит, власть растеряна, президент в панике покидает страну... И все это, как уверяет сегодня Даниэль Кон-Бендит, тогдашний лидер буйной молодежи, а ныне солидный член Европарламента, лидер партии «Зеленых», в своей книге «Забыть 68-й», началось с требований, выдвинутых студентами Нантерра, которые настаивали на праве свободно посещать общежитие подруг-студенток... Ничего в сущности не было, — говорит постаревший, наевший брюшко, но все такой же ироничный, похохатывающий «Рыжий» Дани Кон-Бендит, называя ту революцию «*не-событием*», «*гормональной весной*» и «*эпизодом взрыва сексуальности*»... Че Гевары и прочие левые лозунги — чушь. Просто других под рукой не оказалось, а Вьетнам и Латинская Америка были слишком на слуху...

Откровения Кон-Бендита вызвали настоящую бурю негодования в среде бывших соратников, но, похоже, Рыжий Дани говорит дело и кладет верные камни в основания. Ибо что может быть насущнее для студента в восемнадцать лет, чем проблема его допуска в женское общежитие?! («*Секс — это прекрасно! (Мао Цзэдун)*», — один из образцово-показательных лозунгов Сорбонны). С другой стороны, едва ли более серьезной выглядит десятимиллионная (!) трехнедельная (!) забастовка французских рабочих ради десятипроцентной надбавки к зарплате (а с точки зрения здравого смысла, дела обстояли именно так). «*Будьте реалистами, требуйте невозможного!*» — еще один лозунг революционного Парижа. В мотивациях студентов — разве что больше романтики. Что же до смысла... Возможно, лучшим символом париж-

ского восстания стал бы не знаменитый поцелуй на баррикаде, а баррикада, воздвигнутая у входа в тупик (в «ночь баррикад» 10 мая такие встречались)...

И ведь, как рождалась революция буквально из ничего (ex nihil), так одной строгой, краткой (четыре минуты!) речи Де Голя 30 мая хватило, чтобы положить конец всему безобразию. Одного-единственного уверенного движения отца нации (вытягивающего даже не пистолет из кобуры, а ремень из своих генеральских штанов) оказалось достаточно, чтобы остановить эту радостную вакханалию «детей Маркса и кока-колы» (по удачному выражению Жан-Люка Годара) и спасти здравый смысл заодно с цивилизацией.

И, наверное, по-настоящему серьезный вопрос об этих событиях мог бы звучать примерно так: действительно ли мир свихнулся настолько, что кучка сексуально озабоченных юнцов в какие-то три недели чуть не завалила большое, серьезное европейское государство и настолько озадачила сознание целого мира, что движение, импульс, заданный ими, не прекращается и поныне?

То, что герои 68-го «сегодня правят миром», как это зачастую приходится слышать, сказано, пожалуй, слишком сильно, но... Они действительно доминируют в искусстве и культуре, составляют интеллектуальную элиту, заседают в Европарламенте, управляют ТВ и СМИ (во Франции шестьдесятвосьмидесятников во власть привел в свое время Миттеран, в США их экспансию связывают с именем бывшего вице-премьера США Альбера Гора, получившего недавно Нобелевскую премию мира за борьбу с глобальным потеплением), столпы интеллектуального кинематографа (Бертолуччи, Антониони, Форманн, Вендерс и др.) снимают фильмы о молодых революционерах, и т. д., и т. п. И что же, все это лишь отрыжка «*гормональной весны*»? Нет, конечно. Подлинным пафосом той революции, констатирует сегодня Кон-Бендит, было утверждение личности и свободы (то есть пафос ее был совершенно либеральный по сути). Но еще глубже, это была *революция сознания*. И вот это, кажется, — в самую точку. «*Ты говоришь, что хочешь революции, — да, мы все хотим изменить мир, но если ты говоришь о разрушении, не зови меня с собой... Ты говоришь, что изменишь конституцию, лучше бы тебе освободить свой разум*», — пели Битлз в «Revolution».

О, конечно, это была *революция сознания* прежде всего. Потому-то она и стала тем историческим контрапунктом, обозначившим момент перехода мира модерного — в постмодерный, индустриального — в постиндустриальный, а общества потребления — в общество информации и спектакля.

Экзистенциальный человек

> Но природный человек затмевает человека придуманного...
>
> *Т. Элиот*

Но если это была все-таки революция, более того, — революция сознания (то есть — важнейшая из революций), она должна быть вписана в культурный контекст. Не только непосредственный, как фильмы Жан-Люка Годара (регулярно на шаг опережавшие события) и трактаты Сартра (единственного взрослого, который был допущен в те дни в святая святых — Сорбонну), но и общекультурный, общемировой.

Великая Французская революция тоже ведь была революцией сознания, целиком подготовленной веком Просвещения (Вольтер со-товарищи). «Просвещением» же мая-68 стал французский экзистенциализм, родившийся на руинах тысячелетней европейской культуры. Революцию вел экзистенциальный человек Камю и Сартра, шедший на смену сверхчеловеку Ницше и всечеловеку Достоевского, сгоревших в титанической битве Второй мировой...

Как после Освенцима можно писать стихи? — ответом на отчаянный вопрос Теодора Адорно, обнаруживавший тотальный кризис гуманизма (и, в сущности, иррациональной реакцией на рационализм Просвещения), и стал экзистенциализм.

Экзистенциализм объявлял человека лично ответственным за все, с ним происходящее (*человек сам себе до определенной степени страшный суд*, как замечает Бродский), уводя его в то же время за пределы общества и истории (и освобождая тем самым от ответственности за их преступления). «Философия существования» ставила человека против мира один на один, объявляя его равным всей целокупности творения.

Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, и в аравийском урагане и в дуновении чумы... — вот истинно экзистенциальные строки. Ибо только так, в «пограничной ситуации», на краю бездны можно почувствовать мир «интимно близким», осознать себя как экзистенцию, интуитивно познать себя и свою свободу! *Человек осужден быть свободным*, ибо свобода предшествует сущности человека, говорила «философия существования». И понималась эта свобода, прежде всего, как свобода выбора, которую никто не может у человека отнять. Даже заключенный свободен (не столько в смысле свободы духа, сколько в том, что, даже ведомый на казнь, он может, пока жив, начать борьбу за свое освобождение). «*Человек — это будущее человека*», — повторяет Сартр. Человек сам творит себя в данной ему свободе как некий «проект» и несет за этот «проект» всю полноту ответственности...

Один на один со всем миром, погруженным в абсурд, поставленный на грань, на край ночи, из глубины которой в лицо ему бьет лишь холодный ветер небытия, — таким входит в мир экзистенциальный человек, человек последней отчаянной, безнадежной надежды — надежды лишь на себя самого и то мгновение, которое ему сейчас предстоит... Жить значит выжить, а выжить значит сохранить последнее, что у тебя осталось, — достоинство... Это был стоицизм выживания отчаявшегося человека, мужественное приятие неизбежного поражения, героический и трагический пафос Сизифа...

Об истоках своей мысли Альбер Камю, эта «совесть послевоенной Европы» и пророк «философии существования», говорил так: «*я находился на полпути между нищетой и солнцем. Нищета помешала мне уверовать, будто все благополучно в истории под солнцем, солнце научило меня, что история — это не всё*». Своего «Постороннего» — это «евангелие» экзистенциализма, написанное в 40-м году, — Камю два года носил в рюкзаке по дорогам войны, отступления и сопротивления.

Сюжет «Постороннего» внешне прост. Это своего рода «Преступление и наказание», почти полностью освобожденное от всякой метафизики, психологии и страсти, «Преступление и наказание» времени, достигшего последнего градуса духовной нищеты (чему соответствует и «*нулевой градус пись-*

ма», как удачно окрестили стиль «Постороннего»). В центре повествования ничем не примечательный молодой человек по имени Мерсо, который последовательно переживает смерть матери, знакомится с девушкой, заводит себе не слишком привлекательного приятеля. И шаг за шагом цепь событий приводит героя к типичной «экзистенциальной ситуации»: с револьвером в руках на пляже под жарким алжирским солнцем он совершает почти не мотивированное импульсивное убийство...

Вторая часть романа — некое отражение первой. Те же события здесь под взглядом прокурора (символизирующего общество) обретают совершенно иной вид. Мерсо на суде предстает чем-то вроде бунтаря, анархиста, революционера, даже антихриста (как называет его следователь).

Отчего так? Ведь ни о каком бунте Мерсо не помышлял. Он вообще почти не мыслит, не чувствует, не рефлексирует. Его несложные мысли — лишь сколки непосредственной реальности, вереница мгновений, речитатив номада (что вижу — о том пою). Его интеллект почти полностью выветрился зыбучими песками времени; этот герой жив лишь ощущением. И единственное убеждение, которое он в себе выносил: *никогда не надо притворяться*...

Он внутренне опустошен, лишен любви и не видит смысла ни в чем (поскольку ожидающая впереди смерть убедила его, что *всё — все равно*), не испытывает чувства вины (разве что смутные сожаления). Он живет здесь и сейчас, перед ним лишь его *сейчас* (*сегодня* и еще немного *завтра*), но в этом *сейчас* он совершенно честен. И эта единственная добродетель приводит его сначала к убийству (поскольку действует он импульсивно, подчиняясь мгновению), а затем к гильотине (поскольку он не видит смысла притворяться, лгать и выговаривать себя даже ради собственного спасения). Никакого пафоса в его честности нет, но, как говорит Камю, *не претендуя на героизм, он согласен умереть за правду*.

Прокурора же ужасает в Постороннем безразличие к нормам, на которых стоит общество. Он действительно *посторонний*, ибо следует лишь за собственными ощущениями. Прокурор с ужасом видит в сердце Мерсо «*бездну, в которую рухнет общество*»[1]. И судят, в конечном счете, его вовсе не за убийство (которое сразу уходит на второй план), а за то, что он не участвует в моральных ритуалах общества. Судят Мерсо за то, что он *не плакал на похоронах матери*, а на следующий после похорон день на пляже позна-

[1] Камю, конечно не первый, кто показывает «экзистенциальную бездну». Он лишь подводит итог процессу, начало которому положили Маркс, Фрейд и Ницше, «учителя подозрительности» Нового времени, усомнившиеся в незыблимости «дантова космоса» и «эвклидовой геометрии» цивилизации и культуры. В принципе пафос разрушения всяческих культурных табу в начале XX века возвели в культ дадаисты и сюрреалисты (разве что добавив к любимым, вышеназванным авторам еще и Маркиза де Сада). В 1929 году молодой Сальвадор Дали экспонировал в Париже картину, на которой рукой художника было написано: «*Я плюю на свою мать*» (смысл надписи становится еще более скандальным, если учесть, что в системе Фрейда плевание имеет ярко выраженный сексуальный смысл). Стоит напомнить здесь и знаменитый тезис из Первого манифеста сюрреализма 1924 года: «*Самый простой сюрреалистический акт состоит в том, чтобы с револьверами в руках выйти на улицу и стрелять наугад в толпу, сколько хватит сил*».

комился с девушкой, ходил с ней кино и увлек в постель (*Это хуже, чем отцеубийство!* — восклицает прокурор).

Но, пытаясь заглянуть в сердце Мерсо, прокурор смотрит, в сущности, в свое собственное сердце. Ибо Посторонний (подчеркивает Камю) — плоть от плоти этого общества, которое держится лишь на узах морали, давно потерявшей свой жизненный смысл. Единственное, что отличает Постороннего, — он *не скрывает своей нищеты*. И не зря, полусерьезно, Камю называет его *единственным Христом, которого мы заслуживаем*. Посторонний — природный, *настоящий* человек, выламывающийся из мира абстрактной морали. И, в сущности, на этом суде (в котором причудливо оказываются сплетены Достоевский и Кафка) общество действительно приговаривает к гильотине свою последнюю о себе правду и свою последнюю «живую жизнь»...

Однако пусть общество осудило Постороннего за последнюю о себе правду, но ведь он и убийца! И убивает он (пусть даже и импульсивно) такого же природного, экзистенциального, выламывающегося из абстрактной морали, такого же, в сущности, «христа» (пусть даже и араба)... И пять выпущенных им пуль — словно пять ран Христа...

Так под пером Камю свершает свое самоубийство *единственный христос, которого мы заслуживаем*. После чего мир, ужаснувшийся собственной пустоты, «*тихо и скромно, чуть пристыженно и очень аккуратно*» гильотинирует его — т. е. последнюю о себе правду...

Это не просто «нулевой градус письма», это последняя безнадежная нулевая ничья.

И Камю это, конечно, отлично понимает, оставляя нам в утешение свою безнадежную надежду: Посторонний «*не гуру, не просветленный, он послушник на пути к благодати*».

Кто же все-таки он, Посторонний? Последний человек? Логос, лишенный души и освобожденный от всех покровов? Луч солнца, преломленный в пустоте? Последняя правда мира, открывающая себя навстречу своей последней надежде: «*И перед этой ночью, полной загадочных знаков и звезд, я впервые раскрываюсь тихому равнодушию мира. Он так на меня похож, он мне как брат, и от этого я чувствую: я был счастлив, я счастлив и сейчас. Чтобы все завершилось, чтобы не было мне так одиноко, остается только пожелать, чтобы в день моей казни собралось побольше зрителей, — и пусть они встретят меня криками ненависти*».

Так говорит Посторонний, и здесь, в этой, озаренной солнцем, пустоте и начинает звучать музыка этой революции...

Рождение музыки из духа трагедии

Ей бы петь этой новой душе, а не говорить...
Ф. Ницше

XX век перепутал «Бог умер» с «буги-вуги»...
И. Бродский

В «Симеоне Столпнике» (1965 год) Луиса Бюнуэля дьявол переносит Симеона, всю жизнь несшего подвиг стояния на столбе, в настоящее, в

Америку на бит-вечеринку. Симеон в образе битника, сидя за столом, потягивая трубку и уныло обозревая танцующую рок-н-ролл молодежь, спрашивает: «*Как называется этот танец?*» «*Радиоактивная плоть*», — отвечает ему дьявол в облике блудницы. — «*Это последний танец... И придется тебе все это терпеть*», — добавляет враг рода человеческого и извергает торжествующий вопль... Что и говорить, впечатляющий образ.

В том же 1965-м году Битлз записывают песню «Norwegian Wood» (Норвежское Дерево). Эта песня — как будто обычная любовная история. Девушка, очень стильная и загадочная, приглашает парня к себе домой, они общаются, на дворе уже ночь, и она вроде намекает ему, что все кончится постелью... И вдруг говорит: вечер завершен, мне завтра рано вставать на работу, — и, обескураженный, парень уползает спать в ванную. Утром он просыпается один в ее маленькой квартирке, отделанной норвежским деревом. И что же он делает? Разводит огонь в камине и... «*Норвежское дерево,— как хорошо оно горит, не правда ли?*» Говорят, на первых записях песни в конце ясно слышится возглас Леннона «*I showed ya*!» (Я ей показал!), другие, однако, утверждают, что просто запись в студии далась слишком трудно и этот возглас означает: *мы все-таки сделали!* Да и вся эта песня, сотканная из аллюзий и полунамеков, оставляет слушателя в некотором недоумении: так ли мы все поняли, — он действительно сжег ее квартиру? — или нас все-таки разыграли?

По-моему, не битловские «Revolution», не бобдилановские «The Times They Are a Changing» (Времена меняются), а именно эта песня — настоящий символ революции 68-го. Пожалуй, было в ней что-то от того пожара Лувра[2], слухи о котором так потрясли молодого Ницше, что перевернули душу и дали импульс его «Рождению трагедии из духа музыки»... И даже от библейской «Песни Песней»: вот так и любовь вначале ранит тебя, пронзает насквозь, потом пропадает из глаз, манит издалека, зовет куда-то ввысь, к совершенству. А потом вдруг... скрывается, отпускает тебя ни с чем. И что, спрашивается, остается делать здесь, в этом оставленном Богом мире? Разве что поджечь его ко всем чертям...

Ницше и Достоевский разбудили Сартра и Камю. Ядерный гриб, взвихрившийся над Хиросимой, породил битников, внутренних эмигрантов, призывавших жить на всю катушку, пока бомба не угробила весь этот мир: «*Спеши жить, ты еще успеешь стать красивым трупом*» — их знамени-

---

[2] В 1871 году распространились слухи о том, что французские коммунары сожгли Лувр. Потрясенный Ницше, в то время молодой базельский профессор-филолог, писал другу: «*Я был на несколько дней полностью раздавлен и затоплен слезами и сомнениями: все научное и философско-художественное существование показалось мне нелепостью, если оказалось возможным истребить за один-единственный день великолепнейшие творения искусства, даже целые периоды искусства Убедительнейшим образом цеплялся я за метафизическую ценность искусства, которое не может существовать здесь просто ради бедных людей, но предназначено к исполнению более высоких миссий. Но даже в самой невыносимой точке боли я не был в состоянии бросить камень в тех кощунников, которые являлись для меня лишь носителями общей вины, о которой впору бы думать и думать!*»

тый лозунг. И уже подрастало поколение «Baby Boomer» (послевоенного всплеска рождаемости), явившегося на свет при вспышке апокалипсического солнца...

Посторонний проснулся и уже готов был слушать музыку революции...

И если философия нового мира являлась во Франции, этой обугленной пламенем Второй мировой душе Европы, то ее музыка, ее *энергия* рождалась в Америке, последней ее мечте...

Когда-то, две тысячи лет назад, ослепительный миг Воскресения Христа преобразил мир. В обреченный смерти космос вошли вера, любовь и надежда на личное бессмертие. Вскоре последовал и первый мощный отклик: взлет греческой мысли (великие каппадокийцы, Дионисий Ареопагит) утвердил новую геометрию мира, осуществил прорыв к солнцу Троицы, явил реальность нового, обóженного человека. На пороге второго тысячелетия эта первая, богочеловеческая революция духа задохнулась в надрыве византийской «симфонии» Церкви и государства.

Начало второго тысячелетия христианской эры ознаменовалось бурной экспансией римского католицизма, вылившейся в героический порыв крестовых походов, также, впрочем, захлебнувшихся вскоре в политических интригах, человеческих амбициях и пороках...

Наконец, на пороге Нового времени порыв англо-саксонского протестантского духа воплотил последнюю мечту белого человека — Америку, обетованную землю свободы и личного счастья... Мечта, впрочем, тоже довольно скоро обратилась в мир мамоны и нового Вавилона...

А над последней нищетой человека уже поднимался смерч освобожденной энергии атомного распада, сотрясая, кажется, самое ядро Земли.

И, будто отзываясь ему, из глубины этой «*незыблемой точки мировращенья, где есть только ритм*», вырвалась музыка атомного века... Не музыка, а ритм сердца, энергия магм (*энергия!* — главное слово рок-революции), освобожденный эрос, эпос второй половины XX века...

Музыка, настоянная на духовных негритянских гимнах спиричуэлз и блюзе, черной тоске и белой надежде[3], взрывная волна которой, поразившая на рубеже 50-х поколение бэби-бумеров, мгновенно создала из них «*обособленное племя, со своими ритуалами, униформой, тайнами, своим языком, своей музыкой*»... Ни о какой философии речи, конечно, не шло. Квинтэссенция подростковых чувств, которые закружил этот вихрь, умещалась в одной строчке Пата Буна: «*Оставьте меня в покое, ведь я почти взрослый*»...

---

[3] История рок-н-ролла начиналось так. Некий 30-летний нью-йоркский диджей заглянув однажды в магазин грампластинок, был поражен тем, что белые подростки покупают пластинки с «черной» музыкой... Свою новую еженедельную программу «запрещенной» музыки Алан Фрид (взявший себе псевдоним Moon Dog [Лунный Пес] окрестил «Moondog's Rock And Roll Party» (Рок-н-ролльная вечеринка Лунного Пса). Лунный Пес стал повивальной бабкой рок-н-ролла... Свое имя (от rocking [трясти, качаться] и rolling [вертеться, кататься]) новый танец позаимствовал из ритм-энд-блюза. Рок-н-ролл — это чистый эвфемизм, «*вертикальное выражение горизонтальной страсти*», как замечает один из критиков. В ритм-энд-блюзе слова эти издавна имели сексуальный смысл.

Вскоре явился Элвис, сверкающий бриолином танцующий бог в черной кожаной куртке и розовых штанах, — ядерная смесь секса и крутизны, — то, что могла дать только девственная душа Америки, ее пьянящий воздух, — и свободы[4].

Но пятидесятые оттанцевали и отцвели. Вслед им поднимались шестидесятые — самые, наверное, удивительные годы этого века. Французская философия создала проект *экзистенциального человека*. Америка (и бог ее Элвис) вылепила его плоть. Битлз вдохнули душу в его тело. История Битлз и есть история «золотого десятилетия» рока.

Чем был поразителен феномен этой четверки, этой изумившей мир беззаконной кометы? Явленным чудом единения, независимости и свободы. Безукоризненного чувства юмора и демократизма. Элвис был небожителем, Битлз были людьми из плоти и крови. Им можно было не только поклонятся, но — подражать. Словно четыре грани одной личности, они являли новое единство — взамен распадающейся патриархальной семьи. С феноменом Битлз экзистенциальный человек (не стоит забывать, что первый свой экзистенциальный опыт пареньки эти получали, играя в крутых портовых кабаках Гамбурга) обрел свою семью — *соборность*, как сказали бы у нас.

И, конечно, прежде всего это был бунт детей против отцов, эдипов (ну, или «анти-эдипов») комплекс — трагический разлом поколений, пресловутый generation gap, подобного которому история еще не знала.

В одной строчке из песни Битлз «Shes Leaving Home» (из альбома «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера»), в которой поется о девушке, убегающей из родительского дома, «*где она прожила в одиночестве много лет*», сказано все о смысле этого бунта. (Замечательны и последующие жалобы родителей: «*Ведь мы дали ей все, что можно купить на деньги*».) Но она бежит к человеку, который может дать ей любовь. Здесь была сконцентрирована вся трагическая глубина «*пространства, разделяющего всех нас*» (из другой песни Битлз), о котором пела эта революция, здесь являли себя ее высокая мечта и тоска по единству[5]. Все это метафорично отразила и майская революция 68-го: в образах генерала Де Голля — героя войны, отца нации — и его бунтующих детей.

---

[4] Считается, что петь Элвис Пресли начал в церкви, исполняя нечто вроде белого госпела. «*Ему нравилось наблюдать, как вдохновенные проповедники приводили свою паству в молитвенный экстаз, взвинчивая голос, хлопая Библией по кафедре и угрожая муками ада*»... А потом он постучался в маленькую студию в Мемфисе, чтобы записать песенку для своей любимой мамы... «*Меня осуждали за любовь к блюзу, а в Мемфисе блюз считался духовной музыкой. Впрочем, меня это никогда не беспокошло*», — говорил он впоследствии.

[5] Историческая фраза Джона Леннона: «*Я прошу всех сидящих на галерке хлопать в такт следующей песне... Остальные могут погреметь драгоценностями*» (обращенная к королевской ложе), — повлияла на самосознание следующей эпохи больше, чем все саммиты и конференции вместе взятые. Если в Америке рок-н-ролл разрушил расовые барьеры, то в Европе он смел барьеры сословные...

Брошенное в экзистенциальную бездну сознание Европы, подхваченное глубинной животной энергией рок-н-ролла, и породило феномен 68-го. А 68-й — тот мир, который мы знаем...

Есть только миг

Твой грех стремиться к солнцу...
Т. Элиот

Шестидесятые были подобны чуду, сплошной эскалацией откровения: день — как неделя, неделя — как месяц, месяц — как год, год — как десятилетие. Они нарастали, подобно цепной реакции, по самой крутой экспоненте. Время любви и надежды, изумления (истерики, исступления) и — подлинного вдохновения.

Апокалипсический пессимизм битников сменила радужная эйфория ожиданий... Хиппи — «дети-цветы» — тоже исповедовали эскапизм, но уходили не в урбанистический сумрак, а в райскую сень земляничных полян, к источникам единения и свободы в храме восходящего солнца (The House Of The Rising Sun). Подхваченных буйством освобожденных дионисийских стихий, их несло на волне могучего драйва и позитивных энергий... Это было круче, чем религия, это было само бытие, сама экзистенция.

«*Мы популярнее Иисуса Христа*», — скажет в это время Леннон не очень осторожную фразу. Но сказанное будет всего лишь правдой. В эти несколько безумных-безумных лет именно Битлз оказались тем «христом», которого был достоин мир...

Чтобы стать подлинно религией, новой реальности оставалось лишь причастие тайне. И таким «причастием» стало LSD.

Мистические снадобья не были, конечно, для мира секретом. Коренное население Мексики и других древних культур издревле использовало их в религиозных обрядах. Пророком же европейской психоделической революциии стал Олдос Хаксли, творец антиутопии «О чудный новый мир» и культового для шестидесятников романа «Остров», описавший свой психоделический опыт в книге «Двери восприятия» (давшей впоследствии название пионерам психоделического рока группе Doors) и придавший ему мистический и религиозный смысл.

«*Почему драгоценные камни драгоценны?* — спрашивал Хаксли. — Потому что они *символизируют и замещают блеск и великолепие иного мира, Высшей реальности*». Так и псилобицин и другие психоделики становятся дверями в иной мир, позволяя исследовать иные области сознания, ранее доступные лишь избранным мистикам вроде Уильяма Блейка и Эммануила Сведенборга...

В 1959 году Хаксли предсказывает «возрождение религии», которое произойдет вследствие *открытий биохимиков, которые дадут возможность большому количеству людей достичь радикальной трансценденции и понимания природы вещей*, и выступает с докладом, красноречиво называвшимся «Окончательная революция». «*Психоделики избавили меня от страха смерти*», — свидетельствует Хаксли и становится ярым почитателем «Тибетской книги мертвых». «*Восточные учителя знают все об экзистенциальном опыте и об*

ужасе человеческого бытия, как они описаны Сартром и пр. Они знают, как оказаться по другую сторону реальности, там, где всякое относительное проявляет абсолютную самость, где самость — это махакаруна, Великое сострадание», — писал он. Умер Хаксли в 1963-м от рака, на самом пороге психоделической революции (как Моисей, подведя свой народ к «обетованной земле», но не войдя в нее). Умирая, он попросил «причастить» его LSD. Жена читала над умирающим «Тибетскую книгу мертвых».

Если Хаксли был истинным пророком новой религии, то неутомимым апостолом ее стал гарвардский доктор Тимоти Лири. Историческая встреча Хаксли и Лири, возглавлявшего в то время гарвардский проект по изучению психоделиков, состоялась в 1960-м[6].

После закрытия гарвардского проекта Лири с подвижниками организовал в Мексике Международную федерацию борьбы за внутреннюю свободу, ездил по университетам с лекциями, уча своих последователей необходимости *выйти из наших умов*. Усилиями Лири причастие к кислотному таинству стало к началу 60-х фактом жизни всех университетских кампусов Америки и Англии. В 1963 году власти, почувствовав неладное, подвергли преследованиям Лири и его последователей и приняли суровые законы, запрещающие распространение LSD. Но было уже поздно: джин был выпущен из бутылки. Оставался лишь шаг, чтобы из «тайного знания» посвященных «кислота» превратилась в культ демократических масс. И почва для этого уже имелась — *битломания*.

Битлз впервые попробовали LSD в 65-м, когда некий дантист подлил его в чай Джону и Джорджу. Вскоре они уже экспериментировали с LSD регулярно. В конце первой и второй стороны альбома «Револьвер» 66-го года (что может быть экзистенциальнее револьвера? — только революция) голос Джона сквозь мешанину звуков выговаривал поистине странные вещи: «*Выключи свой мозг, расслабься и плыви по течению... Это не смерть, это не умирание... Отгони прочь все свои мысли, погрузись в пустоту...*» Или: «*Она сказала: "Я знаю, что такое быть мертвым"... Она вызывает у меня ощущение, будто я вообще не являлся на свет... Я сказал: "Кто вложил в твою голову все это? Что заставляет меня ощущать себя сумасшедшим?"*»

ЛСД — предельно экзистенциальный наркотик, лишающий человека привычных опор, уводящий его от всякой эмпирической данности, ставя-

---

[6] Лири так описывал своего гуру и встречу с ним в книге «Грибы на ланч»: «*Сутулый, возвышающийся седой будда. Мудрый, добрый человек. Голова — как энциклопедия на нескольких языках. Приятный голос с хрипотцой, повышавшийся лишь во время кратких вспышек изумления и гнева по поводу перенаселенности планеты или напыщенности психиатров.*

Мы беседовали о том, как изучать и использовать наркотики, расширяющие сознание, и почти сразу согласились с тем, что надо и чего не надо делать... Мы не будем навязывать нашу терминологию и наши экспериментальные игры... Мы не будем ограничиваться патопсихологической интерпретацией. Мы не будем считать экстаз манией, а спокойствие — кататонией; мы не собираемся квалифицировать Будду как аутичного шизоида, а Христа как мазохиста со склонностью к эксгибиционизму, мистический опыт как симптом, визионерский опыт как типичный психоз...»

щий на грань откровения и безумия... Приобщившийся «кислоте» повисает между раем и адом собственного сознания, погружается в причудливый поток образов, в котором невозможно найти опору, иначе как в самой глубине собственной личности. По сути ЛСД (и другие психоделические средства) провоцируют встречу человека с самим собой и в этом смысле действительно становятся гранью религиозного опыта. К тому же они обещают и манят в райские кущи...

В 1967-м культ ЛСД принимает характер эпидемии. Волшебным апофеозом химической революции стало калифорнийское лето 1967-го. Вот как описывает его один из очевидцев и участников: «*В 66-м Good Vibrations и некоторые песни из REVOLVER нам очень нравились, но ставили в тупик: мы их не совсем понимали. Но в невероятном 67-м мы все прекрасно подрубились и с понимающей улыбкой оглядывались на прошлогодние песни. Потому что мы, наконец, поняли, что существует растущая рок-элита, представители которой общались друг с другом, когда оказывались на Западном Побережье или в Лондоне, делились впечатлениями от своих трипов, знакомили друг друга с любимыми мистическими идеями и со своими гуру, обменивались книгами. А расставшись, они записывали пластинки, насыщенные зашифрованными словами, которые (если вы понимали их) заставляли вас улыбаться разделенной тайне. До 67-го кислота и ее эффекты были знакомы лишь ограниченному кругу золотых людей, они шептались про нее, давали ей различные названия-эвфемизмы, а потом вставляли их в свои песни. Но в 67-м о кислоте знали все и все ее употребляли. Именно это и сделало 1967 год одним из самых экстраординарных в современной истории.*

1967 был удивительным годом, потому что в течение одного роскошного лета мы действительно верили в то, что все, что нужно, — это любовь. И что любовь — это все. Что любовь способна изменить мир. Говоря ***мы****, я имею в виду всякого молодого человека, который купил себе кафтан, или носил бусы, или вешал на шею звонкие индийские колокольчики, или пел San Francisco (Flowers In Your Hair) Скотта Маккензи. Мы — это те, кто глотал сахарные кубики с LSD, вставлял цветы в дула винтовок солдат, охранявших Пентагон, участвовал в би-инах или лав-инах, занимался любовью под открытым небом под чарующие звуки A White Shade Of Pale (Белее бледного) группы Procol Harum, бродил по Монтерею во время первого великого поп-фестиваля и первой крупной сходки одноплеменников — обдолбанный или просто под легким естественным кайфом от ощущения своей молодости, испытывая любовь и чувствуя себя любимым, — и все это в атмосфере музыки. И совсем не важно, что не каждый прошел через все это, ибо то было коллективное переживание. Как сказал в 78-м Джерри Рубин, бывший революционер-йиппи: "Мы действительно чувствовали, что все люди на Земле наши братья и сестры. И что мы можем изменить мир"... В 60-х мы произносили слово* ***любовь****, думая, что LSD или сигарета с марихуаной, или просто произнесение этого слова может принести любовь... Это была эпоха идеализма и антиматериализма, стремления создать альтернативное общество, основанное на всеобщем равенстве. Столицей этого нового общества был район Сан-Франциско в границах Haight Street и Ashbury Street. Здесь молодые люди, выпавшие из конвенционального общества, собирались в небольшие компании, чтобы покурить дурь,*

поторговаться в лавках, где продавалась всяческая психоделия, испытать новое сексуальное переживание и, обрядившись в измятые мадрасские х/б одежды, участвовать в совместном опыте молодежного трайбализма в одном из просторных танцевальных залов Сан-Франциско"»[7].

Возвращение мечты об утраченном рае в одном отдельно взятом месте, на один восхитительный миг времени (или даже — освобождения от времени), освобождение сознания от оков рассудка («*Освобождение человека должно быть тотальным, либо его не будет совсем*» — один из лозунгов будущей Сорбонны), ослепительный миг юности и веры в мечту, праздничный фейерверк, возвращение вкуса *жизни как чуда*, обретение ее настоящего смысла после всех излияний разрушительной ненависти, превративших мир в груду дымящихся развалин, сравнявших с землей все прежние смыслы и догмы... Манифестация абсолютной свободы, прорыв сквозь все условности и табу, психоделический штурм небес («*Прорвись на другую сторону*», как призывали Doors), высшей реальности, к Солнцу...

Грандиозная эйфория запечатлена во времени альбомом «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» (Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера), вышедшим в начале этого странного года и ставшим, пожалуй, самым беспрецедентным альбомом в истории рок-музыки. Это был первый полностью концептуальный альбом, начиная с обложки и кончая последней нотой проникнутый единством формы и содержания. В записи последней песни «A Day In The Life» (День из жизни) принял участие симфонический оркестр из сорока музыкантов, исполнивших дикую мешанину нарастающих звуков в середине и перед заключительным фортепианным аккордом, который сам по себе представлял явление. Аккорд был исполнен в десять рук Ринго, Полом, Джоном и Мэлом Эвансом на пианино и Джорджем Мартином на фисгармонии и длился 42 секунды. Весь этот безумный апофеоз завершался задумчивым: «I'd love to turn you on» (Мне хотелось вас взволновать).

Этот альбом увенчал 67-й год — год, быть может, самых безумных надежд и мечтаний в человеческой истории. Время крушения всяческих стен и условностей... Год, в который казалось, что *возможно — всё*...

И действительно, мир не мог не воззриться с удивлением на происходящее. В том же 1967-м Мика Джаггера приглашают на теледискуссию, в которой принимают также участие епископ Вулвичский Джон Робинсон, видный иезуит отец Корбисли, лорд Стоу Хилл и редактор «Таймс» Вильям Ри Моуг. Все эти в высшей степени серьезные люди желали выяснить у 24-летнего оболтуса: *является ли наше общество коррумпированным и в каких границах желательна абсолютная свобода?*

В том же году в Монтерее произошел первый в мире рок-фестиваль: 60 000 зрителей и 1100 журналистов со всего света, звезды и простые смертные являли торжество глобального единения *в атмосфере всеобщей эйфории*. Магия музыки делала то, что прежде было немыслимо: общение не сковывалось ни границами наций, ни языком, ни социальным статусом, ни условностями политики и законов...

---

[7] *Джереми Паскаль*. Иллюстрированная история рок-музыки.

Да, во многом это было действительно откровение. Но... кто его мог воспринять? Кому было под силу его удержать? Кто мог понести такой груз, такую, поистине божественную, свободу? Главным словом этой революции было *счастье*. Но тут требовались плечи покрепче, плечи *служения*...

Перед молодыми партизанами освобождения вставало и еще одно вечное противоречие: *в мире и не от мира*... Об опасностях эскапизма предупреждал еще Олдос Хаксли: «*Нельзя стремиться попасть в рай... Нельзя бежать от любви и работы, пусть даже несовершенного мира, в личную частную безопасность Чистого Света, достигаемую с помощью или без помощи психоделиков*». Хаксли проповедовал путь бодхисатвы — не уходящего в нирвану, но ведущего к свету других. Здесь, однако, подстерегало еще одно искушение: рок-звезды и так уже начинали превращаться в памятники самим себе. Да и кто из них, положа руку на сердце, мог всерьез назвать себя просветленным?

Наконец, это вечное балансирование экзистенциального человека между природой и личностью (нищетой и солнцем, Дионисом и Апполоном), которое так и не смог разрешить Камю... Выпадая из общества и истории, экзистенциальный человек оказывался перед лицом главного своего врага — себя самого, собственной природы. И с ним, а вовсе не с обществом и его ветхой моралью, предстоял ему главный бой...

«*Оставаться тут или идти, — в конце концов, было все едино*», — так рассуждает Мерсо, бредя по бесконечному пляжу под дождем *слепящего света,* который льет на него знойное алжирское солнце... В *мутном опьянении* он идет, повинуясь мгновенному импульсу, в желании *тени и покоя*, надеясь укрыться от слепящего солнца у *прохладного родника.* Но там, у родника, он встречает того самого араба, одного из тех, с которым буквально час назад у его компании была стычка. «*Стоит только повернуться и пойти прочь — и все кончится*», — рассуждает Мерсо, но *весь раскаленный знойный берег* словно подталкивает его вперед. И, словно отвечая на зов природы, он делает роковой шаг. «*Я знал: это глупо, я не избавлюсь от солнца, если сдвинусь на один только шаг. И все-таки я сделал его — один-единственный шаг*». В ответ араб встает и достает нож... И острый луч, *будто длинный искрящийся клинок,* который солнце высекает из этого ножа, впивается в лоб Мерсо. От этого солнца, бьющего прямо в лоб, и от этого огненного клинка в руках араба, словно херувима с огненным мечом, сторожащего вход в рай, все в глазах начинает качаться... И здесь, на самом краю откровения, к которому шаг за шагом привела его экзистенция, его судьба, он поддается природе, и расплата следует неминуемо: «*Я стряхнул с себя пот и солнце. Море испустило жаркий тяжелый вздох... Небо разверзлось во всю ширь, и хлынул огненный дождь. Все во мне напряглось, пальцы стиснули револьвер, спусковой крючок поддался, — и тут-то с сухим, но оглушительным треском все и началось. Я понял, что разрушил равновесие дня, необычайную тишину песчаного берега, где мне совсем недавно было так хорошо. Тогда я еще четыре раза выстрелил... И эти четыре отрывистых удара прозвучали так, словно я стучался в дверь беды*».

Поражение

В последней пустыне меж голубеющих скал,
в пустыне сада, в саду пустыни,
где духота выплевывает изо рта иссохшее семечко яблока...

Т. Элиот

Как и русские символисты начала века, хиппи верили в мгновенное преображение мира. Но когда от многократного произнесения магической формулы «All You Need Is Love»[8] мир не изменился, партизаны освобожденного сознания встали на путь революционных преобразований. Тогда же, в 67-м, калифорнийские коммуны, объединившись в движение йиппи, предприняли грандиозную психоделическую акцию: несколько десятков тысяч молодых людей собрались у Пентагона, чтобы произнесением священной мантры «*ом падме хум*» поднять его на воздух[9].

---

[8] «Все, что тебе нужно, — это любовь» — знаменитая строка из песни Битлз «Revolution».

[9] Эта акция йипи под предводительством Эбби Хоффмана получила широкую известность и описана многими в канонических текстах (например, в «Армиях ночи» Н. Мейлера). Приведем один из апокрифических, найденных в интернете. Автор ее некто Бриз из органа организации либертарных коммунистов «Автономное действие»:

«*Осада Пентагона готовилась тщательно. Журналистов оповестили заранее. Военных в известность решили не ставить. На публичную рекогносцировку были отправлены несколько хиппи. С видом людей, глубоко погруженных в свое дело, они бродили в окрестностях Министерства обороны. Когда обеспокоенная охрана вышла узнать, в чем дело, им объяснили, что огромная пентаграмма, дьявольское клеймо на теле Америки, — причина всех бед и несчастий страны. Пентагон надо очистить от духа ненависти, изгнать из него бесов. А потом, уже для журналистов, уточнили, что Пентагон в ходе магической чистки будет поднят в воздух. Планировали поднять его на 100 футов, но генералы согласились только на 10.*

21 октября 1967 года пятидесятитысячная мирная армия хиппи окружила унылое бетонное строение. В авангарде встали буддийские монахи с трещотками, поэт Аллен Гинсберг, индейский шаман с бубном и еще какие-то шаманы с погремушками и колокольчиками. За их спинами толпились самодеятельные и внеконфессиональные маги, колдуны и чародеи. Сновали люди с мегафонами, завывала группа Эда Сендерса. Организатор этого безобразия Эдди Хоффман был одет индейским вождем, его жена Анита — сержантом Пеппером. Над толпой плыл легкий дымок с характерным запахом.

Пентагон защищали кордоны национальных гвардейцев. Из толпы им кричали: "Идите сюда!", стреляли в них из водяных пистолетов патентованным средством для поднятия потенции и наглядно агитировали плакатами "ЛБДж (Л. Б. Джонсон, президент США) любит Хо Ши Мина". Из задних рядов к оцеплению пробрался хиппи с Западного побережья. Он вложил в ствол винтовки гвардейца цветок. В общем бедламе этого почти никто не заметил, но рядом щелкнул фотоаппарат, и самое известное фото шестидесятых было сделано.

Вечером, когда по толпе заскользили лучи прожекторов, а над головами зависли вертолеты, десятки тысяч голосов следом за Гинсбергом затянули "Ом-м". Позже Хоффман вспоминал, что его даже удивило, как легко поднялось в воздух здание. Под грохот вертолетов, в ослепительном и резком

В 1968-м, на отчаянной демонстрации в Чикаго, все было уже по другому. Хипаны собрались в столице американской мафии, самом логове Полифема (ходили слухи, что они растворили в водопроводе Чикаго громадное количество ЛСД в надежде заставить чикагцев умириться и возлюбить друг друга). То, что произошло дальше, было похоже на избиение вифлеемских младенцев, увиденное глазами Дали... Чикагские полицейские обильно поливали детей-цветов слезоточивыми газами. В клубах сизого дыма мелькали то радужные кафтаны хипей, то свиные морды полицейских в противогазах, энергично орудующих дубинками...

Революция любви терпела поражение. Не удавалось ни преображение мира путем психоделической теургии, ни заклятие войны с помощью магических мантр.

Главной проекцией неудачи «солнечной революции» в плоскость политики, последним отчаянным штурмом и стал парижский май 68-го. И надо ли еще объяснять, почему он потерпел поражение?

24 мая, когда комиссариат полиции 5-го округа на площади Пантеон был атакован с применением «коктейлей Молотова», когда пылала Биржа (символ буржуазного общества), события имели все шансы перерасти в полномасштабное восстание. Полиция никуда не поспевала, власть была растеряна, министерства и официальные здания не охранялись, и их можно было без труда занять. Но — нужно было браться за оружие, рисковать. Но... ради чего? Коктейли Молотова и баррикады — это было стильно и экзистенциально, это можно было видеть в кино... И — сказку сделать былью! — разве это не праздник, не чудо? Но всерьез рисковать всем (не в кураже, на баррикаде, на виду мира, а вот так, в одиночестве, спокойно и решительно выбрав то, ради чего стоит умирать) — ради допуска в женские общежития?.. Ради разрешения абортов и легализации марихуаны?.. Ради 10% надбавки к заработной плате?!

Да, и «*Против войны во Вьетнаме*» и «*За мир во всем мире*» было тоже, — но мечты, эйфории, гормонов было, конечно, больше. К тому же в отсутствие программы и избранных лидеров ситуационисты и анархо-коммунисты, маоисты, троцкисты и сторонники Че Гевары могли определить лишь самые общие цели совместной революционной борьбы, такие как: «*Запрещено запрещать*» и «*Вся власть воображению*»[10]. Враг — это закон в принципе, цель — всеобщее тотальное освобождение[11].

свете прожекторов, огромной летающей тарелкой Пентагон вознесся и завис над собравшимися. Множество участников акции помнят, как это случилось. Жаль, такие видения не сохраняет кинохроника. Не увидели этого и национальные гвардейцы. В полночь они двинулись на хиппи, и вскоре пипл был разогнан. Эбби и его друзья с разбитыми физиономиями оказались в полиции. Они называли себя военнопленными и требовали представителей Красного Креста. Вместо этого их оштрафовали на 10 долларов и утром отпустили».

[10] Сегодня во Франции действительно не встретишь табличек вроде: «По газонам не ходить» и «Посторонним вход воспрещен», — а вся власть отдана... увы, не воображению, а — толерантности.

[11] По горячим следам мая 68-го года бывший узник Освенцима, литературный критик и писатель Петр Равич едко высмеял парижских бунтарей в

Самым же метафизическим лозунгом Парижа остается, конечно, этот: «*Под булыжником — пляж*». Именно он являл и всю ослепительную правду этой революции, и ее совершенную несерьезность в высшем своем, экзистенциальном, плане. Ибо у революции, в сущности, не оказалось того бога, того смысла, ради которого имело смысл отдавать свою жизнь. А ведь только готовностью к жертве ради чего-то высшего поверяется достоинство всякой вещи[12].

Способен на жертву оказался один Че Гевара, чья гибель в 67-м и отозвалась парижским карнавалом. Его жертва была принята и... претворилась в успешный торговый бренд...

Отдавать свою жизнь за собственное счастье? — это был оксюморон. За счастье пролетариата? Десятипроцентной надбавкой к заработной плате, обещанной Де Голем, пролетариат был совершенно осчастливлен. Более у революции за душой ничего не оставалось. И она сдулась, как те воздушные шарики, что мечтатели-хипаны дарили охранявшим Пентагон солдатам...

Быть может, лучший образ той революции являет сцена самосожжения сумасшедшего Доминико в «Ностальгии» Тарковского. Доминико — настоящий революционер духа (1+1=1 — его символ веры). Он призывает обратиться к сути бытия и сжигает себя на площади Рима среди скучающих клоунов и актеров, кукол, для которых столь чудовищная смерть человека — не более чем хепенинг в духе выходок дадаистов. А там, за ними — поглощенный собой мир, проносящийся мимо в потоках машин. Дело до происходящего есть только нескольким полицейским, как всегда никуда не поспевающим, да жалобно скулящей собаке... Это самосожжение духа, увиденное глазами гения, — возможно, самая подлинная икона той революции.

Тарковский рассказывал, что на одной из встреч в Европе со зрителями молодой человек спросил его: как стать счастливым? И пришлось от-

---

книге «С похмелья или записки контрреволюционера»: «*"Запрещено запрещать!" Так они и будут малевать эти красивые слова неделю, две, три, потом устанут. Последний, чуточку менее утомленный, прибавит третью ступеньку: "Запрещено запрещать запрещать..." И будем мы все плавать в сплошных запретах. Возможно, этот менее утомленный окажется китайцем? А то и самим Мао?*

Во дворе Сорбонны — портрет Троцкого. И его большого друга Ленина. И их гениального ученика, достойного наследника — Сталина. Портреты господ Мао и Кастро. Но где же изображения Андре Бретона? Жарри? Лотреамона? Да уж коли на то пошло, и маркиза де Сада? Видно, Бретон, Жарри, Лотреамон, Тцара и маркиз де Сад не гонятся за тем, чтобы красоваться в этих покоях.

...Этим молодым людям захотелось "политики". В добрый час. Против капитализма. За социализм. Но ведь никто из них и не подозревает, что это значит, что это принесло в тех странах, руководители которых объявляют себя социалистами... Все эти "измы", в том числе и структурализм,— как тенета, опутывающие свободу, и так не Бог весть какую, этих молодых умов» (пер. Никиты Кривошеина).

[12] Две или три жертвы революция все-таки взяла: в ночь на 24-е в Париже студента разорвало гранатой, а в Лионе комиссар полиции погиб под обломками грузовика, сброшенного манифестантами. 1:1 — счет снова оказался равный.

вечать, что дело не в счастье, что надо прежде понять свое призвание, понять, зачем ты здесь, найти свою собственную дорогу. И уже в познании этой дороги можно повстречать на ней счастье как награду, а можно и не повстречать...

В этом безусловном (неизбежном и безнадежном) искании счастья и была, наверное, главная ошибка. В 68-м счастье было уже недостижимо. Сквозь булыжник мостовых Парижа можно было узреть солнечный пляж Калифорнии. Но на часах суровой реальности он остался в волшебном 67-м. В 68-м он был уже замощен парижским булыжником, который еще через год власти благоразумно залили асфальтом...

Ящик Пандоры

Я слышал как ключ
Однажды в замке повернулся однажды
Каждый в тюрьме своей думает о ключе
Каждый тюрьму себе строит думами о ключе
Лишь ночью на миг колыханье эфира
Что-то будит в поверженном Кориолане.

Т. Элиот

История последней любви «закатной Европы» оказалась короткой. Революция хиппи разваливалась и, как и все предыдущие, пожирала самое себя. Неудача рождала отчаяние и озлобление. «*Я мог бы заключить свой ум в скорлупу ореха и чувствовал бы себя повелителем вселенной, если бы не мои дурные сны*», — жаловался Гамлет на заре Нового времени. На исходе же его времени лишь *дурные сны* его расщепленного ЛСД сознания еще носились над мировой пустыней: политический террор, наркомания, порно-индустрия — все плоды короткого «бабьего лета» шестидесятых. «*То, чего не удалось достичь с помощью любви, теперь пытались добиться с помощью кулаков, бомб, винтовок и поджогов*»,— как писал один проницательный очевидец.

Знаменитый Вудсток закроет эру великих рок-фестивалей. Вскоре волосатое «дитя-цветок» Чарли Мэнсон, зарезав беременную жену режиссера Романа Полански и ее друзей, кровью на стене напишет: «Буржуазные свиньи». В Алтамонте бригада «Ангелов ада», нанятая «роллингами» для охраны порядка, зарежет зрителя-негра.

Столпы, изнуренные физическим истощением и наркотиками, начнут падать как подкошенные: Брайан Джонс, Дженис Джоплин, Хендрикс, Моррисон.

Количество наркоманов к началу 70-х, по данным Министерства здравоохранения США, перевалит за 20 млн человек. Итогом же философских осмыслений десятилетия станут две высказанные классически безупречными «Лестницей в небо» Led Zeppelin и «Стенкой» Pink Floyd истины: небо нельзя купить, а стены, разделяющие нас, — разрушить.

В 1976 году американская группа Иглз записала песню, подведшую итог исканиям шестидесятых, создав впечатляющий образ неспособных вырваться из тюрьмы своего *эго* постояльцев волшебной калифорнийской гостиницы:

«На темном пустынном шоссе ветер трепал мои волосы и запах цветов и вдали я увидел свет. Она стояла в дверях, колокольчик звенел, я подумал: может, это рай, а может, и ад... много номеров в отеле "Калифорния", и всегда много места, в любое время года... Как все они танцуют во дворе — некоторые танцы, чтобы помнить, некоторые,— чтобы забыть. "Принес бы вина", — спросил я Капитана. Он ответил: "Мы не пили его с 1969 года"... Но всегда тот же голос, пробуждая среди ночи, зовет: Добро пожаловать в отель "Калифорния", какое милое место Они все живут в отеле "Калифорния", какой сюрприз, да и алиби... Зеркала на потолке, шампанское во льду... Все мы здесь узники наших уставов, и хозяин палат собирает на пир и колет ножами, но не в силах убить зверя Последнее помню, как убегал, пытаясь дверь отыскать. Но голос из тьмы сказал: "Расслабься, мы настроены лишь на прием. В любое время ты можешь выписаться, но никогда не сможешь уехать отсюда"»... (Hotel «California»)

Ослепительный миг калифорнийского лета оказался мигом не преображения мира, а перехода реальности в альтернативную реальность, эпохи просвещения в эпоху магической игры со стихиями мира... Но мир все же менялся, пусть и не с быстротой мысли, и не совсем так, как мнилось шестидесятникам, но все же достаточно быстро и все-таки — менялся. (Хотя, в сущности, чем все это и было, как не одним лишь сплавом молодости, музыки и ЛСД? Рядом химических процессов, достаточных для получения невероятного экзистенциального опыта, но совершенно недостаточных для сотворения новой жизни; подходящих для разрушения, но не для созидания мира.)

Переход

Для Советского Союза год номер 1968 тоже окажется роковым. Как «красный май» хоронил мечту поколения бэби-бумеров о революции мира и любви, так же точно танковый клин в Праге в дребезги разбивал миф о социалистическом содружестве и коммунистической мечте, предвещая будущий распад системы[13].

Московское эхо Парижа отозвалось и тогда, когда несколько человек вышли в августе 68-го на Красную площадь, протестуя против марша советских танков на Прагу, — поступок, обреченный на поражение, то есть безупречно экзистенциальный (в сущности, декабризм постмодерной эпохи, революция одиночек, революция — в отдельно взятой личности). Выходя на площадь, участники акции, отдававшие себе отчет в том, что зарабатывают реальные сроки и ссылки, руководствовались тем же, чем главный

[13] Философ Андре Глюксман, герой 68-го, а ныне советник президента Саркози, и вовсе возлагает ответственность за Май 1968-го на Советский Союз: *«Особенность парижского движения заключается в том, что оно было антикоммунистическим и антитоталитарным. Причиной возникновения этого уникального сочетания стал Советский Союз, который двенадцатью годами ранее ввел свои танки в Будапешт. В 1956 году Даниэль Кон-Бендит был еще совсем маленьким, но он сидел на плечах своего брата, вышедшего на демонстрацию против коммунистов»*... Что и говорить, интересно творится история мира и человека...

герой «Чумы» Камю, остающийся в зачумленном городе по одной-единственной причине: *он просто не знает, как будет всю оставшуюся жизнь смотреть на себя в зеркало, если сейчас покинет город.*

Состоявшийся вскоре разгон «Нового мира» Твардовского ознаменовал конец оттепели. Но мир уже менялся. И *«человек равный миру»*, выведенный «философией существования», уже все чаще оказывался сильнее государства.

«Сталкер» Тарковского, описывающий апокалипсический мир, в котором сознание не просто определяет бытие, но влияет на непосредственную окружающую реальность, станет для нашего поколения примерно тем же, чем для поколения Парижа-68 был иллюстрировавший философию Сартра фильм «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара. И тем красноречивей разница: наш экзистенциальный герой — не гангстер, как в фильме Годара, а священник, апостол.

Самым же пронзительным документом эпохи (и, возможно, главной книгой той революции) остается поэма Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки», созданная той самой холодной осенью 69-го.

Все сущее, каким бы ничтожным оно ни казалось, обретает в поэме высшее метафизическое измерение. Психоделический кайф оборачивается мучительной духовной работой (в национальных традициях алкоголизма), революционный и политический пафос желчно высмеивается, история и культура, подвергнутые постмодернистской карнавализации, оказываются лишь пространством, в котором разворачивается драма мировой души. А сама эта трагедия претворяется в мистерию Страстей. В сущности, перед нами все тот же вечный сюжет Песни Песней (отношения Бога и человеческой души) в апокалипсисе распадающихся связей, крушения и гибели. Ирония, пронизывающая поэму, — лишь крылья, помогающие Венечке преодолевать мировой абсурд, удерживать сознание от распада, заклинать шевелящийся под ногами хаос и метафизический ужас глубин. А сама эта летящая в духовном космосе электричка со всей ее метафизической географией (где, воистину, *«поездов расписанье грандиозней Святого Писанья»*) — словно осколок души, несущийся сквозь дозоры небесных мытарств. Здесь-то, как раз, все предельно серьезно, и *благословенные Петушки, где не молкнет пение и не отцветает жасмин*, — образ не только Небесного рая, но и троекратного отречения Петра...

Как в экстазах Дионисия Ареопагита (и психоделических трипах калифорнийских революционеров сознания), слова, целые культурные пласты здесь скручиваются, изворачиваются, подвергаются нещадному давлению, удерживаясь и балансируя на самой границе смысла, где земная реальность становится предельно пластична, — дабы заставить явить ее истины неизменные, реальность невыразимую...

Знакомство же Венечки с идеалами парижской революции 68-го ожидаемо и закономерно становится началом горячечного бреда: переговорив с Луи Арагоном и Эльзой Триоле (или Жан-Поль Сартром и Симоной де Бовуар, — сознание Венечки уже двоится) и так и не получив внятного ответа на свои «мучительные социальные вопросы», изложив концептуальную разницу революционных устремлений России и Запада в эссе «Стер-

возность как высшая стадия блядовитости» (язык которого французы признают блестящим, но основную идею ложной)[14], Венечка, как мы помним, сжигает свои рукописи вместе с мансардой на Нотр-Дам и отправляется в Британию.

И после так и не прозвучавшего слова британской королевы, прерванной жестким вторжением реальности (в виде мытарей-контролеров петушинской ветки), после апофеотических пророчеств о золотом веке, когда «*возляжет волк рядом с агнцем, и ни одна слеза не прольется, и кавалеры выберут себе барышень, кому какая нравится*», уже подхваченный рвущими его на части дионисийскими стихиями, Венечка раздвинет «кусты жасмина», за которыми, облаченный «*в пурпур и крученый виссон*», ожидает его «*отблеск небесного рая*», мечта его Песни Песней, и из этой чудовищной и волшебной кульминации навстречу ему выйдет «заспанный Тихонов», отрабатывающий тезисы революционного выступления...

Так, сюжет европейской революции шестидесятых отразится в русском космосе, обретя, как всегда, высшие метафизические измерения. И здесь, где олень небесного Откровения исчезает, сбитый пулей интеллигентской кухонной болтовни («*я как выпью немножко, мне кажется, что хоть сегодня выступай, что и вчера было не рано выступать. А как начинает проходить, — нет, думаю, и вчера было рано, и послезавтра не поздно*»), начнется Венечкина страстная. А перед самой его голгофой выговорит себя его устами главный экзистенциальный символ веры русской революции: «*есть ли там весы, нет ли — все равно: на тех весах вздох и слеза перевесят расчет и умысел... Есть ли там весы, нет ли там весов, — там мы, легковесные, перевесим и одолеем*»...

Впервые проникнув в пределы советской печати в 89-м, поэма «Москва-Петушки» была издана немыслимым (250 000 экз.) тиражом в 90-м и продавалась (хорошо это помню) буквально на каждом углу Невского проспекта. И, думаю, весьма гармонично отражала реалии того безумного времени, знаменовавшего собой переход троицы модерна Ленин — Партия — Комсомол (через самый пластичный, третий член триады) в троицу постмодерна: секс — наркотики — рок-н-ролл...

Кажется, очевидно, что, несмотря на совершенно иной политический расклад, масштабы и результаты, наша постмодернистская революция рубежа 90-х была во многом такой же кавер-версией 68-го, как наш Февраль-Октябрь 1917-го — версией Великой Французской революции. И, вспоминая лихорадочную атмосферу в тогдашнем Ленинграде, где-нибудь у Гос-

---

[14] «*К русским условиям, возможно, это и применимо, но к французским — нет; стервозность,*— сказали Венечке революционные французские интеллектуалы,— *у нас еще не высшая ступень и далеко не последняя; у вас, русских, ваша блядовитость, достигнув предела стервозности, будет насильственно упразднена и заменена онанизмом по обязательной программе, у нас же, у французов, хотя и не исключено в будущем врастание некоторых элементов русского онанизма, с программой более произвольной, в нашу отечественную содомию, в которую — через кровосмесительство — трансформируется наша стервозность, но врастание это будет протекать в русле нашей традиционной блядовитости и совершенно перманентно*» («Москва — Петушки»).

тиного двора, со всем ее анархо-синдикалистским веселым сбродом, думаю, я могу представить себе и дух Сорбонны 68-го (особенно ее, очень русский по сути, лозунг: *«Всё — и немедленно!»*). Впрочем, тема эта (чрезвычайно интересная) требует отдельного разговора. А чтобы закончить эту главу, остается бросить короткий взгляд на сегодняшние реминисценции «красного мая» в самой Европе.

Вспоминали о них и ввиду недавних студенческих волнений в Париже по поводу «контракта первого найма» (о Боже, *требуйте невозможного*!), а также булыжников и бутылок с зажигательной смесью безработных арабчонков из парижских пригородов. Забыть 68-й не дают даже закатанные в непроницаемый гламур, не достигшие половозрелости кумиры подростков-эмо Tokio Hotel («Отелю «Калифорния»» такое не снилось), все больше, конечно, склонясь в карикатуру и вызывая такие, например, вопросы: ожидать ли нам революции двенадцатилетних? И если исторические трагедии повторяются в виде фарса, то в виде чего повторяется исторический фарс?

А вот, оказывается, в виде чего. Представьте себе барханы желтого песочка, пляжные тенты и туалеты, лежанки с ленивыми обнаженными телами, усеявшими набережные Сены, водные велосипеды, покачивающиеся на волнах канала Сен-Мартен под мягким парижским солнцем... Так программой парижской мэрии «Париж-пляж» отозвался прошлым летом лозунг *«Под булыжником — пляж»* революционного мая 68-го.

Безмятежность и ностальгия, напоминающая чем-то закатные брежневские времена, не правда ли? Но мы-то знаем, чем все это обычно кончается. И что всем этим и прочим явлениям развитого постмодернизма не отменить высшего смысла великих революций человеческого сознания, норовящих поколебать все ветхие истины мира, дабы явить вовеки неколебимые. *«Я с самого начала говорил, что революция достигает чего-нибудь нужного, если совершается в сердцах, а не на стогнах... Я вам говорил, что надо революционизировать сердца, что надо возвышать души до усвоения вечных нравственных категорий,— а все остальное, что вы тут затеяли, все это суета и томление духа, бесполезнеж и мудянка»*, — как говорил Венедикт Ерофеев той печальной осенью 69-го. И эту истину пока еще никто не опроверг.

Часть вторая. **На темной стороне**

Прорвись на другую сторону
Дж. Моррисон. Doors

Тьма не здесь, не здесь, не в этом щебечущем мире...
Т. Элиот

Экзистенциализм создал человека, равнозначного целому миру. Но прежде этот мир должен был в достаточной мере исчерпать себя. Уже Первая мировая война заставила заговорить о «потерянном поколении» (Гертруда Стайн) и «кризисе духа» (Поль Валери). А населенная «полыми людьми» «бесплодная земля» Томаса Элиота (география которой оказалась почти

неотличима от картин Дантова ада) была признана общественным мнением Европы лучшим образом времени. Символом «закатной Европы» стал элиотовский Альфред Пруфрок («Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока»), не способный на любовь и не смеющий сметь. Взрывающий все моральные и культурные каноны бунт сюрреалистов, вооруженных идеями Маркса, Фрейда, Ницше и страстью Рембо[15], и был во многом реакцией на его малодушие, беспомощность и несостоятельность.

Но сюрреализм Второй мировой (разбуженный отчасти и этим бунтом) превзошел самые смелые ожидания. Рожденный войной экзистенциальный человек, своим «не претендующим на героизм» взглядом навстречу обреченности, с презрением оглядывал новую пустыню (мир уже не столько Пруфрока, сколько элиотовского же «Геронтиона» — старикашки, являвшего собственную несостоятельность уже не перед лицом любви, а перед лицом смерти). Новый человек был свободен так, как истинно свободен потерявший все. Он готов был бросить свое «посметь» и навстречу любви, и навстречу смерти. Для Камю его «свобода» была прежде всего «правом не лгать», для Сартра она означала возможность поступка (канва его мысли, в сущности, есть бесконечная рефлексия на тему героизма и трусости).

На сцену истории вышло рожденное «полыми людьми» и воспитанное Камю и Сартром поколение беби-бумеров — *экзистенциальный человек*. Вначале он с отвращением отворачивался от этого мира (битники), затем пытался создать независимую от него конгрегацию (хиппи), живущую по законам любви, потом пытался подвергнуть его революционному преобразованию (йиппи, парижские студенты). В мае 1970 года национальная гвардия расстреляла демонстрацию в Кентском университете (США), убив четырех студентов. Это был знак свершающихся перемен, и не нужно было, как пел Боб Дилан, спрашивать синоптика, чтобы понять, куда дует ветер (черно-белый, пронизывающий все ветер холодной войны).

В 70-х экзистенциальный человек растерянно и недоуменно глядел, как вихри его революции приручаются властью, как входит в тираж, покупается и усваивается его «музыка революции». Такая ясная, яркая и простая в 60-х, она становилась все более напыщенной и тяжелой, уходила в заумь, барокко и декаданс. И сам экзистенциальный человек бронзовел вновь поверженным Кориоланом, пока хиппи тихо угасли, а дети их подрастали. И, конечно, все это неминуемо должно было взорваться еще раз...

---

[15] «*Преобразовать мир,— говорит Маркс. Изменить жизнь,— говорит Рембо. Эти два лозунга для нас одно и то же*», — заявлял Андре Бретон. Сам Артюр Рембо (заслуживший своими творческими идеями звание «великого больного», «великого преступника», «великого проклятого», а также «великого мудреца») призывал слить поэзию с жизнью. А поскольку поэзия, согласно Рембо, — это обнажение первозданной реальности, замаскированной языком обыденного сознания, высшей функцией поэта объявлялся «*подрыв всякого смысла*» (dereglement de tous les sens). В дальнейшем, потрясенные событиями Первой мировой войны и мечтающие о революции, сюрреалисты под влиянием Фрейда стали определять поэзию как высвобождение подспудной энергии бессознательного, подавленного силами рассудка.

Посторонний, этот символ бунтующих поколений, всегда спокойный и равнодушный, замкнутый сам на себя «языковой остров» (Сартр), взрывался на протяжении повести Камю лишь дважды. В первый раз, когда солнце помутило его разум, поставив на край безумия, и когда, пытаясь вырваться из его власти, он и совершил убийство. И еще раз, ожидая гильотины в камере, во время разговора с кюре, пытающимся обратить его к Богу.

Лишь здесь, равнодушно принимавший до сих пор все нападки следователя и прокурора, дух Мерсо возмутится, и в расколовшем мир «пространстве абсурда» (generation gap — поколенческий разрыв) пробежит электрический разряд. Лишь здесь на миг сойдутся два его полюса, и вспышка ярости озарит эту пустоту — этот провал, в котором обрушивается мироздание и тонет всякий смысл, — какой-то безнадежной надеждой... Это «мгновение силы» и будет держать всю повесть и сделает ее по-настоящему значительным и пророческим произведением.

Что же происходит во время этой встречи?

Кюре пытается убедить Мерсо увидеть *во мраке темницы лик Божий*. На что тот отвечает, что когда-то давно, может, и искал тут чей-то лик, и *он сиял, как солнце, горел пламенем желания,* но *это было лицо Мари*... Но ведь и ему случалось *желать вечной жизни*, — настаивает кюре. Конечно, случалось, соглашается Мерсо, *но в таком желании смысла не больше, чем в желании разбогатеть или стать красавцем*... «*Мы в разных лагерях,* и *вы мне не отец*», — бросает Мерсо на вопрос священника, почему он называет его «господин кюре», а не «отец мой». И когда тот пытается, положив руку на плечо Мерсо, убедить его, что он с ним, что будет молиться за него, он, наконец, взрывается и в *порывах негодования и злобной радости* изливает все, что скопилось в его сердце. Со дна души он выносит свой символ веры, состоящий, в сущности, из двух пунктов: что *все небесные блаженства не стоят одного-единственного волоска женщины* и что по-настоящему реальна лишь смерть, от которой он имеет мужество не бежать в бесплотную мечту. И подтверждает свои слова горячей отповедью: *Я был прав, и сейчас я прав и всегда был прав. Я жил так, а не иначе, хотя и мог бы жить иначе Я словно жил в ожидании той минуты бледного рассвета, когда окажется, что я прав. Ничто, ничто не имело значения, и я хорошо знал, почему... Из бездны моего будущего в течение всей моей нелепой жизни подымалось ко мне сквозь еще не наставшие годы дыхание мрака, оно все уравнивало на своем пути, все доступное мне в моей жизни, такой ненастоящей, такой призрачной жизни. Что мне смерть «наших ближних», материнская любовь, что мне Бог, тот или иной образ жизни, который выбирают для себя люди, судьбы, избранные ими, раз одна-единственная судьба должна была избрать меня самого, а вместе со мною и миллиарды других избранников. Все кругом — избранники. Все, все — избранники, но им тоже когда-нибудь вынесут приговор. И господину духовнику тоже вынесут приговор. Будут судить его за убийство, но пошлют на смертную казнь только за то, что он не плакал на похоронах матери...*

И после того, как кюре в слезах покинет его и *чудный покой тихой летней ночи* вдруг вольется в грудь Мерсо, испытавшему, наконец, чувство *освобождения* от мира, который становится ему теперь (и уже навсегда) *без-*

различен, он вспомнит о маме (*никто, никто не имел права плакать над ней*) и засвидетельствует свою готовность *все пережить заново*. Гнев, очистивший его от злобы и изгнавший надежду, даст ему силы. И, *взирая на ночное небо, усеянное знаками и звездами,* он впервые откроет душу *ласковому равнодушию мира,* постигнет свое братское родство ему и осознает, *что был счастлив*, что *счастлив и теперь...*

Так, протянув свое «все равно» между солнцем и нищетой, двумя порывами, полюсами опустошенной вселенной, человек отчаяния будет идти над бездной, неся свою священную свободу как флаг, цепляясь за мгновения бытия, маленькие радости плоти и поцелуи солнца. Каждым словом своих абсолютных формул свидетельствуя об ужасе жизни без любви и закономерно кончая свою исповедь словом «*ненависть*». И ничто не могло передать пути экзистенциального человека, его счастья и отчаяния лучше рок-музыки, этого эпоса XX века, подобного чем-то древнегреческой «трагедии рока», с ее катарсисом и пафосом единения. Трагедии, вырывавшейся из самого сердца сотрясенного «расколом атома» мира и обращавшейся непосредственно к *тебе...*

К середине семидесятых «*человеку против целого мира*» пришло время еще раз взорваться, излить свою душу в последнем ожесточении, чтобы затем, обернувшись на самого себя, стать «*человеком, равным миру, наедине с собой*». И для полного завершения своей судьбы, он собирал теперь новый «собор», желая лишь одного: *пусть в день моей казни соберется много зрителей, и пусть они встретят меня криками ненависти...*

Анархия в объединенном королевстве

No future!

Такой и была философия панка, этого ночного отражения солнечного полдня калифорнийского «лета любви». Панк-революцию (англ. punk — подонок, хулиган) часто называют удачным арт-проектом (указывая на владельцев магазина модной одежды Малькольма Макларена и Вивьен Вествуд, придумавших Sex Pistols и атрибутику панка). Конечно, так это во многом и есть. Но, во-первых, этот блестящий художественный проект был подготовлен полувековым опытом дадаистов, сюрреалистов, ситуационистов, йиппи и парижского мая 1968-го[16].

---

[16] В свое время на вопрос о невнятной и маловразумительной платформе йиппи Эбби Хофман отвечал: «*Ясность — вовсе не наша цель. Наша цель вот какая: сбить всех с толку. Беспорядок и кутерьма, сумятица и сумбур разят цивилов наповал. Нас не понимают — и это замечательно: понимая нас, они бы нашли способ нас контролировать. <...> Нами нельзя манипулировать — ведь мы миф, который сам себя создал. <...> Мы взрываем динамитом клетки головного мозга. Мы заставляем людей пережить перемены, вовлекаем их в действо уличного театра — все равно, каким бы ни был их отклик... Наш враг — человек в униформе. Без нее все они — славные люди. Голые — все, как братья... Мы — живой рекламный ролик, ожившее кино. У нас нет программы. Программа сделала бы наше движение бесплодным. Мы — воплощенное противоречие. Я не могу этого объяснить. Я этого и сам не понимаю*».

Да и не Макларен, конечно, панк придумал. Тень на яркое солнце калифорнийского лета бросили еще Doors своими призывами «*прорываться на другую сторону*», сокрушая всяческие табу. Еще Игги Поп в благословенном Вудстоке полосовал себя стеклом на сцене и обкладывал толпу далеко не «цветочными» текстами, получая в ответ град бутылок. Энергия нового бунта в наэлектризованном воздухе 70-х уже была разлита, и дух ее носился над безвидной пустыней умирающей революции. И, конечно, нашелся человек, который почувствовал, что́ нужно делать.

Малькольм Макларен спровоцировал бунт, во многом подобный парижскому, использовав идеи ситуационизма, которым сильно увлекался.

Основателем ситуационизма — движения левых интеллектуалов, близкого идеям «культурной революции» и анархизму, был француз Ги Дебор, изложивший свои взгляды в книге «Общество спектакля» (1967). Целью движения была, само собой, — революция. Ее субъектом объявлялась творческая молодежь, предпосылкой — революция сознания, методом — «*продуцирование контркультуры и контркультурных ситуаций*» (то есть, иными словами, провокация и экстремизм). Ситуационизм стал во многом детонатором «красного мая». Начало студенческим бунтам положил захват студентами-ситуационистами Страсбургского университета в 1966 году. Под влиянием ситуационистов находился и захваченный студентами филиал Сорбонны в Нантерре, и движение «22 марта», предводительствуемое Рыжим Дэни. Главные лозунги парижского мая были ситуационистского происхождения. Дальше, однако, дело не пошло. Последователей «революции сознания» оказалось на поверку совсем не много. Ситуационистам не удалось договориться даже с близкими по духу маоистами и троцкистами. Позже Ги Дебор напишет, что *революция против спектакля сама превратилась в спектакль*. В 1972-м он распустит Ситуационистский интернационал, когда в нем будет состоять всего два человека (впрочем, более 40 человек движение никогда и не насчитывало).

Однако в 1975 ситуационистские идеи с блеском использовал Малькольм Макларен в создании Sex Pistols[17].

Одной из оставшихся в анналах истории акций йиппи было выдвижение в 1968 году в кандидаты в президенты США от йиппи поросенка по имени Пигасус под лозунгом: *«Они избирают президента, и он будет пожирать людей. Мы изберем своего президента, и люди его съедят!»* А через 10 лет, осенью 79-го года, лидер американской панк-группы Dead Kennedys (Мертвые Кеннеди) Джелло Биафра баллотировался в мэры Сан-Франциско. Главным пунктом его предвыборной программы (от начала до конца, конечно, совершенно глумливой) было предписать всем чиновникам ходить на работу в клоунских нарядах. Из десяти кандидатов Биафра в первом туре занял четвертое место, что заставило власти запаниковать и издать указ, запрещающий баллотироваться кандидатам со смешными именами. Что смешного нашли они в фамилии Биафра, до сих пор не совсем ясно. Псевдоним, который взял себе Dead Kennedys, — название небольшой африканской страны, почти все население которой вымерло с голоду после блокады, устроенной Англией с Америкой (кстати, после этой истории Битлз вернули свои награды английскому правительству).

[17] Костяк группы был сформирован еще в 1972 году, когда два школьных товарища, Стив Джонс и Пол Кук, начали вместе осваивать игру на

Процесс, что называется, пошел. Задорный экстремизм «придурков», «хулиганов» и «идиотов» под черным знаменем анархии в мгновение ока разбудил дремавший дух революции, снеся вязкую тягомотину надменных, расфуфыренных рок-идолов и еще раз заставив вздрогнуть приличное общество и истеблишмент, уже приручивший было хиппи.

Панк бунтовал не только против системы, но и против идеалов самой цветочной революции, объявляя хиппи войну. Вместо цветочной радуги — черное знамя анархии, вместо любви — ненависть и агрессия, вместо цветов и полян — подвалы и отбросы городского дна. В целом, конечно, полная достоевщина плюс чистое и бескомпромиссное вдохновение молодости... Вы считаете нас отбросами? Мы отбросы и есть. И пошли вы с вашей любовью, и *все небесные блаженства не стоят единственного волоска*... И нет никакого будущего, а только вот эта самая ситуация — короткое, но такое настоящее *настоящее*. Так и возьми его: пой, как можешь, играй, как умеешь, *живи быстро и умри молодым*...

Соединив экстремизм сюрреалистов, пессимизм битников, хипповскую завороженность волшебным мигом и революционный драйв йиппи, панк стал настоящей, дух захватывающей экзистенцией. Только уже не в радужной эйфории психоделических трипов (ЛСД и травку сменили героин и эфедрин — наркотики одноцветные и экстремальные, не «освобождающие» сознание, а прожигающие душу насквозь), а в прямом, освобожденном от всякого смысла и рефлексии, действии. Голая, живая энергия (главное, последнее слово!), последняя нищета минимализма. Словно собрав последние силы, поверженный Кориолан (*человек против целого мира*) рванулся из своих пут в свой последний отчаянный штурм...

Секс пистолз стали идеальным катализатором бунта. Волна, которая поднималась вслед за их концертами, мгновенно кристаллизовала панк-движение по всей Англии, а затем и в Америке.

Символом и лицом движения стал Сид Вишез — легендарный басист Секс Пистолз и идеальный сумасшедший. Во всей красе Сид предстает в

музыкальных инструментах. Будучи *тедди-боями*, то есть выходцами из рабочего класса, стремившимися подражать «золотой молодежи», Джонс и Кук были завсегдатаями магазина одежды «Too Fast To Live, Too Young To Die», принадлежащего Вивьен Вествуд и Малькольму Макларену. Именно тогда у последнего родилась идея создания провокационной группы. В августе 1975 года в магазин Макларена, называемый теперь «Sex», зашел Джон Лайдон, тоже, как и Джонс с Куком, выходец из местной низшей социальной среды. Его внешний вид моментально притягивал внимание: фиолетовые волосы, зачесанные в беспорядке вверх, рваная футболка с надписью «Pink Floyd», поверх которой фломастером было выведено «ненавижу», маникальный взгляд, — он казался готовым недостающим элементом. Лайдону на месте организовали прослушивание: он пропел под пластинку Элиса Купера и был приглашен в состав коллектива. Вскоре было придумано название группы: «Sex Pistols» (заимствованное, по одной из версий, из заголовка порно-журнала, по другой, — так называлась уличная группа в Нью-Йорке, увиденная Маклареном). Лайдон взял себе псевдоним «Джонни Роттен» («Гнилой»). Роттен задал стиль и имидж группы и стал автором всех текстов. 6 ноября 1975 года состоялся первый концерт.

знаменитых кадрах из спродюссированного Макларен фильма «Большое рок-н-рольное надувательство», где, распугивая ветеранов, он разгуливает под шансон «La Anarchie» по еврейскому кварталу Парижа в ядрено-красной майке с огромной жирной свастикой на пузе. Вот он — ситуационизм в действии! Идеальная провокация и роскошный спектакль, обеспечивающий чистый адреналин, незамутненную радость бытия-экзистенции, да и (чего уж там!) максимальную прибыль.

Еще одна, не менее символическая сцена фильма — Сид, выходящий на подмостки оперы (*Остальные могут погреметь драгоценностями*), исполняющий свою прощальную арию, а затем достающий револьвер и... *Самый простой сюрреалистический акт состоит в том, чтобы с револьверами в руках выйти на улицу и стрелять наугад в толпу, сколько хватит сил.*

Секс Пистолз стали идеальным итогом революции, остатки духа которой были проданы по максимальной, лучшей, беспрецедентной цене.

Собственно, вся эра Секс Пистолз (как и лето любви 67-го) уместилась в два сумасшедших года, ровно через десятилетие. Уже в 1977-м группа распалась.

А 16 августа 1977-го умер бог рок-н-ролла Элвис[18].

Символ и легенда панк-рока Сид Вишез умер на следующий день после возвращения из тюрьмы (разбил бутылку о чью-то голову) от передозировки героина. Причем героин этот, как утверждают, замутила ему собственная мать-хиповка. Случилось это 2 февраля 1979 года. В День сурка. Еще одна эпоха осталась позади.

А экзистенциальный человек, прорезав, как тело бритвой, быстрыми огненными линиями последних метеоров, элементарных частиц, сгущающийся мрак, выплеснув *в порывах негодования и злобной радости* все, что скопилось в его сердце, оставался наедине с собой и своим опустошением...

To be or not to be...

Меж помыслом и поступком,
Меж замыслом и твореньем,
Меж вожделеньем и спазмом
падает тень...

Т. Элиот

Отвлечемся ненадолго и оглянемся.

Историю мира можно представить как историю постепенного раскрытия человеческой личности, рост цветка из сырого земного чрева. Греческая мысль не знала личности, жизнь отдельного человека была растворена

[18] 16 августа — вообще дата знаменательная и любопытная. Это день смерти Ницше и день Хиросимы. 16 августа 1960 года открылась по сути история Битлз. Именно в этот день Леннон, Маккартни, Харрисон, Сатклифф и Бест (*«The Silver Beatles»*) покинули пределы Англии и отправились в Гамбург, где провели 4 с половиной месяца. А 16 августа следующего года «Beatles» кристаллизовались в своем классическом составе (Бест покинул в группу, а Ринго Стар вошел в нее).

в жизни племени, рода, полиса. Соответственно, и смерть его воспринималась как смерть клетки единого организма, не становясь личной трагедией. Но к началу христианской эры человек дорос до индивидуального сознания и, достигнув совершеннолетия, ужаснулся смерти (греческие трагики, затем римские поэты, особенно Гораций, для которого тема личной смерти стала главной). Со дна афинского амфитеатра он исторг вопль о тщетности человеческого бытия и надежде на бессмертие («Памятник» Горация). Навстречу этой надежде и явился Христос, неся благую весть о непреложной ценности человеческой личности (*Я сказал, вы боги*) и личном бессмертии, достижимом в подвиге преодоления себя и мира. Но потребовались века, чтобы весть эта была усвоена сознанием мира. Данте, благоустроивший средневековый космос, восславил неукротимый дух человека, преодолевающий любые препятствия на пути к своей высокой любви. Леонардо и другие титаны Возрождения с изумлением раскрывали самого человека как живой, полный красоты и гармонии космос.

Вслед за титанами пришли люди. На пороге Нового времени человек-личность, наконец, открыл глаза и... замер на границе света и тьмы. И первое, что открыл он, осознав себя свободной и ответственной за свое бытие (экзистенцию) личностью, — мир, погруженный в смерть, и себя в нем как «квинтэссенцию праха».

Гамлетовская душа, этот распускающийся цветок личности, являлась из мирового навоза, мира, хоть и называющего себя христианским, но погруженного в «датскую гниль» неслыханных преступлений (от которых, как говорит тень отца Гамлета, *волосы встают на голове стоймя*).

Гамлет (новый человек, студент) глубоко чужд всей этой «датской гнили». Но это — не чужая ему гниль, но его собственное прошлое, его собственная природа. И дух этого прошлого, вынуждающий брать на себя его грехи, заклинает своего потомка к мщению. И его собственная любовь, и преступление матери вынуждают его клясться этому сумрачному духу, этой высланной адом священной тени отца...

Трагедия человеческой личности, вечного Адама, сквозь все времена и эпохи и ныне, как прежде, с сорванным плодом в руке стоящего под сенью Эдемского древа и погруженного в сумрачное раздумье, — *To be or not to be?* В миг осознания своей свободы осознающего себя «квинтэссенцией праха», ощутившего себя подлинно человеком, теряющего веру... Раздвоенный и бессильный дух...

Так, впоследствии Фейербах, говоря знаменитое *человек человеку бог*, упразднял своим словом Бога, отворяя двери марксизму. Так, затем страдающий Ницше, потрясенный смертью Бога (*мы убили Бога, мы — убийцы из убийц!*), вынужден ставить человека «по ту сторону», заставляя его быть богом вместо Бога, убитого им. Так, Камю и Сартр, объявляя человека равным всей целокупности мира, вынуждены лишить его надежды...

Так, пережив свой солнечный полдень и багровый закат, экзистенциальный человек, этот новый Гамлет, с глазами, отразившими атомное солнце Хиросимы, застывший «между вожделеньем и спазмом», между последними всхлипами «пруфроков», «геронтионов», самодовольством свиноподобного гедониста «суини» (еще один элиотовский персонаж) и новой сво-

бодой человека, все потерявшего и никому не обязанного, возвращался, разуверившись во всем, к себе, к последнему опустошению породившей его великой войны...

Когда-то Томас Элиот, этот последний пророк европейской цивилизации, посетив после 20-ти лет отсутствия Америку в миг затишья между двумя мировыми войнами, описал символическую картину поля «последней битвы», в которой можно, наверное, увидеть и этих бунтарей с их подстреленным на взлете вдохновеньем и отчаянными попытками полета в небе, лишенном тверди. Их искрошенную субстанцию «сахарных кубиков» ЛСД, их отчаянный шум и клики, на мгновение смутившие крадущееся в молчании *зло* и крепкие лишь памятью изначальной, по ту сторону бытия, сути...

Здесь голоден ворон и оленя отыщет лишь пуля,
Меж вереском пряным и жидким небом взлет вдохновенья иссяк,
Суть искрошилась в скудных приливах горячей луны и холодной луны
Пути задохнулись и привели на мыс безразличия посреди вековечной войны,
к усталости сломанных копий...
Шум и клики, смутившие *Зло*, что в молчаньи крадется,
Только память крепка по ту сторону плоти и кости. Гордость
падает, но еще так длинна ее тень, ложа смерти длинней,
пока с ним не сольется[19].

И, теряя последние токи жизни, в ожиданье, пока тень падающего Кориолана не сольется с его ползущей по земле тенью в последнем смертном объятии, экзистенциальный человек, осознавший себя миром, вселенной, островом в океане несущего мрака, застыл над бездной своего сердца. И тень войны, которой был он рожден, постучалась к нему, лишь только он остался наедине с собой...

В сердце тьмы...

Встань в тень этой багровой скалы,
И я покажу тебе ужас в горсти праха...
Т. Элиот

Если долго смотреться в бездну, бездна начинает смотреться в тебя.
Ф. Ницше

Год смерти короля рок-н-ролла стал и годом рожденья Joy division, самой, наверное, удивительной, после Битлз, легенды рока. (Если быть совсем точным, Joy division родились в 1976-м на манчестерском концерте Sex Pistols, где все будущие участники и перезнакомились.)

...Ни радужной эйфории шестидесятников, ни помпезности идолов семидесятых, ни отчаянной злости панка. Простые рубашки, обычные стриж-

[19] Перевод В. Можегова.

ки, сумрак сцены с выхваченным из тьмы человеком, несильный, бесцветный голос которого («*языковой остров*», *нулевой градус души*) доносился, кажется, из такого мрака, где еще не бывал никто, выговаривал нечто такое, от чего кровь стыла в жилах и мороз пробирал до костей...

«*Если мир расколется, трещина пройдет по сердцу поэта*», — заметил Гете. Ян Кертис был, несомненно, тем самым поэтом (и поэтом подлинным). Круг чтения: Вордсвод, Достоевский, Ницше, Кафка, Уильям Берроуз, история Второй мировой. Символично и название: Джой Дивижн (Joy division — «Контора радости», «Центр развлечений»), — так в романе Кароля Кетински «Дом кукол» («The House Of Dolls») назывался публичный дом в немецком концлагере, вернее, барак, где эсесовцы насиловали красивых молодых евреек, перед тем как отправить их в газовые камеры. Таким было самоощущение экзистенциального человека на пороге 80-х: голая, загнанная в застенок, бьющаяся в конвульсиях сердца душа (это почти не метафора, Кертис страдал эпилепсией, и припадки порой случались прямо на сцене)...

Лучше всего это самоощущение передает знаменитая фотография Антона Корбайна, на которой четверка Joy division спиной к зрителям стоит наверху уходящего вниз эскалатора, словно перед спуском в ад...

Существовать. Но что это значит?
Я как будто существую, но сознаю лишь,
Как мое прошлое становится моим будущим,
А настоящее ускользает от меня.

Этот мучительный, осыпающийся путь над пропастью, балансированье на границе ночи продолжалось всего около трех с половиной лет и закончилось катастрофой. В закрывающей последний альбом Closer (Закрывающий) песне «Decades» (Десятилетия), полной какой-то невыразимой, бездонной печали, Кертис пел:

Вот эти юноши, и вся тяжесть на их плечах.
Вот эти юноши, но где радость их жизни?
Мы стучались во врата самых мрачных адских палат
до тех пор, пока они нас не втянули...
С высоты птичьего полета мы все это видели снова:
Картины боли и вырождения, выстраданные нами горе и плен...
Где теперь эти жизни? Где теперь эти жизни?

Мы были там и там, — мы утратили наши сердца навсегда,
Получив взамен страх и крадущийся по пятам ужас.
Их ритуалы возвращали нас к началам наших скитаний,
И двери захлопнулись перед самыми нашими лицами...

Этой песней Кертис отпел не только себя, но все свое поколение. И повесился (ему не было еще 24-х) за день до начала первых американских гастролей, обещавших стать, подобно первым американским гастролям Битлз, триумфальными (из Штатов Joy division дважды приходили предложения на миллионные контракты, которые они просто проигнорировали).

Из дневников Яна известно, что накануне смерти он смотрел только что вышедший фильм «Апокалипсис сейчас» Френсиса Копполы, где Марлон Брандо, сидя в самом «Сердце тьмы»[20], читает «Полых людей» Элиота:

Мы полые люди,
чучелолюди,
Чешем в затылках.
Увы! — Солома у нас в головах.
В наших гортанях
Шепот, и только.
Смысла нет в наших толках —
Словно ветер в иссохшей траве
Или крысы на битых бутылках
В погребе нашем, что пуст.

Призрак без формы, тень без цвета,
Мышцы без силы, жест без движенья...

Известно также, что перед самой смертью Ян ставил пластинку Игги Попа «Idiot» и смотрел фильм Вернера Херцога «Stroszek», главный герой которого (полубезумный Бруно С., найденный Херцогом то ли в тюрьме, то ли в сумасшедшем доме, играл, по сути, самого себя) — затравленный хулиганами уличный музыкант — эмигрирует в Америку в поисках счастья, расстается там с последними иллюзиями и ночью кончает с собой в центре аттракционов, предварительно включив всю иллюминацию. И его мертвое тело в электроавтомобильчике еще долго катается среди фальшивых огней...

Шорох иглы по пустой дорожке... шуршание пустого экрана... качающаяся тень на пустой кухне... — это тоже был символ. История рок-н-ролла — этой сумасшедшей революции, этой странной церкви обреченных в обреченном мире — шла к концу. И Кертис стал черным солнцем рок-революции, закрыв ее так же, как Элвис ее открыл.

Joy division породили целый культ, открыли новое измерение в музыке и сознании экзистенциального человека, но все это было уже какой-то иной жизнью... Жизнью после смерти? Родившийся при атомной вспышке Хиросимы, экзистенциальный человек прошел свою часть пути по выжженной мировой пустыне и в миг своего совершеннолетия узрел солнечный полдень Калифорнии. Очень скоро «окно в небо» превратилось в «двери восприятия». Когда же, наконец, двери эти были взяты штурмом, из них попер инфернальный мрак... Из *бездны будущего подымалось дыхание мрака,* жить, как обычный обыватель, с этим адом внутри он уже не мог, двери прошлого перед ним захлопнулись. Что ему оставалось делать, бездомному, на этой дороге без начал и концов, открытому всем ветрам мироздания?

[20] «Сердце тьмы» — название романа Джозефа Конрада, по мотивам которого поставил свой знаменитый фильм Коппола. Цитатой из него предваряет своих «Полых людей» и сам Элиот.

Излечение

Я бы встал пред тобой на колени, / Просил бы прощения и умолял,
Но я знаю — уже слишком поздно, / и сделать уже ничего нельзя.
И я просто продолжаю смеяться, / пряча слезы, что щиплют глаза.
Ведь парни не плачут, парни не плачут...

Boys Don't Cry, the Cure

И, конечно, как в каждой королевской семье, у Кертиса нашлись прямые наследники. Те, кто смог выразить самоощущение души экзистенциального человека пост-рок-н-рольного времени.

Восьмидесятые какой-то новой тенью вставали над миром. Сам 80-й стал своеобразным — через 12 лет — отражением 68-го: советские танки в Афганистане, Ирано-иракская война, американские заложники в Иране, «Солидарность» в Польше. Смерть Высоцкого в Москве, Джо Дассена в Париже, убийство Джона Леннона, смерть Марли и Кертиса. Что-то нарастало в воздухе на этом новом переломе века.

В 80-м начинавшая вместе с Джой Дивижн группа The Cure спела песню, представлявшую собой прямую аллюзию на роман Камю. Ее герой, стоя на залитом солнцем пляже с пистолетом в руке, размышляет: жив ли я? или уже мертв? Или же я на дороге, в пути? Может, мне повернуться и уйти прочь? Или же просто взять и убить араба («Killing an Arab»)[21]?

Экзистенциальный человек, вновь сгоревший в пепелище войны и вновь готовый *все пережить заново*, делал свой новый шаг с «начала начал» — залитого солнцем пляжа Камю. Была, однако, и разница. Роберт Смит, как и первые бунтующие бэби-бумеры, безусловно, ассоциирует себя с Мерсо, но не только...

Позже Смит признавался, что в 80-м смерть Кертиса стала предупреждением ему самому: «*Мне оставалось либо сдаться и покончить с собой, либо попробовать сделать из всего этого музыку*». И в следующем, 1981-м, он выпустил альбом Pornography («*надгробный памятник, величественный и ужасный*», — как писали критики) — самый, наверное, бескомпромиссно-экзистенциальный альбом в истории рока. Pornography (порнография) — это тело, оставленное любовью, оставленное жизнью. Тщательная дневниковая запись умирающей души. Его главная песня, невероятная по напряжению, «One handred years» (Сто лет, — в названии, безусловно, — аллюзия на «десятилетия» Кертиса), заслуживает того, чтобы привести ее текст:

Не имеют значенья, если все мы умрем,
рост наших амбиций на сидениях черных машин,
грандиозные планы и все остальное,
что проносится мимо, как новости радио;

[21] К вопросу о понимании. Точно так же, как критики, не разобравшись, сходу объявили Джой Дивижн фашистами, вышло и тут. Эта песня, несмотря на прозрачные литературные реминисценции, принесла лидеру Cure Роберту Смиту репутацию расиста. Глупость критиков довела парня до того, что на концертах он неизменно исполнял ее с рефреном «Убить англичанина».

кусок, пронесенный мимо твоего рта,
наш смех и молитвы о чем-нибудь большем,
и молитвы о чем-нибудь большем...
Пожалуйста, люби меня, но страх пересилит...
Прикосновение смерти, удар смерти...
Безысходней стрельбы патриотов,
что все еще делят наш мир, в борьбе за нашу свободу
(уже у каждого есть по куску, а борьба не кончается)...
Боль. И немного воспоминаний...
Маленькая девочка, ожидающая субботы...
Смерть отца, ее лицо, побелевшее в зеркале.
Тупая боль. Еще один оборот круга
и еще немного тому подобных дней ...
Хлопоты старика. Грим на мертвом лице.
Последний кусок посреди чисто убранной комнаты,
и солдаты, что лежат под желтой луной —
все оттенки освобождения под черным флагом столетья...
Лиловая полоса стягивает мне горло, открывает мне рот,
мой мозг взрывается, и мое сердце бьется, как тонущий тигр,
все выше и выше, все выше и выше...
Мы все умираем за то или за другое,
один за другим, все выше и выше...
целая сотня лет ощущений, целая сотня лет...

Конечно, найдутся в английской поэзии и «*лучшие слова в лучшем порядке*». Но рок — это ведь и не поэзия (да и не музыка), это сгусток энергии, взрыв, протуберанец, отчаянный прорыв к бытию, нечленораздельный вопль освобождения, предсмертный хрип, лишь в момент воплощения обретающий плоть и голос, слово, рефлексию и философию. Пульс мировой души и ее последний танец над бездной...

Такова и программная песня Pornography, из захлебывающегося катарсиса которой душа начинает свое погружение во мрак. Холод, заполняющий все, заставляя жизнь отступать все дальше — к состоянию эмбриона, и вот уже последний еще живой атом кричит, будто со дна мирового колодца: *Твое имя знает лишь лед в моем сердце, лед в моих глазах...* Мрак поглотил все. И все же из конца последней песни, как венком, обрамленной бормотанием мира, продолжающим свое бессмысленное вращение и после окончательной гибели, доносится: *Я должен победить эту болезнь, найти лекарство, должен найти...*

Собственно, The Cure — и есть лекарство (излечение), или, если прочесть это слово по-французски, попросту *кюре* — священник. Так, благодаря The Cure не только Мерсо, но и его антагонист *кюре* входят отныне в парадигму экзистенциального человека. И это кажется неизбежным. Из инфернального мрака, поглотившего Кертиса, у него и не было иного выхода. Экзистенциальный человек оказался между Мерсо и кюре в этом духовном космосе. В этой пустоте между двумя сторонами треснувшего мира, пронизанной электрическими разрядами боли и ярости, напряжения их невозможной встречи. В бездне, в которую с двух сторон двумя потоками

обрушивается гибнущее бытие (экзистенция) в состоянии вечного крушения и борьбы....

Восьмидесятые породили целую плеяду интеллектуальной музыкальной культуры (движение независимых) с ее глубокой рефлексией на тему жизни и смерти, правды и лжи, собственной несостоятельности: величественные хоралы Dead can dance и сладкоголосые сирены Cocteau Twins, мрачная готика Bauhaus и Sisters of mercy, отчаянная экзистенция The Cure и Ника Кейва, индустриальные симфонии Einshturzende Neubauten, апокалиптик-фолк Dead in June, Sol Invictus и Current 93...

Все это открытое Джой Дивижн созвездие с его зрелой экзистенциальной философией можно было бы назвать даже возрождением. В любви к Джой Дивижн признавались и U2 (ставшие музыкальным мейнстримом 80-х), и Дэвид Боуи, и Брайан Ино с Дэвидом Бирном (да и нынешние «костюмированные» готы и эмо с их завороженностью смертью и самоубийством берут начало отсюда).

Но самыми классически безупречными, подлинными выразителями души экзистенциального человека 80-х стали все же The Cure[22], породившие движение готов, оказавшие огромное влияние на так называемый русский рок (в первую очередь, конечно, Кино, Алиса, Наутилус).

В Англии шутят, что иметь фамилию Смит все равно, что не иметь никакой. Судьба будто сама подсказала очередному «последнему герою» его роль: человек-маска, *никто*, «душа мира» в пространстве последней надежды («*Созерцанием конца света с улыбкой на лице*» назвал кто-то из критиков философию Cure)... Надежды на то, например, что вера Бога в человека окажется сильнее его собственных, человеческих, веры и безверия: *Удержи меня, если я упаду, верь в меня сквозь тлен уходящих лет, дай мне правды* (песня «Faith» [Вера]). Но, конечно, это все та же личная, экзистенциальная надежда и вера, которую «последнему герою» не с кем более разделить: *Не поднимет никто ни руки, ни глаз, Всем хватает мертвых словес... Я прочь иду один. И вера — все, что есть.*

Но восьмидесятые — это уже время нового великого потрясения, центром которого станет Россия. Здесь будут происходить очередные главные события века, сюда будут устремлены взгляды мира, и здесь будут произнесены новые главные слова (извечного русского рока и русской судьбы) экзистенциального человека. И к нему, как к своему наследнику, обращал свой призыв человек Сартра и Камю. Завет своей вечной борьбы со всем миром и самим собой. Все, что он мог ему дать:

The Cure. Fight (Борьба) (*1987*)

Бывает, что нет больше сил
И не держит уже ничего
И поздно бежать
Бывает, ты просто старик.

[22] Роберт Смит, слава Богу, жив и поныне и не так давно порадовал готическую общественность новым не менее выдающимся, чем Pornography и Disintegration (1989), творением Bloodflowers (2000).

И время — сжиматься от боли,
И время — немного передохнуть...
И кажется — ничто уже не исправить,
И воли уж нет,
Но бейся, бейся, бейся,
Еще немного, не плачь,
Бейся, пока не пробьешься,
Или просто храни свой огонь,
Но не скули, как пес, бейся,
Запасайся небом,
Выжми хоть каплю,
Бейся, бейся, бейся,
И никогда, никогда, никогда
Не останавливайся...

И когда на тебя нахлынет разом
Вся твоя боль и восстанут все ночные кошмары,
Вспомни про свой запас неба...
Ведь тебе больше нечем будет платить
И нечего будет дать,
Нечего дать,
Нечего дать...

И вечный бой... Заключение

Душе я сказал: смирись! И жди без надежды,
Ибо ждала бы не то; жди без любви,
Ибо любила б не то; есть еще вера, —
Но вера, любовь и надежда — все в ожиданье.

Т. Элиот

Бессмертья, может быть, залог...
А. Пушкин

Ученик преподобного Силуана Афонского архимандрит Софроний Сахаров, автор одной из самых удивительных книг XX века — «Видеть Бога как Он Есть», вспоминал:

«С начала Первой мировой войны (1914) вести о тысячах смертей на фронтах в моем сознании погрузили все космическое бытие в непроницаемый мрак абсурда. Ни смерти, ни абсурда я не мог принять. Тогда внутрь меня вошла мысль-дух: все, что познал, все, что я возлюбил и что живит и вдохновляет меня, — все положительное и даже Сам Бог — умирает во мне и для меня, если я вполне исчезаю... Сильным было это переживание, оно приняло такую форму; человеческое Я может стать центром-вместилищем всего мироздания...

Человек есть не только микрокосм, но и микротеос», — столь велик замысел Бога о человеке. Потому и столь трагична его судьба, столь великому испытанию подвергается его, поистине божественная, свобода. Потому и

необходимо «*в какие-то моменты стоять на последней грани, грани между жизнью и смертью, чтобы "экзистенциально", или, как я предпочитаю выражаться, бытийно, познать нашу страшную ограниченность, наше скотоподобие в пределах этой земной жизни,*— говорил о. Софроний. — *Такое стояние на грани между смертью и жизнью несравненно более ценно, чем опыт космонавтов. Если последние, выходя из области земного притяжения, входят в иной мир, где действует уже не земная "механика", а небесная, где естественно должна возникать мысль об абсолюте, где чувство бесконечности становится более реальным, то тем более мы, в нашем напряженном стремлении к всеобъемлющему познанию, должны получить способность к этому великому богоподобному Акту Любви, обьемлющей всю тварь, выходящей за пределы всего тварного, к Создавшему нас Безначальному Отцу*».

И, наверное, лишь в этих, высших своих онтологических измерениях может быть по-настоящему осознано наше время со всеми его невиданными потрясениями. В том числе и теми странными событиями второй половины XX века, о которых шла здесь речь.

Что же дала миру эта «экзистенциальная революция» сознания, кроме последней опустошенности человека и его «*отчаяния отчаиваться от отчаяния*» (Т. Элиот)? Не так уж мало. Она сказала об относительности всякой эмпирической реальности, указав на абсолютные смыслы: *личность, отношение, общность*. Устами Сартра она высказала известную христианству истину об абсолютной свободе, которая предшествует бытию[23].

---

[23] Замечательный русский богослов Вл. Лосский так говорит о том же: «*Если употребить аналогию (но в этой аналогии кроется весь смысл творения), этот дар подобен щедрости поэта. "Поэт Неба и Земли" — можем мы сказать о Боге, если дословно переведем с греческого текст Символа веры. Так можем мы проникнуть в тайну тварного бытия: творить — это не значит отражаться в зеркале, даже если зеркало есть первичная материя; это также не значит напрасно раздробляться, чтобы затем все снова в Себе собрать; творить — значит вызывать новое; творение, если можно так выразиться, — это риск нового. Когда Бог вызывает не из Самого Себя новый «сюжет», сюжет свободный — это апогей Его творческого действия; Божественная свобода совершается в сотворении этого высочайшего риска — **в сотворении другой свободы***» (*Лосский Вл.* Очерки мистического богословия Восточной церкви).

Несомненно, начала мысли Сартра — глубоко христианские по духу. Александр Шмеман? рассуждая о Сартре в своих Дневниках, приходит к выводу, что «*в конечном итоге, все — и в жизни, и в мысли Сартра — исходит из веры. И предпосылки — свобода и, конечная цель, человек — суть прыжки, leaps of faith* (прыжки веры), *они ни из чего не вытекают, ничем не доказаны, суть «абсолют» веры*». О религиозных источниках своего творчества говорит и сам Сартр: «*Идея святости, позаимствованная у католицизма, была вложена в изящную словесность, я не сумел стать верующим, поэтому увидел эрзац христианина в литераторе; ...я думал, что отдаюсь литературе, а на самом деле принял постриг... Я предался церкви. Воинствующий ее адепт, я искал спасения в творчестве; мистик, я пытался вторгнуться в молчание бытия раздражающим шорохом, и, главное, я подставлял имена на место вещей: это и значит веровать...*»

Но приведем и дальнейшие рассуждения Шмемана (справедливо называющего веру Сартра *надрывным атеизмом, верой в атеизм и религиозной*

Революция говорила об истине любви, которая выше всех истин («*Нельзя влюбиться в прирост промышленного производства!*» — лозунг Сорбонны), сокрушая главную ересь XX века — подавившую личность идеологию[24].

ненавистью к религии) об истоках этой странной веры *фанатического отказа и отречения*:

«*Одна причина, так сказать "положительная",— это радикализм, привитый христианством новой культуре, человеческому сознанию. Радикализм — то есть эсхатология, то есть отрицание «мира сего» как демонического "образа" во имя подлинного творения, божественного космоса. Вторая же причина, "отрицательная" (и даже демоническая),— это, конечно, гордыня, восстание уже личное против Бога. Сартр готов поработиться чему угодно — истории, «молодежи» и т. д., готов бичевать себя, но все это остается пронизанным неслыханной гордыней.*

Трагичнее же всего, конечно, это ответственность Церкви — и за отчуждение радикализма от христианства, и за антихристову печать этого нового, не христианством вскормленного радикализма; ответственность, укорененная не в грехах и слабостях, а в отречении от эсхатологизма, в принятии "религиозной функции", в замене веры — благочестием, Церкви — "освящением", панихидами и молебнами, Христа — "сладчайшим Иисусом", Божией Матери — сентиментальным причитанием, свободы сынов Божиих — рабьим страхом нарушить Типикон, спорами о "каноничности" и измерением "благодати", в замене богословия — "богословской наукой" <...> всем существом осознаешь и ощущаешь, что все тут (в Сартре. — *В. М.*) *— страшный, слепой, мучительный вопль о христианстве и к христианству.* ***Атеизм, пронизанный религиозной жаждой, с одной стороны; религия, пронизанная атеизмом, — с другой****: вот контекст, в котором нужно жить и работать! <...> У Сартра настоящая жажда смирения Он отвергает Бога, потому что он думает, что Бог — это гордыня и гордость, требующая порабощения, то есть признания гордости, смирения как онтологического закона Божия, утвержденного религией. И это подтверждается тем, что Бердяев называл «гордостью смиренных» и что является, увы, основным извращением христианского благочестия, действительного рабьего и рабской психологией пропитанного. Но если бы он — Сартр — понял, или не понял, а ощутил каким-то для него, как и для всей нашей культуры, недоступным "озарением", что смирение Божественно, а гордость — от маленького и мизерного дьявола, который первый "обиделся" на Бога и подумал, что Бог — "горд", то, может быть, все переменилось бы. Но это основное духовное недоразумение — об онтологии смирения — больше всего питается самой религией, больше того, есть исходная предпосылка религии, разрушенная Христом, но вечно возрождающаяся в религии, в присущем ей "антропологическом минимализме"».* (*Шмеман А.* Дневники, 2 мая 1974).

[24] Тот же арх. Софроний Сахаров писал об этом: «*Такая установка человеческого духа (когда природа превалирует над личностью) отражается и на всем познании вообще, на всем устройстве человеческого общества, на духе законов, на всем. И человечество оказывается в тупике: обьективный принцип, сверх-личный, имперсоналистический — подавил личность. Учреждение, общество, коллектив в сознании людей превалирует, и личность служит этим ценностям. Но поскольку такой порядок не может уничтожить того, что заложено Богом в творение, постольку непреодоленным оказывается конфликт между обществом и личностью. И сколько бы ни подавляли люди в самих себе "личное", это личное не перестанет искать оправдание и своему бытию, ибо, по существу говоря, живет-то действительно это лицо, а не безличная природа*».

Подвергая тотальному сомнению добросовестность любых человеческих истин, объявляя человека равным целому миру, она, в конечном счете, указывала на Абсолют.

Смысл эпохи постмодерна, которую эта революция открывала, мог бы быть выражен библейским: «*Еще раз поколеблю не только землю, но и небо*». И в том, что должны, в конце концов, быть поколеблены все истины, чтобы явилось неколебимое, — метафизический смысл бунта экзистенциального человека. Чтобы человек, предназначение которого во времени *разрушить самого себя*, стал (как говорит об этом католический философ Петер Козловски в книге «Культура постмодерна») *достоин своей гибели,* чтобы он дорос до своей смерти (если вспомнить концепцию Рильке о смерти, растущей вместе с человеком).

Потому можно согласиться и с о. Александром Менем, когда он говорит, что *христианская эпоха только еще начинается*[25]. И эта новая христианская эпоха рождается в отчаянии экзистенциального человека.

И это не прекращающее своей борьбы отчаяние, освобождающее от детерминизма и условностей каких угодно религий, оставляющее человека наедине с «возможностью Бога», может быть названо «*благословенным*» (арх. Софроний Сахаров) и «*надеждой последних дней*» (Христос Яннарас) и может оказаться самой высокой и чистой из человеческих надежд[26].

---

[25] О том же говорит и о. Софроний (Сахаров): «*В современном кризисе христианства среди народных масс вполне оправдано усмотреть* ***бунт естественной совести*** *против тех извращений, которым подверглось евангельское учение в его исторических судьбах... Нашу эпоху некоторые склоняются характеризовать как нехристианскую. Я же лично, в пределах моих познаний истории мира и христианства, убеждаюсь, что христианство, в его подлинных измерениях, еще никогда не было воспринято широкими массами, как должно. Государства претендовали на именование "христианские", и народы их носили маску благочестия, "силы же его отреклись": жили и живут по-язычески. Как ни странно, но именно христианские государства веками держат бóльшую часть вселенной в железных тисках рабства, в последние же годы окутали мир мрачною тучею ожидания апокалиптического огня*»...

[26] «*Там уже не важно, вечным ли будет мое "я", ведь если есть Ты —* ***это разрешает все***», — пишет современный греческий богослов Христос Яннарас... — Нас не интересует, вечным ли будет наше «я». Нам достаточно, что существует Тот, Которого мы любим. *Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, то живем для Господа, умираем ли, для Господа умираем. И потому, живем ли, или умираем — мы Господни* (Рим 14:7–8).

Весьма рискованно, — говорит далее Христос Яннарас, — *я бы дерзнул сказать, что то, что апостол Павел выражает как свидетельство, один «атеист» нашего современного образа жизни драматически выразил как вожделение (любовь). Жан-Поль Сартр писал: «Пусть Он сто, тысячу раз накажет, достаточно, что Он существует»! Эта жажда Сартра могла бы стать мерилом понимания надежды последних дней как эротического чаяния. «Новых небес и новой земли, по обетованию Христа мы ожидаем» (2 Петр 3:13). Логика нашего чаяния опять-таки является логикой* ***связи, отношения****, не логикой выводов естественного (научного) наблюдения. Мы ожидаем, что в конце концов, спасется любое самое малое проявление любви Божией, начиная с красоты незначительного полевого цветка до головокружительной гармонии движения*

*«Мы существуем как ответ на зов Божий осуществить бытие **как связь** с Ним... Мы не знаем ничего о последних (эсхатологических) фактах. Но это неведение "превыше всякого знания"»* (Христос Яннарас). И, конечно, превыше оно всякого религиозного фундаментализма, благостных речений церковной бюрократии и бодрых заклинаний «крепких государственников».

И возможно, дать миру это подлинное вдохновение веры и есть сегодняшняя (вечная) задача русской культуры: Рублев, Пушкин, Тарковский, да и наш пресловутый «русский рок», занятый, в сущности, лишь одним — исканием неба...

Конечно, это... предполагает риск (без которого и невозможна никакая надежда и вера). Ибо и в начале Творения был этот риск, и в нем, этом «Божественном риске», полноценное оправдание «философии существования». Вот как пишет об этом о. Софроний, вдохновенными словами которого я хотел бы закончить эту статью: *«Бог создавал мир, и главным образом человека, **рискуя**. И я, созерцая пришествие Христа на Землю, созерцаю и сей Божественный **риск** в пределах, доступных мне. Если Человек подлинно свободен, как образ и подобие Бога, то неизбежно мы мыслим, что Бог "в начале" создавал чистую потенцию и все, что затем следует в судьбах Человека, уже не зависит только от Бога Творца, но и от свободы каждой человеческой личности... В свободе человека — трагизм всей Истории мира. И Бог, несомненно, предвидел эту Трагедию, созерцал ее в Своей Вечности. Итак, Творение Человека есть тот **Трагический жест**, которым Бог-Отец бросает нас в бездны бытия, вызвав из бездны не-бытия Позади нас то **Ничто**, из которого мы вызваны творческим актом Бога. Да, мы брошены трагическим Жестом Бога в бытие, и теперь пред нами сей полет через бездны; полет страшный и вместе неописуемо великолепный, влекущий нас своим смыслом, порождающий в нас решительный отказ "принять" смерть. Да, да, нам нельзя остановиться в нашем устремлении к вечному; еще больше того нельзя нам "обращаться вспять"»*...

Past Perfect Continuous

Из множества временны́х форм английского языка та, что послужила названием этой главки, кажется, лучше всего подходит для обозначения длительного действия, начавшегося когда-то в прошлом и продолжающего-

---

галактик, от удивительной красоты поступи леопарда до света в глазах ребенка или того же света, который становится улыбкой на устах матери.

Мы чаем, что, как результат слова Божия, творческих действий Бога, спасется красота и премудрость небес и земли. «Тот рече и быша, и слово Господне пребывает во век». Да спасется все, свободное от необходимости, которая управляет тварью — от тления, страха, боли, смерти — спасется как нетленная плоть Сына, воссевшая одесную Отца. Да спасется и время уже не как преемство предыдущего и беспредел последующего и поэтому вызывающее лишь панику. Но да спасется время как свобода от всякого предопределения, как динамика удивлений «от славы к славе» в ощущения связи «лицом к лицу» с Женихом и нашей Любовью — Христом. (*Яннарас Христос.* Эсхатогогия: конец времени или освобождение от времени», доклад на международной богословской конференции в Москве).

ся в настоящем. Во всяком случае, автору показалось гораздо более уместным обозначить заключающие его рассуждения строки этим термином, нежели традиционным Postscriptum.

Если историю экзистенциального человека сравнить с рекой, то событие, о котором рассказывает помещенное ниже (необязательное к прочтению и вполне самостоятельное) эссе, — нечто вроде тихой заводи, островка или часовенки на ее берегу.

В марте 2008 года знаменитый голландский фотограф Антон Корбайн привез в Москву выставку своих работ и дебютный художественный фильм, рассказывающий о судьбе Яна Кертиса, самобытного поэта, лидера группы Джой Дивижн.

Голландец Антон Корбайн — достойный наследник метафизических традиций старых мастеров нидерландской живописи (крайне консервативный и в технике: не выносит «цифры» и вспышки, снимает на маленькую карманную камеру и старую монохромную пленку с гигантским зерном); сын лютеранского пастора, он и сам своего рода священник.

Словно последний иконописец цивилизации, стремительно погружающейся в какое-то новое кибер-Средневековье, он спешит запечатлеть остатки человека, которого эта цивилизация так же стремительно превращает в машину, куклу-андроида. Он снимает рок-музыкантов и актеров (этих последних экзистенциальных героев своего времени). Но его тема — не они. А та граница между «бытием и ничто», человеком и временем, подобным исчезающему на стекле дыханию, которую и сторожат выплывающие из тьмы лики его «святых». Мир Антона Корбайна — это остров, со всех сторон окруженный океаном забвения, солнечный зайчик памяти.

Сразу после «Дня Антона Корбайна в Москве» 20 марта 2008 года, который автору довелось посетить, он написал нижеследующее эссе, в котором стремился выразить ощущение, оставленное в нем этой выставкой и этим фильмом.

Письма на стене

И как о том поведать мне?
Вот если бы фонарь волшебный
сплетенье нервов вдруг явил на полотне...
Т. Элиот

1

Первое, к чему он подводит: четыре больших черно-белых портрета на белой стене — четыре такие знакомые с детства куклы (*я — пятая,* — бросает, усмехаясь). Напротив — еще одна знакомая с детства четверка на фоне Joshua tree (калифорнийский кактус «Иисусово дерево») под круглым ирландским небом. Слева — словно потемневшее солнце — блестящее черное лицо с расширенными глазами, которое закрыли большие черные руки... И наконец, эта знаменитая четверка наверху уходящего вниз эскалатора... Один из них чуть отстранился и обернулся, словно пытаясь избежать этого спуска в бездну. Kraftwerk, U2, Майлз Девис, Joy Division... Четыре метафи-

зические медитации на границе ночи — все население этой маленькой белой комнаты.

«*Я не снимаю звезд и ничего не знаю о них, я лишь следую за своим сердцем и делаю то, что люблю*». Действительно, в гипнотических вибрациях этого зерна, в размытых, выплывающих из рембрандтовской светотени ликах, не то, что «звезд», тел порой не разглядеть. Такое ощущение, что сквозь всю тяжелую плоть мира его камера как рентгеном стремится высветить одну голую душу.

Когда-то в юности, сыну деревенского пастора, ему стало тесно на своем крошечном островке в провинциальной Голландии, и, когда приятель принес пластинку Unknown Pleasures (Неизведанные наслаждения) Joy Division, он понял, что должен жить там, где сочиняют такую музыку. «*Я плохо знал английский и почти не понимал, о чем там поется, но было ясно, что* ***так*** *петь можно только о чем-то очень важном*». Перебрался через море, нашел Joy Division в Манчестере и уговорил их сделать тот самый снимок в метро. Через несколько месяцев, когда Кертиса не станет, этот снимок принесет ему первую славу...

Еще одна комнатка-обитель: огромная, во всю стену голова одинокого ковбоя... Вернее, одна огромная ковбойская шляпа, целиком накрывшая тенью лицо, обрамленное роскошной серебристо-седой бородой (Вилли Нельсон)... Напротив — бомж с мятой сигаретной пачкой в руке, притулившийся у дороги на фоне захолустного ларька с треугольной крышей и надписью «Eldorado» (Джо Кокер)... Слева насупленная, как большой ребенок, Бьерк — с куклой в бессильно повисшей руке... А вот Дэни де Вито (такой маленький, что даже за забор ему не заглянуть) отчаянно тянется за голубым (наверняка — голубым) воздушным шариком, ускользающим в небо... И, заключающее эту медитацию выплывающее из тьмы лицо в огромных черных очках и двумя далекими звездами, холодно сверкающими из самой глубины этого пугающего аутичного космоса, — Стивен Хопкинс, великий астрофизик... Еще одно «измерение», создающее пространство целой вселенной...

Однажды, когда с ним случился кризис среднего возраста, уже знаменитый фотограф, он, взяв ассистента и гримера, уехал домой, на остров своего детства. И там, в пейзажах родной деревни, снял себя в роли умерших музыкантов, которых знал и любил. Вот они: если бы я был Кейтом Ричардом, Элвисом Пресли, Френком Заппой (со взглядом только что вернувшегося с войны). А вот Антон Марли верхом на пограничном шлагбауме с футбольным мячом под мышкой, Антон Хендрикс, Антон Леннон в майке «New York» и с пальцами, однозначно утверждающими — виктория...

— *Видите шпиль? Это церковь, в которой всю жизнь прослужил мой отец. В детстве я так много слышал о загробной жизни, что, когда вырос, мне стала гораздо более интересна эта...*

— А кем бы из них вы хотели быть?

— *Если бы мне было двадцать лет? Вот им*, — указывает на взъерошенного, в тяжелой, кандальной цепи на голой груди, с глазами, независимо поднятыми к какой-то своей высшей му́ке, и со всеми морщинами, устремленными следом, — Антон Вишез...

Есть у него и Антон Кертис. Далеко, на колосящемся до горизонта желтом поле, вровень с огромной, накрывшей его тенью, он стоит одиноко на промозглом ветру, на границе тьмы и света ...

2

Когда-то Joy Division круто изменили его жизнь, принесли ему первое признание. А через тридцать лет его дебютный независимый, малобюджетный фильм о Joy Division (монохромный, черно-белый, как любит, как их запомнил), не успев выйти на экраны, завоевал целый букет фестивальных наград, включая признание в Каннах.

Фильм, впрочем, совсем не о музыке, а, как он говорит, *о простом, талантливом парне, которому очень трудно жить на свете со своим талантом... Этот погруженный в себя подросток в начале фильма, который, не обращая ни на кого внимания, идет по улице, закрывает дверь своей комнаты, ставит пластинку и падает на кровать, — это я сам. Я хорошо помню весь этот ритуал. И так же точно тихо ненавидел все вокруг. Все это не имело для меня никакого смысла, а в новой пластинке Дэвида Боуи заключалось все...*

Говорит, что в Англии он, деревенский парень, был поражен царящей здесь нищетой. *Этот засасывающий быт с кучей детей — это, на самом деле, чисто английский кошмар, из которого молодежь пыталась вырваться с помощью музыки.*

А вообще-то депрессивный Максфилд середины семидесятых, каким он предстает в фильме, мало чем отличается от быта советских новостроек восьмидесятых (каким он, например, запомнился автору).

Existence well what does it matter?
I exist on the best terms I can.
The past is now part of my future,
The present is well out of hand.
The present is well out of hand.
Heart and soul, one will burn.
Heart and soul, one will burn[27].

С этих строк из песни «Heart and soul» погруженного в себя человека, сидящего на полу своей комнаты, начинается фильм, зарождается эта жизнь в пустоте серых безликих домов... Лишь на мгновенье, словно предчувствуя катастрофу, она сверкнет едва возникающим чувством, музыкой, поэзией, любовью и начнет распадаться, возвращаться в свою пустоту, чтобы через несколько лет здесь же завершить свой круг.

---

[27] Существовать. Но что это значит?
Я как будто существую, но сознаю лишь,
Как мое прошлое становится моим будущим,
А настоящее ускользает от меня.
Сердце и душа, единой волей рожденные,
Сердце и душа, единой волей рожденные...

А там, вдали, на берегу
я вижу тысячи дрожащих огоньков,
чуть тлеющих в ночи,
Своих друзей, стирающих рубашки.
В моем сознании картины эти предвещают шторм...
Я слышу эхо голосов, затерянных в кварталах,
хранящее печаль бесплодных поисков погибших.
У вечности нет мест для наших жизней...

В фильме этих строк Яна нет, но их поэзия сгенерирована каждым кадром, иногда почти бесконечным в глубину, собирающим ее в такое же гулкое, вневременное пространство — пустое в пустое. Эта тщательно уловленная пульсация пустоты — история души поэта, единственно способной претворять ее в боль, трагедию, чудо. Полюса, создающие напряжение этой планеты, — неяркая, подспудная, завораживающая энергетика полустертой жизни. Вначале она просто цепляет своей бытовухой (слишком узнаваемой, чтобы не задеть за живое), но постепенно захватывает, нарастая, до катарсиса, до катастрофы...

Поэзия аптечного ящичка с ларгактилом... Рифма медленно убивающей эпилепсии, заставляющей каждую минуту находиться на грани кошмара... Метафора написанной рукой учителя мелом на стене формулы окисляющегося кислорода, -OH- которой, в окружении всех своих химических связей звучит как: *ох!* — последним вздохом, последним всхлипом... Поэзия жизни как формулы пустоты... И взгляд вверх — к метафоре ролика на потолке кухни, вращающего изо дня в день блок бельевой веревки... Так, день за днем, вздергивающей к потолку вначале твое выстиранное белье, потом — пеленки твоего ребенка, а потом... Потом ритм пустоты, отяжелевшей своим полновесным грузом, пресечется, и крик (но уже не твой) вскроет на миг ее вязкую немоту. И створки ее снова сомкнутся...

И в этой пустоте я вижу лица наследство промотавших,
объятые стыдом.
Вдали у берега я вижу и себя, стираю я рубашку,
В моем сознании картина эта предвещает шторм.
У вечности нет мест для наших жизней,
но ползать, умоляя, мы не станем,
стоять мы будем гордо,
скрывая страх и пряча все, что чувствуем и знаем,
что ныне далеко от наших глаз...

И как еще одно измерение души, раздавленной торжественно возложенным на плечи детей наследством отцов, песня «They walked in line» (Они идут по линии), начинающая историю Joy Division:

Им так к лицу униформа,
они идут, одетые в стыд всех своих преступлений,
прямо по линии, как машины,
у сердца хранят фотографии своих жен,
чтобы отмывать ими свои грязные руки.
Они идут по линии...

А больше ничего и нет в этой музыке, слушая которую, ощущаешь, — как кто-то метко заметил, — *не удовольствие от нее, а ее реальность.* Только сердце и душа, совлеченные всякого покрова и окруженные мраком предшествующих эпох, загнанные в ритмы блочных домов и их плоских крыш.

Сердце и душа, единой волей рожденные,
Сердце и душа, единой волей рожденные...

Кошмар ускользающей жизни. Трепет души, пойманной в клетку сердца... Трепет и воля, любовь и машина, палач и жертва в тесной камере пыток. И эпилептическая конвульсия — как результат их неизбежной встречи. История души, рвущейся на части между любовью и грузом вины, обнажающей последние, быть может, неподвластные еще крушению, связи:

Когда цели будничных битв обмельчали
И обиды крепчают, не задевая чувств,
Пытаясь изменить что-то, мы ступаем по разным дорогам,
Но любовь рвет нас на части, любовь рвет нас на части снова.

Холод в комнате. Ты отвернулась, и еще одна ниточка
Оборвалась. Но этот зов все еще держит нас,
И любовь рвет нас на части, рвет нас на части снова.

Твой плач во сне, обнажающий всю мою слабость,
И этот вкус на губах, за который я так отчаянно цепляюсь, —
Вот и все, что осталось, но любовь рвет все на части.
Любовь рвет нас на части снова...

И так, пока последняя нить, оборвавшись, не оставит в полной изоляции, наедине с единственным собеседником:

Из средоточия страха каждого дня
Он пристально наблюдает,
Вырывая из мыслей о себе,
Напоминая о верности и любви,
Зовя к совершенству и самозабвенью...
И сердце готово сдаться,
Но ранам его не снести этих прикосновений ...
Изоляция, изоляция, изоляция...

Метафора у Корбейна, как у Тарковского, обнажена до предела. Его Кертис поет «Isolation» в студии, один, в закрытом боксе, в наушниках, где музыки уже не слышно, и лишь одинокий голос бьется в пустоте:

Я пытался (мама, пожалуйста, верь мне),
Я старался, как мог,
Мне стыдно за все, что я делал,
Мне стыдно того, кем я стал...
Но если б ты только видела
Красоту вещей, что я не в силах тебе описать,
Исступление тех наслаждений...

Что ж, это и есть моя высшая награда?
Изоляция, изоляция, изоляция...

Безжизненный голос в холодных электрических пульсациях. История души, зашедшей слишком далеко в своем вглядывании в себя и выпытывании о себе правды, окруженной лишь своими мертвыми, лживыми отражениями, задыхающейся, предчувствующей свою гибель:

Кто унаследует эти странные сны, сотворившие
Каждый мой следующий день, указавшие цель
Каждой новой дуэли?
Что кричали, кричали, кричали,
Держали меня этим криком...

Но тени из прошлого встали,
Все наполнили лживыми голосами.
Победители ждут своей доли.
Кричат мне, кричат мне, кричат мне,
Держат меня этим криком...

В фильме Кертиса, исполняющего «Dead souls» (Мертвые души), прямо на сцене бросает в эпилептический припадок... А в следующий раз он уже просто не сможет выйти на сцену — «*они не понимают, как мне все это дается, как все это меня убивает*», и все кончится последним разгромом.

18 мая 1980 года в своем доме в Максфилде, отправив жену с годовалой дочкой ночевать к родителям, Ян повесился на своей кухне, написав в предсмертной записке: «*Я не в силах больше мучиться. Сейчас я хочу умереть*». А в фильме Корбайна будут еще опустошенные лица друзей и женщин, не поделивших его при жизни, и черный дым из трубы крематория, поднимающийся в пустое небо под растворяющиеся в бесконечности звуки «Atmosphere»:

Шаги в безмолвии
Смолкают...
В безмолвии,
Таившем угрозы,
Всегда только угрозы,
Стихает гомон.
Тают путы и
замешательства жизни,
Мои иллюзии и личины,
Столкновенья и умиранья
Тонут в безмолвии...

Они будут смотреть,
Как легко и спокойно
Ты будешь идти в этот воздух
Сквозь потоки, вдоль улиц,
Свободный от бремени,

Каждым зерном своим
Спеша торопливо покинуть
Свои долги и заботы...
Смолкают шаги
В безмолвии...

Вот и все. И никаких тебе длинных плащей и черных воронов. Так рушатся и гибнут миры, когда ты просто сидишь, запершись в своей комнате, за стеной которой гудит кухонный комбайн и глухо бормочет радио...

— Я пишу тексты для выдуманного фильма. Цель его сюрреалистического монтажа не передать смысл, а вызвать особое ощущение...
— А для кого поешь?
— Глупый вопрос. Кажется, здесь все ясно...
— И все же?
— Я пою для мертвых...

(*Из интервью Кертиса незадолго до смерти*)

И, видно, Корбайну удалось снять фильм, для которого Ян писал свои песни (кому же было еще?). Лишенный всякой мистики, кроме мистики обнаженной от всех наслоений жизни. Кроме поэзии пары рубашек, сохнущих на холодном ветру, — остатках чьих-то забытых и заблудших душ. Притчу о нескольких затерянных во времени и цивилизации людей. Драму поколения, если угодно, или — вечную историю человека в мире. Ему, говоря иначе, снова удалось написать икону.

3

Перед входом в последний зал выставки «Четыре измерения Антона Корбайна» — слева распятый ковбой (Дуайт Йокама,1992 год) — драные джинсы, крест на голой груди, раскинутые в стороны руки, упавшая на грудь голова под сомбреро... Справа — автопортрет: вписанный во что-то замысловато-небрежное профиль с полустертой над ним надписью: CORBIJN... «*Пока делал, сильно постарел*», — усмехается он (и правда: автопортрет сделан специально для выставки, а фотография-то двадцатилетнего) и приглашает в последнюю комнату — последнее свое «измерение»...

«*А здесь у меня — "разодетые"*» — так называет он звезд, играющих самих себя: Бликса Баргелд с железным трезубцем — скромный демиург своего маленького индустриального прихода... Величественный, почти гранитный Брайан Ино-пантократор... Трент Резнор с остекленевшим, отразившим космический холод взглядом... А напротив тени: Дэвид Линч и его длинный и тощий, как сама жизнь, кактус — погруженные в созерцание друг друга. Ник Кейв в рубашке с шагающими крестоносцами, и сам как последний крестоносец со своей удивительной аборигенской тенью — не тень, а дух предка!...

И наконец, завершающая всю выставку троица: слева — Том Вейтс, бегущий, как летовский дурачек, вслед за улетающим шариком... Справа (не может быть) — Ванесса Паради в кожаной косухе... «*Любовь, видите сердеч-*

ко?» — И правда, на кустике рядом что-то вроде маленького перевернутого сердечка... «*А этот здесь — самый главный*» — по центру, на фоне огромной школьной доски с каким-то невозможным спиралевидным нимбом, старательно нарисованным на ней мелом, восседает первый американский Мозг — Стивен Джей Гулд (американский Стивен Хопкинс), — воистину, отец, сын, и дух... ум, слово, любовь...

4

«Контроль» — так называется фильм Антона Корбайна. Почему «Контроль»? Наверное, не только потому, что так («She's lost control») называется песня (может быть, главная его песня), в которой Ян описал всю муку своей души и мистерию ее страстей. Контроль — это и метод самого Корбайна: *Я не снимаю людей, я снимаю идею* (нечто подобное когда-то говорил и Тарковский).

Смятение в ее глазах всем говорило
— она потеряла контроль...
Она цеплялась ко всем прохожим, и ясно было
— она потеряла контроль...
Она открывала всем тайны своего прошлого, и все понимали:
Она потеряла контроль
И слышала голоса, которые ей диктовали, и повторяла
— я потеряла контроль...

Она хватала меня за руки, и губы ее дрожали:
— я потеряла контроль...
И как я мог знать, когда даже близкие не понимали,
что значит — я потеряла контроль...
Она визжала, каталась по полу и кричала
— я потеряла контроль...
И что-то похожее на смерть вдруг входило и до конца ее сокрушало.

Она потеряла контроль снова,
Она потеряла контроль...

Как-то я позвонил ее другу, и он сказал:
Это случилось с ней снова. Снова она
шла, выставляя на показ подноготную своей души,
все, какие ни есть, грехи, в разных ракурсах и картинах,
и падала, и снова вставала на это лезвие, и смеялась и говорила...

Я не долго прожила на свете. И моя жизнь
могла бы предстать перед вами
В более выгодном для меня свете (со всеми ее мифами и ложью).
Но я так растерялась, когда все вдруг покрыла тьма,
А когда все уже кончилось и изменилось,
Я потеряла контроль (и мы с вами все уже там)...

Вот она, эта мистерия корчащегося в огне сердца и причудливых теней, отбрасываемых им на стены, застывающих на них в недвижных «ракурсах и картинах». Вся его бесконечность, вся любовь и вся уязвимость на краю ночи и небытия. И этот маленький остров с отраженными детской мечтой богами и кумирами. Жизнь, сжавшаяся до размеров крохотной деревушки на берегу великого океана, маленькой комнатки с белым экраном, здесь и сейчас — в тебе, к тебе обращающая все свои лики, как к последнему своему измерению (пусть, может быть, и не в слишком выгодном для тебя свете), исчезающая, как дыхание на стекле, и как будто шепчущая в последней надежде спасения:

Сохрани мою тень. Не могу объяснить. Извини.
Это нужно теперь. Сохрани мою тень, сохрани.
За твоею спиной умолкает в кустах беготня.
Мне пора уходить. Ты останешься после меня.
До свиданья, стена. Я пошел. Пусть приснятся кусты.
Вдоль уснувших больниц. Освещенный луной. Как и ты.
Постараюсь навек сохранить этот вечер в груди.
Не сердись на меня. Нужно что-то иметь позади.

Сохрани мою тень. Эту надпись не нужно стирать.
Все равно я сюда никогда не приду умирать,
Все равно ты меня никогда не попросишь: вернись.
Если кто-то прижмется к тебе, дорогая стена, улыбнись.
Человек — это шар, а душа — это нить, говоришь.
В самом деле глядит на тебя неизвестный малыш.
Отпустить — говоришь — вознестись над зеленой листвой.
Ты глядишь на меня, как я падаю вниз головой.

Разнобой и тоска, темнота и слеза на глазах,
изобилье минут вдалеке на больничных часах.
Проплывает буксир. Пустота у него за кормой.
Золотая луна высоко над кирпичной тюрьмой.
Посвящаю свободе одиночество возле стены.
Завещаю стене стук шагов посреди тишины.
Обращаюсь к стене, в темноте напряженно дыша:
завещаю тебе навсегда обуздать малыша.

Не хочу умирать. Мне не выдержать смерти уму.
Не пугай малыша. Я боюсь погружаться во тьму.
Не хочу уходить, не хочу умирать, я дурак,
не хочу, не хочу погружаться в сознанье во мрак.
Только жить, только жить, подпирая твой холод плечом.
Ни себе, ни другим, ни любви, никому, ни при чем.
Только жить, только жить и на все наплевать, забывать.
Не хочу умирать. Не могу я себя убивать.

Так окрикни меня. Мастерица кричать и ругать.
Так окрикни меня. Так легко малыша напугать.
Так окрикни меня. Не то сам я сейчас закричу:
Эй, малыш! — и тотчас по пространствам пустым полечу.
Ты права: нужно что-то иметь за спиной.
Хорошо, что теперь остаются во мраке за мной
не безгласный агент с голубиным плащом на плече,
не душа и не плоть — только тень на твоем кирпиче.

Изолятор тоски — или просто движенье вперед.
Надзиратель любви — или просто мой русский народ.
Хорошо, что нашлась та, что может и вас породнить.
Хорошо, что всегда все равно вам, кого вам казнить.
За тобою тюрьма. А за мною — лишь тень на тебе.
Хорошо, что ползет ярко-желтый рассвет по трубе.
Хорошо, что кончается ночь. Приближается день.
Сохрани мою тень[28].

[28] *Бродский И.* Письма к стене (1964). Кроме того в статье приводятся стихи Томаса Элиота в переводах С. Степанова и А. Сергеева, а также тексты Яна Кертиса и Роберта Смита в переводе Владимира Можегова.

Юрий КАГРАМАНОВ

ГЕРМАНИЯ. ОСЕННЯЯ СКАЗКА

Timo Nitz. Deutscher Antiamericanismus. Grundlagen, Entwicklung und Bestandigkeit einer Ideologie.

Saarbrucken. 2006[1]

...Мне ветер Германии нужен.
Г. Гейне. Германия. Зимняя сказка

Вероятно, немцы — самый близкий нам народ из ряда западноевропейских; и немецкая культура оказала такое воздействие на русскую культуру, как никакая другая (и это несмотря на критическое отношение к немецкому филистерству, педантизму, а также ко всему, что, по выражению Герцена, шито *прусскими иголками*). В продолжение, по меньшей мере, столетия множество русских людей возвращались из Германии «с душою прямо геттингенской» (или марбургской, или гейдельбергской), и гораздо большее число других, никогда не покидая Россию, испытывали чары немецкой поэзии и немецкой музыки и (или) осиливали, в меру своих возможностей, премудрости немецкой философии. В свою очередь, русская культура и в первую очередь литература нигде не встречала такого понимания и такой отзывчивости, как в Германии.

В зависимости от исторических обстоятельств линии судеб наших двух народов свивались по-разному, иногда самым драматичным образом. На сегодня определенное страдательное сходство меж нами можно усмотреть в том, что оба народа встретились с вызовом американизма. Существует мнение, что за последние десятилетия «немцы перестали быть похожими на немцев» и стали больше похожи на американцев. Да и у нас молодые люди американизированы в гораздо большей степени, чем это они зачастую сами о себе думают, — включая тех из них, кто демонстрирует активно патриотическую по видимости позицию. Конечно, различия в психологии меж нашими народами (русскими и немцами) не

[1] Тимо Нитц. Немецкий антиамериканизм. Основоположения, развитие и постоянство одной идеологии. Саарбрюккен. 2006.

Юрий КАГРАМАНОВ — родился в 1934 г. в Баку. Окончил исторический факультет МГУ. Автор книг и статей по западной и русской культуре и философии, публиковавшихся в журналах «Вопросы философии», «Иностранная литература», «Новый мир» и др. Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

стерлись, но восприимчивость к дующим из-за океана ветрам заметно нас сблизила.

Немало, однако, и таких немцев, у которых Соединенные Штаты вызывают критическое отношение и которые со всепроникающей американизацией смириться не хотят. Как они отвечают на вызов? Об этом — книга молодого, но уже известного публициста Тимо Нитца. Она интересна тем, что содержит обзор литературы по данному вопросу, выходившей за последние годы. Суждения самого автора, взявшегося «защищать» Америку «по всем азимутам», в большинстве случаев (хотя и не во всех) представляются менее весомыми, чем суждения тех, кому он вознамерился оппонировать.

Вызывает недоумение термин «одна идеология», вынесенный автором в подзаголовок (в некоторых местах книги он называет ее «немецкой идеологией»). Никакой такой единой «идеологии антиамериканизма» на самом деле не существует. Сам Нитц показывает, что критика Америки и американизма ведется в Германии с совершенно различных и порою диаметрально противоположных идеологических позиций, хотя случается и так, что критические выпады в адрес Америки, исходящие из разных станов, в чем-то совпадают.

Довольно резкая критика звучит порою в стане либералов (то есть тех, кого в Германии называют таковыми). Они ничего не имеют против американской модели капитализма и в целом против американского образа жизни, напротив, подчеркивают, что исторически Соединенные Штаты более, чем кто-либо другой, способствовали продвижению демократии и гражданских свобод (и тут им, как я полагаю, трудно что-либо возразить). Единственное, что им не нравится, это американская внешняя политика. С их точки зрения, Америка изменила своей сущности, проводя силовую, империалистическую внешнюю политику, примерно того же типа, какую в свое время проводили европейцы. Это она особенно наглядно продемонстрировала в Афганистане и Ираке, как и ранее во Вьетнаме.

Самые «чистокровные» либералы, как и различные группы левого толка, не останавливаются перед совсем уже зловещими аналогиями: в определенных ситуациях американцы ведут себя не лучше, чем нацисты. Особенно часто стали об этом говорить (и кричать) за годы войны в Ираке. Кричалки типа «Буш — фашист!» никого уже, кажется, особенно не удивляют и не шокируют. Причем обвинения подобного рода звучат не только по адресу конкретно Буша и его администрации, но также и по адресу многих его предшественников.

Сближения американского империализма с фашизмом со времен вьетнамской войны — не редкость и в самих Соединенных Штатах. Напомню хотя бы о знаменитом эпизоде в фильме Ф. Копполы «Час апокалипсиса», где американский вертолетчик, поливая напалмом вьетнамскую деревню, включает, как говорится, на всю катушку запись вагнеровского «Полета валькирий» — так, чтобы ее слышали «лес и дол». Аллюзия прозрачна: в свое время Вагнер был «присвоен» нацистами, а «Полетом валькирий» сопровождался каждый выпуск новостей с фронта на берлинском радио.

Дистанцируясь от «безумцев из Белого дома», немецкие либералы представляют себя «более последовательными американцами, чем сами американцы»[2]. С их точки зрения, Европа, отказавшаяся от мечты о военном могуществе, — вот истинная Америка.

Разумеется, всякие сравнения Соединенных Штатов с фашистской Германией нелепы; возможно, Нитц прав: те, кто их проводит, уязвлены фашистским прошлым своей страны и пользуются удобным, как им представляется, случаем, чтобы сказать: «Другие не лучше нас». Но правы ли те либералы, которые хоть и обходятся без подобных крайностей, но утверждают все-таки, что Соединенные Штаты превращаются или уже превратились в «имперского монстра»? Это вопрос очень не простой.

Во Вьетнаме, если уж начинать с него, американцы следовали логике противостояния мировому коммунизму, а значит, определенная raison suffisante (достаточная причина) поступать так, как они поступали, у них была. Что касается Афганистана и Ирака, то в этих странах их вмешательство возымело, на мой взгляд, по крайней мере некоторый позитивный эффект. Разумеется, ни в той, ни в другой стране демократии западного типа построено не будет. Но в Афганистане был нанесен очень чувствительный удар по талибам, и, может статься, дальнейшее течение дел в этой стране будет все-таки более благоприятным, чем оно было бы в случае, если бы американского вмешательства не произошло. А в Ираке был вскрыт застарелый гнойник, именуемый Саддамом Хусейном, что само по себе уже неплохо (даже с точки зрения ислама), а что там уже несколько лет продолжается кровопролитие, то это не вина американцев: кровь пускают друг другу шииты и сунниты. Американцы здесь просто освободили силы, которые рано или поздно должны были обрести свободу.

Другое дело, что некоторые американцы вели или ведут себя в этих странах, как и в некоторых других местах (например, в плавучей тюрьме Абу-Граиб), недостойно, но это уже вопрос не политики, а культуры поведения.

Суммируя взгляды немецких либералов, Нитц пишет, как бы от их имени: «Исполнившаяся сознанием своего долга Германия, как и Европа в целом, призвана спасти американцев от их собственного заката и обеспечить прочный мир»[3]. Кто кого призван спасти, еще неизвестно. Можно воздать хвалу немецким либералам за их миролюбие, но можно допустить, что их миролюбие объясняется, хотя бы частично, отсутствием зубов. Американцы лучше осознают угрозу, какую представляет воинствующий ислам для всей евроамериканской цивилизации. А Европа благодушествует, полагая, что эту час от часу тяжелеющую тучу как-нибудь да пронесет.

Сказанное не означает, что внешняя политика, какую ведут американцы, вообще не должна вызывать беспокойства. Во всяком случае, этого нельзя сказать, глядя на них из России, которую они, похоже, твердо вознамерились оставить на вторых ролях. Но беспокойство должна вызывать не столько американская политика, как она осуществляется сегодня, сколько сам факт непомерной военной мощи, которая неизбежно давит на сознание тех, кто

[2] *Nitz T.* P. 145.

[3] Ibid. P. 147.

ею обладает. Американский «ковбой» станет по-настоящему опасным, если конь начнет управлять всадником.

В стане социал-демократов, как правило, разделяют критическое отношение к внешней политике Соединенных Штатов, но здесь вызывает неприятие также и американская модель капитализма. С этой точки зрения, американский капитализм — «разбойничий» и «деградирующий», как позволил себе выразиться Гельмут Шмидт, когда перестал быть канцлером[4]. Таковым он является по своей сути, независимо от того, какая партия управляет страной, республиканцы или демократы (хотя последние во многом идейно близки к европейским социал-демократам). Ему противопоставляется «рейнский капитализм», то есть, очевидно, не только немецкий, но и капитализм всех тех стран, чьи земли омывает Рейн с его притоками (тут приходит на память «рейнская дорога», как ее называли в XVI веке, вдоль которой процвели раннекапиталистические мануфактуры). Или, во всяком случае, идеал «рейнского капитализма», о котором в одном из документов ATTAK (организация европейских финансистов) говорится, что он «должен исполниться любовью (sic!) и заботой о Целом», то есть о народах Европы в целом[5].

Поскольку капитализм вообще неизбежен (ибо не придумано пока более эффективной экономической системы), идеальным было бы, вероятно, сочетание двух начал: эгоизма, даже, если угодно, эгоистического хищничества и любви или, выражаясь более сухим языком, заботы об общественном благе. А так как удержать эти два начала в равновесии не просто, на практике имеют место «качели»: экономическая политика отклоняется то в одну, то в другую сторону, в зависимости от того, какая партия находится у власти, консерваторы или социал-демократы. Так, по крайней мере, обстоит дело в Европе.

Социал-демократы, — и в этом они близки к правым, — не приемлют также процесс капиталистической глобализации, ответственным за него считая опять же американцев. Но, как правильно объясняет Нитц, глобализация является естественным следствием капитализма, и кто сказал «А», должен сказать и «Б». Он, однако, ничего не говорит о том, что противодействие глобализации — посредством как экономических, так и внеэкономических мер — тоже является естественным и неизбежным. Нелишне заметить, что определенное сопротивление встречает глобализация и в самих Соединенных Штатах.

Основную часть своей книги Нитц отвел «критике критики» Америки и американизма, исходящей от правых (опять-таки, тех, кто в Германии считаются таковыми), и это наиболее интересная ее часть. Здесь Нитц особенно часто употребляет выражение «немецкая идеология». Ничего общего с «немецкой идеологией», как ее понимали К. Маркс и Ф. Энгельс в одноименном сочинении, у него нет: там, напомню, речь шла о неогегель-

[4] Ibid. P. 90.

[5] Ibid. P. 108.

янцах. У Нитца это понятие употребляется в предельно широком смысле: как отвержение «чужого» и опора на «свое».

По его убеждению, правые, хоть они и отмежевываются от преступлений гитлеровского режима, все равно тянут Германию назад в сторону фашизма, который сам является наследником романтизма (в широком смысле, включающем философию Века романтизма). У целого ряда авторов он находит мифологему «немецкого леса», сыгравшую роковую роль в истории прошлого века. Немецкая душа, пишет, например, Альфред Моссе (цитируя современных авторов, Нитц обычно не указывает, кто они таковы, а только дает ссылки на их книги или статьи), «основательная, таинственная и глубокая,.. развилась в условиях темного и туманного немецкого леса» и не может или не должна себе изменить, как бы ни складывались внешние обстоятельства»[6]. Тут, действительно, сразу возникают неприятные ассоциации: «ночь и туман», — а это слова, произнесенные гнусным Альберихом из «Кольца Нибелунга» («Тьма тумана — ночь, ничто!») и ставшие кодовым обозначением нацистских лагерей смерти.

Другой автор, Бернд Фауленбах, усматривает «немецкую сущность» в изначальной верности «священному дубу», вокруг которого сплотилось немецкое племя, чуждое устремлений «западной цивилизации» (противопоставление Германии «западной цивилизации» не должно удивлять: оно встречается у многих немецких писателей первой половины XX века, а может быть, и более раннего времени).

На самом деле в новейшее время поклонение «священному дубу» замечено не у одних только потомков Арминия Германца. Такое поклонение мы находим также у неоязычников других национальностей, чему можно привести немало примеров: от «Священного леса» раннего Т. Элиота до «Русского леса» Л. Леонова (смысловым центром которого, напомню, является некий нераскаявшийся Кудеяр, затаившийся в лесной чаще).

Не берусь судить, насколько цитируемые Нитцем и близкие им по умонастроениям авторы в сегодняшней Германии «репрезентативны». Бывает ведь и так, что какой-нибудь мыслитель выбирает себе «любимого врага» и начинает делать вокруг него круги, хотя он того, может быть, и не стоит. Подобным образом, к примеру, поступили Маркс и Энгельс в той же «Немецкой идеологии»: четыре пятых этого сочинения, объемом в полтысячи страниц, отведено критике Макса Штирнера, философа невеликого роста, в настоящее время почти совершенно забытого.

Но так или иначе, умонастроения, выразителями которых стали цитируемые Нитцем авторы, существуют, и нельзя не обращать на них внимания. После того, как «Лесной царь» (Гете) однажды украл у немецкого народа душу, отвечать на его повторяющиеся зовы, мягко говоря, опрометчиво.

Правда, нынешних почитателей «великого и чистого немецкого леса» отличает от их предшественников одна существенная черта: подчеркнутое миролюбие. Так, Вольфганг Порт пишет, что Германия становится «оплотом мира» в Европе, в пику «некоторым агрессивным державам Запада». Другой публицист, Альфред Мехтершмейер считает, что немцы и в прошлом чаще

[6] Ibid. P. 45.

проявляли миролюбие, нежели воинственность. Что ж, это, пожалуй, близко к истине. Репутацию воинственных задир и высококлассных солдат немцы отрабатывали на протяжении примерно восьми десятков лет: будем считать, от битвы при Садовой в 1866-м до катастрофы 1945-го. А в первой половине XIX века, да и ранее того немецкий народ считался самым миролюбивым в Европе, едва ли не самым трусливым (у Гоголя есть замечание, — привожу его слова по памяти, — что желающий показать свою храбрость на поле боя в последнюю очередь выберет противником немца, ибо о нем заранее известно, что в бою он покажет спину).

Нитц, впрочем, полагает, что миролюбие правых объясняется осознанием ими того факта, что по своим объективным данным Германия уже не является мировой державой и, значит, должна «по приходу и расход держать» (в немецком варианте этой русской пословицы: «сообразовывать полет со своими крыльями»). И что осуждение ими внешней политики Соединенных Штатов имеет причиною простую зависть. Возможно, что какая-то доля правды в этом есть.

Зато Нитц проявляет непростительную немцу (то есть тем немцам, какими мы привыкли их видеть за последние столетия) поверхностность, когда жестко связывает фашизм с романтизмом. Этому вопросу он уделяет значительную часть своей книги.

Называя Ницше и Вагнера предшественниками национал-социалистов, Нитц не открывает ничего нового: это, действительно, так — со всеми необходимыми оговорками. Ницше оправдывал темную, исходящую из биологических недр человека волю и воспел «белокурую бестию», чем вызвал роковые перемещения в умах некоторых своих читателей. К Вагнеру критики национал-социализма обычно более снисходительны по той причине, что музыка, сообразно своей природе, как бы парит над действительностью, соблюдая по отношению к ней некоторую дистанцию. Но поздний (примерно после 1850 года) Вагнер нарочито эту дистанцию укоротил. В переломной для него статье «Искусство и революция» он писал, что последние две тысячи лет принадлежат философии, а теперь ее место должна занять музыка. Но как раз теперь музыка самого Вагнера начинает испытывать давление его собственной философии, что делает ее тяжеловесной (хотя, конечно, по-своему гениальной) и, скажем так, интеллигибельной. Прежде всего это относится к грандиозной тетралогии «Кольцо Нибелунга». Ее идейные доминанты: возвращение к изначальной племенной «крепости» в сочетании с истерическим революционизмом. А это именно те «дрожжи», на которых взошел национал-социализм.

Между прочим, к созданию «Кольца», по-видимому, «руку приложил» русский человек: считается в большой степени вероятным, что некоторые образы тетралогии, в частности, финальная сцена всесожжения, подсказаны Вагнеру М. А. Бакуниным, с которым он одно время вел довольно близкую дружбу.

Надо, однако, помнить о том, что и Ницше, и поздний Вагнер — это *пост*-романтики.

Критикуя философию Века романтизма, Нитц почему-то сосредоточивается на одном Фихте, которого называет «отцом» немецкого национализ-

ма. Опять же с некоторыми оговорками Фихте может считаться таковым, особенно в его «Речах к немецкому народу». Хотя надо учитывать и то, что в них он призывает к о с в о б о д и т е л ь н о й войне против Наполеона.

И надо помнить, что Фихте — скорее сын Просвещения, чем романтик.

Нитц противопоставляет Просвещение и романтизм (вполне объективное противопоставление), полагая, что это американцы успешнее других подхватили факел Просвещения, тогда как немецкие романтики в поисках «последней настоящности (Echtheit)» попытались спрятаться от него в сумерках «немецкого леса», тем самым «отравив жизнь» следующим поколениям. Действительно, американцы продолжили линию просвещенческого рационализма, хотя в формировании американского характера нисколько не меньшую роль сыграло протестантство. Что касается романтиков, то их реакция против Просвещения была во многом оправданной: геометрически правильный разум не может исчерпать глубины человеческого духа. Притом, за отдельными исключениями, не были они односторонними пассеистами или, паче того, ретроградами. И не грешили романтики (конкретно немецкие) национализмом; напротив, для них характерен универсализм — более высокого полета, чем просвещенческий.

Напомню, что гимн Объединенной Европы «Обнимитесь, миллионы!» — творение Шиллера и Бетховена.

Это не значит, что романтиков не в чем упрекнуть. Если говорить о философах века романтизма, то к ним, опять же за некоторыми исключениями, можно отнести слова С. Н. Булгакова о «фатальной обреченности германского гения к извращению христианства» — в сторону пантеизма и имманентизма[7]. Если говорить о художниках, то можно указать на необузданность *даймона*, который ими овладел (что вызвало осуждение даже у Гете, который сам положил начало романтизму в период «Бури и натиска»). Хотя на это можно возразить, что поэзия, например, в высших своих достижениях, издревле считалась «священным безумием».

И можно ли «отменить» чьи-то творческие восторги только потому, что приобщение к ним кого-то из слушателей сделало бесноватым? Можно ли утверждать, что волшебные звуки «Лоэнгрина» (напомню, что это Вагнер романтического периода) утратили свое волшебство только потому, что некий Гитлер тоже почему-то был ими пленен?

Романтики заслужили и другой упрек: они слишком оторвались от практической жизни. Уход, говоря шиллеровскими словами, «от жизненных тревог» в царство «прекрасной видимости» имел следствием определенную «нестыковку» между культурой и практической, в частности, политической жизнью. В итоге крепнущая политическая воля немцев чем дальше, тем больше уходила от нравственных идеалов романтизма.

Сразу после окончания Второй мировой войны Томас Манн, выступая перед американской аудиторией, пытался объяснить ей и самому себе, каким образом вышло так, что создавший великую музыку немецкий народ мог пойти за пакостным «гаммельнским крысоловом» по имени Гитлер. «Такую (как у немцев. — *Ю. К.*) музыкальность души, — говорил Томас

[7] *Булгаков С.* Свет невечерний. М. 1994. С. 143.

Манн, — приходится дорого оплачивать за счет другой сферы бытия — политической, сферы человеческого общежития»[8].

Но сегодня те немцы, которые ощущают себя наследниками «старой» немецкой культуры, указывают на «нестыковку» между политикой и культурой в самих Соединенных Штатах. Эти немцы позиционируют себя как правые, что обычно не мешает им оценивать по достоинству политическую волю американского народа, сумевшего выработать у себя развитые институты демократии. Но политика у американцев, с их точки зрения, во многом диссонирует, условно говоря, с поэтикой. Культура всегда оставалась в американизме слабым местом, а в последние десятилетия она откровенно деградирует, по крайней мере в основном своем течении, причем на пути деградации американцы увлекают за собою и Европу, в частности, и, может быть, в особенности «разнемеченную Германию».

Правые критики Америки и американизма обычно исходят из принципиального различения культуры и цивилизации, как его стали понимать в конце XIX — начале XX века (в трудах Ф. Тенниса, А. Вебера, О. Шпенглера и других). Культура — сфера духовной работы, требующая определенных усилий от тех, кто к ней так или иначе приобщается. Цивилизация складирует результаты духовной работы или запускает их в оборот; это мир готовых форм, воспользоваться которыми могут все и каждый. По своей сути культура скорее трагична, тогда как цивилизация оптимистична, исполнена легкомыслия и легкочувствия. Если культура до некоторой степени трансцендентна по отношению к социальной реальности[9] (точка зрения, например, П. Сорокина и А. Кребера), то цивилизация от нее неотделима.

Американская цивилизация в ее современном виде, с точки зрения немецких правых критиков, — законченный антипод культуры. «Направляемая корыстными интересами, индустрия сознания (Bewustseinindustrie), — пишет, например, Ауген Баро, — ведет дело к систематической и всеохватывающей деградации, разрушению личностной культуры, вытеснению духовных потребностей низкими привычками... Нам чем дальше, тем больше прививают инфантилизм, глупость и вкус к насилию, и все это во имя либерализма и демократии. Это преступная политика, которая делает нас буквально идиотами, в греческом смысле этого понятия»[10]. Действительно, такова американская цивилизация, что она создает широчайшие возможности для коммерциализации культуры, и все-таки деградацию, поскольку она имеет место, нельзя объяснить одной только чьей-то корыстью, решающую роль играют в этом собственно культурные течения и идейные веяния. Так, активно «работает» в указанном направлении неомарксизм, укрепившийся в американских университетах за последние двадцать лет, а неомарксизм по своему происхождению — европейское и в первую очередь немецкое умственное движение. Так что культурный «кровообмен» меж Новым и Старым Светом (Германией, в частности) осуществляется не в одном только направлении.

---

[8] *Манн Т.* Собрание сочинений в 10 томах. Т.10. М. 1961. С. 310.

[9] Здесь не должно быть путаницы с антропологическим пониманием культуры, которое охватывает также и социальную реальность.

[10] *Nitz T.* P. 51–52.

Кстати, и Тимо Нитц, очевидно, неомарксист: в своих суждениях он постоянно опирается на К. Маркса, М. Хоркхаймера и Т. Адорно, которых цитирует по всякому поводу. И это, видимо, не случайно, что в роли заядлого апологета американизма выступает сегодня именно неомарксист. Странно только, что Нитц берет под защиту также и внешнюю политику Соединенных Штатов, которую американские неомарксисты безжалостно казнят. Похоже, что наш автор в данном случае руководствуется пословицей «в чужой печи все калачи хороши».

Глубже, чем Баро, смотрят на дело некоторые другие правые. Кристина Бринк: культурная продукция, made in USA, «потому столь опасна, что люди тянутся к ней по своей воле, безо всякого принуждения»[11]; «народ мыслителей и поэтов», как называли когда-то немцев, не составляет в этом плане исключения. Вольфганг Порт: «поскольку антиамериканизм (в Германии) существует, он не является продуманным сопротивлением, но скорее смутным протестом против собственной неспособности противостоять (исходящим из Америки) соблазнам, к которым душа как будто тянется всеми своими фибрами»[12]. В подобных случаях отношение к Америке, как считает Порт, можно определить двучленом «любовь-ненависть» (Hassliebe). Примерно о том же — Альфред Мехтершмейер: «Борьба с Америкой должна стать борьбой со своим внутренним "я" (im eigenen Inneren)», ибо «американец» сидит «в каждом из нас»[13].

Поставим точки над i. Американизм спрашивает всех и каждого: «Чего ты хочешь?» А поскольку вопрос обращен к природному «я» человека, он может быть поставлен и так: «Чего твоя левая нога хочет?» За вопросом следует поощрение, ласкающее ухо, особенно молодое и доверчивое: «Делай то, чего тебе хочется (или чего твоей левой ноге хочется)». А если ты еще не определился со своими желаниями, мы поможем разбудить их в тебе, в твоем низшем, природном «я». В этом суть американской массовой культуры, в этом ее притягательность.

Единственное декларируемое ограничение: не навреди другим. Но это ограничение в значительной мере лицемерно: другим я не могу вредить, а себе самому могу, значит, я волен превратить себя в существо общественно бесполезное (не худший вариант), или (средний вариант) показывающее дурной пример, или (худший вариант) опасное для других, то есть способное им все-таки навредить, и даже очень чувствительно.

На самом деле разобраться с вопросом, чего человек хочет, совсем не так просто. Потому что телом человек может хотеть одного, а душою совсем другого.

И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

Оттого ропщет, что он способен хотеть чего-то большего, чем это подсказывает ему его природное естество. Но зовы естества настойчивы и

[11] Ibid. P. 125.

[12] Ibid. P. 127.

[13] Ibid. P. 127.

способны заглушить зовы высшего порядка. Об этом замечательно сказал ап. Павел: «...Не понимаю, что́ делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Рим 7:15). И ту «любовь-ненависть» к Америке, которую испытывает Вольфганг Порт, очевидно, надо понимать, как любовь к ее чувственным соблазнам и ненависть — к ним же.

Парадоксально, что культ вседозволенности (с теми, довольно условными ограничениями, о которых сказано выше) распространился именно из Соединенных Штатов, страны, которая до недавних пор считалась едва ли не самой религиозной среди западных стран; да и сегодня производный от пуританства морализм еще несколько отличает американцев от европейцев (вопрос, как он совмещается со вседозволенностью, требует отдельного разбирательства). Все дело в том, что американская религиозность еще в XVIII веке допустила слабину, отступив от догмата о первородном грехе: его чем дальше, тем больше вытесняла просвещенческая мифологема первородной невинности человека (вариант известной с V века пелагианской ереси).

Поскольку дело коснулось чувственных соблазнов, нельзя не сказать о музыке, которою Америка пленила другие народы (Нитц, увлеченный представлением о ней как продолжательнице просвещенческого рационализма, совершенно этой темы не касается). Речь идет, конечно, о популярной, эстрадной музыке. Еще каких-нибудь сто лет назад трудно было представить, что Америка заставит Европу (и не только ее) в буквальном смысле плясать под свою дудку. Англосаксонская раса всегда считалась самой немузыкальной в Европе, а пресноватая американская country-music была способна возбудить разве что самих американцев. Но сожительство на территории Нового Света белой и черной расы привело к неожиданному мезальянсу: к европейской цевнице подсоединился африканский барабан; в результате африканское ритмоинтонационное начало подмяло под себя европейский мелос. Новое качество звука оказало поразительное действие на весь евроамериканский мир, и наивно думать, что действие это ограничилось одной лишь сферой музыки. Как показал С. Аверинцев, ритм есть внешнее выражение — посредством музыки ли, поэзии или, скажем, традиционного сельского труда — «порядка вещей» на самом глубоком его уровне[14], а значит, резкое изменение его не может в той или иной степени не повлиять на то, каким воспринимается «порядок вещей».

Конечно, признавая право художника на «священное безумие», нельзя лишать его этого права и в данном конкретном случае, но нельзя не отметить, что в эстетическом плане плоды его увлечений достаточно скромны, зато легко себя выдает их религиозная «тайна»: иной рок-концерт, например, — не столько концерт, сколько подобие языческого радения.

В силу уже сложившейся привычки не отрывать взгляда от сильно поредевшего и облетевшего «немецкого леса» (дохнул осенний хлад), в котором он видит источник «новых угроз», Нитц в упор не замечает других, в ином плане бесноватых — родом из темных африканских лесов.

---

[14] См. *Аверинцев С.* Ритм как теодицея. — «Новый мир», 2001, № 2.

Не только правые, но и многие левые считают, что отстоять «немецко-европейскую идентичность» можно лишь в случае принципиального размежевания с американской массовой культурой. Довольно известный писатель и режиссер Петер Задек в журнале «Spiegel» (насколько я знаю, это журнал левого направления) даже предложил объявить Америке Kulturcampf (войну за культуру), «в которой поучаствовали бы все и каждый, подобно тому, как во Второй мировой войне бóльшая часть мира объединилась против Германии»[15]. Самый термин Kulturcampf выбран, может быть, неудачно: своим происхождением он обязан Бисмарку, который объявил «войну за культуру» — против Католической церкви. Но сегодня «воевать за культуру» приходится уже не против Церкви, — уж это-то всем ясно; к сожалению, гораздо меньше тех, кто понимает, что выиграть войну, если уж так ее называть, трудно, а скорее невозможно без помощи Церкви.

Чтобы остановить разгул натурализма, который несет в себе американская массовая культура, есть только одно средство: сублимация. Иначе говоря, претворение телесных побуждений в побуждения духовного порядка. К сожалению, те формы сублимации, с которыми знакомят публику литература и искусство прошлых веков, стремительно утрачивают былой кредит: подрастающим поколениям они кажутся устаревшими, зачастую просто смешными. Очевидно, что здесь не обойтись без религиозного «ресурса», без обращения к христианской антропологии. Начинать надо с «азов», с понимания того основного факта, что человеческое тело не есть просто источник желаний, требующих непосредственного удовлетворения, что оно есть также или даже главным образом средство приобщения к «большой», открытой в вышину жизни, исполненной таинственных смыслов и значений.

Увы, судя по книге Нитца, наступление деградирующего американизма пока не находит в Германии сколько-нибудь эффективного р е л и г и о з н о г о ответа.

---

[15] *Nitz T.* P. 67.

КОММЕНТАРИЙ К СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ*

(май — июнь 2008 г.)

31.05.2008

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну, неделька получилась... Наша, отечественная! Такая, в которой каждый сюжет кричит о принадлежности к дому, как мебель в доме Собакевича: и я тоже Россия! Особенно отечественным в отчетный период было, пожалуй, партстроительство: нигде в Европе такой мебели уже не делают. А впрочем, и парламент, и суд — все было такое узнаваемое, родное... Ну, обо всем по порядку.

Начнем с новостей политической жизни. В Москве (чтобы далеко не ходить, прямо в здании администрации президента) прошла конференция «Единой России» под названием «Приоритетные задачи партии на современном этапе развития страны». Одну из самых приоритетных задач с характерной для себя живостью ума сформулировал бывший глава партии Борис Грызлов.

Выступая на конференции, Борис Грызлов пообещал сделать так, что членство в «Единой России» станет предметом гордости для россиян, а факты исключения из рядов будут таким же страшным наказанием, как в КПСС. «В КПСС это был случай, после которого обычно стрелялись», — приводит слова Грызлова Газета.ru.

Когда жизнь, проведенная рядом с Грызловым, из которого тоска по КПСС лезет, как из тюбика, станет предметом гордости для россиян, — это будет хороший повод застрелиться... Но пока что — они сами по себе, мы сами по себе... Впрочем, «единороссы» уже идут навстречу народу семимильными шагами.

Выступая на конференции, первый замглавы администрации президента Владислав Сурков призвал партию к большей открытости. Как сообщают СМИ, само выступление это проходило в закрытом режиме: прессу попросили удалиться из зала.

---

* О формате «Комментария» Виктора Шендеровича см. в предисловии к выпуску в № 118.

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ — родился в 1958 г. в Москве. Окончил Институт культуры и аспирантуру Щукинского театрального училища по специальности «педагог по сценическому движению». Работал на ТВ (программы «Куклы», «Итого», «Бесплатный сыр»). Автор книг «Семечки», «Московский пейзаж», «Антология сатиры и юмора», «"Здесь было НТВ" и другие истории», «Шендевры» и др. Живет в Москве.

М-да... Стало быть, партия, стоящая у руля после того, как выбросила за борт всех остальных, проводит в закрытом режиме конференцию, посвященную прояснению своих приоритетных задач. Каковые задачи немедленно упадут с ихнего капитанского мостика нам на темечко. Что же это у них за задачи, что нам о них нельзя знать? А уж с лидерами своих молодежных движений Сурков встречался вообще как Штирлиц с Борманом: пытались, болезные, засекретить не только содержание, но и сам факт встречи. Пришлось узнавать окольными путями. Так вот, Сурков их там, оказывается, «переформатировал»... Так выразился в интервью газете «Ведомости» лидер молодежного крыла «Справедливой России» Дмитрий Гудков. Сын своего папы, депутата и чекиста, он проявил завидную осведомленность.

«В ближайшие годы предстоит сильнейшая ротация в органах госвласти, и на встрече с Сурковым речь скорее всего шла о подготовке кадровой элиты», — заявил Дмитрий Гудков. По его мнению, «сегодня молодежь уже не удержать одноразовыми подачками. Чтобы у нее оставался интерес к политике, она сама должна участвовать в выработке идеологии, искать ноу-хау в сфере госуправления».

Разовыми подачками их, стало быть, уже не удержать, и они хотят... как он сказал? «искать ноу-хау в сфере госуправления»? Вам на русский перевести или догадались? Правильно. Они хотят сами расположиться у сундуков с бюджетом и больше не зависеть от Суркова. До какой степени это желание представляет из себя ноу-хау в сфере госуправления, судить не берусь, но цейтнота у молодых не наблюдается. Время есть!

«Единая Россия» планирует обеспечить партийное превосходство как минимум до 2020 года. Об этом было неоднократно заявлено на конференции «Приоритетные задачи партии на современном этапе развития страны». По словам члена Генерального совета партии Валентины Ивановой, первый замглавы президентской администрации Сурков считает, что партии необходимо работать не менее 20 лет, «чтобы себя ощутить».

О! Стало быть, уже восемь лет они нами руководят, не ощущая себя, и собираются, не выходя из этой комы, руководить еще лет двенадцать. И как раз, видимо, к 20-му году (вы помните?) госпитализация в эту путинско-грызловскую больничку должна стать предметом нашей гордости. Или лучше сразу застрелиться, как вы думаете?

Теперь о работе Государственной Думы. Вот вы небось думаете, что раз у ЕдРа партконференция, так депутаты-единороссы забудут о своем долге перед избирателями и перестанут ходить на работу? А вот и нет. Крутились, аж искры летели!

Как передает РИА Новости, во вторник в Госдуме прошел очередной круглый стол, посвященный патриотическому воспитанию молодежи. Открывая заседание, глава думского комитета Павел Тараканов, в частности, заявил: «Сегодня востребован не лозунговый патриотизм, а патриотизм действия. Именно собственным примером нужно учить молодежь тому, как нужно относиться к родине».

Вы представляете себе этот их собственный пример? С пупырем-мигалкой в рабочее время и Куршевелем на досуге? Я думаю, насчет такого

патриотизма молодежь уговаривать не надо, это только позволь. Правда, покамест труба у них пониже и дым пожиже... Как сообщают СМИ, в качестве позитивного примера на круглом столе в Госдуме фигурировал летний лагерь движения «Наши» на Селигере. Помните, да? Послушали Павловского, поглазели на Путина, засрали родную природу и пустили в распыл шесть миллионов бюджетных рублей... Патриотизм действия, какие уж тут слова!

Теперь прислушается к эху главной темы последних недель: Медведев же тут с коррупцией бороться начал, вы не забыли? Ну, с коррупцией от этих его разговоров ничего страшного не случилось и не случится, но вот ежели кто из служивых не будет замечен в поддержке разговора на эту правильную тему, тому, действительно, головы не сносить...

Глава Совета Федерации Сергей Миронов, выступая в Иванове, предложил приравнять коррупцию к государственной измене. «Коррупционер, — заявил Миронов, — это преступник, который подрывает сами устои государственной безопасности».

Спикер Миронов рискует закончить жизнь в полном одиночестве. Вот сейчас ка-ак станет по слову его! Ка-ак схватят чекисты всех коррупционеров! Опустеет Садовое кольцо, вымрет Кремль... На Охотном ряду останутся на свободе только две буфетчицы-стажерки... Покончив с коррупционерами снаружи, чекисты поглядят в глаза друг другу и застрелятся. М-да... Но, слава богу, слова Миронова никто, кроме пары выхухолей, всерьез не принимает, и элитарному кругу общения нашего спикера ничего не грозит. Все на свободе, и крупные российские чиновники по-прежнему — самые богатые люди в стране. Что, полагаю, дало им в минувший понедельник полное право отпраздновать День предпринимателя.

Теперь — слова похвалы и некоторого облегчения. Хорошо все-таки, когда в стране стабильность! А то некоторые волновались по случаю передачи власти: не случится ли в стране чего-нибудь эдакого, непредусмотренного... тектонического типа. Не случилось. Ну, конечно, некоторая рябь по поверхности пошла: тут арбитражную судью прищучили, там о свободе поговорили, — но в целом, в принципиальных вопросах, все по-прежнему крепко и надежно. Ну, вот, например.

По сообщению «Новой газеты», комиссия по социальной политике Госдумы по рекомендации правительства отклонила предложенную Мосгордумой поправку в «Закон о реабилитации жертв политических репрессий». Поправка предусматривала возмещение морального вреда.

Нет, вы представляете, до чего додумались? Оплачивать моральный вред! А объемы компенсаций вы себе представляете, да? За все наши коммунистические радости, от Колымы до Норильска, да за полвека с гаком. Мертвые, слава те господи, не встанут, а то бы вообще никаких бюджетов не хватило, — но ведь кто-то, гад, выжил! В одной Москве под тридцать тысяч человек репрессированных до сих пор никак не помрут, — и если бы не бдительность главы комитета Госдумы по социальной политике «единоросса» Исаева, отклонившего поправку (в полном единении с коллегами), репрессированные могли бы крепко испортить настроение государству. А так — получите вместо компенсации документик: средств в бюджете не

предусмотрено, и скатертью дорога. Правильно! Нам еле на генералов хватает! Еще этих разгонов-шаламовых кормить. Помирать надо вовремя, а не тревожить родное государство злопамятностью, — правильно я излагаю мысль, товарищи «единороссы»?

И очень кстати, под этот депутатский «отлуп» репрессированным, пришла радостная весть из Грозного. Там наконец демонтировали памятник жертвам депортации 44-го года, стоявший посреди города. Очень некстати был этот памятник, сделанный из надмогильных камней, чуртов. Этими камнями, выброшенными из разоренных вайнахских кладбищ, советская власть потом мостила дороги. Очень экономично. А в 92-м камни стали памятником жертвам депортации. Но сколько можно терпеть эту скорбь посреди города-новостройки? К тому же рядышком, буквально над могильными чуртами, Рамзан Кадыров поставил памятник своему папе Ахмаду, размером с Пушкина на Тверском, только лампионы побольше, — ну и надгробья, конечно, отвлекали чеченский народ от этой красоты. Но поскольку народ еще отсталый в эстетическом отношении и всякий раз возражал против того, чтобы Рамзан трогал могильные камни, то на этот раз с народом ничего обсуждать не стали, а просто выкорчевали плиты и увезли на окраину города. Там пускай скорбят.

Но вернемся в Москву, в комитет Госдумы по социальной политике. Во время недлинного обсуждения обреченной, в сущности, поправки насчет выплаты морального вреда репрессированным, один ушлый депутат вдруг вспомнил, что Россия — правопреемник СССР! А значит, в случае принятия закона возникнет ответственность и перед гражданами Грузии, и перед гражданами Украины, и, страшно сказать, перед гражданами стран Балтии! Это что же тогда получится? Вместо того, чтобы вставать грудью на защиту престарелых латышских НКВД-шников и называть улицы именами тех, кто депортировал эстонцев, Россия — что? будет платить? Три ха-ха. Не на тех напали. То есть, на кого мы напали, в 40-м году — это уж наше дело, но нести за это ответственность — увольте! Чай, не немчура какая-нибудь, чтобы полвека извиняться перед всем миром. Мы будем — гордиться! Гордиться и валять юридического дурака. Хамовники, слава те господи, не в Нюрнберге!

Хамовнический суд Москвы в минувший вторник отказался рассмотреть вопрос о реабилитации польских офицеров, расстрелянных в Катынском лесу в 40-м году. Как сообщает ИТАР-ТАСС, судья указала, что «с жалобой могут обращаться только те лица, чьи права были нарушены». Ранее главная военная прокуратура также не стала рассматривать обращение о реабилитации, сославшись на то, что отсутствуют материалы дела, на основании которого были репрессированы польские офицеры.

Вот молодцы! Во-первых, нет материалов дела. А где материалы? А засекречены. А кем засекречены? А военной же прокуратурой и засекречены. А дети расстрелянных пострадавшими не являются. Как так? А вот не являются, и все. Так решил судья Тюленев. Снимайте свое кино, пан Анджей Вайда, а в нашу юридическую машинку со своей памятью о погибшем отце — не суйтесь. Руки отрежет.

Своя небольшая катынь, умело организованная четыре года назад в Беслане, тоже получила адекватную юридическую оценку. Адекватную — нашим понятиям о праве и приличиях...

Общественная организация «Голос Беслана» обратилась с открытым письмом к Представителю президента в Южном Федеральном округе Устинову. В письме родственники погибших во время теракта в Беслане напоминают ему как бывшему Генеральному прокурору России о многочисленных должностных преступлениях, совершенных прокуратурой в рамках не-предотвращения и не-расследования этого теракта.

Ну, я считаю: этого так оставлять нельзя! Я имею в виду поведение бесланских матерей. Это ж натуральный террор! Который год преследуют они нашу правоохранительную гордость Владимира Васильевича Устинова! Хорошо хоть у него кожа носорожья, а то бы расстроился человек, — и кто бы тогда охранял нашу духовность, крышевал нравственные устои? Нет, с матерями Беслана надо что-то делать! Сколько можно действовать нам на нервы своими погибшими детьми? Ну, да... Ну, расстреляли их детей из огнеметов на глазах у сотрудников прокуратуры, ну, подмигнуло потом это государево око чекистам и отвернулось, когда те ночью вывозили с места преступления вещественные доказательства... Ну, отказала Генпрокуратура в возбуждении дела против руководства путинского штаба по расстрелу детей, ну, замылила аккуратненько расследование... Ну, всё уже, проехали! Что ж вы опять об одном и том же! Мы же всей страной договорились, что этого как будто не было. Берите пример с остального населения! Живем, в ус не дуем: с утра любуемся ростом барреля, вечером радуемся победам России. Вот, Канаду в хоккей сделали, вот Плющенко вокруг Билана прокатился за десять миллионов евро, на круг... Вся страна ликует, а эти... Нет, правда, ну как не русские, честное слово! Ну, ничего: настроение себе мы испортить не дадим и за Устинова встанем горой! Владимир Васильевич, спите спокойно. И поприветствуем, поприветствуем, господа, ум и такт новой кремлевской администрации, отправившей этого укрывателя бесланских вещдоков своим представителем на Кавказ...

Ну, на Беслан-то мы глаза всей страной прикрыли (детей у нас как грязи, и огнеметов не жаль), но уж на идеологическом фронте, по традиции, зоркость у нас такая, что глаза из орбит вылезают. С орбиты закона, по крайней мере, они выпали давно.

И напоследок, как полагается, новости спорта. И это уже, увы, не шутка...

Соревнования под девизом «Стать такими, как Путин» прошли в мэрии Оренбурга в прошлые выходные. По информации газеты «Комсомольская правда», в течение двух часов чиновники бегали, прыгали и отжимались на стадионе. В рекламной листовке мероприятия, расклеенной в мэрии, была использована известная фотография Путина с обнаженным торсом.

Эх, милые вы мои! Да разве прыжками и отжиманиями достигается сходство с вождем? Да хоть вы все топлесс в черных очках перефотографируйтесь, все равно непохоже. А похоже станет, когда кто-нибудь из вас высидит свой шанс и прицепится к кремлевскому паровозу... Проберется в кабину, съест всех, кто его в упор не видел, — вот тогда, будь он хоть кудрявым толстячком, а схожесть с Путиным настанет — не отличить!

Счастья вам!

07.06.2008

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Замечательная минувшая неделя выдала наше привычное разложение — во всей красе, всеми цветами спектра. Тут тебе и забота о подрастающем поколении путем выдергивания пирсинга из пупков, и думская шизофрения, и попытки медвежьего макияжа, и правительственные хитрости, и армейские радости. Ну, и неверным хоругвями по шеям надавали, как без этого. Впрочем, обо всем по порядку.

Начнем с нравственных ценностей. Как хорошо, что они есть! Потому что если бы их не было, о чем бы день-деньской говорили политики? В остальных материях надо хоть мало-мальски разбираться: ну, там, земледелие какое-нибудь... или инженерное ремесло... Молекулярную физику тоже на парламентских слушаниях особо не обсудишь. А по части духовно-нравственного воспитания — кругом одни спецы! Всю страну они охватить еще не успели, но, по крайней мере, за детей я с понедельника спокоен. Дети — в надежных мозолистых руках! Чай, не впервой.

Как сообщает газета «Ъ», в Госдуме прошли парламентские слушания, посвященные обсуждению «Концепции государственной политики в области духовно-нравственного воспитания детей в РФ и защиты их нравственности». Разработчики концепции предлагают, в частности, законодательно запретить детям свободно пользоваться Интернетом, делать пирсинг, появляться на улицах после десяти вечера и отмечать «заимствованные» праздники Хэллоуин и День святого Валентина.

В некоторых странах, где детям меньше повезло с депутатами, ими занимаются психологи. Погружаются в молодежные субкультуры, пытаются понять, откуда там что растет... Распутывают узелки, работают с родителями... В общем, страдают ерундой. То ли дело наши! Пришли в рощицу с топориками и — навели порядок. Хопа! — и вместо дерева телеграфный столб. Отличная работа! Как стемнеет, всем сидеть дома. Пупков не прокалывать, сердечки не рисовать, в Интернет ходить в сопровождении депутатов. Склонных к суициду и бисексуальности лечить православием. А праздник Хэллоуин запретить как «заимствованный»... А пасха у нас, надо понимать, древний славянский обычай... Ну, я ж говорю: когда мозгов много, их не спрячешь! Лезут наружу, как у Страшилы. Вообще, на месте депутатов я бы не мелочился, а предложил всю эту мерзкую, непохожую на них молодежь расстрелять в кратчайшее время у стенки на Охотном ряду. Кажется, к этой правильной мысли склоняется и главный друг детей депутат Говорухин.

«С этим молодым поколением уже ничего нельзя сделать: оно пропало, — заявил Станислав Говорухин, выступая на парламентских слушаниях по защите детской нравственности. — Надо спасать тех, кому сейчас два года, тех, кто еще вообще не родился».

М-да. Если бы те, кто еще не родился, подробно ознакомились с политической биографией г-на Говорухина, они бы первым делом попросили маму об аборте. Но те, кто, к несчастью, уже родился, вынуждены теперь г-на Говорухина слушать — и жить в стране, где депутаты предлагают законодательно запретить пирсинг, бисексуальность и Валентинов день. И — за неимением возможности выковырять г-на Говорухина и его коллег из руководящих

кресел — единственное, что остается в этой ситуации некстати родившимся — это рефлексировать помаленьку в Интернете...

Думская концепция эта, надо сказать, вызвала в Сети отклик необычайно живой и непосредственный. Самыми мягкими оценками этого пятисотстраничного депутатского труда были: слово «козлы» и совет «лечицца электрошоком». Вынужден возразить товарищам по паутине. Козлы вовсе не так опасны и по крайней мере не лезут в человеческую жизнь со своими директивами. Что же до электрошока, то это уже поздно. Разве что попросить Чубайса дать разряд посущественнее... А покамест главным позитивным результатом прошедших парламентских слушаний стало признание одной девушки — там же в Интернете: «еще немножко почитаю подобного и буду рожать и воспитывать своих киндеров гденить в районе новой зеландии»... Ну да, если выбирать между Новой Зеландией, абортом и Говорухиным, то грех и сомневаться.

Ну, думские заботы об общественной нравственности большой новостью не назовешь: с ними это случается по два раза в год! А вот настоящая сенсация поджидала нас в коридоре по соседству.

Партия «Единая Россия» заявила, что готова участвовать в публичных дискуссиях, в том числе в предвыборных дебатах с политическими противниками. «Совершенно естественно, что необходимо создать состязательность участников политического процесса», — заявил член президиума Генсовета «Единой России» Владимир Плигин.

Боже мой! Не ослышался ли я? Рак ли на горе свистнул? Сундук ли с дуба рухнул (в котором кащеева смерть)? «Состязательность политического процесса»? Единороссы, два олимпийских цикла сами себя награждавшие золотыми медалями, согласились выйти на татами на равных условиях с соперниками? Да-а, это событие. Правда, согласились уже после выборов, но перед выборами это было бы глуповато... Их бы, в порядке состязательности, так извозили лицом по телевизору, что кроме прокуратуры они бы уже никого не заинтересовали. Зато теперь, после выборов, — в самый раз! Бесстрашие господина Плигина должно войти в учебники истории. Триста спартанцев, двадцать восемь панфиловцев, а потом сразу Плигин, выкликающий на бой врага, после того, как они тут, стадом слонов, затоптали все живое от Брянска до Камчатки. А впрочем, желающих себе проиграть в открытой дискуссии «единороссы» найдут, — Лимонова только на экран не выпускать, Каспарова, Рыжкова и еще человек пятьдесят-семьдесят, про которых давеча телеведущий Соловьев сказал, что они народу неинтересны. А вот с интересными — дебатировать до хрипоты и побеждать их в честной схватке: Богданова-кудряша, Барщевского-подсолнуха, Миронова-спикера... О, это будет море крови!

Если что-то способно конкурировать с политическим бесстрашием «единороссов», то лишь их принципиальность.

На минувшей неделе Президент Медведев предложил Государственной Думе снять с рассмотрения поправки в Закон о СМИ, позволявшие закрывать средства массовой информации во внесудебном порядке. СМИ отмечают, что спикер Госдумы Борис Грызлов еще две недели назад заявил: «Единая Россия» не станет поддерживать этот законопроект во втором чтении.

Во втором чтении они, стало быть, проект не поддержат. А в первом — поддержали всем стойлом: 399 голосов, как с куста. Что же случилось? Не будем гадать, поинтересуемся у самого спикера. А вы себе это лицо представляете? Нечто среднее между римским патрицием и метрдотелем дорогого ресторана. И вот с этим каменным благородным лицом сообщив нам о перемене участи подлого законопроекта, Грызлов рассеял туман: президент, сказал он, «также считает, что в таком виде поправки сейчас преждевременны».

Если немножко поскоблить эту фразу, внимательному глазу откроются одна смысловая подмена и один грамматический фокус... Во-первых, президент ничего не говорил о преждевременности поправок, а говорил он об их вредности и юридической ничтожности. Но кому охота выглядеть полным идиотом? Вот и подправил Грызлов медведевскую мотивацию. А грамматический фокус тут вот какой: слово «также» написано было слитно, а на слух, надо сказать, звучало вполне себе раздельно. Да и Медведев в тот раз ни о чем, кроме этого законопроекта, не высказывался... Стало быть: не Президент «также считает», а он считает «так же», как Грызлов и «Единая Россия»! Полное единство позиций. Вот только Грызлов и «Единая Россия» еще в апреле голосовали «за» поправки! А теперь так же дружно от них отказываются, валяя ваньку насчет «преждевременности». Вы спросите: где же тут принципиальная позиция? Ну, как же! В поддержке позиции президента! У нас в апреле кто был президент? Вот именно. Его позицию и поддерживали. А сейчас другой. И четыре сотни депутатов по-флотски четко сделали поворот «все вдруг»! Мо-лод-цы.

Наша Государственная Дума вообще уже много лет голосует за любой законопроект подавляющим большинством — или подавляющим большинством голосует «против». Как с утра скажут.

Нижняя палата одобрила в первом чтении законопроект, избавляющий правительство во главе с Владимиром Путиным от избыточных полномочий. Как отмечает российское бюро Рейтер, около пятисот бюрократических полномочий кабинета в сфере госуправления, образования, здравоохранения, строительства, сельского хозяйства, культуры и социального обеспечения должны перейти на низовой уровень — министерств и ведомств.

Еще до голосования, едва лишь эта номенклатурная весть достигла ушей экспертов, эксперты начали чесать репу: не начало ли это кризиса административной системы? Ежели правительство набило рот так, что не может прожевать, не кончится ли это заворотом кишок? Но все хорошо, что хорошо кончается, — часть непрожеванного вынули и переправили в министерства, и сейчас там начнутся главные номенклатурные радости: новые ведомства, чиновники, сметы... Однако ж это все ерунда по сравнению с главным: с Путина снимается ответственность за полтысячи полномочий! Это вообще мечта любого чиновника: когда ресурсы у тебя, а ответственность — по соседству. Раньше для этого у Путина был Фрадков, но становиться Фрадковым самому — это уж увольте! Лучше вот так: рулить и лоббировать самому, а шею за неудачи мылить министрам. То же самое и с партией этой, голосующей с утра за что скажут. Не входить в нее, не мараться возле Грызлова-Волошина, но спускаться иногда из-за облака, как давеча, и, играя желваками, чистить рыла.

В минувший вторник во время встречи с руководителями «Единой России» в Ново-Огарево председатель партии Владимир Путин заявил, что усилия «единороссов» должны быть направлены на исполнение предвыборных обещаний как в ближайшее время, так и в перспективе до 2020 года, передает Интерфакс.

Вам ясно сказано, господин Грызлов? Господин Володин, вопросы есть? Выполнять. Хе-хе. А не исполнят они предвыборных обещаний — пускай пеняют на себя: наш-то строг, если что — шкуру снимет! Специально из-за облака еще разок спустится — и снимет. И назад, в облака... Впервые этот дивный трюк наш бывший президент провернул, когда еще и президентом не стал: восемь лет назад, на военном направлении. Разворошил чеченский улей, объявил войну законченной и передал функции по наведению порядка в МВД! С тех пор ни за что и не отвечает — ни за «зачистки», ни за фильтрационные лагеря, ни за Норд-Ост с Бесланом. Только дух его знай витает над землей на радость россиянам! Впрочем, как раз после Беслана несколько десятков россиянок мечтают встретиться с Владимиром Владимировичем в зале суда. Говорят: есть вопросы...

Организация «Голос Беслана» подала заявление Генпрокурору России с требованием допросить Владимира Путина как свидетеля по делу о теракте в бесланской школе в сентябре 2004 года. Как сообщила в эфире нашей радиостанции активистка организации Элла Кесаева, ряд свидетельств указывает на личное участие Путина в принятии решения о штурме школы.

Ага, как же... Вот прямо сейчас генпрокурор пошлет повестку в Кремль! И прям назавтра Путин покинет облако, с которого обеспечивает нам счастье по две тыщи двадцатый год, и начнет давать показания о расстреле детей из огнеметов... Если бы наш бывший гарант имел возможность расстрелять и матерей тоже, он бы, наверное, уже это сделал, потому что они, конечно, совершенно не понимают иерархии! Ведут себя, как будто в каких-нибудь Соединенных Штатах, где глава государства — такой же самый гражданин и обязан идти в суд. Это Клинтон извинялся перед страной за то, что сделал приятное девушке в рабочее время! А у нас президент в рабочее время дал отмашку на стрельбу по детям — и только рейтинг вырос. Мы решительность страшно уважаем! Только желательно, чтобы дети были не свои...

Теперь — еще приятные вести из Вооруженных сил. Силы эти продолжают весенне-осеннюю жатву на полях Родины — и боеспособность растет. Как правило, вместе с инвалидностью.

Каждый третий российский призывник, которого увольняют из армии из-за проблем со здоровьем, страдает психическими заболеваниями. Причем 35% из них — умственно отсталые. Об этом заявила главный российский психиатр Татьяна Дмитриева. Правозащитники убеждены, что тяжелые психические расстройства в армии провоцируются самими условиями службы; военные, в свою очередь, во всем винят врачей из медкомиссий, пишут «Новые Известия».

Я тоже думаю, что врачи виноваты! Потому что с чего бы вдруг нормальному парню тронуться умом в российской армии? Ну, не поспит паренек недельку-другую, ну, не поест, ну, поползает пару месяцев по казарме со скребком (для пущей обороноспособности), ну, поотжимается у сержант-

ских ног для профилактики, ну, поприседает с табуреткой в руках, в порядке отдачи священного долга... Ну, пойдет попрошайничать, чтобы собрать оброк «дедам», ну, не соберет нужной суммы, ну, получит кулаком по почкам и для симметрии сапогом по печени, — так это ж романтика воинской службы! Ну, пожалуется он командиру, ну, отметелят его ночью уже по серьезке, чтобы знал, как Родину любить, да начнут бросать из одного наряда в другой, а пропитание себе он уже полгода будет добывать с пола и из милости, — ну, и заорет солдатик однажды дурным голосом, и кинется в окно с четвертого этажа... Но причем тут армия? Это врачи виноваты. Некрепких присылают. Умственно отсталых после полугода битья по голове. А армия у нас — зашибись! И при Грачеве уже была хороша, а уж со времен Сергея Борисовича Иванова — вообще в полном порядке! Если НАТО сунется, — мы им Иванова на тележке выкатим и крупным планом покажем; он разок улыбнется, — они от ужаса Украину обратно отдадут.

А теперь — новости религии.

Инициативная группа жителей Москвы и Подмосковья, выступающих против строительства кришнаитского центра на севере столицы, передала в московскую мэрию резолюцию митинга протеста. Протестующие требуют отменить строительство центра, мотивируя это тем, что распространение учения Кришны представляет угрозу для православия.

Это, конечно, чистая правда! И тут главное не останавливаться, потому что, помимо кришнаитского храма, угрозу православию представляют еще кирха, мечеть, синагога и планетарий. Впрочем, планетарий уже закрыли...

Но вернемся напоследок к делам светским... прости господи!

Общая сумма выходных пособий (так называемый золотой парашют) для группы менеджеров подконтрольной «Газпрому» компании ОГК-2 составила более полумиллиарда рублей, пишет газета «Ъ». По данным источника в компании, ее гендиректор получил при увольнении 62 миллиона рублей, шестеро его заместителей — по 45 миллионов, а менеджеры более низкого звена — по 20–26 миллионов. Издание отмечает, что все уволившиеся менеджеры подписали трехлетние контракты только в январе этого года.

Вот славно! Зимой выйти на работу, а весной уволиться, взяв по паре-тройке миллионов долларов на брата. И только одно меня смущает в этой истории — реакция акционеров. Как пишет «Ъ», акционеры компании — «Газпром» и РАО «ЕЭС России» — осудили действия своих бывших сотрудников! Странно... Что не так сделали сотрудники? По-моему, вполне в русле времени... Вот же, только что группа чекистов уволилась из Кремля, прихватив половину российской нефти, всю «оборонку» и телевидение. Вот где настоящий «золотой парашют»! А тут какие-то жалкие полмиллиарда, причем рублей, — и вдруг такой шум, такое негодование... Объясните мне, тупому: это у нас крыша меняется или просто громоотвод к трубе примотали?

Счастья вам!

14.06.2008

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Прошедшая неделя очень была хороша — в смысле остроты самоощущения. Всего там было большими пригоршнями — всего, чем славимся

мы меж другими народами. Чтобы, значит, никто не перепутал и все понимали, с кем имеют дело. Ну, обо всем по порядку.

А начнем — с праздника. Ну, с этого... который в четверг был... День Независимости, что ли? или уже не Независимости? Ну, помните, который нам выдали вместо дня сталинской конституции... или уже не сталинской? М-да. Граждане, никто не в курсе: что мы в четверг праздновали-то? По какому случаю была халява?

Правильное название праздника — День России — знает лишь примерно каждый третий россиянин. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром» По мнению заместителя директора этой социологической службы Алексея Гражданкина, россияне по-прежнему воспринимают 12 июня как дополнительный выходной.

Ну, и слава богу. Безымянный расслабон посреди процесса удвоения ВВП хорошо вписывается в контуры нашей загадочной души. А в честь чего именно расслаблялись — да дробись оно конем! Тем более что в трезвом состоянии, по данным «Левада-центра», двое из трех россиян не твердо знают цвета флага и порядок полосочек... Чтобы повысить показатель, надо накатить! А «гордость и восхищение» у сограждан, по данным того же опроса, в наибольшей степени связаны с гимном: им гордится большинство, хотя большинство же не помнят оттуда ни строчки. Слушайте, может, они потому и гордятся, а?

Вообще, если посмотреть на проблему шире, вакуум безусловно способствует росту патриотического сознания: с пустой башкой гордиться легче! А которые много помнят, они вместо гордости начинают испытывать стыд и портить настроение окружающим. Раньше таких лечили в институте Сербского и в лагерях по семидесятой статье, сейчас, при демократии, приходится обходиться подручными силами. Впрочем, сила есть...

Руководитель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев были забросаны яйцами — во вторник, во время пресс-конференции в Москве, посвященной пыткам и убийствам заключенных в Челябинской колонии. Нападение на правозащитников устроила группа молодежи под руководством депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Абельцева.

Вы лицо депутата Абельцева себе представляете? А Людмилу Михайловну Алексееву? Ну, то-то. И как приятно знать, что наша законодательная власть — это именно Абельцев и еще четыре с половиной сотни таких же йеху, а не восьмидесятилетняя маргиналка Алексеева, у которой ни значка с триколором, ни машины с мигалкой, ни бюджетного финансирования... Так вот, кстати, о наших йеху с Охотного ряда. Хамское нападение на двух немолодых людей Абельцев соорудил во вторник, — наверное, уже в среду его осудила ихняя комиссия по этике... Нет? Тогда, может быть, в четверг? Ну, в пятницу — точно осудила! Нет? Вообще ни слова? Надо же. Стадо йеху. Читайте Свифта, а мне больше добавить нечего.

А пара десятков йеху из правящего прайда в тот же день устроили гульку на круглом столе Государственно-патриотического клуба партии «Единая Россия»! Молодые, хваткие, знающие, как надо правильно гордиться Родиной, и готовые обучить окружающих этому нехитрому ремеслу.

В качестве учебных пособий в российских школах будут показывать документальные фильмы «Государственный герб», «Государственный флаг» и «Государственный гимн», презентация которых состоялась в минувший вторник на круглом столе Государственно-патриотического клуба партии «Единая Россия». По мнению руководителей клуба, фильмы будут воспитывать патриотический дух российской молодежи.

Немногие счастливцы, видевшие фрагменты этих лубков и сохранившие рассудок, сильно прибавили в патриотизме еще в процессе просмотра. Многих проняло так, что они даже не могли смотреть на экран. Тихо хрюкали в полутьме от наплыва гордости. А посмотреть-то на экран стоило — хотя бы для того, чтобы оценить уровень финансирования, ибо субсидировалось кинцо, разумеется, из бюджета. Почем встало населению ихнее пособие по патриотическому воспитанию, узнать журналистам не удалось, но я скажу так: есть вещи, на которые денег не жалко. Например, интеллект. Ведь ждали интеллектуального прорыва в области патриотизма — ну, и дождались!

Как пишет газета «Ъ», в результате дискуссии на круглом столе участники заседания пришли к выводу, что пора вводить в России «культуру ежеутреннего поднятия флага и принятия вертикального положения при первых же нотах российского гимна».

Теперь — благие вести с партийных полей. На прошлой неделе россиян не на шутку встревожило предложение «единороссов» о законодательном требовании всем партиям участвовать в дебатах. Тревога касалась в первую очередь медицинской стороны дела: россияне твердо помнили, что уже восемь лет сами же «единороссы» и не ходили на дебаты, и решили, что «медведи» просто впали в маразм. Но в минувшую среду все прояснилось: «Единая Россия» провела «обучающий семинар для заместителей секретарей региональных отделений, отвечающих за пропагандистское направление», — и на сем семинаре ихним сусловым отполировали головы до полного блеска! Больше никаких загадок.

«Нужно сделать так, чтобы <...> рядовой гражданин понимал, что от дискуссии внутри "Единой России" что-то зависит, а дискуссия с другими партиями лишь формальность», — заявил заместитель секретаря генсовета Андрей Исаев.

Честный человек этот Исаев! При таком способе подсчета голосов, какой они завели себе при Чурове, дискуссия с другими партиями, действительно, — чистая формальность. Ну, их на фиг совсем, другие партии! Куда интереснее дискутировать промеж себя! Впрочем, это удовольствие им тоже ограничили.

Председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов предупредил, что политическая конкуренция не должна привести к расколу внутри партии. «Мы партия единая, и наличие дискуссионных площадок — это лишь рассуждения о том, слева будем пить или справа, — заявил он. — Я предпочитаю посередине».

Если бы Борис Вячеславович со своими партайгеноссе пил цикуту, лично меня бы устроил любой порядок их рассадки за столом. Но поскольку пить будут они, а голова с этого интеллектуального похмелья болеть будет у России, хотелось бы, конечно, чуть большей ясности с репертуаром... ну, то

есть, с меню. Потому что если опять «Путинка» в таких количествах, то меня увольте. Дискуссию о допустимом уровне дискуссий удачно закрыл смотрящий от Кремля.

По сведениям «Газеты.Ru», первый заместитель главы кремлевской администрации Сурков, выступая на семинаре, заявил, что единороссы должны мыслить в одном ключе с правительством, которое возглавляет председатель партии, и более ответственно относиться к собственным высказываниям, «чтобы они не дискредитировали деятельность правительства».

Ну, вот и слава богу. На этом, я считаю, дискуссионную лавочку можно закрывать. Покалякали, — и хорош!

Однако ж идеология в отчетный период возгонялась и булькала не только в змеевике у единороссов! Из-под соседних знамен тоже доносились приятные звуки. Всюду жизнь.

Несколько националистических движений приняли решение объединиться в Русское национальное движение. «Альтернативы национализму нет, потому что через все другое в нашей стране мы уже проходили», — заявил глава ДПНИ Белов-Поткин, выступая на конференции, проходившей в прошлое воскресенье. «Мы обращаемся к наиболее активной части русской нации, — говорится в заявлении организаторов конференции, — с призывом поддержать нашу борьбу за справедливость и национальное единство».

Я, признаться, сначала раскатал губу и тоже хотел присоединиться, потому что я давно за справедливость и против национального единства тоже ничего не имею... Но вчитался и увидел, что Белов-Поткин и Ко обращаются вовсе не ко мне. То есть вообще не к россиянам, а исключительно к русской нации, — и стало быть, мне вышел облом... И даже знакомство с бывшим членом партии «Яблоко», ныне видным националистом Алексеем Навальным мне, боюсь, не поможет. Не влиться мне в эти славные ряды! Не пройду я у тебя фейс-контроль, брат Алеша... М-да. Ну, бывает...

Полный, стало быть, отлуп российским евреям!.. бурятам... калмыкам... даргинцам, полякам, грузинам, чеченцам, якутам, украинцам, чукчам, литовцам, армянам, белорусам, татарам, лезгинам, башкирам, мордвинам, осетинам, эвенкам... я никого не забыл? Забыл, пожалуй, еще пару сотен народов, которым заказан вход к Белову-Поткину и Навальному, потому что — ну, не русские! Обойдутся без нерусей наши новые «нацики» в борьбе за справедливость. Кстати, как выглядит на местности их борьба за справедливость, вы не забыли? Напоминаю ключевое слово — «Кондопога»... Вспомнили? Можно другие ключевые слова напомнить (на тему национализма и вытекающей из него справедливости человечество в XX веке накопило их довольно много, заканчивая, чтобы далеко не ходить, словом «Освенцим»). И кстати, насчет того, что «*через все другое мы уже проходили*»... Вот уж через это мы ходили так, что ножки бо-бо и глазки смотреть отказываются. Почти два века назад, только-только декабристов повесили, сразу же и придумали взамен реформ это «православие, самодержавие, народность», и тошнило по сему поводу еще Пушкина. Его тошнило, Герцена тошнило, Толстого с Чеховым тошнило, пускай теперь нас потошнит, правда, г-н Поткин?

Впрочем, у каждого свои развлечения. Те дискутируют внутри себя в правительственном ключе, эти ходят под хоругвями в поисках справедливо-

сти, а органы безопасности денно и нощно стоят на страже и ловят, ловят, ловят своими чистыми руками... Вот только проследить за этими руками никак не получается.

Выступая на заседании антитеррористического комитета, новый глава ФСБ Александр Бортников заявил о предотвращении нескольких терактов в московском метро. По его словам, террористы планировали взрывы в дни майских праздников и инаугурации президента. Также Бортников рассказал о преступной группе, готовившей теракты в городах Кавказских Минеральных Вод. Однако, как сообщает издание Газета.ру, глава ФСБ отказался даже намекнуть, кто стоит за неудавшимися терактами.

Ну, г-н Бортников не стал изобретать велосипед. Его предшественник г-н Патрушев раскрывал теракты вообще сотнями. Позавтракает, бывало, да и доложит стране о раскрытии. К обеду еще парочку раскроет. К майским праздникам десяток терактов предотвратит, по паре штук к каждому саммиту и пяток-другой ко Дню России... Ну, а уж к инаугурации — это надо быть полным козлом, чтобы не отличиться! При этом имена террористов Патрушев тоже держал в строгом секрете: предотвращенных терактов чуть ли не тысяча, а террористов на скамьях подсудимых с гулькин нос. То ли растаяли в процессе следственных действий, то ли их нигде и не было, кроме докладов Николая Платоновича... Впрочем, мы ребята простые. Мы любознательностью страдаем, только когда «Дом-2» смотрим, — зачем нам имена террористов? Только настроение портить. Так что грянем всей страной «ура» и отсыпем чекистам еще орденов и финансирования! Только вы уж порадуйте, голубчики, по старой памяти, поймайте еще парочку террористов к ноябрьским...

Теперь новости мирной жизни. Тоже, надо сказать, замечательно приятные. А то тут некоторые жалуются, что, мол, в России жить плохо. Мол, чуть за кольцевую выедешь, — бедность... социальная незащищенность... Так это смотря в каком направлении выехать!

«Новая газета» опубликовала результаты собственного расследования о продаже лесных угодий, расположенных по Рублево-Успенскому шоссе. Издание напоминает, что полгода назад около тысячи гектаров было приобретено, на правах долгосрочной аренды, структурами, близкими Роману Абрамовичу, по цене шестьсот рублей за сотку.

Ну, вы небось помните, это был страшный скандал; нескольких «стрелочников» уволили с криками благородного негодования. Но сделка-то уже состоялась, не крутить же колесо обратно... И вот недавно на сайте риэлторского агентства «Третьякофф-недвижимость» (с двумя «ф» на кончике, чтобы вы не путали эту малину с одноименной убыточной галереей) появилось предложение всем желающим поторговаться за вышеозначенный заповедный рублевский лесок, начиная, впрочем, не с шестисот рублей за сотку, а с семисот тысяч... Причем девушка-риэлтор сразу честно предупредила позвонившего корреспондента «Новой газеты», что схема продажи будет «черной»: «либо налом в ячейку, либо через офшорку на Кипре». А нельзя ли потом рубануть этот заповедник? — поинтересовался любознательный корреспондент. Ну что вы, ответила риэлтор, ни в коем случае! Заповедник — нельзя. Но можно перевести лес в другую категорию, или договориться о

санитарной вырубке, или провести по бумагам установку личной сауны как строительство оздоровительного сооружения... И уж тогда фигачить по соснам бензопилой в полном соответствии с законом, в котором ровно для этого восемнадцать лазеек и было предусмотрено. Короче: все ништяк! И хозяева землицы (по счастливой случайности, люди, близкие к структурам Романа Абрамовича) могут спать спокойно и даже рассуждать о произошедшем в философском ключе.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил в интервью «Российской газете»: «Я бы этот участок все равно никому не отдал. Но как участник торгов я не обязан обеспечить доведение цены аукциона выше стартовой в несколько раз».

Святая ваша правда, Александр Николаевич! Не обязаны. Аукцион прошел, сговор не доказан, да никто и не пытался... Единственное, что могло бы испортить тут настроение человеку, так это соображения репутационного порядка, но после истории с Ходорковским и спетой осанны Путину как гаранту свободного бизнеса отвлекаться на репутацию уже, действительно, большого смысла нет.

Ну-с, насладившись свободой бизнеса, заглянем теперь в свободную прессу. How are you? Fine!

Англоязычная сатирическая газета «The Exile», выходящая в России с 1997 года, будет закрыта. Причиной такого решения стала проверка Россвязьнадзора: последние номера газеты взяты на экспертизу на предмет наличия в них экстремистских материалов, разжигания национальной розни, распространения порнографии и пропаганды наркотиков. «Первое, что они потребовали, это статьи Эдуарда Лимонова», — сообщил «Газете.Ru» главный редактор издания Марк Эймс. После такого, по словам Эймса, «газете — капут».

Чтобы услышать, как англичанин, после встречи с Россвязьнадзором, переходит на немецкий... — о, ради этого стоило искать порнографию в статьях Лимонова про Медведева.

И напоследок — как всегда, немного о приятном. Как раз в то самое время, когда в Москве, на круглом столе Государственно-патриотического клуба партии «Единая Россия» обсуждали, каким образом заставить граждан принимать вертикальное положение при звуках гимна, которого они не знают, и ежеутренне поднимать над собой трехцветный флаг с неизвестным чередованием полосок, на севере диком стоял одиноко глава городской администрации города Сыктывкар и пытался понять: кто это сделал?

С городского пляжа Сыктывкара украли песок, сообщает информационный портал «Коми Онлайн». О странной и малообъяснимой пропаже рассказал на общегородской планерке глава местной администрации. По его словам, скорее всего, это произошло во время паводка, когда к пляжу смогла приблизиться баржа, на которой, видимо, и вывезли пляжный песок. Сейчас власти пытаются выяснить, кто это мог сделать.

Ну, сделать это, я считаю, мог любой человек, имеющий в распоряжении свободную баржу и достаточно досуга. Правда, корреспондент Первого канала склонился к природной версии катаклизма: мол, на дне реки образовались ямы, и пляж сам ушел под воду. Ну, не знаю... По мне, это было бы

даже немного обидно. Как хотите, а нет в этой версии ни размаха, ни повода для гордости! Вон, по Чикаго смерч прошел, это я понимаю. А тут подмыло, значит, бережок на реке Сысоле... ерунда какая-то. Нечего рассказать детям! А вот некто, подплывший втихую на барже с группой товарищей и спионеривший из-под носа у администрации городской пляж — вот от этого захватывает дух и хочется жить здесь дальше...

Счастья вам!

21.06.2008

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Минувшая неделя выдалась — пальчики оближешь! Столько всего интересного, особенно в правоохранительной сфере. Впрочем, и научный подход не подкачал, и кадровое строительство было на уровне, и забота о демократии пришла откуда не ждали. Ну, и очередной цицерон слетел с высочайшего языка... Впрочем, обо всем по порядку.

Так хотелось начать, как всегда, с осанны, но увы... В череде наших ослепительных побед от футбола до Билана встречаются иной раз и обломы.

В прошлый четверг в Испании были задержаны двадцать выходцев из России, входящих в так называемую тамбовскую преступную группировку. По данным испанской полиции, в сферу деятельности задержанных входили убийства, торговля оружием, вымогательство, мошенничество, подделка документов, подкуп, незаконные сделки, контрабанда, наркоторговля, торговля влиянием, заказные нападения и шантаж.

Испания, после матча на Евро, могла бы вести себя поскромнее, не будить лиха... А то ведь мы с Альбиона на Пиринеи как переключимся, мало не будет... Ну, а что касается послужного списка «тамбовских»-«малышевских», опубликованного испанской полицией, — в этом славном реестре интереснее всего пункт о торговле влиянием. Тут никакого мошенничества: братки покупателей не обманывали. Имели чем торгануть.

Влияние у них было нешуточное как минимум с начала 90-х, когда наша сладкая парочка — Комитет Госбезопасности и Компартия Советского Союза — под крик о демократах, разваливающих великую страну, по тихому уводили наши миллиарды в свои оффшоры. Делали они это разнообразными путями, — в том числе, вот через этих братков: в ту пору и выросли первые новорусские виллы на солнечных испанских берегах. Новая российская власть, состоявшая по преимуществу из тех же самых бывших гэбешников и партийцев, к бандитским контактам «софьи власьевны» отнеслась с пониманием, — видимо, это и дало право их главному братку хвалиться, что «мэр Санкт-Петербурга у него на посылках». А у того мэра был в ту пору скромный такой заместитель по внешнеэкономическим связям... как же его фамилия? Ах, запамятовал.

Путин! Ну, конечно. Путин была фамилия этого заместителя по внешнеэкономическим. Еще и дачка у него была через заборчик с главой «тамбовских», Кумариным... Еще общий бизнес был у него с этим Кумариным, и в свободное от мэрии время подрабатывал Путин консультантом в кумаринской фирме, чье название недавно всплыло на свет в деле об отмывании капиталов, связанных с наркобизнесом. Министром МВД в ту пору был уже

Грызлов, но вы не беспокойтесь, это не Грызлов сошел с ума: расследование вела немецкая полиция... Впрочем, наше следствие тоже умеет работать, — не задавая при этом лишних вопросов. Поэтому Кумарин теперь сидит в тюрьме, а Путин — в Белом доме. Вернемся, однако, к давешним испанским арестам. Наследники Кумарина, нынешние вожди бандитского Петербурга, были отчего-то совершенно уверены в своей безопасности...

Факт присутствия в русской мафиозной сети коррумпированных сотрудников ФСБ подтверждается различными источниками следствия, пишет испанская «Эль Паис». Они вели совместный бизнес с главарями преступного мира и посредством слияния с российской властью обеспечивали преступникам двойную защиту.

До испанской полиции «лубянская» крыша, видать, еще не дотянулась, и после арестов в Испании про русскую мафию начали, разумеется, писать все, кому не лень, и разразился страшный «эль скандаль». Ну, я знаю страны, где по такому случаю пошло бы на цыпочках на три буквы правительство, но только не у нас! У нас, когда поймают за руку, принято давать отпор внешним врагам. И отпор был дан.

«Утверждения, что в некоторых западных странах действует так называемая русская мафия, не точны, — заявил председатель комитета Государственной думы по законодательству Павел Крашенинников. — Слово "мафия" итальянского происхождения, и под ним подразумевается теневая криминальная структура или сеть, контролирующая суды, бизнес, власть и т. д. Так что, с классической точки зрения, утверждать, что в Испании или где-либо еще существует русская мафия, абсолютно неправомерно».

Классически образованный господин этот, Павел Крашенинников, в прошлом был депутатом от СПС, но, попав на Охотный ряд, вовремя одумался — и теперь открывает свою коробочку с либерализмом только по большим праздникам и пудрит нам мозги тонкой политической парфюмерией, но никакая пудра уже не отобьет его нынешнего «медвежьего» запаха... Итак, слово «мафия» — итальянского происхождения, вот ведь что самое главное, господа! Вы-то небось до Крашенинникова думали: киргизского. Ан нет! Давайте же полистаем словари, уточним значение слова, погрузимся в этимологию... Все это гораздо интеллигентнее, чем взять, например, и тупо потребовать объяснений от руководства МВД и ФСБ... Или создать парламентскую комиссию по расследованию глубины контактов преступного мира с действующей властью. Или просто вызвать в парламент премьер-министра Путина ВэВэ и сказать ему: господин Путин ВэВэ, опровергните, пожалуйста, детально информацию о ваших совместных бизнесах с «тамбовскими» — или пройдите, пожалуйста, для начала в отставку, потому что у нас тут не «малина», знаете ли, а правовое государство... М-да. Во я расфантазировался!

Теперь — отчасти в продолжение темы... Я имею в виду постулат о русской мафии, которой нигде нет (кроме, разумеется, самой России). Ибо «теневая структура, контролирующая суды, бизнес и власть», гуляет у нас по буфету, начиная с тех самых девяностых. А уж внутри структуры каждый добывает свое ведерко икры на хлеб насущный, как может. И те, кто с коррупцией борются, изначально находятся в преимущественном положе-

нии перед коллегами, ибо схема «наезд — откат — отъезд» дает такую маржу — Уолл-стрит удавится от зависти! Один мой знакомый, бизнесмен, живущий в прекрасном южном крае, рассказал мне давеча свежую историю на сей счет. Летел он, стало быть, из европ, и летел вместе с ним в бизнес-классе вице-губернатор этого нашего прекрасного южного края. И вот берут того вице-губернатора в наручники прямо на трапе в Шереметьево и увозят в сторону борьбы с коррупцией. Чему бизнесмен если и удивляется, то не слишком, потому что вице-губернатор этот давно известен землякам как правый карман своего губернатора, а губернатор этот — такое ворье, что Лужкову неловко. И вот этого южного вице- увозят с трапа в наручниках, и бизнесмен, переполненный впечатлениями, летит к себе домой. А через несколько дней летит он снова в Москву и видит в бизнес-классе сумрачную охрану того вице-губернатора. И честные эти ребята, в простоте своей, рассказывают ему, что вот, везут в Москву чемоданчик с сорока «лимонами». Вы «лимоны зеленью» когда-нибудь видели? Вот таких — сорок штук. Выкуп. Причем ребята-охранники даже не очень в курсе того, что они — участники преступной группы: работа и работа. А еще через несколько дней вице-губернатор вернулся на руководящее место — немного бледный, но готовый к новой самозабвенной работе на благо края. В общем, борьба с коррупцией.

Теперь — вопросы кадрового строительства. Кадры — они ведь по прежнему решают все... И как решают!

Глава администрации президента Республики Башкирия Радий Хабиров переходит на работу в Кремль. По информации «Газеты.Ru», ему предложена должность первого заместителя руководителя управления президента по внутренней политике. Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник в Кремле, новая должность создана специально для Хабирова.

Я, как это прочитал, сразу подумал: где-то я слышал эту фамилию... И вспомнил. О! Этот Радий поставит работу с регионами в правильную позу, ибо сам знает эту позу не понаслышке. Я уже имел удовольствие рассказывать сию дивную историю про Муртазу Рахимова и его присных.

Четыре года назад, за пару дней до очередных выборов Муртазы, башкирской оппозиции удалось поймать власть за грязную лапку. Причем лапка была как раз вот этого Радия Хабирова, главы президентской администрации. Именно по его заказу в президентской типографии тайком печатались фальшивые бюллетени. Это дело накрыли с поличным, а дальше начался чистый чаплин. Оппозиционеры вызвали милицию, милиция ехать отказывалась; приехав же, стала отгонять от этих ночных первопечатников журналистов. Потом из окон типографии пошел дым, потому что там жгли вещдоки, и хитрые журналисты вызвали пожарных, но мужественная башкирская милиция не пустила пожарных к огню! И все-таки под утро факт наличия обгорелых и нарезанных «лапшой» фальшивых бюллетеней был запротоколирован и на сей счет заведено уголовное дело, и несчастный директор типографии, которого немедленно сделали крайним, заложил со всеми потрохами главу администрации Радия Хабирова, о чем прокурор республики, бедолага, успел даже сообщить официально. Бедолага — потому что Рахимов немедленно полетел в Москву и пробился к Путину, и по результатам беседы Путин посыпал на башкирское правосудие волшебным

дустом, и прокурор ушел в отставку. Почем обошелся Муртазе путинский дуст, я не знаю, со свечкой не стоял, но надо надеяться, никто не обиде. В конце концов, не все же с «тамбовских» питаться... «Башкирские» тоже расценки знают. И вообще: велика Россия!..

Впрочем, не все в жизни измеряется деньгами! После того случая Рахимов и Хабиров неоднократно обеспечивали рекордные проценты голосований уже за Путина. Ну, и за Медведева, когда сказали за Медведева. Ночной станок работал не переставая, за что Хабиров даже получил грамоту от чуровского ЦИКа. А теперь, стало быть, пошел на повышение наш первопечатник — будет курировать работу Кремля с регионами. Чудный кадровый выбор, г-н Медведев! А в свободное время — бороться с коррупцией, правильно я понимаю?

Теперь осторожненько заглянем на оборотную сторону медальки. Ибо история с повышением Хабирова имеет прямое отношение к большому переделу на нашей коммунальной кухне.

Как пишет издание «Газета», источники в окружении Радия Хабирова утверждают, что его переводят в Кремль с тем, чтобы спустя полгода вернуть в Башкирию уже в должности нового президента республики, отправив на пенсию Муртазу Рахимова.

Вот тут-то пасьянс и разложился карточка к карточке. А я все думал: чего это вдруг Рахимов давеча в революционеры подался? Нет, ей-богу! В минувшую среду Муртаза Губайдуллович возьми вдруг да заяви: мы, мол, потеряли федеративное государство! (при Путине, надо понимать... Ничего себе заявочки). Я, сказал Рахимов, поддерживаю идею главы Татарстана! А глава Татарстана, Минтемир Шаймиев, сказал-то вообще страшное: пора, мол, вернуться к выборам глав регионов! А потом еще подумал и добавил: законодательное собрание — избранный народом орган, и неправильно, что президент России имеет право распускать местные парламенты! А? Это что такое? Это бунт, господа! Просто — как будто не два царедворца с общим стажем полтора века, а Сакко и Ванцетти, хоть электричество подводи. С какого вдруг бодуна? И чего раньше молчали? Отчего скрывали свое недовольство отменой выборов? Путина, бедняжку, зализывали, бывало, до полусмерти, языками в такие места добирались, что за здоровье боязно, а тут, едва прошел слух, что Медведев собирается поставить на регионы своих людей, — разом одолела тревога за демократические институты в России! Вот что делает с людьми избыток гражданской позиции при перспективе отъема имущества.

Теперь, рискуя дать петуха, не удержусь, а пропою осанну правоохранительным органам, которые довели-таки дело об убийстве Политковской... Ну, довели они его. Вот ровно в тот тупичок, в который и вели. Молодцы!

Следственный комитет заявил о завершении расследования по делу об убийстве Анны Политковской. При этом, как отмечает «Новая газета», четверо фигурантов, которые в ближайшее время окажутся на скамье подсудимых, обвиняются лишь в пособничестве в совершении преступления, а заказчик и исполнитель до сих пор не найдены.

Ну, что значит «не найдены»... Строго говоря, не то чтобы не найдены, а даже, я бы сказал, спрятаны. Ибо, пока следователи из бригады Петра Гари-

бяна распутывали ниточку преступления, десятки гладких правоохранительных начальников толкали их под руку и изо всех сил семафорили преступникам... Бывший наш президент тоже постарался: после прозрений этой кремлевской ванги о следе, ведущем к врагам России за рубежом, никакого иного заказчика, кроме Березовского, следствию найти уже не удастся... По крайней мере, пока из лидеров нации этот экс-президент сам не перейдет в разряд фигурантов... А пока — убийца не пойман, заказчик не определен... Но и те, чья причастность к убийству установлена, достойны быть перечисленным по ведомственной принадлежности. Насладимся этим перечнем, господа: итак, по данным следствия, полковник ФСБ и бывший рубоповец добывали для убийц адрес Политковской, агенты ФСБ вели за нею наружное наблюдение, непосредственные исполнители, бандиты из «лазанской» группировки, тоже были агентами ФСБ... Для полноты картины добавим сюда генерала ФСБ Купряшкина и главу следственного управления Довгия, аукающихся с преступниками через СМИ, чтобы те были в курсе следственных мероприятий, — и можно начинать гордиться. Чекистский крюк, — так это, кажется, теперь называется? Спора нет, страна зацепилась крепко.

И напоследок — новости спорта. Через час с небольшим в Базеле начнется наш четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Играть будем против голландцев... Немного тревожно, признаться: опять оранжевая угроза у ворот! Эх, если б можно было выставить против ван Нистелроя автобус башкирского ОМОНа да автобус вологодского ОМОНа против Ван Перси! Но авось Игнашевич с Колодиным справятся... А мы криком поможем. Все к телеку.

Счастья вам!

28.06.2008

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Образцово-показательная минувшая неделя вместила в себя все, чем может гордиться страна: тут и примеры социального равенства, и образцы начальственного интеллекта, и бюрократическая чистота нравов, и милая простота в обращении с населением... Ну, и три пуда обычной дури, чтоб народ не забывал, где живет!

А начнем со свежих образцов начальственного интеллекта. В минувший понедельник в Москве прошел форум «Стратегия-2020». Ну, самое время. Тактическую-то задачу они выполнили в марте, когда окопались на новый срок, никого близко не подпустив к укрепрайону из красного кирпича. Минные поля в районе ЦИК, тяжелая законодательная артиллерия в Охотном ряду, ну и, собственно, ОМОН — на случай, если народ заинтересуется конституционным правом на митинги и демонстрации... Короче, высотку с Кремлем взяли малой кровью и большими деньгами, — теперь пришла пору смотреть вперед. И вот, значит, милости просим: форум «Стратегия-2020». А на форуме том — заседание секции «Новая элита России». На заседании сама эта элита пыталась понять про себя, кто она есть и что ей теперь с этим счастьем делать. Как всегда, в центре интеллектуальных усилий оказался первый замглавы администрации президента Владислав Сурков. Бесстра-

шие мысли в этом человеке конкурирует только с его нравственным совершенством.

Новая элита России не должна быть аналогом советской номенклатуры, заявил Владислав Сурков, выступая на заседании секции «Новая элита России». «К сожалению, — констатировал он, — все, что происходит сейчас в России, нередко сравнивают с советскими временами, вплоть до того, что при упоминании "Единой России" вспоминают КПСС». «Впрочем, — заметил Сурков, — мы все выросли из советского времени, и просто нет другого метафорического ряда».

Сурков вообще человек тонкий и образованный. На фоне Грызлова и Слизки вообще монтень получается. Стало быть, отсутствие других метафорических рядов — вот в чем причина того, что при словах «Единая Россия» население начинает тошнить в сторону Леонида Ильича с группой товарищей... Хе-хе. Дорогой Владислав! Давайте я вам напоследок расскажу про метафору. Метафора — эта такая поэтическая штука, которая через образ раскрывает суть предмета. «Ярем он барщины старинной // Оброком легким заменил», понимаете? Ярем барщины. Метафора. А то, что «Единая Россия» похожа на КПСС, это не метафора. Это просто так и есть. И нехватка метафорических рядов — это, по-французски говоря, бла-бла-бла, а по-русски: пришей кобыле хвост. Хотя, конечно, фраза прозвучала прелестно и несомненно укрепила вашу репутацию пастуха-интеллектуала в блеющей отаре вашей элиты, набирающей вес на сочных номенклатурных пастбищах... Последнее предложение, Владислав, было написано мною специально для того, чтобы вы имели представление о метафорическом ряде.

Но не будем далеко уходить от выступления г-на Суркова на ихней элитарной секции. Он там еще много чего сказал, и благородная печаль то и дело звучала в словах первого замглавы администрации...

«К сожалению, при разговорах об элите даже от представителей "не самых худших" молодежных движений приходилось слышать, что пределом мечтаний является "Газпром", — посетовал Владислав Сурков. — Если общество так представляет себе элиту, это печально».

Вот интересно, с кем общается г-н Сурков? Представители «не самых худших» молодежных движений — это кто? Вот эти, начинавшие карьеру с уничтожения книг? Или вон те, устраивавшие тир со стрельбой по портретам оппозиционеров? Провокаторы, кидавшие чернильницами в посольства, — или просто балбесы, приезжавшие погулять по Москве в маечках с Путиным — за пейджер и пару билетов в кино? Ну, странно было бы им не мечтать о коридорах «Газпрома», где пилят бабки их работодатели... Нормальный взгляд вашей молодежи на предназначение вашей элиты, и нечего тут строить печальные глазки, г-н Сурков! А вот что тут на самом деле смешно, так это слово «общество», употребленное кремлевским начальником применительно к этим убогим. Может, вам как-то расширить круг общения, Владислав Юрьевич? В России, за пределами вашей партийной кунсткамеры (это метафора)... так вот, говорю, за пределами кунсткамеры живет еще миллионов сто сорок граждан. Ну, да ладно. Не будем выходить из кунсткамеры, — там забавно. Насладимся напоследок уровнем ихней интеллектуальной дискуссии.

Выступая на заседании секции, Владислав Сурков, в частности, призвал участников дискуссии «определиться, что такое русская элита». В ответ на это продюсер Андрей Фомин предложил составить «список элиты», а гендиректор Одинцовской кондитерской фабрики Андрей Коркунов заметил, что такой список уже есть, и напомнил о тех, кто участвовал в проходившей в Кремле инаугурации президента.

Вот! Сладкий наш, в самую суть поглядел! Именно! Вот эти и есть элита. А которых не позвали постоять у красной дорожки, те пускай даже не раскатывают губу — ни финансирования им, смердам, ни мигалки... Иди ВВП удвояй и не лезь к чистым господам!

Как раз в ту пору, когда Сурков и компания взаимно токовали о российской элите, социологи «Левада-центра» заканчивали обработку данных своего последнего опроса. Очень интересные получились данные.

Значительная часть россиян, относящихся к самой обеспеченной части «среднего класса», хотели бы покинуть свою страну на время или навсегда. Причину массовых эмигрантских настроений социологи видят в незащищенности обеспеченных граждан перед произволом властей, пишет «Независимая газета».

Не знаю, откуда «Левада-центр» взял эти цифры! Какая незащищенность, какой произвол? Вот же, слава богу, перед нашими глазами патриотический пример... ну, вот хотя бы детей Сергея Борисовича Иванова, в прошлом преемника, ныне простого госслужащего. Одно его дите, которое давит людей на пешеходном переходе, менеджерствует в настоящее время во Внешторгбанке, другое, совсем юное, вице-президентствует в «Газпромбанке», где, по данным СМИ, недавно получило за прошлый год премию — около десяти миллионов долларов. Полная защищенность, никакого произвола властей и, заметьте, никаких мыслей об эмиграции, что и понятно: в эмиграции работать надо и нельзя давить людей на пешеходном переходе, а за то, что ты сын путинского преемника, могут еще и в рыло дать. Нет, на Родине — куда лучше!

Пока дети-бизнесмены работают в сказочно прекрасных условиях придворного бизнеса, их отцы-чиновники тоже не дремлют...

Официальные данные о коррупции в России в две тысячи раз ниже реального состояния преступности в этой сфере; доходы коррумпированных чиновников в России составляют примерно треть национального бюджета. По данным фонда «ИНДЕМ», ежегодно на взятки чиновникам предприниматели тратят 33 млрд долларов. Еще 3 млрд долларов составляет взяточничество на бытовом уровне. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что его ведомство намерено бороться с коррупцией, невзирая на ранги чиновников и состояния бизнесменов.

Ну, вы объемы и пропорции уяснили? Три миллиарда долларов в год на бытовом уровне — ну, там ментам, врачам и военкомам, а тридцать три — чиновникам, за право вести бизнес в великой стране, встающей с колен, чтобы перегнать Нигерию по индексу коррупции... Но последнее заявление главы Следственного комитета должно, конечно, в корне изменить ситуацию! Потому что вы же слышали: «невзирая на ранги чиновников»! Зная г-на Бастрыкина как человека слова, я не сомневаюсь, что в настоя-

щий момент он уже находится в Кишиневе, где лично встречается с невъездной в Россию журналисткой Натальей Морарь и подробно выспрашивает ее об источниках информации — про черные кассы Кремля, про предвыборные переливания во ВЦИОМ, про дело банка «Райффайзен» (куда, надо думать, уходила значительная часть тех ежегодных тридцати трех миллиардов)... Не сомневаюсь, что успех в раскрытии этих дел обеспечит г-ну Бастрыкину наградные дырочки в мундире, — если, конечно, соседи по вертикали не сделают ему раньше дырочку в голове. Но, зная г-на Бастрыкина как человека принципиального и мужественного... то есть я не знаю его ни как принципиального, ни как мужественного, но разве может быть другим друг и однокурсник Путина? — так вот, я не сомневаюсь, что г-н Бастрыкин уже собирает данные в Кишиневе. А когда вернется, — о-о, что тут будет! Или не будет? Как вы думаете?

Не мною первым замечено, что когда на российских просторах начинают бороться с коррупцией, это, как правило, связано с коррупцией...

Как сообщает «Независимая газета», антикоррупционная комиссия Республики Башкирия начала проверку в отношении главы президентской администрации Хабирова. На время проведения проверки президент республики Муртаза Рахимов отстранил Хабирова от занимаемой должности. Местные аналитики оценивают происходящее как победу клана Рахимовых и очередной шаг сына башкирского президента Урала Рахимова к полновластному управлению республикой.

Про планы Москвы сменить Рахимова на Хабирова мы уже рассказывали неделю назад, но сюжетец, как видите, развивается, и самое интересное в этом новом его повороте — само наличие в Башкирии антикоррупционной комиссии. Это ведь, если вдуматься, очень смешно. «Антикоррупционная комиссия Республики Башкирия»... Противопожарный комитет при Святой инквизиции... В Башкирии каждый микроб знает, что все вокруг принадлежит семье Рахимовых, да продлит Аллах этот запах на подведомственной территории. И двадцать лет никто не слышал ни о какой антикоррупционной комиссии, пока в тени феодала не обнаружился придворный с личными планами на республиканское имущество. Тут на месте Уфы стремительно обнаруживается Антверпен — и чиновника отстраняют от должности на время проверки по подозрению в неуплате налогов. Чистота нравов и общественный контроль! Но вы сильно не беспокойтесь: устранив Хабирова с пути Рахимова, антикоррупционная комиссия с чувством выполненного долга впадет в анабиоз, и вокруг опять настанет Уфа...

Ну, а когда начинает свистеть рак на горе и борьба с коррупцией вдруг принимает реальные очертания, против нее всем миром поднимается общественность... Не против коррупции, вы не поняли! Против борьбы с нею.

Средства массовой информации России критикуют систему и практику Единого Государственного Экзамена, отмечая их несовершенство. В частности, отмечается, что при сдаче экзамена школьники имели возможность пользоваться сотовыми телефонами и Интернетом, — и при этом 25% учащихся получили двойки по математике.

Мобильные телефоны, в отличие от мозгов, есть у всех, и если перед тем, как идти отвечать, школьник имел возможность залезть в Интернет или

«взять помощь зала», а потом все-таки получил «пару», — это, конечно, очень плохо говорит о системе Единого Государственного Экзамена. И о тех людях, которые задумали, вражины, получить объективный критерий в оценке российского образования.

Зачем нам эти ужасы? Все ж путем: в российской Академии наук — Шредер, российские отличники косяками устремляются в район Силиконовой долины... Туда им и дорога, а мы уж здесь как-нибудь по старинке. Какой-то не местный придумал эту компьютерную обработку ответов... Никакой пользы для экзаменатора! Да дай ты немного денег «преподу», и все дела. Нешто папа с мамой не понимают устройства этой садовничей вселенной? Даже если знаешь на пятерку, все равно дай: во-первых, «препод» тоже человек, а во-вторых, ему уже дали троечники, а конкурс есть конкурс... Короче, граждане, давайте оставим все, как есть: оно и милее, и привычнее! А что коррупция в системе образования уступает уже только наркообороту, — ну да, надышали, действительно, крепко... Но ведь вроде придышались, да и запах свой... Оттого-то всякая попытка проветрить помещение кончается криками «закройте окно, сквозит!» И народ дружно поднимается на борьбу со сквозняком.

О торжестве нашей самобытности мы сами не забудем и миру забыть не дадим. На прошлой неделе в Москве состоялся международный симпозиум «Взгляд в будущее: Россия в XXI веке». Гостей столицы порадовал свежей мыслью министр иностранных дел Сергей Лавров.

«С окончанием холодной войны завершился более длительный этап мирового развития, когда в мире доминировала европейская цивилизация», — заявил глава российского МИДа. Подход России, по его словам, «заключается в том, что конкуренция становится подлинно глобальной, приобретая цивилизационное измерение, то есть предметом конкуренции становятся в том числе ценностные ориентиры и модели развития».

Цивилизационное измерение конкуренции — это надо сбоку еще одну голову вырастить, чтобы такое вместить. Но если перевести сказанное на русский язык, то получится довольно незамысловато: мы не собираемся следовать западным ценностным ориентирам, у нас свои есть! Побаловались, — и хорош. Будем сызнова конкурировать моделями развития! Вы с Локком и Декартом — мы с Уваровым и Победоносцевым... Не забывая при этом входить в «восьмерки», скупать Лазурки и набивать оффшорки. И не надо воротить от нас носы, а то: мир велик, в нем есть ценностные ориентиры Роберта Мугабе и модели развития по Бен Ладену, — и мы готовы поддержать все это дивное многообразие...

Некоторое представление о российских ценностных ориентирах и ныне действующей модели развития дает свежая история, рассказанная группой счастливых сотрудников правозащитного центра «Мемориал». А счастливые они были, потому что вернулись с работы живыми.

А снимали они на видеокамеру (видать, на память для Страсбурга) постройки, принадлежащие госхозу «Солнечный» Урус-Мартановского района Чечни. Зачем Страсбургу виды этих сельхозугодий? — спросите вы. Отвечаю: именно там располагалась пыточная тюрьма, в которой, по данным следствия, много лет практиковала пытки и убийства банда, состояв-

шая из местных и ингушских сотрудников ФСБ и МВД. Впрочем, почему «состоявшая»? Состоящая! Ибо следствие заглохло, до Страсбурга далеко, а до РОВД, где члены банды, в свободное от пыток время, доселе работают милиционерами, рукой подать. Вот в этом РОВД и заперли «мемориальцев», решивших снять на видео пыточные постройки. И начал с ними работать «оперуполномоченный Абдул». Фамилии своей задержанным он не сообщил, да и к чему фамилия, если задержанным сразу сообщили, что их повезут расстреливать как пособников ваххабитов. («Расстрел со сникерсами» — так это называется там, в госхозе «Солнечный». А «сникерсами» на тамошнем сленге называются тротиловые шашки; ну, чтобы расстрелянного потом нельзя было опознать. Такие тихие сельские забавы работников УФСБ и МВД...) Но тут — такая незадача! — про задержание «мемориальцев» успели рассказать СМИ, и правозащитников пришлось отпустить; сэкономили бойцы свои «сникерсы» до другого раза. Но пленку у «мемориальцев», конечно, отобрали. Хрен им потому что, а не доказательства для Страсбурга! Родина на страже.

А со Страсбургом у нас, конечно, проблемы. Все никак не всосут они там наши нравственные ориентиры, и за каждый эдакий ориентир со «сникерсами» выставляют штрафы по сотне тысяч евро. Да и вообще в покое не оставляют: только что выставили родимую Федерацию на десять тысяч евро за незаконное содержание под стражей Платона Лебедева! Вот же гад: давно сидит в Ямало-Ненецком округе, а и оттуда нашел случай разорить Родину. Но это что! — к осени дойдет до Страсбурга дело Ходорковского... Вот они начнут возить Родину лицом по европейскому столу по-настоящему, за все басманные радости! Родина решила принять меры заранее.

Министерство юстиции России готово отозвать из Страсбурга представителя России в Европейском суде по правам человека Веронику Милинчук. Об этом нашей радиостанции сообщил источник в Минюсте. По его словам, это может быть связано с рассмотрением в Евросуде осенью 2008 года важных дел, в том числе «дела ЮКОСа».

Эту Милинчук, в прошлом козырную даму из прокурорской колоды, в Страсбург легким манием руки двинул год назад президент Путин. Он был недоволен тем, что Россия постоянно проигрывает дела в Европейском суде, — ну, и сменили Лаптева на Милинчук. На результатах это отразилось самым классическим образом, а именно: не отразилось никак. Как проигрывали, так и проигрываем. В старом анекдоте про бордель в аналогичном случае рекомендовалось менять не мебель, а девочек, а следует прямо сказать, что в Страсбурге Вероника Милинчук исполняла роль мебели... И вот теперь, кажется, принято принципиальное решение: плюнуть на Страсбург слюной окончательно. Пускай штрафуют, деньги есть!

Теперь — немного армейских и военно-морских радостей. Генерал Шаманов, исторгнутый Ульяновской областью обратно в Вооруженные Силы, дал недавно просторное интервью «Красной Звезде», в котором обрадовал мировую общественность дальней, но надежной перспективой войны с Соединенными Штатами за арктический шельф. В наступившей паузе стало слышно, как в радостный унисон забились сердца призывников: раньше сядешь, раньше выйдешь, — авось успеют «дембельнуться» до войны в

Арктике. Но, по крайней мере, хотя бы угроза из космоса нам не грозит. С этой радостной вестью мне позвонил давеча мой приятель. Я говорю: «С чего ты взял?» А он мне отвечает: «Знаешь, как фамилия заместителя командующего космическими войсками»? — «Понятия не имею», — говорю. «Иода! Полковник Иода!» — «Да пребудет с нами сила», — говорю. «Вот именно», — отвечает приятель. Для тех, кто не в курсе: Иодой звали маленького зеленого учителя джидаев из «Звездных войн». А у нас он, стало быть, на должности заместителя командующего космическими войсками... А? Все схвачено! Но довольно шуток. Теперь об обороноспособности — всерьез.

Церемония освящения новейшего многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 состоялась на прошлой неделе в липецком Центре боевого применения и переучивания летного состава. Как передает ИТАР-ТАСС, на истребитель нанесен лик Николая Чудотворца.

Су-34 — это такая штука, с помощью которой можно устроить фактический .издец на довольно обширной территории. А Николай Чудотворец как раз на этой территории называется — Санта-Клаус. Совместили предметы в воображении? Представляете себе этот мешочек с подарками?

Кстати, о футболе — и уже кроме шуток. Выход нашей сборной в полуфинал ЕВРО и перспектива дальнейших чудес не на шутку объединили народ. В церквях Екатеринбурга, Барнаула и Южно-Сахалинска были проведены службы и молебны за победу над испанцами; в московской эзотерической школе магии с понедельника держали под контролем проклятье вуду, совершенное на Пиринеях над Игнашевичем; Эдуард Лимонов пообещал послать игрокам сборной свой мощный энергетический сигнал, а Павел Глоба выразил тревогу непредсказуемым положением петли Урана, но обнадежил Плутон, управляющий Скорпионом, знаком Хиддинка, на данный момент намного сильнее Марса — повелителя Льва, знака Луиса Арагонеса... Свой вклад в репутацию России как страны большого ума внесла и национальная газета «Известия», вышедшая с заголовком: «До разгрома Испании остался один день». В общем, все постарались, как могли. М-да... Как хорошо, что неделю назад ни Хиддинк, ни Аршавин ничего не знали ни о Плутоне, управляющем Скорпионом, ни о курильских молебнах, ни об энергетических способностях Эдуарда Лимонова, а просто вышли играть в футбол с голландцами... Какой это был сладкий сон! Да, кстати. Вы еще не поняли? Это был сон, господа... На самом деле в ноябре, когда хорваты играли с англичанами, Петрич поскользнулся и промазал, и они сыграли вничью, и Россия не попала на Евро, а Хиддинка по возвращении из Андорры линчевали на Васильевском спуске под руководством Валерия Газзаева. А все вот это... что было потом — это нам приснилось...

Счастья вам!

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ СОВРЕМЕННОСТИ

в русской сетевой и бумажной периодике
второго квартала 2008 г.

Мы продолжаем знакомить читателей с актуальными публицистическими выступлениями (находя их в журналах и в Рунете), отличающимися либо глубиной анализа, либо концептуальной четкостью, либо, иногда, просто симптоматичностью. В этом обзоре предлагается изложение наиболее примечательных публикаций с сайтов **apn.ru**, **ej.ru**, **gazeta.ru**, **grani.ru**, **nazlobu.ru**, **polit.ru** и др., а также статей в бумажной прессе **(«Ведомости», «Московская правда», «Свободная мысль», «Человек»).**

Общество

Сергей Шелин обращает внимание на вопиющее социальное неравенство в России (**«Страна неравных»** — Газета.Ru, 14 мая). Доходы зависят от региона проживания, причем сменить место жительства практически невозможно. Индекс отношения доходов самых богатых 20% жителей к доходам самых бедных 20% в начале нынешнего века равнялся почти 8-ми, а сейчас подрос до 9-ти и все никак не остановится. В Европейском союзе он — 4,9. *Наши бедняки беднее болгарских и румынских,* — пишет автор статьи. — *А наши богачи богаче. И гораздо.* Правда, отмечает он, в США отношение доходов самого богатого слоя к доходам самых бедных примерно такое же, как и у нас. Однако *американские бедняки своим неравенством очень недовольны и выражают эти чувства куда энергичнее, чем наши. Но помимо перераспределительной системы, которая в США тоже очень мощна, хотя и слабее европейской, там действует исконный стабилизатор — англосаксонская экономическая и социальная свобода. Перед тем, кто действительно хочет пробиться, открыто очень много путей. Гораздо больше, чем у нас.* По части масштабов неравенства мы похожи еще и на Китай. Шелин напоминает: *Уже пять-шесть лет к нам потоком текут нефтегазовые сверхдоходы. Кое-что из них перепадает и бедным, но богатые богатеют гораздо быстрее. И богатеют не квалификацией и трудолюбием, а лишь умением попасть в круг допущенных или простым биографическим фактом изначального там пребывания... Покажите хоть одного человека, который в нынешнем столетии, не имея ни нужных связей, ни нужного родства, стал миллионером.* Шелин заканчивает так: *Кричащее неравенство существовало в нашей стране при всех режимах, но оно никогда не оправдывалось общественным мнением. Терпение народа к неравенству всегда было велико, но обязательно в конце концов лопалось. Вопрос только, в какой форме на этот раз.*

Леонтий Бызов в статье **«Социальный фундамент новой России»** («Человек», № 2) в основном рассуждает о феномене «нового среднего класса».

При вопиющем социальном и имущественном расслоении общества и большом количестве бедняков и неудачников, отмечает он, все-таки происходит также и *сбивание общества в кучу*, формирование некоего ядра из руководителей, бизнесменов, квалифицированных специалистов — в сумме около четверти или даже трети от всего населения. По мнению автора, именно эта *группа определяет в России политическую погоду, формирует правила игры, от нее зависит трансформация российского общества и его политической системы.* Этот «класс» консервативен по взглядам, а потому становится *основой для доминирующей «неоконсервативной» идеологии.* Он — *носитель не столько высоких материальных и потребительских стандартов, сколько соответствующих социально-политических установок* и *ориентирован на поддержку властей, стабильность, установление устойчивых правил игры.* Он мало интересуется политикой, идеологически аморфен, настроен на социальный оптимизм и не склонен к протестным настроениям. Бызов говорит даже о появлении у граждан *чувства «большой общности»*, о восстановлении *национального консенсуса* в президентство В. Путина. Угрозы этому новому порядку автор видит в том, что рапорты об успехах страны не вполне сочетаются с уровнем жизни обывателя, который ждет большего, а также в нерешенной проблеме социальной несправедливости, в недоверии и неприязни к власти (чиновничеству) и подозрениях в том, что власть своекорыстна... 69% россиян хотят иметь собственный дом — ментальный символ успеха и обособления от жестокой социальной реальности за глухим забором.

Более детально эти сюжеты прописаны в статье Бызова **«От кризиса ценностей к кризису институтов»** («Свободная мысль», № 4—5). Неоконсервативный консенсус трактуется там как временный пакт государства и общества о взаимном ненападении. При этом самоорганизации общества не происходит. Идет лишь обустройство приватного жизненного пространства. Не оправдалась в полной мере и ставка власти на административную вертикаль.

О социальной справедливости пишет и **Лев Вознесенский**, многословно обосновывающий ее значение для современной России в статье **«Социальная справедливость как национальная идея»** («Свободная мысль», № 4). Вознесенский сулит успех политикам, которые осознают востребованность этой максимы.

Руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН **Евгений Гонтмахер** в статье **«Средний класс еще себя покажет»** (сайт «Ежедневный Журнал», 9 апреля) основательно размышляет о нашем гражданском обществе. Как полагает автор, к концу 1990-х годов гражданское общество в России пребывало в закостеневшем, «оформленном» виде. Государство же принимало к сведению существование гражданского общества, но не пыталось целенаправленно его трансформировать. Однако начиная с 2003 года *власть вдруг поняла, что царствовать лежа на боку под журчание нефтегазовых потоков уже не получится. Надо создавать новую систему, которая закрепила бы новые отношения собственности (фактически вторую приватизацию, заключительная — госкорпоративная — стадия которой разворачивается на наших глазах).* Отсюда и усилия по встраиванию гражданской активности в упряжку управляемой «демократии». Гонтмахер

смотрит на процессы в обществе более или менее оптимистично. Нынешние *власти могли бы пребывать в благостно-успокоенном состоянии, если бы в последние два-три года в обществе не появилась новая, все более крепнущая тенденция. Речь идет о проявлениях самоорганизации людей, которых можно назвать «новыми неформалами».* К политике их деятельность не имеет никакого отношения. Она не инициирована властями и является неожиданной для них. *Мы имеем дело*, — пишет Гонтмахер, — *с искренним и все более ширящимся желанием отстоять свои и чужие попранные права, что для современной России весьма свежо и, хочется верить, перспективно.* Инициативы концентрируются на ряде проблем: экология, жилищная сфера, помощь социально неблагополучным группам, защита социально-экономических прав, прав в сфере здравоохранения и образования, самозащита бизнеса, борьба за сохранение национальной культуры и т. п. Наиболее характерные примеры — защита окружающей среды (от знаменитого еще с советских времен вяза на Поварской в Москве до озера Байкал), а также акции милосердия по отношению к детям-сиротам и одиноким старикам. «Новые неформалы» — не маргиналы, им есть, что терять в материальном смысле, но их задевает пренебрежительное отношение власти к общественным интересам. Фактически речь идет о среднем классе или слоях, близких к нему. *Перспективы нового типа неполитической самоорганизации людей*, считает Гонтмахер, *надо рассматривать на общем фоне сценариев развития России. Если и дальше будут наращиваться попытки «ручного управления» (по выражению Владимира Путина) всей политической, экономической и социальной жизнью нашего общества, то даже нынешнего скромного среднего класса вполне хватит для резкого усиления политической (прежде всего неформальной и не контролируемой сверху) активности.*

Точку зрения одного из лидеров движения «Народ», идеолога «нового политического национализма» **Петра Милосердова** на сайте «Новый Регион — Москва» излагает Юлия Шатова (**«Поколение "нулевых" рано списывать в утиль»** — 19 июня). Среди тех, кого вроде бы можно отнести «к среднему классу», Милосердов находит «тихих несогласных» — оппозицию режиму. Это — «*образованные горожане*». По его мнению, в *обществе искусственно ограниченных возможностей* такая среда сложилась за несколько последних лет в ряде городов-милионников. Ее представители — *самостоятельные, самодеятельные, ответственные, добившиеся всего в жизни своими трудом и смекалкой люди, не обязанные власти ничем.* Однако отведенный им властью объем возможностей невелик. *Им, потенциальным хозяевам страны, позволено, как максимум, стать хозяевами собственной семьи, да и то — с оговорками.* Главные претензии «новых несогласных», по Милосердову, заключаются в том, что эти люди осознают себя ущемленными властью. *Часть образованных горожан*, — пишет он, — *готова сегодня побороться за свою страну.*

Владимир Милов (**«Оттепель снизу»** — Газета.Ru, 30 июня) возможность «либерализации снизу» связывает с кризисом надежд. Ситуация в стране, пишет он, находится на изломе. *Пик популярности власти... пройден. Потенциал прежних пропагандистских идей исчерпан, людям это становится неинтересно. <...> Неспособность осуществить хоть какое-то подо-*

бие модернизации в рамках действующей политической системы выявится весьма скоро, и не соответствующая реалиям модернизационная риторика станет (и уже становится) объектом для насмешек так же, как в свое время хрущевское «построение коммунизма к 1980 году». С другой стороны, усугубляются экономические трудности. Растут инфляция и цены. *Масштабные потрясения сродни дефолту 1998 года России не грозят, механизм кризиса может быть совершенно иным. Если в ближайшее время некий кризис и произойдет, то это будет... кризис ожиданий. Люди успели привыкнуть к улучшению своего материального положения, позабыли о тяжелых временах, им с утра до вечера рассказывают по телевидению о том, насколько в стране все отлично. И тут — внезапный всплеск инфляции, необходимость сокращения потребления непродовольственных товаров ради того, чтобы купить еду. Плюс к этому — фактическая недоступность заоблачно дорогого жилья, угроза кризиса ликвидности в банковской системе, кризиса просроченных кредитов — все эти призраки витают над российской экономикой, подрывая основы для доверия граждан к официальной успокоительной пропаганде. Пресловутая аполитичность россиян в такой ситуации может быстро уйти в прошлое, а ощутимые протестные настроения — возникнуть вовсе не из-за спада экономики или финансового краха, а из-за несоответствия реальной экономической ситуации — несмертельной, но далеко не безоблачной — ожиданиям, чрезмерно разогретым пропагандой.* К этому еще надо добавить имеющееся на сегодня в стране двоевластие. Все это, по мнению автора статьи, *вполне может привести к реальным переменам в стране.* В ожидании этих перемен Милов настроен оптимистично: *Перспектива раскола внутри правящего класса по вопросу о либерализации политического режима становится реальной. При удачном стечении обстоятельств в России вполне может состояться «бархатный» сценарий... Наигрались в «спасение отечества» — и хватит, пора возвращаться на нормальный европейский путь развития.* Кроме того, отмечает Милов, *появляется надежда на то, что в России в ближайшее время все же сможет возникнуть заметная демократическая проевропейская оппозиция, хотя бы в какой-то степени навязывающая власти свою игру. <...> Российские демократы, похоже, учатся извлекать уроки из прошлого. Если они станут сильнее на фоне пусть медленно, но верно слабеющей власти, добиться перемен в стране — вполне реально. В конце концов, чем мы хуже Польши или Сербии?*

Что касается социальных ожиданий в обществе, то характерны результаты весеннего опроса **Левада-центра** в 14-ти крупнейших городах России (Газета.Ru, 3 июля). Согласно этому опросу, российский средний класс предчувствует апокалипсис. Половина представителей так называемого адаптировавшегося социального слоя, больше всего выигравшего в годы правления президента Путина, не верит в наступившую стабильность, а две трети не исключают перемен к худшему. Каждый второй время от времени подумывает об эмиграции.

Сергей Маркедонов на сайте Газета.Ru размышляет о ситуации в Чечне и на Северном Кавказе (**«Любимое кино Рамзана»**, 24 июня). Анализируя военные инциденты последнего времени в Чечне, Дагестане и Ингушетии, он обращает внимание на религиозные корни нынешней оппозиции на

Северном Кавказе. *7 октября 2007 года Доку Умаров, один из лидеров чеченских сепаратистов, который до того времени считался «президентом Чеченской республики Ичкерия», выступил с обращением, в котором провозгласил новое образование — Кавказский эмират. Умаров объявил себя «эмиром моджахедов Кавказа» и призвал к всемирному джихаду против всех, «кто напал на мусульман». «Наш враг не только Русня, но и Америка, Англия, Израиль— все,кто ведет войну против ислама и мусульман», — заявил Умаров.* Таким образом, был окончательно закреплен крен сепаратизма в сторону радикального ислама. Отныне *враги боевиков в Чечне четко определяются. Это враги ислама, неверные (кафиры) и муртады (то есть мусульмане, которые, по сути своей, таковыми не являются и пособничают неверным). Таким образом, именно «эмират» будет главным вызовом для российской власти в Чечне и даже на Северном Кавказе в целом.* В условиях, когда *ичкерийский эксперимент по строительству «нации-государства» провалился,* — пишет Маркедонов, — *борьба за «чистый ислам» становится актуальной и востребованной.*

Рафаэль Хакимов на сайте АПН 12 мая в статье **«Интеллектуальный экстрим»** рассуждает о современном духовном строе русских и татар и о возможных перспективах. *Интеллектуальное богатство России XIX — начала XX вв. потрясающе. И вдруг— провал в середине XX в. и жалкий лепет в XXI в. Сегодня нечего поставить рядом с великими творениями прошлого. Детектив заменил Пушкина и Тургенева, «мыльные оперы» — Чехова и Островского. Мелкая попса пришла взамен великой музыки Мусоргского. Идеи в сфере развития государственности просто отсутствуют. Идет шараханье от либерализма к «вертикали власти», от псевдофедерации к псевдоимперии. В науке — доигрываются темы прошлых лет. Новоиспеченные российские нобелевские лауреаты — это советские ученые, дожившие по возрасту до наших дней. Куда идти? На кого ориентироваться? От кого ждать прорывных идей? <...> Когда-то были русские люди, которые отказывались от карьеры, материальных благ и шли в народ поднимать культуру и благополучие. Сегодня их посчитали бы умалишенными: ведь теперь грабить свой народ стало нормой. Это называется рынком, демократией и либерализмом. Свободу истолковали в самой пошлой форме, на какую способна фантазия. Россия погрязла в сырьевой зависимости. Чтобы перейти на интеллектуальные рельсы, недостаточно призывов и самовосхвалений <...> Нужен интеллектуальный экстрим, но без шовинизма, борьбы с татарами, евреями, «лицами кавказской национальности»,.. без национализма и религиозного фундаментализма. Для начала нужно избавиться от идолопоклонничества перед государством... Будущее в идеях, а не в деньгах.*

Власть

Во втором квартале часто обсуждались проблемы преемственности власти в момент смены президента. Помимо разнообразных спекуляций были и вполне конкретные наблюдения

Алексей Кива в обширной статье **«Восемь лет президентства Путина»** («Московская правда», 25 и 26 июня, 1, 2, 8 и 9 июля) подводит итоги прав-

лению Путина. И минусов находит значительно больше, чем плюсов. Особенно впечатляют параллели. Путин последовательно сравнивается с Хрущевым, Рузвельтом, Эрхардом-Аденауэром, Дэн Сяопином. И все эти сравнения — не в пользу Путина. Даже достигнутая при втором президенте стабильность, по Киве, похвалы не заслуживает. С одной стороны, политическая жизнь в стране, как и свобода прессы и свобода слова, как и деятельность профессиональных союзов и всех институтов гражданского общества, стала сильно напоминать советские времена — разве что с привкусом «дикого» капитализма. С другой же стороны, в стране по-прежнему царит элементарный бардак. Коррупция разрастается, преступность сохраняет свои позиции. То и дело горят административные и общественные здания, склады, дома, квартиры. Продолжают падать давно отработавшие свой ресурс вертолеты и самолеты. Множится число душевнобольных и маньяков. Снизился уровень высшей школы, медицины, санитарии. Отравления детей недоброкачественной пищей в детдомах, детсадах, школах стали уже притчей во языцех. Непостижимо плохие дороги для XXI века при быстром росте автотранспорта увеличивают число ДТП. В результате неестественной смерти страна ежегодно теряет непозволительно много для мирного времени людей — и это при том, что мы вступили в фазу, когда население страны еще долго будет сокращаться. Медики бьют тревогу по поводу того, что в последние годы резко снизился процент здоровых детей и также резко пошел в гору процент психических заболеваний. Если эту тенденцию не остановить, то через два-три поколения некому будет защищать страну. В последние годы в страну вернулся и, казалось бы, уже изжитый за годы правления Горбачева и Ельцина страх перед властью. И не только перед властью. Все стали чего-то бояться. Бедные — роста цен на продовольствие и услуги ЖКХ, состоятельные люди — криминала, мелкие и средние предприниматели — тех, кто их обирает, грабит, а то и отнимает у них собственность, бизнесмены — выборочного правосудия. Боится и сама власть, ибо понимает, что делает что-то не так, как должна была бы делать. Иррациональный страх перед «оранжевой» революцией вызвал и иррациональные действия. Появились «Наши» и им подобные организации. Кива цитирует много лет жившего в нашей стране итальянского писателя и журналиста Карло Бенедетти: в России *«построено общество с фальсифицированными ценностями и нездоровым отношением к деньгам. И очень много вранья...»* Автор статьи считает, что *все или почти все наши беды идут от порочного экономического и социального строя. От такой же порочной политической системы. От придушенного гражданского общества, не способного контролировать власть. От небывало глубокого кризиса духовно-нравственной сферы.* Власть же *вместо того, чтобы обнажать социальные язвы и лечить их, власть нередко закрывает на них глаза и проявляет раздражение, когда ей на них указывают.*

Андрей Колесников на сайте Газета.Ru (**«Техническое правительство Путина»**, 13 мая) пишет: *Техническое правительство — это такой кабинет министров, от которого никто не ждет принципиальных перемен. За два срока своего президентства новый премьер так и не обнаружил воли к переменам и реформам. И ничто не говорит в пользу того, что эти перемены,*

которые позволят адаптировать страну к постиндустриальным вызовам и колебаниям мировой конъюнктуры, произойдут. И причины тут не в чьей-то злой воле. Просто *любые изменения в системе совершенно не востребованы в обществе,* а *социальные ожидания не простираются дальше требований снизить инфляцию и увеличить зарплату. «Стабильность»*, замечает Колесников, *оценивается рядовым обывателем как сохранение вялотекущего статус-кво в логике «лишь бы не было хуже» и «делайте, что хотите, вот вам мой голос, только меня не трогайте».* Кроме того, в изменениях системы, принесшей благополучие *верхним слоям российской политической атмосферы, художественно именуемым «элитами»*, совершенно не заинтересована бюрократия — ни высшая, ни средняя, ни низшая. Правда, *с именем Дмитрия Медведева*, пишет Колесников, *связывались (и до сих пор связываются) надежды на новую волну бюрократической модернизации, которая со временем могла бы быть поддержана обществом*, которое неизменно пробуждается *от внятных сигналов сверху.* Однако надежды эти быстро потускнели: *новый кабинет министров оказался не командой перемен, ориентированных в светлое будущее,.. а синклитом чиновников, награжденных за беспорочную службу в первые два срока президента* <...> Модернизация же начинается тогда, когда в бюрократической верхушке вызревает недовольство статус-кво. *А в нынешней элите какое недовольство?* — спрашивает Колесников. То-то. Вот и получается, что *в эпоху столь ярко выраженной гордости самими собой и «рублево-успенского» стиля потребления реформы невозможны. Потому что никому не нужны.*

Таков и взгляд **Владимира Милова** (**«Кабинет расходов/а»** — «Ведомости», 14 мая): *Состав и структура нового правительства Владимира Путина — лучшее доказательство того, что в ближайшее время основные усилия властей будут направлены не на решение каких-то масштабных прорывных задач (вроде построения «экономики инновационного типа» или достижения всеобщего счастья к 2020 г.), а на банальное удержание позиций.* <...> *Власть, похоже, отлично понимает, что ни в какое светлое будущее страну всерьез не ведет и не собирается. Ее главная задача сегодня — сохранять свои позиции сколь возможно долго.*

Никита Кричевский на сайте АПН опубликовал серию статей **«Занимательная путиномика»**. Как он пишет, *«занимательная путиномика» целью своей ставит не маргинальное очернение окружающей читателя действительности, а поиск интересных фактов общественного бытия, анализ поведенческой мотивации должностных лиц, исполнение штурманских обязанностей при движении по разухабистой экономической дороге.* В первом выпуске (13 мая) он комментирует тогдашнюю злобу дня: *Если у кого-то были сомнения по кадровому составу правительства — огорчаться не нужно. Путинская короткая скамейка преданных, проверенных в совместных заварухах людей коротка до неприличия.* <...> *главное — никаких кардинальных изменений не произойдет. Будем надувать фондовый рынок, выстраивать мировой финансовый центр, отвозить марионетке на подпись ничего не значащие бумаги, а экономическая жизнь будет идти своим чередом.* О том же, как эта экономическая жизнь будет развиваться, автор предлагает судить по результатам предыдущей работы Владимира Путина. А они таковы: *подчи-*

нение остатков российской экономики естественным монополиям; кардинальное ухудшения делового климата; разгул коррупции, рейдерства, казнокрадства; упрочение сырьевой модели экономики; неразвитая финансовая инфраструктура; привлечение спекулятивных инвестиций; провал ипотеки; коллапс местного самоуправления; 42,2 млн человек бедного населения, вынужденного оплачивать неформальное инфляционное и социальное налогообложение; деградация медицины и образования; неудача со вступлением в ВТО, и т. д., и т. д. В следующих выпусках Кричевский подробно, с цифрами и фактами, показывает результаты социально-экономической политики президента Путина и комментирует текущие экономические события. Так, говоря в восьмом выпуске (30 июня) о футбольных страстях, Кричевский и их вписывает в контекст своего анализа: *...футбольная истерия поздней эпохи большого хапка нагнеталась по всем теле- и радиоканалам, что было лучшим свидетельством очевидного комплекса неполноценности действовавшей в те годы власти. <...> фарт и удача, свойственные спортивным играм, стали фундаментом экономической политики, а эффективность многих государственных деятелей определялась прежде всего с позиции сопутствующего везения. Много интересного предстоит узнать нашим потомкам.*

Несколько более оптимистичен в прогнозах **Дмитрий Бутрин** (**«Социал-демократ Путин»** — Газета.Ru, 12 мая). Анализируя риторику премьера, он приходит к выводу*: И экономическая, и политическая программа правительства Владимира Путина уже мало отличима от европейских социал-демократических аналогов 80-х. Три хорошие новости разом: объявление о снижении налогообложения нефтяной отрасли, в частности, и готовность говорить об уменьшении налогов в целом, льготный режим для фондового рынка, курс на повышение эффективности госрасходов и работы госаппарата <...> такой сбалансированной, исполнимой и не противоречащей принципам экономической свободы программы действий правительства кандидат в премьер-министры не зачитывал уже много лет.* Бутрин ищет и находит объяснения этому внезапному здравомыслию. Это, к примеру, депрессия в нефтяной отрасли, и то, что *именно сейчас окружение Владимира Путина вплотную подошло к легализации собственного нефтяного бизнеса*, так что *послабления нефтяной отрасли — это во многом послабление своим же людям.* В итоге Бутрин предположил*: есть шансы, что в течение достаточно краткого времени... российская власть обретет вполне цивилизованное лицо. Это и в ее интересах,* ведь *сохранение «суверенной демократии» возможно лишь при максимально медленном, но нарастающем весе «демократии» и убывающей «суверенности»*. Правда, в такой спокойный и позитивный процесс и сам Бутрин едва ли до конца верит, поскольку *объявленный Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым курс стабильности реализуется более восьми лет методами, прямо противоположными долгосрочной стабильности. Курс бесконечной отсрочки решения актуальных проблем, сглаживания всех углов и административного усмирения всех противоборствующих сторон сам по себе конденсирует нестабильность.*

Андрей Пионтковский возвращается к теме возможной «оттепели» (**«Вот тебе, а не оттепель»** — Грани.Ру, 11 июля), о чем иной раз приходится слышать от апологов власти. Он скептичен: *От-тепель означает от-талкива-*

ние от чего-то предшествующего, отказ от него, осуждение его <...> Ну а если деятель продолжает руководить и партией и правительством, находится в великолепной интеллектуальной форме, сыплет цитатами из бернштейнов с бронштейнами и, как подлинный духовный отец нации, достает натруженной рукой через одно место из богатых «хлеба», чтобы накормить ими страждущих? От чего же и от кого оттепляться будете, господа реформаторы? В самом деле, от каких темных сил можно открещиваться сегодня (*это при живых-то абакумовых*), когда во всю работает мифологема о том, что *не было никаких ошибок и тем более якобы злодеяний <...> Но время было такое, сынок. Сложное время. Первый этап модернизации. А на первом этапе... предпочтительными считаются авторитаризм, ручное управление, ограничение плюрализма, как в Южной Корее, например. А вот на новом этапе, начало которого удачно совпало с инаугурацией нового президента, предлагается обеспечить управляемую сверху либерализацию политической жизни страны. Складная легенда. Один только грубый прокол. Зря они про Южную Корею вспомнили.* И если посмотреть попристальней, окажется, что *2001–2007 годы — никакой к черту не первый неизбежно авторитарный этап модернизации в России, а высшая и заключительная стадия бандитско-бюрократического капитализма в России. А абсолютный контроль над избирательным процессом, СМИ и судебной системой понадобился правящей верхушке не для решения каких-то цивилизационных задач, до понимания которых не дорос отсталый и дикий народ, а для прикрытия своего безудержного, невиданного даже в истории России воровства.* Довольно прозорливо Пионтковский замечал еще в середине лета: *Наши коллективные берии-абакумовы завтра взорвут что-нибудь на Кавказе. Впрочем, почему, собственно, завтра — там уже и сегодня каждый день что-нибудь взрывается. Как только начнется серьезная заварушка, все эти «либералы», забыв свою любушку Оттепель, ринутся, расталкивая друг друга, к микрофонам, чтобы первыми прокричать: «Российская армия возрождается в Кодорском ущелье (Гальском районе), и каждый, кто думает иначе, — предатель!»*

Модернизация уже долгие годы неизменно остается на повестке дня, пишет **Михаил Делягин** в статье **«Пять нерешаемых задач президентства Медведева»** (сайт «Ежедневный журнал», 15 апреля). Так что *во время своего президентства Медведев столкнется с объективной необходимостью решить ряд сложных экономических задач, откладывавшихся «в долгий ящик» в течение предыдущих 8 лет. От способности решить эти задачи зависит будущее России,— в частности, время, глубина и разрушительность системного кризиса.* Таких задач Делягин насчитывает пять и главной из них называет ограничение коррупции. Однако срочные экономические вызовы, как он полагает, не дадут Медведеву возможности эти задачи решить. А такого рода вызовы будут постоянно. Уже сегодня кризис вынуждает инвесторов сбрасывать активы, и, если эта тенденция возобладает, отток капиталов усилится и смоет стабильность. Вероятно, катастрофы осенью 2008 не будет: экономику тряхнет, но она выстоит, — однако сезонные кризисы будут неизбежными и станут нарастать (причем учащаясь, так как кредиты будут предоставляться на все худших условиях и на все более короткое время). *В 2009 году,* считает Делягин, *кризис приобретет открытую форму,*

причем даже некритическая «тряска» экономики поссорит наших руководителей, что станет самостоятельным фактором экономических рисков.

Дмитрий Фурман в статье **«Малые альтернативы 2008 года и большие альтернативы неопределенного будущего»** (Полит.Ру, 14 мая), порассуждав о хрупкости тандема Медведев—Путин, прогнозирует в *неопределенном будущем* два неизбежных события. Во-первых, *разрыв цепочки назначающих друг друга или «самоназначающихся» президентов (конец основанной Ельциным «квазидинастии»)* и, во-вторых, *переход от имитационной демократии к реальной, с настоящими альтернативными выборами.* Оба этих события, полагает Фурман, безальтернативны. *Теперешняя президентская квазидинастия никак не может быть вечной и даже не может быть долговечной. <...> Равным образом, все современное развитие (и более того — все развитие нового времени) говорит о том, что неизбежен и переход к реальной демократии, которая является нормой современного мира, необходимой составляющей современного развитого общества и соответственно — объективной целью развития стран, до нее не «дорослих».* Вопрос, как считает автор статьи, лишь в том, когда произойдут эти события, совпадут ли они во времени, в какой форме они произойдут и какой Россия выйдет из теперешнего состояния и перейдет к реальной демократии. Вопрос, иными словами, в издержках. *Предстоящие кризисы неизбежно сопряжены с определенными «издержками», но эти издержки могут быть и громадными, и сравнительно небольшими. Россия может выйти из них или относительно мощной страной (но, конечно, не «супердержавой»), или страной, совсем утратившей былое значение,* страной с 50 миллионами населения, потерявшей Дальний Восток и Сибирь. Фурман констатирует, что «хороший вариант» становится все менее и менее вероятным. Исчезла легальная оппозиция, почти нет каналов выражения протеста, власть лишается обратных связей с обществом. *Мы «на новом витке спирали» повторяем в смягченном варианте советское развитие, и это означает, что в конце этого витка наш ждет новый вариант советского коллапса.* В сложившейся ситуации Фурман приветствует «разделение властей» между Путиным и Медведевым и движение к деперсонализации режима по образцу Мексики, где некогда существовала сходная ситуация. Президенты назначали преемников, но были четко ограничены во времени своего правления. *Самый хороший (хотя и маловероятный) вариант — это тот самый пресловутый «раскол элиты», которого Путин и правящая верхушка в целом всеми силами старались избежать при смене президентов.* Фурману кажется, что *власть пытается нащупать пути сойти с эскалатора, везущего нас прямиком к очень болезненному и глубокому кризису.*

Россия в мире

Новое место России в мире ищет директор Института Латинской Америки РАН **Владимир Давыдов** в статье **«Пробуждающиеся гиганты БРИК»** («Свободная мысль», № 5). Оставаясь в пределах экономикоцентричного мышления, он возвещает расцвет Китая, Индии, России и Бразилии, а также упадок США, ЕС и Японии. Последнее обстоятельство почему-то кажется ему залогом грядущего единения вышеназванных субъектов расцвета

и вписывается им в прокламируемую некогда Е. Примаковым и др. идею многополярного мира. Примаков вообще оказывается чуть ли не главным идеологом создания оси стран БРИК*. Давыдову кажется, что эти страны имеют шанс сохранить и *воспроизводить* суверенность вопреки тенденции к утрате значения нации-государства в глобальном мире, будучи *доминирующими носителями мощной автохтонной цивилизации (иберо-американской, славянско-православной, индуистско-буддийской и конфуцианской).* Даже не совсем понятно, чему больше рад Давыдов: тому, что его прогноз как будто печален для Европы и Северной Америки (давайте им насолим!), или найденной им возможности вопреки всему и вся утвердить дорогой сердцу идеал многополюсности. Но то, что при этом практически игнорируются не способствующие никакому стратегическому объединению базисные различия религий, культур и цивилизаций стран БРИК, — факт бесспорный. Скорее же всего это только попытка найти подпорку России в XXI веке. Христианскому Западу Давыдов не верит, и в его понимании для России *формат БРИК практически не имеет адекватной альтернативы.* Остается понять: адекватной по какому признаку или принципу? А пока практичный Давыдов настоятельно советует политикам *«оседлать» инициативу, что позволит заранее зарезервировать выигрышную позицию.*

Дмитрий Тренин в статье **«Внешняя политика России: самоутверждение или модернизационный ресурс?»** (Полит.Ру, 13 мая) констатирует, что за десять лет, прошедших после финансового дефолта 1998 года, положение России в мире существенно укрепилось. *Амбиции нынешнего российского руководства впечатляют. Заявленная Путиным и Медведевым стратегия развития России до 2020 г. предполагает, что будущая Россия сможет, наконец, модернизировать свои вооруженные силы и вновь стать современной военной державой, способной проецировать силу в глобальных масштабах. Одновременно Россия разовьет потенциал своей «мягкой силы»: «русский мир» приобретет привлекательность, а «русский взгляд» — убедительность. Такая Россия сможет не только эффективно защищать и продвигать свои национальные интересы, но и выступать в роли равновеликого партнера-конкурента Америки, Европы и Китая, магнита региональной интеграции в Евразии, глобального «медиатора» между Востоком и Западом, Севером и Югом, христианским и мусульманским мирами и т. д., интеллектуального лидера XXI столетия — не только генератора передовых научных и технических идей, но и носителя «интегрированного», «всечеловеческого» мировоззрения, способного преодолеть узость и односторонность западной системы взглядов и эффективно содействовать модернизации незападных систем.* Но пока что *российская внешняя политика отличается не стратегическим, а тактическим, в лучшем случае оперативным подходом охотно рекомендуемым как «прагматизм». Картина мира, существующая в головах лиц, принимающих важнейшие внешнеполитические решения, представляет собой причудливое сочетание веры в традиции («классическое великодержавие» в духе Романовых), признания экономических реальностей («глобализация по-газпромовски») и склонности к виртуальным конструкциям в духе постмодер-*

* Аббревиатура — Бразилия, Россия, Индия, Китай.

низма («политтехнологии», разрабатываемые кремлевскими администраторами). Тренин пробует реконструировать основные внешнеполитические максимы Кремля: *дело России — это сама Россия (а не архаичная империя или абстрактые общечеловеческие интересы); дело России — это бизнес (что хорошо для «Газпрома», хорошо для страны); Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела («суверенная демократия»).* И все же, не имея стратегии внешней политики, трудно говорить о ее приоритетах. Заметно, что работать кнутом у РФ получается легче, чем пряником. «Объективное» доминирование России на пространстве СНГ очевидно, а влияние, тем более лидерство, — нет. Еще в начале 2000-х Владимир Путин провозгласил «европейский выбор» России. С тех пор отношения с Евросоюзом также сместились в сторону прагматики. Сегодня обе стороны связывает главным образом торговля энергоресурсами. В Москве отказываются всерьез признавать, что разрыв в нормах поведения и реально практикуемых ценностях является важнейшим препятствием для более тесного сотрудничества, в том числе экономического, между ЕС и РФ. На американском направлении после неудачи предпринятой вскоре после 11 сентября 2001 года попытки сближения наступила обоюдная усталость друг от друга. Внешнюю политику США в Кремле считают проблемой для РФ и угрозой для глобальной безопасности, а военную политику рассматривают как враждебную России. Постоянное провоцирование США может привести к результатам, которых в Москве должны были бы опасаться, — к вовлечению России в гонку вооружений, способную похоронить планы кремлевской «двадцатилетки». Если отношения с Европой и Америкой находятся в стагнации, то связи с Китаем развиваются внешне вполне успешно. Но китайское направление российской внешней политики также не получило пока стратегического осмысления. Остается предполагать, что и здесь будущее отношений зависит главным образом от Пекина, а Москва лишь отслеживает его шаги и намерена, как обычно, реагировать. На мусульманском направлении Москве удалось, постоянно воюя с исламистами, сепаратистами и террористами, не только не рассориться с ключевыми мусульманскими странами, но даже укрепить эти отношения и после десятилетней паузы вернуться на Ближний и Средний Восток. Вместе с тем Россия остается исключительно ориентированной на сохранение статус-кво в регионах, где существующие режимы стоят перед серьезными вызовами. Наконец, по глобальным вопросам Россия остается по большей части скорее комментатором и отчасти критиком чужих предложений, чем автором оригинальных проектов. Проблемы изменения климата, борьбы с бедностью, состояния мировых финансов остаются на периферии российской внешней политики, сосредоточенной в основном на интересах собственно Российского государства. Тренин завершает так: *Третьему президенту предстоит решить, чем будет для него внешняя политика — полем дальнейшего самоутверждения России или ресурсом ее модернизации.*

Свой взгляд на состояние внешних дел предлагает и **Институт национальной стратегии (С. Белковский, Д. Верхутуров, С. Маркедонов, Б. Межуев и др.)**. На сайте АПН 2 мая опубликован большой доклад Института **«Итоги с Владимиром Путиным: внешняя политика Кремля и распад**

Российской империи». В 2000-е годы Кремль, при всех возможных оговорках, получил небывалую (для постсоветского этапа истории России) меру свободы в проведении как внутренней, так и внешней политики. Это, вероятно, и является одной из составляющих мифа о перманентном «внешнеполитическом успехе» президента Путина. *Однако*, — говорится в докладе, — *граница между «случайным везением» и «заслуженным успехом» в биографии людей и народов чрезвычайно тонка. Главной проблемой российской внешней политики является ее затянувшееся отсутствие.* Т. е. отсутствие системы общенациональных целей и сопоставленных им средств, которая была бы соразмерна историческому и геополитическому масштабу нашей страны. Официальные программные документы формулируют цели российской внешней политики только на самом абстрактном уровне и, в лучшем случае, содержат лишь риторические акценты, характеризующие общий тон российской дипломатии, — такие, как концепция «многополярного» мира или подчеркнутое уважение к принципу суверенитета. Внешнеполитическая риторика Путина также не восполнила этой неопределенности. Российский президент остался верен тому минималистскому кредо, которое было заявлено им в Послании Федеральному Собранию еще в 2000 году: «*Самостоятельность нашей внешней политики не вызывает сомнений. Основу этой политики составляют прагматизм, экономическая эффективность*». Иными словами — бизнес-подход. В этой модели *исходной точкой стала достигнутая «самостоятельность»; ее главной идеологемой стал «прагматизм», представляющий собой нечто среднее между открытым коррупционным эгоизмом элит и стилизацией под классическую школу Realpolitik (всерьез возводить прагматизм эпохи Владимира Путина к реалистическим концепциям международной политики нет никаких оснований, поскольку он отчетливо преодолевает такие основополагающие категории реализма, как «борьба за власть», «сфера влияния», «силовой потенциал» в пользу более ситуативных и экономикоцентричных калькуляций текущей выгоды); ее главным итогом стал демонтаж постсоветского пространства под лозунгом «экономической эффективности» и, как следствие, утрата Россией статуса региональной державы, т. е. качественное снижение ее геополитического статуса.* Неизменным свойством российской дипломатии, закрепившимся при втором президенте РФ, стал *«легитимизм» в трактовке международного права, т. е. приверженность принципам нерушимости сложившихся государственных границ и международных институтов.* Все это характеризуют путинскую внешнюю политику как *инерционную и лишенную стратегического измерения.* Между тем мир необратимо меняется, что диктует, по мнению авторов доклада, необходимость *прощания с «прагматизмом» и политикой «статус-кво», необходимость превращения России в страну, которая четко знает, чего она хочет — для своего будущего, будущего своих соседей и всего мира — и как намерена этого добиться. Только собственный геокультурный и геополитический проект, а не экономический оппортунизм и не правовой идеализм, сможет обеспечить России достойное место в выходящей из гомеостаза мировой истории.* Авторам доклада чудится на горизонте мираж *государства-цивилизации, основанного в своем внутреннем развитии на религиозно-культурных ценностях исторической России и циви-*

лизационных завоеваниях советского модерна (то есть, в идеологических терминах, на определенном синтезе консерватизма и социализма), а во внешней политике — на планомерной интеграции России и ее потенциальных региональных союзников в целостное экономическое и военно-стратегическое «большое пространство»...

Далекое-близкое, итоги и перспективы

На сайте АПН 3 июня **Михаил Делягин** в статье **«Katastropha»** описывает последствия распада СССР. Это явление он уподобляет Холокосту и связывает с ним чуть ли не все социально-демографические проблемы общества. Виновны в распаде Советской империи либеральные реформы 90-х и 2000-х, трактуемые Делягиным как *внутреннее разложение общества.* Да, убитых в ходе реформ и пострадавших от криминального беспредела, пишет Делягин, было значительно меньше, чем во время Холокоста, однако *миллионы людей, полных сил и энергии, были убиты в результате последовательной и безоглядной реализации политических теорий. И то, что эти теории не прямо требовали их смерти, а привели к ней лишь в качестве побочного (хотя и абсолютно неизбежного!) следствия, не может воскресить ни одного из них. Демографические последствия либеральных реформ, в ходе которых в России смертность почти вдвое выросла, а рождаемость почти вдвое упала (что получило название «русский крест»), также не оценены. К 2000 году говорилось о 12 млн человек, сейчас этот показатель существенно выше... Но при этих относительно меньших потерях советский народ перестал существовать. Если еврейский народ после катастрофы обрел свою государственность и укрепился, — народ советский свою государственность утратил и перестал существовать сам. Гибель советского народа надломила хребет русскому народу, который был его основой как в качественном, культурном и управленческом, так и в чисто количественном плане. И русский народ, во многом утративший самоидентификацию за поколения выращивания и вынашивания советского народа, начавший ассоциировать себя с развалившимся и предавшим его государством, до сих пор не может восстановить свою идентичность, свою российскую цивилизацию, пребывая по сути дела в состоянии продолжающейся катастрофы.* Именно поэтому Делягин и предлагает отразить *тяжесть нашей трагедии, начавшейся в 1991 году, термином «Катастрофа». И пусть в мире русская беда называется по-русски — точно так же, как еврейская называется по-еврейски. <...> Пусть пишут «Katastropha» на латинице.* Откровенно говоря, гораздо уместнее, думается, будет назвать таким словом трагедию русского народа в советском XX веке.

А **Максим Момот** на Лента.Ру в статье **«Грустный праздник»** 23 мая отмечает тысячное заседание Госдумы (первое состоялось 11 января 1994 года). Он разбирает ряд версий того, *каким образом и почему Госдума из рупора оппозиции и угрозы Кремлю превратилась в исполнителя поручений администрации президента и правительства. Часть российских либералов акцентируют внимание на роли личности в истории.* Так, *по версии, распространяемой, в частности, Борисом Немцовым, Ельцин в 1999 году ошибся, не разглядев в выдвинутом им преемнике будущего душителя свобод. Клан че-*

кистов, согласно этой теории, сумел в конечном итоге навязать свою волю всей стране. Если верить альтернативной концепции, разрабатываемой Гарри Каспаровым и поддерживаемой демократами с социалистическим оттенком, все дело в исторической предопределенности. По этой версии, в 1990-е годы в результате криминальной приватизации большинство населения оказалось не у дел, а собственность сосредоточилась в узком социальном слое, состоящем частью из бывшей советской номенклатуры, частью — из предпринимателей, не склонных считаться с УК. Для того чтобы не позволить населению избрать депутатов, которые повернули бы всю эту историю вспять, элита на рубеже 1990— 2000-х консолидировалась вокруг президента Путина, который, по этой версии, и ликвидировал демократические процедуры... Каспаров публично покаялся в том, что на президентских выборах 1996 года голосовал за Ельцина. *Изложенная версия,* — пишет Момот, — *по сути, является признанием правоты левых оппонентов первого президента. А сторонники проводившейся Ельциным политики намекают на то, что президенту пришлось пожертвовать демократией ради экономических реформ.* Сторонники теории, согласно которой демократические институты вредят экономическому росту, *указывают на то, что быстрый экономический подъем таких стран, как Южная Корея или Тайвань, был возможен именно в условиях авторитарного режима, не считавшегося с требованиями рабочих и позволявшего предпринимателям тем самым сокращать издержки. Разрешать населению принимать участие в перераспределении национального богатства путем выборов своих представителей в парламент, согласно такому взгляду, могут только давно разбогатевшие страны.* Подводя итоги, Момот меланхолически заключает: *чем бы ни объяснялась утрата Госдумой политической роли в современной России — злой волей чекистов, исторической предопределенностью или экономической необходимостью, — с тысячным заседанием сумевших встроиться в вертикаль власти депутатов можно поздравить.*

То же издание, кстати, сообщает 3 июня, что американский журнал **«The Forbes»** назвал российский парламент *самым богатым в мире, отметив, что в состав Госдумы и Совета Федерации входят 12 миллиардеров. Их общее состояние достигает 41 миллиарда долларов. Первую строчку среди самых богатых российских депутатов и сенаторов занимает член Совета Федерации от Республики Дагестан Сулейман Керимов, владелец компании «Нафта-Москва». Его состояние оценивается в 17,5 миллиарда долларов. Второе место досталось сенатору и бизнесмену Глебу Фетисову (3,9 миллиарда долларов), составившему свое состояние во время работы в «Альфа-групп». На третьей строчке списка — депутат Госдумы Андрей Скоч с состоянием в 3,3 миллиарда долларов. В список также вошли члены Совета Федерации Дмитрий Ананьев (2,3 миллиарда долларов), Сергей Пугачев (два миллиарда), Фархад Ахмедов (1,4 миллиарда), Андрей Комаров (1,3 миллиарда), Виталий Малкин (один миллиард), Андрей Молчанов (четыре миллиарда), Вадим Мошкович (один миллиард), а также депутаты Госдумы Сергей Петров (1,7 миллиарда) и Александр Скоробогатко (1,4 миллиарда).*

Семен Новопрудский в статье **«Человек Слова»** (Газета.Ru, 11 апреля) откликнулся на 70-летие бывшего премьера ельцинских времен Виктора

Черномырдина в жанре апологетического памфлета. По мнению автора, *Черномырдин — человек, который наиболее органично осуществляет диалог власти с народом. Причем говорит и за власть, и за народ одновременно.* Это *человек Слова с большой буквы. Не человек слова в том прикладном смысле, что он держит свое слово, а в том смысле, что обладает потрясающей способностью артикулировать отношение власти и народа к политике. То реальное, здравое, горько-ироничное, по-своему безнадежное отношение, которое бытовало и бытует в России — что во властных коридорах, что на кухнях обывателей. Знаменитые «черномырдинки» и сейчас выглядят как вечная заочная полемика, которую ведут власть и народ. Когда официальная пропаганда впаривает тезис о «России, встающей с колен», сразу вспоминаешь черномырдинскую максиму: «На ноги встанем — на другое ляжем». Так и возникает это удивительное ощущение диалога — причем в данном случае Виктор Степанович развенчивает это пропагандистское клише власти как бы от имени человека из народа. А вот он говорит уже как бы от имени власти: «Курс у нас один — правильный». Какой бы он ни был, как бы ни менялся, куда бы ни заводил. Или такая дивная по непринужденной, органично возникающей из самой структуры неповторимой черномырдинской речи, искренности оценка деятельности практически любого российского правительства: «Мы выполнили все пункты от "А— до "Б"». Страна не выполняла сни царских приказов, ни ленинских декретов, ни постановлений ЦК КПСС, ни планов сталинских пятилеток, ни программ построения коммунизма к 1980 году или обещаний обеспечения каждой семьи жильем к 2000-му. В России никто никогда ничего не доделывает. Все грандиозные планы здесь реализуются именно от «А» до «Б», максимум до «Г», но никогда до «Я». Иногда такой саботаж и неисполнительность даже идут на пользу, — потому как сами цели порой столь абсурдны, что не дай Бог их достичь. А кто, спрашивается, глубже Виктора Степановича определил философию любых очередных судьбоносных преобразований в России? Нет, я имею в виду даже не классический афоризм — «хотели как лучше, а получилось как всегда» — который будет жить в веках в качестве народной мудрости, даже если имя автора затеряется в пыли истории. Виктор Степанович — сознательно или бессознательно— абсолютно точно обосновал необходимость проводить такие трансформации быстро и последовательно: «Нам нельзя растягивать этот процесс. Процесс реформ — он смерти подобен, но нельзя растягивать страдания людей». Людям физически и морально очень трудно, почти невыносимо долго жить в эпоху перемен, как и в эпоху абсолютной стагнации. Но в России застой, болото, политический морок власть привыкла маркировать «стабильностью» и противопоставлять этот вязкий кошмар «хаосу» реформ. А так, чтобы реформировать страну и сделать стабильностью стабильно высокий уровень доходов большинства населения при стабильном наличии гражданских прав и свобод — не получается... Честно, не знаю, является ли сейчас юбиляр членом «Единой России». Очень может быть. Но его знаменитая фраза про суть любого партийного строительства в России — убийственно точный вердикт этому процессу как от имени населения, так и от самих кремлевских партстроителей, которые прекрасно понимают, что именно они строят. Вот она, эта фраза: «Какую бы организацию мы ни создавали,— получа-*

ется КПСС». Секрет мастерства Слова нашего юбиляра очень прост: в отличие от подавляющего большинства политиков, он говорит правду. Причем говорит ее, как простой оренбургский мужик, каковым и остался. Он говорит, как дышит. Эта правда сродни самым талантливым произведениям искусства, где всегда смех сквозь слезы, а иногда и просто одни слезы. Мы смеемся над «черномырдинками», хотя над многими из них впору плакать. Он говорит, как говорят герои Андрея Платонова, на языке обнаженной человеческой души, страдающей от нелепости нашего бытия, всем очевидной и совершенно непреодолимой. Этот крик души, помноженный на чисто человеческий талант Виктора Степановича (кстати, кроме героя Платонова он запросто мог бы быть и героем рассказов Шукшина, а в итоге-то — живой и очень настоящий человек), иногда прорывается к совсем уж глубоким и печальным обобщениям. «Чем мы провинились перед Богом, Аллахом и другими?» — сказал как-то Виктор Черномырдин. Дай ответ, Русь. Не дает ответа. Но каков сам вопрос! Венчает свои рассуждения Новопрудский поздравленьем: *С днем рождения, Виктор Степанович! Вашими устами глаголет если не истина, то искренняя боль народа за великую страну с неясным будущим, непредсказуемым прошлым и несуществующим настоящим.*

Россия — Грузия

Августовская военная кампания на Кавказе вызвала огромное количество откликов. Страсти кипели нешуточные. По сути, война и сопутствующие ей обстоятельства осознаны как момент истины, проявивший многое в стране и в мире. К тому же некоторые комментарии устаревали почти буквально на глазах, не поспевая за ходом событий. А с другой стороны, ряд полноценных обзоров уже осуществлен в бумажной прессе (особо отметим журнал New Times и его электронную версию NewTimes.ru, а также статью Павла Фельгенгауэра в «Новой газете» [№ 59, 14 августа] «Это была не спонтанная, а спланированная война»). Не претендуя на исчерпывающий обзор публикаций в сетевых ресурсах и бумажной прессе, сконцентрируемся прежде всего на двух аспектах сюжета: реакция и перспективы российского общества — и действия российской власти. Минуя ряд версий происходящего, получивших подробное освещение в российских СМИ, особенно на ТВ («рука Вашингтона», намеренная провокация грузинского руководства, направленная на привлечение мировой поддержки, и т. п.), дадим срез характерных суждений, извлеченных из блогов Рунета и СМИ.

«Левада-Центр» 15–18 августа провел опрос, «*как оценивают граждане действия российского руководства в грузино-осетинском конфликте*» (**«Россияне воюют с Америкой»** — Газета.Ru, 21 августа). Бóльшая часть опрошенных (70%) полностью поддерживают действия Москвы по урегулированию грузино-осетинского конфликта, 16% россиян подозревают, что Москва попалась в ловушку Саакашвили. И только 4% увидели, как Россия *исподволь разжигала грузино-осетинский конфликт ради достижения своих геополитических интересов*. Оказалось, что почти половина россиян виновником войны в Южной Осетии называют третью силу — США. При этом 74% не сомневаются, что грузинский народ стал заложником геополити-

ческих устремлений Вашингтона, и лишь 14% не согласны с такой трактовкой. Треть респондентов (32%) обвинили грузинское руководство в дискриминационной политике по отношению к осетинам и абхазам. Но большинство россиян выступают за международное урегулирование кавказского кризиса; 59% связывают возможность урегулирования кризиса на Кавказе только с участием международных организаций, в частности, ООН и Евросоюза. На вопрос о причинах применения Грузией силы против Южной Осетии лишь 15% заявили, что таким образом Саакашвили хотел восстановить территориальную целостность государства. Большинство опрошенных считают, что Грузии необходимо было решить свои территориальные проблемы, чтобы вступить в НАТО (43%), а Михаилу Саакашвили — укрепить авторитет в Грузии и остаться на посту президента (38%). 5% респондентов видят причины конфликта в стремлении руководства непризнанных республик Южной Осетии и Абхазии удержаться у власти, и столько же — 5% — в стремлении Москвы сохранить влияние на Кавказе.

В поддержке курса российского руководства (военной части кампании и признания независимости Южной Осетии и Абхазии) слились давние апологеты и вчерашние оппозиционеры.

Апологетический взгляд на линию российских властей изложил блоггер **rasstriga** (еще недавно опальный журналист **Сергей Доренко**): *Впервые за годы не стыдно за Россию. Впервые за годы не стыдно за Кремль. Впервые за годы президент сделал то, что я бы сделал на его месте. И мы с ним, и мы со страной, и мы — единая воля. И мы — единое самоуважение. В нас — чувство достоинства, чувство служения справедливости. Ну, я не во всем, конечно, разделяю действия Кремля, тут есть, конечно, существенное преувеличение. По мне бы, так военную машину Грузии надо бы было стереть с лица земли полностью, в ноль, в пыль. <...> По мне бы уже надо прямо сейчас приступать к решению задачи по смене американского клоуна Саакашвили на, как минимум, душевно здорового (не параноика) и договороспособного остолопа в Тбилиси. <...> Кремль тянет и торгуется. Тут тревога: не предали бы нас всех, всех, кто поверил, что русская политическая нация существует. Кремлевские, они, может статься, совершенно случайно за нас теперь. Они, может, слабину дадут, не дай Бог. Они заложники теперь блистательного решения и блистательных поступков, но вдруг на попятную пойдут? Тревожно... А от русской прозападной «демократической интеллигенции» — гадливость. Очень надеюсь, что взаимная.*

Близка к Доренко беллетристка **Марина Юденич** (**marina_yudenich**). Она с явной тенденциозностью, не всегда убедительно претендуя на аналитичность, так подводила итоги кампании: *1. Россия добилась убедительной военной победы над грузинскими ВС. Значительная часть грузинской армии выведена из строя. Потоплен флот. Уничтожены военные базы и аэродромы. Нанесены существенные потери в живой силе противника. Тбилиси контролирует только около половины территории, связи с командованием нет. Экономика парализована. Общество подавлено поражением. 2. ВС США и НАТО в конфликт не вступили, при всем огромном стратегическом значении Кавказа для контроля над регионом. Угрозы США ввести в конфликт регулярные части ВС США или стран НАТО были блефом. 3. В Грузии во-*

царился политический хаос. Под вопросом оказался грузинский суверенитет. Смещение Саакашвили произойдет в тот или иной момент на основании внутриполитических процессов. Сепаратистские процессы неизбежно перекинутся теперь на другие области полиэтнической Грузии: Менгрелия — первый кандидат, далее Аджария, со своей собственной культурной доминантой, Джавахетия, компактно заселенная этническими армянами, и Панкисское ущелье с преобладающим там чеченским населением. Грузии как таковой больше нет, как нет Югославии. Далее Юденич говорит, что нет препятствий для обретения независимости Ю. Осетией и Абхазией вопреки злобным США и Западу; она предрекает войну США с Ираном. *Россия доказала, что является региональной державой, способной в критическом случае действовать в зоне своего влияния вопреки воле США. <...> ...гегемонию США в региональных масштабах можно ограничить силой... Отношения России с США перешли от «холодного мира» к полноценной «холодной войне», на грани прямого горячего столкновения.* По догадке Юденич, *следующей зоной потенциального регионального конфликта становится Украина.* И, разумеется, *военные, геополитические и стратегические изменения статуса России неминуемо повлекут за собой сдвиги во внутренней политике.* Ведь *Москва более не нуждается даже в имитации «терпимости» к крайней либеральной оппозиции.* По Юденич, *потребуется новая идеологизация общества, подготавливающая его к определенным проблемам и ограничениям, связанным с резким ухудшением отношений с Западом. <...> Либеральное крыло истеблишмента будет оттеснено более консервативными группами, ориентированными на патриотизм в чистом виде. <...> Изменится информационная политика, призванная подготовить население к новым международным условиям, где россиянам придется столкнуться с определенными информационными ограничениями, вероятным экономическим бойкотом Запада, ужесточением визового режима при международных поездках и т. д.* Касаясь персоналий, Юденич делает вывод: *Фундаментально укрепилась позиция Президента Медведева, который прошел первое и серьезнейшее испытание по сути угрозой ядерного конфликта. <...> Медведев главнокомандующий армии, одержавшей внушительную победу в абсолютно оправданной обществом и поддержанной морально войне, не стоившей слишком больших потерь. Это уникальный случай в новейшей российской истории, что дает Медведеву огромные шансы укрепить свое политическое влияние и стать самостоятельной фигурой.* Решение Медведева *было подготовлено всем предыдущим курсом Путина на возрождение страны. <...> Но самый главный выбор сделали народы — русский, поддержав Президента Медведева, осетинский, не дав себя стереть с лица земли извергам Саакашвили, и абхазский, отстоявший в решающий момент свою свободы и открывший второй фронт против агрессора. Грузинский народ, доверивший свою судьбу в переломный момент своей истории неудачливому, но кровавому диктатору, увы, проиграл.*

В другом посте **Юденич** пишет: *Россия прошла через страшные годы унижений и испытаний... И выстояла. И в очередной раз продемонстрировала миру непоколебимую властную волю,.. ратную доблесть и способность к национальному единению в сложные, переломные моменты своей истории. Это, кстати, и есть... системные признаки великой страны. Это — а не сытое*

обывательское существование, суть которого — потребление суррогатной еды и квази-культуры. Мы — великая страна. Другой России не будет. И чтобы закончить с пафосом, — потому что он хорош в разумных пределах, — вспомним о главной пафосной «страшилке», которой пытаются нас испугать. Изоляция. Жуть какая. А что, — скажите на милость, — были в нашей многовековой истории такие времена, когда Россия находилась не в изоляции? Политической, экономической, военной, мировоззренческой, наконец? ...По мысли Юденич, Запад слишком слаб, чтобы его бояться.

А «абхазский сепаратист» **Лаврентий Амшенци** (**«Грузинский гамбит»** — Апсны-информ; цит. по блогу hel_ga) едва ли не с восторгом пишет так: *Молниеносная обескураживающая и жесткая военная операция Российских вооруженных сил на Кавказе возвестила миру о рождении новой страны. Мы видели растерянное лицо Джорджа Буша в Пекине и нервно кивающего российскому представителю в ООН Чуркину американского представителя Халилзада. Мы с удивлением узнали, что сама «Черная пума» — Кондолиза Райс 40 минут по телефону уговаривает министра иностранных дел Лаврова выпустить из горящего адским огнем «котла» командование грузинских армейских бригад и находящихся в составе их штабов американских офицеров. Мы смотрели и боялись поверить, что наша Россия разговаривает с Западом его же тоном времен войны в Югославии. Боялись и не верили... Где подвох? Дмитрий Медведев и Владимир Путин за три кровавых дня выбили из страны страх и (в некоторых случаях подсознательное) преклонение перед ложными западными ценностями типа демократии для избранных. Как вы считаете, уважаемые читатели, стоило это той крови, которую пролил несчастный осетинский народ?*

На сайте АПН пространный анализ ситуации предпринял **Станислав Белковский** в серии статей **«Где Россия, или Конец постсоветского мира»**. Начал он 8 августа за упокой: Грузия громит Южную Осетию, а российское руководство спит. *Саакашвили отправился в поход на Цхинвал, когда понял, что Россия не сможет ему убедительно возразить. Где теперь Россия — мы знаем. В полной жопе. Надо было дожить до пятницы, 8 августа 2008 года, чтобы это признать. Отважимся существовать дальше.* 9 августа Белковский добавляет: *Главная миссия России в Южной Осетии с 1992 года состояла в том, чтобы предотвратить войну. И обеспечить безопасность маленького непризнанного государства. Россия выполнить эту миссию не смогла. Мы вступили в войну через две трети суток после ее начала, когда Цхинвал был уже почти разрушен, а тысячи наших людей, включая миротворцев, — погибли. Это похоже на «Скорую помощь», которая приезжает к больному через 16 часов после инсульта. На охранника, который начинает защищать охраняемого, когда тому уже разбили в кровь лицо и сломали четыре ребра.* <...> Так что *мифы о «геополитическом РФ-усилении» и «милитократии» получили-таки свои путевки в исторический крематорий-колумбарий.* Правда, *Дмитрий Медведев, пусть и с большим опозданием, нашелся. Тогда грузинское войско повернуло вспять. Блицкриг Михаила Саакашвили провалился.* Но Россия угодила в международно-правовую ловушку. *Теперь РФ, с чисто формальной точки зрения, стала агрессором и уже не может быть равноудаленным миротворцем.* Выход Белков-

ский видит один: признать Южную Осетию. А заодно, добавляет он 11 августа, и Абхазию. *И превратиться из агрессора в полноправного гаранта мира, призванного другим суверенным государством.* Аналог: Турция и Северный Кипр. Ну а заканчивает Белковский 28 августа за здравие. «Эпоха Путина» *закончена. Классический Путин-style, исчерпывающе отражающий ушедшую недоэпоху, таков: со зверским выражением лица, гранитной дробью слов про «возрождение России», с гарниром из черного унтер-офицерского юмора — сдавать все геополитические позиции страны, какие еще остались. Под мерный скрежет ренессансных путинских скул закрывались военные базы, выводились войска, продавались последние союзники и друзья. Под эту же сурдинку Россия к середине этого десятилетия полностью утратила решающее влияние в своей бывшей империи: поведение стран номинального СНГ во время осетинской войны 8-12 о том красноречиво свидетельствует. 26.08.08 мы увидели иной style. С интеллигентным выражением лица, без громокипящих угроз и дворовой похабщины — взять и принять трудное и смелое (по нынешним временам) решение, которое полностью отвечает геополитическим интересам России. Впервые за много лет. <...> Если у нас нет правительства национальной стратегии, то пусть будет хотя бы правительство осознанной необходимости. Признав Абхазию и Южную Осетию, Медведев прыгнул выше головы.*

Стремящийся понапрасну не ссориться с веком **Александр Архангельский (arkhangelsky)** 9 августа предложил «мастерам культуры» такой выбор: *...если война все-таки будет, нам придется забыть про общие идеи и частные принципы и однозначно поддерживать лозунг «война до победного конца». Пока не умолкнут пушки, не имеет ни малейшего значения, кто и кого провоцировал и чья это территория. Пока не умолкнут пушки, значение имеет лишь одно: кто победит и кто проиграет. Если завтра война, Россия не сможет сделать вид, что она тут ни при чем: отсидеться в стороне без потери лица невозможно. А ринувшись в бой, мы не имеем права проиграть. Проигрыш будет равнозначен самоубийству. Комплекс национальной неполноценности разом обрушит все надежды на медленный выход из той политики, которую мы хлебаем полной ложкой уже лет шесть как минимум. <...> придется вести жесткую политику внутри страны. К власти возвратятся силовики, — и отставка Медведева будет еще не самой большой потерей. И тут уже нужно готовиться к худшему: новый хозяин окажется крутенек.* Это в случае проигрыша, что же до победы, то и за нее придется расплатиться отношениями с миром и еще большим увязанием в кавказских проблемах. Но эта цена, по автору, несопоставима с ценой проигрыша. В финале же событий, 28 августа, Архангельский ищет таких развязок: *Главная державная задача России в XXI столетии — осмысленное удержание существующей территории, обустройство жизни собственных граждан и спокойное возрастание в разумной силе.* А как этого достичь? Уж явно не территориальными демаршами. *...Если мы сумеем каким-то образом объяснить северным осетинам, почему не хотим аннексировать территорию, на которой проживают южные; признать признали, а включать в состав России — нет. Если сумеем отделить политику от экономики и предъявим миру либеральную экономическую политику — на фоне вполне вое-*

низированной внешней. Например, символически отпустив Ходорковского в обмен на прекращение им политической борьбы. Прекратив двусмысленную игру с отказом от вступления в ВТО. Отменив прокурорские методы управления бизнесом. ...И после этого начав аккуратно наращивать политику обустройства, столь же аккуратно ослабляя политику имперской компенсации.

Половинчатые мысли Архангельского развил и углубил политконсультант **Андрей Перла («Глупость или измена»** — сайт Взгляд, 11 августа). Он уличил «многих представителей российской оппозиции» в госизмене. Правда, в моральном, а не в юридическом смысле, но где грань? *Они называют действия России «агрессией» — так же, как это делает враг. И, значит, помогают врагу. Они требуют ввести против России санкции, исключить ее из «восьмерки», лишить миротворческого мандата. Им кажется (по крайней мере, они так говорят), что они выступают не против России, а против «режима» или политического курса. <...> Что бы они ни говорили, как бы ни маскировали свою позицию, на самом деле все они в меру слабых сил пытаются остановить российскую армию.* Но во время военных действий попытки поставить под сомнение правоту русского оружия недопустимы. *Каждый имеет право на позицию, принципы свободы слова нерушимы. До и после войны. Но во время войны каждый, кто сомневается в действиях своей армии, губит свою страну и помогает врагу.*

Отметим и представленное в Рунете коллективное письмо — **обращение учредителей и участников регионального общественного фонда содействия развитию культуры «Мир Кавказа»** к деятелям культуры в связи с событиями в Южной Осетии. Его авторы гневно обличают Грузию и США. *...региональная война, развязанная марионеточным режимом Михаила Саакашвили против населения Южной Осетии, есть не что иное, как начало необъявленной войны, которую США и их европейские союзники развязали против России руками братского грузинского народа, с которым Россию связывают многовековые культурно-исторические узы. Одурманенная националистической риторикой и подстрекаемая коварной политикой США, значительная часть грузинского народа забыла, что поднимает оружие против брата и друга, чья искренность и надежность испытана веками, и не осознает в полной мере, что служит орудием в руках новой «Империи Зла».* Клеймят авторы за ложь и *мировые СМИ.* Подписи поставили **Ф. Алиева, Ю. Башмет, А. Битов** (который потом вроде бы свою подпись отозвал), **Э. Быстрицкая, В. Гергиев, Ф. Искандер, В. Лановой, Н. Никогосян, К. Шахназаров** и др.

А на сайте **«Эха Москвы» в Санкт-Петербурге** появилось открытое **письмо петербургских интеллигентов** в Институт грузинской литературы Ш. Руставели: *Мы глубоко потрясены происходящими трагическими событиями. Боль, которая разрывает ваши сердца, — это и наша боль. Аналитики еще долго будут изучать подводные течения и водовороты, приведшие к этой катастрофе, устанавливать степень индивидуальной и коллективной ответственности сторон. Последствия этой катастрофы непредсказуемы в равной мере для граждан обеих наших стран. Несмотря на все искусственно воздвигаемые между нами барьеры, мы вместе, мы продолжаем вас любить, понимаем ваши чувства и переживаем наше общее горе.* Письмо под-

писали **Т. Никольская, Б. Стругацкий, К. Азадовский, Е. Чижова, С. Лурье, С. Стратановский, А. Лавров, Н. Елисеев** и мн. др.

Зачем Россия ввязалась во внутригрузинский конфликт? На сей счет есть много мнений. Кто-то добросердечно считает, что внезапно у властей РФ проснулось сочувствие к осетинам, кто-то гневно обвиняет грузин в убийстве российских «миротворцев» (в другом толковании — представителей «стороны конфликта»), а некоторые безумцы и вовсе видят тут то ли сговор США и России, то ли проверку Америкой России на прочность (*первая русско-американская война,* — **П. Святенков**), то ли простое намерение московских силовиков и кавказских марионеток России распилить немереный бюджет, то ли операцию прикрытия в рамках подготовки атаки на Иран, то ли злой и корыстный умысел, связанный с кремлевским планом свержения грузинского президента и подрывом доверия к надежности неподконтрольного России нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан.

Борис Суварин на сайте Ежедневный журнал (**«Высокие чувства»**, 12 августа) и вовсе простую логику прописал: *ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО? А ЧТОБ ЗНАЛИ! И ПОМНИЛИ. НА СОПЛИВОМ НОСУ ЗАРУБИЛИ. Кто, собственно, должен, это самое... знать-помнить? А — ВСЕ. СНГ (Украина там всякая — персонально!). Европа. Север, Юг, Запад, Восток. «Кто нас обидит — дня не проживет. И ООН не поможет. И США не спасут. И НАТО воды в штаны накачает». Мы — ТАКИЕ. «И кроме мордобития — никаких чудес». Я думаю, что примерно такими душевными порывами только и можно объяснить бесцельное, вообще-то говоря, вторжение русских войск в Грузию.*

С большим числом ссылок видение мотивов и хода кампании с грузинской стороны разобрал блоггер **га2005 («FAQ по Российско-Грузинской войне 2008 года»**, 27 августа). Автор напоминает, что война России и Грузии кончится нескоро, потому как мирный договор едва ли будет подписан. Он утверждает, что войну начала РФ вводом войск на территорию Грузии в апреле 2008 года. Активные бои начаты РФ 6 августа с артобстрелов грузинских сел вокруг Цхинвали, приведших к жертвам среди грузинских миротворцев и мирного населения. Несмотря на одностороннее перемирие, объявленное Саакашвили, и неоднократные обращения его к цхинвальцам, правительству РФ, звонки в Кремль из Белого дома, обстрелы не прекращались. Через Рокский туннель шла и шла российская военная техника (тщательно рассмотрен вопрос о собранных для войны русских танках в Джаве). га2005 — один из немногих, кто оправдывает действия Саакашвили: узнав, что танки пошли через тоннель, он понимает, что обстрел — это не провокация, а артподготовка для танков, которые через несколько часов скопятся в количестве, достаточном, чтобы переехать всю его армию и быть у Тбилиси к утру. К понедельнику бои будут идти в центре столицы, Грузия будет оккупирована танковой армадой. Что делать? Перехватить инициативу, ударить сейчас по заправляющимся танкам с этой стороны тоннеля и по прикрывающей их артиллерии в Цхинвали. Смешать их планы и максимально оттянуть и ослабить вторжение, пока весь мир не проснется, не узнает и не отреагирует. Собственно, это решение, полагает га2005, и спасло государство Грузия от полной оккупации, от грузинского Кадырова и гражданской войны. Наступление грузинских войск на Цхинвали и артподготовка наступления на Джав-

ское ущелье начались только после неоднократных попыток остановить войну около 23:30 7 августа. *Именно эту дату и время почему-то ошибочно считают датой начала войны в РФ и обвиняют в ее начале Саакашвили. Это приблизительно, как если бы Гитлер обвинял Сталина в том, что тот начал ВОВ вероломным ударом по немецким войскам на территории СССР утром 22 июня 1941 года.* На риторические восклицания типа: «*Зачем Путину все это? Да кому вы вообще нужны? Мы просто защищали наших граждан!*» — автор отвечает так: *Главная цель — отсечение Азербайджана и Средней Азии вместе со всеми их ресурсами от Европы.* Грузия — единственный путь вне РФ и Ирана, по которому возможен удобный транзит грузов/углеводородов в Среднюю Азию из Европы и обратно. *Эдакое геополитическое «горлышко от бутылки». Поэтому целью Путина были не нищие и, более того, криминогенные и вечно попрошайничающие Абхазия и ЮО, но контроль над всей Грузией с помощью посаженного оккупационными войсками правителя-марионетки. Признание ЮО и Абхазии — это утешительный приз, оправдывающий просранный (хотя и гениально задуманный) блицкриг в глазах населения РФ. «План Б» так сказать. А граждан своих РФ угробила в разы больше, чем если б она вообще не влезла в Цхинвали. Я уже не говорю о том, что, хоти РФ защитить своих граждан, она бы давно сдала оба эти региона Тбилиси под гарантии безопасности для «своих» и установила бы с Грузией нормальные отношения. Вместо этого РФ выдала им свои загранпаспорта, нарушив все существующие для этого процедуры, объявила своими гражданами, при этом сознательно не выдавая им российских общегражданских паспортов, чтобы они не могли прописаться в РФ, и снабжала оружием и платила им деньги за то, что они служили в силовых ведомствах сепаратистских диктатур. Это так РФ понимает защиту своих граждан.* Оспаривает га2005 и факт «геноцида осетинского народа». *В остальной Грузии живет осетин больше, чем в ЮО. Но только осетины из ЮО вопят о неисчислимых геноцидах.* С другой стороны, уничтожение грузинских сел в Южной Осетии и изгнание грузин — факт бесспорный... Заметим, что вопрос о количестве погибших мирных граждан в Южной Осетии и Грузии остается неясным и в середине сентября, когда составляется этот обзор. Международная правозащитная организация **Human Right Watch** достоверно установила факт гибели сорока четырех мирных граждан, в то время как **власти Южной Осетии**, а вслед за ними и российские, объявили о почти двух тысячах погибших.

Рассуждение **Геннадия Кацова (gkatsov's journal)**: *Петлю вокруг Грузии завязывает Россия уже давно. Те же российские паспорта есть повод сегодня для гуманных заявлений о спасении собственных российских граждан. И принадлежащие Грузии территории, годами окучиваемые до состояния высшей сепаратистской готовности,— всегда предмет торга при вступлении России в ВТО или Грузии в НАТО. Будете выпендриваться, грозят пальчиками российские начальники,— обрежем крайнюю плоть и с севера, и с юга. То, что импульсивный Саакашвили решил разрубить этот узел в одночасье, воспользовавшись тем, что все внимание приковано к Олимпиаде, свидетельствует однозначно: США не могут контролировать своего дорогого друга-демократа на Кавказе, равно как Кремль не способен держать в узде своих генералов, рванувших в Южную Осетию за длинным рублем.*

Похоже, что Саакашвили сам себя также контролировать не в состоянии, — пишет далее Кацов, обращая внимание на то, как легко грузины отдали Цхинвали, *едва российская армия пошла в контратаку*. Зачем же в таком случае было вообще соваться в Юго-Осетинскую столицу? На что рассчитывал Саакашвили? *Где продуманный план, где чутье полководца и хитрость стратега?* Ничего этого у грузинского президента не оказалось, *кроме истерической надежды на сон в летнюю ночь всего мирового сообщества, отбывшего в олимпийский Пекин...*

Андрей Илларионов (aillarionov) предложил в своем блоге довольно хорошо документированную версию событий, в соответствии с которой «блицкриг» является результатом кремлевской спецоперации. Война с Грузией стала *блестящей провокацией, длительно готовившейся и успешно проведенной российскими силовиками, практически полностью воспроизведшими «поход Басаева в Дагестан» и начало второй чеченской войны. ...Бросок грузинской армии на Цхинвал — не что иное, как истерика. По-хорошему, у Саакашвили выбора не было, надо было атаковать Осетию и брать ее до того, как российская армия пройдет Рокский тоннель. И Саакашвили ударил... Скорее всего, российские психологи четко просчитали Михаила Николаевича и выманили его... Коалиция вынудила Саакашвили нанести удар по Южной Осетии первым...* Илларионов полагает, что Россия войну проиграла (Грани.Ру, 13 августа). По итогам войны финансовые внешнеполитические и моральные потери России оказались более значительны, чем потери Грузии. Российское руководство не достигло своей главной цели — смещения Михаила Саакашвили и изменения политического режима в Грузии. Стремление Грузии в НАТО может только усилиться. Еще одним итогом войны стало то, что международно признанным агрессором, введшим свои войска на территорию другого государства, стала Россия. Грузия, в свою очередь, стала международно признанной жертвой агрессии. Россия оказалась практически в полной внешнеполитической изоляции. Кроме того, политическая «восьмерка» де-факто превращена в «семерку» (см. также: http://www.echo.msk.ru/programs/noexit/535062-echo.phtm).

Илларионов опирается на выводы экономиста **Бориса Львина (bbb)**, который пишет: *План — ну, скажем, программа-максимум — мог, ориентировочно, состоять в следующем: Заранее готовится военная операция. Корабли готовятся к выходу на боевую операцию, и т. д. <...> армия развертывается, железная дорога починяется, специалисты призываются, и все такое прочее. Эскалация напряженности, обстрелы и т. д. провоцируют Грузию на попытку блицкрига. Возможно, каким-то образом грузинам дают понять, что если, мол, операция будет мгновенной и решительной, то Россия не вмешается (не успеет вмешаться, побоится вмешаться, и т. д.), а Грузия сможет повторить операцию «Шторм». Через некоторое время после грузинской атаки границу переходят русские войска и наносят решительный удар по грузинским частям, максимально воздерживаясь от ущерба гражданскому населению. Грузинская армия немедленно терпит поражение, прекращает сопротивление, теряет управляемость, распадается, дезертирует, превращается в неорганизованные шайки грабителей и в панике бежит. В Тбилиси и Грузии воцаряется хаос. Разнообразные оппозиционеры, генералы и авантюристы*

пытаются растащить власть. Саакашвили бежит за границу. Всем становится ясно, что единственной силой, способной восстановить минимальный порядок в стране, являются российские войска. Какой-нибудь совет национального спасения Грузии объявляет о перемирии, включает в свой состав часть бывших министров и генералов, арестовывает других министров и генералов, предлагает совместное патрулирование Тбилиси. Передовые части российской армии без малейшего сопротивления въезжают в Тбилиси, встречают поддержку части населения, формируют совместные российско-грузинские комендатуры, берут иностранные посольства под защиту от мародеров и бандитов. Совет национального спасения Грузии подписывает временный договор о пребывании российского контингента, берет на себя обязательства по поддержанию порядка, формирует следственную комиссию по расследованию преступлений Саакашвили и его сообщников и назначает всеобщие выборы на начало сентября. По отдельному договору, подписанному Советом национального спасения Грузии и Россией, Абхазия и Южная Осетия получают особый статус в составе Грузии. Грузия передает им полное самоуправление по всем вопросам и соглашается на формальные гарантии их безопасности со стороны России и неограниченную связь этих республик с Россией.

Результаты получились не вполне ожидаемые. Борис Львин перечисляет некоторые из них: *...грузинская армия не дезинтегрировалась и не ввязалась в самоубийственные сражения на неподготовленных рубежах. Она сохранила управляемость и боеспособность, отошла на линию обороны Тбилиси, отведя значительную часть техники, при этом отдельные части армии продолжали вести беспокоящие операции против российских войск. Массовой сдачи в плен, дезертирства, мародерства, перехода к гражданской войне не наблюдается.* Степень поражения и разрушения грузинских военных объектов, судя по всему, невелика. *Дальнейшее продвижение в сторону Тбилиси чревато серьезными боями с грузинской армией, чья мораль укрепится сознанием защиты столицы, коммуникации сократятся, а массовая поддержка возрастет.* Внутреннее же положение Саакашвили, пишет Львин, лишь укрепилось — *по крайней мере в краткосрочной перспективе.* Пророссийский же курс *дискредитирован, национальное единство стало лозунгом. В определенном смысле повторяется история августа 68-го года, когда планы по формированию просоветского правительства Чехословакии провалились... Мировое сообщество проявило практически полное единство в требовании скорейшего вывода российских войск за пределы «собственно Грузии» (то есть за исключением двух непризнанных республик). Россия вынуждена согласиться с этими требованиями и выполнить их, хотя бы и с затягиванием на несколько дней или даже недель. Условия соглашения не содержат никаких ограничений или обязательств Грузии в плане ее внутренней и внешней политики типа обязательного нейтралитета, военного сотрудничества в рамках СНГ, частичной демилитаризации, внешнего контроля за военными поставками, обязательных политических консультаций, досрочных выборов, гарантий для оппозиции и т. д.) Таким образом, однозначно выигравшими в войне следует признать Осетию (Осетию вообще, не только Южную) и Абхазию. Выигрыш России заключается в укреплении этих двух ее союзников. «Собствен-*

но Грузия», боюсь, может быть потеряна для России на довольно длительное время, а пророссийские элементы в ней — резко ослаблены.

Далее в блоге bbb разворачивается дискуссия по поводу версии Львина. См. также блог **blguanblch**, пост 13 августа: *...чтобы привести в действие такую махину — армию усиленной комплектации с приданными из глубокого тыла подразделениями, авиационные части и соединения, корабли двух флотов,— и заставить ее сработать в срок нескольких дней, требуются как минимум несколько недель подготовки, если речь идет о соединениях быстрого развертывания. Для обычных частей и соединений — это месяц, если не два. <...> НИ ОДНА АРМИЯ МИРА НЕ СПОСОБНА БЕЗ ТЩАТЕЛЬНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОПЕРАЦИИ ВЫСТАВИТЬ ПОДОБНУЮ ГРУППИРОВКУ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ: ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕВОЗМОЖНО. Эта военная операция готовилась заранее, задолго, и не может быть случайным совпадением время ее начала. Не бывает в политике и войне таких совпадений. Вероятнее всего, делалась ставка на блицкриг и заторможенную реакцию всякой либеральной международной сволоты — пока она бухает на открытии Олимпиады, можно было (гипотетически) по-быстрому учинить глубокий рейд и правительственный переворот, например.*

Дополнительный материал к реконструкции событий дает публикация в блоге **Arthur Kalmeyer (art_of_arts)**: **Майкл Тоттен, «Правда о России и Грузии»** (изложена версия экспертов по Кавказу П. Вормса и Т. Гольца). О событиях 7–8 августа: *Вечером 7 августа осетинская сторона открыла артиллерийский барраж из всех видов орудий, сосредоточив его не на позициях грузинских войск, а на грузинских деревнях. Не упускайте из виду — речь идет о грузинских деревнях внутри Южной Осетии! К этому времени грузины почти полностью покинули свои деревни. Три деревни были превращены в пыль. Вечером 7-го Президент* (Саакашвили. — *Ред.*) *получает информацию о движении большой колонны русских танков. Позже в этот же вечер поступают сведения о том, что эти танки выходят из Рокского туннеля <...> грузины направили войска с задачей остановить продвижение русских танков — направили кратчайшим путем, через Цхинвали — именно об этой акции все потом начали говорить: «Саакашвили начал войну». Операция не была направлена на захват Осетии, это была попытка пройти через город с единственной целью — остановить продвижение русских танков, вторгшихся на территорию страны. Второй задачей была отправка отряда спецчастей для разрушения моста на пути русских танков. Эти ребята погибли, но только после того, как им удалось разрушить мост и уничтожить около 15 российских машин. Грузины расскажут вам, что, по их оценке, эти две акции замедлили продвижение русских на время от 24 до 48 часов...*

А вот **Владимир Ермолин** в заговор Кремля не верит и потому обвиняет российские власти в медлительности и неумелости (**«Военное таинство»** — Грани.Ру, 11 августа). *Вхождение грузинских частей в пределы непризнанной республики было, судя по реакции Москвы — и политической, и военной,— внезапным: даже термин «вероломное нападение» вернулся из далекого сорок первого в обиход. Вошли в Цхинвали «на рысях», более 12 часов владели*

ситуацией в самом городе, потом контролировали окраины, ближайшие осетинские села. Заняли господствующие высоты и беспрепятственно работали «Градами». <...> Вовремя, судя по всему, сумел уйти только Эдуард Кокойты. А между тем *в ночь на 8 августа глава государства Дмитрий Медведев пребывал в уютном поместье в Самарской области: по сообщению кремлевской пресс-службы, проводил там свой «рабочий отпуск». ...Владимир Путин встретил канун событий в олимпийской деревне в далеком Китае. Там оказался и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. <...> И с резидентурой проблема: не ступала тут нога русского, — легче в Сенегале шпионить, чем в Грузии. И средства армейской разведки заклинило. Словом,.. ниоткуда не прилетело в Москву сигнала о готовящемся вторжении. <...> При наличии исчерпывающих разведданных Москва за сутки вполне успела бы предупредить обострение ситуации в зоне конфликта...*

Ряд комментаторов критически отнеслись к переносу Россией военных действий за пределы Южной Осетии и Абхазии, на территорию независимой Грузии. На сайте www.democrat-info/ru 18 августа эта точка зрения выражена концентрированно: *Тяжелое поражение потерпели российские власти, допустившие неоправданное избыточное применение силы против суверенной Грузии, далеко выходящее за рамки миротворческого мандата. В результате авантюристического и не имевшего оправданных политических целей решения о проведении широкомасштабных российских бомбардировок Грузии вне непосредственной зоны конфликта руководство России впервые с советских времен поставило страну на грань международной изоляции. <...> Репутации России как гаранта процесса мирного урегулирования в Южной Осетии и Абхазии, а также нейтральному статусу российских миротворческих сил нанесен непоправимый ущерб. <...> Случившееся — полный провал внешней политики России последних лет, проводившейся под руководством второго президента России Владимира Путина и основанной на возрождении агрессивной имперской стилистики, бряцании оружием, провокациях, готовности ввязываться в силовые действия ради геополитических игрищ, пренебрегая жизнями людей и репутацией страны. Личную ответственность за этот провал несет «архитектор» внешней политики России последних лет Владимир Путин.*

С другой стороны, многие, как мы видели, поддержали ввод армии на территорию другого государства, считая, что это *морально* оправдано.

Итоги войны в резюме блоггера **сухуmu**: *Итоги для Грузии. Грузинская армия прошла тяжелый путь, людские потери были тяжелые, но не невосполнимые, бóльшая часть военных была необстрелянная и теперь получила хоть и горький, но боевой опыт.* ПВО Грузии не прошли проверку на прочность, бронетехника в основном была введена в Южную Осетию и по большей части была либо частично уничтожена там, либо захвачена в качестве трофеев уже после взятия Гори. <...> *В политическом плане Грузия и ее западные друзья смогли доказать всему миру, что Россия не является миротворцем, что она агрессор, что она все делает для того, чтоб сбросить правительство в Грузии и захватить часть территории Грузии. Сами же власти России сделали для этого имиджа все, что могли.* Блоггер считает, что

хотя Российская армия и показала хорошую военную выучку, однако *моральная подготовка контрактников оказалась на низком уровне, некоторые российские части сразу же приступили к мародерству, что было зафиксировано многими журналистами. В политическом плане Россия только проиграла.* В частности, потому, что 1) *весь мир увидел бомбадировку грузинских городов российской авиацией*; 2) все поняли, что *с Медведевым не имеет смысла разговаривать*, т. к. Путин все равно все сделает по-другому; 3) Россия не выполнила своих обязательств по договору, и 4) признанием сепаратистских регионов мы окончательно показали, чего добивалась она своим присутствием в качестве миротворцев (*«миротВОРцев»*, — пишет блоггер). *Теперь Россия может оказаться в изоляции, и ее стремление к мировому лидерству значительно ограничится. Создается такое впечатление, что власти России просто поддались на провокацию Запада, который как раз и хотел увидеть загнанную в угол Россию.* По мнению блоггера, в этой ситуации больше всех выиграла Абхазия: *и Кодорское ущелье взяли без потерь, и Россия признала,.. и военные трофеи из Грузии передали...* Южной Осетии, отмечает блоггер, независимость досталась куда более дорогой ценой. Зато неплохи итоги для США: *им удалось прижать своего давнего соперника и выставить его в неприглядном виде захватчика <...> Настрой в России очень неприятный, на радио люди звонят и говорят, что готовы хватать оружие и идти бить американцев, пошла волна империалистических настроений,.. говорят, следующим будет Крым, где уже стали раздавать российские паспорта. А тем временем еще около 50 000 грузин стали беженцами, и их дома сравнивают с землей осетины, живущие в признанной Россией Южной Осетии, и в карманах последних лежит паспорт гражданина Российской федерации. Думаю, это позор для России.*

Последовательно изложил претензии к российской власти и свои опасения блоггер **hoz_subiekt**. В ЖЖ он пишет: *...все, что делала Россия последние годы в Грузии, было последовательным подстрекательством и провокацией в целях развала чужого государства, — <то есть> то, что обычно нынешняя кремлевская верхушка в контексте нашей новейшей истории ставит в вину США. Это была методичная, планомерная поддержка сепаратизма, рассчитанная на самый худший сценарий событий... Потому что сепаратизм, тем более подпитываемый гражданством, паспортами, пенсиями, автоматами Калашникова, лужковыми и жириновскими, редко заканчивается брызгами шампанского и воздушными шариками. Как и положено в таких случаях, будь-то «Курск», Беслан или «Норд-Ост», непременным атрибутом происходящего стало официальное вранье, от меняющихся цифр погибших и раненых до подтасовки фото беженцев по главному телеканалу страны.*

Впрочем, те немногие, кто еще не заражены военной истерией кремлевского агитпропа, уже сейчас могут сделать несколько наблюдений. Оказывается, бывают плохие двойные стандарты, когда они чужие, и хорошие — когда они свои. Оказывается, бывают плохие сепаратисты, когда они в своей стране, и хорошие, когда они в чужой. Оказывается, главной претензией Путина к Саакашвили может быть ровно то, что делал сам Путин в своей стране еще несколько лет назад, но куда с большим цинизмом и куда в больших масштабах... Оказывается, американский империализм — это плохо, а российс-

кий — хорошо. Оказывается, разваливать СССР плохо, а Грузию — хорошо. Оказывается, надо судить за военные преступления против российских граждан, — но только в Грузии, а не в России. Оказывается, это Грузия напала на Россию на своей территории, а не наоборот... <...> Мне нелегко брать в руки ТВ-пульт. Я боюсь за свое здоровье. Я боюсь заразиться. После того, как Россия совершила военную агрессию против Грузии и война идет между грузинской армией и моей, российской, стало ясно, что я как военнообязанный теоретически могу быть поставлен в ситуацию уничтожения грузин. В случае доведения Кремлем своего сумасшествия до этого логического конца, оказывается, что я могу стать дезертиром, — то, что я полностью исключал для себя совсем еще недавно. Как становятся дезертирами и предателями? А вот так и становятся. <...>

Есть достаточно признаков, по которым можно сравнить Путина со Сталиным. Один из них: маленькая Грузия напала на Россию, а та вынуждена (не хотела, ну, не хотела, а видишь ли, вынудили бедную) была перейти в наступление, — чем не дебильный сталинский креатив о нападении микроскопической Финляндии на СССР. Другой — это то, как в созданных условиях монополизма на все, включая на самое важное — информацию, жертвами их пропаганды становятся не только граждане, но и они сами, авторы своей паранойи. Путин, начавший заседание правительства с басен прокремлевских журналистов о добивании грузинскими извергами осетинских женщин и детей, в данном случае не сильно отличается от Сталина, увеличившего в три раза налог с умирающей деревни после просмотра сказки под названием «Кубанские казаки».

За годы правления Путина у нас оказалось очень много врагов и практически не осталось друзей, и процесс, судя по всему, еще не закончен. Антивражеская истерия по своему накалу уже практически сравнялась со сталинскими годами, уже и внутри страны ловят английских и японских шпиёнов, в обществе всеобщий патриотический одобрямс миротворческим бомбардировкам грузинских городов, а паранойя мирового американо-масонского заговора стала государственной религией. <...> Все конфликты Путина (Путина, а не России) — именно с теми государствами, бывшими союзными республиками, в которых существует общественно-политическое устройство, так ненавистное Путину. Там пытаются сделать выборы настоящими, а не нарисованными, как в путинской России. Там общество куда больше контролирует власть, а не власть контролирует общество, как в путинской России. Именно там надо побеждать на выборах, а не, подобрав под себя все ветви власти, включая четвертую, назначать самого себя, пусть и в лице куклы с другим именем. Именно эти страны являются примером того, что на постсоветском пространстве все может быть по-другому, а кое в чем и лучше, — самый ненавистный Путину пример, так нагло и коварно ставящий под сомнение гениальность его курса и подтачивающий гениальность его самого. Все конфликты со своими ближайшими соседями у современной России, военно-политическое безумие последних лет, рост числа врагов России и снижение количества друзей, перед которыми имидж России за годы правления Путина стал вполне заслуженно сосредоточением всего мирового зла на долгие годы, — это прямое следствие многочисленных

рефлексов и комплексов Путина. И, самое главное, — оказывается, что для реализации своей рефлексии он может не только залезть к нам в карманы, чтобы забрать у нас деньги для оплаты борьбы против ненавистного ему строя на Украине. Самое главное, — оказывается, теперь для войны против ненавистного ему строя он может забрать и наши жизни...

Дмитрий Орешкин (**«Итоги недели. Медведев как президент»** — «Ежедневный журнал», 15 августа) также критикует экс-президента: *Историческая вина Путина... в том, что он планомерно низводил Россию к пацанской логике. И свел-таки. Закономерным итогом стала война. Приехали. Пацаны в восторге: наконец, мы хоть кого-то поимели! Рев на всех уровнях — от «наших» до Госдумы и телевизора. Молодцы. Но дальше-то что? Кого и, главное, что вы поимели? Чувство глубокого пацанского удовлетворения — и кучу долгосрочных проблем. Про потери на дипломатических фронтах, перепуг СНГ и скорое вступление Грузии с Украиной в НАТО даже и говорить скучно. Важнее потери наши внутренние: цели, темпа и смысла. А также совести.*

Гарри Каспаров («Война амбиций и денег» — Газета.Ru, 14 августа) предсказывает: *Ни осетинский, ни грузинский, ни российский народы не получили и не получат в будущем никакой выгоды от этой войны амбиций и денег. И никакой суд истории не вернет погибших, не оплатит счета за искалеченные жизни тысяч людей, не залечит ран, нанесенных взаимной ненавистью, поощряемой безответственной политикой авантюристов-временщиков.*

Блоггер **anticuarius** также весьма критичен: *Очередной пример византийской лживости. Сами спровоцировали резню в Цхинвали и теперь требуют, чтобы мировое сообщество поверила в «принуждение к миру» <...> КеГеБешники умеют подставлять совершенно невинных обывателей... Не нужно иллюзий. Пусть не затмевают ваш разум жалостливые репортажи из Осетии. <...> Люди погибли из-за имперских амбиций России.* Согласно автору, *проблема современной России в том, что граждане не научились противодействовать государственной пропаганде. Государство — это всегда зло. Не в анархическом смысле, а потому, что государство постоянно пытается нас убедить, что гражданин должен служить своему государству... <...> Для России сейчас нет большей проблемы, чем Путин и Медведев. Те успехи в экономике, которые приписывают Путину, просто совпали с ростом цен на нефть, естественным всплеском развития производства после дефолта и ростом потребления <...> Путин только достроил все это эффектными фразами и игрой на патриотических чувствах населения.* И далее, о дипломатии и роли мирового жандарма: *Если страна начинает войну — это всегда значит, что дипломаты провалились. Сегодня русская дипломатия делает все, чтобы настроить против себя весь мир. «Лучше поражать мир силой нашего примера, чем примером нашей силы...» — верно сказал сегодня на митинге Обамы Билл Клинтон. <...> Сегодня США удерживают мир и блюдут мировые интересы в Ираке и в Сербии. <...> Америка, действительно, — мировой жандарм. Но не дай бог России претендовать на это место. Ничего хорошего в этой роли нет.* Это тяжкое бремя, которое дается бонусом к позиции «мирового лидера».

Михаил Берг проводит свои аналогии (**«Осетинские Судеты»** — Грани.Ру, 14 августа). *Ситуация с Южной Осетией, Грузией и Россией в августе 2008 года более всего напоминает другую троицу: Судеты, Чехословакию и Германию в сентябре 1938-го. <...> Здесь главное понять, что права человека, то есть права осетин в Грузии (или немцев в Судетах), хищника с имперскими замашками ни в коей мере не интересуют. О зверствах грузин завопила власть, потопившая в крови Чечню, бомбившая Грозный еще страшнее, чем Саакашвили Цхинвали, уничтожавшая собственных граждан в «Норд-Осте» и Беслане. Уничтожившая и контроль общества над собой — вместе со свободной прессой и оппозицией <...> Сегодняшняя политика России лицемерна, жестока, лукава, как жестока, лукава и лицемерна политика любой элиты, не уверенной в своем будущем. Ее интересует только политическая власть, необходимая для сохранения и умножения состояний, нажитых в результате приватизации 1990-х и передела собственности 2000-х. <...> нужно вбить в голову обывателя, что мировая закулиса спит и видит, как бы отнять у России ее молочные реки и кисельные берега, богатые нефтью и газом...* Но сегодня у России мало сил. *Их хватает, чтобы издеваться над маленькой Грузией, провоцировать ее плохо управляющего собственными эмоциями Бонапарта, запрещать молдавские вина и устраивать гонения на мигрантов. А еще надувать нефтью щеки и радовать этим фокусом собственное одураченное население, изображая невиданный экономический взлет и скорый неминуемый крах американского капитализма, конца которого 75 лет упорно ждал СССР и всю оставшуюся жизнь будет ждать взбудораженная дешевым великодержавным национализмом постперестроечная Россия. У страны с отсутствующей уже четверть века наукой, с жадной и корыстной элитой и трусливым обществом нет иного будущего, как маргинализация, превращение в мирового изгоя, от которого рано или поздно отвалятся те земли, которые были приведены жестокой имперской рукой под ярмо по имени «счастливое братство народов». Что добавить? Этнический конфликт между осетинами и грузинами (как между судетскими немцами и чехами) есть реальность. И болезненная реальность. Но за эту болезненность ответственны национальная политика имперского СССР и сегодняшняя иезуитская политика России, по-женски мстящей всем своим бывшим вассалам, не пожелавшим и дальше быть младшим братом в империи Старшего. Хочешь в НАТО? Так отдай сладкое Черное море и газопровод и проваливай! А мировому общественному мнению в лице Чавеса, Ким Чен Ира и Лукашенко (остальные все равно не поверят) мы скажем: это никакая не аннексия, это просто такая борьба за права человека. И скромно потупим глаза.*

Елена Калужская (**«За родину, за Сталина»** — Грани.Ру, 15 августа) отмечает патриотическое воодушевление в обществе и производит классификацию. *...Стыдно за варварские действия России на территории Грузии совсем немногим. Подавляющее же большинство идентифицировалось с нашей военной мощью и испытало разного рода удовлетворение, что наглядно демонстрирует как русскоязычная блогосфера, так и данные всевозможных интерактивных СМИ. Самые «простые» люди бурно приветствовали триумфальную победу Родины над «хачами». Эта часть населения не привыкла*

вдаваться в подробности, и от ее внимания ускользнул миротворческий пафос нашей миссии. Они не очень приметили осетин, ради которых наши войска и вторглись на территорию сопредельного государства. Им просто были приятны шум вокруг наших отважных бомбардировок грузинских городов и тот факт, что никто не может нас остановить. При таком раскладе российская, а значит, и их личная крутизна в дополнительных подтверждениях не нуждается. Более сложно устроенная публика, напротив, заострила свое внимание на объекте защиты — осетинском народе, который подвергся агрессии грузинской военной машины, будучи в большинстве своем российскими гражданами. Люди этого типа тоже вынуждены были пренебречь некоторыми подробностями участия России в войне за права осетин. Например, они как бы не интересовались тем, откуда взялось столько российских граждан на территории Грузии. Во-вторых, они как бы не заметили, что «спасители» не вмешивались в конфликт первые два дня — будто давали грузинской армии возможность нанести максимальный ущерб подзащитным осетинам. В-третьих, они так и не обратили внимания на то, что творили российские «миротворцы» в грузинских селах, и на сообщения о мародерстве, которым активно занялись ополченцы и казаки, пришедшие в Грузию вместе с российской армией. Еще более «продвинутые» патриоты признавали, что Россия всего лишь использует осетин, преследуя свои цели, но считали такое международное поведение единственно верным. «Политика — грязное дело, — говорили патриоты, — если не мы их, то они нас». Эти люди искренне полагают, что когда и если Грузия вступит в НАТО, этот вероломный блок немедленно начнет претендовать на наши недра и торчащие из них трубы. Причем претендовать в понятном смысле слова: прилетит, разбомбит и отберет. Поэтому у нас всего один правильный путь — разбомбить Грузию первыми, заранее. Поменять там власть и договориться с новым «пророссийским» руководством, чтобы Грузия в НАТО не ходила. Следующая фракция — это те, кто искренне считает, что после обстрела Цхинвали из установок «Град» Саакашвили поставил себя вне закона и это означает, что российские «миротворцы» автоматически освобождаются от соблюдения законов со своей стороны. Далее Калужская вспоминает суждения Андрея Перлы, уже приведенные выше в нашем обзоре. Подход Перлы, пишет она, *сильно облегчает жизнь тем, кто склонен переживать насчет законности действий родного отечества во время конфликта. Он рассчитан на человека, который понимает, что наши «миротворцы» ненастоящие, потому что у них нет и не было никогда мандата ООН. А если бы был, то насчет триумфального въезда в Грузию на танках должен был бы принять соответствующее решение Совет Безопасности. А без этого вся история — от приезда в Цхинвали на танках и блокирования порта в Поти до сбрасывания бомб на Тбилисский аэропорт и запуска в Гори вооруженных мародеров — сплошь череда военных преступлений. И никакой договор с Грузией о присутствии в Южной Осетии российских миротворцев не делает поведение российской армии в Грузии легитимным.*

Более едко о том же пишет **Адриан Пионтковский («Народ для разврата собрался»** — Грани.Ру, 25 августа). *Праздника жаждет душа. Праздника. Унижения ненавистных пиндосов и их прихвостней, окружающих нас со всех*

сторон. Бегства поверженного врага. Военных трофеев. Четырех джипов Hummee. Молчания СНГ-шных ягнят. Прискакавшего умиротворять дорогого Николя с шестью пунктами мира на все времена. Кто испытал это сладостное чувство, кто подсел на этот пьянящий геополитический наркотик, тот уже ни на что на свете его не променяет. Теперь только вперед, до конца, на Тифлис, на Севастополь, на Донбасс, на Ревель, до Пятой Империи, до смирительной рубашки. Народ для разврата собрался. Россия сосредоточилась.

По сообщению **РБК daily** (в статье **Павла Захарова «Россия изживает "комплекс поражения"»**, 21 августа), грузинская война привела к кардинальному пересмотру отношения россиян к своим вооруженным силам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Раньше мнение граждан об армии было преимущественно негативным (*Это было вызвано, скорее всего, тем, что основной массив новостей об армии был связан с «дедовщиной», «делом Сычева», различными убийствами, коррупционными скандалами и т. д.*, — полагает гендиректор ВЦИОМ **Валерий Федоров**). А сейчас преобладают чувства уважения и гордости за наших военных. *По мнению экспертов, мы наблюдаем постепенное изживание «комплекса поражения», столь характерного для российского общества эпохи 1990-х.* По данным опроса ВЦИОМ, в настоящее время гордость за российскую армию испытывают 30% респондентов, о своем уважении к ней заявили 29%, а надежды на нее возлагают 25% опрошенных. Только 12% испытывают по отношению к армии разочарование, 7% — недоверие и всего 4% — безразличие. «*Да и как же может быть иначе, если действительно за пять дней была разгромлена на чужой территории пусть небольшая, но хорошо вооруженная и подготовленная грузинская армия?*» — заявил РБК daily белорусский политолог **Юрий Шевцов**. Уже от себя РБК daily громко радуется, всуе муссируя и модную антиамериканскую тему, и миф о провальных 90-х: *Позитивный и уверенный взгляд на вещи важен не только с психологической точки зрения, — это ключевой фактор в способности государства и общества ставить перед собой, а затем успешно реализовать задачи развития. Достаточно посмотреть на уверенных в себе и порой откровенно нагловатых американцев, чувствующих себя хозяевами этого мира. России же трудно надеяться на повышение конкурентоспособности своей экономики и достижение успеха собственного национального проекта, имея за спиной тяжкий груз «комплекса поражения», укоренившийся в сознании наших граждан после серии тяжелых событий эпохи 1990-х. Распад СССР и серия болезненных, а порой и весьма сомнительных реформ... нанесли тяжелую психологическую травму российскому обществу.* А вот в ходе *молниеносной войны с Грузией* перед наблюдателями предстали хорошо вооруженные, дисциплинированные и оснащенные всем необходимым бойцы российской армии. И, безусловно, этот момент зафиксировало общественное сознание.

В легком головокружении от успехов **Игорь Джадан** («**"Пятидневная война": техника и мораль. Разбор полетов**» — АПН, 14 августа): *России придется в какой-то момент недвусмысленно продемонстрировать на деле, что ее руководство достаточно твердо, чтобы применить все имеющиеся в арсенале средства, не исключая и ядерное оружие. Что толку в обладании*

подобными разрушительными средствами, если за 60 лет так и не была продемонстрирована готовность их применять?!

Вот и журналист-эмигрантка **Елена Трегубова** пишет практически про то же (**«Реинкарнация агрессора»** — Радио Свобода — svobodanews.ru, 18 августа): *После вторжения в Грузию ничего морально недопустимого для Кремля уже нет. И совершенно очевидно, что Грузия — это только первый полигон, на котором реинкарнировавшийся агрессор опробовал свои силы. Довольно символично, что история российской демократии, начавшаяся чуть меньше 20 лет назад с оплакивания простыми москвичами убитых российскими саперными лопатками мирных демонстрантов, вышедших в центр Тбилиси требовать независимости Грузии от СССР, закольцевалась в ту же самую точку и окончательно похоронена теперь введением российских войск в Грузию.*

Со своей колокольни блоггер **bithner** с Восточной Украины тревожится: *Нынешний конфликт в какой-то мере открыл мне глаза на новые тенденции во взаимоотношениях с братскими странами и убедил в том, что у моей страны есть только один выбор, который обеспечит ей безопасность в таком сложном окружении. И эта гарантия безопасности — НАТО. Как ни жаль, тяжелая форма прогрессирующего патриотизма, которой болеет соседняя страна, язык которой для меня родной, опасна для окружающих, вне зависимости от степени родства.*

Не на шутку озабочен и главный редактор «Независимой газеты» **Константин Ремчуков** (**«Ящик Пандоры для России»**, 4 сентября). Патриотический угар пройдет. А вот что делать после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии? *Принцип права наций на самоопределение в наших условиях несовместим с выживанием федерации.* Включаясь в охоту на ведьм, прозорливый Ремчуков «*жжот*» не переставая. Он предполагает, что *Саакашвили, из ненависти к России и русским и будучи человеком не без способностей, как мальчиш-плохиш, решил сделать Главному Буржуину бесценный подарок — создать прецедент для последующей легитимизации растаскивания России по частям. Возможно, в этом и состоит миссия Саакашвили на этой земле. Он скоро уйдет, но удавшаяся провокация до конца дней будет греть его душу.* Вот оно как. И западные страны хороши, нечего сказать. Их *признанием Косово открывался ящик Пандоры для нас.* <...> Но вскрывали его *скорее всего адресно.* При возможных экономических трудностях в России, предсказывает Ремчуков, случится *рост сепаратистских настроений со стороны корыстных национальных элит, которые всегда склонны шантажировать центр в угоду своим материальным интересам.* <...> *Как только элита столкнется с бюджетным напряжением, она перестанет быть лояльной. Это особенность региональной политики во всех странах, где этнические или религиозные меньшинства компактно проживают на той или иной территории.* Снова кивая в этом месте на злокозненный Запад, автор предлагает единственный путь удержать страну от распада: *Мне кажется, что без принятия всенародным референдумом новой Конституции, превращающей Россию в унитарное государство, в долгосрочной и даже среднесрочной перспективе единство страны будет сохранить очень трудно.*

Леонид Радзиховский (**«Начало большого пути?»** — «Ежедневный журнал», 12 августа) видит духовный итог войны в следующем: *Новое — совершенно не забытое «старое». «Кто палку взял — тот и капрал». «Тот прав, у кого больше прав». И стесняться — НЕКОГО И НЕЧЕГО. Отныне пусть НАС СТЕСНЯЮТСЯ. Вот и ффсе, как любят писать в Сети. Если этот расчет, эта оценка международной ситуации в начале XXI века станут руководством к действию, то «новый путь» окажется петлей на шее России, страна распадется. Рухнет под тяжестью санкций, давления извне, недовольства изнутри и т. д. Потому что это расчет НЕПРАВИЛЬНЫЙ. Классический случай: больше чем преступление — грубая ошибка. А точка невозврата Россией была бы пройдена в Тбилиси. «Вы, господа, начинаете крупную и опасную игру». К счастью, игра сорвалась. Но от стола никто не отошел. Остались те же элиты «с жаждой исторической мести» и чувством вседозволенности. То же агрессивное к «врагам» и покорное начальству общество. Та же психология — вера только в грубую силу и вера, что ВСЕ В МИРЕ только в это и верят. Те же две идеи: «Кто виноват?» и «Что С НИМ делать?!». То же ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ в стране любых иных сил. Тормозов внутри России — нет. Есть внешние препятствия (США, ЕС, НАТО), есть, надо надеяться, внутренние тормоза у Медведева и Путина. Вот в таком состоянии танк «Россия» остановился, задрав гусеницу над краем пропасти.*

Сугубо личным озабочен **Борис Суварин** (**«Крах рационализма. Очередной»** — «Ежедневный журнал», 27 августа): *Либеральный идеологический ревматизм начнут лечить: строгая диета (ложка Шевченко, пол-ложки Леонтьева — за Папу, за Маму), промывание желудка каплями Дугина и отменный клистир «от Жириновского». И так замаршируем на идеологический фронт «за Царя, за Родину, За Веру», что пыль столбом... Уж и старенький вроде, а «это вам не оправдание». Дезертировать что ли, пока не поздно? Да некуда.*

На сайте АПН любопытными суждениями поделился **Вадим Вещезеров** (**«Полупобеда»**, 14 августа). *Миру в предельно жесткой форме сообщили: с этого момента любое государство, посмевшее убивать граждан России, умоется кровью. <...> После освобождения Цхинвала у России появился редкий шанс — вернуть Мандат Неба на управление Кавказом.* Выдавая желаемое за действительное, автор пишет: *Грузинская армия попросту разбежалась, побросав оружие и технику. Судя по последним сообщениям, начало разваливаться и само грузинское государство: во многих районах единственной властью остались вооруженные банды. Еще немного — и Грузия вновь превратится в веселый ад образца 1992 года. И лишь российская армия способна гарантировать жизнь и относительную безопасность простым грузинам. <...> Война необратимо изменила и ситуацию в самой России. Появилась ясность — где действительные друзья России. Правозащитно-либеральная публика выступила пособниками убийц уже не только в политическом, а в прямом уголовном смысле. На западофилии в России теперь надолго поставлен крест. Поставлена точка в пропихивании «православия» как системообразующиего элемента российской идентичности и мифического «православного мира». Прямое военное нападение на российских граждан*

совершила демонстративно православная страна — Цхинвал обстреливали православные грузинские танки. А поддержала Россию в войне мусульманская Турция. Но самый главный результат войны не в этом. С 1985 года Россией правили ничтожества, мечтавшие лишь о «тихой старости в цивилизованой стране». <...> Скорее всего, даже Путин рассчитывал на безбедную международную синекуру. <...> Судя по времени реакции на вторжение — для Медведина (Так. — *Ред.*) *и Путина это был очень нелегкий личный выбор. Но они его сделали: отдав команду на освобождение Цхинвала, они навсегда отказались от горбачевской мечты о «вилле в Монако» <...> Без сильной России и русской армии за спиной общечеловеки гарантировали нынешнему руководству место в Гааге. Впервые за последние 20 лет личное будущее руководителей РФ неразрывно связано с будущим России. Да, это слабые и не очень умные политики. Скорее всего, они еще сами до конца не поняли, что же произошло. Они еще сделают массу ошибок и подлостей. Будет и бешенное сопротивление либералов-куршавельцев, выстроивших жизнь под эмиграцию из «этой страны». Но это не меняет главного. Другой земли для Медведева и Путина больше нет. И это есть самый главный результат грузинской агрессии.*

Обратил внимание на духовные аспекты событий и **Семен Новопрудский** (**«Орден Вражды»** — Газета.Ru, 29 августа). *Россия силой оттолкнула от себя народ-единоверец, с которым у русских всегда были человеческие, культурные, ментальные связи. Вы можете сказать, что она завоевала симпатии абхазов и осетин? Увы, имперский транс, в который все-таки ввела себя и народ посредством активных пропагандистских мантр в последние восемь лет наша глупая власть, не подразумевает реальной любви и даже элементарного уважения к тем, кого мы «приручили». Наша милиция не будет проверять паспорт у осетина и абхазца интеллигентнее, чем делает это до сих пор. Наш империалистический плебс не начнет относиться к кавказцам с меньшей бытовой ненавистью, чем сейчас.*

Наконец, **Николай Митрохин** в статье **«Война и православное братство»** (Грани.Ру, 14 августа) констатирует: *Война в Южной Осетии нанесла удар по одному из любимых мифов русских националистов — о существовании заговора Запада против якобы единых в своих устремлениях православных. После поражения Сербии в Косово русские националисты, а вслед за ними подавляющее большинство «воцерковленных» православных были уверены в том, что Запад (США, Ватикан и, конечно, стоящие за ними евреи) и в особенности страшное НАТО стремятся физически уничтожить православные народы — последних защитников Бога перед лицом Сатаны. То, что в НАТО состояла православная Греция и туда же стремились вступить не менее православные Румыния и Болгария, при этом игнорировалось. Последние события опровергли эту главную идею исповедников «политического православия». Ставшее очевидным движение Украинской православной церкви от Московской патриархии, а затем массовая поддержка Михаила Саакашвили в Грузии показали, что ни о каком «единстве православных народов» речь идти больше не может.*

Обзор подготовил Евгений Ермолин

«ПОСТУПКОМ ОТПЕЧАТЫВАТЬСЯ В ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ»

Отклики на смерть А. И. Солженицына

Солженицын ушел в историю. Собственно, он давно уже там. В постсоветском мире он себя не нашел, хотя пытался верить в лучшее — в то, что Россия оживает от обморока. Он духовно отменил безбожную и жестокую советскую цивилизацию, и она бездарно и бесславно развалилась. Но как создать новый народ на руинах рухнувшего Вавилона? Разрешима ли вообще эта историческая задача? Пока ничто не дает надежды. Но в любом случае эта задача полностью легла теперь на нас. *Передового нет...*

Смерть Александра Солженицына вызвала много откликов. Общий смысл его дела и его миссии пытались сформулировать литераторы, журналисты, философы, политики, общественные деятели. Представим некоторые суждения с сайтов Рунета.

Известия.Ру 5 августа дают сводку откликов от вип-персон. Есть чисто дежурные слова, есть и примечательные суждения. Так, **митрополит Кирилл** отмечал: *Пророческое служение, которое почивший нес долгие десятилетия, помогло многим людям обрести путь к подлинной свободе и нравственно осмысленной жизни. Благодаря произведениям Александра Исаевича, в которых соединились литературный талант и глубокое знание истории, многие впервые узнали о страданиях, причиненных людям безбожной властью, в том числе о гонениях на веру и Церковь. Где бы и когда он ни жил — в Советском Союзе, за рубежом или в нынешней России, — Александр Исаевич смело обличал неправду и несправедливость, давал власти и обществу мудрые советы о том, как достичь лучшего будущего.* **Юрий Любимов**: *...он не просто учительствовал, он личным примером воплощал свое жизненное кредо, тот кодекс чести, о котором так много писал и размышлял. Он всегда мечтал так обустроить нашу землю, чтобы на ней хотелось жить. Но, думая о мире дольнем, он всегда был приобщен миру горнему.* Актер **Евгений Миронов**: *Я записал одну его фразу... Он сказал: «Надо каждый день поступком отпечатываться в жизненный путь».* Президент России **Дмитрий Медведев**: *Уход этого великого человека, одного из самых масштабных мыслителей, писателей и гуманистов XX века, — это невосполнимая утрата для России и всего мира. Вся жизнь Александра Исаевича была отдана Отечеству. Он служил ему как истинный гражданин и патриот и всем сердцем болел за судьбу российского народа, за справедливое устройство страны. Неустанной заботой Александра Исаевича было формирование нравственных и духовных идеалов. Он считал их важнейшей опорой государства и общества и боролся за их торжество. С его именем уже навсегда связана идея сбережения российского народа. А его исследования переломных этапов отечественной истории внесли огромный вклад в развитие мировой культуры, повлияли на развитие личности миллионов людей.*

На ИноСМИ.Ru 6 августа публикуется интервью с философом **Андре Глюксманом «Благодаря ему, Запад открыл глаза»** из газеты «La Repubblica». В частности, Глюксман говорит: *Его творчество имело решающее значение,*

потому что привнесло в XX век ту страсть к свободе, которая была свойственна европейской мысли начиная от греков. Солженицын раскрыл для западных интеллектуалов лживость системы. <...> советские коммунисты верили в свое эксклюзивное право на правду только потому, что им позволялось так думать. С появлением Солженицына с этим правом на правду было покончено <...> Прежде чем Запад открыл глаза, потребовалось время. Много времени. Европа предпочла долгое время жить во лжи <...> Этот человек не только препарировал тоталитарный режим, но и разбудил спавшую совесть нашего мира <...> Я уверен, что когда мир забудет имя Владимира Путина, «Архипелаг ГУЛАГ» будет вызывать у читателя то же потрясение, какое вызвал у меня, когда я впервые открыл книгу в 1973 году.

Илья Мильштейн («Последний из круга» — Грани.Ру, 6 августа) полагает, что *Александр Исаевич останется в веках как великий писатель-гуманист. Все забудется и травой забвенья порастет — авторитарная публицистика, странные в устах писателя призывы к смертной казни, упорные, но бесплодные изыскания в области русско-еврейской дружбы, награда из рук Путина,— а это останется. Жалость и любовь к Матрене и Ивану Денисовичу. «Раковый корпус». «В круге первом». Пронзительной силы реквием по жертвам тоталитарной власти — «Архипелаг ГУЛАГ».* В его прозе *сплелись традиции русского критического реализма, оригинальный слог, смесь советского новояза с Далем и лагерной феней и — что воздействовало на умы сильнее всего, — талант пропагандиста. Или контрпропагандиста, если угодно. Ибо Александр Исаевич был советским человеком до мозга костей и бил «большевицкую» власть из ее чрева и ее же оружием — догмой. Вывернутым наизнанку мифом о гуманизме единственно верного учения, из которого сыпались, как мертвецы из брюха людоеда, сожранные поколения советских людей. Он разговаривал с эпохой, начальством и гражданами на их языке. Разрушительный заряд всех его написанных в России книг был огромен. Ошалевшие вожди всерьез не могли с ним спорить, и не только в силу врожденного косноязычия. Ответов не было вообще, покуда Александр Исаевич громогласно, на весь мир рассказывал советскому народу о советской власти — про лагеря и миллионы превращенных в лагерную пыль, про голодомор, про ссылку народов, про Лубянку и Кремль, про идеологических вертухаев хрущевского и брежневского призыва. С ним невозможно было вести успешную полемику, как ни напрягались «самые поворотливые из трупоедов» писательского союза, бывшая жена и дрессированные журналюги, кормившиеся из лубянского корыта. Его можно было только убить. Или выслать. <...> Ядерная держава проиграла ему по всем статьям, даровав писателю уже абсолютную творческую и личную свободу. Он был триумфатором — вот ключевые слова, разгадка судьбы этого человека, его коренное отличие от всех наших великих писателей и поэтов. В схватке с властью и с судьбой он — единственный!— победил... Правда, и цену за эту победу ему пришлось заплатить немалую. Жизненный триумф затмил литературный: новые поколения его не прочли, и многие из старых друзей круто разошлись с ним, отвернулись. Человек страстный в своих убеждениях и заблуждениях, он был обречен видеть, как новая Россия пренебрегает его советами, а новая власть повторяет, как ему казалось, «ошибки Февраля». Во втором российском*

президенте он увидел «черты Столыпина», но под конец, возможно, разочаровался и в нем. И, горестно махнув рукой, он выбрал жизнь на отшибе, мало интересный соотечественникам, которые за минувшие годы повидали уже столько гениев и пророков, что больше пока не нужно. Он пережил свою славу и знал об этом, и печалился, но с энергией фанатика работал и пророчествовал до последнего дня.

Юлия Штутина («Почти счастливый» — «Газета.Ру», 14 августа) напоминает, что почти вся жизнь Солженицына — это победа над невероятными обстоятельствами. *Солженицыну удалось добиться того, что не получалось практически ни у кого из русских писателей: быть услышанным вовремя... Он унаследовал мессианское ощущение значимости изреченного слова от русских писателей XIX века — Толстого и Достоевского, от Владимира Соловьева, которого и цитирует в Нобелевской лекции.*

Лев Рубинштейн («Один век Александра Исаевича» — Грани.Ру, 4 августа) пишет: *Он строил свою жизнь, жизнь борца и пророка, с давних лет осознавшего свою миссию, в жанре жития. И у него это получилось, каковыми, мягко говоря, небесспорными ни были бы многие из его трудов и откровений.*

В «Российской газете» **Валерий Выжутович** в статье **«Вакансия пророка»** (8 августа) вторит митрополиту Кириллу, утверждающему: у *крупнейшего писателя XX столетия, последнего русского классика был несомненный пророческий дар.* У Выжутовича *иногда возникало ощущение, что сам Солженицын обречен на роль духовного пастыря нации: столько страсти было в его речах, столько веры в собственную правоту!* Однако, пишет Выжутович, Солженицына *слушали, но не слышали. Когда будущее страны связывают исключительно с развитием нанотехнологий, вступлением России в ВТО или рациональным расходованием Стабфонда, когда у кого-то в ходу лишь такой тип государственного мышления, мудрено услышать голос, призывающий к «сбережению народа».* Солженицын переживал *мучительный разлад с современностью*, искал для России *какой-то «третий путь».* Почему ж Солженицын категорически не совпал с эпохой? Выжутович воспроизводит обычный ответ: ныне вообще *«властители дум» потеряли аудиторию, общество их не востребует. Традиция духовного наставничества, коим веками обременяли себя российские писатели, ученые, философы, скоропостижно прервалась. Теперь в чести эксперты, люди конкретного знания. Те, кто сообщают полезную информацию и компетентно комментируют ее.* Но и помимо этого проблема глухоты общества в том, по его мысли, что *само общество себя таковым не осознает. Оно все еще пребывает в брожении.* Потому и *нет и не может быть общепризнанных авторитетов.*

Александр Привалов («Александр Солженицын» — «Эксперт», № 31, 11 августа) делится первой мыслью, пришедшей многим при получении скорбной вести: *таких больше нет. Солженицын был человек невероятного в наше позднее время калибра. Муж, чьи деяния, — да ведь еще и продиктованные не привычно шкурными, а идейными побуждениями, — сказывались на ходе мировых событий, он зримо опровергал привычные нам сызмала кислые «материалистические» представления о роли личности в истории, возвращая нас в героический мир легенд, едва ли не мифов. Ведь это только предста-*

вить себе: он вступил в единоборство с дряхлеющей, но все еще почти безграничной мощью постсталинского огромного государства — и выиграл у него в прямом столкновении, во встречном бою, как это названо в «Теленке»! <...> Если явная недоступность свершений Солженицына обычным человеческим силам требует объяснений — что ж, есть целых два. Враги его с советских времен и по сию пору видят за его трудами происки ЦРУ, мировой закулисы и чего угодно в том же роде. Сам А. И. всегда ощущал, что его ведет Бог. Всякий согласится, что одна из версий не выдерживает критики; но если кому не по сердцу и другая — пусть придумывает себе сам. А любимый нашим автором Даль поддерживает вторую: смелым Бог владеет. Странно думать, что рядом с нами, в нашем сегодняшнем мире, где царствует — в огромном большинстве случаев не встречая малейшего сопротивления — всякий третьеразрядный начальничек, только что жил человек такого масштаба. <...> Теперь, после смерти А. И., подобных ему людей на горизонте не осталось. Сравните масштаб любого из нынешних, кого вспомните, - хоть здесь, хоть за границей, с солженицынским — не получится. Не сравниваются. Поэтому трудно не увидеть в кончине А. И. недоброго предвестия. <...> дай Бог, чтобы никакой большой беды не случилось теперь, когда наш старик не живет больше в своем Троице-Лыкове. И если, на наше счастье, у нас все-таки появятся еще великие мужи, то это будет незаслуженный подарок свыше, потому что спроса на такие чудеса мы не предъявляем ни малейшего. Одно из свидетельств тому — ничтожно малое влияние Солженицына со всем комплексом его идей на общественное сознание последних лет. Отслеживая идеи Солженицына, Привалов говорит, что его концепция (*органическое государственное устройство — и христианство как основа личной и общественной этики*) имела мало сторонников. *Куда бóльшая часть сердито отмахнулась от нее, как от замшелой чуши. Только ведь и сама устарелость — вердикт не вечный. Сегодня спросишь общество: как тебе такая концепция? Оно ответит: не годится — старье. А завтра или послезавтра спросишь — и оно вдруг ответит: давай попробуем...* Относительно же работы «Как нам обустроить Россию?» Привалов пишет: *Странное дело: многое из этой работы (как и из более раннего «Письма вождям») воплощено в жизнь — деидеологизация государства, отпускание на волю всех тех, кто не хочет оставаться в единой стране, прекращение финансирования зарубежных режимов, еще всякое, — а ощущение такое, что советы А. И. полностью просвистели мимо ушей меняющейся державы. Очевидно, это потому, что не реализован стержневой призыв его программы: всё — снизу. При сильной центральной власти, но снизу. Местное самоуправление. Свободная самоорганизация провинций. Земства. Не только ничем этим даже не пахнуло — все пошло ровно наоборот. Причин тому две. И начальство не собиралось делиться властью (даже и тогда, в гуще развала, когда и само было фактически безвластно). И мы сами были, видимо, куда меньше способны брать ответственность «вниз», чем полагал А. И. В результате же от обустройства, предлагавшегося Солженицыным, нет сегодня в России ни щепочки...*

Виктор Топоров в статье **«Миссия невыполнима. Часть вторая. Солженицын»** (ВЗГЛЯД: vz.ru, 30 августа) замечает, что *общество в целом восприняло кончину писателя с вполне прогнозируемым равнодушием.* Отчего? Объяс-

нение такое: *Революция, как известно, пожирает своих детей. И своих родителей. И контрреволюция тоже. Контрреволюция 1985–1993 гг. пожрала не только Карякина с Афанасьевым, Бурбулиса с Шахраем, Станкевича с Маневичем и Хасбулатова с Умалатовой, да и самого Горбачева. Она не пощадила и Сахарова с Солженицыным...* Солженицын существовал как личность, публицист, литератор, общественный и политический деятель *исключительно в парадигме противостояния по линии «советское / антисоветское».* Закончилось противостояние — *закончился Солженицын.* Топоров пытается обобщить впечатления от развернувшейся спонтанной дискуссии о значении Солженицына. В Рунете *на нижнем уровне совершенно распоясались злобные и, как правило, безымянные юзеры, берущие не уменьем, а числом, и даже не столько числом, сколько тем, что имеют обыкновение накидываться на человека (живого или мертвого) сразу стаями или сворами, а бывает, и налетать на него беспощадною саранчой... мы имеем дело с восстанием масс, с бунтом <...> бессмысленным и беспощадным, с толпой, вечно разъяренной и в силу все той же анонимности (а значит, и безнаказанности: никто здесь не отвечает за базар) абсолютно безумной.* Что же до отношения к Солженицыну людей авторитетных, ответственных, то Топоров выделяет *четыре крайние позиции: две (условно говоря, либеральные и патриотические) по одной оси — и две (восторженного приятия и яростного неприятия) по другой. Восторженное либеральное приятие манифестируют Андрей Немзер,.. Сараскина, журнал «Новый мир» как единое целое, «Эхо Москвы»: Солженицын сокрушил коммунизм! Восторженное патриотическое приятие — прежде всего, Владимир Бондаренко со своим «Днем литературы» <...>: Солженицын — великий человек Земли Русской. <...> Яростное патриотическое неприятие — престарелый, но неукротимый Владимир Бушин (газета «Дуэль»), популярный сетевой ресурс «Тупичок Гоблина» <...>: именно Солженицын «обвалил» СССР, а вслед за ним и Россию... Яростное либеральное неприятие — Марк Дейч и иже с ним, не простившие Солженицыну «Двухсот лет вместе», воспринятых... как юдофобское сочинение.*

Глеб Морев в статье **«На смерть Александра Исаевича Солженицына»** (OpenSpace.ru, 5 августа) также исходит из того, что миссия Солженицына была давно завершена: *...к своим девяноста годам Солженицын окончательно стал живым памятником. Памятником самому себе и последним памятником великой русской литературе, какою весь мир привык знать ее со второй половины XIX века и какою она, по-видимому, уже никогда не будет — властной, без тени улыбки говорящей «истину царям», толкующей о «последних» бытийных вопросах, о жизни, смерти, свободе.* Морев вспоминает, что в явлении Солженицына людям 1960-х годов казалась чудом *возможность для литератора говорить с государством на равных, с позиции нравственной силы, с простым человеческим бесстрашием, какое не могли и помыслить ни люди дореволюционной культуры, травмированные советским террором, ни Пастернак в 1958 году, после Нобелевской премии, ни Ахматова в 1963-м, после заграничной публикации «Реквиема». Солженицын не только смог решиться на такой разговор с советским левиафаном (или на «бодание теленка с дубом», как остроумно названа одна из его лучших книг), но сделал этот резкий диалог подлинным содержанием и смыслом своего писа-*

тельского служения — литератором в традиционном смысле Солженицын перестал быть в середине 1960-х годов, с завершением «В круге первом» и «Ракового корпуса». И «Архипелаг ГУЛАГ», и «Август Четырнадцатого» (как и все «Красное Колесо») уже были, — каждый по-своему, — силовыми акциями, текстами-ударами по СССР. Для людей, переживших пятьдесят лет советской власти, это было ошеломляюще. Для сверстников Солженицына и молодежи его собственная «жизнь не по лжи» была вдохновляющим примером. Однако *положительная политико-литературная программа Солженицына оказалась утопией... Победитель коммунизма, он смог обустроить лишь свою литературную жизнь, создав два сегодняшних варианта Ясной Поляны — в Вермонте и в Троице-Лыкове, — слишком, увы, уязвимые для насмешки и иронии.*

Андрей Остальский («Солженицын: главное и сноски» — Русская Служба Би-би-си, 4 августа) противопоставляет сделанное Солженицыным в 60-е и 70-е тому, что было потом. *То, что великий писатель Солженицын сделал в 60-е и 70-е,— это большая и важная глава в истории России и мира.* Ну а *деятельность незаурядного публициста и националистического политика Солженицына в 90-х годах и начале XXI века, как бы к ней ни относиться, все равно останется лишь небольшой сноской к этой главе... Гражданскую и литературную силу «Одного дня Ивана Денисовича», «Матренина двора» и «Архипелага ГУЛАГ» просто не с чем сравнить. Это были настоящие бомбы, взрывы которых раскачали, казалось бы, несокрушимое здание СССР. Проявленные при этом Солженицыным физическая и моральная отвага, твердость и выдержка — почти за пределами сил человеческих.* Далее Остальский вспоминает несколько мыслей и вопросов Солженицына: его девиз «жить не по лжи» (*чем больше живешь, тем больше понимаешь, как просто и в то же время невозможно сложно осуществить на практике эту заповедь. Между тем, она касается самых сокровенных глубин человеческого существования — не только государства, но и каждого отдельного индивидуума*), *страшный вопрос, который беспощадно задал себе Солженицын: «А не мог ли и я, при каких-то обстоятельствах, оказаться палачом?»* Не забыл Остальский и о религиозном векторе мысли Солженицына. *Даже заядлых атеистов и агностиков заставило всерьез задуматься рассуждение Солженицына о том, почему человек — слабое существо, никогда до конца не свободное от гордыни, мелочного тщеславия и зависти, — никак не может служить «мерой всех вещей». Но что, в таком случае, может? Далеко не все готовы были согласиться с сугубо религиозным ответом Солженицына, но так просто от него тоже было не отмахнуться...* О поздних годах Солженицына сказано так: *Резкая, безапелляционная критика Запада пришлась более чем ко двору сегодняшней власти в России и по душе большинству населения страны. Сегодня новое поколение россиян прежде всего вспоминает его «разочарование» в западных ценностях и образе жизни, его горячую проповедь русского национализма, а не героическую борьбу с тоталитарной властью КПСС. Солженицына не смущало даже, что он фактически оказался в одной компании с выходцами из КГБ. И он, — как никто другой показавший художественными средствами ужасы ГУЛАГа и жестокость «органов», — даже не усматривал в этом ни малейшей иронии судьбы.*

На ИноСМИ.Ru 6 августа **Кейти Янг** в статье **«Запятнанное наследие Солженицына»** («The Boston Globe») тоже акцентирует внимание на том, что поздний Солженицын претерпел метаморфозу. *Было очень странно наблюдать за тем, как летописец ГУЛАГа Солженицын беседует с кадровым офицером КГБ Путиным. ...он служил в той самой организации, которая охотилась на диссидентов и отправляла людей в тюрьмы ГУЛАГа. А после прихода к власти этот человек постарался сделать так, чтобы КГБ и его организации-предшественники заняли почетное место в российской истории и в обществе. Но Солженицын не обратил на это никакого внимания... Солженицын открыто отказался осудить путинское заявление о том, что России не следует зацикливаться на ужасах сталинского прошлого. Вместо этого писатель пожаловался, что Запад и бывшие советские сателлиты из числа стран восточного блока используют зверства и ужасы сталинской эпохи в качестве нравственной дубинки, которой они колошматят Россию... Солженицыну был явно по душе путинский авторитарный режим с его упором на национальное единство, с его связями с Русской Православной Церковью и напористостью во внешней политике.* И все же, считает Янг, *Путинская Россия вряд ли могла соответствовать идеалам Солженицына. Ее безудержное потребительское общество и низкопробная поп-культура во многом превзошли ту западную меркантильность, которую осуждал писатель.* И вот *печальный парадокс последних лет жизни Солженицына. Человек, который когда-то писал советским лидерам письма с требованием запретить цензуру, не стал выступать против ее возрождения. Человек, который использовал средства от полученной Нобелевской премии для создания фонда по оказанию помощи политзаключенным, хранил молчание по поводу новых политических заключенных путинского режима. У человека, выдвинувшего лозунг «Жить не по лжи», были вполне комфортные взаимоотношения с государством, которое фальсифицировало выборы и наполняло средства массовой информации большой и малой ложью. Человек, который когда-то призывал Запад к «более активному вмешательству в наши внутренние дела», присоединился к общему хору антизападного агитпропа. <...> Вклад Солженицына в разрушение коммунистического тоталитаризма никогда не будет забыт. Но, фактически благословив возрождающуюся диктатуру, которая свернула многие с большим трудом завоеванные свободы, Солженицын, обладавший моральным правом говорить и оказывать воздействие на умы, несомненно, запятнал этот вклад. В своем выступлении в связи с вручением Нобелевской премии в 1974 году Солженицын заявил, что «одно слово правды весь мир перетянет». В 20-м веке Солженицын говорил эти слова правды, когда это было нужно. В веке 21-м он этого делать не стал.*

Валерия Новодворская (**«Не стоит страна без праведника»** — Грани.Ру, 14 августа) утверждает: *Бог возложил на Солженицына миссию: сорвать все покровы с коммунизма, со сталинизма, оборвать все фиговые листочки с СССР. Советский Союз был уничтожен задолго до Беловежской пущи. Он пал перед правдой. «Не в силе Бог, а в правде»,— любил говорить Александр Исаевич. ...Не отсутствие еды, а отсутствие правды и совести, человечности и ума погубило империю зла. Солженицын стал Вергилием и Данте в одном лице. Он запечатлел Ад и провел по этому Аду* нас. *Мы вышли не из гоголев-*

ской шинели, а из солженицынского застиранного ватника с номерами. Солженицынское творчество стало нашими евангелиями (и я уверена, что Христос согласился бы стать соавтором). Мне было 17 лет, когда я прочитала «Один день», увидела красное солнце над ослепительным снегом и колонну зэков, овчарок и конвоиров, бараки и «бур». Именно тогда я решила, что этому строю и этому Союзу не жить и что я положу на эту задачу свою жизнь. Владимир Путин и Дмитрий Медведев зря потратились на свои розы. Попытка примазаться к гению и пророку не удастся фарисеям. Солженицын «к праведникам причтен», он в селениях блаженных, и забудется то, что он сделал или сказал против западной демократии или ельцинской веселой свободы (это когда он орден не взял); забудутся и жуткий антисемитский труд «Двести лет вместе», и поддержка чеченской бойни, и предложение приписать к России Восточную Украину и Северный Казахстан, и то крылечко, на которое он вышел встречать человека из органов в голубых погонах: Владимира Путина. А книги останутся и будут бить по недобитым чекистам из ФСБ прямой наводкой. Все ошибки, все недостатки Солженицына исчезнут в свете сверхновой: «Архипелага». Мертвым Солженицыным не попользуешься: его крылечко станет недоступным для Путина, ибо между раем, где будет обретаться праведник Солженицын, и адом, уготованным тирану Путину, нет ни ступенек, ни лестниц, ни воздушного сообщения...

Свой взгляд на главное у Солженицына предлагает **Константин Крылов** (**«Гроссмейстер. Солженицын как политическая фигура»**, АПН, 5 августа). Как можно понять, это не идеи (идеи покойный выражал разные), *теперь уже нефиг спорить о том, чего он хотел и что имел в виду «на самом деле». Его больше нет, остались его дела. ...Солженицына можно не признавать как идеолога, писателя, публициста, властителя дум. Можно быть любого мнения о его жизни и идеях. Но одного у него не отнимешь: это был игрок высочайшего класса. Гроссмейстер, чьи дебюты и развязки заслуживают самого внимательного изучения.* Он был выдающимся русским политиком, *политическим субъектом.* Даже в его прозе, по Крылову, самое живое — это *описания мотиваций политических субъектов. Сентиментальное деревенничанье и народничанье, обобщенная «матрена» сейчас идет с трудом. «ГУЛАГ» тоже, хотя и по другим причинам. Но вот «Ленин в Цюрихе» — шедевр. Потому что даже если все реконструкции Солжа неверны, Ленин у Солженицына мыслит и действует как игрок, а не как фишка, черного или белого цвета. В его Ленина можно поверить.* У Крылова Солженицын — литератор поневоле. *То, что он действовал «литературными средствами», ничего не меняет. Писать он начал, по большому счету, потому, что у него не было других орудий. Он научился это делать — потому что орудия не выбирают, а доступно было только это. Но если бы судьба дала ему в руки танковую дивизию, он бы писал гусеницами по грязи. ...Он не купился на деньги и славу — именно потому, что не считал эти вещи венцом желаний, это были тоже ставки в бесконечной игре. И даже загнанный в угол, — а под конец жизни он оказался именно что в патовой ситуации: его переиграли, хотя и не съели,— он вел себя в этом углу достойно: не боялся, не надеялся и не просил у других игроков пощады. ...Солженицын не стал делать какую-нибудь «национально-консервативную коалицию», хотя многие от него этого ждали. <...> Возможно,*

не смог, а возможно — рассчитывал на большее (скорее всего, на место общенационального гуру, «русского Ганди») и проиграл. «Что не отменяет».

Павел Святенков в статье **«Солженицын как предтеча Путина»** (АПН, 4 августа) полагает: *Вольно или невольно, Солженицын предвосхитил современный политический строй России. То, чего он желал для нашей страны еще в «Письме вождям Советского Союза», сбылось. ...Чего хотел он? В сущности, воссоздания СССР, но на некоммунистической основе. Таков практический, политтехнологический вывод из его сочинений. Да, кроме этого, он хотел еще сосредоточения государства на нуждах русского народа. Националистическая часть его программы властями до сих пор не выполнена. Но сказанное им относительно строительства неидеологического варианта СССР не мытьем, так катаньем сбылось спустя десятилетия после выступления пророка. Бывшие кгбшники построили-таки государство по чертежам высланного Андроповым из СССР диссидента. Авторитарный режим, сильная президентская власть, декоммунизация и правление неидеологической партии (или вовсе отсутствие таковой — тут мнение Солженицына менялось с годами) — все это сбылось в годы Путина. И потому Солженицын странным образом может считаться духовным отцом путинской эпохи. Многие попрекали его за то, что все ельцинские да и путинские годы он молчал, пребывая в своем затворе. Но, с другой стороны, что он мог сказать, когда многие из его политических конструкций реализовывались прямо на глазах. Власть отбросила то, что было в Солженицыне ветреного, мечтательного, нестойкого — всякого рода фантазии о земствах или сбережении народа. Власть не смогла создать предлагаемый им Российский союз в составе России, Украины и Белоруссии. Но в общем и целом его идеи оказались востребованы. <...> Но эпоха Путина, в которую его идеи нашли наиболее полное воплощение, близится к закату. <...> Программа авторитарного компромисса с коммунистическими вождями, предложенная Солженицыным во имя сбережения народа, выполнена, а счастья нет. Второй, неидеологический Советский Союз почти возник на месте первого. Вряд ли этой хлипкой конструкции в нынешнем виде сужден долгий век. Народный компромисс с вождями нестоек. Потому, оставшись без Солженицына, мы снова обречены искать путь в царство свободы, изыскивать способы создания национального государства. Нереализованные идеи Александра Исаевича еще пригодятся на пути к нему. Его неудачная попытка найти компромисс между демократией и вождями да послужит нам уроком.*

А **Эдуард Лимонов** (**«Я и Солженицын»** — Грани.Ру, 13 августа) заметил: *Он был возраста моего отца. Собственно, с ним я и боролся как с отцом, против которого бунтуют. Я бунтовал и не примирялся, но странным образом, похоронив его, я понял, что именно я его наследник или, как я сказал «Коммерсанту», «преемник».*

Павел Басинский в статье **«Архипелаг Солженицын»** («Российская газета», 5 августа) напоминает, что в русской культуре обстоятельства смерти писателя, как правило, очень много значат. Солженицын скончался тихо, «насыщенный днями», *получив от Бога дар такого долголетия, какого не имел ни один из русских классиков. В русском народе, мудром, как любой народ, в понимании не только жизни, но и смерти, принято говорить: «Завидная*

смерть». Далее Басинский проводит такое сравнение Солженицына с Толстым: *Родившись в 1828 году и скончавшись в первое десятилетие XX века, Толстой как бы закрыл своей личностью весь XIX век. ... Родившийся в 1918 году и ушедший в первое десятилетие XXI века, Солженицын закрывает XX век, великий и страшный.*

Значимость обстоятельств смерти и похорон русского писателя акцентирует и **Владимир Абаринов** (**«Похороны под охраной»**: Грани.Ру, 7 августа). Его рассуждения таковы: *Сцены последнего прощания с Александром Солженицыным удручают прежде всего какой-то квазиказенщиной. <...> Нам неизвестна последняя воля покойного относительно ритуала и места его проведения, а также присутствия первых лиц. Партхозактив наличествовал, но не в полном составе, и не слишком настырно выпячивал свою государственную скорбь. <...> Выбор зала как бы намекал на общегражданский, общественный характер ритуала. Но откуда в таком случае солдаты? Это что, войско Академии наук? Почему ружейные залпы на кладбище? Хоронят военачальника? Или милитаризованное сознание наших вождей не в силах вообразить похороны без пиротехнических эффектов? А второе, что наводит на тоскливые мысли, — это безлюдье. Да, конечно, был дождь и даже ливень. Вероятно, многие не захотели участвовать в официозе — у них слишком личные, интимные отношения с покойником... Всегда будут и те, кто плюет на могилы, кто бы ни умер, — по какой-то неизбывной, истерической злобе и чуть ли не зависти к покойнику. Бог их прости, не о них речь, а о тех, для кого имя Солженицына ничего не значит. Это и есть «крупнейшая геополитическая катастрофа XX века», перечеркнувшего напоследок своими двумя крестами все жертвы и страдания наших отцов и дедов. Все, без остатка. Отчасти в этой бездумной слепоте молодежи, родившейся при Горбачеве, виноват и сам Солженицын. За 18 лет вермонтского затворничества мы слышали его чаще, чем за годы, что он прожил в России после изгнания, а вернулся он в 1994 году. Чудится, что жил он эти годы какой-то тайной жизнью: ведь жить, по Пушкину,— это «мыслить и страдать». И еще хочется верить, что, изъявив желание покоиться на кладбище Донского монастыря, он думал не о пантеоне, достойном своего величия, а о тех, чьи останки захоронены там в общих могилах и называются в бумагах «невостребованными прахами». Память о них — его оправдание перед Вечным Судией.*

Иной взгляд у **Александра Архангельского** (**«Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?»** — РИА Новости, 7 августа): *Прощание с Александром Солженицыным прошло достойно. Как была достойна его жизнь. Хоронили писателя без официальной помпы и без лишнего народного любопытства. Торжественно и спокойно. С ясной верой в воскресение мертвых и вечную жизнь будущего века. Если бывают идеальные похороны великих людей — то вот пример.* Далее Архангельский рассуждает (подобно Привалову) о том, что соразмерных Солженицыну людей уже и не осталось. *О мельчающем мире писал и сам Солженицын: он многократно говорил о неуклонном и, увы, непоправимом падении культуры, окончательной победе меркантильности над идеалом. Но, признавая правильность диагноза, мы не обязаны безоговорочно соглашаться с приговором. И отказываться от надежды — на то, что, вопреки очевидной логике, история вновь развернется в неожиданном направлении и сформирует*

людей, сомасштабных Солженицыну... разве Божье творчество закончилось? Разве новые поколения не будут искать правду вопреки царящей лжи, восстанавливать утраченные нравственные ориентиры, сопротивляться энтропии, выбираться из-под обвалов и наново обустраивать страну? Никуда не денутся — будут. А если будут, то получат и «богатыря». Что же до умершей совести нации,.. то что же это за нация такая, вся совесть которой связана лишь с краткой жизнью смертного человека? Пускай и по-настоящему великого, как Солженицын. Никуда совесть нации не делась. Она будет искать себе проявления. И новые воплощения. Поживем — увидим. Наша нынешняя горечь связана не с тем, что русская история остановилась и Солженицын унес с собой тайну полного самоосуществления и секрет человеческого величия. А в том, что больше никогда не будет с нами рядом именно этого — мужественного, сильного, красивого человека, счастливого особым счастьем совестливой жизни. Он сумел изменить сознание нескольких поколений. Он задал точку морального отсчета для целой эпохи. Он, в конце концов, написал грандиозные книги. Мы-то и впрямь осиротели, хотя никто нас в сыновья не призывал. Но нет ничего более противного солженицынскому духу, чем унылые стенания на тему исчезнувшей совести и пресекшейся традиции. Он эту традицию не завершил, а продолжил. Вечная ему память. И спасибо от всего сердца.

Наталья Горбаневская в статье **«Чья это была эпоха?»** (OpenSpace.ru, 5 августа) пишет так: *...он совершил то, что совершил. И, более того, совершил все, что хотел совершить. Воздвиг памятник всем мученным и замученным в ГУЛАГе. И опять-таки — почему «Архипелаг» после сотен (буквально сотен!) книг, посвященных советским лагерям, произвел такое оглушительное впечатление? Потому что и это была совершенно новая, ни на что прежнее не похожая проза: «опыт художественного исследования». Здесь, в Париже (а я приехала, как раз когда вышел по-французски первый том), я видела вчерашних троцкистов и маоистов, под влиянием «Архипелага» ужаснувшихся своему прошлому — или, точнее говоря, потенциальному, но, к счастью, не состоявшемуся будущему. Их на Западе назвали «детьми Солженицына». Опыт художественного исследования раскрыл им то, чего не раскрывали документы и воспоминания, — лишь после него они уже смогли обратиться к тем и другим. Написал то, что хотел написать с юности: эпопею об истории русской революции. <...> Успел сказать все, что хотел сказать. Что он говорил — не все, не всем и не всегда нравилось. <...> Но, помимо того, что вообще чту свободу каждого иметь свои мнения, всегда считала, что по сравнению с тем, что Солженицын совершил, его, на мой взгляд, неудачные высказывания ничего не значат. Мы помним полемику между Солженицыным и Сахаровым. Но русский (и не только русский) XX век остается и останется эпохой Солженицына и Сахарова. Мы помним добросовестную попытку Солженицына опровергнуть поэзию Иосифа Бродского как целое (как ценность) — попытку, которая, на мой взгляд, не удалась и не могла удаться. Но в русской литературе последние десятилетия XX века остаются и останутся эпохой Солженицына и Бродского.*

Обзор подготовил Евгений Ермолин

Владимир КОВАЛЬДЖИ

И НЕ НАДО НАМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

На архиерейском соборе РПЦ МП в июне 2008 года был принят документ под названием «***Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека***». Поскольку на соборной повестке дня стояло немало вопросов более злободневных и острых (перспективы православия на Украине, учреждение церковного суда, дело «мятежного» епископа Диомида), пресса бóльшую часть внимания уделила именно им (особенно, последнему), а не «учению о правах». Возможно, это справедливо, и данный текст, разработанный в Отделе внешних церковных связей, розданный архиереям уже в ходе собора и принятый последними без детального рассмотрения и обсуждения, не имеет особого значения, а является лишь бюрократически-конъюнктурной декларацией.

Однако в конце документа написано, что им надлежит руководствоваться *каноническим структурам, священнослужителям и мирянам,* — следовательно, и мне. И поскольку, стало быть, *в своих общественно значимых выступлениях и действиях* мне надлежит исходить из положений этого документа, для меня все-таки важен вопрос, могу ли я проявить должное послушание данному соборному (пусть и формально соборному) церковному решению, не идя при этом против христианской совести?

Физика и лирика

Двое летят на воздушном шаре. Заблудились.
Видят внизу какого-то человека и кричат ему:
— Скажите, пожалуйста, где мы находимся?
Прохожий посмотрел на них, подумал и сказал:
— На воздушном шаре.
Тогда один в гондоле говорит другому:
— Сдается мне, что это математик.
— Почему?
— Потому что он, во-первых, подумал перед ответом,
во-вторых, его ответ был абсолютно точен
и, в-третьих, столь же абсолютно бесполезен.

Профессиональный анекдот математиков

Первый раздел документа называется «***Достоинство человека как религиозно-нравственная категория***». Его содержание полностью определяется заголовком и почти целиком представляет собой реферат по основно-

Владимир КОВАЛЬДЖИ — родился в 1965 г. в Москве. Церковный регент и композитор. Заместитель главного редактора радиостанции «Христианский церковно-общественный канал» («София»), ведущий двух авторских передач. Живет в Москве.

му богословию пополам с гомилетикой, или, проще говоря, проповедью. И хотя вся эта «лирика» вполне правильна и добросовестна, она не имеет никакого отношения к формально-инструментальному понятию прав человека («физике»). Поэтому останавливаться подробно на этой части документа нет смысла; прочтем внимательно лишь вывод, выделенный в тексте жирным шрифтом, поскольку именно здесь и делается попытка применить «лирику» к «физике»:

Сохранение человеком богоданного достоинства и возрастание в нем обусловлено жизнью в соответствии с нравственными нормами, ибо эти нормы выражают первозданную, а значит, истинную природу человека, не омраченную грехом. Поэтому между достоинством человека и нравственностью существует прямая связь. Более того, признание достоинства личности означает утверждение ее нравственной ответственности.

С позиций «лирики», как уже было сказано выше, не придерешься. Однако в начале этого раздела справедливо отмечено, что понятие человеческого достоинства является *базовым понятием, на которое опирается теория прав человека*. И вообще ключевое слово в документе (ради которого, собственно, и весь сыр-бор) — «права», т. е. понятие из области скорее юридической. Поэтому возникает естественный вопрос, а какие практические *правовые* выводы можно сделать из сказанного? Если права человека (скажем, избирательное право или право на ежегодный отпуск) базируются на достоинстве человека, а достоинство, в свою очередь, прямо зависит от нравственного облика, то какого-нибудь любителя гульнуть от жены «налево» следует, вероятно, этих прав лишить? А что — и правильно! Ну какая может быть ответственность за страну у безответственно ведущего себя в семье? И не обернется ли для него отпуск, когда отсутствует сдерживающий фактор рабочего расписания, просто длинным загулом и запоем?

Смех смехом, но ведь, делая подобные выводы, против логики я, кажется, ничем не погрешил. Почему же, в таком случае, они вышли столь нелепыми? Вероятно, составители документа из ОВЦС не особенно заботились о логике. Тогда — о чем? Ответ на этот вопрос содержится в тексте «Основ» несколькими страницами ниже. А пока мы видим лишь местами «красиво» звучащее, но нелепое по сути смешение понятий, у которых совершенно разные области применения. Молотком, знаете ли, очень неудобно кушать макароны, а вилкой, напротив, невероятно сложно забить гвоздь. Мое *омрачение грехом*, в том числе и в помыслах, является поводом для исповеди, но вряд ли должно интересовать прокурора. Конечно, до тех пор, пока мой грех не перешел граней, обозначенных в уголовном кодексе. Это настолько очевидно, что и говорить как-то неудобно, если только мы не хотим весьма серьезно расширить действие УК — на все вообще, что является грехом с точки зрения Церкви.

Таким образом, уже из первого раздела «Основ» можно уловить лишь один «мессадж»: люди в большинстве своем никаких «прав человека» недостойны по грехам своим, — разве что святые... Ну, а святых как раз проблема собственных прав мало волнует. Короче, не нужны они вообще, не православное это дело. Так?

«Две вещи несовместные»

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода

А. С. Пушкин. Из Пиндемонти

И мне лично, пожалуй, тоже. А вам? Не знаю, ибо это дело ваше и только ваше. «Мне» — это вектор внутрь, на себя, а «вам» — вовне, на других. Путать их нельзя! К чему это приводит, — хорошо видно на примере двух евангельских заповедей, из которых люди попытались сделать одну. Иисус Христос сказал: *Кто не со Мной, тот против Меня.* В данном случае, «кто» эквивалентно обращению во втором лице: «если *ты* не со Мной» — это вектор внутрь, призыв задуматься о *себе.* В другом случае Господь заповедал ученикам нечто на первый взгляд противоположное: *Кто не против вас, тот за вас*, — но никакого противоречия тут, конечно, нет. Это вектор вовне, на *других*, поэтому все меняется. Христианин должен судить себя, но не судить других, и т. п. А теперь вспомните, что получилось путем смешения этих фраз: *Кто не с нами, тот против нас.* Конструкцию первой фразы наложили на вектор второй — и какое вышло злое извращение!

Второй раздел документа называется ***«Свобода выбора и свобода от зла»***. Полагаю, что любой, кто хоть немного знаком с духовной литературой, понял, что имеется в виду, и даже может написать этот раздел самостоятельно: результат совпадет по смыслу, а то местами и дословно. Речь, конечно же, об изначальной богоданности свободы нравственного выбора, о потере человеком этой свободы по мере порабощения греху и о возможности обрести ее вновь только во Христе. Первый выделенный в тексте вывод таков: ***«Признавая ценность свободы выбора, Церковь утверждает, что таковая неизбежно исчезает, когда выбор делается в пользу зла. Зло и свобода несовместимы»***. Эти-то заключительные слова и напомнили мне афоризм пушкинского Моцарта о гении и злодействе. И вновь можно только подписаться обеими руками! Но вновь эти важнейшие и несомненные духовно-нравственные истины, которые можно и нужно *проповедовать* (внутренний вектор), обессмысливаются при попытке наложения на вектор совершенно иной и применения на инструментально-правовом поле.

Резюме раздела гласит жирным шрифтом: ***«Слабость института прав человека — в том, что он, защищая свободу выбора, все менее и менее учитывает нравственное измерение жизни и свободу от греха»***. Интересно, а слабость правил дорожного движения — тоже в этом? Никто не спорит, что вопросы спасения и жизни вечной неизмеримо важнее каких-то низ-

менных ПДД, но зачем же сталкивать столь разные вещи? Водители равны перед светофором, а не перед Богом! Перед Богом они все, конечно, очень-очень разные. А перед светофором — равны. Почему так? Да просто потому, что светофор — не Бог, а Бог — не светофор. Есть, правда, машины с «мигалками», но о них тут умолчим, потому что святость их обладателей бывает сомнительна, и в нашу аналогию это не вписывается...

В общем, и по поводу второго раздела можно повторить то, что было сказано о первом: все правильно, церковно, благочестиво и т. д. — до тех пор, пока не захочется делать практические выводы не в *личном*, а в общественно-правовом плане. Последние же, увы, никак не получаются не анекдотическими. И скрытый «мессадж» по сути все тот же: зачем какое-то право выбора тем, у кого нет истинной свободы выбора по причине порабощения греху? А таковых в нашем падшем мире большинство. Ненужные и вредные иллюзии все эти «права»...

Накрылись медным всадником

И не надо мне прав человека —
Я давно уже не человек...

В. Н. Соколов.
Я устал от двадцатого века

Третий раздел наконец принимается собственно за права человека, и на нем необходимо остановиться подробнее.

Первое же выделение в тексте утверждает: ***«Права человека не могут быть выше ценностей духовного мира»***. Но, простите, а что *может* быть выше ценностей духовного мира? Правила дорожного движения, Уголовный кодекс, Конституция, бюджет РПЦ? Вроде бы ничто. Тогда в чем смысл этой банальности, если в первую часть предложения можно подставить что угодно?

Абзацем ниже — удивительная фраза: ***«Права человека не должны вступать в конфликт с Откровением Божиим»***. Это как? Одним из фундаментальных прав человека (закрепленным и в нашей Конституции) является право на свободу вероисповедания (и ниже в документе оно с некоторыми оговорками, но вполне ясно подтверждается). Но разве право быть атеистом или язычником не «вступает в конфликт с Откровением»? *Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов* — это что ж, никак не конфликтует с конституционным правом говорить, что «Бога нет» или «богов много»? Абсурд. Происходит же он по крайне простой причине, которую почему-то не хотят видеть авторы документа: «право» (в данном контексте) — это *возможность, которая не возбраняется государством*. Государством, а не Богом! Неужели надо еще раз повторять, что светофор — не Бог, а Бог — не светофор? Тут ведь одно из двух: либо мы понимаем, что это «две большие разницы», либо прямо и откровенно отвергаем любую форму государства, кроме чистой теократии.

Справедливости ради надо отметить, что далее в этом разделе имеется немало очень верных замечаний, касающихся современной правозащитной практики в «первом мире». Без всякого сомнения, она вызывает много как

минимум недоуменных вопросов и кажется в значительной степени отошедшей в сторону от своей фундаментальной основы. Это действительно серьезная проблема или, как сейчас принято говорить, «вызов» современности, на который требуется столь же серьезный и обстоятельный ответ, в том числе и с христианской точки зрения. Но в рассматриваемом документе дело ограничивается, к сожалению, только диагностикой ряда извращений или спорных моментов в нынешнем понимании прав человека, а вот лечение предлагается по незамысловатому принципу «наша гильотина лучше анальгина».

Местами текст способен поставить в тупик. Вот очередной выделенный афоризм, достойный пера Козьмы Пруткова: «***Права человека не должны противоречить любви к Отечеству и ближним***».

Это как? Во-первых, «любовь» вообще не является какой-то априорной *обязанностью*, это слово просто из другой оперы. А во-вторых, — противоречат и будут противоречить! Потому что по любви к ближнему и в согласии с Откровением Божиим я должен, как известно, ударившему меня по щеке подставить и другую. Но одновременно я имею и *право,* — т. е. невозбраняемую возможность, — потребовать принятия мер по отношению к обидчику (у милиционера, у суда, у князя, у царя etc). И такое право гарантировалось едва ли не всегда и везде: ни одно самое наиправославнейшее государство не налагало на своих граждан *обязанность* по-евангельски подставлять другую щеку. Поступать по «любви» или по «праву» — это дело личного нравственного выбора, а не законодательства. Это настолько очевидно, что даже не хочется и пробовать заушить кого-нибудь из сотрудников Отдела внешних церковных связей.

Пчелы против меда?

> Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом.
>
> *Ин 11:47-48*

В самом конце третьего раздела содержится, как мне представляется, «ключ» ко всему документу, позволяющий понять, с какой целью в нем странным образом соединяется несоединимое и постулируется невозможное. Вот он: «***Индивидуальные права человека не могут противопоставляться ценностям и интересам Отечества, общины, семьи***». Итак, что же это за *интересы Отечества*, которым могут навредить права человека? Может быть, где-то отстаивается право человека выдавать враждебному государству Большую Военную Тайну? Что-то не слышал я о таких правах, а предателей и шпионов благополучно сажают что в Америке, что в Китае, без разницы. Да и «Отечество» — хорошее слово, но в данном контексте явно лукавое: Отечество, Родина — это и история, и язык, и березки, и речки, и «картинка в твоем букваре», и многое-многое другое. Но интересам березок

свобода слова, скажем, вряд ли сильно противоречит. А вот интересам Государства, или, еще конкретнее, — Власти, — запросто. В сочетании с «*интересами*» именно последние два слова гораздо уместнее. Понятное дело, власть всегда хочет утвердить знак равенства между собой и Родиной, но, как пела «Машина времени»: *кого ты хотел обмануть?*.

Кстати, разве не «интересами Отечества» обусловили свой вопрос первосвященники в приведенной цитате Евангелия? И как именно была решена проблема «прав» на проповедь, чудотворение и саму жизнь этого Человека, думаю, напоминать не надо.

Хорошо известно, что власть по природе своей никогда не испытывает горячей любви к чьим-либо правам, кроме своих, но лишь в большей или меньшей степени *вынуждена* их терпеть. И при любом удобном случае склоняется к меньшей степени (близкий пример — как трагедия «9/11» использовалась для серьезного наступления на права человека в США под соусом «это для вашей же безопасности»). Вынуждена же — потому, что, во-первых, в свою очередь права человека в своей основе есть именно противодействие произволу, к которому генетически склонна власть, а во-вторых, как гораздо меньшее зло относительно того, что может стрястись, если пережать пружину. Короче, обыкновенный баланс интересов. Интересов по определению *разнонаправленных*, противоречащих друг другу, но приходящих в устойчивое или не очень равновесие. Таким образом, права человека не *не могут противопоставляться* интересам власти, но противопоставлены им по определению (конечно, не только интересам власти-государства, но и власти работодателя, и той самой «общины», большинства и проч.).

Если кто-то говорит, что «пчелы против меда», то, скорее всего, он сам не пчела, а «пасечник». ОВЦС постарался ответить на негласный запрос государства и выдать некую рекомендацию, каким образом неприятное и неудобное понятие «прав человека» можно немного попридушить не напрямую (что было бы некомильфо), а «в объятиях» — размыв основания, утопив в хороших, но и не относящихся к делу, словах, риторически подменив понятия и все такое.

Впрочем, хотя подобный идеологический спрос со стороны государства вполне естественен, далеко не факт, что данное предложение будет благосклонно принято и использовано: качество реализации местами слишком уж сильно хромает.

Возвращение еллина и иудея

Ты или крестик сними, или трусы надень...
Из старого анекдота

В конце документа мы находим развернутый ответ на известный вопрос «что делать?». Сформулирован он таким образом: *Для наших правозащитных трудов ныне следует особо выделить следующие области,* — и далее довольно длинный список, из которого, в свою очередь, мы особо выделим то, что напрямую относится к сфере религиозных прав.

Уже в начале списка читаем: *отстаивание права людей на свободное исповедание веры.* Здесь необходимо подняться чуть выше по тексту документа и найти цитаты на эту же тему: *Свобода совести. Дар свободы выбора опознается человеком прежде всего в возможности выбирать мировоззренческие ориентиры своей жизни.* Итак, свобода совести и вероисповедания не отрицается?

Повременим с ответом, оставим пока процитированное «в уме» и прочтем вот такой пассаж: *Некоторые идеологические интерпретации религиозной свободы настаивают на признании относительными или «равно истинными» всех вероисповеданий. Это неприемлемо для Церкви, которая, уважая свободу выбора, призвана свидетельствовать о хранимой ею Истине и обличать заблуждения.* Не будем удивляться и гадать, кто же это такой нехороший требует от Церкви (а не от закона) религиозной индифферентности? Такого рода путаница типична для всего текста. Отметим лишь провозглашение призвания Церкви свидетельствовать об Истине (что вроде бы очевидно-тривиально, но чуть позже так уже не покажется).

А теперь вернемся к списку и прочтем то, что же предлагается в качестве одного из приоритетов церковно-правозащитной деятельности (держитесь крепче): «***защита прав наций и этнических групп на их религию***». Легким движением брюки превращаются... Вообще-то я не склонен к развешиванию где попало ярлыка «ересь», но в таких случаях это слово начинает, увы, само навязчиво крутиться на языке. Вдумайтесь! Церковь, православная Церковь Христова должна, оказывается, по мнению авторов «Основ», защищать право татар быть мусульманами, калмыков — буддистами и так далее. Всё, от вышеупомянутого призвания Церкви не осталось и следа, ОВЦС передает большой привет апостолу Павлу...

Но даже если забыть о том, что авторы текста — христиане, а принят он архиерейским собором, то и в этом случае получается полный абсурд, ибо права человека и *права этнической группы* противоречат друг другу очевидным образом. Я как гражданин имею свободу вероисповедания, — но я как русский или тувинец имею (вместе с моей нацией) право лишь на «свою» религию!!! Ну как тут было не вспомнить анекдот о крещеном еврее в бане. Чем же порождена эта дикость о *праве наций на свои религии*? Единственное рациональное объяснение — стремление предложить «традиционным» коллегам-конкурентам на религиозном поле (прежде всего, мусульманам) взаимовыгодный обмен: вы не трогаете «наших», мы не трогаем «ваших», и при этом все вместе давим «нетрадиционных» и «сектантов», которые своим существованием явно нарушают удачно придуманное нами коллективное этно-религиозное «право».

Кстати, о «коллективных правах»: упоминания о таковых занимают довольно важное место в документе, и на это необходимо обратить внимание. Читаем главное определение по этой теме: *Коллективные права. Права отдельной личности не должны быть разрушительными для уникального уклада жизни и традиций семьи, а также различных религиозных, национальных и социальных сообществ.* То есть «уникальный уклад и традиции» имеют приоритет над «отдельной личностью», а уж как трактовать, разрушительна для них реализация прав этой личности или нет, это дело, вероятно,

особо на сие уполномоченных хранителей и толкователей уклада и традиций. К примеру, стала отдельная русская личность буддисткой, сейчас епархиальный владыка и разберет, насколько сильно таковое своеволие разрушает религиозно-национальный уклад на его «канонической территории». Хотелось бы знать, какие именно меры воздействия на «неправильно» пользующихся правами человека предлагают авторы, но, к сожалению, об этом ни слова.

Тут вновь опасная подмена. *Коллективные права* имеют место тогда, когда они *добровольно* делегируются тому или иному сообществу его членами. Тогда приобретенные данным сообществом «коллективные права» не входят в конфликт с правами отдельной личности, потому что она всегда свободна забрать свое обратно, выйдя из сообщества и вернувшись в поле всеобщих гарантированных прав. Причем последнее никак не нарушает «коллективные права» данного сообщества, поскольку они *сами по себе* и не существуют, а возникают только из делегированных личных. Невозможно или очень трудно безнаказанно выйти лишь из разного рода преступных сообществ. Сообщества же типа «этнической группы» и тому подобные — иные по природе своей. Здесь изначально нет добровольного делегирования, и поэтому принципиально некорректно наделение такого сообщества правами, противоречащими правам личности.

«За священные наши права»

Полицейский (надевая наручники на злодея): «Вы имеете право...» (зачитывает права).

Любой голливудский боевик

Нужно ли резюмировать, какие выводы я для себя сделал относительно рассмотренного документа? Наверное, нет: все они так или иначе уже содержатся выше. Добавлю лишь несколько соображений о правах человека с христианской точки зрения, как я ее понимаю.

Повторю, что само понятие «иметь право» означает прежде всего «иметь возможность», т. е. предполагает обеспечение этой возможности при, конечно же, полной свободе пользоваться или не пользоваться ею. Поэтому христианский взгляд на права человека совершенно различен по отношению к себе и по отношению к другому (тем более, «внешнему»). По отношению к себе христианину по сути дано только одно право — взывать «Господи, помилуй», полностью доверяя Тому, Кто сказал «просите, и дастся вам», Кто приобрел для него и для всех это право и эту надежду Крестом. Все остальное на это никак не влияет — что ты раб, что ты царь. По отношению же к другим очевидно обязательное признание всех фундаментальных и поистине *священных* прав, которые вытекают из изначальных богоданных достоинства и свободы, — без каких-либо градаций, обусловленных тем, как именно этой свободой «они» пользуются: *да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных* (Мф 5:45).

Вместе с тем нравственная необходимость этого признания вовсе не предполагает такой же нравственной обязательности действия, «борьбы за права». Права человека, как их общепринято понимать в духе «Всеобщей декларации», неоднородны, имеют очень разную ценность. Да и «увязнуть в борьбе» (Б. Гребенщиков) очень легко и очень опасно. Это дело совести, разума и призвания каждого в отдельности.

Церковь же в целом живет веками в этом грешном мире при самых различных внешних условиях, а ее основные и неизменные задачи лежат совершенно в иной плоскости. По моему убеждению, широкие *всеобщие* права и свободы Церковь должна только приветствовать, при этом каждого своего члена *лично* наставляя на заповеданный тесный путь самоотвержения и крестоношения.

Бог дал человеку свободу и право выбора, и человек согрешил. Бог же не отнял свободу, но «отдал Сына Своего Единородного» (Ин 3:16) на Крест за грехи человека. Вот какова ценность свободы с точки зрения Любви.

Владимир МОЖЕГОВ

ДИОМИДИАДА. АНАТОМИЯ РАСКОЛА

...И прочие безумные глаголы.
Канон Андрея Критского

Часть первая. Бури над Собором

Раскол... Слово, которое потрясло русскую церковь в XVII веке. После рокового 17-го года призрак его почти целое столетие реял над распинаемой Русской Церковью. Наконец, реальность раскола вновь грозно надвинулась в 2007-м, в дни «исторического воссоединения» с РПЦЗ. А в год 1020-летия крещения Руси она громыхнула вначале извержением мятежного епископа, а затем его ответной анафемой в адрес патриарха и высших архиереев. И хотя нас продолжают уверять, что «ничего страшного не произошло», очевидно, что происходящее с Русской Церковью достаточно серьезно и трагично. События эти заставляют вспомнить и события XVII века, и 1905-й год, и противостояние Горбачева и Ельцина на рубеже 90-х, закончившееся крушением Советского Союза... А ведь с первого воззвания епископа Диомида, появившегося в дни 90-летия Февральской революции, до анафемы, прозвучавшей в день 90-летия расстрела царской семьи, прошло каких-то полтора года!

Православие на грани нервного срыва

Лето 2008-го ознаменовалось ростом напряженности по всему православному востоку. В конце мая Архиерейский Собор Сербской ПЦ, заседающий в Белграде, низложил престарелого (93 года) патриарха Павла, уже полгода находящегося на лечении в Белградской военно-медицинской академии, и взял на себя его полномочия. Часть возмущенных архиереев СПЦ, квалифицировав случившееся как переворот, покинули Собор в знак протеста.

В это же самое время в Болгарии VI Церковно-народный Собор совершил нечто вроде революции сверху, приняв решение ограничить квоты для делегатов-мирян и сосредоточив принятие важнейших решений в руках епископата, чем упразднил разгулявшуюся было церковную демократию.

Своеобразную реакцию «солнечная активность» этого лета явила в Румынии, где православный митрополит Николай Корнеану[1] в ходе литургии

[1] Николай Корнеану — один из первых православных иерархов, признавших факт своего сотрудничества с секретными службами при коммунистическом режиме, и один из тех немногих, кто высказался за возвращение церковной собственности, конфискованной румынскими коммунистами в 1948 году у католиков и переданной православным.

в католическом приходе Царицы мира в Тимишоаре неожиданно причастился с католиками. Румынский патриархат был, кажется, совершенно не готов к случившемуся и лишь пообещал на следующем заседании Синода попросить митрополита Николая дать соответствующее объяснение.

Наконец, в Греции вновь разгорелся давно тлеющий конфликт на горе Афон, где около сотни монахов монастыря Эсфигмену, населенного престарелыми, но непримиримыми зилотами, не признающими власти Константинопольского патриарха Варфоломея, уже пять лет держат глухую осаду. Зилоты обвиняют Варфоломея и всю верхушку Греческой церкви в экуменизме и измене православию, а над отрезанным от внешнего мира монастырем реет черный флаг с надписью «Православие или смерть!». В последние недели мая конфликт этот вновь перешел в горячую фазу. Полиция блокировала все дороги, ведущие к монастырю, и стянула дополнительные силы, готовясь к штурму православных повстанцев.

Все эти разом полыхнувшие конфликты, с разных сторон обнажившие грани общего кризиса мирового православия, закономерно венчались противостоянием российского и греческого патриархов, борющихся за доминирование в мировом православии. В то самое время, когда на Афоне разразился очередной кризис, делегация Константинопольского патриархата посетила Украину, вызвав всплеск раздражения в Русской Церкви. Приглашение Виктора Ющенко патриарху Варфоломею принять участие в юбилейных торжествах в Киеве, посвященных 1020-летию Крещения Руси, было расценено РПЦ как «нарушение субординации».

Дело, конечно, не в «субординации», а в само́й крайне сложной ситуации на Украине, где Православная Церковь оказалась расколота на три части: Украинскую Православную Церковь Московского патриархата (УПЦ МП), Украинскую Православную Церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинскую Автокефальную Православную Церковь (УАПЦ). Мечтая войти в историю «отцом-объединителем» украинского православия, Виктор Ющенко поглощен идеей создания на базе трех украинских Церквей единой поместной Церкви, юридически подчиненной Константинополю. Для Русской Церкви уход УПЦ МП в автономию означает потерю до половины своих приходов. Потому-то в РПЦ столь болезненно реагируют на все контакты Украины с Варфоломеем.

Под вопросом оказался визит патриарха Алексия на Украину, на празднование 1020-летия крещения Руси. Что если Варфоломей объявит о своем согласии возглавить объединенную Церковь? Как быть с возможным участием в торжествах Филарета (Денисенко), лидера раскольников, чуть было не ставшего в свое время патриархом Всея Руси и впоследствии анафематствованного РПЦ? Круг «мирового православного единства» в точке наивысшего своего напряжения сплетался в узел неразрешимых проблем.

На фоне всей этой высокой политики дело с чукотским епископом Диомидом, уже полтора года донимающим высших церковных сановников скандальными посланиями с обвинениями их в экуменизме, сотрудничестве с «безбожной властью» и принятии ИНН, представлялось каким-то досадным недоразумением. И никто, наверное, не ожидал той бури, в которую вылилось «дело Диомида» на Архиерейском Соборе РПЦ, открывшемся 24 июля.

Тем не менее «солнечная активность» этого лета еще перед Собором подняла градус нервозности до отметки «Пусть сильнее грянет буря». Архиерейский Собор (проходящий, как правило, раз в четыре года) предваряли многочисленные воинственные возгласы консерваторов, что ни день, все более радикальные. Самым обсуждаемым стал распространенный в интернете текст «Обращения московских клириков к Архиерейскому собору», подписанный вначале девятнадцатью, а потом более чем сотней московских священников и представляющий собой сумбурный свод тревог и страхов консервативного сознания, напуганного редкими дуновениями живой жизни в Русской Церкви. Авторы Обращения рисовали немые ужасы разгула «либерализма» и «обновленчества» в РПЦ, набрасывались на редкие еще имеющие место случаи миссионерства и дискуссий о возможности использования русского языка в богослужении. «*Нам трудно охватить масштаб ползучей богослужебной реформации в Русской Православной Церкви, но мы ясно понимаем, что это явление исторически тупиковое и чисто маргинальное во всех отношениях*», — восклицали авторы послания, призывая грядущий Собор «*дать оценку необъявленной богослужебной реформации,.. указать масштабы этого модернистского явления и его опасность для основ Православия,.. вскрыть источники и указать персонально руководителей этого антицерковного течения*»...

Еще более далекой волной накрывало Собор очередное «Послание епархиального собрания Анадырской и Чукотской епархии РПЦ» епископа Диомида (отказавшегося к тому времени приехать на Собор ввиду болезни), которое кроме ритуальных протестов против ИНН и «*проведения в Кремле, Православном сердце России, иудейских праздников*» обвиняло патриарха Алексия II в совместном молении с католиками в соборе Нотр-Дам де Пари и митрополита Кирилла (Гундяева) в «ереси экуменизма», а также требовало упразднить «*как наследие советского прошлого*» возглавляемый митрополитом Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) — *главный рассадник церковного либерализма и экуменизма*[2].

Предсоборное послание «чукотского адаманта» вышло при поддержке «Открытого письма клириков и монашествующих Анадырской и Чукотской епархии Патриарху Алексию II», которое кроме обвинений церковной верхушки в «сверхереси экуменизма» («*паства пребывает в недоумении, видя откровенное предательство иерархами Православного вероучения*»), содержало глухие угрозы народных волнений в случае санкций против Диомида: «*Нам известно, что к нашему владыке хотят применить карательные меры,.. а на его место прислать другого... Считаем необходимым сообщить, что ни клир, ни миряне не примут нового епископа... Настало время активных действий... "Православие или смерть", — этот девиз сейчас актуален, как никогда*».

[2] Забавно, что на вышеупомянутую акцию причастившегося с католиками румынского епископа Николая (чем-то напоминающего своей простодушной прямотой самого епископа Диомида) наши «экуменисты» из ОВЦС откликнулись Посланием, выдержанным в том же духе и исполненным столь же праведного и непримиримого пафоса, коим их самих и в то же самое время бичевали «диомидовцы».

Наконец, 17 июня на сайте «Русская идея» (принадлежащем историку-черносотенцу Михаилу Назарову) появилось «Открытое письмо пяти клириков Чукотской епархии участникам Архиерейского Собора РПЦ МП о прекращении поминания имени Патриарха Алексия II на Божественной литургии», прямо обвиняющее патриарха в ереси: «*Боясь раскола с Богом и не желая подпасть под анафему на ересь экуменизма, мы прерываем молитвенно-литургическое общение с Вами, Ваше Святейшество, и со всеми теми, кто находится в литургическом общении с Вами*», — говорилось в письме, подписанном в числе прочих игуменом Ильей (Емпулевым), секретарем епископа Диомида.

Письмо «пяти клириков» являло на тот момент логическую точку тупика, в который зашел конфликт православных «ультрас» с официальными структурами РПЦ. Однако почти сразу появился и отклик самого епископа Диомида, который отмежевался от письма «пяти клириков». Было похоже, что сам Диомид колебался в своем радикализме и что в самом лагере «диомидовцев» назревает раскол на радикалов и более умеренных «либералов».

Извержение

Как и следовало ожидать, Собор начался со скандалов. Вначале возле храма Христа Спасителя ходили, распевая акафисты и держа в руках иконы царя Николая, Ивана Грозного, старца Николая Гурьянова и плакаты в поддержку «патриарха в духе», только сторонники Диомида. Но когда умные головы навстречу диомидовцам привезли «наших», начавших дружно скандировать «мы с собором, мы с патриархом», страсти накалилась до предела. Дело дошло до прямых стычек «нашистов» и «диомидовцев» в 200 метрах от храма под памятником Фридриху Энгельсу, где московские власти разрешили собраться протестующим. Позабыв о торжественных речах с трибун церковного съезда, пресса восторженно муссировала потасовки, обращая в фарс все плавные перипетии скандала. И, наконец, в день закрытия Собор громыхнул решением об извержении Диомида из епископского сана. Скандальный епископ был извержен с отсрочкой приговора «до следующего заседания Синода», назначенного на 17 июля, до которого ему предлагалось принести покаяние.

Решение об извержении было принято почти единогласно. Против высказались лишь трое: украинцы (Каменец-Подольский епископ Феодор и Почаевский Владимир) и епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим. Еще один украинский архиепископ — Тернопольский и Кременецкий Сергий — воздержался. Воздержался при голосовании и новый первоиерарх РПЦЗ МП митрополит Иларион (Капрал), в то время как другие зарубежники во главе с архиепископом Марком (Арндтом) проголосовали «за».

По окончании Собора на итоговом брифинге митрополит Кирилл сказал: «*Я хотел бы призвать владыку Диомида со всей любовью и открытостью принять эти решения и принести покаяние, потому что извержение из сана означает одновременно и гибель души*». Ему, Диомиду, «*важно принять ту любовь, которую простирает к нему Собор,.. и принести покаяние*», и т. д.

Разбудить стихию

Прежде чем обратиться к дальнейшим событиям, остановимся на этом, как оказалось, роковом решении Собора. Принимая во внимание предгрозовую обстановку в стане диомидовцев («Письмо пяти клириков» означало, что противостояние угрожающе приблизилось к точке раскола) и особенно те знаки, которые делал Диомид Собору, отмежевываясь от этого письма, никакой нужды доводить дело до извержения, кажется, не было.

Какой смысл взрывать обстановку, делать из мятежного епископа мученика за веру и превращать его в «знамя борьбы» в тот самый момент, когда он сам пребывает в сомнениях, а дело его — на грани кризиса? Да еще и так откровенно пренебрегая канонами (74-е Апостольское правило недвусмысленно говорит о том, что судить епископа в его отсутствие можно лишь в случае, если он трижды откажется явиться на разбирательство). К тому же справку о болезни Диомид все же предоставил, и никто неправомочность ее доказать даже не пытался. При том, что на самом Соборе был принят устав церковного суда, дающий механизм решения подобных конфликтов и способный разрешить «казус Диомида» гораздо мягче.

Думаю, незачем искать здесь каких-то глубинных причин и тайных пружин. Произошло это потому, почему всегда и везде происходят подобные казусы и расколы: из-за перегрева эмоций, помутнения разума, отсутствия любви, в конечном счете.

Непосредственным запалом послужила, конечно, скандальная обстановка вокруг Собора, а роковыми стали действия Кирилла Фролова, молодого функционера «Союза Православных Граждан» (и, кажется, единственного члена этой виртуальной организации), ответственного за уличную политику ОВЦС, приведшего «нашистов» к храму Христа Спасителя и тем поднявшего градус конфронтации до предела.

Привыкшие к оранжерейному благолепию архиереи были смущены и совершенно выбиты происходящим из колеи. Сам митрополит Кирилл, и без того взбешенный прямыми и жесткими обвинениями Диомида, был особенно раздосадован тем, что его благолепный съезд, призванный создать перед властью образ успешной и благополучной Церкви, превратился стараниями Диомида в откровенный балаган. И это в то время, когда РПЦ, с одной стороны, изо всех сил старается позиционировать себя в роли ведущего идеологического авангарда «партии и народа», а с другой, перед ней стоят такие серьезные проблемы, как раскол на Украине ...

В свете столь архиважных политических задач Диомид с его средневековым мракобесием, жужжащий над самым ухом назойливой мухой, окончательно вывел высоких сановников из себя... Слишком соблазнительным показалась возможность прихлопнуть ее раз и навсегда.

Муху прихлопнули и... ошиблись. Поскольку Диомид оказался все же не мухой, а *мнением церковного народа*, аккумулирующим всю ту тьму суеверий и мифов, которыми полнилось народное сознание все двадцать лет «духовного возрождения». О том, что дела обстоят именно так и что сторонников Диомида вовсе не «единицы маргиналов», а целые народные

массы, что почти все монастыри *заражены алармистско-апокалиптическими настроениями*, давно говорили и игумен Петр Мещеринов, и дьякон Андрей Кураев, и другие. Доходили слухи о том, сколь острую форму противостояние с «диомидовцами» приняло в Оптиной пустыни и что Диомида поддержали епископы, связанные с крупнейшим монастырем Украины — Почаевской лаврой. А Оптина пустынь и Почаевская Лавра — это не шутки.

В мятежном епископе явило себя не только массовое бессознательное церковного народа, но само историческое самосознание Русской Церкви (начиная со старца Феофила с его Третьим Римом и «царя-гуманиста» Грозного). И сам этот скандал, отлившийся в традиционную тысячелетнюю византийскую формулу — противостояния утопающей в роскоши и сервилизме метрополии и бескомпромиссного, фанатичного монашества, вынашивающего в своих недрах многочисленные ереси, — конечно, далеко не случаен. Близка к этому и традиционная русская модель с ее святостью, бегущей из развращенной Москвы к берегам Белого моря.

Да, профессиональных революционеров, готовых прямо сегодня пойти за Диомидом в раскол, возможно, и единицы. Однако большевиков в 1917-м тоже была горстка. Но на фоне всеобщего развала именно они, в конце концов, сумели повести за собой народную стихию.

Прихлопнув муху, иерархи пробудили стихию. Решения Собора оказались подобны подземному удару, предвозвестнику землетрясения. Волна ропота и возмущения прошла по всему церковному народу. Возмущались не только неканоничностью отлучения (собор тут же окрестили «волчьим»), но и откровенной демонстрацией силы и власти лидерами Собора при полном молчании патриарха. «Личной местью» назвал свое извержение из сана и сам Диомид. О том же говорила и форма решения об извержении, — по сути, ультиматума, пойти на который означало для Диомида быть попросту размазанным по стенке. То же ощущение оставляли и процитированное выше слово митрополита Кирилла, с *любовью и открытостью* угрожающее своему собрату «гибелью души», и последовавшее за сим Открытое письмо с «увещеваниями любви» епископа венского Илариона (которого Диомид перед тем назвал в числе главных «еретиков»).

Конечно, если бы архиереями действительно двигали забота о своем болящем брате и ответственность за мир в Церкви, нашлись бы и другие формулировки, и другие лица, их произносящие. Увы, «увещевания любви» с обеих сторон означали лишь одно: враги сводили друг с другом счеты.

Решение Собора до бела раскалило интернет-форумы и ЖЖ. Но наиболее ярко трещина, прошедшая по церковному миру, выразилась в позиционировании за Диомида информационных ресурсов, до сих пор патриархии лояльных. Так, однозначно на стороне мятежного епископа выступил ультраконсервативный сайт «Правая.ru», один из самых популярных в православном рунете. В глухое, но выразительное молчание по делу Диомида погрузился крупнейший православный ресурс «Русская линия»... Все это могло бы образумить горячие головы. Но не тут-то было...

Отвечая на волну возмущения, захлестнувшую информационное пространство, митрополит Кирилл оправдывал свое решение следующим об-

разом: «*Согласно вероучению Православной Церкви, вся полнота власти в Церкви принадлежит епископам. Высшим органом власти в Церкви является Собор епископов. Согласно Положению о церковном суде, Собор епископов является также последней инстанцией, которая судит архиерея и которая может извергнуть архиерея из сана*». А по поводу 74-го Апостольского правила владыка высказался в том духе, что оно было актуально до появления современных средств связи. Такие объяснения диомидовцами не могли быть восприняты иначе как издевательство и вызвали лишь новую волну возмущения. Сторонники Диомида говорили, что Кирилл «отвергает каноны и создает новое вероучение», справедливо указывая, что полнотой власти в Церкви обладает все же Поместный собор, а не Собор епископов...

Битвы в воздухе

Пока в СМИ и интернете кипели страсти, временно назначенный управляющим Чукотской епархией РПЦ МП архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк, в исполнение решений Собора призванный сменить Диомида, прибыл в Анадырь. Сразу по приземлении Марк объявил журналистам, что по его сведениям Диомид накануне в одном из храмов Анадыря провел богослужение с целью не допустить его, Марка, прибытия и призвал прихожан «*молиться пророку Илье, чтобы самолет из Хабаровска не приземлился в Анадыре*». (Надо заметить, что Марк целые сутки перед тем просидел в аэропорту Хабаровска, дожидаясь летной погоды.) Заявление епископа вызвало немалое оживление журналистов, а то обстоятельство, что прибыл он целым и невредимым, должно было, вероятно, свидетельствовать о полном и безоговорочном превосходстве сил Московской патриархии в воздухе.

Тем временем, не дожидаясь прибытия Марка, опальный Диомид спешно отбыл из Анадыря «по делам епархии» в ее отдаленные области, давая по пути обстоятельные интернет-интервью. Говорил, в частности, что Марк «летит с группой захвата», в которую помимо хора (состоящего, как позднее выяснилось, из сорока отборных бойцов-семинаристов), священников и святых мощей входил также заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. (Вероятно, все же зам полпреда ДФО летел в Анадырь в связи с грядущей сменой губернатора и прямого отношения к церковной буче не имел.) Впрочем, храмы Анадыря, по словам Диомида, уже успели к тому времени посетить представители спецслужб, предупредив всех, что «*если начнется какая-то заваруха, владыка может пойти по статье за разжигание*», и пригрозив его приверженцам увольнением с работы.

Тем временем вооруженный иконами и окруженный ОМОНом Крестный ход под предводительством епископа Марка, не встречая сопротивления, двинулся в направлении кафедрального собора. И спустя короткое время можно было констатировать окончание первого акта драмы. Новый архиепископ благополучно добрался до места дислокации, где его встретили не слишком приветливо, но все же достаточно мирно.

Очевидно, что и сам Диомид пребывал в это время в растерянности. Из его сумбурных речей можно было понять, что он считает свое извержение неканоничным, не желает складывать с себя должность управляющего епархией, отказывается принести покаяние и присутствовать на заседании Синода, на которое был вызван. О своем нынешнем статусе мятежный епископ говорил следующее: «*Я остаюсь архиереем Русской Православной Церкви Московского патриархата, не являющим послушания еретической иерархии до ее полного покаяния*». Говорил, что намерен оставить Чукотку и переехать в Москву, где у него есть «духовные чада», готовые предоставить «надел земли и поставить на нем храм».

Видимо, умные головы подсказали Диомиду решение: не выходя из РПЦ, создать параллельную административную структуру, породив, таким образом, ситуацию двоевластия. Ситуацию, которую можно было бы сравнить с властью Временного правительства и Советов рабочих депутатов после февраля 1917-го или с горбачевско-ельцинским противостоянием в разгар Перестройки. В роли Ленина в пломбированном вагоне, переезжающего с Чукотки в Москву, Диомид мог бы оказаться крайне неприятен для иерархии.

Сам я бурные события тех дней так анализировал по горячим следам[3]:

Многие уже сравнили прошедший Собор с октябрьским пленумом ЦК КПСС 1987 года, выведшим Бориса Ельцина из состава ЦК. И нельзя не признать красноречивости этих аналогий. По всему видно, РПЦ как последний институт светлого коммунистического прошлого стоит на пороге Перестройки, которую вся остальная страна уже пережила в 90-х. И Перестройка эта, судя по всему, обещает быть бурной.

Итак, в РПЦ МП устанавливается классическое двоевластие формального «патриарха в теле» и неформального «патриарха в духе», то есть самого Диомида,— такова мысль и ход Диомида в ответ на ход митрополита Кирилла. Что может предпринять патриархия, чтобы помешать такому развитию событий? Видимо, только одно — анафематствовать Диомида. Но ясно, что сторонниками Диомида эта анафема признана не будет так же, как не было признано и его извержение... Такое решение автоматически уводит Диомида в «катакомбы». Но в то же время его сторонники могут спокойно продолжать посещать храмы РПЦ МП, считая их своими, а церковное священноначалие — лишь «временщиками» и оккупантами, временно захватившими власть...

Таким образом, складывается типичная революционная ситуация, ничего хорошего Церкви, конечно, не сулящая <...> Гонимых и несправедливо обиженных у нас любят <...> Анафематствование же Диомида приведет лишь к тому, что уже вспыхнувший и определившийся конфликт перейдет в партизанскую фазу. Диомидовцы и антидиомидовцы, как и сегодня, будут вместе молиться в одном храме, стоять рядом на одной литургии, причащаться из одной Чаши, взаимно при этом прокляв и отлучив друг друга.

---

[3] *Можегов В.* Матч века. Ход Диомида. — Русский журнал, 8 июля 2008 г.

В сущности, ситуация совершенно шизофреническая — раздвоение сознания <...>

Диомидовцы (словно первые христиане, преследуемые иудейскими первосвященниками) будут постепенно наращивать свое влияние, и ничего с их агитацией и пропагандой уже не сделаешь: большевистские лозунги доходчивы и понятны простому церковному народу, а требование Учредительного Собрания (то бишь — Поместного собора) находит отклик в каждом православном сердце. Преследования же со стороны патриархии будут только ярче расцвечивать харизму повстанцев романтическим ореолом...

<...> Но что вся эта буча может значить для обычного мирянина? Да, в сущности — ничего может не значить. Нормальный человек вполне может держаться от нее подальше и продолжать посещать церковь, руководствуясь собственным нравственным чутьем и здравым словом Христа, сказанного народу относительно фарисеев: то, что они велят вам, делайте, но по делам их не поступайте... Церковь — это не священноначалие и не зилоты-большевики, а, прежде всего, Евхаристия — единственное, что имеет непреходящий смысл, которого и нужно держаться[4].

Далее речь в статье шла о том, что идеи мятежного епископа на самом деле немногим отличаются от традиционного церковного мейнстрима, и это ярко демонстрировали как недавний фильм Тихона Шевкунова, так и предсоборное «Послание московских клириков»:

Чем, скажем, идеи Александра Шаргунова или Тихона Шевкунова отличаются от диомидовских? Практически — ничем. Это все тот же воинственный антиэкуменизм, изоляционизм, тоталитаризм, ненависть к Европе и Западу, поданные лишь с некоторым псевдокультурным флером. Те же идеи (в еще, конечно, более мягкой и рафинированной форме) формулирует и Всеволод Чаплин (постулирующий в своих «Пяти принципах православной цивилизации» перманентную «войну цивилизаций»). А ведь «Православие ру» Тихона Шевкунова — это церковный мейнстрим, а Всеволод Чаплин — прямой протеже <митрополита> *Кирилла.*

Я писал, что отличие идей Диомида от традиционного церковного консерватизма скорее формальное (вроде фракций меньшевиков и большевиков в рамках одной партийной программы). В своем безоглядном романтическом радикализме Диомид лишь доводит их до логического конца. А поскольку радикализм нам генетически свойствен, а разложение церковной верхушки, с точки зрения церковного народа, очевидно (митрополиту Кириллу приходится заигрывать по очереди то с консерваторами, то с католиками, в то время как Диомид прям и прост, как три рубля), то и нет ничего удивительного в том, что идут за ним, а не за патриархией...

Можно зайти в любой московский храм, — писал я далее, — *и убедиться: официальная газета «Церковный вестник» (в сущности, совсем неплохая, можно сказать, лучшее сегодня православное издание, печатающее время от времени умные и глубокие статьи) лежит пачками в каждом храме и даже бесплатно никто ее не берет. Прокламации же «Духа христианина» и ему*

[4] http://www.pravaya.ru/leftright/473/16110?print=1.

подобных, выходящие сто- и двухсоттысячными тиражами, передают из рук в руки и зачитывают до дыр, как некогда большевистские агитки...

Гламурное православие больше не в моде, в моде — православие революционное...»

Дальше, дальше, дальше...

Итак, роковое решение Собора привело к тому, что борьба диомидовцев с патриархией перешла в фазу открытого противостояния. То, о чем до сих пор лишь глухо роптали по кухням, зазвучало с кровель. Но не сдерживаемая ничем эскалация конфликта продолжала лишь нарастать.

Партизанские листовки и сайты диомидовцев клеймили патриархию и «волчий собор», публикуя духовные наставления старца Рафаила Карелина и скандируя: «Православие или смерть!» Навстречу им из патриархийного лагеря неслись бодрые речевки Кирилла Фролова: «*Дзюбанутые раскольники!.. Либерастый заговор!.. Пока эти мерзавцы топчут нашу землю, спать спокойно нельзя!.. Пусть ярость благородная вскипает, как волна!.. Враг будет разбит! Победа будет за нами! Долой врагов православного народа!..*»

Можно представить себе размах этой христианской дискуссии!..

Кажется, к этому времени в патриархии почуяли, что все зашло немного дальше, чем предполагалось, и благоразумно отменили назначенное на 17 июля заседание Синода, на которое был вызван Диомид. Тем более, что вскоре намечалась поездка патриарха на Украину, где страсти накалились ничуть не меньше. (В первый день празднования 1020-летия Служба безопасности Украины успела выдворить из страны директора Института стран СНГ Константина Затулина и Кирилла Фролова, которого застукали в центре Киева срывающим плакаты с изображением патриарха Варфоломея.)

Но было уже, видимо, слишком поздно... Разжалованный и загнанный в угол Диомид (вытесненный из Анадыря в буквально самую крайнюю точку русской земли — мыс революционного лейтенанта Шмидта) хранил нехорошее молчание. Последней каплей стало, по всей видимости, интервью венского епископа Илариона в «Комсомольской правде», озаглавленное так: «Диомидовщина — спланированная акция, чтобы расколоть Православную Церковь». В этом беспрецедентном по своей разнузданности интервью молодой блестящий архиерей называл Диомида провокатором, Хамом, Иудой, «попом Гапоном», грозя ему отлучением и анафемой: «*Диомидовщина — это политический проект... Это сознательно спланированная и раскрученная акция... Выгодная силам, заинтересованным в расколе и ослаблении... То, что он* (Диомид. — *В. М.*) *совершает, это не просто "хамство". Это настоящее предательство. Это не Хамов грех: это Иудин грех*»...

Интервью вышло 14 июля, а 17-го, в день 90-летия убийства царской семьи, Диомид полыхнул своей троекратной анафемой *еретикам-цареборцам — патриарху Алексию II, митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу, митрополиту Минскому и Слуцкому Филарету и всем их предшественникам, участвовавшим в антимонархическом февральском бунте 1917 года, и всем вместе с ними помышляющим* (т. е. всем, поддержавшим революцию 1917-го, как пояснил позднее Диомид).

Я сказал бы, что анафема стала явленным троекратным эхом извержения. От рокового решения Собора маятник неизбежно качнулся в другую сторону. Нагнетание напряжения и колебания Диомида перед Собором — потасовки «диомидовцев» и «нашистов» — вышедший из себя митрополит Кирилл и, — как кулаком по столу, — извержение... Кипение возмущенного разума — наступление воздухоносного Марка и отход Диомида на последние рубежи — инвективы Иллариона... И, — как жуткий нервный срыв загнанного в угол человека, — троекратная анафема. Ситуация, как видим, отразилась буквально зеркально.

Конечно, те «увещевания любви» (т. е. отточенные кинжалы, полные сладкой мести, которые всаживал Иларион в сердце Диомида) были сплошными передергиваниями. Очевидно, что Диомид — человек, хоть и больной на всю голову, но искренний, даже если и пользуются им все кому не лень. И главное — ну не говорят так с больными людьми... Если есть, конечно, крупица совести и сердца. Ну а «Комсомолке», газете со столь красноречивым названием, сам Бог, видно, велел стать последним звеном свершающегося раскола...

Превращения Гапона

А теперь немного истории. В нашу постмодернистскую эпоху всеобщего смешения в явлениях, подобных Диомиду, сходятся многие исторические дороги. И хотя начало разыгравшихся сегодня страстей следует искать все же в расколе XVII века, представление Диомида в роли нового попа Гапона, ставшее в устах иерархии уже привычным, на наш взгляд, тоже уместно.

Конечно, молодой харизматичный священник, любимец рабочих, Григорий Гапон не был ни ставленником «мировой закулисы», ни продуктом «оранжевых технологий». Священник пересыльной тюрьмы (а пересыльная тюрьма того времени — это особая тема), повидавший, в общем, ужасов — и в камерах заключенных, набитых вповалку мужчинами, женщинами, детьми, и в общежитиях рабочих тоже. Человек искренний, увлекающийся, лояльный властям, недолюбливающий интеллигенцию и революционеров... Но главным его качеством был все же авантюризм. Типично русский (хохол — то есть максимальный, изначальный русский) тип авантюриста — честолюбивый, самовлюбленный... В начале 1905-го революционные партии гляделись рядом с Гапоном *«куцыми курицами»*. Рабочие боготворили своего вождя, авторитет его был непререкаем. *«Все величие надвигавшейся грозы... связывалось с его именем. Петербург был полон пересудами о нем»*, — писал эсер Рутенберг, темный гений Гапона.

«Собрание русских фабричных рабочих С.-Петербурга», созданное Гапоном в феврале 1904 года, существовало, как известно, на деньги Департамента полиции. Но, обретая себя в роли вождя массы рабочих, Гапон постепенно выходил из-под контроля полиции. Популярность все более кружила ему голову. Петиция, составленная им вместе с рабочими (кстати, в день Богоявления), сочетала самый возвышенный и смиренный стиль с самыми дерзкими призывами. Первым из них, конечно, было требование Учредительного собрания (Поместного собора, по-нашему), — *«чтобы сам народ помогал себе и управлял собой»*...

По уверениям либерального литератора В. А. Поссе, беседовавшего с Гапоном в 1905 году, последний признался ему, что предвидел два возможных варианта развития событий после вручения Петиции царю: либо он уговорит Николая пойти на уступки и станет первым советником государя, а фактически правителем России, либо возглавит народное восстание и превратится в нового, мужицкого царя... Вряд ли, конечно, Гапон говорил такое. Но миф этот, во всяком случае, похож на правду, и в голове честолюбивого священника подобные мысли наверняка роились. Ну, чем не «патриарх в духе» епископ Диомид?

Девятое января стало переломной точкой в судьбе Гапона. Рутенберг рассказывает, как после расстрела у Нарвских ворот они вместе ползли через трупы, а потом пробирались дворами с побоища: *«Нет больше Бога, Нету больше царя», — хрипел Гапон, сбрасывая с себя шубу и рясу.* Несколько этих слов *«подвели итог всем причинам мучительно векового прошлого»* и *«установили программу неумолимого, кровавого будущего»*, — замечает Рутенберг. А затем благоговейно описывает таинство «пострига» Гапона — пострига в буквальном почти смысле. Рутенберг предложил остричь Гапона для конспирации, тот согласился, и вот: *Как на великом постриге, при великом таинстве, стояли окружавшие нас рабочие, пережившие весь ужас только что происшедшего, и, получая в протянутые мне руки клочки гапоновских волос, с обнаженными головами, с благоговением, как на молитве, повторяли: «свято». Волосы Гапона разошлись потом между рабочими и хранились как реликвия.*[5]

В тот же вечер Гапон встретился с Горьким, пророком-буревестником революции. *«Что теперь делать, Алексей Максимович?»* — спросил будто бы Гапон. *«Что ж, надо идти до конца. Все равно. Даже если придется умирать»*, — ответил Горький. *«Но что именно делать, сказать не мог»*...

В ту же ночь благословение пророка революции вылилось в новое воззвание, написанное Гапоном и отредактированное Рутенбергом. Воззвание это в высшей степени примечательное. И если историческую петицию Гапона, которую он намеревался вручить царю, можно сравнить с первым Обращением Диомида, то этот новый (и в самом деле жуткий) документ ясно ассоциируется с диомидовской анафемой. Рутенберг оставил нам копию этого воззвания, в которой воспроизвел свою редакцию, а написанное Гапоном выделил курсивом. Вот несколько самых ярких отрывков:

«*Зверь-царь*, его чиновники-казнокрады... сделались убийцами наших братьев, жен и детей. Пули царских солдат, убивших... рабочих, несших царский портрет, прострелили этот портрет и убили нашу веру в царя <...> *Так отомстим же, братья, проклятому народом царю и всему его змеиному отродью, министрам, всем грабителям несчастной русской земли. Смерть им всем.* Вредите всем, кто чем и как может. Я призываю всех, кто искренне хочет помочь русскому народу свободно жить и дышать, — на помощь. Всех интеллигентов, студентов, все революционные организации (социал-демократов, социалистов-революционеров) — всех. Кто не с народом, тот против народа... *Братья-товарищи, рабочие всей России. Вы не станете на работу, пока*

[5] *Рутенберг П.* Убийство Гапона. Записки.

не добьетесь свободы. Пищу, чтобы накормить себя, и оружие разрешаю вам брать, где и как сможете. Бомбы, динамит — все разрешаю. Не грабьте только частных жилищ... не грабьте бедняков, избегайте насилия над невинными. Лучше оставить девять сомнительных негодяев, чем уничтожить одного невинного. Стройте баррикады, громите царские дворцы и палаты. Уничтожайте ненавистную народу полицию <...> *Помните всегда данную мне вами — сотнями тысяч — клятву.* Боритесь, пока не будет созвано Учредительное Собрание... где будут избраны вами самими защитники ваших прав и интересов, *выставленных в вашей петиции изменнику-царю.*

Да здравствует грядущая свобода русского народа!

Священник Георгий Гапон»

Воистину, священник, но уже иной — перерождение свершилось!..

Говорят, у царя этот документ вызвал ощущение мистического ужаса. Сам Гапон впоследствии горько сожалел о своем воззвании. Но — было уже поздно. Роковые слова были произнесены. «Благословение» это получило большой резонанс, было перепечатано в эмигрантской прессе, долго ходило среди рабочих.

Этот день и эта ночь стали началом первого акта Русской революции.

Вскоре Гапон оказался в эмиграции, где связался было с эсерами, встречался с Лениным. Но в его бурной душе шла борьба. Он продолжал ощущать себя вождем революции, а полиция продолжала иметь на него виды, желая направить народную стихию в нужное себе русло. Вернувшись в Россию после Октябрьского манифеста и объявленной царем амнистии, он получил от правительства деньги на возобновление деятельности своей организации. Где-то лгал одним, где-то другим, отрекался от третьих, мало по малу запутываясь... Много пил... Те, кто видели его в последние месяцы жизни, описывают его как конченного человека.

Разбудив лавину Русского хаоса, став «первой иконой русской революции», он, в конце концов, оказался более никому не нужен. И в марте 1906 года был казнен по приговору эсеров как провокатор. Ликвидация Гапона была поручена все тому же Рутенбергу. А разбуженная *попом Гапоном* лавина, поглотив своего родителя, неслась дальше вниз, по нарастающей, но уже без него...

Планета постмодерна

Но представление Диомида в качестве Гапона — только часть картины. И сам Диомид — только один полюс этой планеты, один лик этой революционной ситуации. Целостную картину мы получим, если изобразим и другой ее полюс. И в этом нам поможет уже известный нам глава представительства РПЦ при европейских международных организациях, епископ Венский и Австрийский Иларион. Два этих неординарных иерарха вместе составят один изумительный символ нашего времени.

Судите сами. Оба одинаково молоды (Алфееву — 42 года, Дзюбану — 47). Один — столичный вьюнош, рафинированный интеллигент, консерваторское образование. Другой родился на Украине в рабочей семье, учился в

Харькове. В 1989-м оба закончили Московскую Духовную Семинарию. Духовную Академию Алфеев закончил в 1991-м со степенью кандидата богословия, Дзюбан получил диплом в 1993-м (говорят, со страшным скрипом). Один тут же был назначен представителем РПЦ при европейских международных организациях в Брюсселе, другого отправили в командировку на Камчатку и Магадан. Оба почти одновременно были рукоположены в сан епископа, один (в 2003 году) назначен епископом Венским и Австрийским, другой (в 2000 году) — епископом Анадырским и Чукотским.

Один — доктор философии Оксфордского университета, доктор богословия Свято-Сергиевского института в Париже, приват-доцент Фрибургского университета, автор двадцати книг по богословию и церковной истории. Духовный композитор. Другой... Э-э-э... ну да, — «патриарх в духе», верховный главнокомандующий и почетный камергер вдовствующих кафедр, и бог знает, что еще...

Молодая звезда церковного бомонда и воинствующий романтик, сочетающий насквозь мифологическое сознание с беззаветным порывом непросвещенной, но честной души... Сверкающий современный линкор и дремучий, революционный чапаевский бронепоезд... Интеллигенция и народ, дихотомия ума и сердца — вечная русская драма...

И, как это ни странно, по своей разрушительной силе блестящий интеллектуал, рафинированный интеллигент ничуть не уступает своему малообразованному, брутальному коллеге. Епископ Иларион, этот сверкающий авианосец, рассекая волны, гордо идет вперед под музыку «Страстей по Матфею», оставляя за собой лишь руины...

Свой епископский путь Иларион начал в далекой Сурожской епархии. И всего за полгода ему удалось разрушить ее тонкий духовный организм, десятилетиями тщательно настраиваемый митрополитом Антонием. Так, первым подвигом блестящего архиерея стало разрушение дела всей жизни одного из величайших проповедников XX века[6]...

---

[6] Митрополит Антоний Сурожский (Блум) писал Илариону:

«Неужели ты не понимаешь и не чувствуешь, что, давая всенародную огласку трагедии, которая разыгралась в Сурожской епархии со времени твоего прибытия в Англию, ты не только расшатываешь стройную (до твоего приезда) жизнь епархии, но подрываешь многолетний труд, положенный другими, и всенародно позоришь имя Русской Церкви во всей Европе и Америке? А картина, которую ты даешь, большей частью не соответствует действительности. И сколько озлобления и мстительности может непредубежденный читатель прочесть в твоих личных нападках на владыку Василия и других!..

Сначала речь шла о твоем назначении исследователем при Кембриджском университете. Позже митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл сказал, что он тебя в помощь мне не отпустит иначе как в сане епископа. Я на это согласился с готовностью, ожидая в твоем лице чуткого, понятливого сотрудника. В этом я ошибся: я ожидал одного человека, а прибыл другой. В самый первый день твоего приезда ты мне сказал глубоко смутившую меня фразу: "Когда на меня возложили руки при хиротонии, я почувствовал, что я теперь архиерей и ЧТО У МЕНЯ ВЛАСТЬ". Это меня ужаснуло, так как я всю жизнь верил, что мы призваны СЛУЖИТЬ, а не

Дело кончилось тем, что в мае 2006 года владыка Василий Осборн, принявший у митрополита Антония руководство Сурожской епархией, разорвал с Москвой и ушел под омофор константинопольского патриарха Варфоломея.

В октябре 2007-го делегация РПЦ под предводительством епископа Илариона с шумом покинула заседание смешанной православно-католической богословской комиссии в Равенне. Поводом к скандалу послужило присутствие на сессии делегатов Эстонской православной церкви (ЭАПЦ), к которой РПЦ имеет имущественные претензии. Так, вторым своим подвигом, воинствующий богослов вывел Русскую Церковь из православно-католического диалога и оставил РПЦ в полной изоляции в православном мире. (Причем произошло это сразу после визита патриарха Русской Церкви в Париж и Страсбург, оживившего было надежды на диалог.)

Результаты «увещеваний любви» третьего духовного подвига неординарного архиерея у нас на глазах. Впечатляющий путь, не правда ли?

Итак, перед нами два мира, кажется, невообразимо далеких друг от друга, в сущности же — очень похожих. Две живые «иконы» современного церковного постмодерна, люди, в руках которых оказался сегодня руль Русской Церкви.

И это, конечно, тоже не случайность. Взглянем бегло: вот певец сталинского византизма Тихон Шевкунов (50 лет),.. динамит-епископ Диомид (46 лет),.. наш моцарт и сальери Иларион (42 года),.. апологет теории «столкновения цивилизаций» Всеволод Чаплин (40 лет),.. творец «атомного православия» Егор Холмогоров (38 лет),.. троцкист-романтик Кирилл Фролов (39 лет) и проч., и проч., и проч... В руках этих очень молодых по церковным меркам людей (да и по всем другим в нашем сегодняшнем инфантильном

властвовать... Денежная тема, как и тема о награждениях, стала играть роль, которую она раньше не играла. (Сам ты потребовал [зарплату] 40 тыс. фунтов)...

До этого еще твои сторонники начали "наводнять епархию полемической литературой, вербуя и священников и мирян в твой лагерь", при активном и вредном участии твоей матери (которая за все месяцы пребывания в Лондоне ни разу не подошла ко мне даже поздороваться)...

А теперь, не довольствуясь той смутой, которую ты произвел в сложной, но единой созревающей епархии, ты и твои сторонники решили вынести всю эту тьму в среду иноязычных недоброжелателей, только ожидающих повода затопить грязью нашу многострадальную Русскую Церковь...

Так же, как владыка Василий и я, отреагировали и выборные члены епархиального и епископского советов, но без той личной злобы, которую ты усматриваешь во всяком проявлении неодобрения. Для тебя они стали врагами, тогда как на самом деле они являются хранителями строя епархии, защищающими нас от управления ОВЦС, которому многие русские не доверяют...

Я не стану возвращаться к вопросу о том, как архиепископ Анатолий был принужден уйти на покой для того, чтобы уступить тебе свое место. Об этом я писал отдельно. Дорогой владыка, пожалей Русскую Церковь и вели своим сторонникам прекратить подрывную деятельность...» (НГ-Религии, № 6 от 21.08.2002).

мире, где юношеский задор оставляет лишь к сорока, а более-менее взрослеть начинают к пятидесяти, если вообще начинают, тоже) оказался сегодня руль церковного корабля... Плюс несколько рядов погруженных в нарциссизм тысячелетних восковых старцев и моложавый, умный, энергичный лидер с прогрессивными взглядами и честолюбивыми амбициями во главе. Что-то все это сильно напоминает, не правда ли?

Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее — иль пусто, иль темно... А между тем ситуация примерно та же, что сложилась в СССР накануне Перестройки. Все это мы, в сущности, уже проходили в 90-х, в масштабах целой страны...

Corruptio наилучшего

Дни 90-летия расстрела царской семьи выдались жаркими. Три дня над Москвой грохотали грозы. На ТВ плач по невинно убиенным инфантам вылился в настоящий культ царя Николая. Даже Иосиф Сталин, до сих пор почти безраздельно владевший сердцами российских граждан и уверенно лидировавший в проекте «Имя Россия», 17-го, не выдержав массированных монархических флеш-мобов, уступил первенство царю-искупителю. В Москве упавшее от удара молнии дерево даже разбило бюст молодого Ульянова («*Не иначе — по анафеме Диомида!*» — гудели в ЖЖ)...

Священник РПЦ Георгий Рябых выступил в эти дни с громкой инициативой к власти — осудить коммунизм. Инициатива, что и говорить, замечательная. И если бы только хватило духа *начать с себя* (припомнив всю историю Русской церкви в XX веке), цены бы ей не было... 17-го, впрочем, за всю Русскую церковь высказался Диомид (и опять, увы, мимо цели)...

А тем временем в Анадыре новые власти из кожи вон лезли, чтобы представить себя в как можно более отвратительном свете. Расчищая завалы и выгребая грязь, оставленную чукотскими отцами в анадырском соборе, плечистые московские семинаристы в железной бочке перед собором стали жечь старые бумажные иконы... Что, естественно, тут же было запечатлено на камеру и вылилось в трагическую повесть диомидовцев: «*Шокированные люди со слезами рассказывали происшедшее, трудно поддающееся объяснению. Ночью около церкви люди заметили огонь. Когда они подошли ближе, то увидели страшную картину: в железной бочке горели иконы Спасителя Иисуса Христа и Казанская икона Божьей Матери, праздник которой приходился именно на этот день*»...

Затем отличился воздухоносный Марк, накатав на Диомида заявление в прокуратуру, в котором обвинил предшественника в коррупции и растрате: «*По самым скромным подсчетам, общая сумма прихода, которая не была документирована, только по одному храму в Анадыре составляет не менее восьми — десяти миллионов рублей в год*». Оставалось, правда, загадкой: как мог Диомид в нищей епархии, торгуя свечками по пятьдесят копеек и газетой «Дух христианина», умыкнуть из приходской кассы столь круглый капитал? Прокуратура, видимо, тоже удивилась и в иске Марку отказала.

А по революционным окраинам уже разносилась благая весть: «*С епископской кафедры в Анадыре священником Владимиром (Мордвовым) похищен*

антиминс, освященный епископом Диомидом, чтобы он не достался преданным анафеме, т. е. нечестивым соратникам Алексия Ридигера... И вывезен туда, где будет епископская кафедра изгнанного владыки Диомида. Его церковь может быть везде, хоть в хлеву, — и сколь бы великолепным ни было убранство храмов РПЦ Ридигера, для сторонников Диомида службы в них станут недействительными, а таинства не будут совершаться»...

Это уже легенда, уже — начало предания! Может, на год, а может, и на века... У церкви Диомида теперь есть епископ, имеющий право полагать священников и возможность совершать литургию (для чего и нужен антиминс — плат с зашитыми частицами мощей, без которого совершение литургии невозможно).

Ярким откликом встретил весть об анафеме Диомида дьякон Андрей Кураев: «*Пусть из церкви вытечет гной*»... Если в нашей имперской истории люди частенько шли по цене навоза (который оставлял хоть какую-то надежду произрастания на нем семян милосердия), то для сегодняшней нашей Церкви народ, похоже, пошел по цене гноя... Что ж, все на этом свете стремится к своему пределу, и мы, очевидно, почти что его достигли.

Самое же адекватное, что я прочел в эти дни, оставил в своем ЖЖ иеромонах Агафангел (Белых), помощник воздухоносного Марка, летавший с ним в Анадырь: «*Жутко и трагично происходящее сейчас в Русской Православной Церкви. Возможно, история, спустя годы, даст полную оценку тем делам и словам, которые сейчас инициируются в Москве или где подалее, посылаются с заполярного Мыса Шмидта и проходят через православные сердца в России*»...

Воистину, жутко и трагично. Но — куда денешься? Во времена, когда даже лозунг «епископы, возлюбите друг друга» отдает чрезмерным идеализмом, остается уповать разве что на «десять заповедей олигарха». Corruptio optimi pessima, как говорили древние римляне, т. е. порча наилучшего дает наихудшее...

Часть вторая. Прожектор Перестройки

Два года назад член Комиссии по канонизации протоиерей Георгий Митрофанов на Круглом столе, посвященном внутренним проблемам Церкви, сетовал на то, что при полном равнодушии к новомученикам — жертвам большевизма — почта Комиссии буквально завалена письмами с требованиями канонизировать Ивана Грозного, Григория Распутина, маршала Жукова и «тайного христианина» Сталина. Речь эта была выслушана вяло. Зато, озвученная следом идея создания сайта под названием «Враги Церкви» и заявление протоиерея Всеволода Чаплина о том, что «списки врагов уже готовы», вызвали настоящую волну энтузиазма. И, как видно, Всевышний услышал голос пастырей. Прошел только год, и враги, которых так жаждали, явились в изобилии.

Но развитие Диомидиады, являющейся на сегодняшний день магистральным сюжетом новейшей церковной истории, заслуживает того, чтобы осветить его с самого начала.

Глобальная эсхатология

Тогда же, в конце 2005 года, в Москве состоялась Богословская конференция РПЦ с многозначным названием «Эсхатологическое учение Церкви». Конференцию эту в каком-то смысле можно сравнить с апрельским пленумом ЦК КПСС, объявившим курс на Перестройку. Именно тогда митрополит Кирилл, объявив курс на выход Церкви из «культурного гетто», впервые озвучил тезисы своей правозащитной программы.

...Сегодня «неполиткорректно» говорить о том, что существует Истина. Существует колоссальная опасность подмены Истины многими «истинами», когда люди перестанут отличать добро от зла <...>

Руссо считал, что человек приходит без греха. Трагедия либерализма именно в этом исходном пункте... Если согласиться с Руссо, то выходит, что остается только раскрепостить человека, ибо внутри его — святость, что, конечно, не так. И сегодня послание Церкви звучит следующим образом: свобода без нравственной ответственности — это раскрепощение греха <...> Свобода и нравственность являются двумя равноправными категориями, абсолютизация одной из них в ущерб другой неминуемо ведет к общественным трагедиям... Соблюдение нравственных устоев не менее важно, чем права человека на жизнь, и т. д. В этом суть послания Церкви миру, и в несении этого послания Церковь может опереться на «достаточно большую коалицию, созданную из традиционных христианских церквей, традиционных религий и консервативных общественных течений.

Вскоре эти идеи оформились в декларацию «О правах и достоинстве человека», которая в апреле 2006 была принята на X Всемирном Русском Народном Соборе — ежегодной православной конференции под председательством митрополита Кирилла. В декларации говорилось, что «*человек как неповторимая личность имеет не только особую и безусловную ценность, но, кроме того, обладает и достоинством, которое приобретает, совершая добро*»; что «*права человека имеют основанием ценность личности и должны быть направлены на реализацию ее достоинства*»; что «*без нравственности достоинства не бывает*», а «*такие ценности, как вера, нравственность, святыня, отечество, стоят не ниже прав человека*».

Суть всей концепции митрополит Кирилл пояснял так:

«*Гармоничное соединение концепции прав человека с идеей нравственной ответственности даст возможность построения действительно универсальной системы ценностей, в которую будут включены как западная философская мысль, так и традиции христианства, ислама, буддизма, иудаизма, то есть великих религий, которые сформировали существующие сегодня цивилизационные модели. Мы нуждаемся в такой системе прав человека, которая действительно могла бы быть стыковочным узлом между различными цивилизационными моделями. Тогда отпадает необходимость в процессе глобализации нивелировать культурные различия между цивилизациями, тогда глобализация не будет нести в себе угрозу унификации, тогда мы сохраним многообразие и красоту Божия мира*».

Познакомившись с этими идеями, можно было заключить, что в лице митрополита Кирилла Русская церковь обрела, наконец, умного современного идеолога со своим альтернативным проектом, призванным противопос-

тавить ультралиберальному, нивелирующему традиционные ценности глобализму идею мирного сосуществования различных культур и цивилизаций, утвержденных на общих нравственных основаниях. Призванным защитить человека от его «расчеловечивания» и оградить «лица необщее выраженье» традиционных цивилизаций от их нивелировки в глобальном мире.

Саммит при дверях

Концепция «прав и достоинства» (восходящая к библейскому *образу и подобию Божию в человеке*) оказывалась также идеальным центром входящей тогда в моду идеи многополярного мира. Неудивительно, что проектом заинтересовалось наше внешнеполитическое ведомство. Министр иностранных дел Сергей Лавров даже выступил на Соборе митрополита Кирилла, вспомнив слово Достоевского о том, что «*ко всемирному, ко всечеловеческибратскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено*». В МИДе, по всей видимости, и предложили митрополиту Кириллу провести в рамках саммита Большой восьмерки духовный саммит религиозных лидеров.

Задуманный как преамбула встречи «Большой восьмерки» саммит имел, конечно, значение символическое. Россия пыталась заявить о себе как о великой державе. И было заманчиво войти в строй великих держав не просто сырьевой базой, но страной, которой есть, что сказать миру. Задумка, что и говорить, впечатляюща: российская власть и Русская Церковь совместно являют миру вечную Идею России. И все было бы замечательно, но...

Власти у нас и вообще не привыкли обсуждать что бы то ни было с народом. А тут и времени особенно не было. Если же учесть и без того минимальное доверие к властям в церковном народе (до сих пор поддерживающееся лишь доверием к патриарху), то понятно, какое отношение к злополучному саммиту могло сложиться. Факт сбора всех мировых конфессий в Москве был истолкован народным сознанием традиционно и однозначно: «*Антихрист грядет! Близ есть при дверях*»...

Про жало и бревно

Несмотря на все усилия, саммит прошел почти незамеченным. На его декларацию, призывающую народы «к миру», «умеренности и самоограничению», никто особого внимания не обратил. Оно и понятно: противостояние арабов и Израиля, вражда православных и католиков оставались гораздо более наглядными иллюстрациями «диалога цивилизаций» в «многополярном мире». В сущности, внимание к подобному форуму могло привлечь только одно: встреча русского патриарха с папой. Но о таком «диалоге культур и цивилизаций» никто, конечно, не мог и помыслить. Зато самый разгар претерпевал в эти дни Сурожский кризис, вскрывший и выведший наружу всю глубину проблем православного мира.

Сурожский кризис, впрочем, привычно объявили происками закулисы, выступающей против объединения с РПЦЗ, к которому дело тогда шло полным ходом. Одновременно крепли связи с властью и бюрократией. Свет-

ские информационные ресурсы уже не позволяли себе говорить о проблемах в РПЦ слишком нелицеприятно (портал «Интерфакс-религия» вообще превратился в филиал ОВЦС). Церковные власти пребывали в блаженной эйфории, предвкушали трибуны ООН: *Полагаем, что настало время для более системного партнерства религиозных деятелей с Организацией Объединенных Наций*, как сказано было в «Послании религиозных лидеров».

Наверное, и митрополит Кирилл уже видел себя в роли Великого кормчего, ведущего мировые цивилизации к миру и благоденствию (вечные *русские флаги над Царьградом!*). На открывающемся лазурном небосклоне роились лишь мелкие досадные мошки (либералы, интеллигенты) вроде журналиста «Московского комсомольца» Сергея Бычкова, позволяющего себе слишком нелицеприятные отзывы о митрополите Кирилле. На фоне столь эпохальных задач, стоящих перед церковью, портить имидж вождя было конечно, не позволительно. Разобраться со строптивым журналистом было поручено протоиерею Всеволоду Чаплину...

Все последующее представляется мне подобным некоей Божьей притчей...

Журналист (и по совместительству — доктор исторических наук) Сергей Бычков, может, и вправду был излишне горяч[7]. Но, говоря на чистоту, что доброго было сделано патриархией за все годы «духовного возрождения»? Росли каменные громады и золотились на деньги олигархов купола, крепли нежные связи с властью, и вздохи о «симфонии» становились все громче и порывистей. Но народ-то был совершенно заброшен. Кто думал о его просвещении? Кто печаловался перед властью о нищих и убогих, о стариках и брошенных детях, чье количество уже превзошло статистику сирот Первой и Второй мировых войн?

Все эти годы Русскую церковь раздирали лишь бесконечные склоки с «братьями по вере» да череда скандалов внутри: то с торговлей алкоголем и табаком, то с «голубым епископатом», то с преследованием общин «либералов и обновленцев», то со всевозможными культурными инициативами (вроде попытки Сыктывкарской епархии запретить постановку сказки Пушкина «О попе и работнике его Балде»), то с «обезьяньим процессом» о правомерности преподавания дарвинизма в школе, где в качестве тарана позорно использовался ребенок... В сущности, даже «историческое объединение», которым так гордится сегодня Церковь, есть целиком заслуга Путина, сумевшего обворожить нищих стариков из дышащей на ладан Зарубежной Церкви. Поэтому то, что произошло во время очередного Всемирного русского собора (на котором на этот раз озадачились виртуальной распилкой Стабфонда) накануне подписания акта об объединении, никак нельзя назвать случайным.

Перед вдруг пробудившейся от священного сна Русской Церковью встала серьезная задача. И появился неординарный, быть может, выдающийся

---

[7] Так, скажем, в статье, увидевшей свет в день шестидесятилетия митрополита Кирилла, Бычков писал: «*В новое тысячелетие владыка Гундяев вошел как первый в истории Русской церкви митрополит-миллионер*». — *Бычков С.* Митрополит-разрушитель. Владыка Гундяев как зерцало русского бизнеса — «МК», 20 ноября 2006 г. (*Прим. ред.*)

лидер, способный взять на себя ее решение. Но столь эпохальные задачи требуют самоотвержения, пусть самого малого. Ради такой великой цели можно было и потерпеть наезды одного журналиста (тем более, не беспричинные)...

Но не стерпелось. И случилось то, что должно было случиться. Вместо одного неугодного журналиста получили на свою голову целого преосвященного Диомида. Не захотев потерпеть одно «жало в плоть», получили целое бревно в глаз, да такое, что мало никому не показалось...

Явление адаманта

Обращение «чукотского адаманта», опубликованное в одиозной газете «Русь православная», взывавшее *ко всем архипастырям, пастырям, клирикам, монашествующим и всем верным чадам Святой Православной Церкви*, было подобно разорвавшейся бомбе. В девяти его пунктах патриархия обвинялась в *отходе от чистоты православия*, необличении *антинародной политики существующей власти, одобрении демократии*, следовании *еретическому учению экуменизма, в принятии ИНН,* в *нарушении Соборной клятвы 1613 года* и проч., и проч. Главным пунктом обвинения значилось *проведение межрелигиозного саммита, с обращением к лидерам «Большой восьмерки»*, являющейся *органом мирового масонского правительства* и подготавливающей *приход антихриста*... А главным требованием выдвигалось — немедленное проведение Поместного собора...

Прозвучало все это настолько неожиданно, что церковные власти поначалу даже отшучивались: мол, до Чукотки все доходит как до жирафа. Но когда по окраинным епархиям послышались призывы собираться в Крестные ходы и маршем идти на Москву, стало очевидно, что «консервативное сознание» повсеместно занимает сторону Диомида (отчасти осуждая его угрожающую форму).

Светская пресса, изрядно к тому времени поприжатая, как после великого поста, жадно набросилась на самый крупный за двадцать лет возрождения скандал. Что-то надо было со всем этим делать. Но что делать, было совершенно непонятно. К тому же и сам доселе никому не известный чукотский епископ, ставший вдруг мегазвездой, бормотал, что вроде как и не собирался публиковать свое «Обращение», что это и не обращение вовсе, а предисловие для его книги...

В конце концов демарш чукотского владыки расценили традиционно — как попытку сорвать процесс объединения с РПЦЗ. По поводу девяти пунктов его дацзыбао высказались осторожно, заметив, что проблемы имеются, но обсуждать их надо в корректной форме. А в целом решили поступить самым испытанным образом — то есть не делать ничего (само как-нибудь рассосется).

Было ясно, однако, что сами собой раковые опухоли не рассасываются. И через три месяца тягостных раздумий мятежный епископ перешел-таки свой Рубикон, обратившись к патриарху с открытым письмом, в котором еще раз объявил пункты первого обращения, перемежая их (в духе писем Иоанна Грозного) обширными цитатами из Священного писания и Отцов. Ничего нового «Слово христианской любви», адресованное «Его Свя-

тейшеству», не содержало и служило лишь знаком того, что чукотский адамант решился идти до конца.

Кажется, это был момент, когда что-то можно было еще изменить.

Когда-то пятнадцать лет назад, в бурном 93-м, выступив в роли посредника между враждующими лагерями, патриарх предотвратил, возможно, большое кровопролитие. Но с тех пор в нашем церковном бомонде укоренилось мнение, что в том *враждебном окружении*, в котором *пребывает сегодня Церковь* (а когда Церковь пребывала в ином окружении?), не следует *подставлять Святейшего*. Будто Святейший — это фарфор редкой марки, который следует доставать лишь в самых торжественных случаях.

Уже после «анафемы» на одном из форумов прозвучало интересное мнение: патриарху следовало самому ехать к Диомиду, *как любящий родитель стремится к своему больному чаду,* и на месте *решать наболевшие проблемы, находить точки соприкосновения хотя бы для начала...*

Предложение назвали *довольно диким. Потому и выглядит дико,*— последовал ответ, — *что у нас (мягко сказать) немного сбились векторы христианского поведения...*

Действительно, как ни «дико» это звучит, а не согласиться трудно: патриарх — все-таки пастырь народа, личность, а не сверкающая митра. А личность — это, прежде всего, способность на поступок. «Невозможное возможно» — пусть и звучит слишком по-постмодернистски, единственная, в сущности, формула чуда, а значит, формула православия, в конечном счете, формула любви...

Париж на Камчатке

Но чуда можно ждать от Христа, а не от грузного бюрократического левиафана. Весь год сторонники «епископа-динамита», обстреливая метрополию жалящими стрелами посланий, раз от раза все более дерзких, выдвигали лозунг «Диомида — в патриархи!», вели сборы подписей в поддержку «чукотского адаманта» (в Нижнем, например, в начале 2008 года под открытым письмом патриарху собрали более четырехсот подписей) и одерживали свои маленькие победы. И все это время митрополия хранила растерянное молчание. Да и что она, вынужденная тремя разными голосами на три разные аудитории транслировать одновременно монархическую, государственническую и кафолическую идеи, могла ответить «народному православию»? Диомиду не нужно пытаться усидеть на трех стульях разом, он простодушно брякает то, что думает, и потому «правда жизни» объективно оказывается на его стороне. (Так же точно, как объективно, в 1917-м она оказалась на стороне Ленина, а не прогнившей насквозь империи, впавшей в летаргию церковной верхушки и малахольного Временного правительства.)

Очередное явление Диомида состоялось в декабре 2007-го, в самый разгар скандала с пензенскими сидельцами. Правда, до самих сидельцев Чукотскому владыке дела не было, взволновала его молитва патриарха в соборе Парижской Богоматери во время визита во Францию...

В каком-то смысле этот визит венчал собой целую фазу развития новых тенденций. В Париж и Страсбург патриарх повез все те же идеи, которые

звучали на богословской конференции РПЦ, потом на Русском Соборе, на православно-католической конференции «Дать душу Европе», саммите религиозных лидеров. Но заметна была и тенденция: столь ярко прозвучавшие вначале идеи митрополита Кирилла, погружаясь в эмпирику дипломатии и политики, звучали все менее внятно. Не стала сенсацией и речь патриарха на сессии ПАСЕ. Зато снова дали о себе знать внутриправославные раздоры. Русские парижане, опасаясь имущественных притязаний РПЦ, отказались пригласить предстоятеля Русской Церкви в свой знаменитый собор Александра Невского. И, пригласив Алексия II в собор Парижской Богоматери, католики, в сущности, спасали этот визит и честь русского патриарха...

Ответ фундаменталистов не замедлил себя ждать. Правда, на очередное чукотское дацзыбао с требованиями от Алексия *покаяния за молитву с еретиками* пресса откликнулась вяло, будучи слишком поглощена скандалом с пензенскими закопанцами. И справедливо: именно история с затворниками явила в то время всю глубину церковных проблем.

Молчание или смерть

Скандал этот, громыхнувший в конце года, несколько месяцев не сходил с первых газетных полос. Подхватив версию официальных «сектоведов» о «тоталитарной секте», светские журналисты не жалели красок в описании мракобесия сектантов, церковные же издания как воды в рот набрали.

Митрополит Кирилл, которому пришлось отвечать на недоуменные вопросы, объявив сидельцев «тоталитарной сектой», заметил, что *это самый наглядный пример того, что может быть в стране и обществе, если общество лишено религиозного образования.* Заявление довольно рискованное на фоне «пензенских затворников» — *самого наглядного примера* нашего «религиозного образования», могущего вызвать закономерный вопрос: чего же ждать, если такое образование станет повсеместным?

Прилично в эти дни повели себя, кажется, лишь два человека: диакон Андрей Кураев (*Прежде всего важно понять, что это никакие не сектанты, это нормальные православные люди. Это не импортированный вирус, а болезнь, которая росла в нас и на наших глазах...*) и пензенский архиепископ Филарет, на четвертой неделе скандала нашедший в себе силы сказать: *А к тем, кто обрек себя на добровольное заключение, мы относимся в первую очередь с любовью... они являются частицей Церкви Божией... Мы не делаем из них врагов, они православные люди...*

Это не первое событие такого рода в новейшей истории нашей Церкви, — писал между тем Андрей Кураев и приводил такие примеры: *Три года назад в Харькове целый монастырь сорвался и ушел в бега. Буквально: ночью загрузились в автобус, и все, включая наместника, уехали (причем это было с братией монастыря, на территории которого находятся и местная семинария, и резиденция местного митрополита).*

От священников разных епархий мне доводилось слышать о двух случаях самоубийств: женщины, доведенные до отчаяния их духовниками, обличавшими «принятие ИНН», не видели иного выхода для себя.

Четыре года назад в тайгу, правда, не зарываясь, ушли три священника Иркутской епархии и несколько их прихожан. Как и в Погановке, раскольнический импульс пришел из монашеской среды: спровоцировал их некий отец Пантелеимон, самочинно уехавший в Сибирь из Оптиной пустыни)...

...Архипастыри, старцы, известные священники высказывают совершенно противоположные суждения. В одном известном монастыре не причащают принявших номер, в другом, не менее известном, отлучают от причастия за отказ от ИНН[8].

---

[8] Андрей Кураев привел также весьма показательное письмо «одной из иркутских беглянок своим духовным наставникам», наглядно рисующее образ мысли этих людей: *Уважаемый Константин Гордеев, редакция журнала «Сербский Крест»! Пишем Вам из маленькой таежной деревни в Иркутской области с единственным желанием выразить благодарность за Ваш журнал, Ваш труд, за Ваше героическое стояние в вере. Мы собрались в глухой деревне вдали от информационных путей, чтобы укрыться от антихристианского духа и сохранить свое православие в условиях антихристианского государства. Нас называют отщепенцами, раскольниками, отступниками, темными, необразованными, прелестными. Открыв журнал «Сербский Крест», мы обнаружили, что, слава Богу, есть еще люди, которые не боятся открыто заявлять свою позицию, не подчиняются слепо апостасийному духовенству и светской власти, проводящей волю антихриста. Архиепископ Иркутской епархии Вадим открыто по телевидению заявил о своем принятии ИНН, призвал православных не бояться его, а волнения по поводу того, что это печать антихриста, назвал суеверием. На общем епархиальном собрании 99% священнослужителей поддержали владыку. После этого он стал применять меры к тем священникам, которые не испугались его гнева и продолжали предупреждать о грядущей опасности, призывая ни в коем случае не принимать ИНН. Несколько священников ушли из епархии, в частности, о. Александр с матушкой (г. Братск), о. Анатолий с матушкой (г. Зима). Мы приехали в п. Онот год назад, после того, как настоятеля Свято-Никольского храма г. Черемхово о. Владимира Иркутский владыка, архиепископ Вадим, отстранил от служения в храме, т. к. о. Владимир открыто проповедовал, что ИНН — это зло, что это уже печать антихриста, не какие-то ступени (так говорят многие иркутские батюшки), что принимать ИНН и новые паспорта нельзя. О. Владимир отказался служить литургию с епископом, принявшим ИНН. Помня слова старца Рафаила о том, что есть три пути спасения: исповедничества, мученичества и пустынничества, — мы выбрали самый легкий путь пустынножительства. Поэтому те, кто остался верен, собрались вокруг трех братьев: о. Пантелеймона (монах Оптиной пустыни), о. Владимира (г. Черемхово), о. Виктора (ст. Половина, о. Виктор ушел из своего храма еще раньше, не дожидаясь приказа владыки), а также монаха о. Онуфрия (Оптина пустынь). Построили в поселке храм в честь Ченстоховской иконы Божьей Матери, служим и спасаемся здесь. Ни ИНН, ни паспортов мы принимать не будем, в переписи участвовать не собираемся. О. Пантелеймон и о. Онуфрий ушли из Оптиной пустыни по той причине, что наместник монастыря архимандрит Венедикт, бывший противник ИНН, занял позиции богословской комиссии о том, что ИНН не является духовным вопросом, многие духовники монастыря получили новые паспорта с микрочипами и благословляют своих духовных чад принимать ИНН, пластиковые карты, паспорта и т. п. Вся братия преступно молчит на эту тему. Так как о. Пантелеймон не мог скрыть свой*

Действительно, скандал с «сидельцами» воскрешал вовсе не козни заморских «тоталитарных сект», а, скорее, наш собственный XVII век: образ патриарха Никона, праву книг, гонения на староверов. Переломное время, когда Русская церковь также духовно разделилась на лояльных властям и людей духовно сверхнапряженных, испуганных эсхатологическими ожиданиями. Когда геополитический проект Никона и Алексея Михайловича, мечтавших о русских флагах над Царьградом и литургии в Святой Софии, заставил спешно менять богослужение на греческий лад и санкционировать «книжную праву».

Что такое реформа по-русски, объяснять не нужно. «Праву» поручили творить каким-то мутным грекам, понаехавшим в Москву за «милостью». Народ против «новой веры» роптал, что вызывало ответное раздражение власти. В 1656-м двоеперстие, по совету греков, осудили как «несторианское» (стало быть, и Третий, последний Рим — ересь? — ужаснулся народ). Когда же в огонь полетели древние книги и намоленные иконы, народ догадался и вздрогнул: *антихрист!*

А тут еще под давлением папских амбиций Никона (он, например, внес в «Кормчую» текст знаменитого «Дара Константина», средневековой фальшивки, призванной обосновать претензии римских пап на светскую власть) «симфония» дала трещину, и, рассорившись с тишайшим царем-реформатором, патриарх громко хлопнул дверью, заключившись в своем Новом Иерусалиме и ожидая, когда его позовут обратно... И в самый критический для страны момент патриарх замолчал на целых восемь лет, оставив народ полниться слухами и тревогами. А в 1665 году спешно созвали Собор, выписав для статуса полулегитимных восточных патриархов, которые и отлучили Никона, предав попутно анафеме староверов — противников власти. Душа народа, доведенная апокалипсическими предчувствиями до исступления, окончательно уверилась: *антихрист!* И запылали костры староверов...

В известном смысле раскол действительно оторвал от Церкви ее лучшие силы — те, для кого уклад и быт были не самодовлеющими ценностями, но проявлением внутреннего максимализма в понимании христианства и его применения в истории. Эти люди жили целостным замыслом о христианском мире,

---

протест против этого и открыто призывал бороться с глобализационными процессами, наместник стал его притеснять и перевел с послушания в скиту на работы в монастырский коровник. Поэтому монахи о. Пантелеймон и о. Онуфрий вынуждены были покинуть обитель. Даже слепой способен увидеть, что происходит в мире, куда все двигается. Но наше официальное духовенство пытается нас убедить, что ничего не происходит, что Россию ждет возрождение, а Православие — расцвет, благословляют на ИНН, паспорта, разные карты и карточки или лукаво умалчивают о грозящей опасности. Мы считаем, что такие батюшки, епископы потеряли свою благодатную силу, выбрав хлеб вместо креста, пекутся о земном благополучии и ведут паству в ад, подобно тому, как козел-загонщик ведет стадо на заколение. Они благословляют на экуменистическую молитву и участвуют в ней, фактически сотрудничают с мировым правительством, а в реальной жизни вводят православных в мировой концлагерь — туда, где о православии не может быть и речи, а если и может, то только как о внешней форме, лишенной благодатной жизни Святаго духа. Лариса Синицына.

и не их вина, что сам замысел этот в поздней Византии и особенно в Москве оказался отрезанным от живых источников, от творческого вдохновения ранней Церкви, суженным до Типикона и Домостроя. Но и их противники не Преданием и не истиной питали свою реформу. Новые книги оказались лучше старых, исправнее, осмысленнее. Но иерархия, так легко без углубления в самые источники веры и источники Церкви принявшая эту реформу, слишком легко примет и другие реформы, лишь бы они исходили от власти, были сделаны «по Высочайшему изволению», — писал протоиерей Александр Шмеман.[9]

И не трудно было в разворачивающихся на наших глазах событиях увидеть исторические рифмы, воскрешающие трагедию раскола[10]. Речь снова шла о «книжной праве», о просвещении, то бишь — церковном образовании:

Происходящая на наших глазах трагедия в Пензе, — писал Андрей Кураев, — *это черная метка, посланная церковному учительству, а церковное учительство — это и церковные журналисты, и богословы, и духовенство, и епископат. Это «двойка» нам за нашу бездеятельность перед лицом этой страшной угрозы* <...>

Поражает контраст между тревогами прихожан... и... неизменно-юбилейным благодушием церковных верхов. Поражает несоответствие между многократно, постоянно декларируемой тревогой низов и крайне редкими реакциями со стороны церковного «официоза»... Озабоченность, которую разделяет большое количество прихожан и даже духовенства, никак не становится болью епископата... Если посмотреть епархиальную прессу, то мы окажемся в мире, живущем от юбилея к юбилею, от праздника к празднику. Реальная боль не отражается ни на страницах наших официальных изданий, ни на ежедневной постоянной проповеди епископата[11].

---

[9] *Шмеман А.* Исторический путь православия.

[10] Очень интересно психологию раскола раскрывает протоиерей Георгий Фроловский в своих «Путях русского богословия»: *Раскол не есть Старая Русь, но мечта о старине. Раскол есть погребальная грусть о несбывшейся и уже несбыточной мечте. И «старовер» есть очень новый душевный тип. Раскол весь в раздвоении и надрыве. Раскол рождается из разочарования. И живет и жив он именно этим чувством утраты и лишения, не чувством обладания и имения. Раскол не имеет, он потерял, но ждет и жаждет. В расколе больше тоски и томления, чем оседлости и быта. Раскол в бегах и побеге. В расколе слишком много мечтательности, и мнительности, и беспокойства. Есть что-то романтическое в расколе, — потому и привлекал так раскол русских неоромантиков и декадентов. Раскол весь в воспоминаниях и в предчувствиях, в прошлом или в будущем, без настоящего. Весь в истоме, в грезах и в снах. И вместо «голубого цветка» — полусказочный Китеж... Сила раскола не в почве, а в воле. Раскол — не застой, а исступление. Раскол есть первый припадок русской беспочвенности, отрыв от соборности, исход из истории. И совсем не «обряд», но «Антихрист» есть тема и тайна русского раскола. Раскол можно назвать социально-апокалиптической утопией.*

О том же писал и диакон Андрей Кураев: *Печальный опыт раскола XVII века может оказаться зеркалом, в котором мы увидим свое настоящее, и ответственность за это лежит не только на алармистах.*

[11] *Кураев А.* К вопросу о пензенских сидельцах. — Интерфакс-религия, 16 ноября 2007 года.

Соглашаясь с этими оценками, сам я в пензенском скандале склонен был все же видеть более глубокие корни, о чем и писал в те дни в посвященной сидельцам статье:

...Конечно, «сидельцев» проще назвать «апокалиптической сектой», а последователей чукотского адаманта... кучкой маргиналов, чем отвечать за них перед Богом, совестью и обществом. Но ведет это лишь к тому, что церковные власти стремительно теряют остатки доверия и в церковном народе и в общественном мнении. И пока Москва практикует гламурный вид православия (с праздничными глянцевыми журналами, посещениями православных ярмарок-продаж, помпезными фестивалями), бескрайние просторы родины выбирают «чукотскую версию».

Молчание церкви навевает грустные ассоциации с позднесоветской действительностью (СССР рухнул не столько от «вражеских происков», сколько под грузом собственной лжи и умолчаний — южнокорейский лайнер, Чернобыль, Афган, потеряв всякое доверие даже среди собственных граждан). Отрекаться от своих, пусть и запутавшихся и полубезумных братьев — дело еще более малодостойное и чреватое.

Однажды, предложив главному редактору одного популярного православного издания поднять тему детей-сирот, я получил ответ: «Задницы неграм мы вытирать не будем». А в дни пензенского скандала, напомнив ему о том разговоре, услышал следующее: «Я против маниловщины по спасению негров и китайцев, когда у нас рядом одичавшие пензенские сидельцы». Надо ли говорить, что в собственном его издании небольшое сообщение о пензенцах появилось лишь на четвертой неделе скандала, названы они были там «апокалиптическими сектантами», а сама заметка явилась лишь очередным поводом для пиара ОПК: «Вот если бы в школе им были преподаны... хотя бы самые общие представления,.. они бы не перепутали откровения своего психически больного лидера с Православием»...

Известно, однако, что перед революцией Закон Божий преподавался повсеместно и отнюдь не добровольно, но главными рассадниками революционных настроений при этом становились именно семинарии, точь-в-точь как сегодня — монастыри. И дело, видно, все же не столько в ОПК, сколько в людях — единожды солгав, кто тебе поверит?

...Душа народа не находит в Церкви любви, потому и мечется в страхе, ища ответы на свои мучительные вопросы. Потому и нарастает это противостояние, где одни, позабыв о своем служении, рвутся в эмпиреи власти, а других их сверхнапряженная совесть зовет, в страхе и ужасе, зарываться под землю. И продолжается на русском поле экспериментов очередное испытание Тела Христова на прочность[12]...

Пензенская история являла, иными словами, красноречивый символ.

Не так давно протоиерей Димитрий Смирнов на конференции, посвященной миссионерской деятельности церкви, заметив, что у нас *половина священников сами нуждаются в катехизаторстве*, привел такой пример. Православная семья, восемь детей, один из них болен лейкемией. На его

[12] *Можегов В.* Сидящие в Пензе и молчащие власти. Церковь на грани раскола. — Русский Журнал, 15 декабря 2007 г.

лечение родители истратили последние средства, продали комнату. В результате органы опеки хотят детей отобрать. Но помочь семье никто не может, даже их духовный отец. *Хотя помочь — элементарно: снять трубку и позвонить спонсору* (заметим, что дело происходит в поселке Софрино, где действует гигантский комбинат РПЦ с миллионными оборотами). И вывод, который делал отец Димитрий из этой истории, таков: *Если нормальной благополучной, но очень бедной христианской семье с восемью детьми Церковь не помогает — это есть просто духовная смерть...*

В каком-то смысле констатацией этой «духовной смерти» стала и отчаянная анафема Диомида *участвовавшим в бунте 1917 года*, напомнившая о том, как в 1905 году официальная Церковь, оправдывая расстрел Крестного хода к царю, призывала проклятия на «покусившихся на бунт и измену», а в феврале 1917-го сама с восторгом приветствовала революцию, отрекаясь от царя и помазанника... А уж потом пришли агаряне-большевики, снося стены и алтари (как некогда турки в Константинополь), в которых не осталось ни сердца, ни духа, а лишь *мерзость запустения на святом месте...*

Человека забыли!..

Но, конечно, и история с пензенскими сидельцами никого не вразумила. Зато начало 2008 года ознаменовалось очередным громким скандалом. Фильм Тихона Шевкунова о «священной Византии» (полтора часа беззастенчивой пропаганды и нагнетания ненависти) стал красноречивым свидетельством времени: на смену эпохе воинствующего атеизма XX века идет эпоха воинствующего антигуманизма, главным проводником которой становится, как ни странно, сама Церковь.

Особенно красноречивы были последние кадры фильма: коварный Запад, чудовищные католики, внутренние враги (либералы и интеллигенты). И лишь горстка православных в окружении всего мирового зла спасается за стенами крепости-храма... В сущности — те же пензенские затворники. А еще вернее — заложники этой ненависти, включая сюда весь ассоциативный ряд: Дубровка, Беслан... Или, еще пронзительней: дети-сироты в наших детдомах, Христос в темнице...

О Христе в фильме не было сказано, конечно, ни слова, зато заканчивался он славословием Иосифа Сталина как провозвестника новой великой Византии... Весьма характерно, что «соборное мнение» Церкви (т. е. все церковные журналюги и медийные отцы) одобрило фильм почти безоговорочно. И это, думаю, стало одним из последних «моментов истины» перед последовавшей вскоре катастрофой...

А чуть ранее отец Всеволод Чаплин в большой программной статье изложил свои «Пять принципов православной цивилизации»: *Государство должно иметь духовную миссию, Церковь, народ и власть — одно целое, Сильная центральная власть,Личность и народ— едины,* и т. п.[13] Не правда ли,в принципах этих нетрудно разглядеть лозунги советского модерна, лишь вернув слово «Партия» на место слов «Церковь», «духовность» (и даже «личность»).

[13] Журнал «Политический класс», 2007, № 2.

Характерно, что и в этой «православной цивилизации» имя Христа встретилось лишь раз, по необходимости, в преамбуле (как имя Ленина в передовице «Правды»), а слово «любовь» отсутствовало напрочь. Зато слова «власть», «государство», «империя» и т. д. лились как из рога изобилия (как говорится, *где сокровище ваше, там будет и сердце ваше*).

Примерно в то же время в диалоге с Леонидом Гозманом Всеволод Чаплин заявил: *По-вашему, самое ужасное, что может произойти, — уничтожение людей. Я согласен, это плохо, но для меня есть вещи, которые более важны, чем уничтожение того или иного количества людей или даже жизни всего человечества... это святыни и вера. Жизнь человечества менее важна для меня. И я имею право попытаться убедить общество жить по этому закону*[14].

В «Пяти принципах...» (где тот же тезис явился в новом ярком ракурсе: *жертва... чужой жизнью... есть... норма поведения православного христианина*[15]) существо святынь, превосходящих по ценности «жизнь всего человечества», раскрывалось следующим образом: это *иконы, храмы, богослужебные предметы, священные символы.*

— *Я уверен*, — говорил отец Всеволод (речь заходит о Конституции), — что положение о том, что «человек является высшей ценностью» — *вариант не бесспорный и не разделяемый большинством населения России.*

Здесь особенно интересно наблюдать, как стремительно стройные формулы митрополита Кирилла, простодушно резонируемые его ближайшим сотрудником, скатываются к безумию и тоталитаризму.

То, что ценность «прав человека» может быть равнозначна ценности «святынь», возражений, в общем, не вызывает. То, что на свете есть вещи, за которые можно и жизнь отдать, — дело, ясное даже последнему либералу и интеллигенту. Но как объяснить влиятельному протоиерею РПЦ, что жертвовать своей и *чужой* жизнью — вещи отнюдь не однокоренные и что необходимость жертвовать *чужими* жизнями во время войны есть неустранимый трагизм земного бытия, но никак не «норма поведения»?

Или как объяснить, что «права человека» — это еще не сам человек (как и храм с иконой — еще не Бог)? Не чувствуя этой разницы, о. Чаплин строгий тезис своего патрона волшебным образом обращает в безумие. А еще ниже во взмыленной голове Кирилла Фролова это безумие отбивается канонадой шизофренических лозунгов и в виде истерики выплескивается на улицы. Ясно, что все это не случайно и что через всю эту вертикаль проходит какая-то системная ошибка.

Если высшая ценность человека для государства — вариант не бесспорный, то какой же — бесспорный? Вероятно, Бог? Но слово это Всеволод Чаплин говорить почему-то стесняется (то ли язык не поворачивается, то ли действительно *иконы, храмы и богослужебные предметы* оказываются ближе к телу)... И понятно, что дело здесь — в не чувствии самой сути христиан-

---

[14] http://www.izbrannoe.ru/duel/3202.html.

[15] Приводим цитату полностью: *Жертва своей (а в условиях защиты веры и Отечества даже чужой) жизнью, самоограничение, отказ от своих прав, свободы, достояния ради блага ближнего, ради своей общины и своего народа — это норма поведения православного христианина. — Прим. ред.*

ства, в отсутствии во всей этой пирамиде, построенной «ни на чем», Христа как такового.

В центре христианства стоит идея *личности* (понятие о которой и принес на землю Христос), без которой теряют смысл и иконы с храмами, и прочие предметные символы (ведь живет-то все-таки *личность*, а не святыни). Личность-Бог и личность-Человек соединяются в личности Христа. Личность (по-гречески, *просопон*, то есть находиться напротив) значит — *отношение,* вечное отношение Бога и человека, всего круга людей, составляющих мир. Бог жертвует Собой ради человека. Человек (если он действительно *личность*) в ответ жертвует собой ради Бога. Вот единственно понятное и достойное *личности* отношение — отношение любви. И на этом *отношении* стоит Закон и пророки, и все святыни с храмами и прочими богопредметными символами без этого не стóят плевка на асфальте. Без него Бог превращается в мертвый знак, человек — в безличные «массы», а православие — в большевизм (что и случилось однажды в XX веке).

И когда, излагая одну из любимейших консервативных мыслей, Всеволод Чаплин говорит: *Есть самостоятельно мыслящая интеллектуальная элита, но большинство простых людей формируют свой выбор не самостоятельно, их выбор очень зависим, выбор становиться управляем. Оберегая эту «управляемость», нас не пускают в школы и т. д. И это — очень большая проблема.* В словах этих можно было бы увидеть смысл, если бы стояло за ними Христово: *душу свою полагать за овец.* Но видится за ними, увы, знакомое: намерение, сбив овец в когорты и маршевые роты, устлать их телами путь к очередным сияющим вершинам...

Так и свершается эта грандиозная подмена, превращающая веру (сохраняющую внешне всю свою благообразность) в совершенную в своем роде идеологию. Где евангельское *душу свою полагать за овец* обращается в *жертвовать чужими жизнями*, а *нет большей той любви, как если кто жизнь свою положит за други своя* — в принесение в жертву *священным символам* всего человечества, до последнего человека...

Однако, эксплуатируя готовность русского человека на жертву ради великой цели, наши новые идеологи претерпевают казус. Жертвовать-то своей жизнью русский человек по-прежнему готов. Но скорее не за то, чтобы очередной епископ досрочно получил бриллиантовый крест на митру, а за «чистоту православия» как такового.

И вот уже над воинствующим антигуманизмом, плавно сменяющим на просторах Евразии эпоху воинствующего атеизма, занимается алая заря, предвещающая восход нового светила — солнца православного большевизма.

Скромное обаяние опричнины

Человеку свойственно искать причины своих несчастий вовне. Миг, когда, вкусив в раю плод познания, Адам обвинил в том Еву, а та, в свою очередь, Змея, и стал, очевидно, мигом зарождения первой «теории заговора», вследствие победы которой в умах хозяином положения оказался-таки Змей. Не желая сознаться в своей вине, человек вытеснил себя из рая и отдал себя во власть Змея (ведь не только вина, но и ключ от сознания человека ока-

зались, в итоге, у Змея). И отныне он диктует законы мира, основанного не на любви, но на «*чуде, тайне, авторитете*».

Тезисы последнего по счету мировоззрения, основанного на этой древней теории, хорошо известны: во всем виноваты жиды, католики, масоны, мировое правительство, продажные архиереи и апостасийный мир (в общем, все, кроме меня, любимого).

Но почему именно Иван Грозный? На первый взгляд кажется странным, как могла в православных головах возникнуть идея поставить в центр картины мира и возвести в степень высшей святости тирана (*нечто среднее между Навуходоносором древности и будущим антихристом*, по словам С. Булгакова), перемучившего собственных христиан не в пример больше антихриста первого Рима Нерона? На второй — понимаешь, что по-другому и быть не могло.

Первый русский царь, цезарь «третьего Рима», глубоко проникшийся византийской теорией царства (царь — бог земной) и всерьез возводивший свою родословную к божественному императору Августу, Иван Грозный — одна из самых впечатляющих икон человекобога. По склонности нашей к меланхолии и страданию, присвоив себе власть и атрибуты Бога, Грозный одарил свой народ не благодеяниями и любовью, а... форменным Страшным Судом на отдельно взятой территории, по праву заслужив славу одного из самых кровавых тиранов в мировой истории. Нечто подобное (но уже в парадигмах модерна) повторил в эпоху Третьего интернационала Иосиф Сталин. В наши же постмодернистские времена самообожествление стало законным правом каждого маленького человека (слова Энди Уорхола о всяком, достойном пяти минут славы). И когда советская эпоха с венчающим ее образом «бога на мавзолее» окончательно рухнула в Перестройку, сознание «нового человека — строителя коммунизма» под хаосом и обломками всевозможных идеологий модерна нащупало спасительное каменное дно московщины, с которого ему и открылся вечный идеал грозного человекобога.

Грозный — это Сталин сегодня, даже лучше, поскольку царь, да еще и православный, одним словом, — святой. Для византийско-московского религиозного сознания культ этот, в сущности, ближе и понятнее культа Христа. Неудивительно, что на фоне ельцинского развала он быстро вошел в моду и утвердился в качестве главной народной утопии. Своего духовного вождя новый культ обрел в лице епископа Иоанна Снычева, легендарного митрополита города трех революций.

О митрополите Иоанне покойный митрополит Волоколамский Питирим (один из самых трезвых и мудрых архиереев прошлого поколения) говорил как о человеке до крайности самовлюбленном. Снычева в Патриархии, вспоминал Питирим, просто не воспринимали всерьез. За свою экзальтированность он еще в семинарии получил прозвище «Ванька-хлыст». О его же деятельности в качестве вождя патриотического движения говорил, что *за ней видится чья-то опытная рука, толкающая на необдуманные поступки простодушно верующих людей*. О ней-то, «опытной руке», собственно, и речь.

Немного найдется людей из ныне здравствующих, оказавших такое влияние на состояние умов в современной России, как легендарный «православный экстремист», «жидоед» и «маргинал Христов» (как он сам себя

любит называть) Константин Душенов — личность яркая, неординарная и харизматичная[16]. Бывший военный моряк, главный редактор газеты «Русь Православная», прославившейся борьбой за канонизацию Ивана Грозного и Григория Распутина, долгое время он был пресс-секретарем митрополита Иоанна (издание «Русь Православная» было благословлено митрополитом Иоанном в 1993 году). Он же — фактический автор большинства книг, выходивших под именем владыки (особенно в последние годы). Его перу принадлежит и книга «Самодержавие Духа» — эта библия православного патриота, краткий курс истории Третьего Рима, самые проникновенные страницы которой посвящены апологии Грозного царя.

Конечно, для самих продвинутых патриотов настоящее авторство книги никогда не являлось секретом (стиль и язык ее слишком оригинальны и узнаваемы). Но для сознания неофита имя легендарного митрополита на обложке означало все. Книга «Самодержавие Духа» стала культовой среди православных патриотов. Проект успешно развивался. Но в 1995 году митрополит Иоанн скоропостижно скончался[17]. «Народное православие» осталось без духовного вождя. Однако дело его жило, а книга «Самодержавие Духа» продолжала свою просветительскую миссию (и сегодня, — от маленькой церковной лавки до фешенебельного православного книжного салона, — едва ли встретишь место, где бы она не продавалась), формируя тысячи адептов опричнины по всей России.

Три чукотских мудреца

Митрополит Иоанн был, конечно, человеком, в своем роде, уникальным. Но если второго такого человека было не найти, его можно было вырастить. Прошло десять лет, и из первичного бульона «народного православия» явился владыка Диомид, молодой епископ, взращенный на книгах Константина Душенова. До своего исторического «Обращения» Диомид был известен лишь по выходившим под его благословением «Опричным листкам». Но к 2007 году плод, как видно, окончательно дозрел, и в начале года Душенов инициировал пресловутое «Обращение». Вряд ли без этой «маленькой помощи» сам Диомид на такое решился бы, но отступать было поздно.

---

[16] Сегодня К. Душенов находиться под следствием. Ему предъявлено обвинение по статье 282 УК («Возбуждение ненависти и вражды по религиозным и национальным признакам с использованием СМИ»). Его газета «Русь Православная» была закрыта еще в 2005 году по тем же причинам (главным поводом послужила публикация в марте 2005 года «Письма пятисот» с требованием генпрокурору запретить в России еврейские организации, основывающиеся на человеконенавистнических идеях Талмуда и Шулхан-Аруха).

[17] Интересно, что если предшественник Иоанна знаменитый ленинградский епископ Никодим, отец «экуменической ереси», умер на приеме у папы в Риме, то его антагониста, певца «священного царства», смерть настигла на банкете у тогдашнего мэра СПб Анатолия Собчака в гостинице «Северная корона». *Жена мэра Людмила Нарусова подошла к владыке Иоанну под благословение. Благословив супругу Собчака, митрополит начал медленно оседать на пол*, — пишет архимандрит Августин (Никитин).

Еще один серый кардинал Диомида — Михаил Назаров, креативный автор известного «письма пятисот», публикующий на своих ресурсах самые радикальные тексты диомидовцев. Он тоже написал свою книгу книг — труд «Тайна России» (также ставшую в свое время православным бестселлером), в котором мировая история предстает в виде глобального жидо-масонского заговора. Беседы с этим интересным человеком я в свое время часто слушал по радио «Радонеж», а его главный труд по тому же радио те же святые отцы, что сегодня называют Назарова фашистом и перебежчиком[18], настоятельно рекомендовали как *книгу, которую непременно должен прочесть каждый русский человек.*

Рекомендации святых отцов были, как видно, прилежно исполнены. Константин Душенов с Михаилом Назаровым почти не пропадают из медийного пространства, радио «Радонеж» возглавляет борьбу за нравственность в СМИ, движение народного православия растет и ширится, а епископ Диомид собирает под свое крыло сторонников от Москвы до самых до окраин...

В заключение еще один интересный факт, который я узнал совсем недавно и который, честно говоря, еще как следует в моей голове не уложился. Оказывается, главным редактором газеты «Дух христианина», ведущего печатного органа диомидовцев, запрещенного ныне Синодом, является Галина Симонова, жена известного правозащитника, президента Российского Фонда защиты гласности Алексея Симонова. Сам Алексей Симонов с симпатией относится к Диомиду (*он живет в одной рясе, и дырявой, и летает в ней на мыс Шмидта... Дай бы Бог, чтобы у всех была столь же болезненная и обостренная совесть, как у этого молодого человека...*), но не одобряет его антиэкуменизма: *Все равно мы говорим, что происходит стирание государственных границ, единой деревней становится человечество. Эту тенденцию не изменить, сколько бы они ни боролись ни с ИНН, ни с паспортами. От этой тенденции можно только спрятаться. Точка зрения, что православию это нельзя, ошибочна.*

Чудны дела Твои, Господи!

У разбитого корыта

Однако пора подводить итоги.

На прошедшем Архиерейском Соборе идея «прав и достоинства личности», открывшая эру перестройки в РПЦ, обрела законченную форму «Основ учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека». Тех ярких формул, которыми блистал митрополит Кирилл два года назад, в ней не увидишь. Богословие, право и уличная политика, насильно смешанные здесь, утопили их в дипломатических околичностях (неизбежная плата за службу трем господам — Богу, государству и себе).

---

[18] Еще в начале 80-х, будучи переводчиком в группе советских специалистов в Алжире, Михаил Назаров попросил там политического убежища. Жил в Германии, в Мюнхене, сблизившись с НТС и ультраправыми монархическими кругами. В начале 90-х вернулся. Бывши прихожанином РПЦЗ в Мюнхене, продолжал посещать одну из общин этой структуры в Москве. Остается активным противником объединения с РПЦ.

Не менее красноречива и ситуация на Украине. Понятие «канонических территорий», на котором наша Церковь строит сегодня свою внешнюю политику, есть скорее следствие исконного московского менталитета (исторически занимаемой русским священством ниши между кулачеством и купечеством), чем понятие церковного права (попробуйте представить себе Христа, рассуждающего о «канонических территориях»). У небесной же канцелярии не бывает двойных стандартов. Неудивительно, что прямым отражением мы имеем ситуацию на Украине, где половина приходов РПЦ желает самостоятельного определения на своей собственной (как аукнется...) «канонической территории»...

После скандала в Равенне Русская Церковь оказалась выключена из православно-католического богословского диалога и осталась практически в изоляции в самом православном мире. А грозная тень внутреннего раскола после исторического Архиерейского собора обрела имя, форму и плоть...

И более всего Русская Церковь похожа сегодня на пушкинскую старуху, размышляющую у разбитого корыта о всех перипетиях недавней бурной истории.

Единственным светлым пятном на этом фоне стало то, что визит Алексия II на Украину все-таки состоялся, русский и константинопольский патриархи нашли в себе силы обняться и вместе совершить литургию на Красной горке — в знак подтверждения того, что тысячу с лишним лет назад здесь состоялось Крещение Руси. Правда, походило это больше не на праздник, а на попытку спасти то, что еще можно спасти...

Боль близорука, и смерть расплывчата...

Можно сказать, что Русская Церковь оказалась сегодня перед лицом самого серьезного кризиса, быть может, за последние 300 лет. Конечно, это не только наш, но мировой кризис, не только православия, но и христианства в целом (параллельно нашим событиям можно было наблюдать, например, за перипетиями назревающего раскола в Англиканской церкви).

Однако всякий кризис указывает и на возможности выхода, как говорил Мартин Хайдеггер. И как нетрудно видеть, в основе всех внутренних проблем Церкви лежит, в сущности, одна-единственная — отсутствие любви, отсутствие Христа.

Исправить «перегибы» византийско-московской духовности после крушения большевизма призвана была миссия Антония Сурожского в России. Но Раскол Сурожской епархии эти надежды похоронил (сегодняшний раскол вполне можно расценить и как плату за сурожский кризис), и предсказать сегодня, чего ждать дальше, кажется, невозможно.

Прежний лидер фундаменталистов, митрополит Иоанн (Снычев), при всем своем эксцентризме был все же человеком модерна — человеком с сугубо дуалистическим сознанием, предполагающим не один лишь абсолютный «образ врага», но и этику солдата с ее послушанием и ответственностью (фортель вроде анафемы патриарху он, конечно, никогда бы не выкинул). Но в нынешние времена церковного постмодерна (самыми яркими представителями которого и являются закадычные враги — епископ Дио-

мид и митрополит Кирилл) ожидать можно самого неожиданного. За пророчествами же обращаться лучше к культуре.

Церковь — сердце мира. А из сердца, как известно, *исходит все добро и все зло.* Потому то, что происходит в Церкви, есть в то же время и верная модель мира. Особенно это верно в России, где любые сугубо «внутренние дела» оказываются, в конце концов, выражением самых общих тенденций. И чем может быть чреват раскол в Церкви — сердце нашего духовного организма, знает только Бог. Но когда смотришь на ситуацию в наших монастырях (оплотах православия) и крепнущие связи иерархии со светской бюрократией, на фоне той социальной катастрофы, в которой мы все еще пребываем, и тех внутренних и внешних потрясений, на которые так щедро наше время, перспектива сорокинского «Дня опричника» вовсе не кажется столь уж фантастической.

Забывая о человеке как образе Бога, православие превращается в идеологию, заключается в «священный эгоизм». Но не может Церковь служить *сама себе*, не может быть «партией», она должна быть силой, стоящей над политикой, ее миссия — быть совестью нации. И только в этом качестве она может служить Богу, становясь поддержкой человеку и обществу. Идя же путем компромиссов между *Ксерксом и Христом* (по выражению Владимира Соловьева), Церковь оказывается в состоянии перманентной шизофрении, которая в кризисные времена и полыхает яркими вспышками «чукотских адамантов». Отказ от вечных измерений личности и от своего вселенского духа делает неясными и догматические очертания.

С другой стороны, всевозможные теократические теории «священного царства» (не имеющие отношения ни к здравому смыслу, ни к вообще реальности) делают участие Церкви в общественно-государственном строительстве вполне «виртуальным». И возможно, спорадические грезы молодых православных фундаменталистов о Pax Orthodoxia, соборах-небоскребах, километровых голографических крестах и «Силиконовой Фиваиде» и вызовут у искушенных лишь деловитый вопрос: какую траву курите? Но востребованность этих «кремлевских мечтателей» говорит лишь о слишком расплывчатом состоянии церковного духа. А при имеющемся «богословском вакууме» эта Mania grandiosa вполне способна вскормить своей «силиконовой грудью» очередного тирана.

Ясно, во всяком случае, что если любовь к «священным символам» у нас снова победит *любовь к Христу и ближнему*, новых маленьких фюреров и иванов грозных хватит на то, чтобы преподать нам новый (и уже, видимо, последний) урок большевизма.

Ведь вне своего вселенского духа, вне милосердия (невозделанные поля которого в современной России необозримы и давно поросли быльем) православие есть *не вечный ответ миру на его тоску, надежду, и стремление*, а лишь *уход в уютные душевные тупики* (о. Александр Шмеман), произрастают в которых, как видим, весьма грозные чудища. И очевидно, что если ничего в этом смысле не изменится в нас, изменится мир вокруг, как неожиданно изменился он в феврале-октябре 17-го, чтобы еще раз доказать, что мир без милосердия — это не мир, а революция, хаос, война и тирания.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
в зеркале прессы
(июнь – август 2008)

(Краткий обзор)

Архиерейский собор

С 24 по 29 июня в Москве, в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, прошел очередной Архиерейский собор Русской Православной Церкви. По уставу РПЦ, принятому в 2000 году, Архиерейский собор проходит раз в четыре года и является основной формой соборной деятельности (сроки созыва Поместного Собора определяются Архиерейским Собором; в исключительных случаях Поместный Собор может быть созван Патриархом Московским и всея Руси (Местоблюстителем) и Священным Синодом — Устав II.2).

В ходе пленарных заседаний и встреч тематических рабочих групп 183 архиерея из двадцати стран мира рассмотрели многочисленные вопросы церковной жизни.

На работу собора откликнулись не только основные новостные ленты, но и многочисленные издания. Аналитические статьи, касающиеся основных документов, появлялись не только по свежим следам, но и полтора-два месяца спустя.

Основные темы были отмечены еще в ходе работы собора в статье **Григория Туманова «Православная декларация прав человека» («Газета»**, 26 июня). Сообщив, что *рабочая группа Архиерейского собора приняла два «особо важных для церковной жизни документа: положение о церковном суде и концепцию прав человека»*, автор кратко резюмировал суть того и другого: *Согласно принятым изменениям, общецерковный суд, раньше являвшийся судом лишь первой инстанции, стал также судом второй инстанции, получив возможность рассматривать апелляционные жалобы.*

Второй утвержденный рабочей группой собора документ — «Основы учения РПЦ о достоинстве, свободе и правах человека» — был принят единогласно. Основная идея документа — представить взгляд Московского Патриархата на права человека, трактовка которых в современном либеральном обществе, как отмечают в РПЦ, зачастую идет вразрез с христианскими ценностями. Участники Архиерейского собора между тем подчеркивают, что «Основы» являются, прежде всего, церковным документом, принятым с той целью, чтобы *пастыри и миряне руководствовались бы им в своей общественной деятельности, дискуссиях, преподавании общественно значимых дисциплин.*

В ходе послесоборного обсуждения наибольшее внимание прессы привлекли «Основы учения о достоинстве, свободе и правах человека».

Игумен Филарет (Булеков), представитель Московского Патриархата в Страсбурге, в статье **«Право на позицию» («Ведомости»**, № 126 [2148]), 10 июля) прокомментировал появление этого документа так: *Церковь не ставит перед собой задачу комментировать или критиковать отдельные меж-*

дународные документы по правам человека, созданные и принятые в разных исторических обстоятельствах (такие, например, как Всеобщая декларация прав человека 1948 года и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1953 года). Она работает именно с базовыми понятиями этой концепции, прежде всего с понятиями достоинства и свободы, которые имеют христианские корни.

Предлагая свое толкование прав и свобод человека, основанное на религиозных представлениях, Церковь вступает как полноправный участник в ту живую дискуссию, которая ведется на национальном и международном уровнях и, собственно, как раз и является причиной постоянной эволюции самой концепции прав человека. Автор выражает надежду на то, что *этот документ будет воспринят правозащитным сообществом, включая такие авторитетные международные организации, как Совет Европы, как шаг навстречу в диалоге с религиозными сообществами, шаг союзников в деле защиты прав и достоинства человека.*

«Литературная газета» (9 июля) откликнулась на тот же документ подборкой мнений под общим заголовком **«Чин и почитание. Архиерейский собор высказался о православном понимании прав человека»**. Один из авторов комментариев, **диакон Владимир Нежданов**, считает, что *завораживающие многих обывателей картинки разврата, насилия, неприкрытого стяжательства нравственно убивают прежде всего молодежь, наше будущее. Можно сказать, что Архиерейский собор РПЦ как никогда (по крайней мере в новейшие времена) близко подошел к проблемам, доселе считавшимся сугубо светскими. Грань между светским и духовным надуманна, эфемерна, и собор показал, что такого разделения в природе не существует. А формулу «отделения церкви и государства» нельзя принимать как безусловную или даже принципиально верную. Проблемы общества, все, чем живет наш народ, не могут не затрагивать Русскую Церковь, и эту мысль в своих выступлениях четко выразили практически все ее иерархи.*

Тема церковного суда также возникала в некоторых статьях. Так, **«Российская газета — Кубань»** (№ 4702, 9 июля) разместила не только объемное **интервью** с избранным на соборе председателем церковного суда митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором, но и справку-комментарий, где автор, **Елена Лубинец**, отметила, что, *по мнению сотрудников правоохранительных органов, такие суды смогут оказать также значительную помощь в борьбе с тоталитарными сектами и теми, что маскируются под различные религиозные организации.*

В опубликованном в Интернете еще перед собором, 22 июня, обращении **протоиерея Павла Адельгейма** к Архиерейскому Собору говорится: *Обращаюсь с покорнейшей просьбой не утверждать «Временное положение о церковном судопроизводстве для епархиальных судов», поскольку его положения нарушают принципы правосудия, принятые Вселенскими канонами, правилами св. отцов и в международной правовой практике. Даже если называют суд «церковным», за ним сохраняется основная задача — осуществлять правосудие. Правосудие наказывает виновного и оправдывает невиновного. «Положение» имеет обратный смысл — нарушает сущность правосудия, лишая подсудимого всех прав: 1. Право знать, в чем обвиняют подсудимого (нет обви-*

нительного заключения; не бывает конкретно сформулированного обвинения). 2. НЕТ презумпции невиновности. 3. НЕТ права на отвод суда. 4. НЕТ права на квалифицированную защиту. 5. НЕТ права знакомиться с протоколами судебных заседаний и приносить замечания на протокол. 6. Закрытое разбирательство дел в епархиальном суде (Положение, ст. 4). 7. Епископ совмещает функции судьи, обвинителя и заинтересованной стороны. 8. НЕТ права обжаловать решение суда. 9. НЕТ кассационных инстанций, заявленных Уставом. 10. Судьи зависимы и не могут поступать по канонам и совести... Этот список можно продолжить, но сказанного достаточно для оценки неправосудности. Ни вторая инстанция (пока не существующая), ни Синод не разобрались с судебными преступлениями, приведшими за прошедшие годы к осуждению невиновных и награждению правонарушителей. Мое письмо не содержит многочисленных фактов. Если они потребуются, материал подготовлен (**Сайт «Предание»**, http://predanie.org/content/view/169/16/).

Виталий Третьяков в статье **«Пастыри, кесари и вольтеры»** (**«Известия»**, 3 июля) особо отметил присутствие президента Медведева на торжественной литургии, которой завершилась работа Собора, а также выступление премьер-министра Путина с более чем благосклонной по отношению к Православной церкви речью. Автор задался вопросом: *Имеют ли моральное и политическое право современные кесари, читай: президенты и главы правительства России, светской республики, участвовать в церковных мероприятиях и вообще с Церковью взаимодействовать*? — и пришел к выводу, что надо взять пример с Вольтера и признать, что *сегодняшней России теснейшее взаимодействие между РПЦ и государством совершенно необходимо.*

Сайт Свято-Филаретовского института (**«Архиерейский собор дал более сорока практических рекомендаций по возрождению общинной жизни»** (http://www.sfi.ru/rubrs.asp?rubr_id=10093&page=6) рассказал о заключительной пресс-конференции, коснувшись тех моментов, которые почти не освещались в СМИ, хотя и находились в центре внимания собора. *Отвечая на вопрос главного редактора газеты «Кифа» Александры Колымагиной о рекомендациях собора в связи с неоднократно упоминавшейся задачей возрождения общинной жизни на приходах,* ***архиепископ Берлинский и Германский Марк*** *сказал: «Собор широко и очень живо обсуждал вопросы церковной жизни, в том числе приходской и монастырской. Рекомендации, которые дала рабочая группа, очень широкие. Там около сорока пунктов, которые были предложены к обсуждению собора — начиная от приходского детского сада до университета».* В ответ на вопрос редактора студенческого журнала МДА «Встреча» Петра Королева, какие важные решения по поводу духовного образования были приняты на соборе, **митрополит Калужский и Боровский Климент** отметил, что собором была положительно оценена прошедшая в российских духовных школах реформа духовного образования. Он также сказал, что Учебному комитету было поручено обратить особое внимание на письменные работы, в том числе ученые диссертации, которые подают окончившие как семинарию, так и академию. На вопрос газеты «Кифа», как православным изданиям помочь своим читателям отличать движение, развитие и многообразие, свойственное всему живому, от внешних и отчасти принудительных «реформ» и не воспринимать катастрофически любое живое дви-

жение в церкви, **митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл** сказал, что необходимо прежде всего обратить внимание на такие документы собора, как постановление по вопросу о внутренней и внешней деятельности. Именно они помогут понять, как не поддаваться духу мира сего и одновременно оставаться открытыми современному обществу, способными говорить с людьми о волнующих их проблемах.

На пресс-конференции говорилось также о проблемах единства церкви на Украине, о впечатлениях иерархов РПЦЗ от участия в работе собора, — иначе говоря, о самых разных вопросах, касающихся одной и той же насущной проблемы: церковного единства.

Война в Южной Осетии

Восьмого августа было обнародовано заявление **Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II:**

Узнав о боевых столкновениях в Цхинвали и его окрестностях, призываю противостоящих прекратить огонь и вернуться на путь диалога. Сейчас на земле Южной Осетии льется кровь, и гибнут люди, о чем глубоко скорбит мое сердце. Среди тех, кто поднимает руку друг на друга,— православные христиане. Более того, столкнулись друг с другом православные народы, призванные Господом жить в братстве и любви... Русская Церковь готова объединить усилия с Церковью Грузинской для содействия достижению мира. Бог наш, Который «не есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор 14:33), да будет нам в этом Помощником (сайт **«Патриархия. Ру»** http://www.patriarhia.ru/db/text/446337.html).

В этот же день, по сообщению агентства **«Интерфакс»**, Грузинская Патриархия распространила заявление, в котором **Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II** призвал паству Грузинской Церкви усилить молитву за мир. Он также обратился к России, США и европейским странам с призывом сделать все, чтобы конфликт в Южной Осетии решился мирно. *Мы ни с кем не воюем — мы пытаемся защитить нашу исконную землю. Мы считали их (осетин) и считаем нашими братьями, и мы призываем их остаться так же братьями*, — заявил предстоятель Грузинской Церкви. При этом он подчеркнул, что *время пройдет, и все уляжется, а народы вновь будут дружить, как и прежде.*

Прекратить огонь призвал стороны **Папа Римский Бенедикт XVI**. Понтифик сказал, что ему больно получать сообщения о невинных жертвах и многочисленных беженцах. *Я уповаю на то, что военные действия будут незамедлительно прекращены, а также на то, что во имя их христианских ценностей стороны воздержатся от дальнейших столкновений и боевых действий*, — заявил Бенедикт XVI. — *Я призываю международное сообщество и державы, пользующиеся особенным влиянием в сложившейся ситуации, приложить все возможные усилия для того, чтобы найти мирное решение* (**«Патриархия. Ру»** http://www.patriarhia.ru/db/text/446923.html).

«Российская газета» (13 августа), рассказывая о преступлениях агрессоров, приводит чудовищный случай: когда в церкви Пресвятой Богородицы в Цхинвали укрылись дети и женщины, и церковь сожгли вместе с ними.

Как пишет газета **«КоммерсантЪ»** (14 августа), после пятидневной войны в Южной Осетии уничтожено немало памятников архитектуры, главным образом, храмы. Министерство культуры РФ заявило о подготовке материалов по документированию этой культурной катастрофы.

14 августа, после окончания военных действий, состоялся телефонный разговор предстоятеля Грузинской Православной Церкви с главой Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Кириллом. По сообщению службы коммуникации ОВЦС, опубликованном на сайте **«Патриархия. Ру»**, *участники беседы обсудили трагические последствия событий последней недели с особым акцентом на положении мирного населения в зоне военного конфликта.*

Дав положительную оценку миротворческой позиции двух Церквей, стороны договорились о продолжении контактов и сотрудничества в целях преодоления тяжелейших последствий военного противостояния для мирных жителей.

Дело епископа Диомида

На Архиерейском соборе Русской Православной Церкви было принято несколько важных документов. Однако наибольший интерес прессы вызвало рассмотрение соборянами «дела Диомида».

Епископ Диомид обвинялся в том, что в течение последних полутора лет выступал с обращениями, в которых резко критиковал патриарха и членов Священного Синода за экуменизм, миссионерскую деятельность и пренебрежение мнением мирян.

По сообщению газеты **«Московский комсомолец»** (27 июня), на заключительном заседании участники собора абсолютным большинством проголосовали за извержение Диомида из сана за непослушание священноначалию. *Собор призывает его к немедленному покаянию и прекращению деятельности. В случае отказа решение Собора вступает в силу.* Определен срок, в течение которого епископ должен принести покаяние, — до следующего заседания Священного Синода РПЦ.

«Новые известия» (30 июня) обращают внимание читателей на то, что епископ, имя которого еще полтора года назад было известно только на Чукотке, затмил популярностью всех архиереев РПЦ и обрел немало поклонников. *Тому есть свежие примеры. На протяжении всей прошлой недели возле Храма Христа Спасителя стояли пикеты «диомидовцев», в адрес Собора поступило обращение почти 20 тыс. клириков и мирян, поддерживающих Диомида.*

С «Новыми известиями» солидарны **«НГ-Религии»** (27 июня), назвавшие мятежного епископа *звездой Собора.* Издание пишет: *в ближайшее время возникнет новая параллельная церковная структура, маргинальная, никем не признанная, но очень активная и шумная. Впрочем, почему «возникнет»? Она уже существует и успешно встраивается в ультраконсервативную православную сетевую структуру. Достаточно вспомнить, что объявления о крестном ходе в поддержку Диомида публиковались на сайте газеты «Русь православная».*

После Архиерейского собора в Анадырь прибыл архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк, назначенный временным управляющим Анадырской и Чукотской епархией вместо епископа Диомида. Епископ же Диомид, не дожидаясь собственного отлучения от Церкви, предал анафеме патриарха Алексия II и предложил судить его и других архиереев РПЦ. Об этом пишет **«Газета. Ру»** (17 июля). Интернет-издание приводит слова **протоиерея Всеволода Чаплина**, считающего, что если бы Диомид вступил в открытый диалог со своими собратьями архиереями, все можно было бы изменить — *открыта была бы (и до сих пор открыта) дверь к покаянию.*

«КомерсантЪ» (18.07) приводит высказывание политолога **Александра Дугина**: *Раскола не будет, но внимание к этому скандалу будет огромное. Это встряхнет РПЦ, и руководство Церкви вынуждено будет усилить фундаменталистское крыло.* В то же время газета приводит мнение и сторонника мятежного архиерея, одного из руководителей «Союза русского народа» **Михаила Назарова**, который считает, что Диомида поддержит четверть верующих РПЦ.

В Московской Патриархии пока воздерживаются от однозначных комментариев по поводу демарша экс-епископа. Речь идет о заявлениях, распространяемых через Интернет, и следовательно, нет никакой гарантии, что они действительно исходят от самого Диомида, — сообщает газета **«Время новостей»** (18 июля).

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл выразил надежду, что изверженный из сана епископ покается. *Если владыка Диомид приедет на Синод, то будет разбирательство его дела, а вот что в результате произойдет, будет зависеть от позиции самого владыки Диомида*, — отметил митрополит Кирилл (**«Вести»**, 29 июля).

1020-летие крещения Руси

Исполнилось 1020 лет крещения Руси. Эту «некруглую дату» отметили в России. Но главные торжества прошли на Украине, в Киеве.

Газета **«КоммерсантЪ»** (25 июля) выделила прежде всего политическую составляющую праздника: *В российско-украинском противостоянии появился новый фронт — религиозный. Украинские власти пытаются использовать празднование 1020-летия Крещения Руси, чтобы добиться объединения всех украинских православных церквей и убедить Константинопольского патриарха Варфоломея признать Украинскую Православную Церковь Киевского патриархата, которую в Москве называют раскольнической. Москва же сделала все возможное, чтобы не допустить подобного сценария. В последний момент под разными предлогами от поездок в Киев отказалось большинство глав поместных Православных Церквей.*

И все-таки торжества в Киеве были достаточно представительными. Об этом проинформировало своих слушателей радио **«Свобода»** (26 июля). В Киеве встретили Вселенского патриарха Варфоломея I. Прямо у трапа самолета его приветствовал глава государства. *В пятницу Константинопольский патриарх посетил Киево-Печерскую лавру и собор Святой Софии, где освятил восстановленные царские врата и колокола звонницы. В этом же храмеВселен-*

ский патриарх отслужил молебен, а затем он и президент Ющенко выступили с обращением к украинскому народу на Софийской площади. На расположенной рядом Михайловской площади Варфоломей I провел панихиду по жертвам голодомора на Украине в начале 30-х годов минувшего столетия.

Для участия в торжествах по случаю юбилея Крещения Киевской Руси на Украину прибыл и Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Последний раз он посещал украинскую столицу 18 лет назад, и тогдашний визит был омрачен столкновениями между его сторонниками и противниками. В воскресенье Алексий II совершил Божественную литургию на Владимирской горке в центре Киева вместе с Варфоломеем I.

Газета **«Время новостей»** (28 июля) подробно описала события в центре Киева: *На рассвете на Владимирскую горку, где должно было состояться торжественное богослужение, были стянуты повышенные силы милиции и киевского ОМОНа, которые к 8 часам утра полностью перекрыли доступ верующих. Городские власти объясняют столь ревностную заботу о безопасности тем, что вокруг помоста, на котором проходила служба, и так уже собралось большое количество народа. И во избежание давки всех остальных желающих пришлось «отсечь». Однако, как свидетельствуют очевидцы, внутри оцепления оставалось достаточно места. Реакция большинства верующих была однозначной: «нас не хотят пустить к нашему патриарху». «То, что нас, канонических православных, не пустили на службу, говорит о том, что это заранее спланированная акция,— заявила агентству Интерфакс одна из женщин, не допущенных на литургию. — Мы хотим видеть своего патриарха. Он приехал сюда ради нас, ради нашего праздника. Мы здесь на своей намоленной земле, а не в гостях у кого-то!»*

«Алексий, Алексий!» — начала скандировать многотысячная толпа верующих, когда Константинопольский и Московский патриархи подходили к Владимирской горке. Во время самой литургии большей части присутствующих пришлось молиться прямо на проезжей части перед милицейскими и омоновскими кордонами. Многие верующие стояли на коленях, некоторые держали в руках плакаты «Автокефалии — нет!».

«НГ-Религии» (28 июля) обратили внимание на формат участия предстоятеля Украинской Православной Церкви Московского Патриархата митрополита Владимира (Сабодана) в праздничных мероприятиях: *Несмотря на видимое со стороны плохое самочувствие, он сумел принять участие и в «варфоломеевских», и в «алексиевских» торжествах. При этом никто из глав других православных церквей Украины на них не присутствовал.*

Подвел итоги юбилея главный редактор сайта «Православие в Украине» священник УПЦ МП **Андрей Дудченко («Православие в Украине»**, 30 июля): *Впервые за всю историю в Киеве встретились патриархи Константинополя и Москвы. И не просто встретились, а вместе совершили Божественную литургию и причастились Святых Таин, показав тем самым, что, несмотря на определенную разницу во взглядах, все мы составляем единую Церковь Божию во Христе. И это, пожалуй, было самым главным событием прошедших празднований. Каждый из патриархов считает свою Церковь матерью для Украинской: Константинополь по причине исторической, ведь именно из Царьграда Русь приняла свет веры и церковную иерархию, а Мос-*

ква — по факту нынешнего вхождения УПЦ в Московский Патриархат. Правда, патриарх Варфоломей назвал «аннексией» вхождение Киевской митрополии в состав Московского Патриархата и заявил, что оно произошло вопреки канонам, но фактически признал существующее положение. <...>

Хотя мы не знаем точно содержания переговоров двух патриархов с глазу на глаз, которые состоялись вечером 27 июля, но известно, что предметом обсуждения была ситуация в Украине, — пишет автор. — И принята договоренность, что главными «игроками» процесса объединения православных в Украине будут Москва и Константинополь. Дальнейшее обсуждение путей уврачевания раскола в Украине не заставит себя долго ждать. Украинский вопрос может быть вынесен на рассмотрение в октябре этого года на Всеправославном совещании на Родосе, куда Вселенский патриарх лично пригласил патриарха Московского.

Кончина Александра Солженицына

Ушел из жизни классик русской литературы Александр Солженицын.

Александра Исаевича похоронили на старом кладбище Донского монастыря 6 августа. Пять лет назад он письменно обратился к патриарху Алексию II с просьбой похоронить его именно здесь: *По сердцу мне духовная, благоговейная и так неразрывно связанная с патриархом Тихоном обстановка Донского монастыря.*

Газета **«Известия»** (6 августа) подробно рассказала о прощании с писателем: *Всю ночь гроб с телом Александра Исаевича простоял в соборе, где до утра студенты Московской семинарии читали заупокойную. К 9 утра в храме собрались родственники, викарий патриарха архиепископ Орехово-Зуевский Алексий начал литургию. На литургии присутствовал и президент, пришедший с букетом бордовых роз и все время службы простоявший возле гроба.*

После панихиды, примерно в полдень, гроб — на плечах почетного караула — понесли из собора к могиле, и люди, сгрудившись на нешироких тропинках, пошли за ним. Среди них было немало известных и при этом чрезвычайно разномастных: мэр Москвы Юрий Лужков, глава ТПП Евгений Примаков, президент РАН Юрий Осипов, актер Сергей Юрский, поэтесса Белла Ахмадулина, режиссер и сценарист Станислав Говорухин, писатель Эдуард Лимонов.

...После краткой заупокойной службы, литии, без речей, гроб опустили, раздались заставившие многих вздрогнуть оружейные залпы: Солженицына как ветерана Великой Отечественной хоронили с воинскими почестями. Вдова Наталья Дмитриевна, сыновья, президент, а потом и все желающие бросили в могилу по горсти земли.

Газета **«Кифа»** (10 августа) опубликовала интервью с главой французского издательства «ИМКА-Пресс», основным издателем и близким другом А. И. Солженицына **Никитой Струве.** *Я не могу сказать, что был его другом, потому что всегда чувствовал его трансцендентность*, — сказал Струве. — *У меня всегда было чувство, что он намного выше по своему призванию, по своей судьбе. Он мне говорил, что судьбу свою он не построил собственными*

руками, но был ей послушен. Александр Исаевич всегда считал, что провидение, надмирная сила ведет его. Его, как и Достоевского, отличало «касание мирам иным»

Он был свидетелем, глашатаем правды, и, кроме того, основное у него то, что он человек, все его творчество — гимн человеку, который остается человеком во всех обстоятельствах. У Солженицына «человек» звучит свято, добро, это есть венец творения, но если человек готов на страдания, на самоограничение во всех смыслах. Все его творчество — это реабилитация человека в самом бесчеловечном веке.

«НГ-Религии» (20 августа), рассказывая о похоронах, вспоминают знаменитое «Великопостное письмо» Солженицына 1972 года, обращенное к патриарху Пимену. Издание цитирует строки из этого документа: *По любому злу в дальней Азии или Африке Русская Церковь имеет свое взволнованное мнение, лишь по внутренним бедам — никогда никакого. Почему так традиционно безмятежны послания, нисходящие к нам с церковных вершин? Почему так благодушны все церковные документы, будто они издаются среди христианнейшего народа? От одного безмятежного послания к другому, в один ненастный год не отпадет ли нужда писать их вовсе: их будет не к кому обратить, не останется паствы, кроме патриаршей канцелярии!* Статья заканчивается отнюдь не риторическим вопросом: *Почему Церковь так и не поддержала призыв архиепископа Виленского и Литовского Хризостома (Мартишкина), заявившего на Архиерейском соборе 1992 года о необходимости Церкви очиститься от этой печальной страницы прошлого?*

Академик РАЕН **Валентин Никитин** в интервью интернет-изданию **«Портал Кредо»** (10 августа) отметил, что *Солженицын не только **казался** (например, оракулом и пророком), но и **был** таковым — редкое качество людей с подлинной харизмой. И коренится оно, безусловно, в глубокой религиозности, в чутком следовании своему человеческому предназначению и писательскому призванию. Писатель всю жизнь боролся за подлинную духовность, против ее девальвации». Никитин отметил, что «над могилой новопреставленного раба Божия Александра после ружейного залпа прозвучала величественная мелодия духовного гимна «Коль славен наш Господь в Сионе». Это песнопение (музыка Дмитрия Бортнянского) было национальным гимном России, именно его вызванивали куранты на Спасской башне Кремля несколько десятилетий, вплоть до октябрьского путча 1917 года, и именно «Коль славен» исполняют и сегодня в русском зарубежье в случае торжественных собраний. Мелодия другого гимна, с некоторых пор вновь ставшая привычной в России, была бы недопустимо-вопиющим диссонансом.*

Александр Солдатов в журнале **«Огонек»** (№ 33, 11–17 августа) поместил большую статью **«Был пророк в своем Отечестве»**. Автор приводит слова соболезнования митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла: *Пророческое служение, которое почивший нес долгие десятилетия, помогло многим людям обрести путь к подлинной свободе.* Журналист напоминает, что в Америке Солженицын всерьез увлекся старой верой. Из своего «вермонтского затвора» он ездил за тысячи километров в «противоположный» американский штат Орегон, где находится самый крупный старообрядческий приход Белокриницкого согласия в США, и молился там.

Продолжая «церковный ракурс», Солдатов говорит о том, что Солженицын активно подталкивал РПЦЗ к канонизации всего сонма новомучеников и исповедников российских XX века, которая наконец состоялась в 1981 году. Он лично предоставил множество документов о мучениках на Собор Зарубежной церкви.

Завершается статья словами: *Он не был «своим» для этого мира, он был пророком, пришедшим из какого-то иного пространства — из той России, которую мы потеряли навсегда, потому что не сумели жить не по лжи.*

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины

РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ
в русской периодике второго квартала 2008 г.

Наш очередной обзор периодики снова окажется большей частью посвящен истории церковно-государственных отношений в XX веке. Что делать, эта тема практически неисчерпаема, а новые интересные публикации продолжают радовать читателей.

Начнем с публикации известного петербургского историка церкви и обновленческого движения **Михаила Шкаровского**, чью статью **«Советское государство и "советская Церковь"»** публикует портал «Богослов.Ру» (http://bogoslov.ru/text/311837.html). Напомним, что обновленчество — это движение, возглавили которое в основном представители московского и петербургского духовенства (протоиерей Александр Введенский, епископ Антонин (Грановский), протоиерей Владимир Красницкий и др.). Первые признаки обновленческого движения, которое выступало за проведение ряда радикальных реформ, литургических, канонических и иных (сокращение или отмена постов, реформа богослужения, отмена безбрачия для епископата и возможность принятия епископского сана представителями белого духовенства), появились еще после событий 1905 года, а пик активности обновленцев приходится на 20-е годы прошлого столетия.

Автор статьи справедливо считает, что одна из причин распространения обновленчества — кризис Российской Православной Церкви накануне октябрьского переворота 1917 года и падение ее авторитета: *Существовавший в начале XX в. кризис Церкви имел в своей основе ее тесную зависимость от государственной власти, своеобразную «симфонию властей», вследствие чего православие понималось не как институционально оформленная религия для верующих, а как опора самодержавной власти. Это противоречило вероучительному фундаменту Церкви, которая стремилась к свободному развитию в соответствии с православными канонами. В начале XX в., в условиях бурного развития капиталистических отношений и возникновения в России новых форм социальной жизни, Православная Церковь не имела собственной, глубоко теологически разработанной социальной доктрины. Разделяя политическую культуру самодержавия, Церковь начинала все более не соответствовать духу времени, что делало ее не только социально невостребованной, но и приводило к сокращению числа православных верующих.*

Далее автор, останавливаясь на раннем этапе обновленческого движения (до 1917 года), дает ему следующую характеристику: *Обновленческое движение начала XX в. не ограничивало свои требования реформой церковного управления, однако при этом было против каких-либо радикальных догматических и канонических реформ в православии.* Иными словами в центре внимания обновленцев уже тогда были церковно-государственные отношения, которые необходимо было пересматривать ввиду слишком тесной связи церкви и монархии, которая существовала не только в реальности, но и в устойчивом мифе о роли православия в обществе. Шкаровский так-

же отмечает, что многие идеи раннего обновленчества находили поддержку в церковных кругах и даже отчасти повлияли на повестку дня Поместного собора 1917–1918 годов. В дальнейшем взгляды обновленцев все более радикализировались, постепенно склоняясь в сторону «советской церкви», а отдельные представители обновленчества (например, о. Владимир Красницкий) и вовсе сотрудничали с компетентными органами. В свою очередь и Советская власть пыталась расколоть Русскую Церковь, поддержав обновленцев как наиболее лояльную «церковь». Впрочем, поддержка властей была недолгой, и постепенно обновленчество дискредитировало себя, что привело к дальнейшим расколам внутри самого движения и к его дальнейшей политизации. В заключение автор делает важное замечание о том, что обновленчество дискредитировало саму идею обновления Церкви, и последствия этого мы ощущаем до сих пор, поскольку *процесс подлинного обновления русского Православия оказался прерван в самом начале.*

Еще одну важную публикацию по истории церковно-государственных отношений помещает на своих страницах журнал «Неприкосновенный запас» (№ 3 [59]). Речь идет о статье историка **Николая Митрохина «Советская власть, церковь и верующие в послевоенный период»**. Эта работа представляет собой краткий анализ современного состояния исследований в области церковно-государственных отношений в СССР во второй половине XX века.

Автор выделяет два типа ученых: те, кто стал писать об этих проблемах сразу после перестройки, и те, кто занялся исследованиями в данной области лишь в конце 90-х годов прошлого столетия. Николай Митрохин отмечает, что до сих пор существуют сложности с доступом к источникам и архивам, что имеет следствием слабую изученность темы. Общая картина выглядит следующим образом: религию курировала в составе Отдела пропаганды ЦК КПСС особая группа по религиозной проблематике, не имевшая специального названия, в которую в 70-е годы входил один человек. При этом остается непонятным, кто и как в ЦК координировал масштабную антирелигиозную кампанию в 50–60 годы. С другой стороны, за религией присматривали и люди из КГБ СССР, работавшие в религиозном отделе. Детализировать эту картину не позволяет отсутствие информации, так как многие архивные материалы засекречены по сей день. Остаются неизученными также особенности советского религиоведения и характер антирелигиозных публикаций в советской печати после Второй мировой войны. Неизвестна и религиозная динамика в различных общинах в советское время: *Какова была обрядность в конкретных приходских общинах разных конфессий? Насколько приходские обычаи различалась в рамках одной и той же религиозной организации? Какова была «народная» религиозная обрядность, не связанная рамками определенной общины, но находившая свое выражение, например, в почитании «святых мест»? Какие технические, культурные и идеологические новации проникали из «советского» мира в рамки религиозных общин? Ведь, например, в 1950–1960-е годы в провинциальных храмах происходит подлинная техническая революция: туда проводят электричество, воду и телефон.* Мало известно и о подробностях экономической жизни приходов того времени. Одним словом, бытовая и приходская жизнь позднесоветского периода остается практически неизученной.

Журнал «Неприкосновенный запас» (№ 3 [59]) предлагает интересный очерк об истории взаимоотношений Церкви и уполномоченного по делам религии в Псковской области в 1946–1951 годы. Автор материала **«Исполкомы и приходы: религиозная жизнь Псковской области в первую послевоенную пятилетку» Жанна Кормина** показывает, как на местах могли строиться отношения между верующими и представителями советской власти. Герой статьи — честный советский уполномоченный Александр Лузин, четко проводящий линию отделения Церкви от государства, за что им были недовольны и представители местной власти, и товарищи из Москвы. Александр Лузин не был человеком, сочувственно относящимся к верующим, но он был хорошим исполнителем, стремящимся решать церковные проблемы. По документам видно, как уполномоченный обеспечил дровами иноков Псково-Печерского монастыря, как негативно он отнесся к попыткам использовать церковнослужителей для агитации за того или иного кандидата (стоит напомнить об этом нынешней власти и отдельным представителям Церкви, которые уж слишком рьяно выражают восторг по поводу той или иной кандидатуры на пост президента/премьера). Вместе с тем уполномоченный совсем не претендует на лавры «тайного христианина». С той же жесткостью он осуждает практику использования выездных буфетов на престольных праздниках. До укрупнения колхозов в 1960-е годы многие деревни по несколько дней отмечали престольные праздники; при этом в народных гуляниях (к которым не только уполномоченный по делам религии, но и представители Церкви относились отрицательно, видя в них народный разгул, не имеющий ничего общего с христианством) участвовали и представители местной власти.

Автор статьи также говорит о довольно интересной функции псковского уполномоченного в первую послевоенную пятилетку. В то время Псковская область еще не была выделена в отдельную епархию (она входила в состав Ленинградской епархии), и к уполномоченному шли священники и миряне с различными просьбами: выдать антиминс (плат с зашитыми в него мощами, без которого нельзя совершать литургию), назначить священника на тот или иной приход или переместить его из одного храма в другой. Как справедливо отмечает автор статьи, уполномоченный фактически должен был исполнять функции епископа, во всяком случае этого от него ожидали верующие.

Жанна Кормина останавливается и на проблеме понимания принципа отделения Церкви от государства на местах. Как известно, после 1943 года произошли некоторые изменения в политике власти по отношению к Церкви: коммунисты стали открывать храмы и не препятствовали оживлению церковной жизни. Вскоре после победы над фашизмом в 1945 году центр практически перестал давать Церкви «послабления», однако на местах изменение политики по отношению к религиозным объединениям приходилось объяснять, указывая на то, что по существу ничего не изменилось и советская власть остается атеистическим государством.

В статье **«Антирелигиозная кампания времен “оттепели” в Куйбышевской области»** («Неприкосновенный запас», № 3 [59]) **Елена Жидкова** показывает, как власти представляли себе роль религии в советском обществе. Если посмотреть на публикации в газетах того времени и доклады борцов с религией, можно увидеть, что вера рассматривалась как удел пожилых лю-

дей, которым не очень повезло в жизни и которые не занимались «общественной работой». При этом борцы с религией полагали, что религия уже не опасна для советского человека, а потому пропаганда сводилась к разъяснению «вреда» культа и указанию на то, что научное просвещение сможет преодолеть остатки религиозности. Однако, как показывают отчеты коммунистов, этим надеждам не суждено было сбыться. В начале 60-х годов XX века многие крестьяне покидали свои деревни и переезжали в города, однако оставались верны традиции отмечать престольные праздники. Автор статьи считает, что причиной относительной неудачи антирелигиозных мер того времени был формальный подход многих лекторов. В результате антирелигиозные беседы были скучными, и их приходилось устраивать как «нагрузку» к просмотру кинофильмов. С другой стороны, в период «оттепели» 60-х годов изменилось и сознание многих верующих, которые стали отстаивать свои права. Коммунисты, конечно, пытались взять реванш, используя различные меры принуждения: индивидуальная проработка верующих, репрессии по отношению к ним, усложнение процедуры регистрации церковных таинств и запрет на крещение школьников. Однако все эти меры имели формальный характер и часто не достигали нужного результата.

Особой формой антирелигиозной работы в это время было использование различных ренегатов — отступников от веры. Если властям удавалось получить хотя бы одного такого человека (особенно из бывших священников), то это становилось гордостью для коммунистов на долгие годы. Другое дело, что «проповеди» этих людей также не имели особого успеха, а религиозная жизнь в России продолжала развиваться, несмотря ни на какие запреты.

Журнал «Неприкосновенный запас» (№ 3 [59]) также предлагает читателям субъективный взгляд на религию «с другого берега». Николай Митрохин взял интервью у доктора философии **Владимира Сапрыкина**, который при советской власти боролся с «религиозными предрассудками». В материале **«Обыденное сознание любит простые решения»** профессор Сапрыкин, рассказывает о своей трудовой биографии и о том, как боролся в Карагандинской области со «Свидетелями Иеговы» (которых почему-то относит к протестантам). Сапрыкина бросили на религиозный фронт, и он стал по мере своих сил бороться с иеговистами: то проведет беседу с одним из членов общины, то обратится в местный отдел КГБ за советом, то вновь побеседует с сектантами. Нужно сказать, что подход этого ученого к людям был далеко не самым плохим. Сапрыкин сообщает, что многие люди становились иеговистами потому, что их далеко не все устраивало в окружающей действительности, в том числе бытовые условия. Разговаривая с верующими, герой публикации помогал решать их бытовые проблемы, и постепенно граждане отходили от «религиозных предрассудков». Интересно, что методы работы Сапрыкина отчасти напоминают методики реабилитации сектантов современными антикультистами (типа Александра Дворкина), которые также пытаются вернуть человека в общество, активно общаясь с его родственниками и помогая ему решать проблемы. В дальнейшем Сапрыкин был направлен на обучение, а затем на научную и партийную работу в Москве, где его перебросили на ислам; позднее он стал лектором, специализирующимся на религиозных темах. Материал Николая Митрохина дает неплохую пищу для

размышления о том, как относились к религии советские партийные работники и ученые. К сожалению, интервьюируемый не сказал ни слова о своих взаимоотношениях с традиционными конфессиями и прежде всего с православием, лишь упомянув о подготовке к передачи РПЦ Свято-Данилова монастыря в Москве, которая произошла 25 лет назад.

От разговоров об истории Церкви перейдем к размышлениям о состоянии современного монашества. Если уйти от противоположных стереотипов: «все иноки святые» и «монахи только и делают, что пьют водку и едят колбасу», — можно прийти к довольно интересным выводам о состоянии современного иночества в России. Журнал «Новый мир» (№ 2) публикует большую статью **Татьяны Касаткиной «Колонка для живой воды. Монастырские впечатления мирского человека: попытка понимания»**. Материал открывается вполне узнаваемыми зарисовками с натуры о грубости некоторых монахинь (не дают спокойно приложиться к мощам и другим святыням, кричат на верующих, жестко командуют во время службы, не видят в другом человеке образа Божия). Со всем этим и сталкивается автор материала и даже говорит об особом *православном хамстве*, когда почитание святыни заслоняет собой любовь к людям. В качестве положительного примера приводятся католические монахи и монахини, которые уважительно относятся к паломникам и помогают им спокойно помолиться у святынь, несмотря на обилие народа. Кажется, вывод статьи очевиден: православное хамство надо изживать. Однако все не так просто. Во второй части публикации обнаруживается, что описывается в ней не совсем простая обитель. Игумен «отец А.» и несколько сестер занимаются реабилитацией и воспитанием детей-сирот, у многих из которых тяжелые неизлечимые заболевания. Но некоторые приговоренные врачами к неподвижности дети в монастыре начинают ходить, у других открываются различные таланты, несмотря на диагностированные психические заболевания. В монастыре также есть девочки из крайне неблагополучных семей, с которыми тоже занимаются монахини. У инокинь довольно странные для мирского человека средства воспитания (например, заставить девочек голыми руками на морозе собирать разбитую ими случайно банку с медом), но, как ни странно, эти средства «срабатывают», и в обители воспитываются православные дети, которые совершенно иначе воспринимают типичные для нас явления (например, называют манекены идолами). Хорошо такое воспитание или нет? Автор уходит от прямого ответа на этот вопрос, и у читателя остается странное впечатление от материала в целом. С одной стороны, — православное хамство, с которым наверняка сталкивался каждый (другое дело, что это может быть хамство советское, о котором писал еще Сергей Довлатов, приводя в пример продавщицу из советского магазина); с другой, — реальная помощь тем детям, которые в иных условиях просто не смогли бы реабилитироваться и приспособиться к жизни. В результате мы имеем странные картинки из монастырской жизни, которые можно считать разве что субъективным срезом событий, происходящих в наши дни в одной из российских обителей. Это не анекдоты и не кровавые ужасы, это просто жизнь во всем своем великолепии и низости, и от этих контрастов нельзя укрыться даже в монастыре.

Обзор подготовил Андрей Зайцев

Ольга СЕДАКОВА

ПОД НЕБОМ НАСИЛИЯ[1]

Данте Алигьери. «Ад». Песни XII–XIV

Прежде чем начать разговор о тех песнях Ада, которые мне выпало обсуждать, я должна сделать некоторые предварительные замечания.

Первое. Я не дантолог и даже не итальянист. Я не более чем иноязычный читатель Данте, читатель, который изучал итальянский именно для того, чтобы читать Данте в оригинале. Что я читаю в Данте уже много лет? Приблизительно то, что читали в нем поэты XX века: Т. С. Элиот, П. Клодель, отчасти Р. М. Рильке, О. Мандельштам. Все эти поэты имели особый вкус к новизне и в Данте видели источник той новизны, которой ищет их время. И нашему времени нужна своя новизна. Мы можем с надеждой искать ее в Данте, поскольку Данте — это не только *Arte che genera arte*[2] (так назывался дантовский симпозиум во Флоренции в 2006). Это и *Pensiero che genera pensiero.* И еще: *Esperienza che genera esperienza*[3]. Последнее, пожалуй, всего важнее для меня.

Новый, novo, nuovo, novello — одно из главных слов Данте. Сила значения этого слова имеет у него почти библейский размах, перекликаясь с употреблением этого слова у Пророков и с тем смыслом, который оно несет в сочетании слов «*Новый* Завет», «*Il Nuovo* Testamento». Я имею в виду не только его первую книгу, *Новую Жизнь, Vita Nuova.* В каждом своем сочинении Данте заявляет о какой-то неслыханной новизне, которую он собирается сообщить, о такой новости, которая должна изменить мир. Среди множества значений *novo* самым характерно дантовским можно считать «небывалое», «невероятное», «чудесное». Не только предмет *Божественной Комедии* — нечто небывало новое, никем до Данте не виданное, не только язык ее и форма невероятно новы и навсегда останутся новыми. Главная новизна здесь иная: герой-автор идет к *новому себе*: преображенному,

[1] Лекция в Миланском Университете 2.04.2008.

[2] «Искусство, которое рождает искусство».

[3] «Мысль, которая рождает мысль» и «Опыт, который рождает опыт».

Ольга СЕДАКОВА — родилась в 1949 г. в Москве. Окончила филологический факультет МГУ и аспирантуру Института славяноведения. Кандидат филологических наук, поэт, автор многих книг, в том числе собрания сочинений в 2-х тт. и тома избранного «Путешествие волхвов». Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

transumanato, божественному. В конце *Чистилища*, после погружения в Лету, Данте сообщает:

> Io ritornai dalla santissima onda
> Rifatto si come piante novelle
> Rinovellate di novella fronda,
> puro e disposto a salire a le stelle (Purg. XXXIII, 142–146)[4].

Вот, собственно, та новизна, которая мне, читателю наших дней, интереснее всего в Данте.

Второе предварительное замечание. Признаюсь, что до нынешнего предложения говорить о песнях *Ада* я меньше всего обращалась к этой кантике. Просто потому, что ее чтение — тяжелое душевное испытание. Но также и потому, что Данте для русского читателя (как и для мирового читателя вообще) — почти исключительно автор *Ада*. Это обидно и, кроме того, искажает понимание и самого *Ада*. Ад Данте, как заметил Поль Клодель, начинается в Раю. Прежде всего потому, что Ад, по утверждению Данте, — создание Бога Троицы:

> Fecemi la divina podestate
> La somma sapienza e 'l primo amore (Inf. III, 5–6)[5].

Но не только поэтому (и, между прочим, само это богословское утверждение небесспорно: если Бог не творил смерти и греха, то Ада, места их исключительного действия, Он, вероятно, тоже не творил?). Ад Данте начинается в Раю как сюжет: там задумано и «санкционировано» его странствие — в качестве исключительного прецедента. Об этом, о своем необычайном (*novo*) поручении с небес:

> Tal si parti da cantare alleluia
> Che mi comisse quest'offizio novo (Inf. XII, 88–89)[6].

на всех кругах Ада напоминает Вергилий. Это выданный Данте в Раю пропуск, «командировка» в глубину Ада, его охранная грамота.

Кроме того, если все обитатели Ада находятся там потому, что совершили то или иное «беззаконие», то необходимо знать, какой «закон», какую «справедливость» они при этом оскорбили. Об этой справедливости мы узнаем только в *Раю*.

Это слово, *giustizia, справедливость*, так же, как и *новизна*, — одно из главных слов Данте и так же приобретающее у него библейский размах смысла. В своей страстной жажде справедливости Данте — собрат Пророков и верный ученик Вергилия, тоскующего о возвращении на землю Virgo Iustitia, Девы Справедливости.

---

[4] Я вернулся из пресвятой воды,/ измененный, как новые (молодые) растенья, /обновленные новой листвой.

[5] Я высшей силой, полнотой всезнанья
и первою любовью сотворен.

[6] Такое (существо) спустилось от (места, где) пения Аллилуйя, / которое мне поручило это новое задание.

Я думаю, важнейшая задача современного чтения Данте — восстановить связь его Ада с Раем и, следуя его рассказу, выйти из Ада.

А для того, чтобы выйти из Ада, — и это будет мое третье и последнее общее замечание, — необходимо держать в уме *цельность* всего мироздания Данте. Цельность, которая создана не исключительно им, флорентийским изгнанником. Он получил огромное наследство. Другое дело, что не каждый, получив такое наследство, сумеет им распорядиться. Данте сумел, как, вероятно, никто другой. Мы привыкли отмечать и ценить в великих авторах то, чем они отличаются от своих современников, то, что как бы «выводит» их из плена своего времени, из его ограниченности, его предрассудков. В случае Данте с его необычайной свободой и смелостью в отношении общепринятых мнений утверждения такого рода более чем справедливы. Но это только одна сторона отношения гения со своим временем. Другая состоит в том, что каждое время предоставляет своему жителю особые возможности, и пограничная эпоха, какой была дантовская, — особенно. Дары дантовской эпохи в этом смысле неоценимы. Никогда больше европейская культура не обладала таким огромным, *цельным* и центрированным смысловым космосом, благодаря чему и поэзия способна была вобрать в себя политику, богословие, философию, историю, естествознание, мастерство ремесленников. Феномен Данте возможен только в эту эпоху. Дальше этот космос начинает разбегаться и распадаться, как империя, отделившиеся части которой теряют связь с некогда общей столицей (уже у Петрарки мы видим, как этот центрированный мир распадается, Цицерон и Августин уже не находят себе места в одном пространстве, — так же, как за душу Петрарки ведут бесконечную битву любовь и религия, Лаура и Богородица. Мир, в котором Беатриче выполняла волю Богородицы, остался в прошлом). Такой столицей была, несомненно, *Rosa Mistica*, Таинственная Роза Эмпирея. Данте-политик предлагает проект всемирной империи потому, что в его уме эта универсальность уже осуществилась.

Не стоит уточнять, что дары времени не даются даром. Стать современным своему времени — труд и подвиг, как мы видим по жизни Данте. Он обличал свое время, он не находил в нем мира и справедливости, но он сумел так поставить парус своего гения, что творческий ветер эпохи дул в его паруса. Нас, его читателей, это обязывает помнить о «голистической» природе образов Данте. Если мы и не обладаем достаточно глубокими знаниями тех оснований, на которых Данте строит свою поэтическую «Сумму», — то есть классической поэзии и философии, Св. Писания и богословия и многого другого, — мы не должны забывать о присутствии этих оснований во всем, что говорит Данте, и не можем сужать дантовские образы до психологической, социологической или эстетической транскрипции. И тверже всего мы обязаны помнить о центростремительности каждой частицы его мира, которая «по морю бытия плывет к своему назначению». За исключением Ада. Ад у Данте — это прежде всего и по преимуществу состояние изоляции от целого, выпадение из центростремительного движения.

На этом я кончу мое уже затянувшееся вступление и перейду к Песням XII–XIV. Все эти три песни разворачиваются в Шестом круге Ада, среди насильников, *violenti*. Круг разделен на три террасы.

Песнь XII. «Le fiere snelle»[7]

Итак, мы находимся в Нижнем Аду, в Граде Дита, где мучатся *насильники* и *обманщики*, то есть те, кто — в отличие от *невоздержанных* из верхних ярусов Ада — творил зло с участием собственной воли (насильники) и собственного разума (обманщики). А также в отличие от *ничтожных* из преддверия Ада, которые предпочли вообще ничего не совершать. Первая терраса этого круга определена насильникам против ближнего:

Onde omicidi e ciascun che mal fiere,
Guastatori e predon... (Inf. XI, 37–38)[8]

Первые среди них — тираны. Данте знает, что государственное насилие страшнее частного.

Как мы знаем из предыдущих песен, вход в Град Дита необычайно затруднен. Только вмешательство Небесного Посланника позволяет нашим поэтам преодолеть сопротивление охранников-бесов. Вергилий здесь бессилен. Оказывается, что ему недоступен не только Рай (что, в логике Данте, печально, но естественно), но и глубина Ада! И дальше, в каждом новом кругу мы видим преодоление свирепого сопротивления адской стражи (в XII Песне это Минотавр). Эта защита границ зла заставляет задуматься. Стражи стерегут осужденных, как тюремщики, чтобы они не сбежали, это понятно. Но какое сокровище они хранят от посторонних?

Почему, вопреки ожиданиям, так труден этот вход? Ведь общий вход в Ад легок и всегда открыт. Так у Вергилия:

Noctes atque dies patet atri ianua Ditis (Aen.VI, 127)[9], —

так и у Данте. Что предельно трудно, это выйти из него:

Hoc opus, hic labor est (ibid., 565)[10].

Читая сюжет аллегорически: постоянная доступность Ада означает всегда открытую для человека возможность впасть в грех. Почему же так трудна дверь нижнего ада? И здесь, нужно заметить, Данте следует Вергилию. В Шестой Книге *Энеиды* и ему, и Сивилле закрыт вход в посмертное жилище преступников, в башню Дита:

Nulli fas casto sceleratum insistere limen (Aen.VI, 563)[11].

Мотив этого запрета у Вергилия — чистота от преступления. У Данте, мы можем предположить, другой мотив. Разум, естественный разум (который, как все знают, воплощает фигура Вергилия), не может знать глубины зла — так же, как он не знает блаженства. Зло — тоже тайна, как и святость. Для его понимания также необходимо откровение. Вот один из примеров того, что дантовский Ад, как мы говорили, начинается в Раю.

---

[7] «Расторопные звери».

[8] Где убийцы и всяческие злодеи, / губители и грабители.

[9] Ночью и днем распахнуты входные двери Дита.

[10] Вот где труд, вот в чем подвиг.

[11] Никому чистому не позволено переступать преступный порог.

Если мы вслед за английским исследователем увидим в дантовском сочинении, в его *Аду*, «откровение природы нераскаянного греха» («the revelation of the nature of impenitent sin»)[12], мы поймем, что адские муки дают нам увидеть не столько «воздаяние», «справедливую кару», то есть нечто такое, что случается *после* греха, в ответ на него, но сам грех в его истинном виде, грех как он есть, когда его ничто не заслоняет. Ветер, который несет Паоло и Франческу, подхватывает их не *после* того, что они совершили: это с ними *действительно* происходит в самый момент их беззаконной страсти. Их страсть и *есть* этот ветер. Кипящая река крови, в которую погружены — каждый в меру своих преступлений — тираны из XII Песни, и *есть* реальность их действий.

То, что глубина Ада сопротивляется знанию человека, похоже на правду. Чтобы совершить грех, нужно *не видеть* его природы так, как эта природа открывается глазам Данте. Откровение зла состоит не только в том, что мы с полной ясностью видим, насколько оно в себе безобразно, но и в том, что мы узнаем, какое это великое страдание для того, кто это зло совершает. Сам он может этого до времени не чувствовать, но то, что в нем страдает и гибнет, — это его человечность, божественный замысел о нем. Обыкновенно человеку нужно иметь множество убедительных объяснений, извинений, причин и целей, чтобы совершить зло как нечто «необходимое», нечто «полезное» для *чего-то еще*. Нужно инструментализовать зло, одним словом. То есть нужно думать, что по существу ты делаешь нечто другое, чем то, что ты делаешь, а то, что принято считать злом, ты всего лишь используешь как необходимое средство. Например, ты не убиваешь тысячи невинных людей, а осуществляешь — *при помощи* их «ликвидации» — великий проект будущего счастья человечества или Отечества (как это прокламировалось в СССР и нацистской Германии). Этот новейший пример особенно уместен в связи с Песней XII. «Грандиозные» фигуры диктаторов XX века (Сталин, Гитлер, Мао, Энвер Ходжа и другие) будут, как дома, в кровавом кипятке дантовского Флегетона и, вероятно, превзойдут легендарного Аттилу.

A propos. В своем отношении к массовому насилию «сверху» со стороны власти, к тирании мораль современного человека, человека «после Аушвица и ГУЛага», полностью совпадает с дантовской. Быть может, это последний род зла, который остается несомненным, абсолютным злом для нашего современника[13]. В других случаях «насилия»: самоубийцы, ростовщики, — то есть, собственно говоря, все финансисты (вспомним, к чему привела Эзру Паунда его «дантовская» ненависть к *usura*![14]), — а также гомосексуалисты, — эти

---

[12] *Wicksted P. H.* From Vita Nuova to Paradiso. Цит. по: *The Comedy of Dante Alighieri the Florentine.* Cantica I. Hell. Translated by Dorothy L. Sayers. Penguin Books 1988.

[13] Вынужденное примечание. Эта лекция обращена к итальянской аудитории, и, говоря о «современном человеке» здесь, как и во многих других местах, я имею в виду современного человека западной цивилизации. Для наших сограждан (по большей части) целесообразность государственного насилия остается вещью вполне допустимой.

[14] *Usura* — процент, которым облагается денежный займ. О понимании банковского процента у Данте мы будем говорить дальше. Паунд посвятил «узуре» страстную лирическую инвективу, в своем роде великие стихи. Ненависть к ростовщичеству (которое для Паунда автоматически связыва-

позиции очень разойдутся. Но я думаю, мы не будем сегодня обсуждать различия моральных суждений современного гуманизма с его фундаментальным требованием толерантности, переходящим в моральный агностицизм, и решительно не-толерантных дантовских суждений. Будем говорить только о том, что написал Данте. Но заметим при этом, что, если образы таких грешников, как нежная Франческа, благородный Пьер дела Винья, изящный Брунетто Латини, вызывают наше горячее сочувствие и желание «спасти» их из адского круга, от беспощадного Данте, то это потому, что именно такими их представил нам Данте. Он сострадал этим своим героям не меньше, чем его читатели. Он поступил с ними не иначе, чем греческие трагики со своими протагонистами или Вергилий с Турном и Дидоной. Пожалуй, современному художнику эта сложная позиция — позиция эпической или трагической ответственности автора перед реальностью — почти недоступна. Он «спасет» (в моральном смысле) тех, кого любит, и «погубит» нелюбимых.

Но в XII Песне ничего сложного в этом отношении нет. Здесь Данте, повествователь и герой своей эпопеи, не встречает для себя никакой моральной трудности. Тирания, то есть насилие и беззаконность в государственной форме, ему предельно ненавистна, — но не по причине анархизма, как обыкновенно бывает в таких случаях, а прямо наоборот: именно потому, что ему так дорога идея законной и благородной единой власти (ср. его *Монархию*). Ни с кем из погруженных в кипящую кровь Флегетона он даже не заговаривает. Персонально они ему неинтересны.

Вернемся в последний раз к трудному входу в область зла. Трудному входу в Дит — и затрудненному входу в каждый новый его круг. В нашем случае — к Минотавру на скале в начале XII Песни и вслед за ним — к патрулю надсмотрщиков-кентавров (а сколько таких гостей из мифа, из хтонической греческой архаики Вергилий и Данте уже встретили до этого!). Со «своими», языческими чудищами Вергилий умеет справиться или договориться, так что порой они могут даже, подобно «добрым чудовищам» в сказках, оказать ему услугу, как кентавр Несс, который по приказу Хирона сопровождает путников до брода и перевозит на спине Данте через Флегетон. Отношения Вергилия с кентаврами, можно сказать, — идиллия в ограде Ада. Между ним и Хироном есть какая-то солидарность. Чего Вергилий, как мы знаем, не может — это справиться с христианскими бесами. Спуск в глубину Ада, в глубину греха и зла так труден потому, что это не что иное, как путь спасения. Не только личного спасения Данте, задуманного Беатриче (она объясняет в Земном Раю, что только таким образом, посещением мира погибших душ, возможно было спасти Данте от духовной смерти[15]), но и определен-

---

лось с еврейским капиталом) привела его к сотрудничеству с итальянским фашизмом, который обещал освободить мир от «узуры».

[15] Ср. слова Беатриче, постфактум объясняющие все происшедшее:

Так низко он пал, что любые средства
для его спасения были уже коротки,
кроме как показать ему погибшее племя.
Потому я и посетила вход умерших,
и тому, кто сопроводил его сюда,
моленья мои принесла со слезами (Purg.XXX, 136–141).

ной возможности спасения для его читателя. Увидеть зло в его открытой природе кое-что значит! Никто из тех, кто по-настоящему прочитал дантовский *Ад*, я думаю, уже не сможет совсем беспроблемно выбирать те виды зла, какие Данте нам описал. Образы подожженного песка и снегопада огня, реки из кровавого кипятка, истекающих кровью деревьев и кустов, образы людей, ставших охотничьей дичью (я называю только образы из наших Песен, XII–XIV), как *настоящая реальность* греха (а не только неизбежно последующее за ним наказание) навсегда записываются, говоря по-дантовски, в книгу нашей памяти. Подробные разъяснения того или другого греха, любые нравоучения здесь уже излишни. Записываются? Я бы сказала: эти образы врезаются в камень нашей памяти. Сама сила письма и есть моральный урок Данте.

В каждом эпизоде, в каждом пассаже эта сила письма проявляется поразному. Неизменное и первое орудие Данте, несомненно, — синтаксис. Таким «длинным» синтаксисом не владел ни один поэт. Я понимаю этот синтаксис иначе, чем Мандельштам, которому важнее всего была непредсказуемость хода дантовской речи, ее чисто звуковые сцепления. Однако эти необычайно длинные, разветвленные фразы направляются огненной логикой.

Посмотрим на вторую фразу XII Песни, которая разворачивается в течение двенадцати строк или четырех терцин!

Qual e' quella ruina che nel fianco
Di qua da Trento l'Adice percosse,
O per tremoto o per sostegno manco,
Che da cima del monte, onde si mosse,
Al piano e' si' la rocca discossa,
Ch'alcuna via darebbe a chi su fosse;
Cotal di burrato era la scesa;
E 'n su la punta della rotta lacca
L'infamia di Crete era distesa
Che fu concetta nella falsa vacca;
E quando vide noi se' stesso morse,
Si' come quei cui l'ira dentro fiacca (Inf. XII 4–15)[16].

Все это — одна фраза! Она симметрично поделена на две половины. Первая половина — описание загробного ландшафта через его приблизительное сравнение с земным. Данте не тратит слов: зачем описывать, читатель и так поймет, он видел это сам или ему об этом рассказывали. Первый член сравнения, горный обвал у Адиче, по которому нельзя спуститься, занимает первые шесть строк. Ровно половина фразы. Широкая панорама и глубокий взгляд далеко вниз. Вторая половина фразы сжимает перспективу:

[16] Как тот обвал, который с той / стороны Трента скатился к Адиче, / или из-за землетрясения или из-за отсутствия опоры, / так что с вершины горы, откуда он двинулся, /вплоть до равнины так раскатилась скала, / что никакой дороги не нашел бы тот, кто хотел бы спуститься; / таков был склон этой пропасти; / и вверху в выломанной пещере/ лежал позор Крита, / который был зачат в обманной корове; / и когда он увидел нас, сам в себя вонзил зубы, / как тот, кого изнутри сокрушил гнев.

сначала до пещеры на этом обрыве (третья терцина). И последняя, четвертая терцина представляет собой просто катастрофическое ускорение сжатия пространства и времени. Внимание фокусируется на лежащем в пещере чудище Минотавре, «позоре Крита» (здесь само собой напрашивается впечатление за пятьсот лет предсказанного кинематографического эффекта, смены планов, движения камеры, но дело много серьезнее: дальше фокус смещается не только в пространстве, но и во времени), следующая строка сжимает Минотавра до момента его зачатия в «обманной корове»! Но и это не конец. Минотавр, уже рожденный и убитый Тезеем и теперь сторож Шестого круга, вонзает зубы в себя самого, обессиленный внутренним гневом. Насилие свернулось в точку и выстрелило в себя. Последнее слово этой издалека идущей фразы — *fiacca*, *сокрушает*. Точный смертельный удар. Минотавр побежден самим ходом, самой стратегией этой фразы — прежде, чем с ним заговорит Вергилий. Появление стрел и лука кентавров она уже предсказала. Таков синтаксис Данте: он обгоняет и предсказывает ход событий.

В последующем эпизоде сила дантовского письма обнаруживает себя другим образом. Вергилий — вновь одной фразой, которая также продолжается четыре терцины и ветвится сложноподчиненными предложениями: «когда», «если», «так, что», «из-за чего» — объясняет Данте происхождение этого обвала. Это случилось после схождение Христа в Ад. Теперь мы видим Данте — виртуоза эмпатии. Он мыслит с точки зрения Вергилия. Он предлагает нам удивительный перевод христианского события на язык языческой мысли, на язык эмпедокловой космологии. Как еще может понимать происшедшее просвещенный язычник? Равновесие космоса, составленное гармонией силы любви и ненависти (иначе: притяжения и отталкивания) нарушилось. Сила любви перевесила силу отталкивания, — и за этим обычно следует разрушение мира, возвращение в хаос. Действительно, все почти точно, — но «как в гадательном зеркале».

Эпизод с кентаврами и Хироном, как я уже говорила, — редкая пауза благодушия среди ужаса Ада. В ней нельзя не почувствовать тени комизма (достаточно вообразить в картинках, как Хирон расчесывает себе бороду стрелой, как патруль кентавров с берега стреляет из лука в тех, кто норовит выглянуть из кипящей крови больше, чем им положено, как Данте верхом на кентавре переправляется через Флегетон, вергилиеву реку, которую он пока не узнает). Здесь, как во многих других эпизодах, Данте показывает свое мастерство входить в игру, начатую старинными поэтами: среди их пейзажей и их персонажей как бы второй раз он странствует и по-новому пускает в ход арсенал классической фантазии. С окончательной серьезностью его отношения с классической дохристианской поэзией и отношение этой поэзии к истине будут выяснены в Земном Рае. Но здесь нащ разговор не об этом.

Лейтмотив Двенадцатой Песни — невероятная упорядоченность насилия над насильниками. Эта механическая упорядоченность иррациональна: во-первых, потому, что работа по ее соблюдению возложена на чудовищ, представляющих собой гибрид человека и зверя; во-вторых, потому, что строгой мерой количества здесь измеряется то, что такому измерению не подлежит: кровь и мука. Ад замкнут и регулярен, как концлагерь или

тоталитарное государство, — но ведь таких реалий Данте не должен был бы знать на опыте своего времени, жестокость которого имела стихийный и анархический характер. В отличие от адских пейзажей, инфернальную дисциплину ему еще не с чем сравнить на земле.

Это, повторю, редкая песня, в которой мы не замечаем ни малейшего сочувствия и даже интереса Данте к тем, кто претерпевает адские пытки. Ненавистные тираны, убийцы и грабители. От них остались одни имена.

Песнь XIII. «Anima lesa...»[17]

Тринадцатая песнь. Переправлявший Данте кентавр Несс еще не исчез из виду, а все уже переменилось. Мы среди насильников против себя самих: самоубийц и мотов. Мотам будет отведен короткий эпизод, интермедия страшной охоты, которая прерывает беседы Данте с двумя самоубийцами, деревом и кустом.

Итак, мы в глухом лесу, который напоминает нам о двух других лесах поэмы, *selva selvaggia*[18] из самого начала повествования и *antica selva*[19] Земного Рая на вершине горы Чистилища. Во всех этих сценах лес у Данте несет смысл какой-то глубокой непроясненности общего положения, потерянности человека. Но здесь к нему добавлен еще мотив пряток, тайного убежища, которого ищут хищные звери. Птицы этого леса — ужасные Гарпии. Данте кажется, что этот лес, в котором раздаются стоны, кого-то прячет в себе. Вергилий пытается подсказать ему: ведь ты читал мою *Энеиду*, помнишь, *чему* в ней никто не верит? Подсказка не помогает. Тогда Вергилию приходится прибегнуть к эксперименту: обломай ветку, и поймешь (то есть повтори то, что сделал мой Эней с миртом в моей *Третьей книге*). Данте слушается — и тут же слышит человеческий стон; из ствола течет кровь. Он с ужасом понимает: эти деревья только видятся мертвыми, это души, а не растения. Достаточно малейшего насилия, чтобы кровь и речь вышли наружу: укоряющая, жалобная речь. С людьми так не поступают! Даже со змеями можно быть бережнее. А мы были людьми... *Uomini fummo*[20]...

Речь, самый процесс словесного выражения для душ в *Аду* травматичен, — но более яркого случая, чем это истекающее кровью и словами дерево, мы не встретим.

В сосуде XIII Песни заключен один из самых волнующих образов мировой поэзии — ставший деревом благородный самоубийца Пьер делла Винья,

---

[17] «Раненая душа...»

[18] Mi ritrovai in una selva oscura... questa selva selvaggia ed aspra e forte / che nel pensier rinnuova la paura. — Я оказался в некоем темном лесу... этот дикий лес, и тернистый, и непроходимый, / который в мысли (то есть: и мысль о котором) воскрешает тот ужас (Inf. I. 2, 5–6).

[19] Dentro alla selva antica tanto, ch'io / non potea rivedere ond'io mi 'ntrassi. — В глубину древнего леса, так глубоко, что я / не мог уже увидеть, откуда я вошел (Purg. XXVIII, 23–24).

[20] Мы были людьми.

верный и оклеветанный советник императора Фридриха II. Прямой источник этого образа — Вергилиев Полидор, убитый и обращенный в мирт. Истекая темной кровью, Полидор-мирт говорит Энею, обломившему его ветку:

Quid miserum, Aeneas, laceas? (Aen. III, 41)[21]

Но Вергилий коснулся здесь древнейшего сюжета, известного фольклору всех народов: это легенды о человеке, обыкновенно невинно убитом, который превращается в говорящее растение (чаще всего для того, чтобы свидетельствовать о своем убийце). Мы слышим в этих легендах интуицию какой-то глубокой и таинственной связи, своего рода тождества человека и дерева. Кроме того, тема их — утаенное и затем раскрытое убийство. Так это, собственно, и у Вергилия. Сюжет Данте сложнее. Самоубийца-дерево становится свидетелем против себя — собственного убийцы. Свидетелем против него будет в дальнейшем его собственное тело, от которого он отказался и которое в конце времен будет повешено на своей «постылой душе», *l'ombra sua molesta* (ср. библейское: «*проклят каждый, висящий на дереве*»). Противоестественное соединение жертвы и ее палача в одном лице, — иначе: противоестественное раздвоение одного человеческого существа, — показано нам со всей наглядностью.

Раненость и ранимость — лейтмотив этой песни. Ее герой — раненная душа, *anima lesa*. Самоубийцы-деревья взывают к жалости, но иначе чем через причинение им новой боли их не услышишь. Они могут говорить не дольше, чем течет кровь из обломанной ветки. Данте и Вергилий, подтолкнувший Данте на жестокий эксперимент, испытывают перед ними вину. Душа самоубийцы (тень, *l'ombra* называет ее на античном языке Данте), поселившись в этом сосуде боли, делает каждого своего собеседника вовлеченным в насилие над собой. Изысканность, сдержанность и благородство речи Пьера дела Виньи усиливают этот эффект. Это мучение впечатляет, пожалуй, больше, чем река кипящей крови из предыдущей песни. Неудавшийся побег из невыносимой ситуации (*credendo col morir fuggir disdegno,* «надеясь при помощи смерти сбежать от бесчестия», говорит Пьер дела Винья[22]), из незаслуженного позора, которого человек чести не может пережить, из утраты доверия, которой любящий и преданный человек не может вытерпеть. Данте, потрясенный состраданием, не может задать Пьеру дела Винья нового вопроса. Только судьба Франчески тронула его в такой мере.

Пьер делла Винья, жертва клеветы, образец той верности суверену, которая была так дорога Данте, «*ingiusto fece se contra se giusto*» — «сделавший себя невинного виноватым против себя»[23], видится нам образцом человеческой судьбы в бесчеловечном мире, как ее часто понимают позднейшие мыслители и философы. Но христианство думает о безвыходности иначе, и Данте с этим не спорит. Предполагается, что свобода воли остается у человека в любом положении и в любом положении он может выбрать жизнь. От этого отказывается «большой терновник», Пьер делла Винья и другой

[21] Что же ты, Эней, терзаешь несчастного?

[22] Inf. XIII, 71.

[23] Inf. XIII, 72.

самоубийца, некогда земляк Данте, флорентиец, а теперь куст, на его глазах обломанный мотами, которых на куски раздирают гончис.

Мы можем не заметить, что Данте выполняет просьбу Пьера дела Винья (как Эней совершает погребальные почести Полидору): своим рассказом он восстанавливает его доброе имя среди живых. Исполняет он и просьбу куста, некогда флорентийского судьи, осудившего на смерть себя самого и приведшего приговор в исполнение (так, на этот раз в юридических терминах описывается самоубийство). Данте (уже в начале следующей песни) собирает раскиданные обломки его ветвей.

В рассказах двух самоубийц мы слышим знакомые дантовские темы негодования против пороков двора и нравов родной Флоренции, над которой не кончается власть ее первого языческого покровителя, бога войны Марса.

В конце концов, эта песня оставляет нас с ощущением непоправимого, болезненного несчастья. Но кто сказал, что из Ада мы должны вынести только праведный гнев и удовлетворение торжествующей справедливостью? Пьер делла Винья напоминает нам о кровной солидарности людей — просто потому, что они люди. «Мы были людьми...» — *Uomini fummo...*

И что значит — быть людьми? Для Данте, несомненно, это значит — быть слышимыми. *Nam in homine sentiri humanius credimus quam sentire*— «*Ибо мы полагаем, что самое человеческое в человеке — не слушать, а быть слышимым*»[24]. Удивительное и мало замеченное размышление Данте. Человек есть прежде всего сообщение. Кому направлено это сообщение?

Образ обломанной ветки — раны, «окна для боли» и своего рода органа речи, которая истекает из нее вместе с кровью, — принадлежит к тем вещам, которые, узнав, уже нельзя забыть. О том, что боль и человеческий язык в земном мире в каком-то смысле тождественны, Данте уже думал в трактате «О народном красноречии»: первым словом сотворенного Адама, полагает он, был крик восторга, *El!*, который был одновременно и именем Бога. После изгнания из рая младенец рождается на земле с криком боли, *heu!* — это и есть его первое слово и, так сказать, первое имя мира[25].

В образе кровоточащих деревьев оживает библейское отождествление крови и души.

Песнь XIV. «...la folgore aguta...»[26]

Итак, следующая Песнь, как и предыдущая, продолжает рассказ без перерыва. Она начинается с того, что обломанные в предыдущей песне ветки собираются, а растерзанный куст умолк. Мы не покидаем пространства насилия. Это его третья терраса: кощунники, содомиты, ростовщики. Странное объединение, не правда ли? Для Данте это три разновидности насилия: против Бога (святотатцы), против природы (содомиты) и против искусства (ростовщики). При чем же здесь искусство? Искусство, объясняет

[24] De vulgari eloquentia (О народном красноречии), I, 5.

[25] De V. E., I, 4.

[26] «заточенная молния...»

Вергилий в предшествовавшей нашим Песням вводной лекции о природе насилия, — это самые общие законы человеческих действий, которые, насколько могут, подражают природе, которая, в свою очередь, подражает своему Творцу, «*так что ваше искусство — как бы внук Бога*».

Si che vostr'arte a Dio quasi nepote (Inf. XI, 105).

Требовать взамен больше, чем ты дал, — это и есть злейшее насилие над искусством.

Одна и та же мука назначена всем трем видам насилия: огонь, летящий с неба хлопьями,

come di neve in alpe sanza vento[27],

как снегопад в горах в безветренную погоду. Хлопья огня поджигают раскаленный песок, на котором лежат плашмя кощунники, бегают, стряхивая с себя свежие ожоги, содомиты (которых, замечает Данте, значительно больше) и сидят неподвижно ростовщики. Библейская казнь Содома и Гоморры. Незабываемый пейзаж с дополнительными сведениями из истории и географии (нечто похожее видели в военных походах Александр в Индии, Катон в Ливии).

Слово предоставляется языческому святотатцу Капанею, оскорбившему Юпитера и пораженному за это молнией (теперь источник Данте не Вергилий, а его страстный почитатель и подражатель Стаций: учителю и ученику предстоит встретиться в Чистилище). Образ Капанея — один из двух центров Четырнадцатой Песни. Этому богоборцу не откажешь в величии.

Qual io fui vivo, tal son morto (Inf.XIV, 51)[28].

И убитый, и мучимый, он не признает себя побежденным: он остался собой. У него есть нечто такое, чего не отнимет ни смерть, ни пытка: это его достоинство. Три терцины, которые Капанеей обращает к Громовержцу, исполнены такой лирической силой, что ей позавидовали бы поэты Sturm und Drang и революционеры всех времен.

Qual io fui vivo, tal son morto.
Se Giove stanchi 'l suo fabbro di cui
Crucciato prese la folgore aguta
Onde l'ultimo di percosso fui;
O s'elli stanchi li altri a muta a muta
In Mongibello alla focina negra
Chiamando «Buon Vulcano, aiuta, aiuta!»
Si com'el fece alla pugna di Flegra,
A me saetti con tutta sua forza:
Non ne potrebbe aver vendetta allegra (Inf. XIV, 51–60)[29].

---

[27] Inf. XIV, 30.

[28] Каким я был живой, таков я и мертвый.

[29] Каким я был живой, таков я и мертвый. /Если Юпитер утомит своего кузнеца, у которого, / разгневанный, он взял заточенную молнию,/ которой я был в последней день сражен; / или если он утомит других кузнецов, одного за другим, / в Монгибелло в черной кузне / крича: «Ну давай, Вулкан, на по-

Смысл его вызова: всего твоего всемогущества не хватит, чтобы лишить меня — меня самого. Я и мертвый — тот же. Радоваться победе тебе не придется.

Благочестивый язычник Вергилий, возмущенный этой несломленной гордыней, гибрисом, ставит диагноз Капанею: твоя ярость и есть твое полное наказание. Вероятно, он говорит за двоих? Ведь так же должен был бы думать и Данте, которому прекрасно известно христианское учение о гордыне и смирении. Так полагают многие комментаторы нашей Песни. Однако *лирическая* сила явно на стороне гордых и яростных стихов, которые произносит Капаней, а не того учительского выговора, которым отвечает ему богобоязненный Вергилий. Капаней говорит на лирическом языке самого Данте: это его гиперболы, его анафоры, его нарастающие повторы, его умение одной чертой обрисовать образ («*Buon Vulcano, aiuta, aiuta!*» — «*Ну давай, Вулкан, на помощь, на помощь!*»), это его мышление гипотезами («*и если*», «*и даже если*»), его привычка к географической точности. Это то самое «великолепное презренье», с которым сам Данте говорит о Фортуне в последующей песне — в ответ на пророчество Брунетто Латини об ожидающих его несчастьях.

Tanto vogl'io che vi sia manifesto
Pur che mia coscenza non mi garra,
Che alla Fortuna, come vuol, son presto.
Non e nuova alli orecchi miei tal ara:
Pero giri Fortuna la sua rota
Come le piace, e 'villan la sua marra (Inf. XV, 91–96)[30].

А там, где в голосе персонажа мы слышим голос самого поэта, говорит Марина Цветаева, мы понимаем, на чьей он стороне.

В чем же *лирическая* правота Капанея, и что она значит? Не проглядывает ли здесь «прометеевское» начало самого Данте, его гордыня и дерзость, его восхищение самоутверждением человека перед лицом Бога? Я думаю, дело совсем не в этом. Капаней говорит именно так, как человек должен достойно говорить перед лицом всемогущего и бессмысленного насилия. Сдача насилию, подчинение силе — это не смирение, а низость, *vilta*, ненавистная Данте.

Но разве Бог — это слепая гневная сила? Мы можем понять, что вергилиев Юпитер может быть прочитан как иносказание Вседержителя (сам этот эпитет — *Omnipotens, Вседержитель* — перешел в христианскую латынь из именования Громовержца), можем думать, что языческая *гибрис* и христианская *гордыня* в каком-то отношении близки. Но вот что решительно противоположно: Капаней не видит в Юпитере ничего кроме высшей формы насилия. Этому насилию он и бросает вызов — и в каком-то смыс-

---

мощь, на помощь!»/ как он делал в день Флегрийской битвы, / чтобы метать в меня стрелы со всей своей силой, /и тогда не придется ему радоваться своей мести.

[30] Хочу я, чтобы Вам было известно: /лишь бы совесть моя меня не укоряла,/ а что до Фортуны, я готов к любому ее желанию. / Не новость для моих ушей такой оракул: / так что пусть крутит Фортуна, как ей угодно, свое колесо, / а мужик — свою мотыгу.

ле побеждает его. Однако для христианина кощунство не есть вызов всемогущей Силе: это оскорбление Первой Любви. С таким образом Бога языческое благочестие не знакомо. Многозначительно молчание Данте после выговора Вергилия. Над кругом насильников царит Громовержец Капанея, обожествленное насилие, абсолютная тирания. Душу тем не менее оно убить не может, как нам невольно показывает сцена Капанея. Мы можем сказать, что само насилие проистекает из теологической ошибки: оно отвечает ложному образу Создателя. Имел ли сам Данте это в виду?

Можно предположить, что Данте, чье знание Библии необычайно даже для просвещенного человека его времени, что-то такое заметил в ветхозаветных книгах, в истории ночной борьбы Иакова с ангелом и в спорс Иова с «богобоязненными» друзьями — что-то абсолютно неизвестное благочестию Вергилия. Да и тому «доброму прихожанину», с которым через несколько веков будет спорить Киркегор...

Вторая вершина Четырнадцатой Песни — рассказ Вергилия о происхождении адских рек. Данте опять оплошал, проявил умственную нерасторопность, не узнав кровавого Флегетона, который, — как же ты читал мою *Энеиду*? — описал Вергилий. Эта река, заполнившая всю Двенадцатую Песню, вновь встречает их здесь, в горящей пустыне Четырнадцатой. В связи с этим Вергилий дает подробный урок адской гидронимики. Следует поразительный рассказ о некоем чудесном изваянии Старца в горах Крита, в том месте, где некогда располагалось Царство Сатурна, языческий Золотой Век. Данте создает здесь настоящий новый миф, заимствуя библейский образ из сна Навуходоносора в *Книге пророка Даниила* (сам этот библейский образ уже включил в себя языческую картину деградации Веков от золотого к железному):

> У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его — из серебра, чрево его и бедра его — медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные (*Дан 2:32—33*).

Таков и Старец Данте, повернутый лицом к Риму. В библейском сне дело кончается тем, что на этого идола скатывается камень с горы и разбивает его (традиционно это понимается как пророчество о будущем царстве Мессии, отменяющем земные царства). У Данте истукан стоит на месте, но все его части, кроме золотой, разбиты. В трещины текут слезы. Эти слезы и становятся адскими реками. Некоторые из них Данте уже встретил в своем странствии, другие ждут его дальше — в самой глубине Ада (Коцит) и на вершине Горы Чистилища (Лета). Поразительный Миф Истории ветхого человечества, истории, которая еще не закончилась и питает собой Ад. Вот куда направляются скорби всех веков.

На вершине Горы Чистилища, где течет Лета, мы увидим другой, библейский образ «Золотого века», безгрешного и блаженного начала человечества: Эдем, опустевший после изгнания Адама. Эдем и его Евноя (река благой памяти) тоже, как и адские реки, связаны с земной реальностью, но другим образом: не Эдем ею питается, но он — не то чтобы ее питает... он сквозь нее просвечивает. Он проникает на землю через вещие сны вдохновенных поэтов, напоминающие людям о первоначальной невинности «че-

ловеческого корня». Смутное пока обещание Вергилия о том, что Данте еще предстоит увидеть Лету, связывает между собой две эти альтернативные картины начала человечества.

* * *

Итак, мы прошли с Данте и Вергилием по катастрофическому горному обвалу, по берегу реки кипящей крови, по мертвому лесу, истекающему кровью и стонами, по раскаленной песчаной пустыне, на которую падает огненный снегопад, и вновь встретили Флегетон. На этом круг насильников еще не кончается. Он простирается на три следующие песни.

Я хочу отметить общую черту всех этих дантовских ландшафтов: бесплодие, безжизненность. Это общий знаменатель любого насилия. Новое время слишком часто не различает жизненную силу — и насилие, оно в лице своих поэтов и мыслителей готово преклоняться перед насилием как проявлением чарующей мощи, творческого порыва и витальности. Для Данте жизнь и насилие — это две абсолютно противоположные вещи. Насилие — родина смерти, смерти во всех смыслах. На этом я и кончу наш сегодняшний разговор.

Ольга СЕДАКОВА

ДИТРИХ БОНХЁФФЕР ДЛЯ НАС

1

Дитрих Бонхёффер — один из самых значительных и широко обсуждаемых протестантских теологов XX века, пастор, участник антигитлеровского сопротивления, был казнен 9 апреля 1945 года, за месяц до капитуляции нацистской Германии. Два последние года жизни он провел в заключении, откуда и писал друзьям и родным свои письма, которые теперь переводятся на множество языков и обсуждаются по всему миру. Выбор исповеднического пути следует из самой богословской мысли Бонхёффера; с другой стороны, такой опыт и питает его «новое богословие».

Дитрих Бонхёффер родился 4 февраля 1906 года в Бреслау (ныне Вроцлав) в семье профессора Карла Бонхёффера, известного психиатра. Он был шестым ребенком в семье, после него родилось еще двое. По материнской линии семья была связана с известными живописцами фон Калькройтами (смерти одного из графов фон Калькройт посвящен великий «Реквием» Р. М. Рильке). Семейное предание хранило память о какой-то отдаленной связи с Гете. Музыка (в письмах из тюрьмы Бонхёффер приводит по памяти нотные цитаты из Бетховена и Шютца), литература, живопись, естественные науки — всем этим богатым составом своей душевной жизни Бонхёффер обязан домашнему наследству. Его близкие друзья выросли в той же атмосфере. Творческая гуманитарная культура была для них пространством общения не меньше, чем собственно богословские темы. Культивированная человечность естественно принимает форму классической дружбы. О христианской ценности дружбы — и о христианской ценности свободной культуры — Бонхёффер не перестает размышлять в тюрьме: «*У брака, труда, государства и Церкви имеются конкретные божественные мандаты, а как обстоят дела с культурой и образованием?.. Они относятся не к сфере повиновения, а к области свободы Тот, кто пребывает в неведении относительно этой области свободы, может быть хорошим отцом, гражданином и тружеником, пожалуй, также и христианином, но будет ли он при этом полноценным человеком (а тем самым и христианином в полном объеме этого понятия), сомнительно. Может быть, как мне сегодня кажется, именно понятие Церкви дает возможность прийти к осознанию сферы свободы (искусство, образование, дружба, игра)?*»[1].

[1] Все цитаты я привожу по одному изданию — книге *Бонхёффер Д.* Сопротивление и покорность. М.: «Прогресс», 1994, включающей посмертно изданные друзьями Бонхёффера письма из заключения, в прекрасном переводе А. Б. Григорьева. Вступительная статья Е. В. Барабанова позволит читателю увидеть богословскую мысль Бонхёффера в широком контексте протестантской теологии XX века.

Бонхёффер дорожил семейной традицией и даже задумывал (в тюрьме) написать нечто вроде «реабилитации бюргерства с позиции христианства». Он хотел воздать должное сословию «граждан», «горожан», людей профессиональной, семейной и нравственной чести, сословию, преданному культуре, верящему в силу разума и классического гуманистического воспитания (характерно, что в заключении Бонхёффер не расставался с «Жизнеописаниями» Плутарха), уважающему в человеке талант, труд и личную самостоятельность, видящему личную жизнь в перспективе гражданского служения и исторической ответственности. У нас этот образ бюргерства (заслоненный гораздо более известным образом «буржуа», хищного парвеню в духе бальзаковских героев) знаком разве что читателям немецкой прозы позапрошлого века — или тем, кто представляет, в какой мере такие фигуры, как Гете (чей томик, вместе с Библией, сопровождал Бонхёффера до дня казни) или Альберт Швейцер, — сыновья своего сословия. Бонхёффер видел, что дорогое ему бюргерство уже уходит, как принято говорить, с исторической сцены (как прежде него ушла аристократия) вместе со своим золотым веком — девятнадцатым, который Бонхёффер тоже хотел «реабилитировать». С. С. Аверинцев (а его можно назвать в каком-то смысле наследником этого духа европейского бюргерства, так же как всю российскую «профессорскую» среду, о которой вспоминают выросшие в ней Андрей Белый, Цветаева:

Ваша — сутью и статью
И почтеньем к уму, —

Пастернак и которую у нас до сих пор как-то не отличили от «русской интеллигенции» вообще, явления другого характера) назвал современное «массовое общество» *капитализмом без бюргерства*, иначе говоря, без ведущего культурного сословия.

Однако нет ничего нелепее, чем представить Бонхёффера консерватором, ностальгирующим по утраченным устоям или «корням». Бонхёффер принимает новые времена (радикальную новизну которых он чувствовал так сильно именно благодаря своей наследственной укорененности в истории) с их «беспочвенностью», «безрелигиозностью», «бунтом посредственности» и другими пугающими чертами как новую эпоху мировой истории, которую он всегда понимал не иначе как историю священную, то есть раскрытие воли Божией, своего рода развернутый во времени Апокалипсис (естественно, с акцентом на *откровении*, а не на «конце света» как финальной катастрофе, как это привыкло понимать сектантское сознание). Ту же идею «родной истории», развертывающейся как Откровение и начатой Рождеством Христовым, мы встречаем у Пастернака (в романе «Доктор Живаго» ее развивает дядя героя, философ Веденяпин)[2]. В этой эпохе «взрослого человечества» он видит новую задачу для христианства и новую историческую эпоху Церкви.

[2] Это совпадение не кажется случайным. Русская религиозная мысль (а герой Пастернака задуман как ее представитель) оказала большое влияние на старших современников и учителей Бонхёффера, немецких богословов «диалектической теологии».

Не будем здесь обсуждать, можно ли нынешнее состояние человечества в самом деле понимать как «взрослое» и «безрелигиозное» в бонхёфферовском смысле. Сам Бонхёффер с удивлением наблюдал в тюрьме, сколько «религиозности» в его товарищах по несчастью, сколько вполне архаичной веры в магию и вмешательство потусторонних сил по принципу Deus ex machina. Вероятно, тезис об имманентной религиозности человека, с которым спорил Бонхёффер, все-таки справедлив: «религиозность» принадлежит не «детству человечества», а человеку вообще — как существу, в саму природу которого входят интуиция «другого мира» и насущная потребность связи с ним. Вопрос только в том, какого рода связь в каждом случае предполагается — и в каком отношении эта природная *религиозность* состоит с христианской *верой*. По разнообразным движениям современности типа New Age мы видим, что «религиозность» отнюдь не покидает человека и в век высоких технологий и как будто торжествующего материализма; она только принимает все более примитивные и вырожденные формы, лишенные древней поэзии и глубокой символики, известной традиционным религиям. Но еще существеннее, чем то, что эти новые формы «религиозности» в культурном отношении обычно порождают только вопиющий китч, эстетический и интеллектуальный, нечто другое. И это другое как раз объясняет их культурную бездарность. Дело в том, что из этих форм «религиозности» полностью уходит практика *благодарения*, *жертвы*, *служения*, без которых непредставимы *все* древние религии[3] — и непредставима творческая культура. Уходит по существу и *богословие* как труд особого (молитвенного, созерцательного) узнавания о божественном, умственного приобщения к нему. В том «сверхъестественном», с которым имеет дело новейшая «религиозность», созерцать и познавать нечего, важно другое: как *эффективно*[4] с ним обходиться. Эта «религиозность» сводится в конце концов к самому грубому утилитиризму, к откровенному желанию *пользоваться* «сверхъестественным» (иногда еще и к поискам магических и паранаучных техник для овладения его «силой»), а не любить его и служить ему. В этом смысле мы можем понять Бонхёффера, когда он говорит, что позиция «взрослого», «безрелигиозного» человека благороднее и по существу ближе христианству. В этом смысле он говорит о том, что Христос освобождает человека от «религиозности»: от рабского, низкого и лукавого отношения с неведомым «иным миром», с некоей непроясняемой Силой и Властью, от поиска земного благополучия любыми средствами. Вообще говоря, от идолопоклонства — то есть от того, что представлено как самый гнусный грех человека уже в Ветхом Завете (первая из Десяти Заповедей) и тем более — в Новом. За отказ совершить этот грех и проливалась кровь мучеников первых веков

---

[3] С восхищением Бонхёффер читает в тюрьме исследование В. Ф. Отто «Боги Греции», где классическое греческое язычество понято как «*мир, вера которого вышла из богатства и глубины жизни, а не из ее забот и тоски*».

[4] Это замечательное слово нашей актуальности приобрело последнюю определенность, когда «эффективным управлением» стали называть сталинское массовое истребление населения. *Эффективное* значит — произведенное по ту сторону добра и зла.

христианства. Бонхёффер в конце концов отдал жизнь за это же: за отказ от поклонения идолу «высшей германской расы» и его Вождю, которое требовалось от каждого лояльного гражданина Рейха. Никто, как обычно, и не требовал, чтобы жертва идолу («божественному» императору — то есть государству, воплощенному в его персоне, как в Риме, или же «чистоте расы» и божественному Вождю — то есть опять же обожествленному государству, на этот раз национальному, а не имперскому, как в Германии, или же Партии, которой советский гражданин должен был быть «беззаветно предан»), чтобы эта жертва приносилась искренне, от всей души: достаточно было соблюсти внешние приличия, «формальные условности». Но не сделать этого, то есть не согрешить идолопоклонством или не вступить в обоюдовыгодный сговор со злом и ложью, и значило для Бонхёффера *спасти душу*. О другом, потустороннем, *спасении души* он не думал.

Вновь вспомню С. С. Аверинцева. Комментируя последнюю фразу из Первого Соборного Послания апостола Иоанна: «Чадца, храните себе от треб идольских» — «Деточки, берегитесь служения идолам!» (1 Ин 5:21), Аверинцев спрашивал: почему именно таким увещеванием кончается это великое послание? Да потому, отвечал он, что *всякий* идол требует человеческих жертвоприношений. Тот, кто поклоняется идолу, приносит ему в жертву кровь других, неповинных людей. Дело не в том, что *мы,* принеся жертву идолу, от этого станем хуже (привычное индивидуалистское понимание греха и осквернения), а в том, что, делая это, мы выдаем кого-то другого: кто-то другой заплатит жизнью за наше малодушие. Это духовный закон, подобный физическому закону сохранения энергии. Иногда такое человеческое жертвоприношение идолу происходит косвенно и скрыто, так что идущий на компромисс не видит до поры (как гимназист в «Фальшивом купоне» Льва Толстого) или вообще никогда при своей жизни не увидит его последствий в судьбах других. Но в такие эпохи, как германский нацизм или сталинский «Большой террор», принесение миллионов в жертву идолам совершается с полной наглядностью. Вот на это и не соглашается христианская совесть Бонхёффера. «*К делу и со-страданию (разделению страдания) призывает христианина не столько собственный горький опыт, сколько мытарства братьев, за которых страдал Христос*». «*Приобретение частицы сердечной широты Христа*», «*жизнь для других*» — движущий мотив его поступков и его мысли. Благородство христиан, «царского священства» — одна из его постоянных тем. Возрождение благородства, возрождение «качества» — одна из тех новых задач Церкви, которые Бонхёффер видит в наступившей эпохе. Душу спасают, спасая ее свободу и благородство. Принося в жертву правду и достоинство, спасают что-то другое: *спасают свою шкуру*, как ярко изображает это русский язык. Жуткий образ существования в пустых «спасенных шкурах» — вот путь тех, кто избрал историческую безответственность, настоящих «жертв истории», как назвал их И. Бродский в своей Нобелевской речи.

Вернемся к биографии Бонхёффера. Сразу же после окончания гимназии избрав теологию, Бонхёффер получает прекрасное богословское образование в Германии и Риме, в 23 года становится доктором теологии и еще через год — пастором. После нескольких лет, проведенных в Испании, Анг-

лии и Америке, он преподает систематическую теологию в Берлинском университете (вплоть до запрещения в 1936 году), пишет и публикует целый ряд богословских трудов (на русский язык переведен один из них, «Nachfolge», 1934, — «Хождение вслед», которое можно перевести также «Идти за Ним»: название книги основано на евангельских словах: «Оставь все и иди за Мной»). Центральной его темой, вероятно, остаются церковь как общение святых («Sanctorum Communio» из Апостольского Символа Веры, тема его первого, еще дипломного сочинения) и ее связь с ветхозаветной верой («Молитвослов Библии» — «Das Gebetbuch der Bibel», 1940).

Годы после прихода к власти национал-социализма придали этим темам особую остроту. Евангелическая церковь Германии оказалась в беспрецедентном положении. Отношения Церкви и земной власти (государства) в историческом христианстве изначально не мыслились как борьба — по известному евангельскому завету: «Богу Богово, а кесарю кесарево» (речь, как мы помним, шла об уплате налогов), — по апостольскому учению о том, что «всякая власть от Бога», и в соответствии с постоянными увещеваниями апостолов хранить гражданскую лояльность, поскольку государство оправдано тем, что его назначение — защищать добрых людей от злодеев. Но что делать в том случае, когда власть сама прямо утверждает, что она против Бога, и требует отдавать ей вовсе не кесарево, а Богово, и при этом защищает никак не добрых людей от злодеев, а саму себя и собственное право на любое злодейство от своих подданых (как это делала коммунистическая власть у нас)? Или если она не говорит, что она против Бога вообще, но требует всего лишь, чтобы Бог был другим: скажем, германским? Это предложение было принято «коричневым» внутрицерковным движением «немецких христиан». Победив на церковных выборах 1933 года, это движение провозгласило себя «Евангелической Церковью германской нации», которая откроет миру «германского Христа деиудаизированной Церкви»[5]. «Деиудаизация» отнюдь не сводилась к «арийскому параграфу». Она означала принятие особой, определенно антихристианской мифологии, в которой и Декалог, и Заповеди блаженства, и все евангельские смыслы были абсолютно неуместны. От христианской Церкви (пускай даже исключительно «германской нации») требовалось одобрение государственного культа силы и насилия, ненависти и беспощадности к другим, самопревозношения и презрения к законности, воли к власти в планетарном масштабе, полного душевного и умственного закабаления подчиненных, «истинных немцев», «настоящих патриотов». «Верить, слушаться, побеждать»[6] — вот чего хотел от человека этот невиданный вплоть до XX века Кесарь. Нужно ли говорить, что теперь, когда мы слышим о «русском Христе», нам предлагается очень похожая, хотя и не во всех чертах совпадающая с «нордической», но от этого не менее антихристианская мифология? То, что Бонхёффер называет «религиозностью», вполне может примириться с инъекцией такого мифа в его скромное благочестие, но то, что Бонхёффер

[5] Цитирую по: *Барабанов Е.* О письмах из тюрьмы Дитриха Бонхёффера. — В кн.: *Бонхёффер Д.* Ук. изд.

[6] Лозунг итальянских фашистов: «Credere, obbedire, vincere».

противопоставляет «религиозности», — *вера*, иначе: жизнь по «правде Божией», жизнь «пересотворенного человека», никогда этого не примет.

Направление, взятое Генеральным Синодом, вызвало решительное сопротивление некоторых — лучших — теологов и пасторов, объединившихся в 1934 году в «правомочную Германскую евангелическую Церковь», вошедшую в историю под именем «Исповедующей Церкви». Спор понимался не просто как политический и нравственный, но как богословский, доктринальный (Карл Барт). С этим движением с самого начала был связан Д. Бонхёффер. С этого времени вплоть до ареста весной 1943 года он активно участвует в церковном сопротивлении, все глубже уходящем в подполье и все вернее ведущем к неизбежной развязке. «*Мы вовсе не рисуем смерть в героических тонах, для этого слишком значительна и дорога нам жизнь*», — думает об этой развязке (до которой оставалось два года) Бонхёффер. И заключает: «*Не внешние обстоятельства, а мы сами сделаем из смерти то, чем она может быть, — смерть по добровольному согласию*». О мотивах его выбора — сострадании и исторической ответственности[7] — мы уже говорили.

Опыт жизни в условиях нового режима и то, что этот режим делает с человеческой личностью, Бонхёффер описал в небольшом тексте, написанном для друзей к Рождеству 1943 года, — «Десять лет спустя». Этот очерк, я думаю, — одно из самых значительных свидетельств прошлого века. Оно написано участником событий, — но участником, у которого есть удивительная возможность увидеть все точнее, чем это получится у будущих историков и аналитиков, поскольку он много больше их заинтересован в правде. Особенно важным это свидетельство должно было бы стать для нас. Когда в позднее советское время (не меньше, чем шестьдесят, а то и семьдесят «лет спустя») я читала этот изумительный бонхёффероский анализ разложения социума и человека (чего стоит главка «Глупость», открывающая не интеллектуальный, а нравственный и политический характер этой повальной глупости подрежимного населения!), я не могла не подумать: всё про нас! И до сих пор мне горько, что в нашей стране никто не попытался сделать подобного усилия понять происходящее в его самом общем и самом глубоком, не социальном, а духовном и человеческом измерении. Без такого понимания, как мы уже вполне убедились, выйти из этого состояния и отдельный человек, и социум не могут. Кстати, о выходе. И сейчас, читая последнюю главку, «Нужны ли мы еще?», я думаю: это про нас и для нас:

«*Мы были немыми свидетелями злых дел, мы прошли огонь и воду, изучили эзопов язык и освоили искусство притворяться, наш собственный опыт сделал нас недоверчивыми к людям, и мы много раз лишали их правды и свободного слова, мы сломлены невыносимыми конфликтами, а может быть, просто стали циниками — нужны ли мы еще? Не гении, не циники, не человеконенавистники, не рафинированные комбинаторы понадобятся нам, а простые, безыскусные, прямые люди*».

---

[7] «*Тот, кто не позволит никаким событиям лишить себя участия в ответственности за ход истории (ибо знает, что она возложена на него Богом), тот займет плодотворную позицию по отношению к историческим событиям — по ту сторону бесплодной критики и не менее бесплодного оппортунизма*».

Эти слова, я думаю, обладают в нашей нынешней ситуации актуальностью листовки. Необходимость настоящей простоты, — не той, что хуже воровства, — простоты цельного существа, наделенного способностью различать дурное и хорошее и делать для себя недвусмысленный выбор.

Именно в силу насущности опыта Бонхёффера для нас я, не будучи ни в малейшей мере знатоком его творчества и тем более — протестантской теологии XX века, приняла приглашение говорить об этом на Международном Бонхёфферовском Конгрессе, который в июле этого года состоялся в Праге. Текст моего доклада публикуется ниже.

2

Двадцатый век, который вспоминают чем угодно, но только не этим, был великим веком христианства. Он был веком исповедников; в их опыте он стал, можно сказать, епифанией христианства, явлением того, что в христианстве христианское (не гностическое, не стоическое, не укрощенно и преобразованно языческое, не неосознанно ветхозаветное, не обыденно ритуальное, не клерикальное). Их свидетельства хранят для нас след этого опыта: опыта встречи с чем-то абсолютно новым и небывалым. «В дошедших до нас словах и обряде (здесь имеется в виду обряд крещения. — *О. С.*) мы угадываем нечто *абсолютно новое*, все преображающее...»[8] Свидетели этого опыта, принадлежащие разным христианским конфессиям (а также остающиеся за пределами церковного христианства, как Симона Вейль), говорят о переживании того, чего с такой силой не чувствовали, вероятно, с катакомбных времен: о явлении христианства как невероятной *новизны*, рядом с которой все прочее выглядит безнадежно ветхим, о явлении его как *начала*, как *будущего*. О явлении христианства как дара *жизни*, рядом с которым все прочее кажется мертвенным, умирающим, умерщвляющим. О том, чем Любимый Ученик начинает свое Евангелие и Первое Послание: «о Слове Жизни: и Жизнь явилась, и мы видим и свидетельствуем...» (1 Ин 1:1–4)[9].

В выступлении по поводу тысячелетия Крещения Руси (а это и было начало официальной реабилитации православия в Советском Союзе) С. С. Аверинцев говорил — от лица тех, кто обратился к вере во времена воинствующего атеизма: «Мы увидели христианство не как одну из религий, не как нравственную систему, путь к личной праведности, не как “святую традицию”, “веру отцов”, не как множество других вещей, которые привычно связывают с жизнечувствием церковного человека, — мы увидели его *про-*

---

[8] «Мысли по поводу крещения Д. В. Р.».

[9] Две эти темы — изумительность, небывалость христианства и иоаннова тема *жизни* — составляют лейтмотив бесед патриарха Афинагора, записанных Оливье Клеманом (*Оливье Клеман.* Беседы с патриархом Афинагором. Пер. с франц. Владимира Зелинского. Брюссель, 1993). Ср. у Бонхёффера: «*Христианство не состоит из запретов: оно есть жизнь, огонь, творение, озарение*». Афинагор, проживший долгую и внешне благополучную жизнь, не принадлежал к числу гонимых и мучеников XX века; его опыт — опыт монашеского молитвенного созерцания. «Открытие» христианства в минувшем веке происходило в разных обстоятельствах.

сто как жизнь; никакой другой жизни вокруг не было. Слова Христа: "Я же пришел, чтобы имели жизнь, и имели с избытком" (Ин 10:10), — мы слышали не как обещание, а как прямую констатацию факта». Аверинцев, великий историк культуры, закончил эту речь трезвым предупреждением: «И это время пройдет. Времена эсхатологического приближения сменяются другими. Но будем помнить, что мы это знали тверже, чем что-нибудь: что христианство — это жизнь. И тогда, когда о христианстве будут вновь думать иначе, мы этого не забудем»[10].

Он угадал. Можно сказать, что теперь в России — в целом — о христианстве, о православии, о церкви думают иначе. Но мы помним: нам все это являлось как жизнь. И потому нам так ясен Бонхёффер.

Речь шла не о той «вечной жизни», под которой привычно понимают некую «вторую, иную жизнь» (потустороннюю, посмертную или же «внутреннюю»), а о жизни здесь и сейчас, об избавлении от смерти, которая действует здесь и сейчас (а не о той, которая ждет нас где-то в конце земных дней). «Ни в чем другом жизни не было», — сказал Аверинцев о поздних советских годах. «Все доступные альтернативы современности представлялись (нам) равно невыносимыми, чуждыми жизни, бессмысленными», — пишет Бонхёффер в 1943 году о мире другого торжествующего тоталитаризма[11]. Итак, не «жизнь после жизни», не «праведная жизнь», — а просто и единственно: жизнь. Воздух. Пространство. В другом нечем дышать. Другое — теснота. Ср. у Бонхёффера: «*Вера же есть нечто целостное, жизненный акт. Иисус призывает не к новой религии, а к жизни*»[12]. И — к жизни в *этом* мире, каким он стал «*спустя десять лет*» (в Германии, а в России — спустя все семьдесят) после прихода к власти нечеловеческого зла, как будто спущенного с цепи.

Невыносимость «мира» и «мирского» — не новость для христианской души разных эпох. Взыскательные и взысканные души всегда это знали. Освенцимы и ГУЛАГи для такого знания избыточны. Любить правду Божию и одновременно принимать (или даже извинять) порядки «мира сего» невозможно. Но привычное решение здесь известно — это религиозное отречение, уход от мира (в разных формах, в том числе во «внутреннюю жизнь»). И прежде всего — уход от самого мирского в мире: от социальности, от участия в политической жизни, понятой как игра мирских страстей, поле действия «князя мира сего». Но это значит: уход от истории — или, точнее, противостояние ее ходу. Преимущественно сдерживающая, охраняющая позиция Церкви веками представлялась совершенно естественной, — но ведь это христианство некогда пустило в ход все движение эпохи, которая именуется «нашей эрой» и ведет счет «от Рождества Христова».

В катастрофах XX века с необычайной ясностью вспоминается другое: христианство не уводит из мира, а приводит в мир. «*То, что не от мира сего,*

[10] Я цитирую выступление С. С. Аверинцева на открытии Зала религиозной литературы в Библиотеке иностранной литературы (Москва, 1989) на основании собственной дневниковой записи.

[11] «Спустя десять лет»

[12] «Письма другу».

стремится в Евангелии стать чем-то для этого мира; и я понимаю это не в антропоцентрическом смысле либеральной, мистической, пиетистской, этической теологии, но в библейском смысле, явленном в сотворении мира и боговоплощении, в крестной смерти и воскресении Иисуса Христа»[13].

Речь идет «просто» о жизни (а не о специальном «религиозном» роде жизни), — но это значит, о *всей* жизни, а не только о ее «религиозном участке»: о жизни в науке и творчестве, в браке и дружбе, о жизни внешней и внутренней, интеллектуальной и гражданской, интимной и публичной; о жизни, как говорит Бонхёффер, не только в слабости и неведении (когда обыкновенно и вспоминают о Боге), но и в силе и в знании; не только за пределами разума, но внутри его самой напряженной работы; не только на краях жизни, но в самом ее центре.

К этому открытию «просто жизни» Бонхёффер добавляет еще одно важнейшее прояснение. Речь идет к тому же «просто» о человеке (а не о человеке набожном, праведном и т. п.): «*Христос творит в нас не какой-то тип человека, но просто человека*»[14]. «Просто человека», человека вполне одушевленного и живого, в нас в наличии нет. Его требуется творить. И когда это в действительности творится, возникает нечто необычайное: то, что и можно назвать человеком. И это, как в случае с «просто жизнью», предполагает: речь идет обо *всем* человеке.

Так в советские годы мы имели возможность видеть, как верующие люди выглядели среди окружающих, — в точности оправдывая древние слова: словно ожившие люди среди статуй. Они отличались от других не тогда, когда соблюдали молитвенное правило и посты и посещали богослужения (этого другие, как правило, и не видели, это делалось часто тайком и от домашних): они отличались в каждом своем движении и взгляде. Они были совсем живыми. У них была другая мера вещей. Они были свободней — и потому несравненно умнее других: их не захватывала та эпидемическая глупость, которую замечательно анализировал Бонхёффер. В них не было тысячи предвзятостей и страхов, определявших существование других (в точности наоборот привычному: ведь именно «религиозные» люди для человека живого ума, типа Гете, представлялись — и, увы, справедливо — самим воплощением предвзятости, неполной искренности и узости). Наконец, в них была *сила*. Тысячелетие размышляя и напоминая человеку о его немощи и бренности, христианская культура слишком редко вспоминала о христианстве как о *силе*. Об этом напомнили времена испытаний. Системы, подобные сталинской или гитлеровской, овладевали человеком не через его злобу, а через его слабость. Через его слабость овладевает человеком и новая анонимная власть — власть цивилизации, которую называют потребительской. «Христос делает людей не только “добрыми”, но и сильными», — говорит Бонхёффер[15].

Со всей простотой явилась и еще одна из «первых вещей» христианства: *свобода*. Христос, приходящий, по слову Пророков, «*освободить плен-*

[13] «Мысли по поводу крещения Д. В. Р.».

[14] «Письма другу».

[15] Там же.

ников от оков и вывести заключенных из темниц», как это всегда пелось в рождественских песнопениях — но привычно понималось в спиритуализованном смысле: ведь и окружающая жизнь только в переносном, «духовном» смысле могла быть увидена как тюрьма. Но здесь тюрьма была совсем вещественной, и освобождение требовалось не метафорическое. *Свобода* переживалась в своей изначальной связи с *душой* (а в библейском языке *душа* значит *жизнь*) и *спасением*. Думая о собственной жизни и призвании, Бонхёффер не раз вспоминает удивительные слова пророка Иеремии: «*Ты просишь себе великого: не проси; ибо вот, Я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда ни пойдешь*» (Иер 45:4-5). Спасение свободной души (жизни), сохранение сердца («*Храни сердце свое пуще всего, ибо из него исходит жизнь*» [Притч 4:23]) — в этом единственно он видит духовное задание своего поколения. Так, я думаю, могли бы сказать о своей жизни и те, кто отказывался от сговора со злом в Советской России. Такого рода спасение души часто стоило жизни и всегда — социального благополучия. Другие, великие дела, когда прозвучит «*новый язык, возможно вообще нерелигиозный, но он будет обладать освобождающей и спасительной силой, как язык Иисуса... язык новой праведности и новой истины*»[16], Бонхёффер оставляет будущим поколениям.

Все эти вещи в их радикальной новизне, в их преображенности Христом — жизнь, человек, свобода, сила, ум, благородство, история, гражданство — были заслонены в христианской истории совсем другими темами размышлений и практик. Нелепо отрицать их глубину, значительность и богатство, но во времена испытаний не это было «единым на потребу». Замечательно отталкивание Бонхёффера от анализа «психических глубин», «тайников души» человека, от интроспекции. Он замечает: «“Сердце” в библейском понимании — это не “глубина души”, а весь человек, такой, каким он стоит перед Богом»[17]. В этом непсихологическом, — в его словах, «мирском», — повороте хочет он осмыслить важнейшие категории христианства: грех, покаяние, обращение, аскезу. Для «новой простоты», простоты прямодушного и цельного желания «идти вслед», человеку требуется не разбираться в себе, а забыть о себе начисто, говорит Бонхёффер. Как и вообще это требуется для исполнения любого дела, хотя бы мытья посуды.

Чтобы такая первая простота христианства открылась, должно было случиться многое. Должна была произойти историческая катастрофа. Христианская традиция была изъята из «порядка вещей», которому она, по всей видимости, принадлежала в Европе полтора тысячелетия — так, что это внушало мысль о «христианских корнях Европы», надежных, прочных корнях[18], о бесперебойном наследовании веры от отцов к детям. И вот полтора тысячелетия благополучного существования церквей в «христианском мире», в сре-

[16] «Мысли по поводу крещения Д. В. Р.»

[17] «Письма другу».

[18] Как неожиданно заметил прекрасный московский священник: «*Но у Европы нет христианских корней! Корни ее языческие. Христианство не пускает корней. Оно выросло на библейском корне и привито народам, как диким маслинам*».

де «христианских народов» и «христианских государств», подошли к концу, и конец оказался скандален. Впервые после крещения народов Церковь оказалась гонимой на собственной «канонической территории» (в России). В роли гонителей выступали «свои», наследники той же традиции. Массовость и жестокость этих гонений превосходила римские времена. По предварительным подсчетам (данные Комиссии по канонизации российских новомучеников), число уничтоженных в СССР по религиозным статьям с 1918 по 1939 год составило около миллиона человек. Во много раз превосходящее число людей прямо или косвенно участвовало на стороне гонителей.

Бонхёффер, как позднее папа Иоанн Павел II, как многие гонимые священники и епископы Русской Православной Церкви (сошлюсь хотя бы на о. Сергия Савельева), как Вселенский Патриарх Афинагор[19], хотел видеть ответственность самой церкви за все происшедшее. В конечном анализе он видел ее в том, что «*церковь, боровшаяся только за свое самосохранение (как будто она и есть самоцель), не в состоянии быть носительницей исцеляющего и спасительного слова для людей и мира*»[20]. Таков же диагноз и названных выше свидетелей XX века.

Но гонимой могла быть не только церковь как институция и вера как принадлежность церковной традиции (как это было в коммунистической России). Гонению подвергалось собственно христианское — и там, где отношения мирской власти и местной церкви складывались не как борьба на истребление, а как компромисс или конкорданс (как это было в Германии). Устои человечного и обжитого мира, его этические и рациональные основания рушились перед глазами очевидцев. Описание различий «прежнего», человечного мира, где, словами Пастернака, «*любить было легче, чем ненавидеть*», и мира нового, «чрезвычайного», в котором господствует откровенное Зло, а насилие, предательство, ложь, всеобщее недоверие друг другу и подозрительность (своего рода презумпция виновности, — характерное свойство социальных парий, по наблюдению Бонхёффера) вошли в порядок вещей, удивительно совпадает у Бонхёффера и Пастернака[21]. Оба они знали два этих мира на опыте: в первом они выросли и сложились и навсегда несли его в себе, — но действовать они были призваны во втором. Для тех, кто родился в Германии и России позже них, «прежний мир» мог быть известен только из преданий — и к тому же запретных (официальный миф «прошлого» был совсем иным). Обозревая неисчислимые потери, беспочвенность, бесчеловеч-

---

[19] «Но что мы сделали из христианства? Религию закона и самодовольства!» — Оливье Клеман.

[20] «Мысли по поводу крещения Д. В. Р.».

[21] «Принято было доверяться голосу разума. То, что подсказывала совесть, считали естественным и нужным. Смерть человека от руки другого была редкостью, из ряда вон выходящим явлением etc. — *Борис Пастернак*. Доктор Живаго.

Ср. у Бонхёффера: «*Мы постоянно переоценивали значение разума и справедливости в ходе истории. В нашей жизни "враг" по существу не был какой-то реальностью*» («Мысли по поводу крещения Д. В. Р.»). В другом месте: «*Фигура Иуды, столь непостижимая прежде, уже больше не чужда нам. Да, весь воздух, которым мы дышим, отравлен недоверием*» («Спустя десять лет»).

ность, «безрелигиозность» нового мира, Бонхёффер не призывает к «укоренению», а в каком-то смысле благословляет эти времена: «*Я могу сказать, что не хотел бы жить ни в какое другое время*». Почему? «*Еще никогда мы не чувствовали гневного Бога так близко, и это благо*», — пишет он в ноябре 1943 года[22]; в мае 1944: «Яснее, чем в какие-либо другие времена, мы познаем, что мир — в гневных и милостивых руках Божиих»[23]. Слова Псалмов и Пророков приходят ему на память в связи с происходящим как самые точные описания злободневности[24]. Стихи о гневе и разрушении, за которым следуют примирение и утешение. Он чувствует себя внутри Священной Истории (ведь это и значит — «быть в руках Божиих»). Это катастрофическое настоящее было полно будущим. «*Ведь небиблейское понятие "смысл" есть лишь перевод того, что Библия называет "обетованием"*»[25].

Я вспоминала пока рядом с Бонхёффером только два русских имени — С. Аверинцева и Б. Пастернака. Но существует много документов времен гонений (писем, воспоминаний, дневников), где мы встретим близкие Бонхёфферу размышления и прозрения православных исповедников, клириков и мирян. Этот опыт у нас еще не собран и не обдуман.

И вот мы, — во всяком случае, хронологически, — в том времени, которое для Бонхёффера — и для наших мучеников — было будущим. Православие в России решительно входит в порядок жизни (восстанавливая то положение вещей, о конце которого мы уже говорили). Принимает ли оно наследство катастрофического, эсхатологического христианского века? Звучит ли ожидаемый ими «язык новой праведности и новой истины»? Или этот опыт действителен только на своем месте, там, где мир рушится и человек видит лицом к лицу вещи такими, как они есть? И может спросить, как Бонхёффер: «Нужны ли мы еще?» И ответить, как он: «Достанет ли нам внутренних сил для противодействия тому, что нам навязывают, останемся ли мы беспощадно откровенными в отношении самих себя — вот от чего зависит, найдем ли мы снова путь к простоте и прямодушию»[26].

Что же нам навязывают, можно спросить? То, что всегда: мир с «обычностью», с «необходимостью», с «ничего не поделаешь!» — с покорностью смерти, одним словом: смерти в форме непростоты и криводушия. Но другого — кроме простого и прямого — пути к тому, чтобы стать «человеком, которого творит в нас Христос», нет. Об этом не переставая говорит едва ли не единственный у нас широко слышный голос, отвечающий опыту исповедников XX века, — голос великого православного проповедника послекатастрофических лет, митрополита Сурожского Антония.

---

[22] «Письма другу». Письмо от 27.11.43.

[23] Там же.

[24] «*Каким-то образом станет явной — для того, кто вообще способен видеть, — правдивость слов Псалмов; а слова Иеремии (45:5) нам придется повторять изо дня в день*».

[25] «Письма другу».

[26] «Спустя десять лет».

ФИЛОСОФСКАЯ, СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

в русской периодике второго квартала 2008 г.

Журнал «Вопросы философии» публикует перевод третьей и четвертой глав книги **Антанаса Мацейны «Бог и свобода»** (№ 4). Известный литовский христианский мыслитель XX века пытается здесь ответить на важнейший, по его мнению, вопрос философии религии: *как человек может осуществлять свою свободу перед лицом Бога?* Признание, с одной стороны, реального Бога-Творца, а с другой, — реальных Его творений, отличных от Него, но обладающих самостоятельностью и свободой, влечет за собой для Мацейны следующую посылку: *если мир не есть Бог, то и способ действия мира не есть способ действия Бога.* Это значит, что *нельзя действительность мира принимать как знак Бога или Его предписание, ибо в этом случае мир перестал бы быть самостоятельным существом, становясь, как тот терновый куст в пустыне, лишь обозначением Бога.* Как же мы удостоверяемся в действии Бога? Никогда и нигде не встречая Бога как Бога, Бога как Могущество, мы, отмечает философ, свободны в своем определении и по отношению к Нему Самому, и по отношению к Его деятельности. Из этого самоопределения человека по отношению к Богу, пишет Мацейна, следует, что человеческая свобода в отношении с Богом — максимальная, в то время как при общении с себе подобными мы ограничены: в случае неограниченной свободы личности не осталось бы пространства для свободы других личностей. Является ли то или иное слово или действие Божьим, мы должны определить сами, без воздействия каких-то специфических знаков божественности и без давления всяких законов, т. е. совершенно свободно. (На это обстоятельство Мацейна обращает внимание тех верующих исследователей природы, которые *слишком легко распознают Божии следы в мире*, как бы *продлевая физику до метафизики.* Сюда, например, относятся попытки из «Большого взрыва» вывести сотворение мира.) *Быть перед лицом Бога* и означает для Мацейны быть в пространстве свободы, там, где мы поистине действуем сами, а потому сами себя обосновываем и этим своим обоснованием определяем свою судьбу. И, значит, самую главную задачу человека можно определить как **создание своего лица в связи с Богом**.

Следующая публикуемая глава — **«Свобода и атеизм»**. По аналогии: есть кантианский «постулаторный теизм»[1], утверждающий: есть ли Бог, невозможно доказать теоретически, но Он необходим этически. Существует и «постулаторный атеизм», проповедующий, что любая идея Бога была бы отрицанием свободы. Родоначальником его был М. Бакунин, а на философский уровень поднял Н. Гартман, рассуждая телеологически: если мир пронизан целями Бога, то ни человеческие цели, ни человеческое самоопределение не имеют в нем ни места, ни значения. Именно в рассматривании Бога в

[1] От лат. *postulare* — требовать, жаждать.

качестве начертателя плана некой мировой целесообразности и видит Мацейна ошибочность «постулаторного атеизма»: заданная цель и ее осуществление ограничивают мир, устанавливая для него определенные рамки, но ведь и логически, и онтологически возможен **открытый** мир — не обусловленный только одним направлением или одной целью. Мир, заполненный причинами и целями, т. е. замкнутый мир, есть, как пишет философ, *обогащенный программами компьютер, результаты действия которого заранее запрограммированы*, и был бы созданием скорее Бога-Могущества, нежели Бога-Любви. Именно такого Бога, считает Мацейна, и имеют в виду Бакунин и Гартман, не видящие, что христианский Бог есть *не другое «Я», а «Ты» человека*, и это означает, что Он есть Бог-Любовь, Бог-Слуга, кенотический Бог. У твари (как зримого проявления любви такого Бога) нет другой цели, кроме одной — быть; цель сотворения и есть бытие твари. Наличие же неких иных планов и целей означало бы, что существует нечто более высокое, чем любовь Бога, что последняя есть лишь средство. Христанская религия, убежден мыслитель, не знает и не провозглашает никакого Божьего плана, который находился бы где-то вне человека или над ним, т. е. такого, в котором человек не принимал бы участия или которому был бы подчинен как средство. Единственный «план» Бога в мире относительно человека — это **призыв к нему проявить свою свободу**. *Мировая целесообразность, которая так напугала Н. Гартмана, в действительности есть подлинная, самим Гартманом предложенная «телеология человека», но вот только слетевшая с уст Божиих, ибо эти уста произносят человеческое слово. И перед этим словом человек свободен, ибо он должен самоопределиться: воспринять это слово как божественное или не воспринять. От этого решения зависит превращение свободы в веру.*

Тема бытия и самореализации личности является ключевой и в статье **Валерия Мильдона «Индивидуализм и эгоизм (введение в современную этику)»** («Вопросы философии, № 6). Автор ставит своей целью *развести понятия индивидуализма и эгоизма*, постоянно, по его наблюдениям, смешиваемые в этической мысли. Эти два типа человеческой натуры противоположны друг другу, как противоположны динамичность и статичность, открытость и закрытость. Если эгоист считает себя *совершенным*, то индивидуалист — *совершаемым* человеком. Эгоист самодоволен и самодостаточен, не стремится ни к чему сверх своего наличного бытия, всегда равен себе, другой извне (и даже он сам себе как другой) ему только помеха. Индивидуалист же всегда стремится к идеалу себя самого, все более убеждаясь в неосуществимости своей цели. Поэтому он никогда не равен себе и постоянно нуждается в другом, ибо настоящее «я» вырабатывается лишь соотнесением себя с другими «я». По этой же причине «я» эгоиста, который всегда занят только самим собой, лишено подлинного значения. Отсюда, как ни парадоксально, эгоист — человек массы и толпы, для которых «другого» не существует (вместо *другого* для него существует *чужой*); он своего рода атавизм, ибо по сути продолжает быть человеком племенного мира в условиях, когда этот мир исчез. Индивидуализма, напоминает Мильдон, первобытный мир не знал, что подтверждает и история языка (буква «я», пишет он, — одна из самых «молодых» букв русского алфавита). Не-

верно, по мнению автора, противопоставлять индивидуальность и общность душевной жизни: так, гений — существо с наиболее ярко выраженной и сильной индивидуальностью — есть одновременно и существо наиболее многообъемлющее. *Совершенная индивидуальность*, таким образом, есть, вместе с тем, и *совершенная универсальность*. Еще один отмечаемый автором аспект проявления открытого и динамичного характера индивидуальности состоит в том, что задача, которую ставит себе индивидуалист, — осуществление самого себя, — связана с представлением о том, что осознаваемое мной сиюминутное «я» — еще не «я», т. е. что я — «сам себе «другой», и добраться до этого «другого» можно только через усилие. Иными словами, речь всегда идет о неком «сверх-я», что, собственно, и отличает человека от животного и растительного мира: если в последнем природа не только выражает назначение, но и сама его воплощает, то человеку она лишь дает назначение и *ему самому* предоставляет его воплощение. И если самодостаточный эгоист целиком принадлежит природе, то осознающий свою недостаточность индивидуалист — существо сверхприродное, и именно в той мере, в какой осознает, что всегда больше того, что реализовал. Исходя из всего сказанного, автор формулирует задачу наших дней — преодолеть навыки жизни, выработанные столетиями безындивидуальной общности, в переходе к новому типу коллективизма — «индивидуальному коллективизму», о котором, например, мыслил с христианских позиций Романо Гвардини. Благо массы определяется благом индивида — вот что, по мнению Мильдона, должно стать смыслом новой этики. С этих позиций особенно дорогим автору представляется осознание современной Европой ценности *свободы как возможности самому выбирать себе образ жизни*. Осознание, прошедшее болезненно, через фашизм, пытавшийся возвратить Европу к временам архаическим, доиндивидуальным — временам национальных идей (в понимании того же Гвардини — всегда антихристианских). В России же, считает Мильдон, индивидуализация жизни еще не произошла, — вот почему так долго, по сравнению с фашизмом, просуществовала в ней, да и продолжает существовать под иным названием коммунистическая система. Идеи, выраженные в статье Мильдона, близки персонализму, пусть автор где-то и спорит с Бердяевым (видя, например, в его идее «нового средневековья» неизжитый коллективизм русской мысли) и употребляет не вполне стандартную терминологию: дихотомия индивидуализма и эгоизма чаще обозначалась в философской мысли как дихотомия индивидуализма и личностности. Суть от этого не меняется: в любом случае речь идет о двух модусах или способах экзистенции человека: соответственно закрытом, статичном, самодостаточном (и, в силу этого, — косном и, по сути, бесперспективном) и, с другой стороны, — открытом, динамичном, чреватом возможностями раскрытия, творчества, иными словами, — потенциями дальнейшей жизни.

Откуда взялись террористы в мусульманском мире? «Звезда» продолжает публиковать иллюстрации **Игоря Ефимова** к концепции природы столкновений между различными народами (**«Грядущий Аттила. Прошлое, настоящее и будущее международного терроризма»**, № 4—5.) Напомним, в основе кровопролитных конфликтов любой эпохи лежат в первую очередь

противоречия между народами, находящимися на разных ступенях технологического развития, как правило, укладывающиеся в схему *богатый народ Альфа — более бедный, но воинственный народ Бета.* Разница между эпохами здесь прежде всего в уровне технологического развития. Если раньше речь шла о конфликтах кочевых или мигрирующих народов с оседлыми земледельцами, то сейчас на повестке дня конфликты земледельцев с машиностроителями[2]. Саудовская Аравия для автора — страна «законсервированного», едва ли не первозданного ислама: здесь до сих пор только еще проходит превращение племени в социум. Однако под видимостью внешней стабильности и остановившегося времени в стране протекает противоборство двух сил: модернизаторов, признающих неизбежность наступления индустриальной эры, и фундаменталистов, убежденных, что от наступающих перемен можно укрыться за стеной веры: нужно только отгородить людей от тлетворных соблазнов индустриального мира. Именно здесь родина Усамы бен Ладена, в силу своего радикализма оказавшегося неприемлемым даже для королевской власти страны, делающей все возможное, чтобы не прогневить фундаменталистское большинство, жадно впитывающее полные ненависти к индустриальному миру проповеди имамов и шейхов в мечетях (в свою очередь, для Бен Ладена эта власть — власть соглашателей с неверными, превратившая страну в «*американский протекторат*»). Автор пытается дать ответ на вопрос, в чем причина ненависти Бен Ладена и его единомышленников к индустриальному миру — ненависти, не объяснимой ни аскетизмом, ни невежеством, ни бедностью, ни психической неуравновешенностью (тот же Бен Ладен образован, богат, окружен многочисленными женами и детьми, предстает в многочисленных телеинтервью спокойным и рассудительным). В самом деле, какую видят они в этом мире смертельную угрозу, против которой готовы вступать в смертельную, часто безнадежную борьбу? Почему армия террористов-самоубийц пополняется новыми добровольцами? Ответ, даваемый Ефимовым, не нов: причина — в раскалывающем голову и сердце саудовского или иного арабского «бетинца» противоречии реального мира и догм мусульманского правоверия. Ислам учит: все на свете происходит по воле Аллаха, Он карает неверующих в Него и награждает правоверных и праведных. Как же с этих позиций объяснить себе неслыханное богатство и военную мощь неверных — тех же, особо ненавидимых, израильтян? Неужели Аллах тем самым показывает свою милость к ним, свое предпочтение? Здесь гибнет самое дорогое — гордое сознание своей избранности и правоты, теряется смысл жизни, и мучительный вопрос: *За что Бог прогневался на нас — за грехи, за слабость?* — в итоге оборачивается готовностью собственной смертью искупить свою греховность, — так считает Ефимов. Но даже если каким-то чудом и осуществится мечта исламистов о глухой стене от всего мира, если «машиностроители», устав жить под дамокловым мечом террористов, махнут рукой на мусульманский мир и уйдут из него, как колониальные державы ушли из своих колоний, кровавое противоборство, по мнению автора, на этом не кончится, а только усилится. Единый мусульманский халифат неосу-

[2] См. наш обзор в № 136.

ществим в сегодняшнем мире точно так же, как он был неосуществим двенадцать веков назад: в отсутствие западного врага религиозные фанатики окажутся лицом к лицу с непомерной кровавой задачей — свергать королевские династии в исламских странах. Ведь борьба за власть между теми, кто цепляется за старину, и теми, кто осознал неизбежность перемен, — между муллами и генералами, — идет в мусульманском мире свирепо и непрерывно. Слишком сильно, как показала история Ирана, Судана и Афганистана, пропитано движение фундаменталистов *похотью господствования* и сладострастием убийства. И если даже Усама Бен Ладен уйдет со сцены, остается нечто более долговечное, опасное: скрытая лава ненависти бетинцев, бурлящая под жесткой коркой военных или королевских режимов. Другую страну, где, по его мнению, опасность терроризма нарастает особенно быстро, — Египет (самую многочисленную арабскую страну), — Ефимов характеризует как страну начавшейся еще с XIX века, но затянувшейся, буксующей индустриализации. Это также создает питательную среду для распространения мусульманского терроризма. В Египте зачастую, прежде всего в деревне (где и живет подавляющее большинство населения), правит бал даже не исламская ортодоксия, а кланово-разбойничья психология, которую впитали все президенты страны: Насер, Садат, Мубарак. Немудрено, что и в Египте есть террористические лидеры и совершаются леденящие душу теракты. Еще одним фактором радикализации ислама Ефимов числит то, что сегодня в подошедших к порогу индустриализации странах ислама, подобно Европе времен вступления в индустриальную эру, популярны социальные утопии, замешанные на крутой смеси исламизма и социализма. Как и в Европе прошлого, идеи утопистов и здесь подхватываются воинствующими деятелями. Пропаганда ненависти, идущая непрерывно в египетских мечетях и университетах, формирует поколение, заставляющее задаться вопросом, выйдет ли и из этой страны новый мусульманский Аттила.

Перейдем от рассмотрения террористических методов решения вопроса о том, как лучше жить, к методам более мягким. У российских интеллектуалов продолжает оставаться популярной критика либерализма с позиций идеологии «многополярного мира». Характерные рассуждения представлены статьей **Камалудина Гаджиева «Заметки о метаморфозах либеральных ценностей»** («Вопросы философии», № 5). Предваряет свою критику Гаджиев «позитивом», признавая определяющую роль в развитии человечества идеи свобод и прав человека, гражданского общества и правового государства, разделения властей и т. д. — всего комплекса принципов, идей и ценностей, которые принято называть либеральными. Однако, утверждает автор, мы наблюдаем перерождение либеральных идей в свою противоположность, в своего рода «единственно верное учение», когда эти идеи на Западе объявляются магистральным путем всего человечества. В подобном *тоталитарном мышлении* Гаджиев обвиняет таких классиков либеральной мысли, как К. Поппер и Ф. фон Хайек: первого — на том основании, что-де видит основателя коммунизма, фашизма и других зловредных теорий в Платоне (но что великий философ, живший два с половиной тысячелетия тому назад, мог знать о тоталитаризме? — *Д. М.*), второго — за то, что тот обрушивается на любые формы коллективизма, плано-

вого хозяйства и государственного вмешательства в экономику, рассматривая их как неизбежную предпосылку перерождения в рабство. Впрочем, в этой компании оказывается и Вл. Соловьев, у которого автор находит, например, критические и скептические строки с сугубо «евроцентристских» позиций в адрес китайской традиции. Если уж эти мыслители мирового масштаба таковы, что и говорить о нынешних американских неоконсерваторах, являющихся главными «либеральными фундаменталистами», благодаря влиянию которых США, пытающиеся насаждать эти ценности по всему миру, остаются, по определению Гаджиева, одним из немногих «идеологически ориентированных» государств. Между тем, указывает автор, победа стран с либеральной идеологией не привела ко всеобщему миру, гармонии и порядку, — напротив, ликвидация тоталитарных режимов и переход на рельсы демократизации способствовали, как, например, в Ираке, высвобождению дремлющих сил ксенофобии и конфликта. В итоге, начав за здравие либерализма, Гаджиев кончает за упокой, фактически сдавая либерализм в *утиль истории*, ибо он *продемонстрировал свою неспособность к модернизации в том смысле, что почти все геополитические проекты, построенные на его основе, направлены на борьбу с призраками прошлого или защиту теней воображаемого светлого демократического будущего всего человечества, построенного на принципах и в интересах Запада, точнее говоря, Соединенных Штатов Америки.* Впрочем, одновременно он признает объективность и положительные стороны глобализации, а также наличие основополагающих ценностей, от которых зависит выживание человечества. Но и эти ценности, подчеркивает он, понимаются разными народами, как и людьми, по-разному, и попытки навязывания одного универсального понимания недопустимы. Интересно, правда, что к ценностям рукотворным Гаджиев сказанного выше не относит: в том, что незападный мир использует западные технологии в самых разных областях, он не видит ничего плохого. Здесь в качестве иллюстрации автор приводит слова из интервью Хомейни: *Вещи — это хорошая сторона Запада... Мы не боимся ни вашей науки, ни вашей техники. Мы страшимся ваших идей и ваших обычаев.* Тут-то, позволим заметить от себя, неплохо бы призадуматься над тем, что стоит за подобной риторикой отторжения либеральных «идей и обычаев» при полной готовности пользоваться плодами их применения (кстати, усиленно пытающийся модернизироваться, одновременно жестко противостоя Западу, исламский Иран как минимум не вполне укладывается в теорию И. Ефимова, о которой ранее шла речь). Заодно не грех задуматься и о том, что влечет за собой техническая модернизация в отрыве от «модернизации» сознания, освоение технологий без освоения адекватного этим технологиям отношения к человеку, — вспомним, что и нью-йоркский Торговый центр был разрушен отнюдь не стенобитными орудиями. Либеральные принципы и ценности ставят высокую планку взаимоотношений как отдельных людей, так и государств, и то, что нет в мире страны (включая, конечно, и США), которая бы в полной мере следовала этим провозглашаемым принципам, — лишь констатация очевидного. Но именно в этой высоте планки — той планки, что отмечает высоту человеческого достоинства в его рационально сформулированном, отрефлексированном и од-

новременно выстраданном европейской историей идеале, — если хотите, «осознанной утопии», — и состоит значение этих принципов и ценностей. Статья же, как и угадывающиеся в ней известные тенденции российской политики, в целом оставляет впечатление попытки усидеть на двух стульях: делается реверанс в сторону очевидно привлекательных либеральных ценностей — и обосновывается идея «многополярного мира», в котором при удачном раскладе можно занять видное геополитическое место «полюса», где и ценности свои собственные (правда, не до конца ясно, какие). Не стать бы только в очередной раз «полюсом холода»...

Пожалуй, именно этот ощущающийся в сегодняшнем российском обществе холодок заставляет публицистов и аналитиков все чаще вспоминать реалии межвоенной Германии — периода, известно, какой «зимой» закончившегося. Уроки из обстоятельств нацификации Германии пытается извлечь **Юлия Канторович («Инакомыслящих считать преступниками или неполноценными»** — «Звезда», № 5), приурочивая статью к 75-летию прихода Адольфа Гитлера на должность канцлера (главы правительства) Германии. Это, напоминает автор, случилось 30 января 1933 года, когда после своей победы над Гитлером на выборах рейхспрезидента Пауль фон Гинденбург был вынужден создать коалиционное правительство и назначить канцлером Гитлера. В статье вскрывается роль обывателя, «общественного мнения» немцев тех лет, впитывавших в себя популистские клише «народного канцлера» и его соратников: «*Освободиться от версальских пут*», «*День пробудившейся нации*», «*Вы лучше, потому что вы немцы. Они недочеловеки, потому что не немцы*», и т. п. Доказать же себе, что ты «лучший», было просто: проголосовать за НСДАП. Автор приводит свидетельства об умонастроениях в версальской Германии: упадок духа вследствие положения страны, с которой «*перестали считаться*» после Версальского мира, мечты об утраченном могуществе. Согласно приведенному в статье свидетельству бывшего рейхсминистра Альберта Шпеера, темы здесь задавала толпа, ее инстинкты и страсти. При всем том вполне небезосновательном впечатлении, что Гитлер и Геббельс с партайгеноссе умели проникать в чаяния своей аудитории и успешно сплавляли рабочих, мелких буржуа и студентов в однородную массу, которой могли манипулировать по собственному усмотрению, на самом деле скорее *сама толпа* формировала и направляла этих политиков в соответствии со своими страстными желаниями и мечтами. Все, что сообщает автор о стремительных переменах в атмосфере в стране, в области гражданских свобод и морального климата, — это печальная констатация того, как немецкий народ, став такой толпой, променял реальную свободу на пропагандистскую «безопасность». Не последнюю роль здесь сыграла и мелочная склока демократических партий, обернувшаяся — опять же стремительно, уже весной 1933 года! — направлением всех ссорящихся партийных функционеров в один специально построенный лагерь Дахау. А ведь незадолго перед тем, пишет Канторович, в Германии царила эйфория: многие полагали, что к власти наконец-то пришло правительство, способное осуществить решительные меры по переустройству страны: преодолеть классовый раскол, восстановить равноправие с другими государствами на международной арене, вывести экономику из кризиса. Немалая

часть общества была охвачена чувством исторического перелома, неясными, нерациональными надеждами. По приведенному в статье признанию Лени Рифеншталь, мало кто понимал тогда, к какой катастрофе это приведет. *Роспуск парламента и запрет партий? Расистский душок? Закрытие оппозиционных газет? Неприятно, конечно, но неизбежно — это лишь временные перегибы при строительстве нового общества. Во имя «великой цели» можно пожертвовать «малым»*, — так описывает автор логику общественных умонастроений, благодаря которой буквально за несколько месяцев Гитлер совершенно законно сумел изменить всю систему власти и общественного устройства. Так ослепление нации привело к тому, что нацистская революция, как заключает Канторович, делалась легально и легитимно.

Если предыдущего автора занимает роль толпы в победе гитлеризма, то **Алексей Руткевич** пытается анализировать ментальные процессы, проходившие в это же время в среде высоколобой немецкой публики (**«Времена идеологов. Философия истории "консервативной революции"»** — «Вопросы философии», № 4). Его статья посвящена анализу того комплекса идей, который принято называть «консервативной революцией» (КР). Часто постулируется однозначная связь германской КР с гитлеризмом. Руткевич, говоря вопреки этому об ошибочности отождествления КР и национал-социализма, пытается нарисовать картину КР как сложного и многопланового явления, вовсе не во всех своих проявлениях имевшего отношение к нацизму. Идеи органического и духовного единства нации, близкие идеям немецкой КР, утверждает автор, обнаруживаются в тот период практически во всех европейских странах. В Германии же ее усиливало то, что к ней принадлежали многие выдающиеся мыслители, вплоть до Хайдеггера и М. Шелера. Автор начинает с апологии термина «КР», вроде бы парадоксально сочетающего в себе противоречивые понятия революции и консерватизма. Применительно к описываемому явлению, считает он, термин адекватен: если традиционные «правые» партии всеми силами стремятся ограничить участие масс в политике и никоим образом не мечтают о преображении самих масс, то и КР, и фашизм, как и коммунизм, немыслимы без стремления создать нового человека. В своем генезисе, отмечает Руткевич, КР была бунтарским и вместе с тем элитарным движением в первую очередь литературно-идеологического характера, но с поразительной равной готовностью адептов написать философское эссе и взяться за оружие. Анализ различных течений этого широкого и неоднородного идейно-политического движения — всех этих подробно описываемых автором «гибеллинов» (к которым принадлежали Шпенглер и Карл Шмитт), «гвельфов», «национал-большевиков» (кстати, видевших в Гитлере «наемника крупного капитала») — дает, по большому счету, одну главную объединяющую черту: неприятие либерализма и парламентаризма, скепсис относительно «личных свобод» (впрочем, считает автор, таким же общим для КР было и неприятие и прежнего «кайзеровского» консерватизма). Поэтому, несмотря на указанную в статье ошибочность отождествления КР с национал-социализмом, популярность ее течений в любом случае является важной характеристикой климата веймарской Германии, оказавшегося питательной средой для гитлеризма. В Рос-

сии, замечает автор, сегодня также разнообразны партии, заимствующие основные лозунги КР — от автаркии и цезаризма («регулируемой демократии») до «национал-большевизма». Как считает Руткевич, все эти идеи обретают плоть и кровь в любой стране, для которой включенность в мировой рынок сводится к роли поставщика сырых материалов или в которой *десятку миллионов нищих противостоит прозападная элита.*

Александр Филиппов замечает отсвет идей германской «консервативной революции» в сфере российской государственной идеологии (**«Ожиревший Левиафан. Читают ли в Кремле Карла Шмитта?»** — «Русский журнал», № 1). Политика, в понимании упомянутого в заголовке статьи политического мыслителя, — это прежде всего *взаимная готовность к войне различных народов, каждый из которых являет собой политическое единство*, сообщает Филиппов. С точки зрения такого «окопного» понимания политики очень важно, чтобы политическое единство не было расколото, а это значит, что *внутри* народа врагов быть не должно, их надо подавить, чтобы они не предали во время войны. Единство, по Шмитту, всегда имеет носителя, и лучше всего, чтобы это был персональный носитель, персональная инстанция принятия радикальных, основополагающих решений — тот, кого в устоявшейся терминологии называют *сувереном.* Собственно, и состоятельность суверенной власти определяется Шмиттом только по тому, может ли она принять наиболее основополагающие и радикальные решения — решения о введении чрезвычайного положения и об объявлении войны. Тот, кто вводит чрезвычайное положение, может поставить вне действия любой закон, принятый легальным порядком. Это значит, что в конечном счете именно суверенная власть является источником законного порядка. Суверен может объявить войну, то есть *назначить врага.* Таким образом, он действует от имени всего политического единства, воплощает его. В ходе этого процесса радикальные оппоненты достаточно быстро идентифицируются как враги, а поскольку подлинные враги всегда вне государства, — как агенты вражеских государств. Политическое же значение парламента как места, где противостоят в дискуссии разные политические силы, бывает тогда сведено до очень небольших величин. После всего изложенного автором и с учетом фона некоторых тенденций кремлевской политики ответ на вопрос, поставленный в заглавии статьи, кажется, напрашивается сам собой: читают, и еще как. Однако, уточняет Филиппов, это легко замечаемое сродство между рассуждениями Шмитта и тенденциями нашего государства — избирательное, частичное. Есть и другая реальность: класс профессиональной бюрократии, необходимый для функционирования государства. Бюрократия при любой властной системе заинтересована в том, чтобы машина управления представала перед народом как изменчивая, откликающаяся на изменчивых в своих симпатиях граждан. Поэтому весьма важны дополнительные средства обеспечения поддержки, что в социологии называется *легитимацией.* Как источник этой легитимации суверен нужен бюрократии не меньше, чем бюрократия суверену. Однако система, держащаяся только на легитимирующем потенциале «первого лица» и не использующая механизмы легитимации, даваемые реальным разделением властей, слишком проста и ненадежна, считает Филиппов. Помимо прямой власти, ее декларируемой «пирамиды»,

есть и косвенная власть, вторичные «пирамидки» власти тех, кто окружает властителя. И влияние этих «пирамидок» огромно. Таким образом, там, где многим наблюдателям видится укрепление «властной вертикали», Филиппов видит скорее избыток властных решений, каждое из которых обладает сравнительно меньшей ценностью, — своего рода инфляцию власти. Именно этот эффект, по словам автора, описывает Шмитт, приходящий к выводу: государство может быть тотальным не из-за силы, а из-за слабости, оно «всюду лезет», но не может эффективно справиться со всем объемом задач. При этом автор уточняет, что слова Шмитта относились не к нацистской, а к преднацистской Германии, и описываемые им проблемы были в числе причин крушения Веймарской республики. Отсюда и делаемый Филипповым вывод: *сильное государство и тотальное государство — не синонимы.* Наиболее осознаваемое знание о тоталитаризме, пишет автор, это, помимо знания о репрессиях, еще и знание о его мобилизационных способностях. Но тотальное государство может быть и слабым — и в этом случае никого не может мобилизовать, но может подпортить жизнь многим и многим. Имеет ли это отношение к ближайшим перспективам нашей страны, автор не знает, как не знает и того, по какому механизму пойдет неизбежная, на его взгляд, достройка недостроенной линии легитимации исполнительной власти. Возможных механизмом он называет три: сугубо бюрократический, механизм представительной власти и механизм «движения» (правящей партии).

Не только реалии межвоенной Германии с ее националистическим подъемом, но и *национализм как явление в целом* остаются популярным предметом рассуждений аналитиков. Национализм, движение за национальную свободу и социализм являются наиболее значительными силами, сформировавшими историю XX века, считает **Ник Гуревич** («**Национально-освободительные движения и социализм**» — «Слово\Word», № 58). Предметом анализа автора является тенденция, заставляющая получившие независимость страны «третьего мира» выбирать социализм. Тенденция, на первый взгляд, непонятная: ведь национализм основывается на единении людей, принадлежащих к одной нации и во имя ее единства не могущих не пренебрегать имущественными и другими различиями. Причина, по мнению автора, коренится в силе мечты о равенстве. В странах «третьего мира» основная масса реальных борцов за свободу — тех, кто движет революцией, — выходит из низких слоев, и, когда битва оказывается выигранной, эти «солдаты свободы» требуют для себя справедливого, т. е. равного разделения власти и имущества. И если на этапах национального самоопределения и освободительной борьбы классовые различия игнорируются, следующий логичный шаг — отменить разом все эти различия и таким образом прийти к политическому и экономическому равноправию, для чего необходимо уничтожение частной собственности как основы неравенства — именно то, что и является сущностью социализма.

Джеймс Карафанов («**Возвращение истории и конец мечтаниям**» — «Слово\Word», № 58) анонсирует книгу **Роберта Кагана** «Возвращение истории», представляющую собой полемику с тезисом Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории» с победой Запада в «холодной войне» (похоже, не осталось никого, кого бы не разуверила в этом тезисе история). Мир, констати-

рует Каган, после падения коммунизма стал вовсе не «процветающей утопией», статичным и гармоничным сообществом, а «снова нормальным»: страны по-прежнему соревнуются и создают препятствия друг для друга. Книга, написанная сотрудником американского CFR — Совета по международным отношениям (и, вдобавок, мужем американского посла в НАТО), анализирует возможности и намерения в отношении США многих стран, прежде всего крупнейших стран «догоняющего развития»: Китая, Ирана, Индии и России. Все они составляют сложный и противоречивый политический ландшафт, в котором мир и процветание не придут от партнерства этих великих держав, как это происходило в XVIII столетии, во время «Союза Европы». И дело, считает автор книги, в том, что если у стран, составивших последний, была единая идеология, то сегодня перечисленные крупные державы не имеют общих ценностей и общей морали. Не в состоянии добиться цели безопасности и сегодняшние международные институты (ООН и пр.), ибо в них имеют членство страны как свободные, так и авторитарные, они не могут между собой договориться. Особо сложны американо-китайские отношения, в которых китайская сторона постоянно готовится к возможной войне с Соединенными Штатами из-за Тайваня, одновременно желая избежать этой войны. Немалую угрозу представляют и другие государства-«автократы», чья идеология сосредоточена в первую очередь на укреплении аппарата власти страны. Выход, передает Карафанов мысль автора анонсируемой книги, состоит в «союзе демократий» — новом партнерстве на основе общих ценностей, реализующем альянс США со странами-единомышленниками.

Тема национализма стала ключевой темой № 6–7 (183–184) «Политического журнала». Здесь **Татьяна** и **Валерий Соловей** пытаются заняться апологией русского национализма (**«Конец неравноправия»**). Логика их довольно проста: с точки зрения психологии, индивид испытывает глубокую потребность в позитивной оценке группы, к которой он принадлежит. Любить свой народ и свою родину — естественное и нормальное состояние для человека, отрицать и презирать их — психическая девиация. В этой перспективе превращение в современной России риторики «патриотизма» в политическую конвенцию как раз отражает потребность общества в возвращении к психической норме. Сегодня, констатируют авторы, преодолевается однозначно негативное отношение интеллектуального сознания к русскому национализму, вызванное ориентацией на Запад как систему координат и устойчивой негативизации России и русскости, провозглашавшихся де неполноценными и подлежащими тотальной переделке. Сегодня *под давлением жизни* «великая и ужасная» российская интеллигенция не только пережила тотальное банкротство своих взглядов, убеждений и амбиций, но и социально разложилась, вот и удачно: начали рассыпаться и антирусские культурно-идеологические презумпции. Как утверждается в статье, в контексте империи национализм играет негативную в отношении государства роль. По своему объективному содержанию русский национализм самодержавной и советской эпох был антиимперским (поскольку обе власти основывались на надэтнических принципах) и — в большей своей части — стихийно, субстанциально демократическим течением (уже по той причине,

что он отражает интересы огромной этнической группы, взятой как целое). Антиимперскость русского национализма в течение обеих эпох (советская лишь наиболее рельефно проявила предшествующие тенденции) обуславливается, по мнению авторов, общей причиной: являясь номинальным гегемоном империи, русский народ (и, конечно же, вся присущая ему сила и жертвенность) на деле не имел никаких привилегий и преференций, а был прежде всего ее главным ресурсом, который в наибольшей мере и растрачивался. Это, отмечают Т. и В. Соловей, не означало абсолютной вражды между русским народом и государством, скорее это был симбиоз: империя, питаясь соками русского народа, одновременно формировала общую рамку русской жизни, обеспечивала относительную безопасность и сносные (по скромным отечественным меркам) условия существования народа. Однако в отношении упомянутых надэтнических принципов империи русский национализм играл подрывную роль, и в имперском контексте русская националистическая идеология объективно приобретала не консервативный, а радикальный и даже революционный модус (даже «черная сотня», к которой обращались как к последнему средству спасения империи, по мнению авторов, носила объективно антиимперский и глубинно демократический характер). В сегодняшних же исторических условиях, когда ситуация изменилась и реанимация империи и имперского характера русского народа абсолютно невозможна, русский национализм видится авторам статьи позитивным и созидающим и, более того, единственно возможной идеологией строительства государства и даже, как ни парадоксально звучит, идеологией формирования гражданской нации (как в свое время было в западных странах). При этом процесс этнизации русского сознания (еще не национализм, но открывающий благоприятные условия для его взлета процесс) авторы видят неразрывно переплетенным с нарастающим среди русских ощущением себя социально угнетенным большинством. Русские, утверждается в статье, во весь голос заявляют о своих неотъемлемых правах, *поставив власть перед лицом непреодолимого вызова.*

К контекстному подходу в отношении описания национализма, а также к возврату к исконному европейскому пониманию слова «национализм» призывает и **Виталий Куренной**. Он, однако, замечает, что от радетелей русского, как и любого другого, национализма трудно добиться внятного ответа на вопрос, что они понимают под употребляемыми терминами (**«Политический смысл национализма»** — «Политический журнал», № 183–184). Сама по себе вытекающая из «права наций на самоопределение» модель «национального государства», оформившего в начале XX века распад Австро-Венгерской и Османской империй, видится автору атрибутом специфической европейской истории, тогда как действительные политические образования, как современные, так и прошлые, имеют мало общего с этой моделью (в частности, и нынешняя Россия). Поэтому «русский националист» — это, как правило, субъект, который некритически воспринял одну из западных политических концепций и догматически следует непонятно откуда взявшейся у него в голове доктрине. Сложнее, чем с этой внешнеполитической ипостасью «нации», обстоят дела в случае внутринациональных отношений. Исторически подлинную политическую мощь идея нации обретает в связи

с процессами демократизации, направленными на преодоление ситуации, когда бремя власти несла не вся нация, а специфическая группа внутри нее (аристократическая республика и т. п.). Именно с этим — с гражданским равенством всех членов нации, снимающим дезинтегрирующие различия, в том числе и этнические, — и связана идея «национального суверенитета», напоминает Куренной. В сегодняшней России, считает он, политически мы имеем дело не с демократическим национальным государством, а скорее с «республиканской» в досовременном смысле слова формой правления, где власть делегирована немногим. Национализм же, принимающий у нас формы фантастических политических прожектов, на деле является искаженным требованием демократизации в условиях, когда русский этнос, во многих отношениях являющийся наиболее многочисленной модернизированной частью населения страны, в реальности проигрывает более архаичным этническим группам в ситуации резкой демодернизации постсоветского периода. Здесь для того, чтобы ради победы не опуститься ниже и не превратиться в воинственных и некультурных варваров, необходимо создать нормальные цивилизационные условия в обществе, экономике, политике, обязательные к исполнению для всех групп населения вне различия национальностей — т. е. по гражданскому принципу. Иными словами, здравой национальной политической задачей обозримого будущего можно считать реализацию политико-правового и цивилизационного порядка в рамках действующей Конституции Российского государства. Никакого другого политически несущего каркаса, кроме конституции, у современной России нет, считает Куренной.

Дмитрий Володихин («Нацдвижение между империей и этносом» — «Политический журнал», № 183–184) присоединяется к констатации раздражения на национальной почве в российском социуме. Но, в отличие от Куренного, считает, что нация и национализм могут быть только этничными, а не гражданскими, «паспортными»: суперэтнос, т. е. нация, не бывает сплавом разнородных элементов, но всегда складывается вокруг «этноса-строителя», перенимая именно его язык, историю и повседневно-бытовые приоритеты. Поэтому, считает он, в России не может быть российской нации, но только русская — полиэтничная нация, в основе которой лежит реально существующий русский этнос со всеми его предпочтениями. По этой же причине и империю, считает автор, некорректно называть полиэтничным государством: правильная империя равна национальному государству. Европе, где этничность вырождается (и, следовательно, существующая система границ непрочна), Володихин предрекает альтернативу: *образование Новой европейской цивилизации с гностическим универсализмом в качестве сверхценности или же полный распад европейского единства и переход Европы под контроль настоящих устойчивых наций.* Для России же, считает он, правильное национальное государство — почвенная империя; сегодняшняя Россия, не являясь империей, не является, соответственно, и национальным государством. Однако в будущем она имеет шанс сделаться таковым, дабы не произошло *тупое растворение России в глобализационных процессах по импортным сценариям* и в ней устоялось бы культурное ядро, на основе которого можно было бы выполнить задачу *рехристианизации все-*

го мира. Надежду здесь Володихин, как на чудо, возлагает на *резкое ослабление внешних глобализаторских центров* вследствие экстремальной ситуации, — скажем, социального или природного катаклизма, внешней по отношению к России войны. Такая вот цена мандата на дело «рехристианизации».

В заключение — еще о цене. На этот раз — о цене научных описаний российской социальной действительности. **Симон Кордонский** отрицает саму возможность такого описания на сегодняшний день (**«Импорт мировоззрений как сорт невежества. Почему невозможно научное описание российской действительности»** — «Русский журнал», № 1). Такая возможность, считает он, возникает только в *классовом* обществе в отличие от *сословного*, где исследователь, если он сам находится внутри этого общества, не может рационально объяснить ни его само, ни свое положение в нем. Любая попытка объяснения всегда будет иррациональной, на мифологический манер. Различие же сословного и классового обществ состоит в том, что в первом, в отличие от второго, политика еще не отделена от экономики и государство — от общества. Именно поэтому рефлексия социального устройства в сословном обществе закрыта. Поскольку же в России указанные процессы разделения не произошли, все объяснения общества, считающиеся здесь научными, на деле являются лишь интеллигентским околонаучным мифотворчеством. В нем, пишет Кордонский, особое место занимают импортированные конструкции научного знания, адаптируемые к отечественным мифологизированным реалиям. Таким импортом занимаются как «реформаторы», так и «патриоты» среди отечественных обществоведов, одинаково не ведающие о непригодности заимствованных теорий к «домашним условиям». Эта непригодность видна из различия самого характера существования социального знания в классовом и сословном обществах. В последнем знание не может быть консолидировано и оформлено в традиционном для науки виде, оно рассеяно среди его членов, живя в виде сплетен, слухов, мифов и мифологем, но никак не в виде фактов и построенных на них теорий: это не верифицируемое и не фальсифицируемое донаучное знание, мало что значащее вне контекста внутри- и межсословных отношений. Зато внутри этого контекста мифологизированное социальное знание служит ресурсом управления сословным обществом, за который идет жесткая конкуренция между сословиями. Все это, в конечном итоге, обуславливает для автора тот факт, что интеллигентные отечественные обществоведы, пытаясь формулировать социальное знание, на деле всегда обслуживают власть даже в том случае, если не занимают «провластную» позицию, а *диссидентствуют*: ведь в обоих случаях они не могут быть независимыми от сословных общественных связей. Тем более что в сословном обществе (по крайней мере, в его стабильные периоды) нет и не может быть такого публичного пространства, как в демократических обществах, поскольку нет самой «публики», гражданского общества — иного вменяемого адресата, кроме властных группировок. Таким образом, и социология, и экономическая наука, как старается показать Кордонский, играют, будучи в равной мере импортированными, каждая свою роль в научном обслуживании российского сословного общества. В итоге, сетует автор, при том,

что разговорами о преодолении зависимости от разного рода импорта занимаются уже по меньшей мере четыре поколения руководителей страны, никто не в силах всерьез понять причин неудач предыдущих поколений строителей светлого будущего. А среди них, считает автор, — и плохая определенность в понятийной области (таких, например, понятий, как «ресурсы», «государственное служение»), в чем тоже проявляется обремененность внимания исследователей импортными стереотипами. Предложением попытки определиться в этой области автор в своих рецептах и ограничивается; не ясна для него, похоже, и сама принципиальная возможность перехода России от «сословного» общества к «классовому». Впрочем, то, что свет в конце тоннеля отсюда не слишком виден, немудрено: сам «научный подход», научный характер методологии, к которому апеллирует автор, — тоже ведь, в конечном счете, «импортная схема». Уже хотя бы потому, что, как и «демократическая» политика, предполагает публичность и публику, которых нет...

Обзор подготовил Дмитрий Матвеев

Культовые фигуры литературной ярмарки

Сергей СИРОТИН

КАРТИНА МИРА ПО ДОНЦОВОЙ

> Я знаю за собой одну особенность, как бы это помягче сказать... Понимаете, я слегка болтлива, мой рот не закрывается ни на минуту, язык без устали сообщает кучу по большей части никому не нужной информации. В момент волнения он начинает работать с утроенной силой, а из груди вырывается совершенно идиотское хихиканье.
>
> *Дарья Донцова. Записки безумной оптимистки. Автобиография*

Аргументы и факты

Дарья Донцова — виднейший представитель бульварной литературы. Издателями ей даже присвоен титул «королевы иронического детектива». Бульварная литература возникла не сегодня и не вчера, и ей посвящены свои страницы в истории культуры. Поэтому нет смысла заявлять, будто Донцова — это некое исключительное зло в благопристойном литературном сообществе, которое тем более и внутри себя не так уж благопристойно. Она не более чем обычная и безвольная наследница бесхитростных традиций, которые и так всем хорошо известны. Для людей, им следующих, существует вполне толерантное обозначение — «ремесленники». С другой стороны, здесь и сейчас Донцова — явление значительное, которое трудно обойти стороной. Она бренд, пример, идеал, возможно, даже некая собирательная способность мыслить, к которой стремятся.

При этом ее положение в литературе обладает рядом особенностей, и вопрос о том, как и почему оказалось так, что человек, создающий низкопробные нехудожественные тексты, стал всенародно популярным, переходит в область тех вопросов, над которыми любопытно поразмышлять и на которые приятно иметь собственный ответ, подкрепленный рассуждениями о неумолимом кризисе общества, его распущенности, безбожии и т. д. Однако вся печаль ситуации состоит в том, что критика по адресу Донцовой практически невозможна. Человек, критикующий то, мимо чего иные

Сергей СИРОТИН — родился в 1985 г. в Геленджике Краснодарского края. Окончил химический факультет МГУ. Редактор сайта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе http://noblit.ru. Живет в Москве.

просто проходят, просто выставляет себя в смешном свете. Творчество Донцовой — это вещь без сущности, в нем нет ни идей, ни конфликтов, ни подлинной иронии или трагедии. Как таковое оно попросту неуязвимо для целенаправленных обвинений, поскольку сам факт его существования оказывается гораздо более жизнеспособным, чем периодические и нетвердые попытки стереть его с лица земли.

Кроме того, при столкновении своего интеллигентного мировоззрения с подобным творчеством критик нередко начинает жалеть о том, что собственная природа навечно заперла его в границах изящной словесности. Поначалу все демократично: критик Донцовой и ее защитник начинают в равных условиях. Каждый имеет в своем распоряжении добропорядочную установку везде искать плюсы и минусы и стремиться избегать резких суждений. Однако именно с этого момента демократичность спора, заявленная как нечто совершенно необходимое, начинает играть на руку защитнику, из-за чего, собственно, утрачивает свой смысл. Защитник Донцовой даже не прилагает труда для изыскания аргументов. Он просто берет их из наблюдаемой жизни, не совершая над ними никаких манипуляций. Тот факт, что книги Донцовой отлично покупаются, уже сам по себе предельно самодостаточен. Здесь не нужны другие слова. Или тот факт, что эти книги «разгружают голову» и «отвлекают от проблем». Защитнику Донцовой, в отличие от ее критика, здесь ничего не нужно больше добавлять. Эти аргументы-сырцы автоматически минуют стадию полуфабрикатов и превращаются в готовое блюдо. И через такие примитивнейшие аргументы критик в итоге просто не может пробиться, причем дело здесь не в том, что он плохо доносит свои мысли. Дело в том, что наивность этих аргументов, соединенная с их тотальностью, в принципе неуничтожима хоть сколько угодно последовательными и взвешенными контраргументами.

Вдобавок коварство ситуации в том, что сторона защиты и в принципе права. Это неизбежное следствие достижений нашей эпохи: демократии, глобализации, толерантности, отхода от христианского наследия. То, что может быть очевидно любому человеку с образованием выше среднего, оказывается совершенно неочевидным для домохозяйки, которая просто не хочет тратить силы на раздумья. Разрушенное единство истины неизбежно ведет к спорам, в которых никто никого не может убедить. Сегодня каждый в ответе сам за себя и за свои пристрастия. И значит, доктор филологии не имеет ни малейшего права указывать домохозяйке, что читать. Да он и вообще не имеет права этого делать. Приятная и греющая самолюбие формулировка закона об относительности приводит к такому вот уроду логики и, главное, — к бесконечному диалогу там, где можно было бы давно поставить точку.

Один из излюбленных аргументов защиты — это апелляция к тому, что нельзя судить о том, что не читал. Аргумент сильный в том плане, что его буквоедству действительно нечего противопоставить. Одна Донцова написала больше 90 романов, а сколько еще подобных ей авторов? Прочитать все это немыслимо, а составлять свое суждение по поводу прочитанного, по меньшей мере, утомительно. Я долгое время принадлежал к людям, которые просто ругали Донцову, даже не тратя время на знакомство с ее

творчеством. Я с легкостью присоединялся к нападкам на нее, неосознанно способствуя упрочнению ее «истинно народной» и «невысоколобой» позиции, чем, кстати, еще и себя превращал в интеллектуального сноба. Сейчас мне понятно, что высшая безопасная мудрость в этой ситуации — это просто игнорирование. Просто молчание без признаков внимания. А высшая небезопасная мудрость — это цинизм, причем особо острый и выразительный цинизм, который смог бы просто-напросто смешать ее творчество с грязью, где ему и место. Однако во втором случае, к сожалению, объект унижения начинает мыслиться как нечто необходимое. Цинизм живет тем, над чем он насмехается, и поэтому он принципиально вторичен. Кроме того, он непозитивен по своей сути, не созидателен. Так что цинизм по отношению к Донцовой — довольно спорное амплуа для нормального критика.

В глубоком смысле в существовании таких, как Донцова, нет ничего удивительного. Ее творчество — это та самая компенсаторная функция литературы, которая в противовес литературе нормальной не обеспокоена ни муками творчества, ни его изяществом, она вообще ничем не обеспокоена и неосознанно делает культ из простоты и пошлости, как это делает фольклор. Тот непечатный фольклор, который не вошел в детские сказки и сборники пословиц, работает с тем же материалом, что и Донцова, — сырым материалом жизни, в котором бессознательно усиливаются негативность, насилие, скабрезность, то есть все то, что проворачивается в уме у крестьянина, когда он уже откланялся барину и провожает его взглядом. Условная позитивность и официальность повседневной жизни, обставленной всевозможными табу, один к одному отражаются в фольклоре, только с обратным знаком, который, опошляя, не способен дать никакого высокого идеала, но может хотя бы разогнать скуку. В этом смысле творчество Донцовой — это действительно самый настоящий фольклор, а сама она — это новый Гомер, живописующий необъятный мир домохозяйки.

Мы, таким образом, подходим к печальному заключению, которое трудно принять и с которым еще труднее бороться: творчество Донцовой необходимо и потому неуничтожимо. Закономерен вопрос: а в чем тогда смысл дальнейших рассуждений?

Смысл есть. Несмотря на все вышесказанное, несмотря на вторичность цинизма и необходимость творчества Донцовой, есть смысл указывать ему его место. Дело в том, что внутри себя это творчество стало настолько навязчивым, что практически покинуло пределы литературы и достигло того, о чем мечтает каждый писатель, а именно реального социального влияния.

Кроме того, пример Донцовой как писателя, успешного не только коммерчески, убедительно показывает, что подобная литература существует не только потому, что всегда есть потребители, готовые ее проглатывать. Она существует еще и потому, что создающие ее люди, благодаря соответствующей поддержке сверху, превращаются в образцы для подражания, чем опять же разрушают ее автономный статус, придавая ей взамен статус общесоциальный.

Прежде чем придти к этим или другим выводам, я ознакомился с несколькими романами Дарьи Донцовой. Это первая часть автобиографии «Записки безумной оптимистки» и вымышленные романы из разных серий — «Чуде-

са в кастрюльке», «Пикник на острове сокровищ», а также «Фейсконтроль на главную роль» — последнее на данный момент произведение. Четыре книги — это меньше пяти процентов творчества автора. Тем не менее на примере этих четырех текстов нетрудно убедиться в однотипности всей продукции и, следовательно, получить право по капле судить о море.

Я подошел к чтению беспристрастно, без предубеждений и по вполне простой причине. Мне казалось вполне закономерным предположение, что любое большинство людей никогда не рождается на пустом месте, а образуется вокруг какой-то обязательно неглупой идеи. Это, разумеется, заблуждение, которое представляют собой вообще все однострочные истины. Но тогда я попытался убедить себя в том, что Донцова имеет какую-то центральную мысль, вокруг которой все выстраивается и которая стоит выше всех толкований, исходящих от недоброжелателей. Что видит простой читатель? Он видит, что Дарья Донцова — самая популярная писательница в России. Ее книги читают везде — дома, в метро, в поездах, на работе, если она того позволяет. В городе Геленджике, где я родился, ее книги можно купить, пройдя тридцать метров от границы песка, где заканчивается пляж. Мест, где продаются эти книги, не меньше, чем общественных туалетов. Видя такое положение дел, человек не может не задаться естественным вопросом: если это читают все, значит, это интересно? Значит, это того стоит? Не могут же все читать это без должной на то причины? Я точно так же задал себе этот вопрос.

Технология детектива

Дарья Донцова является автором сразу нескольких книжных серий. На первый взгляд, можно поразиться, как это одному человеку удается так плодотворно создавать различные произведения? Тем более что качество ее текстов, несмотря на все выше- и нижесказанное, все же не нужно считать более низким, чем оно есть на самом деле. Беспристрастный взгляд видит, что внутри себя ее книги вполне логичны, сюжетно разветвлены и, если бы они не были столь дикими, они могли бы законно претендовать на интригу. Тексты Донцовой качественны в том смысле, что они не опускаются ниже той планки, которую писательница сама себе поставила. И планка эта находится далеко не на уровне пола.

Но, тем не менее, ее скорострельность в создании романов легко объяснима. Нетрудно показать, что многообразие сюжетов достигается в результате использования ряда легко просматриваемых приемов, которые применяются в каждой книге.

Пересказывать эти сюжеты, пожалуй, смысла нет. Это то же самое, что пересказывать базарный шум. На базаре доносящиеся голоса торговцев приносят обрывки чьих-то бесконечных жизней, в каждой из которых постоянно что-то случается. Создается впечатление какого-то общего, осмысленного движения. В действительности же это лишь иллюзия, потому что в целом ничего, собственно, и не происходит. Единственное, что предстает взгляду, — это механическая торговля без признаков места и времени, которая изо дня в день продолжается как бы сама по себе и не имеет ничего общего с людьми, которые ею заняты. С книгами Донцовой все точно так

же: сюжет творится людьми, которые по отдельности значат что-то свое, мелкое и неинтересное, а вместе не могут создать ничего кроме шума. Куда показательнее рассмотреть механизмы сюжетопроизводства.

Прежде всего, Донцова всегда строит сюжет экстенсивно, то есть вширь. Любому детективу необходимо накопление улик, и герои Донцовой не исключение. Особенность же здесь в том, что ее герои никогда не будут раскрывать преступление за счет совершенствования собственного взгляда на вещи. Продвижение в поисках убийцы никогда не будет связано с неожиданной догадкой следователя или сменой его внутреннего состояния, оно будет связано исключительно с новым сюжетным фактом. Причем носителем такого факта будет либо проходной персонаж (официантка, уборщица, охранник), либо обнаруженная связь (любовная или криминальная) между сюжетно несущими персонажами.

Иными словами, личность следователя не имеет значения. В пользу этого говорит также сама интонация Донцовой, которая в кратких анонсах своих романов любит употреблять выражения вроде «хорошенькое дело!» или «ну и что мне с этим делать?», показывая тем самым, что проблема просто сваливается на голову следователя как данность. Следователь, таким образом, берется за дело лишь потому, что он оказался в центре событий, но не потому, что у него есть для этого профессиональные навыки.

Что же нужно сделать, чтобы написать детектив? Воспользуемся рецептом Дарьи Донцовой. Для начала можно взять семью из трех человек — мужа, жену и маленького ребенка. Добавить к мужу трех бывших жен, а жене трех бывших мужей. Далее добавить мужу мать-алкоголичку, а жене — отца-инвалида с сестрой-наркоманкой. Сестре-наркоманке добавить дочку-дауна, а дочке-дауну добавить класс начальной школы с родителями, бабушками и дедушками. Далее исходной семье добавить соседку, которая вечно жалуется на то, что ее затапливают сверху какие-то студенты-хулиганы, а к ней — внука-рэппера. Внуку-рэппера добавить подружку-растаманку, а ей двоюродных сестер-лесбиянок. Далее можно заставить вторую бывшую жену мужа влюбиться в третьего бывшего мужа жены и получить часть завязки. В качестве другой ее части можно сделать так, чтобы отец-инвалид, десять лет просидевший в коляске, вдруг выпал из окна. Также желательно связать с ним еще какую-нибудь историю с наследством. Далее нужно поместить следователя, курсирующего по Москве в поисках отдельных персонажей, и сделать так, чтобы раз в три страницы у него звонил мобильник, неизменно ведущий его к цели. Сделав все это, можно получить детектив в понимании Дарьи Донцовой.

Где же развязка? О ней пока можно не думать. Ее можно придумать позже, когда уже будет написана первая половина книги. Например, убийцей отца-инвалида, который и выбросил его из окна, можно сделать соседку с первого этажа, которая потом также убила вторую бывшую жену мужа, чтобы выйти замуж за третьего бывшего мужа жены. Но не по любви, конечно же, а чтобы получить наследство. Для большего эффекта можно также сделать так, чтобы и наследства никакого не было. За него отец-инвалид может намеренно выдавать какой-нибудь муляж, чтобы отомстить отцу/отчиму/двоюродному брату той соседки с первого этажа, специально про-

воцируя его дочь/падчерицу/двоюродную сестру на преступление. Вообще тихий и спокойный человек, которого трудно в чем-либо подозревать, — излюбленный персонаж Донцовой. Он часто оказывается убийцей или вором и, выплывая из пучин сюжета, эффектно затененного до финального монолога, убивает не кого-либо, а собственных родителей или детей.

Конечно, такое описание мало подходит на роль инструкции. Оно отвечает на вопрос «что надо сделать?», но не «как надо сделать?», а ведь второе существенно сложнее. Здесь нужно сказать прямо: нужен композиционный тип мышления, определенный художественный взгляд, словом, талант. И такой талант у Донцовой есть. Хотя это талант, идущий от профессионализма, талант не многогранный, как бы ограниченный сверху. С его достижениями никогда не будет связано движение самой литературы. Другими словами, Донцова вряд ли будет оказывать на кого-нибудь влияние.

Ее сюжеты часто кажутся просто высосанными из пальца. Они фактически превращены в перечисление стереотипов обо всех известных автору социальных группах. Еще более показательно в этом смысле само развитие сюжета. Куда бы ни пришел герой-следователь, случай обязательно избирает его своим объектом и открывает ему карты. С одной стороны, не все двери открываются сходу, с другой, если в дверь не входят сразу, то через две страницы в комнату влезают через окно. Чтобы все это не казалось надуманным, часто вводятся форс-мажорные обстоятельства.

В «Чудесах в кастрюльке» Вилка приходит в поликлинику к рентгенологу, на которого указывают улики, и начинает его расспрашивать на предмет преступления. Тот отвечает, что ему срочно надо в туалет («извините, цистит замучил, я только в туалет — и вернусь!»), и выходит из кабинета. Потом Вилка подходит к окну и видит, как выбежавшего без одежды врача сбивает грузовик. При этом в той же поликлинике какая-нибудь стажерка способна запросто рассказать целую связную историю о преступно-любовных похождениях тех или иных персонажей, и, делая это, она обязательно раскрывает очередную деталь, за которую герой-следователь незамедлительно ухватывается.

Сюжет у Донцовой разветвлен, но движение к развязке исключительно линейно: от детали к детали, без тупиковых путей. Автор никогда не сообщит лишней информации и не даст следователю идти по ложному следу. Следователь может временно ошибаться в толковании улик, но он никогда не ошибается в том, что, находя что-то, находит именно улики. Случайностям как своеволию реальной жизни в книгах места нет. При этом разветвленность сюжета к детективной части имеет малое отношение. Сюжет обычно распараллелен надвое: одновременно с поисками преступника следователь на глазах читателей проживает жизнь современного обывателя. Такая жизнь служит, с одной стороны, фоном, то есть указывает на состояние следователя и действительности до преступления, а с другой, является чем-то вроде всесильной группы поддержки. Следователь часто окружен друзьями, которые помогают ему тем или иным способом, вдобавок он сам является чьим-нибудь другом и по ходу повествования выполняет уже их просьбы. Например, в «Фейсконтроле на главную роль» Даша Васильева просит бывшего мужа Макса Полянского срочно вызвать вертолет, и тот после ее

звонка прилетает в считанные минуты. А сама она в той же книге содействует тому, чтобы ее сожитель Дегтярев перевел к себе в отдел одну из сотрудниц управления Карину, которая, в свою очередь, тоже в чем-то ей помогла.

Подобная мафиеобразная взаимопомощь не есть, впрочем, торжество сплоченности. Слишком уж бросается в глаза ее причина: на дополнительных и, самое главное, эпизодических персонажей легче переместить массу сюжетных нестыковок. Человека нужно срочно доставить в больницу? Что ж, следователь звонит другу и вызывает вертолет. В свете такой человеческой отзывчивости само то, что вертолет летит считанные минуты, даже не воспринимается как невозможное. Впрочем, в данном случае чудо двухэтажно: мало того, что Макс сразу же после звонка готов дать вертолет, так он еще и сам в это же самое время собирается вылетать по своим делам!

> Сейчас он вылетит. Я, правда, собирался в Тверь, летчик уже крылья намылил...

Все сюжетное движение держится исключительно на глаголах материального действия: пошел, пришел, поехал, сообразил. Сохранять контроль над таким избытком динамики трудно, поэтому неудивительно, что автор приходит к автоповторам, сходным предложениям, абзацам. К примеру, некоторые сцены автобиографии, связанные с первым походом автора в издательство, один к одному повторены в «Чудесах в кастрюльке».

Поскольку композиция произведения формируется по мере написания текста, его составные части слабо зависят друг от друга. Они, конечно, удерживаются общим планом сюжета, но взаимодействие здесь не сильно ощутимо. Безответственность персонажей и событий перед сюжетом обладает даже определенным изяществом. В течение четырехсот страниц на базе улик может создаваться определенная картина преступления, но на четыреста первой акцент делается на чем-нибудь невзрачном, и вся картина перестраивается. Это, правда, не свидетельствует в пользу мастерства автора. Дело в том, что улики, о которых преимущественно идет речь, сами по себе чрезвычайно лабильны. Их можно увязать с чем угодно. Вдобавок с прямолинейностью автора, доходящей до дикости, между причиной и следствием возможны самые невероятные промежуточные звенья. Например, в «Фейсконтроле...» на кнопке звонка остается отпечаток мизинца давно умершей старухи-колдуньи. Читатель теряется в догадках: старуха умерла, как же она могла позвонить в дверь? Может быть, она призрак? Но зачем призрак стал звонить мизинцем? Ответ на эти вопросы столь же прост, сколь и омерзителен. Когда старуха умерла, один человек просто-напросто пришел в морг и элементарно отрезал у нее мизинец. Другой человек сделал копию этого мизинца, а третий приобрел эту копию и позвонил этой копией в дверь, нажав ею на кнопку. Когда такая цепочка вскрывается, читатель, видимо, должен почувствовать себя удовлетворенным: еще бы, ведь все встало на свои места!

Но Донцова все же понимает, что ее сюжеты требуют спасения. И поэтому она пытается вывести линию событий за пределы чистого детектива. Она пытается играть на описании жизни как таковой, на ее эпическом

свойстве казаться огромной при ближайшем рассмотрении. Семьи своих иронических героев-следователей она хочет сделать реальными друзьями своих читателей.

Причина этого может быть даже внелитературной. Развлекательная литература иногда выявляет в себе черты некой социальной значимости. Некоторые произведенные ею слова иногда становятся афоризмами, передаются из уст в уста. Осознанно или нет, но почти все насыщают свои произведения опытом собственной жизни, социальным или метафизическим. И для многих читателей угадываемые декорации с течением времени становятся чем-то «своим», «понятным», чем-то «близким» или даже «родным». То обстоятельство, что автор живет в том же мире, что и читатель, и дышит тем же, что и он, воздухом, закономерно ложится в основу социальной гравитации, которая удерживает читательский интерес на орбите авторской фантазии.

Донцова пишет о мире, который действительно — прямо сейчас — существует за окном. Это тот самый мир, где обитает читатель, мир, который он скорее всего хочет и не может покинуть. Он понимает, что другого мира ему не дано и поэтому ему нужно научиться смотреть на него немного отстраненно, научиться переживать его как счастье во что бы то ни стало. Донцова, — вот еще один из защитных аргументов, — помогает научиться этому. Ее герои преодолевают любые жизненные трудности и всегда радуются жизни. Они добродушны и, встречая все невзгоды с поднятым лицом, сами добиваются всего.

Но на это следует сразу же заметить, что рисуемый Донцовой мир никак не преображен и не переосмыслен и в лучшем случае он просто очищен от серьезности. Выводы здесь соответственны. Превозносимые жизнерадостность и позитивность ее письма в таком мире не имеют никакой силы, поскольку, побеждая нарисованных злодеев волшебными способностями, нечего рассчитывать на неигрушечное счастье.

Настоящий мир у Донцовой неполноценен, он донесен до бумаги фрагментарно и однобоко. Убедительно реалистичны, хотя и не совсем реальны в нем только декорации нашей жизни. И в этом тоже нет особой заслуги: бытовая действительность способна ожить от слишком малых усилий. Любое творческое мышление первоначально и само по себе актуализуется в ней, так что скорее уж возникает вопрос, как сойти с колеи будничности, в которую постоянно соскальзывает творящее воображение. А изготовить декорации кухни, офиса или милицейского обезьянника вообще не стоит никакого труда. Между декорациями и реальными прототипами, собственно, и разницы уже нет, поскольку они в равной степени стали фактами повседневного сознания.

Автобиография как ложно иронический роман

Автобиография Дарьи Донцовой, озаглавленная как «Записки безумной оптимистки», заслуживает отдельного рассмотрения. К сожалению, в этой книге нет ничего действительно интересного. Интерес она может представлять лишь для заинтересованного читателя, который был бы не прочь про-

яснить для себя некоторые моменты биографии своего кумира. Все остальные едва ли почувствуют разницу между этой книгой и заведомо вымышленными романами.

Текст «записок оптимистки» представляет большое сочинение на тему «как я провела жизнь», и написан он на том же самом школьном уровне, необходимом для получения аттестата зрелости. Стилистически это типичная журналистская заметка, в пользу чего говорит уже сам «нон-фикшн»-ный характер повествования, которому сопутствует точность имен, дат и мест, так или иначе связанных с жизнью автора. Как и во всех автобиографиях, заведомо создаваемых для выпуска в свет, здесь мы имеем дело с продуктом самоцензуры автора, который что-то приукрасил, о чем-то предпочел умолчать, но главное, возвестил о себе тем самым корыстным способом, который дает понять читателям, что именно он хочет слышать о себе после смерти. Может быть, не все автобиографии настолько прозрачны в этом отношении, но это точно не случай Донцовой. Все послание ее книги сводится к простым словам: «Я — хорошая». Остальное служит как бы плацдармом для одной этой фразы, которая явно не произносится лишь из скромности. Она просто заключена в более обтекаемые и менее распознаваемые формы.

Проследим движение Дарьи Донцовой по пути ее взгляда на себя саму. Причина, по которой она решила письменно отразить этот путь, сообщается на первых же страницах. К созданию автобиографического очерка писательницу подтолкнули многочисленные небылицы вокруг ее имени. Журналистские выдумки, ставшие закономерным ответом на ее популярность, выдумки, в сущности, вполне безобидные в том смысле, что они легко укладываются в сам образ как книг автора, так и его мышления, переполнили чашу ее терпения. «Записки безумной оптимистки» должны стать ответом на все возможные и невозможные сенсации желтой прессы. Донцова честно признается, что о некоторых моментах своей жизни рассказывать не будет, но все, что написано, — «чистая правда». Судя по дальнейшему тексту, это заявление не стоит сразу принимать на веру. По-журналистски дотошная, автобиография написана в той же иронической и в то же время прямолинейной манере, что и остальные книги.

Прежде чем приступить к изложению собственной биографии, писательница кратко обозревает жизнь своих родственников, начиная с бабушек и дедушек. Трагическая история нашей страны не могла их не коснуться. Родственники Донцовой по отцу были довольно высокопоставленными людьми, что, видимо, и обусловило трагическую судьбу некоторых из них. Не сильно вдаваясь в подробности, хотя и не оставаясь голословной, Донцова вспоминает о бабушке, которая прожила довольно долго, и сгинувшем в лагере дедушке с большой теплотой и не скупится на добрые и возвышенные слова. И дедушка, и бабушка в ее повествовании — святейшие люди, не такие, как все остальные. Культ собственной семьи выражен довольно сильно, акценты сделаны на национальность и так называемую нравственную силу. Намеки на породистость своей крови Донцова подкрепляет довольно приторными сценками, демонстрирующими небывалое упорство духа, и сцены это тем более внушительны, чем менее правдоподобны.

Но бабушка, во-первых, обожала мужа, а во-вторых, была терской казачкой с примесью грузинской крови. Она вскипела, скинула со стола Феликса Эдмундовича какие-то бумаги, подлетела к нему, схватила его за гимнастерку и, начав трясти, прошипела:

— Значит, когда ты брал у Стефана и Яцека кусок хлеба, то не считал их предателями. Или ты настолько хотел жрать, что наплевал сам в тот момент на идеалы. Можешь и меня посадить, но знай: есть высший суд, и там мы, Новацкие, тебя встретим.

Потом, плюнув ему на сапоги, бабушка ушла, абсолютно уверенная в том, что ей не дадут выйти из здания ЧК. Но получилось иначе. До самой своей смерти Феликс Дзержинский упорно делал вид, что никакого скандала между ним и Афанасией не произошло.

Впрочем, судить трудно. Беспристрастный читатель, видимо, из родословной Дарьи Донцовой должен вынести одно: это были очень хорошие, святые и праведные люди, в жизни не сделавшие ничего плохого. Во всяком случае, применительно к бабушке подобные сентенции, более уместные на похоронах, звучат открытым текстом.

Собственную биографию Донцова начинает от самого рождения и закономерно ведет до логического итога, то есть того размытого разными частностями момента, когда она получила негласный титул самой популярной писательницы России.

Поскольку ее отец был признанным писателем и имел отношение к кругу деятелей культуры, поощренных государством, то дочь имела чудесную возможность изнутри наблюдать жизнь известных людей. Однако никакой «чудесности» в ее описании этой жизни нет. Примитивное бытописательство ничем не примечательно, за исключением того, что в предложениях вместо подлежащих стоят фамилии известных людей. С одной стороны, это неудивительно. Что маленькая девочка могла, в конце концов, помнить об этом? С другой стороны, общебытовой подход ко всем вопросам, достаточность кухонных сцен для создания любого образа и конфликта, эта панпростота, начисто лишенная психологизма, и выявляют основной методологический принцип Донцовой, если о методологии тут вообще уместно говорить. Этот принцип звучит следующим образом: нет вещей, о которых нельзя было бы сказать, нет вещей, которые нельзя было охватить контуром того универсального быта, что частью заимствован у самой жизни, а частью получен экстраполяцией стереотипов.

Донцова может сказать обо всем. Не существует тем, о которых она не могла бы вынести суждения. Многообразие мира в ее переложении полностью беллетризовано. При этом обычность ее образов означает больше, чем просто капитуляцию перед областями недоступного ей опыта. Она означает, что в современном мире в принципе стало возможно обычное суждение как таковое. Ветер культурной глобализации быстро преодолел океаны и горы, и теперь комиксоподобные представления о других людях способны запросто ожить на страницах, созданных произвольно взятым человеком, умеющим складывать слова друг с другом. Проза Донцовой становится апологетикой неформальности и общения общего типа, где ментальность, национальность и социальный статус вынесены за скобки.

В той же автобиографии Донцова описывает свою жизнь в Сирии. Какую информацию об этой стране, об опыте жизни в ней можно получить из книги? Практически никакую. Поехала туда наша писательница из-за денег, работала там переводчиком у консула, ходила по рынкам, быстро узнала, что продавцы обманывают и там, один раз «чуть не скончалась от духоты» и еще имела опыт переодевания в арабку, хотя выглядит это как типичная «ироническая деталь» из ее собственных романов. Все, что могло бы стать ценным в художественном и смысловом отношении, у Донцовой перечеркивается апофатическим замечанием: «Я никогда не стану своей в Сирии».

Что уж тут говорить о жизни у нас! Она та же, что и там. Ее жизнь, то, как она ее воспринимает, это и есть исток всех ее романов. Как она выглядит? На уровне сюжета автобиография дает об этом исчерпывающее представление. Сначала один муж, потом другой, потом ребенок, потом работа в газете, потом третий муж, потом еще дети, потом дети детей, потом, — можно не сомневаться, — будут дети детей детей. А что в перерывах между этими «потом»? А там та самая истрепанная наполниловка, что прет из ее романов: проказы детей, списывание в школе, списывание в университете, проблемы с преподавателями, проблемы с мужьями и любовницами, проблемы с тещами и зятьями, сплетни, интриги, плохие начальники и хорошие подчиненные, плохие подчиненные и хорошие начальники, дружба и злость, свадьбы и разводы, добрые слова о тех, кто дал десять рублей, и злые о тех, кто закрыл перед носом дверь, подбросивший водитель, распевающий песни, и бабушка, впавшая в маразм, — все эта бесконечная мопсо-кошачья жизнь Дарьи Донцовой.

Несмотря на оброненное выше замечание, что в автобиографии «нет ничего интересного», следует признать, что это, конечно, не совсем так. Дело в том, что то «интересное», что можно было бы в ней отметить, слишком сильно свидетельствует против автора, чтобы быть поименованным таким словом без сопроводительных комментариев. Иными словами, это «интересное» имеет отношение к негативному плану. Добрая наивность, прямота Дарьи Донцовой, ее отполированный иронией оптимизм — это неинтересно. Эта атрибутика, поскольку она и составляет всю товарную ценность продукта, хранит на себе следы холодных конвейерных щипцов. «Интересность» же — явление штучное. В автобиографии она несет в себе что-то даже трагичное, хотя подобная трагичность не имеет отношения к триумфу художественной силы и ее смысл еще предстоит пояснить.

Девиз Дарьи Донцовой — это ко всему относиться с оптимизмом или, что, по автору, то же самое, с иронией. Однако всю жизнь невозможно рассказывать с иронией. Рано или поздно рассказчик замечает, что за своим бесконечным смехом он может утратить и себя, и тогда он останавливается, чтобы на время восстановить перед глазами прежний образ. Донцова оказывается именно в такой ситуации, хотя и делает вид, что даже здесь серьезность в отношении к жизни — не ее стезя. Тем не менее, когда речь заходит о тех неуничтожимых реалиях жизни, которые всегда будут прежде восприниматься в своем собственном виде, ирония уже не имеет силы. Успех Донцовой — это не ироничный факт сам по себе. Причины его точно так

же не могут быть ироничными. Ее тексты могут быть реальны или нереальны, они могут быть написаны ею или кем-то за нее — все это обсуждение призрачных материй. Точно реально, по меньшей мере, одно — это вложенные в нее деньги. Поэтому все ее попытки как-то подмешать несерьезность к тем главам своей жизни, которые связаны с карьерой, полностью тщетны. Перед глазами все равно остается то самое подлинно жизненное послание, которое невозможно ничем замаскировать. Можно сколько угодно говорить о мифичности массмедийности, гламура и прочих образов времени, но определенность человеческого существования, которое, в сущности, редко бывает последовательно бесцельным, относительно таких слов, как «карьера», «успех», «популярность», нельзя поставить под сомнение.

Собственный пример успешно существующего писателя и человека Донцова выдает на экспорт как прямую и уже далеко не ироничную рекомендацию к действию. Тут действительно уже не до иронии. На экспортный облик Донцовой работают собственное упорство, побежденные бедность и болезнь, трудолюбие, оптимизм, причастность к «великим», а также семейная сплоченность, дружелюбие, вера в себя. В портрете героини нет ни одного лишнего штриха — все они профессионально подобраны и передают цельный и самодостаточный облик королевы.

Основные тезисы писательницы шиты белыми нитками и самим же автором выставлены напоказ. Успешность — это количество проданных книг. Чем больше ты продал книг, тем лучше. Я люблю то издательство, которое сделало меня успешным. Своему успеху я обязана определенным людям, которые редактировали мои глупенькие тексты и исправляли в них ошибки. Я очень люблю и уважаю этих людей. Я хочу славы, хочу увидеть свои книги напечатанными, и для этого я готова на все, на любые требования редактора. Своих собратьев по перу я никогда не ругаю. Мне нравятся их книги, а им нравятся мои. По правде говоря, это мне кажется странным, потому что я пишу примитивные вещи, но раз им нравится, то я тем более благодарю за поддержку этих хороших людей. Спасибо журналам, которые сделали хорошие фотосессии с моим участием. Они — подлинные мастера своего дела, смогли сделать из меня красавицу. Никто даже не заметил, что я была в парике. А желтую прессу, этих любителей чернухи, я не уважаю. Я ценю хорошие советы и не люблю завистников. Хорошие советы помогают мне быть еще более успешной, а недоброжелатели завидуют мне только потому, что не смогли добиться такого успеха, как я. И так далее. Надо отметить, что это не попытка сделать пристрастно избирательный пересказ. Это — свидетельство оформленного и завершенного стиля мышления, которому Донцова находит в себе закономерный отклик и который, в конечном счете, берется пропагандировать сама. Шаг за шагом она выстраивает парадигму реального существования. Общие воздушные формулировки вроде «я обожаю свою семью» и «у нас светлый дом» остаются где-то на втором плане. Где-то там, где, видимо, обретается и ирония, лишенная точки приложения после таких конкретных заявлений.

В чем же здесь трагичность? Разве желание иметь «светлый дом» трагично? Разве примитивность, глупость ее творчества, в конце концов, не автономны? Нет, увы. Желание иметь дом, разумеется, не трагично, но тра-

гична сделанная из этого самоцель, а главное, пути ее достижения. Биография благополучия, если оно уже достигнуто, для Донцовой не имеет значения. Любую реализованную возможность законно заработать деньги она авансом относит к заслугам. При этом она оценивает труд не изнутри, не по присущим ему внутренним эталонам качества, а скорее по тому денежному результату, который за него можно получить. Отсюда берет начало та универсальность ее суждений, когда дело касается вопросов брака, наследства и карьеры. Для нее труд неиерархичен в том смысле, что его качество ничего не определяет и ни на что не влияет. Имеет значение только самочувствие дуэта «популярность—деньги». Тонна отлитой стали или написанная за две недели книга — это один и тот же конкретный завершенный продукт, за который получены деньги и к которому больше нет необходимости возвращаться. Вопрос о его осмысленности или том же качестве просто не возникает. Факт ее собственной популярности самодостаточен, он не нуждается в дополнительных оправданиях. Он скорее сам все оправдывает. И если за созданный текст платят больше, чем за времяпровождение у котла, то, значит, это твоя заслуга, ты молодец, что вовремя попал на хорошее место. Подобное мышление находится в русле общезападного, так что Донцова в этом смысле просто шагает в ногу со временем.

Но ее трагичность в том и состоит, что она иронична не до конца. Ее ироничность не может скрыть конкретных посланий. В оборот ее повествования введены вещи, которые не допускают иронии, которые защищены надежнее, чем преходящие комедийные декорации. Что это за вещи? Например, человеческая жизнь. Убийство любого человека в ее романах априорно допустимо, а само убийство не несет никакой «достаточной» в рамках сюжета нагрузки. Оно просто есть, потому что оно должно быть, а почему оно должно быть — не обсуждается. Необходимость убийства причем уже не воспринимается как требование жанра, поскольку для требований жанра фантазия автора оказывается слишком избыточной. Более того, некроромантика Дарьи Донцовой, вероятно, вообще представляет собой единственную движущую силу ее творчества. В ее книгах по-настоящему различен только вид умерщвления, все остальное — это однообразная масса диалогов, посторонних размышлений и мнимого многообразия ситуаций, нанизанных на факт чей-то смерти.

Но это только одна сторона трагичности, к тому же до некоторой степени условная. Это трагичность патетическая, исходящая из идеи, что литература может воспитывать и влиять, что сегодня совершенно не очевидно. Раз это неочевидно, то нет никакого права устанавливать связь между чтением книг Донцовой и реальным криминалом. Эта связь может существовать бессознательно, но на нее, как на виновницу, трудно показать пальцем. В конце концов, бессознательное — не объект. Кроме того, коль скоро мы условились, что внутри изящной словесности к Донцовой не может быть претензий, то осуждение убийств, конечно, имеет определенный смысл, но всегда может быть сочтено несостоятельным. Во-первых, в реальности писательница не имеет отношения к убийствам. Следовательно, состава преступления нет. Во-вторых, само ее творчество довольно легко может быть переведено в область чего-то надлунного и там, вдали от быта, соединено с

представлениями о чем-то важном во вселенском масштабе. С точки зрения духа, убийство и смерть, по меньшей мере, обсуждаемы. Вдобавок для защиты могут быть привлечены аргументы абсурдизма. Так что изящность в словесности — это одновременно изворотливость.

Но существует и другая сторона трагичности. Ее представляет та часть авторского послания, безнаказанность которого легитимирована самой жизнью. Голос Донцовой созвучен исканиям большинства, которому точно так же, как и ее героям, мало двушки в столице и крохотной дачи за городом. Донцова методично и безустанно забивает свой собственный девятидюймовый гвоздь в то, что можно было бы назвать «системой небуржуазных ценностей». Все ценности Донцовой буржуазны. Даже любовь к семье — это почти всегда что-то связанное с подарками, вещами и планами на недвижимость. Все постоянно вертится вокруг каких-то квартир, которые кто-то купил или продал, дач, попыток быстро заработать, устроиться получше, что-то выиграть. Быт гламуризован, люди мыслят себя на основе вещей, которыми можно украсить дом или лицо. Гламур как блеск овеществленности — это вообще экзистенциальная смерть, так что в таком смысле романы Донцовой действительно повествуют о трупах.

В итоге ее книги либо утешают примерами других, кому еще хуже, либо дают стимул к борьбе. Не исключены, конечно, и случаи самодостаточных бедняков, которые одарены универсальной симпатией автора, но эта симпатия ничего не значит в силу своей непоследовательности. Главная идея Донцовой — это, разумеется, достижение того самого счастья, которое в общем случае нематериально. Формула «не в деньгах счастье» приобретает статус почти категорического императива. Но на деле путь к «счастью» все равно оказывается лежащим через «успех». Самодостаточное бедняцкое счастье не обладает сюжетообразующим потенциалом, поэтому в общем случае автора оно не интересует. В итоге невещные истины время от времени можно встретить только там, где им полагается, — в морали, наподобие того, каким заканчиваются «Записки оптимистки». Суть морали в оптимизме. Ничего больше. Над ним разве что витает тень предваряющего ее басенного сюжета. Обычные общие, почти законодательные изречения, не рассматривающие частностей. Их можно было бы счесть пустословием, если бы за ним не стоял реальный опыт автора, так ценимый нами в век информации. Собственно, наша издерганная жизнь сама порождает спрос на оптимизм. Но разве не трагично, что для его удовлетворения становится достаточно общих фраз?

Картина мира по Донцовой

Прежде всего, этот мир ограничен. Но он ограничен не в естественном смысле, не в том смысле, в каком ограничена любая книга, коль скоро она не может быть написана одновременно обо всем. Мир Донцовой ограничен принудительно, ограничен кромкой мелководья настоящего мира. Периметр пограничных столбов ничтожно мал, а заключенную в них площадь нетрудно охватить одним взглядом. Само то, что мы говорим о ней как о

мире, следует считать великодушием. Хотя на самом деле это просто обычная сдержанность перед лицом эпохи, которая принуждает считать полнокровным миром-в-себе все, о чем можно сказать, что оно вышло в свет.

К счастью или несчастью, наша эпоха достаточно парадоксальна в этом плане, так что, даруя одной рукой легкое признание, другой она с не меньшей легкостью может уничтожать. Любая культура уничтожима невниманием. Кому нужны книги, которые никто не читает? Фильмы, которые никто не смотрит? Никому, за исключением тех, кто пишет о них диссертации по культурологии. Но текущий статус скорее благословен: мир Донцовой явлен нам здесь и сейчас, во всем своем сочном цвете.

Каков этот цвет? Это цвет разложения, упрощения, цвет плахи, на которой казнен дух. Под духом понимаются даже не те фундаментальные основы бытия, что часто воспринимаются как изящества абстракции. Это не средоточие экзистенциальных бездн и не растворенное в нас Божественное начало, которое можно признавать или не признавать таковым. Здесь за него сошла бы элементарная возможность смотреть немного отвлеченно, с сомнением, с недоверием к материальной явленности. Но этого нет.

Цвет разложения давно просочился в почву и загрязнил воду, так что все, что мире Дарьи Донцовой вырастает на земле, несет в себе недуг такого рода неполноценности. Здесь обитают разные люди, которые делают разные дела. Например, друг Ивана Подушкина, Егор Дружинин, — это бизнесмен, любящий экстрим, в то время как сам Подушкин — заядлый домосед. Донцова собирает все антиномии чистого быта, но не находит области, где их можно было бы разрешить. Поэтому они незримо присутствуют в ее книгах в качестве чего-то первичного, не подлежащего более глубокому осмыслению. К тому же невольный порыв бросить на полотно полутон проще реализовать, имея перед глазами такие крайности.

Вопрос о том, существуют ли в творчестве Донцовой полутона, довольно важен и сложен. Всегда есть определенный соблазн считать поведение героев этакой нескончаемой игрой масок, когда слова ничего не значат или значат, но что-то неочевидное. В конце концов, если мы так усердны в обвинениях, то разве для того чтобы быть честными, не должны ли мы быть для начала беспристрастными? Разумеется, должны. А потому есть соблазн видеть везде дополнительный скрытый смысл, авансом признавая мистификаторский дар автора. Разве нельзя видеть в Донцовой, постоянно тянущей нас на дно, какую-то внутреннюю позитивность, заключающуюся в том, что сама возможность ее несерьезности и дурачливости посреди жизни, в которой ничего нет, кроме примера политиков, вынужденных отвечать за каждое слово, есть какая-то особенная и специфическая ценность? В нашем случае возможность такого развития событий — это всецело заслуга иронии, богини сокрытия сущностей. И если это действительно так, то Донцову следует признать большим мастером. Тут уже речь не о полутонах на этюдах — о картинах!

Если все же настаивать на различении понятий «ирония» и «безответственность», — позиция, которая близка автору этой статьи, — то тогда то, что тянуло бы на полутон, выходит на поверхность и оборачивается обычной гримасой. Можно взять, к примеру, собственные признания писательницы, которые она делает в автобиографии. Она сообщает о том, что учи-

тельница решила за нее школьный экзамен по математике, что сама она позже обманом сдала физкультуру в университете и что была готова воспользоваться связями отца для поступления на хорошую работу. Можно ли эти детали биографии считать свидетельствами в пользу образа сложного, реально живущего и думающего человека, не свободного от противоречивых поступков, мыслей? Очевидно, что нельзя. Это просто детали биографии, как они и есть. Такой уровень «противоречивости» банален, на нем мы находим все тот же картон, из которого состоит сам образ. Этот милый взгляд на себя саму, немного укоризненный, немного сообщнический, ничем не наказывает, ни малейшими намеками на муки сомнения. Сомнения, трудности выбора отсутствуют в книгах Донцовой как вид. Из сомнения, из этого барометра духа, в мире Донцовой выдернули стрелку. Поэтому и давления нет, вернее, его нельзя зарегистрировать.

Мир Донцовой населен обычными людьми. Одних, вроде ментов и уборщиц, можно встретить на улице, других, вроде политиков и олигархов, — нельзя, но на их счет автору достаточно архетипического образа, созданного при посредстве СМИ. Политики и олигархи ведут себя так, какими их показывают в фильмах, в этом и состоит их обычность. Необычных людей писательница не рассматривает. Следовые количества непохожести и изящества, как правило, содержатся только в каких-нибудь единичных поступках или особых привычках, но все это тянет не больше чем на позолоту художественности, неестественно яркую и оттого неправдоподобную. Герои Донцовой не способны к последовательным размышлениям. Они похожи на елочные игрушки, которые раз и навсегда раскрашены каждая в свой цвет. Цвета отражают те сюжетные обязательства, ради которых они, собственно, и вызваны к жизни.

Читая «Пикник на острове сокровищ», можно поразиться, на какие дикие ухищрения идут как молодые, так и взрослые люди, чтобы добраться до спрятанного золота, вокруг которого разворачивается действие романа. Люди бросают семьи, меняют имена, мстят родителям, вступают в фиктивные браки, отравляют друг друга, предают, убивают свидетелей, хоронят друзей заживо. Завидное «многообразие» такой жизни, тем не менее, подчинено конкретным целям. Это и роднит таких героев с елочными игрушками, с теми сказочными персонажами, которые никогда не меняются. От Эдиты, одной из «злых» героинь «Пикника», матерой воровки со стажем, даже на закате ее жизни мы слышим:

> Дам показания в суде, а потом пусть мне разрешат подойти к скамье подсудимых, плюнуть негодяю в морду и сказать: «Это тебе от Илюши, сука! Хорошо, что в России мораторий на смертную казнь, ты еще не стар, лет тридцать на зоне промучаешься!»

В этой фразе отражена вся Эдита, все ее одномерное существо, и для каждого персонажа можно найти такую фразу. В «Абсурдном рассуждении» Камю говорил: *Есть целые вселенные ревности, честолюбия, эгоизма или щедрости.* У Донцовой эти вселенные не дотягивают даже до маленьких планетарных систем. Что любовь, что ненависть — все лишено оттенков и в лучшем случае засвечено запредельными эпитетами, как неудачная фотография.

Новости в мире Дарьи Донцовой в основном связаны с большими деньгами, которые появляются или исчезают, с браками, которые создаются или разваливаются, а также с преступлениями. С деньгами и преступлениями все более или менее понятно. Большие деньги, как и преступления, имманентны приключенческому и детективному чтиву. История, связанная с крупным выигрышем, ограблением или убийством, — это один из базовых модусов детектива.

Более интересным и, главное, национально специфическим представляются взгляд писательницы на институт брака и то мышление, которое сформировалось на основе этого взгляда. По Донцовой, брак не является чем-то серьезным. Это скорее что-то вроде лотереи или метода проб и ошибок, когда, прежде чем научиться попадать, нужно сделать несколько учебных выстрелов. Кроме того, брак не является чем-то устойчивым. Он должен возникнуть или развалиться именно в ходе повествования. Он может быть счастливым, однако если это так, то в дальнейшем внимание на нем не задерживается. Если же он несчастлив, то фантазия Донцовой уже тут как тут и выдает первые варианты того, как это можно обыграть.

Касательно счастья надо сказать, что у Донцовой оно возможно. Даже романтики понимали идеальную природу вечного, у нашей же писательницы идеальные пары и вечная любовь вполне возможны в реальности. Счастье ее героев статично, оно достижимо раз и навсегда. Более глубокие проблемы, возникающие между любящими людьми, которые как раз и составляют темы серьезной литературы, отсутствуют.

В целом же путей развития обычно немного. Если два человека связали себя браком, то это означает либо любовь навсегда, либо корыстную цель одного из них, который вступил в брак с целью присвоения денег или мести какому-то третьему лицу. Иногда все вырождается в обоюдное «терпение друг друга», которое, впрочем, рано или поздно все равно разрождается «логическим итогом». Если брак распался, то это означает, что либо любящие не сошлись характерами, либо один получил все, что хотел, и счел дальнейшее притворство бессмысленным. В последнем случае дело нередко кончается убийством. Под общей формулировкой «не сошлись характером» при этом редко скрывается что-то конкретное. Чаще всего просто бытовые глупости. В «Чудесах в кастрюльке» о причине разрыва Сережи и Аси читаем следующее:

> Нет, он не делал ничего плохого: не пил, не бил жену и, казалось, не бегал налево. Наоборот, был хорошим добытчиком, нес каждую заработанную копейку в дом, не злился, когда Аська покупала себе очередную кофточку, миролюбиво воспринимал всех многочисленных знакомых жены, толпой проносящихся по квартире, и никогда не капризничал, обнаружив, что в шкафу закончились чистые рубашки, а в холодильнике еда. Одним словом, ничего плохого о Сереже Ася сказать не могла, кроме одного: он ее жутко раздражал, абсолютно всем. Неприязнь вызывала манера мужа есть с упоением креветки, его привычка долго сморкаться в ванной, бесил Сережа, уютно сидящий у телевизора с бутылочкой пивка, казалась отвратительной его любовь к бане и рыбалке.

Проанализировав однажды свои чувства, Аська пришла к выводу, что фатально ошиблась.

Мгновенно сменяющие друг друга свадьбы и разводы настолько просты и естественны, что они фактически описывают общество с промискуитетом, которое, кстати говоря, так и не доказано ни у первобытных людей, ни у животных. Вот как выглядит у Донцовой типичная жизненная проблема:

Там этот «Индезит» стоял, только девчонка визг подняла, ремонт захотела и технику всю от «Бош» (*«Чудеса...»*).

И вот как выглядит решение:

Все, финита ля комедия, развод и девичья фамилия (*там же*).

Иногда инициатива в таких смехотворных ситуациях исходит от мужчин:

— Все! — стукнул кулаком по столу всегда вежливый супруг. — Заткнись! Вернусь к полуночи. Если здесь по-прежнему будет стоять вопль, завтра с утра подам на развод! (*там же*)

Примечательно, что в вопросах брака исключительную смекалку проявляют дети и подростки. Донцова не отказывает им в праве быть носителями взрослого мышления, хотя совершенно не понятно, какие преимущества это может давать. Неестественность их суждений усиливается тем, что автор не дает ни малейшего намека на то, чтобы считать это иронией.

Подруга уткнулась в плечо мальчика, а тот, нежно гладя ее по копне спутанных кудрей, неожиданно сказал:

— Эх, Наталья! Мужики в основном сволочи, ни один твоей слезинки не стоит. Ты же красавица! (*«Автобиография»*)

— Не ревите! — похлопала меня по плечу Тереза <...> — Может, вам лучше не мужика назад требовать, а тупо денег попросить? <...> Когда в кармане шуршит, сразу красавицей всем покажетесь (*«Фейсконтроль...»*).

Заметим, что 13-летняя Тереза хлопает по плечу незнакомую взрослую женщину, проговорив с ней от силы пять минут.

Может показаться необъяснимым, но в этом мире иногда витают какие-то призраки морали. Тучи насилия раздвигаются, и со светлеющего неба срываются вниз лучи света в лучших традициях книг для юношества. Автор, очевидно, видит в них элемент джентльменского набора хорошей литературы. В «Чудесах...» читаем:

Мне понадобилось несколько минут, чтобы перестать смеяться и задуматься: а сколько еще живет в Москве детей-сирот при живых родителях, никогда не читающих книг?

Как и всегда, банальные рассуждения о пользе чтения. В данном случае еще бессмысленные. Удивительна укорененность подобных суждений в головах обывателей, да еще тем более прочная, чем более уцененной берется фор-

мулировка. Вполне нормально видеть их в букваре в виде хороших русских пословиц, но слушать старушечье кряхтенье, по меньшей мере, скучно. *«Все проблемы нашего общества происходят от того, что молодежь не читает книг». «Дети забыли книгу». «Живое слово дети променяли на компьютерные игры и американские фильмы».* Интересно, в чем была основная проблема детей до изобретения книгопечатания?

Весь мир Донцовой — это что-то сиюминутное, мнимосерьезное, взаимозаменяемое. Попытки представить отдельные ситуации в виде чего-то подлинно трагического неудачны ввиду обыкновенной дикости многих сцен. Причем за этой дикостью ничего не стоит, и в итоге она просто мешает адекватно воспринимать текст. Трудно сочувствовать горю матери, потерявшей сына, если за несколько страниц до этого мы наблюдаем за приступами истерии одной из избалованных дам. И тем более это трудно, когда далее выясняется, что сын этой матери был на самом деле вором и убийцей. Еще труднее, когда мы узнаем, что и сама мамаша всю жизнь прожила с бандитом и участвовала в его преступлениях. И уж совсем невозможно, когда Донцова обрушивает на нас еще одну новость: ее сын и сыном-то ей не был. И мать, и сын — это два сапога пара, два беспринципных вора, пытающихся обмануть друг друга и в одиночку утащить золото.

На таких вот бредовых интригах и держится весь ее мир.

Косметическая народность

Разговор о том, что есть русский народ, в России всегда был разговором сложным. И особенность его состоит в праве любого человека принимать в нем участие. Такой разговор — не замкнутая дискуссия посвященных, народ — это мы все, и, следовательно, рассуждать о нас самих также может каждый. Но, поскольку тема необъятна, здесь трудно уберечься от однобокости в выборе позиции, от прямого извращения действительности и от навязывания собственной точки зрения, что особенно опасно, учитывая веру народа в пословицы и афоризмы и в то, что сложные вещи можно сделать легко.

Нельзя сказать, что Дарья Донцова сильно навязывает какую-то точку зрения или извращает действительность. Но она делает это бессознательно, потому что не чувствует необходимости в каком-то внешнем оправдании для своего творчества. Она не проявляет слепого фанатизма в уродовании нормальных людей, но в то же время ведет себя пассивно в том, что касается прекращения такого уродования.

Ее книга, как добросовестный гид, ведет нас по подземным пещерам мышления домохозяйки, высвечивая сталактиты и сталагмиты женских желаний и комплексов, и указывает путь к сомнительному свету через темные переходы. Тот, кто согласился на подобную экскурсию, вынужден довериться такому гиду. Сама же писательница не жалеет сил, чтобы показать, что миллионы, которые ей приносят ее книги, приносят ей меньше удовлетворения, чем мир радостей и тревог обычной женщины. Несмотря на образование, знание языков, богатую на события жизнь, мужа-ученого, ее имидж писателя, вышедшего из народа и не понаслышке знакомого с ним, давно завершен и ему ничего не угрожает. Герои всех ее книг — это

люди, которые по-народному просты. Невзирая на возможные различия в социальных статусах, в народной простоте они уравнены. Вместе с тем вся их народность лишь в том, что мент матерится, домохозяйка читает детективы, а киллер убивает. У них не бывает превращений. Если бизнесмен не ездит на БМВ, значит, это не бизнесмен.

— Забыла, какая у тебя машина.
— «БМВ», черная, номер ноль шестьдесят шесть, ну заметано?
— Ладно, — хихикнула я, — жди, уже лечу (*«Чудеса...»*).

Если отдельные сцены могут быть дурными или просто глупыми, то общее послание писательницы гораздо более негативно: в ее книгах происходит отождествление понятий «народность» и «примитивность». Из первого понятия, несравнимо более глубокого и сложного, у нее легко — за счет попустительства упрощенным взглядам — получается второе. Вот, например, как в тех же «Чудесах...» выглядит мечта позитивной героини:

— Квартиру, не ту, в которой мы живем сейчас, а другую, меньшую, трехкомнатную, но тоже хорошую, половину земельного участка на Рублевке и домик для гостей, денежную сумму.

В силу того, что подобные идеалы исповедует статистически значимое количество людей, эта цель преподносится как последний смысл жизни вообще. Весь народ как будто сразу появился с врожденной мечтой о больших деньгах и для ее осуществления готов на все.

И действительно, в этом ведь и основа всех преступлений у писательницы: идя против закона, преступники всегда стремятся к личному благосостоянию. В этом смысле очень интересны глобальные заключения писательницы о том, что надо любому человеку. Это не покой, не отсутствие грехов, не порядок в вопросах нравственности, — Донцова, конечно, оперирует такими понятиями, но в ее неконкретных лакированных формулировках это не несет никакого реального смысла. Главное в жизни, — по крайней мере, для ее героинь, — это практическая смекалка касательно удачного замужества. В ее книгах постоянно приводятся примеры для подражания, когда «Светка» удачно выходит замуж за «Мишку», и примеры для осуждения, когда та же «Светка», как «дура», уходит к другому, который получает «в сто раз» меньше.

Какими же выглядят люди? Их образы довольно трудно отделить от идиотских ситуаций, в которые их помещает автор. У такой трудности есть и более глубокие причины. У Донцовой образы простых людей не несут в себе зерен собственной рефлексии, у них нет устойчивого «я», сопротивляющегося внешним событиям. Они, фактически, сами существуют через посредство ситуаций. Донцова рассказывает не идеи, а сюжеты, поэтому люди вторичны и поставлены в зависимость от декораций. При этом их рассмотрение вне контекста всего произведения, который еще способен хоть както сгладить их корявость, облагораживая намеками на внутреннюю органичность, может лишь усилить диссонанс и недоумение. В нашем случае, впрочем, это только к лучшему: картина становится наглядней. Пожалуй, имеет смысл привести несколько изолированных примеров, показывающих, как ведут себя простые люди из народа.

В автобиографии. Ребенок приходит домой и сообщает:

— Мама, папа, я поджег школу! Нас всех эвакуировали, сейчас там пожарные.

Александр Иванович (поскольку это автобиография, то речь идет о декане факультета психологии МГУ — Александре Донцове) спокойно отвечает:

— Кеша, не приставай к родителям с ерундой, изнасилуешь директрису, тогда и приходи.

Далее Донцова пишет:

— ...я налетела на мужа и затопала ногами от возмущения.

Можно, казалось бы, понять, с чем связано возмущение матери: говоря с ребенком, следует все же выбирать слова! Но нет, причина совсем другая: оказывается, ей просто не нравится, что отец не проучил сына за подобное поведение. Действительно, вместо этого он лишь поучительно ответил:

— Ребенка надо принимать таким, каков он есть. Все беды начинаются тогда, когда родителей захватывают амбиции. Оставь его в покое.

«Чудеса в кастрюльке» — здесь можно прямым текстом просто привести несколько предложений. Они вырваны из контекста, но сомнительно, что вообще существует контекст, который мог бы смягчить их смысл.

«Дальнейшее просто, несчастную дочку Забелиных кремируют под чужим именем, Ася через некоторое время разведется с Сережей».

«Аська сгоряча ляпнула про разборку на органы, но я-то знаю, что эта страшная вещь и впрямь может случиться с девочкой, хотя оказаться в руках у педофила еще хуже...»

«Х... тебе, а не кино, — заявила мамаша, нахлобучивая Ванюше на макушку шапку».

«Привет, — весело сказал он, — что за жуткий суп? Вы раньше никогда ничего подобного не готовили. Воняет, словно расчлененка!»

В «Пикнике на острове сокровищ» — мать Ивана Подушкина Николетта останавливается перед автоматом, который работает следующим образом: нужно сунуть деньги, встать на весы и в зависимости от веса получить игрушку. Николетта совершенно очарована «зайкой» — игрушкой, которая дается за вес в пятьдесят килограмм. Но, к сожалению, нашей даме, поклоннице всяческих диет, не хватает 650 г до заветной отметки. Тогда она принимает решение набрать недостающую массу в ресторане, что и делает. Однако, вернувшись к автомату, она неожиданно получает игрушку в виде «смерти с косой»: она дается за пятьдесят один килограмм. Николетта не рассчитала свой рацион и не учла лишний килограмм, «набранный» выпитой минералкой. Но ей нужна именно «зайка». Ей предлагают сходить в туалет. Поскольку сейчас она «не хочет», то, чтобы ускорить процесс, отправляет сына за слабительным чаем. Тот на полном серьезе идет в аптеку, а когда возвращается, то узнает, что мать забрали в милицию. Желая получить игрушку, та встала на весы в голом виде.

В принципе, вся сцена тянула бы на обычный фельетон, если бы ее героиня не была так чудовищно избалована и одновременно обласкана любовью самого автора. Сам Подушкин удовлетворенно делает о матери следующее замечание:

> Похоже, маменьке повезло, наконец-то ей на жизненном пути попался настоящий мужчина, который понимает: любое горе дамы моментально делается меньше, если нацепить ей на пальчик колечко с камушком.

В «Фейсконтроле на главную роль» Даша Васильева узнает, что домработница ее приятельницы обладает кое-какой важной информацией. Однако в ходе разговора выясняется, что та не намерена делиться ею бесплатно. Ей нужны деньги. В обмен на сведения Васильева предлагает сто долларов, на что домработница тут же заявляет: «Тысячу!» Для Васильевой это много, и она предлагает двести, но домработница лишь делает скидку до девятисот. Тогда Васильева повышает ставку до пятисот, объясняя, что «больше наличности нет». Но домработница снова не удовлетворена. Она как ни в чем не бывало начинает осматривать сумочку просительницы, намереваясь найти в ней материальную компенсацию недостающим четыремстам долларам. Ничего не найдя, она требует, чтобы Васильева сняла с себя серьги. Та с достоинством отвечает:

> — Милая, их цена намного выше запрошенной тобой суммы.

Домработница сдаваться не намерена и в итоге соглашается на кольцо с брильянтом, которое Васильева предлагает взамен серег. Симпатия автора снова на стороне своего альтер-эго, а смещение акцента вновь скрывает дефект непристойности: читатель радуется смекалке Даши Васильевой, которая смогла бижутерийную поделку выдать недалекой домработнице за настоящий брильянт, как бы отплатив ей той же монетой.

Можно возразить: разве такие люди и такое поведение — такая уж фантастика? Здесь спорить бессмысленно: бывают вещи и похлеще. Но речь, собственно, не об этом.

Донцова пишет не производственные романы, концентрирующие специфический опыт и описывающие суженные до него ситуации. Ее книги — это не тюремные летописи и не журналистские расследования. Любой ее образ и любая ситуация устроены так, что они воспроизводят наиболее народное, наиболее вероятное наблюдение. Так устроен сам ее творческий метод. Поэтому такие ситуации нагружены именно всеобщим, нечастным смыслом, как и большинство ее ситуаций. Реальность в ее изображении, таким образом, в очередной раз бессмысленно усугубляется в негативе.

Мужчины и женщины

Проза Донцовой бесконфликтна, но она не лишена некоей внутренней ориентации, некоего силового поля, задающего общее направление мышления. Эта ориентация ни в коей мере не является центральной идеей. Она могла бы быть идеей, если бы автор на страницах своих книг вел полемику с оппонентами. Но поскольку автор ни с кем не спорит, а лишь занимается

раскладкой собственного голоса на разные лады, эта некритическая ориентация, родившаяся из натуралистического отношения к жизни, стала чем-то вроде прикладной самооправдывающейся логики, которая в идеале не прочь сделать произведение самодостаточным и не желающим ничего никому доказывать.

Вполне естественно, что такая ориентация строится на неких данностях, выведенных за пределы обсуждения внутри текста. Главная среди них — феминизм. Это не совсем точное слово для обозначения того, чем занимается наша писательница, и не потому, что она сама первой будет открещиваться от ярлыков. Это неточное слово потому, что феминизм Донцовой не дотягивает до концепции, он сам не знает, чего хочет, хотя и обнаруживает в себе замашки на русскую национальную идею, адаптированную специально для женщин.

Понятно только одно: эта национальная идея устроена таким образом, что «мужику» в ней места нет. Она не то чтобы пренебрегает им, она вообще о нем не задумывается, считая это вопросом, решенным еще миллиард лет назад. Пожалуй, тезис о «женоцентризме» можно было бы положить как аксиому в фундамент ее исканий. Повествование от лица «джентльмена сыска» Ивана Подушкина в лучшем случае можно рассматривать как некоторую отстраненность от идеалов женских романов, но такой взгляд условен. Внутреннее ехидство Подушкина по отношению к избалованной матери, тем не менее, никак ее не осуждает. Когда Подушкин недоволен чем-либо, он советует себе делать следующее:

> ...хочешь остаться в живых, не слушай мать, просто через определенные промежутки времени восклицай: «Ты абсолютно права!» или «Совершенно с тобой согласен!» Может, кто-то и посчитает мою позицию пораженческой, но я не из тех людей, которые всегда и везде хотят быть на коне, охотно уступлю маменьке, чтобы спокойно вернуться к «Истории Вьетнама».

По Донцовой, женщина — это человек, который должен добиться личного счастья любой ценой. Но это счастье, состоящее преимущественно в том, чтобы «мужик» не надоедал своим сидением перед телевизором, как правило, так труднодостижимо, что несчастной женщине не остается ничего, кроме как идти на преступление. Причем обычно это не мелкие бытовые срывы, а особо тяжкие убийства, не лишенные при этом следов исключительно тонкого изящества, как бы живописующего богатство русской души, портретируемой в декорациях зла.

В половине ее героинь течет на редкость ледяная кровь: убивая, они способны перевоплощаться в тихонь и святош и годами преспокойно заметать следы. И вокруг такой идеи некой солидарности несчастных женщин Донцова выстраивает свое здание русской жизни. Эта солидарность настолько сильна, что у Вилки из «Чудес...», даже когда она раскрывает вообще чудовищные женские преступления, все равно в голове подыскивается нечто вроде оправдания: мол, если муж достал бедную женщину, его можно даже и убить. То есть такое решение как бы тоже имеет право на существование. Касательно мужских несчастий Донцова беспокоится не

особенно. Ей это просто неинтересно. В том, что все «мужики» тупее тараканов, у нее никакого сомнения.

> Любого парня можно приручить, как мартышку, путем нажатия на естественные потребности: вкусный ужин, чистая постель, любовь да ласка. И упаси вас бог начать критиковать избранника, мигом окажетесь за бортом семейной лодки. Вот мы, женщины, готовы терпеть неудобства, но мужчины нет (*«Чудеса...»*).

Посмотрим теперь, какие требования предъявляют мужчинам эти самые несчастные женщины, терпящие неудобства.

> Вообще говоря, мужчина должен приглашать женщину на всякие развлекательные мероприятия, а она уж может кривляться. У нас же наоборот (*там же*).

В итоге Донцова дарит нам образ русской женщины, несчастной, но уверенной в своей правоте, хотя немного и недоразвитой в интеллектуальном плане. Вот взять, например, ту же Вилку. Она работает не только гением частного сыска, но является еще и писателем. Она пишет детективы. Написав свою первую книгу, она приносит ее в издательство. Издателям эта книга нравится, и они предлагают ей подписать договор. И вот руками, разумеется, дрожащими, Вилка берет протянутый ей договор:

> — Вам. Прочитайте договор.
>
> В моих руках оказалось два листочка, заполненных непонятными фразами (*там же*).

Очень интересно, какие там могут быть непонятные фразы? Виола Тараканова занимается поиском убийц, расследует запутаннейшие преступления, пишет книги, наконец, и после всего этого не может понять, что за договор ей протягивают! Выходит, читать не умеет? А ведь в первой главе содержатся указания на то, что она действительно училась в школе.

В женскую солидарность также аккуратно подмешивается солидарность профессиональная.

Обсуждение литературы вновь включено в канву общежизненных рассуждений автора, где все универсально и поправки на специфичность предмета не делаются. Донцова является членом особой писательской гильдии, особого клана так называемых детективщиков, объединенных стремлением впихнуть народу как можно больше своих книг и строящих по этому принципу свою внутреннюю иерархию. Свой клан Донцова так или иначе защищает. Когда Вилка начинает писать первый роман, Донцова кое-что сообщает о ее кумире на тот момент. Речь о том, чтобы оправдать свою писательскую манеру, она не заводит. Она уже функционирует в мире, где такая манера не только защищена, но и является примером для подражания. Кумир Вилки — это писательница Анна Смолякова. По-видимому, это переделка имени писательницы Поляковой.

> Надо же, сама Анна Смолякова. Я зачитываюсь ее детективами. На обложке помещена фотография, но снимок плохой, он не передает ни оча-

ровательной улыбки, ни бьющей через край энергии, которая волнами исходит от писательницы («*Чудеса...*»).

Вилка, путая понятия спорта и литературы, сама себе говорит:

Смолякова написала почти тридцать детективов?! Но ведь когда-то и она в первый раз явилась сюда, дрожа от страха!

С гордо поднятой головой я зашагала по коридору. Ну чем я хуже этой блондинки в шикарной шубе? Напишу больше ее! Ей-богу, накатаю пятьдесят, сто книг!

Так проявляется еще одна жизненная позиция Донцовой. Не важно, как и о чем писать, важно количество. Чем больше тобой написано, тем менее ты хуже блондинки в шикарной шубе. Да и сама Донцова, следуя идеалам своего протагониста, стремительно приближается к сотне книг. Осталось совсем немного. Методология при их написании при этом отсутствует вообще, о чем она сама же и сообщает.

Олеся Константиновна оторвалась от рукописи:

— Принесли названия?

— Да.

— Давайте.

Взяв листочек, она принялась читать:

— «Скелет в шкафу», не очень хорошо. «Кто смеется последним», избито. «Цыплят по осени считают»... примитивно.

— «Цыплят по осени убивают», — оживилась девица.

— Это лучше, но длинно.

— «Цыплята убитые», — влезла я.

<...>

— Не то, без изюминки.

— «Цыпленок с изюмом», — предложила девчонка.

— «Гнездо цыпленка», — ожила я.

— «Утята и цыплята», — фыркнула девушка.

— Ну это просто для редакции, которая издает книги про животных, — взвилась Олеся Константиновна, — прямо «Ребятам о зверятах» получается. У нас детектив!

— «Утенок, убивший цыпленка», — воскликнула я.

— Не пойдет, — пробормотала Олеся Константиновна, — совершенно мимо. Не надо нам водоплавающих.

— Курица — сухопутное, — хихикнула противная соседка по комнате.

<...>

— Так, вернемся к нашим баранам, то есть к названиям. Мне импонирует слово «гнездо», только не цыпленка! Гнездо... гнездо. Погодите-ка.

<...>

Неужели все авторы так мучаются с названием, или я такая, особо тупая? Застучали каблучки, Олеся Константиновна влетела в кабинет.

— Отлично! Найдено! «Гнездо бегемота»!

Я чуть не свалилась со стула.

— Кого?

— Бегемота.

— Разве это животное вьет гнездо?

— Понятия не имею, — протянула редакторша, записывая что-то на настольном календаре, — да и какая разница! Главное, привлекает внимание, возбуждает интерес.

— Но в моей книге нет ни одного бегемота! <...>

— А вы впишите, про бегемота-то.

— Как? — растерялась я. — Не понимаю.

Редакторша перелистнула страницы.

— Ага, вот сюда. У вас главная героиня говорит мужу: «Кажется, ткнула палкой в осиное гнездо». А он ей пусть ответит: «Знаешь, больше похоже на гнездо бегемотов» («*Чудеса...*»).

В сущности, Донцова не скрывает, что подходит к творчеству несерьезно. Для нее это игра, лекарство от специфической скуки, которая заставляет тяготиться не однообразием будней, а чистыми листами, лежащими на письменном столе. Играя в игры, она не имеет позиции. Она ни с чем не борется, ничего не доказывает. А когда она берет на себя миссию бытописателя, то не делает дополнительного усилия, вглядываясь в жизнь вокруг себя, чем снимает с себя всякую ответственность. Отсутствие позиции в ее случае причем не является тем, чего можно было бы стыдиться. Наоборот, Донцова может даже признаться в подхалимстве, видимо, надеясь на спасительный покров иронии.

— Давайте поставим на обложку Арина Виолова. Как, нравится?

Жуть! Даже Виола Тараканова намного лучше, но, если я начну сейчас спорить, Олеся Константиновна разозлится и передумает печатать мой детективчик. Нет, с ней надо во всем соглашаться («*Чудеса...*»).

Желание увидеть свой опус напечатанным было настолько сильным, что я была готова на все, лишь бы суровая Олеся Константиновна благосклонно кивнула. Не понравилась редактору старенькая мама одной из героинь? Не беда, превратим бабушку в бойкую двоюродную сестрицу. Отталкивают восторженные слова о закате солнца? Значит, вымараем все. Я не гордая, и потом, небось, Олеся Константиновна лучше меня знает, как следует писать детективы (*там же*).

Опасна ли Донцова?

Трудно доверять логике там, где из нее сделали мишень для кидания дротиков. Дарья Донцова производит те же любовно-криминальные истории, которые сама же часто ругает. Даже если попытаться переступить через все, что можно встретить в ее книгах, и поставить себе задачу отыскать оправдание и, может быть, мудрость, это все равно не получится сделать. О чем можно говорить, когда уже в названии жанра — иронический детектив — допущено сразу две ошибки? Ведь, во-первых, это не детектив, а во-вторых, этот недетектив не является ироническим.

В любом детективе сыщик имеет дело с сопротивлением обстоятельств, которое преодолевается по мере приближения к развязке. В свою очередь,

игрушечные трудности, с которыми борются ее герои, не то что не воспринимаются как серьезные, они не воспринимаются даже как хотя бы естественные. По поводу иронии сказано необычайно много, причем начиная с древних времен. Донцовой об этом, понятное дело, неизвестно. Поэтому для нее ирония — это бесконечные слащавые улыбки, глупые шутки, различные искрометные подколы, грамматические аналоги комедии положений и прочие плоды дефективного воображения. Вполне естественно, что это не несет ни малейшей ни смысловой, ни хотя бы сюжетной нагрузки.

В целом вся эта картина не может не вызвать, мягко говоря, недоумения. Всем, в принципе, понятно, что нет смысла как-то преувеличивать опасность Донцовой: ее книги как покупают, так и выбрасывают, и никому она, в сущности, не нужна. Кроме того, аудитория ее читателей довольно специфична, да никто в ней и не относится серьезно к этой чепухе. Большинство в лучшем случае способно в один голос повторить: «Это развлекательная литература! Если вы такие умные, тогда читайте своего Платона по-древнегречески!»

Рекомендация читать Платона, кстати, представляет собой довольно распространенный довесок к подобным попыткам самооправдания. Но все же, на мой взгляд, не стоит считать, будто Донцова и культивируемый ею образ жизни и мышления не несут с собой никакой опасности. Подземная вода литературы в лице Донцовой однажды может выйти наружу и затопить то, что построено на поверхности.

Отличие нашего времени от того, что было двести лет назад, в примате скорости распространения информации над ее качеством. Из-за Донцовой голоса других менее слышны. Это рассуждение не менее банально, чем любое прочее, но такую банальность намного полезнее повторять. Нетрудно перечислить те вездесущие неуничтожимые аргументы, о которых говорилось вначале. Их более чем достаточно: тиражы, площади стендов на выставках, размах рекламных акций, расстояния, на которые книги удалены от входа в магазин, концентрации встреч с читателями, доли телеэфира, приходящиеся на экранизации, объемы самих текстов, поощрение медийных инкарнаций авторов и придание самим авторам реального социального значения в виде популяризации создаваемых ими благотворительных фондов. И так далее, пока не закончится перечисление всех знаков отличия. Соединяясь вместе, эти аргументы накладывают броню на один из самых диких тезисов, а именно что искусство должно принадлежать народу.

Внутри литературы Донцова не является исключительным злом. Здесь помогает апелляция к истории бульварной литературы и к метафизическим основам мироздания. Однако Донцова является исключительным злом вне литературы. Тем самым злом, которое всегда наказывали самым впечатляющим образом и при большой публике.

Рассмотрим двух людей. Первый пишет простенькие однодневные детективы, в которых глава семейства может придти домой и сравнить приготовленный суп с расчлененкой. Вдумаемся в это слово и представим себе то, что оно означает. Второй получает подряд три премии «Писатель года», две премии «Бестселлер года», выигрывает несколько литературных конкурсов, становится свидетелем того, как в Москве на Страстном бульваре

закладывается звезда в его честь, и, наконец, получает Орден Петра Великого 1-й степени с лентой за «большой личный вклад и выдающиеся заслуги в области литературы». Очевидно, что ни при каких обстоятельствах эти два человека не могут иметь ничего общего. Совершенно немыслимо, но Донцова умудрилась воплотиться сразу в обоих. Тут, правда, следует сказать, что Орден учрежден общественной организаций, да и существует их под таким названием, похоже, несколько, но только что это меняет? В наше время имеет смысл только то, насколько можно удержать на себе взгляды общественности. И Орден помогает это сделать.

Само существование творчества Донцовой защищено силами, о которых она даже не подозревает. Отложив в сторону аргументы аналитической психологии, в повседневном измерении под этими силами можно понимать, например, рынок. Всем и так понятно, что законы рынка не интересуются индивидуальным мнением, а любой маркетолог вообще смотрит на людей как на набор коэффициентов, определяющих их покупательную способность в данный момент. Но, так или иначе, есть вещи, существование которых не зависит от выбора в пользу морали или аморальности. Например, в химии есть ряд законов, которые называются «правилами запрета». Эти правила гласят, что есть процессы и явления, которые невозможны. Они невозможны в самом прямом смысле: сами по себе (без специфического дополнительного вмешательства) они просто не осуществляются. Донцова непонятным образом сумела нарушить эти законы. В каком-то смысле это чудо, в каком-то смысле — то самое дополнительное вмешательство в виде вполне просматриваемой социальной политики, поощряющей понижение интеллектуального уровня населения.

Но даже это не так важно по сравнению с другими следствиями, к которым ведет засилье Донцовой на книжном рынке. Самое большое значение имеет то обстоятельство, что Дарья Донцова впервые изменила безобидный статус бульварной литературы. До этого всегда работал принцип: что читать такие книги, что ничего не читать — одинаково бесполезно. В случае с Донцовой «ничего не читать» впервые становится намного полезнее, чем читать.

В чем опасность Донцовой? Формально — ни в чем, да и по сути, как кажется, ни в чем. Чтение ее книг не задевает головы, а раз оно не задевает головы, значит, это просто безобидная пустышка, пригодная для одной-единственной цели — убить время. Будем надеяться, что это действительно так. Но иногда бывает полезно со стороны посмотреть на собственные поделки и немного вдуматься. Посмотреть, что к чему. Подумать над тем, что значит человек, что значит убить человека, что значат похороны ребенка, что значит суп, воняющий, как расчлененка. Эти слова простые только со стороны. Донцова попустительствует легкому оперированию категориями типа «убийства», «воровства» или «тюрьмы» и способствует их переходу в повседневный лексикон. Складывается впечатление, что обычному человеку эти вещи действительно близки по опыту. Хотя даже от шутливого приобщения к этим категориям можно устать, не говоря уже о серьезности, с которой их обрушивает она.

Разумеется, можно сделать так, чтобы эти категории действительно казались легкими и ненавязчивыми, чтобы их суровый смысл растворялся в общем жизнерадостном настроении. Или сделать подлинный trash, стильный, последовательный, несущий смысл, имеющий что сказать. Еще лучше сделать рассказ об этом подлинно трагичным, поскольку только через трагичность лучше понимается ценность человека. Но Донцова не умеет делать ни того, ни другого, ни третьего.

Ее книги — это даже не субкультура. Такую литературу нельзя представить в виде некоей субкультуры домохозяек и дать ей тем самым возможность найти свое — равноправное с другими — место под крылом все ласково охраняющей демократии. Любая субкультура — это поступательное движение вперед, к новым горизонтам дискретизации и уточнения идеалов. Ей претит общность с обезличенным мейнстримом, который не способен выразить ее более утонченных и вместе с тем более радикальных устремлений. В этом смысле произведения Донцовой не могут быть субкультурой. Они неидеальны по сути. Это докультурный, зачаточный реализм, причем интересующийся только самой примитивной его стороной и, соответственно, неспособный к комплексному взгляду на мир. Между тем завышенное внимание к нему, увы, по инерции актуализует всю массовую культуру, постоянно выводя ее на повестку дня наравне с политическими и общественными событиями.

Любое внимание к Донцовой даже в виде критики — это пособничество ей. Нет смысла содействовать тому, кто паразитирует на отрицательном пиаре. Это могла бы усвоить и Католическая церковь, обвиняя Дэна Брауна. Имея дело с Донцовой и в целом с низкопробной массовой культурой, намного эффективнее делать выбор между принципиальным игнорированием и жестким цинизмом.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА

(Второй квартал 2008 г.)

А. «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь»

Начнем с главного, наиболее заметного и яркого, спорного и/или значительного, в прозе московских журналов.

Один из самых интересных текстов сезона — **«Обрезание пасынков» Бахыта Кенжеева** (**«Из Книги счастья. Вольная проза»** — «Новый мир», № 6: продолжение, начало в № 11, 2007). В Переделкино на даче репрессированного Б. (угадывается Бухарин) устроен спецфилиал Дома творчества, где по заказу и под надзором чекистов три «инженера человеческих душ» летом 1937 года создают некий опус. Предъявлены и размышления этих взятых в сытое рабство литераторов, ищущих себе оправданья или хотя бы объяснения, и их разговоры с осадком страха, и наглая надзорная работа чекистов... Часто происходящее увидено глазами мальчика, сына приставленной к писателям домохозяйки из НКВД. Мальчик пытается на свой лад объяснить происходящее, подбирая аналогии (писцы из Древнего Египта и т. п.) и пробуя на вкус слова из идеологического меню. Мальчик же оказывается единственным, кто плачет ночью от жалости к разоблаченному врагу народа Б. В итоге выясняется, что писатели трудятся над заключением о стихах поэта, в котором легко опознается Мандельштам, — вероятно, для судебного процесса над ним. Но содержание конкретного урока для Кенжеева не самое главное. Он скорее моделирует и исследует ситуацию рабства, нашедшего себе мотивации. «Писцы» напишут все, что им зададут, и сами себе объяснят высокий смысл этой задачи. Текст Кенжеева напоминает аналитический опыт. Как поэт он тщательно подбирает слова, скрещивает заболоцко-платоновские конструкции с газетной речью, давая повествованию емкий и лишенный рассудочной тенденции смысл. Реконструируя волапюк эпохи, автор придает ему гротескную заостренность, не чуждую актуального звучания в момент, когда многим снова хочется быть рабами. Трагифарсовый гротеск, мотивированный безумием и дикостью эпохи и человеческих душ.

Фрагмент **романа Андрея Волоса «Победитель»** («Октябрь», № 4) — эпически организованное повествование о Туркестане конца 20-х годов. История в судьбах, сценах, разговорах. Яркая фреска о процессе советизации — по сути, завоевания этого края. Война ведóмых Примаковым *червонных казаков* с афганцами в том числе. Главный герой — комбат Трофим Князев, горячий и страстный человек, привлеченный на службу и умеющий убивать без жалости. *Трофим стал вторым номером, и они, залитые беспощадным солнцем, снова и снова секли цепи стремящихся к ним, вопящих, размахивающих блестящими лезвиями людей, которые не боялись ни пулеметных очередей, ни снарядных разрывов, производивших в толпе страшные опус-*

тошения. Их было больше, чем осколков снарядов, больше, чем пулеметных патронов. Трофим ждал, что к ним, к авангардному пулеметному гнезду, подтянется подкрепление, и оно подтянулось, но уже когда последняя лента ушла в распыл и Олейников, по-прежнему дико матерясь, начал палить из винтовки, а Трофим, держа в одной руке наган, а в другой шашку, стал за останец стены. Первого он срубил, второй попал на пулю, но потом ввалились сразу четверо, и когда он, опомнившись от собственного рева, понял, что этих уже тоже нет, Олейников подергивался, как тот баран в саду за Гидростанцией, и кровь уже почти перестала хлестать из разреза, широко распахнувшего его горло. Пока что — в журнальном варианте — этой прозе недостает широкой мысли, она выглядит сугубо эмпиричной.

В «Октябре» (№ 4) опубликована **повесть Алексея Лукьянова «Жесткокрылый насекомый»**. Сентиментально-комическая, трогательная, мешающая реальное с фантастическим, живо и увлекательно написанная история о том, как в квартирке у одинокой собачницы-кошатницы Марины начали вдруг появляться дети... И чем дальше, тем их больше. Соседи негодуют, милиция выбивается из сил, да и сама Марина не рада... Да только вдруг *куда-то исчез тяжелый запах неустроенности и несчастья.* Забавный, на многое не претендующий сюжет с позитивным смыслом.

Сложное послевкусие остается от новой прозы **Анатолия Королева — романа «Сгинь, коса!»** («Знамя», № 5). Заявка масштабна, автор во врезе пишет так: *Пожалуй, ни один из моих романов не заводил меня так далеко. Начав с чистого вымысла о бессмертии, я вдруг оказался среди тех, кто уже бросил вызов смерти. Это наши современники: трансгуманисты.* «Далеко» — это значит из города Пуп-Казахский в Рим, древний Вавилон, город Юрятин (как известно, это литературный псевдоним Перми — родины автора), Москву... Преуспевший в жизни 29-летний герой, наш современник, получает известие о смерти отца (письмо с того света?) и, пускаясь в путь, пытается найти секрет бессмертия, все равно как какой-нибудь древний Гильгамеш. Вообще, символика в романе начинается с фамилии героя — Царевич. Собственно, вокруг смерти все дальше и завязано — по ходу маршрута. Отношение к смерти определяет и функцию фантастических героев; тут представлены разные позиции — от страха до приятия смерти или веры в ее отсутствие. Бодрое, достаточно энергичное повествование и в принципе довольно поверхностный смысл. Мистические акценты в беллетристической тональности: *...Это был безоар — амулет, популярный в эпоху Возрождения. Страх тем временем еще больше усилился, мои пальцы дрожали, и безоар постукивал по столу. Я всей кожей почувствовал, как сию минуту на меня устремился из бездны чей-то нацеленный взор, пока он еще слеп, но вот взгляд наливается блеском подзорной трубы, окуляры незримого шпионажа наводят резкость, две размытые половинки сливаются, и Рок взирает на меня с высоты с холодным изумлением ярости. — Идиот,— сказал я себе громким голосом,— чего ты боишься, безоар призван охранять жизнь хозяина! И как только я сие произнес, страх пошел на убыль. — Безоар! Я твой хозяин!— крикнул я камню и небу.* Критики романа уже вспомнили и о том, что о «бессмертии через крионику» куда вразумительнее писал Леонид Леонов в «Бегстве мистера Мак-Кинли». Я же замечу, что в современной европейской прозе гораздо

убедительнее смотрятся художественные опыты о смерти Мишеля Уэльбека. Все же Королев скорее безбашенный выдумщик, чем философ или социолог... Зато безупречно тонки и интересны **«Пятнышки божьей коровки»** Королева («Знамя», № 6) — избранное из путевых дневников. *Практически в каждой поездке я заставляю себя (ночью в гостинице, утром в кафе или даже в такси) заносить свои впечатления в блокнот.* И недурно получается. Вот, например: *К России в Китае отношение как к соседу за ближайшим забором. Это особое отношение пристальной вдумчивости: старикам там приходится туго... Всё, тема закрыта. Мы никому не интересны.*

Роман Марии Рыбаковой «Острый нож для мягкого сердца» («Знамя», № 4) — *это история о реке, о женщине, влюбившейся в реку, их сыне, который стал вором, и о его бесславном конце.* Жизнь как тайна с неявной, может быть, даже мистической подоплекой. Девушка из провинциального городка Марина влюбилась в латиноамериканца, студента Хуана Ортиса. Отсюда и все прочее в духе латиноамериканского магического реализма и почти что кастанедовщины. Иностранец — он не только человек, но еще и река. У пары родился сын Тихон-Теодор, у которого есть и своя история. Ортис в приступе ревности убивает Марину; Тихона воспитывает бабушка. По вызову отца Тихон отправляется в индейские джунгли, чтобы в итоге погрузиться в воды отца-реки... Рыбакова с присущими ей холодноватым эстетизмом и интеллектуальным изыском нагружает этот авантюрный сюжет не вполне определенными смыслами. Однако ей чужды цветистость и живописность, ее манера — это скорее лапидарно-обморочная фиксация канвы бытия.

Более простодушно подмешивает необычное в жизнь своего героя **Николай Веревочкин** в **повести «Городской леший, или Ероха без подвоха»** («Дружба народов», № 4). Уличный художник Мамонтов становится лешим. История рассказана длинно и затейливо.

Роман Сергея Соловьева «Адамов мост» («Новый мир», № 4) — лирическая медитация на близкую автору индийскую тему. Рассказчик и его подруга путешествуют по Индии; в приметах пейзажа они ищут Индию духа. И находят. Пиитическое витийство: *Сидим на балконе. Вид на топь, тьму. Будто стекло едят, в микрофоны, тысячи стеклоедов. — Ты посмотри,— говоришь,— какой путь — через пол-Индии... Куда, казалось, зачем? С каждым днем удаляясь от тех мест, где дары мнились, и куда — поперек глаз, горла, в глушь, серость. Бред, говорим, помнишь? Что нас водит? Как на веревке. Но какой-то провисшей, так что и не поймешь, тянет ли. А вкус, звук, цвет все блекнут, голые стены дней скользят... Куда? А ты говоришь: доверься... И так неделя идет, поезда, автобусы, пересадки, без всякой цели, куда глаза, зажмуренные, широко закрытые, да? А тем временем они идут — из всех концов света, из Гималаев, Тибета, пустынь, пешком, месяцами идут, костры, котомки, мы уже где-то в Патне, ты с сикхами кашу ешь, сладкую, горстями, сабли у них взблескивают на поясе, а здесь уже перестилают кровати, лампочками разноцветными шнуруют ступы, а я сижу там, на женской стороне, в белой шали, с головой закутана, и ты меня найти не можешь среди тех женщин, как коконы, а потом нас ведут по лестницам, в пустынный зал, где история их, сикхов,— стены, росписи, этот апокалиптический комикс их геноцида.* Читать это неудобно, да и ненужно. А восхищаться можно вполне.

Повесть Бориса Екимова «Предполагаем жить» («Новый мир», № 5–6) — взгляд прозаика-деревенщика на современный город. Полуудача признанного автора. Конечно, и сам Екимов давно живет в городе, но и он, и его лучшие герои лелеют утопические мечты о возвращении на лоно природы. Один из персонажей обманулся, приняв настенную офисную декорацию (*рукотворный поток в конце пути своего, на первом этаже вестибюля, растекался невеликим озерцом в каменном ложе с зелеными берегами и исчезал около огромной стенной мозаики, изображавшей реку, зеленый луг, а дальше — лес*) за реальность. И потом пенял и плакался сам себе: *Обманная река! Обманный лес! А надо жить по-настоящему. Должна быть настоящая река... Мы должны жить у настоящей реки, у живой воды, потому что это одна из радостей, самых великих, нашей единственной жизни.* Тем более жизнь в городе — злая, жестокая, травматичная, чуждая сантимента (к которому, надо помнить, всегда склонен в остальном весьма трезвый социальный реалист Екимов). Всё куплено, все завязаны в узел, и не выпутаться, не вернуться на лоно вод и полей. В целом ничего нового о современных городских нравах Екимов не открыл. Все здесь у него вторично. Но взгляд на жизнь у автора не лишен здравого смысла, что уже неплохо. Наверное, существенней имеющиеся в повести картины сельской жизни, точнее ее разложения, моральной деградации крестьянства (о чем, впрочем, тот же Екимов тоже уже сказал немало горьких слов). Так что писателя, пожалуй, уже и не нужно называть деревенщиком. Скорее его мечта — это вечная греза о некоей Аркадии, натуральной идиллии вдали от социальных злоб.

Трогательный, переполненный ностальгическими эмоциями **рассказ Ирины Богатыревой «Вернуться в Итаку»** («Новый мир», № 4) — о детском лете на Волге. Папа и шестилетняя девочка. У девочки ангина, она бредит, телефонной связи нет, и вообще — на дворе те самые августовские дни 1991 года. Вот так, большое и малое. Поэтому папе не до путчей. У него дочку никто не лечит. Но все закончится не так уж плохо. Хотя ставшей взрослой девочке хочется погрустить: *Мир, в который они вернулись через несколько дней, начал меняться и скоро стал совсем другим. И Идка тоже будет меняться: стрижки делать, на телефоне висеть, на каблуках ходить, плакать ни от чего, уходить из дома, возвращаться, снова уходить,— но это другая уже будет Идка, а его, не большая, не маленькая, котик, кролик, малыш,— всегда будет вот эта, на острове, силуэтом на фоне ясного горизонта, и папа вместе с ней всегда — молодой.* Грех требовать от автора большего, но все-таки настоящего сопряжения отечественной истории и личной беды или проблемы у Богатыревой не вышло. Нет у нее истории.

Доктор философских наук из Саратова **Вера Афанасьева** в **рассказе «Восхождение»** («Новый мир», № 4) повествует о том, как ее героиня готовилась к родам и рожала. *Мне и в самом деле стало все равно, что у меня больше нет тайн и я обращена ко всему миру развернутой, растерзанной, разорванной и разрезанной промежностью. Мне было все равно, что белый свет лицезреет мое окровавленное, измученное, вопиющее нутро. Мне было все равно, чем закончатся роды. Мне было все равно, умру я или останусь жить. Боль победила меня, растворила, сделала своим инструментом, приспособлением, экспериментальной установкой.* Ничто человеческое, как говорится...

В «Знамени» (№ 6) под рубрикой «путевая проза» публикуется **«Книга реки» Владимира Кравченко**. Подзаголовок — «В одиночку под парусом». *Идея казалась привлекательной: стартовав в мае-месяце с берега валдайского озера Стерж, куда впадает ручей, берущий начало из знаменитого родника у деревни Волговерховье, проплыть на байдарке всю Волгу.* Впечатления от увиденного складывались в калейдоскопическую картину рубежа 90-х— «нулевых». В этом номере журнала рассказчик доплыл только до Рыбинска. Деталей и людей в его повествовании много, значительного и важного — мало. Но читать интересно — как любой очерк странствий, где сам повествователь уступает первое место тому, что он увидел.

Парижанка **Ксения Кривошеина** в мемуарно-эссеистическом **очерке «Своя стена»** («Знамя», № 6) нетривиально размышляет о стенах, которые разделяли в XX веке людей и государства, в том числе стене между рабством и свободой. В этом смысле самый мрачный стимул такого разделения — Берлинская стена, личным впечатлениям и общим рассуждениям по поводу которой посвящена бóльшая часть текста. *Прошлый век, как ни один в истории, был помечен построением «стен» и границ. Но стены рухнули, Европа едина, человек обрел свободу, но так и не пришел к согласию с самим собой. Труднее всего осмыслить, что «своего» можно встретить за пределами своей семьи, города, страны и языка. А порой близкий, родной человек на поверку оказывается чужим... — «Вот видишь, Галка, здесь есть перевод на русский язык»,— услышала я за своей спиной в туристическом берлинском автобусе мужской голос,— «это они в благодарность нам, потому что мы им вернули Дрезденскую галерею и Пергамский алтарь. А могли ведь этим поганым фрицам ничего не возвращать!»*

Далее — проза, не принесшая слишком сильных впечатлений.

В повести Анастасии Ермаковой «Из-за елки выйдет медведь» («Дружба народов», № 5) героиня — одинокая и не весьма счастливая женщина — работает в агентстве услуг на дому, в дачном поселке. И основные сюжеты ее жизни связаны с клиентами, которых она регулярно навещает и которым слегка, несильно сочувствует, с любимой бабушкой, которая пытается учить ее жизни. Культурная, не весьма значительная проза. *Дача — это самодельный рай. Рай, созданный бабушкой. Место, где никогда не бывает скучно. Яблони, облака, цветы... Долгий жаркий обморок лета. Шесть соток зеленого покоя. Просторность цветущих выходных. Чаепитие на открытой террасе. Комариные вечера. Теплой луной разнеженные ночи. И в центре всего — огуречная королева, моя дорогая бабушка, ловко и вкусно консервирующая в банках август <...>Бескорыстная мозаика бытия. Драгоценная морока существования. Безделушки влюбчивой памяти...*

Неплохие **рассказы** у **Надежды Горловой** («Знамя», № 5). Девичья память детства, деревня 80-х, ворох занимательных, схваченных острым глазом подробностей обихода, вещи, сюжетные наброски, но ни малейшего умения выйти на уровень серьезного духовного обобщения.

Деревенский материал — и в **рассказе Гелия Ковалевича «Осенью, на исходе»** («Дружба народов», № 4). Нехитрые заботы старика Мокина и его односельчан. Кончается жизнь, кончается деревня. Традиционный мотив (от Белова и Астафьева до Екимова), который у Ковалевича прописан тщательно, с деталями. Но ничего нового не дает.

«Короткие рассказы» Вячеслава Харченко («Октябрь», № 6) — это анекдотические казусы разного рода или рассуждения в манере Ларошфуко. Как и положено в анекдоте, разрушается автоматическая связь вещей. *Вчера я водил сына в мавзолей, потому что скоро Владимира Ильича вынесут и похоронят. Павлик долго рассматривал хрустальный гроб, а потом спросил: «Кто это?» — «Не знаю»,— ответил я.*

«Хорошо там, где нас нет» Марины Ворониной («Знамя», № 6) — **рассказ** о похождениях россиянки, поехавшей в Чехию на заработки. Тупики, провалы. Подробно, зло, хлестко.

Герой **рассказа Владимира Лорченкова «Макамоны»** («Новый мир», № 5), молдавский журналист и одинокий отец, обнаруживает в себе способность в момент безденежья вроде как ради маленького сына ограбить на улице торговку наркотой. Написано нервно, болезненно и неглубоко.

У **Олеси Николаевой** в **рассказе «Себе назло»** («Дружба народов», № 4) героиня в жанре послания выбалтывает всю свою и общую жизнь школьной подружке. В жизни этой чего только не было. В рассказе **«Забытый Фирс»** женщина измаялась подозрениями, проводив мужа на рыбалку. Колоритная, многословная проза. А в повести **«Корфу»** («Знамя», № 6) Николаева делится впечатлениями о поездке на остров в Эгейском море. Интересный, тонкий религиозно акцентуированный текст. *...Вот мы и вернулись домой. Ничего-то, оказывается, я на Корфу не сделала, любовных сюжетиков для Журнала не написала, никаких вещественных доказательств не привезла, кроме икон святителя Спиридона, чтобы раздать друзьям, и огромной нелепой утки из оливы с головою, глядящей ввысь. Я поставила ее на пол и увидела, как она простодушна, и радостна, и весела. <...> Единственное богатство, которое я накопила там, это детское ощущение таинственности жизни, удивленный восторженный взгляд...*

Подборка **рассказов Николая Климонтовича «Смерть в Переделкине»** в «Октябре» (№ 4) — это полужурналистские житейские зарисовки. В основном, об отношениях мужчин и женщин. И напоследок чуть-чуть о смерти. Умер человек на улице, всем знаком, но никому его не жаль... *Что осталось после него, если не считать новеньких черных ботинок, которые подменили в морге? Два десятка сочиненных мелодий; вдова, которая принялась утешаться еще задолго до его смерти. Несколько любовниц... Неутешная стареющая мать, которая после смерти сына бросила идею еще раз выйти замуж. Гитара, даже две гитары. И певичка из Воронежа, потерявшая протекцию и ищущая новую. Что останется после нас — вот о чем имеет смысл задуматься. Кто пойдет за нашим гробом? И какие будут цветы? Впрочем, есть догадка, что в этот момент у нас будут уже совсем другие заботы.* Нехитрая философия.

Адюльтерно-семейный обиход горожан описал и **Денис Гуцко** в **рассказе «Четыре семьсот пятьдесят»** («Дружба народов», № 5). Одно другому как-то и не мешает — любовники в постели рассказывают друг другу о своих детях от основных браков.

А в живописных, вкусно оформленных сентиментально-трогательных **рассказах Аллы Боссарт («Октябрь», № 4;** из цикла **«Любовный бред»**)

влюбляются пожилые интеллигенты. В рассказе **«Белый танец»** запущенный старик встречает в переходе немолодую уличную певичку. И что-то у них начинается вдруг. *Владимир Кириллович, уже почти не стесняясь, раскрыл свое имперское имя, и рассказал, что Сальери вовсе не травил Моцарта, а был его другом и учителем, при этом фрау Сальери наставляла ему с Моцартом рога. Сальери страдал и под старость ушел в монастырь. А музыку писал очень хорошую, но опередившую свое время, так как пытался отказаться от гармонии, почему его никто и не понял. А Моцарт смеялся над ним. Любовницей же Моцарта была не только жена Сальери, но и ее сестра. На ней он впоследствии и женился. Но потом бросил. И женился на той жене, о которой все знают. А эти сестры, жена Сальери и его невестка, любили Вольфганга-Амадея до конца своих дней. Поэтому Пушкин и написал свою маленькую трагедию, желая выгородить Моцарта, поскольку сам грешил с Александрин, сестрицей жены. «Эх!— воскликнула ... Раиса.— Раз такое дело, не жмись, Идка, доставай!» И появился из буфета с граненьми стеклышками синий графинчик с притертой хрустальной пробкой...* В рассказе **«Пики козыри»** нашли друг друга деревенские художники-самоучки.

«Микророман в письмах» Михаила Земскова («Октябрь», № 5) — старательная стилизация. Юноша Иннокентий отправлял письма сестре Оле и девушке Кате. На Кате он хотел жениться. Но не женился, ввиду своей непреходящей инфантильности, а Катя вышла замуж за Мишу. Далее; Катя вступила в электронную переписку с незнакомцем, который — бывает и такое — оказался Иннокентием. В нем проснулись былые чувства, да и Катя вроде бы не прочь вернуться к нему... Муж Миша на этом самом месте возревновал и: *...я ворвался на кухню и ударил Иннокентия в скулу. Через час я отвез Иннокентия домой. Его все еще немного лихорадило. Он держался за припухшую скулу. Выходя из машины, он повернулся ко мне: «Извини».— «Ладно, ты меня тоже извини. Выздоравливай». Иннокентий вдруг снова сел на сиденье.— «А я тебя недавно по телевизору видел... Ты, оказывается, писатель».— «Да, знаю, дурацкая передача получилась...» Действительно, две недели назад меня, как «молодого и талантливого писателя», приглашали на кулинарное шоу.* Автор упорно делает вид, что текст практически документален. Ну, тут не знаешь, что и сказать.

Близкий эффект недоумения рождает пассивная фиксация того, что происходит с героем. Типичный образчик такой манеры — **рассказ Дмитрия Данилова «Девки на станции»** («Новый мир», № 5). Герой отправился в командировку в провинцию, пообщался с неким самородком и нюхнул какой-то травы. Детализировано все это хламом и хаосом окружающей героя действительности. Смысл нулевой. Когда-то похожий столбняк умел изображать Добычин, но у Добычина были к тому экзистенциальные и социальные поводы. Данилову, вероятно, просто кажется, что сама разгрузка прозы от смысла — это круто. Но это не круто.

Юный мастер повествовательной пустоты **Олег Зоберн** в **рассказе «Тризна по Яну Волкерсу»** («Новый мир», № 4) явно вознамерился утилизовать свои впечатления от случившейся поездки в Голландию. Возможно, его там даже издали, — чего ни бывает! Как бы то ни было, рассказчик, имя которого не

отличается от имени автора (как и отдельные детали жизни), отправляется на похороны голландского писателя Яна Волкерса. К сему намешано немало пустяков. *Свою книгу в гроб Яна Волкерса я положил сам.* И это главное. Сам факт смерти в его проблемной сути проскальзывает мимо читателя: Зоберну что смерть, что икота — только повод написать слова. В этом есть даже какая-то мистическая пауза. Как будто Бог дал писателю только умение владеть буквами, лишив его всего остального. Из милых деталей — очень нехило смотрится упоминание, что книжку рассказчика (или автора?) читал маститый Мишель Уэльбек, а также указания голландских расценок на услуги транспорта.

Серьезнее к смерти относится **Ирина Василькова**. В **рассказе «Стрелка»** («Знамя», № 4) она представила коллекцию летальных случаев. — *А Вася где?— удивилась маленькая Нина. — Унесли... — безучастно произнесла нянька, возя по полу неизменной тряпкой. Хулиганка Танька спросила с непривычной писклявостью:— Оживлять понесли?— Оживлять!— фыркнула нянька и ушла.* Это скорее переживание в голом виде, дальше автор не идет.

Опыты пустой жизни молодого современника предъявляет в своих **рассказах** начинающий прозаик из Северодвинска **Моше Шанин** («Октябрь», № 5). Талантливо предъявляет. *Я спал по шестнадцать часов. Вставал, пил чай, курил и выходил на улицу. Садился на скамейку и глазел на прохожих. Последние августовские комары пытались что-то из меня высосать. Я улыбался им и подставлял бледные руки. Мир вокруг меня покачивался, играл тенями, красками и полутонами. Казалось, он сшит из кусочков, как стеганое одеяло, или сложен, как мозаика, и иногда что-то в этой картине складывается неправильно, наперекосяк; какая-то несуществующая тень или деталь — что-то было не так. Я вздрагивал, напрягал глаза, но так ничего и не смог увидеть. Мимо проходили люди. Я удивлялся их глупости. Зачем — вот так? Зачем куда-то идти, спешить, или не спешить, но — все равно, зачем это все, если можно — как я — посидеть на скамейке, покурить, потом пойти домой, снова покурить, выпить холодной воды из чайника и лечь спать, не найдя в себе сил раздеться, и заснуть, заснуть — сразу, на полпути, моментально, выключиться, распасться, рассыпаться на миллионы миллионов атомов? Это действительно удивляло меня.* Это из рассказа **«Квинтэссенция меня»**.

«Глебушкины сказки» Ирины Глебовой («Октябрь», № 5) — это поток речи, монологи, которые мать адресует ребенку — на сон грядущий или еще как, за делами. Выдумки, комментарии, смесь наробраза и прозы жизни. Иногда забавно, иногда не очень.

Небезынтересен и **рассказ Анны Мазуровой «Комиссия»** («Октябрь», № 5). Весьма жизнеподобно представлена несколько условная ситуация. Автор изображает лагерь как место, где мотают срок не преступники, а те, кто согласились отсидеть этот срок за деньги вместо совершивших преступление, — *коммерческая отсидка.*

Виктор Мануйлов в **повести «Свет и тьма»** («Наш современник», № 5) рельефно живописал прожженного чекиста Генриха Люшкова, который руководил террором конца 30-х на Дальнем Востоке, а в преддверии ареста и гибели бежал к японцам. Другой герой — маршал Блюхер, который в финале своей жизни (но еще до ареста) полон душевной смуты. И, наконец,

выведен комбат Матов — самородок, применивший новую тактику в бою с япошками (атака под прикрытием артиллерии). Мысль автора проста: страна держалась на простых русских талантливых людях. А евреи и хохлы — сплошь чекистские ублюдки.

Сергей Ионин в **повести «Волк»** («Наш современник», № 5) рассказал о военных буднях лейтенанта Гурко, воюющего в Афганистане 80-х годов. Быт, геройство, недоразумения. И — едва ли не сознательный отказ придать повествованию осмысленность.

А в «Дружбе народов» (№ 5) появился перевод с английского фрагментов книги «Сабли рая» **Лесли Бланш — «Заложники»**. Снова: империя против туземцев, но не сейчас, а веком раньше, при Николае I. Место действия — Кавказ. Главный герой — имам Шамиль, именуемый почему-то «пророком Аллаха».

ЖИЗНЕОПИСАНИЯ

Вторая книга **романа Бориса Голлера «Возвращение в Михайловское»** («Дружба народов, № 5–6: журнальный вариант; книга первая была опубликована в «Дружбе народов», № 3–4, 2003) — о Пушкине. Авторская версия судьбы поэта. Текст сопровождают комментарии (схолии). Михайловская ссылка, возвращение в псковское сельцо как возвращение к себе, как опыт сосредоточения и медитации. Сам автор определяет жанр книги как «реконструкцию». Культурное письмо, в деталях — небанальный подход к творческой задаче, но притом — довольно рутинное беллетристическое многословье.

Алексей Варламов в «Москве» (№ 4–6) публикует **роман-биографию «Булгаков»** — о Михаиле Булгакове. Свободный от предубеждений, широкий взгляд на вещи, демократическая манера изложения; учтены результаты научных исследований, грамотно освоен контекст. Есть и небезынтересная полемика с предшественниками. Есть авторское участие и скрытое волнение. Полезная, нужная книга.

А **Лазарь Лазарев** вспоминает о прозаике Фридрихе Горенштейне (**«Теперь мои книги возвращаются...»**, «Знамя», № 4): затворник, отшельник, отщепенец.

К разряду жизнеописаний можно отнести и **«Советский рассказ» Олега Павлова** («Москва», № 6). Добротно сотканная история о вполне случайной и бессмысленной жизни людей второй половины XX века, лишенных идеалов, живущих моментом, удачей или неудачей. Азарт к жизни реализуется лишь в стремлении и умении получать удовольствия. В этой прозе Павлова практически нет сюжета, кроме того, который самотеком складывается из случайных обстоятельств существования персонажей. Ибо для сюжета нужны воля, решимость, ответственность, готовность к жертве. А где все это взять? Странно только, что некоторые имена реальных лиц приведены точно, а два — с искажениями (Зенкевич — как Зинкевич и Джилас — как Джилис).

ХРОНИКИ. ДНЕВНИКИ. ОЧЕРКИ

В «Новом мире» (№ 1–6) публикуется подготовленный С. Шумихиным колоритный **дневник** советского литератора, редактора «Нового мира» **Вячеслава Полонского** за май 1920 — январь 1932 годы. **«Моя борьба на ли-**

тературном фронте». Полонский производит впечатление заурядного (хотя и весьма неглупого) героя московских глав булгаковского «Мастера и Маргариты» (ну, или одного из писателей — персонажей вышеназванной прозы Кенжеева). Бытовые дрязги соседствуют с идеологической ловлей блох. Много ярких подробностей. Часто забавно.

В «Знамени» (№ 5) — подготовленные Е. Ефимовым **дневниковые записки Давида Заславского «Я глуп, но не очень»**, в будущем злопафосного советского журналиста, а в 1918 году — пока еще тихого оппозиционера и критика советской власти с точки зрения морали. Как фиксирует Ефимов, октябрьскую революцию Д. Заславский встретил обращением «Тем, кто у власти»: *Вы не власть. У вас в руках сила, вам повинуются штыки, вы можете посадить в тюрьму своих противников, но вы не власть. Вы можете заставить делать по-вашему и привести к молчанию врага, можете зажать рот,— но так все время и должны зажимать и ни на одну минуту не опускать руки, потому что полузадушенные мы все же крикнем, что вы узурпаторы, и никогда, никогда не признаем мы нравственной силы за вашим захватом. И вы должны поэтому управлять, окруженные штыками. Вы не можете выпустить из рук ружье, или штык, или нагайку, и путь террора неизбежно лежит перед вами.* А вот запись сентября 1918 года: *Ленин, наверно, добрый в личной, в семейной, кружковой жизни человек. Наверно, «и мухи не обидит» у себя дома. А вот не пощадил, не помиловал ту девушку, которая стреляла в него. Он видел смерть перед собой, знает, как стирает смерть все земное... и сам, цепляясь за жизнь, карабкаясь из могилы, толкнул туда эту девушку,— хотя уж без всякой нужды.* Ефимов от себя напоминает: *Среди многочисленных негативных поименований Заславского бытует: перебежчик. Эта его перебежка продолжалась, по меньшей мере, лет семь. И его не обогнали только парализованные. Лишь в 1924—1925 разброд, шатания, сомнения были преодолены — или отброшены,— слезы утерты и дневник убран подальше. В это время Заславский начал сотрудничать в советской прессе... В 1928 году сестра В. И. Ленина М. И. Ульянова пригласила беспартийного тогда Заславского в газету «Правда». Там он прослужил ведущим сотрудником до последнего дня своей жизни.*

Таисия Фомина в **«Книге о моей прожитой жизни, страшной войне и поминании невинно загубленных»** («Дружба народов», № 5) вспоминает о жизни крестьян в оккупированной фашистами Белоруссии (1941—1944). Бесхитростно честный текст. Крестьяне оказались между обухом и наковальней — между немцами и партизанами: *...в лесах появились партизаны, а под их марку — разные бандиты. Все грабили и забирали последнее. И убивали всякие, у кого только было оружие. Каратели наемные, СС и прочие не щадили деревни... <...> Когда дом горит — это страшно. Но это горела вся деревня — тридцать шесть дворов. Все ревело, кричало, голосило. Стреляли, убивали...*

Наталия Парфентьева в **очерке «Бабушка»** («Знамя», № 4) вспоминает о своей бабушке, москвичке с Пречистенки Елизавете Николаевне Полянской. С сопутствующими подробностями. *Даже после войны у нас бывал полотер, он ходил в эту квартиру еще до революции. Он был уже довольно пожилой человек с большими, немного деформированными ногами, но с каким рвением и энтузиазмом он тер полы в нашей уже невероятно заставленной*

какими-то коробками и сундуками квартире. Это был танец. Или про визит Ленина к дачным соседям: *Вдруг во время визита от Ганецких прибежали к моей бабушке и спросили, нет ли у нее серебряного самовара поить Ильича чаем. «Конечно, конечно!» И бабушка отдала самовар и еще бежала по дорожке за человеком с самоваром, чтобы отдать ему серебряный поднос под него. Так ей никто ничего не вернул.*

Алла Латынина в **заметках «Как дышалось в «Литгазете»?»** («Новый мир», № 4) на правах старого сотрудника газеты комментирует «Байки старой „Литературки» Владимира Радзишевского («Знамя», № 1). Есть противоречие между явной ностальгической любовью автора к газете и пестрым сором ухваченных ее памятью деталей. Возникает ощущение, что умные, талантливые люди годами пахали пустоту.

Жанна Мельникова в **мемуарах «Поздние восьмидесятые — ранние девяностые»** («Знамя», № 4) вспоминает о тогдашнем общественном подъеме, зарождении общественности. *Я вспоминаю о том, как отразилась перестройка на обыденной жизни обычного человека.* Во всем этом она принимала непосредственное участие, была депутатом райсовета в московском Орехово-Борисове, занималась ИТД — «индивидуальной трудовой деятельностью». *...моя общественная активность с детства направляет меня на зов трубы.*

Андрей Лебедев и **Кирилл Кобрин** создали целую книгу об одной песне Нила Янга **«Беспомощный»**, назвав книгу по имени песни («Новый Мир», № 5). Комментируя замысел, они пишут: *Сотня рукописных страниц об одной песне — много это или мало? Скорее много. Длится она на альбоме всего три с половиной минуты, так что к грандиозным по форме музыкальным опусам, заставляющим слушателя потрясенно шевелить волосами и пускаться в велеречивые истолкования, ее никак не отнесешь. В общем, не Бах, не Бетховен, не Шенберг или Берио. Текст песни тоже достаточно прост и вполне вписывается в традицию ностальгических сочинений о потерянном земном рае. В «Беспомощном» этот рай ассоциируется с канадской глубинкой, где прошло детство Янга. <...> Но только ли о «Беспомощном» наша книга? Скажем так: и о нем тоже. А еще — о рок-музыке вообще, ставшей главной формой самовыражения рожденных в 1960-е... О собственном детстве в провинции и столичном пригороде, юности и взрослении, романах и ссорах с историей, отъездах и возвращениях, перемене участи и мест.* В книге возникают два рассказчика, каждый из которых говорит от собственного первого лица. Как эксперимент интересно. Однако текст явно перегружен случайными подробностями.

Бывший дипломат, работавший в советские времена в консульстве в Исфагане тбилисец **Реваз Утургаури** в **очерке «Тропою огненной воды»** («Знамя», № 6) — о важном: водка в Иране аятолл — это проблема.

Композитор **Александр Бакши** **(«Из Сухуми в Россию»,** «Знамя», № 6) в легкой, слегка комической манере рассказывает о том, как он в молодости перебрался с Кавказа в столицу СССР и чего ему стоило прижиться здесь.

Очерк Андрея Балдина «Город Кремлев» («Октябрь», № 5) — о бывшем секретном советском городе. Исследование о том, как в новых исторических условиях живет город и сможет ли он выжить. *Это рассказ о том, как был затеян и двинулся вперед университетский проект для закрытого города Сарова (Арзамаса-16, изначально Кремлева). Ядерная столица России столк-*

нулась сегодня с серьезными проблемами — в том числе гуманитарной, что неудивительно, если учесть, что предыдущие полвека она жила строго по профилю, в формате колонии физиков. Для преодоления кадрового и социального перекоса и был предложен проект университета, образовательной площадки нового типа.

Неплохие очерковые **заметки Ольги Бугославской «Мне уже многое поздно, мне уже многим не стать...»** («Знамя», № 5) посвящены наблюдениям за субкультурой офисного планктона. *В нескольких своих выступлениях режиссер Павел Лунгин высказывал мысль о том, что сегодня у многих людей присутствует ощущение, что у них как будто украли жизнь. То есть некая вывеска «жизнь», которая может быть даже и весьма нарядной, есть, а самой жизни за этой вывеской нет. В довольно острой форме это переживается теми, кого причисляют к так называемой офисной интеллигенции, которая возникла у нас за последние 10—15 лет. При внешнем благополучии представители этой прослойки живут с подспудным чувством, что жизнь действительно пошла как-то не совсем так: то ли они сами заехали не в ту степь, то ли степь изначально представляла собой нечто совсем не то, что они думали.*

Рассказы Владимира Найдина в «Знамени» (№ 5) и «Октябре» (№ 4) это истории из профессионального опыта врача. *Я практикующий доктор, врач-невропатолог. Даже профессор. Ко мне за советом и помощью обращаются самые разные люди. <...> Коллизии и судьбы, с которыми я встречаюсь, удивительны. Невыдуманные истории. Придумать такое невозможно. Остается только записывать и, конечно, помогать.* Иногда это просто интересные воспоминания, иногда — небезуспешные попытки выстроить моральную коллизию.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

В. «Звезда», «Нева»

Интересно, как широко раскидало в этом квартале питерскую прозу. И фантастикой она читателя угощает, и авантюрным романом, и суровой документалистикой, и безудержной фантазийностью. Всему место нашлось.

Самая, наверное, экстравагантная вещица в петербургской литературной корзинке — **повесть** кинорежиссера и кинооператора **Дмитрия Долинина «Лейтенант Жорж»** («Звезда», № 6). Построена она в полном соответствии с законами авантюрного жанра, откуда — все ее плюсы и минусы. То есть: психологии в ней не ищи, очевидных примет времени и места действия тоже, зато самые невероятные приключения героев-марионеток сыплются на читателя, как горох из дырявого мешка. Надо заметить, до сих пор «Звезда» пристрастием к подобного рода сочинениям не отличалась. Не иначе как тоска по читателю, заметно охладевшему к «толстякам», подвигла ее на эту публикацию. Итак, 1930-е. Франция, русская эмиграция, главным образом, военная, мечтающая вернуть старую Россию и, соответственно, вернуться в нее. Самыми активными из эмигрантов создается Союз Русских Воинов (СРВ) во главе с генералом Дитмаром. Однако заброшенные в Россию секретные агенты проваливаются один за другим. И тогда Димар решает

отправить в Совдепию, чуть ли не прямо к Сталину, нового агента с особым заданием — разведать, кто же в руководстве СРВ предатель. На роль такого агента выбрана молодая красотка, чьи родные были убиты в России в Гражданскую, а муж, русский лейтенант Жорж (Георгий), умер уже в Париже. Теперь «лейтенантом Жоржем» становится она. Переодевшись в мужской костюм, героиня попадает прямо в сталинскую Москву. Вот тут и начинаются фантастические приключения русской амазонки в стране большевиков. Очухавшись от немыслимого наворота приключений, к финалу повести утрачивающей и последние остатки правдоподобия, раскладываешь сюжет по полочкам и обнаруживаешь, что в основе повести лежат подлинные события и сама она — ни что иное, как версия так до конца и не раскрытой истории с похищением и убийством генерала Миллера, осуществленном не без помощи советских агентов «Фермера» и «Фермерши» — генерала Скоблина и певицы Плевицкой. История это глубоко трагическая, противоречивая и слишком сложная... Но, как видно, сложная не настолько, чтобы на том же пространстве и в тех же декорациях не разыграть в нынешнее развеселое время облегченный вариант трагедии — что-то вроде оперетки из кровавых сталинских времен. Вот русско-советская Мата Хари, вот — сталинская Москва, похожая здесь на средней величины поселок, где за день можно встретиться с кем угодно, а вот — старичок-боровичок из эмигрантов, смахивающий с морщинки ностальгическую слезку. В общем, гоп-ля, братцы-товарищи.

А вот в **повести Анатолия Самохлеба «Страшная сказка»** («Нева», № 5) и события происходят жуткие донельзя, и никакого облегченного варианта этих событий читателю не предлагается. Фашистская оккупация Харькова, голод вкупе с нескончаемым страхом, изощренные издевательства над детьми и стариками, душегубки, разъезжающие по городу, расстрелы евреев... А потом фашистский лагерь, куда мама рассказчика отправляется по собственной воле (!) — вместе с семилетним сыном. Зачем? Просто она узнает, что ее муж отправлен в берлинскую тюрьму Моабит, и решает ехать прямо в фашистское гнездо спасать любимого. Короче говоря, история не слабее отправки французской разведчицы прямо в гости к Сталину. Да и кончается она так же благополучно: верные супруги соединяются. Самое поразительное же то, что сюжет этот — подлинный. Однако автор нигде не поднимается над собственным своим, детским, тогдашним восприятием, отчего проистекает много странностей. Ведь и в самом деле, автору выпало быть очевидцем столь многих страшных событий, что от него невольно ожидаешь зрелости и умудренности, а не тех поверхностных и огульных суждений, которыми грешит текст. Сомнительно и другое: подвиг ли совершила его мать, взяв с собой — в концлагерь, между прочим — ребенка, или преступление? Ведь то, что мальчишка остался жив, — чистая случайность, на волосок от жуткой гибели он оказывался десятки раз. В общем, впечатление противоречивое.

А вот бесхитростная (кстати, тоже автобиографическая) **повесть Натальи Лазаревой «Последнее место ссылки»** («Звезда», № 5) характерна как раз отчетливым пониманием сути событий, о которых рассказывается. *Последним местом ссылки* народ прозвал Путевые машинные станции (ПМС),

массово организованные в 50-х годах. Это и была, говорится в повести, настоящая ссылка. Отправлялись туда люди, не имевшие ни жилья, ни прописки, чаще всего вышедшие из лагерей. Сама Лазарева — из семьи ссыльнопоселенцев, оказавшихся в Сибири после раскулачивания. Однако никакой сентиментальности, никаких всхлипов по поводу собственной судьбы она себе не позволяет. Напротив, повесть отличают суховатость и сдержанность. Факты, факты, факты. Из двенадцати сосланных в 29-м на родную псковщину вернулись пятеро. *Вырыли в земле яму и стали жить.* Перед войной взяли ссуду, построили дом. Но пришли немцы и сожгли весь поселок... Дом, где девочка с матерью жили в 60-е, — дощатая теплушка, полвагона на семью. *Места так мало, что негде развернуться. Когда я пошла в школу, к стене на петли привинтили доску. Для занятий доска поднималась, под нее ставилась другая доска — это был стол. Если по вечерам не было света, мама срезала кружок сырой картошки, протыкала в нем дырку, протаскивала насквозь кусочек бечевки, опускала нижний конец в баночку с машинным маслом и поджигала верхний. Коптилка была тусклой, но хоть что-то можно было различить в темноте...*

Грустную, немного странную историю рассказывает в **повести «Вера, надежда, любовь»** художница и литератор **Ксения Кривошеина** («Нева», № 6). Молодая русская эмигрантка вспоминает трагическое сплетение обстоятельств, приведших к ее отъезду из России. Дело в том, что мать героини, талантливая советская поэтесса, чью книгу издали во Франции, попала в сети КГБ и — как следствие — покончила с собой. Тут можно было бы много чего написать о зверствах Советской власти и ее государственной безопасности. Но автор по избитому пути идти не хочет: главный упор в повести сделан на не всегда достойной жизни тех, кто родным березкам и большому залу Петербургской филармонии предпочел эмигрантский мирок — *даже не мирок, а огрызок сточенного карандаша...* М-да, конечно, эмиграция — не самая лучшая на свете вещь. Но бывают, думается, вещи и пострашнее.

Крайне вычурную и абсолютно невнятную штуку, весьма претенциозно названную ***романом-охотой в четырех фигурах*** **«Раненый ангел»,** представил прозаик, он же — профессор философии Российского государственного педагогического университета (имеющего страшноватую аббревиатуру РГПУ) **Алексей Грякалов** («Нева», № 4). Собственно, невнятица и является целью этого сочинения, так что едва ли стоит предъявлять автору претензии на этот счет. Такой бесконечный-бесконечный, сильно задуренный Хармс. Сюжета в романе нет, соответственно, нет ни завязки, ни развязки. Разгуливает в нем какой-то Шурик с какой-то Сонечкой, мелькают известные петербургские улицы, и это, в сущности, единственные реальные точки опоры «романа». Автору явно представляется, будто такие выдумки, как «*шизоанализ*» или «*кафедра весенних завываний кота*» — это смешно, а каламбуры типа «*интернат — Интернет*» или «*угрюм-река — угрюм-Нева*» — остроумны. Хочется его тут разочаровать. Образец текста: *Не собираемся побеждать, не удалось никому, не бунтуем, хотя бунт благороден, расстрига? Незаметны ловитва и дрессировка. Поняли? Никто вас не любит. И рано или поздно, запасясь флажками и вервием, оцепят прикончить. Но если согласимся молчать? Не претендуем на святость, бесконечно удалены от небесной иерархии херу-*

вимов, даже падшие ангелы в отличие от нас живут почти вечно. Невозможные персонажи, просим крылья — голова к земле, при словах о тверди трет подошвой асфальт. Всеобщность законов не утешает, нет всеобщности человеков. У каждого ангела по-особому сложены крылья, у каждого смертного по-особому вычерчен узор на ладонях. Предуготовлены с начала — вот стишки о любви к вождям. Бог, разум, природа, коммунизм, капитализм, свобода, прогресс. Коммунисты — народ самый жадный. Не верим же — правда? — пусть нас не насилуют, мы будем в ответ жалеть.

Борис Дышленко в цикле фантастических **рассказов «Жернов и общественные процессы»** («Звезда», № 4) продолжает повествование о жителях какого-то городка. Все происходящее сильно напоминает оруэлловский «Скотный двор» и... российскую действительность. Заглавный герой — не более чем винтик скрипучей государственной машины, оболваненный, туповатый и послушный. Крайне любопытно наблюдать, какими тесными узами сознание Жернова связано с теми идеями, которые вдалбливает в его голову «Генеральная газета». Издание это — рупор государственной идеологии — сначала ловко формирует общественное сознание, а потом не менее ловко манипулирует им (кстати говоря, казенная лексика «Генеральной газеты», едко пародирующая стилистику давнишнего и новейшего официоза, весьма узнаваема. А чего стоит хотя бы выражение «*недостаточное изобилие продуктов*»!). Однако, как выясняется, обыватель и его газета друг без друга уже не могут.

Поразительное впечатление оставляют зарисовки из русской жизни **«Старые записи» Михаила Вайнера** («Звезда», № 4). Так, например, в 60-е годы, вспоминает писатель, ему довелось побывать в городке Никольске, где с XVIII века стоял стекольный завод, основанный князьями Оболенскими. И вот стало известно: к юбилею завода Никольск собирается посетить их потомок. Городишко разом загудел: Барин приезжает! *И что тут началось! Все бросились чистить свои дома, мыть и скрести, белить стены и крыши красить, убирать улицы, все ходили в приподнятом настроении, точно готовились встречать самого дорогого человека.*

В **повести Бориса Краснова «Виртуальный Смирнов»** («Нева», № 6) выведен нарочито средний, абсолютно ничем не примечательный человек, наделенный ради наглядности бесцветной фамилией Смирнов. Зато вокруг его «срединности», а фактически пустоты, нагромождено воистину море слов.

Шестью историями из жизни кошачьего семейства делится в **рассказе «Возвращение» Элла Корсунская** («Звезда», № 5). Кошачьи-то это истории кошачьи, но уж больно похожи на человеческие. И история чудом спасшейся кошки с крошечным котенком, обретшей теплый дом и любовь, напоминает такой, увы, редкий в человеческом мире «хэппи-энд».

О встрече с интеллигентом из «бывших», рассказывает **Анна Даш** в **«Голосе Пушкина»** («Звезда», № 5). Эта встреча буквально потрясла героя рассказа: ведь целый неповторимый мир унесли с собой эти образованные, блестящие люди, — мир поэзии, музыки, шума балов, шуршания шелковых платьев, особых интонаций...

Неожиданно интересные **«Сказки не про людей»** представил в «Неве», № 6 известный петербургский литературовед **Андрей Степанов**. Здесь соче-

таются теплый юмор и серьезностью, искренняя любовь к животным с не менее искренней любовью к людям. Написано легко, изящно, с выдумкой. Чувствуется, что автор — чеховед.

МЕМУАРЫ

Русская парижанка **Ксения Кривошеина** (**«Работа за "шкаф"»** — «Звезда», № 6) делится воспоминаниями о бурнокипящем, разношерстном обществе ленинградских художников-шестидесятников. Для художников *работа за «шкаф»* — то же самое, что писание «в стол» для литераторов. В числе прочего автор вспоминает знаменитую «манежную выставку» в Москве и «бульдозерную» — в ленинградском ДК им. Газа. Несколько противореча своему же недовольству теми, кто уехал, мемуаристка весьма красочно рассказывает, каково жилось в СССР художникам не-соцреалистам, да и соцреалистам тоже. *Худсоветы могли разнести любого гения, и, эх жалко, Илья Репин был в могиле, они и ему бы дали прикурить! Страшнее всего было тем, кто кормился с портретов вождей,— их гоняли исправлять выражения глаз и складки пиджака по пять раз, ведь за каждый штрих цензоры из обкома снесли бы голову самим членам худсовета. На каждое заседание худсовета человек шел, как на эшафот, обычно художника выгоняли из комнаты и обсуждение происходило при закрытых дверях <...> Выставкомы и худсоветы не пропускали пустых» (так выражались), левитановских» лесов и полей. На них должна была кипеть жизнь колхозная и рабочая. И не дай бог, на горизонте будет изображена церковь!*

Поэтесса и прозаик **Елена Игнатова** в «Звезде», № 4 публикует главы из мемуарной книги **«Обернувшись...»** Вспоминая те же 60—70-е, она утверждает: *...мы были свободны, и то, что позже назвали застоем, было для нас творческим временем. Мы были свободны, писали, как хотелось, без оглядки на официальную литературу, и избежали искуса «оттепели», когда двери в творческие союзы ненадолго приоткрылись. Желание свободы, чувство свободы в 1960—70-х годах было растворено в воздухе.*

КРИТИКА

Право слово: не будь в «Звезде» фирменных рубрик «Печатный двор» и «Дневник двух писателей», можно было бы с полным основанием говорить об отсутствии в Питере серьезной и интересной критики. Так что будем радоваться тому, что есть.

О «мужском» и «женском» в литературе размышляют **Ольга и Владимир Новиковы** в статье **«Андрогин. Женственность и мужественность против бабства и мужланства»** («Звезда», № 1). В самом деле, искусство — какого оно пола? Не продолжается ли в нем по сей день полуторавековая борьба за женскую эмансипацию? Любопытно, отмечают авторы, что в наше время, когда дамы-писательницы давно потеснили мужчин, в российском обществе продолжает бытовать та точка зрения, что, дескать, «курица не птица, женщина не творец». Сегодняшнее «мужланское» пространство в литературе занято, по мнению Новиковых, прежде всего Василием Аксеновым, *одним из центровых этого маскулинного цветника*, чей образ в прозе последнего времени соответствует западному понятию *мачо* или русскому

мужлан. Впрочем, *мужланскую паралитературу* сегодня с успехом дополняет *бабская эстетика* — особенно в масскульте.

В статье этих же авторов **«Выпрямители изгибов»** («Звезда», № 3) рассуждения ведутся вокруг проблемы *говорить* или *не говорить*. О чем? О личной жизни гениев, не всегда, строго говоря, высоко моральной, об их, по словам Баратынского, «*неправедных изгибах*». Раньше с этим обстояло просто: стараниями советских идеологов классики были отретушированы и отмыты до кристальной невинности. Но что же все-таки делать, спрашивают авторы, когда живая реальность непомерно сложна и не укладывается в прокрустово ложе «добродетели» и «нормы»? Да ничего страшного, отвечают они, — пусть торжествует плюрализм! Тем более, что тягу людей к полноте знания не остановить никому, а ханжеское умалчивание приводит к оттягиванию момента истины, который именно по этой причине и превращается в нечистых руках в «*разоблачение*». Что видно по желтой прессе, собравший с отечественных гениев немалый урожай.

С. Гедройц своей авторской рубрике «Печатный двор» («Звезда», № 2) посчитал нужным вспомнить о довольно давней повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». Впервые увидевшая свет в 1996-м в журнале «Октябрь», теперь она вышла отдельным изданием. Эту повесть о ребенке, живущем под властью бабушки — чудовищно авторитарного, поистине жуткого существа, критик считает одним из лучших прозаических произведений конца XX века. Текст, созданный Санаевым, пишет С. Гедройц, — *страшно важный и, наверное, бессмертный. <...> Лично я до конца дней не забуду этот ужас. Пережитый мной над этой книгой. Павел Санаев прожил в аду несколько лет. Маленьким мальчиком. И запомнил очень многое. И описал невыносимо правдоподобно.*

Обзор подготовила Евгения Щеглова

Игорь ВИНОГРАДОВ

ДНЕВНИК РЕДАКТОРА

Выпуск шестой

Июль–сентябрь 2008 г.

I. На сороковины Александра Солженицына

1

Весть о смерти Александра Солженицына застала меня далеко от России. Причем в стороне и от какой-нибудь реальной возможности познакомиться с тем, как Россия откликнулась на это событие.

Но, может быть, в том было и свое благо, как ни малоуместно вроде бы в таком контексте это слово.

Я не сомневался, что все хоть сколько-нибудь вменяемые соотечественники Солженицына, не слишком зашоренные своими вполне естественными партийно-групповыми или личными однобокостями, воздадут ему достойное должное, как бы ни расходились они с ним в каких-то позициях. И прежде всего — великому подвигу этого поразительного человека, героическое противостояние которого самой мощной и страшной системе тотального зла на планете XX века едва ли не больше, чем противостояние ей любого другого лица (за исключением разве лишь Андрея Сахарова), способствовало началу ее крушения.

И я не ошибся. Когда в середине августа, вернувшись в Москву, я перечитал почти все, что писалось по поводу смерти Солженицына и в печати, и в интернете, я с удовлетворением констатировал, что общий уровень вменяемости оказался у большинства сколько-нибудь значимых медийных имен даже выше, чем я рассчитывал. Причем таких откликов было большинство, о чем свидетельствует и помещенный в этом номере «Континента» в разделе «Россия и мир» их обзор.

Но зная и помня, сколько самой низкопробной злобы и всяческих измышлений обрушивалось на Солженицына при его жизни, я не сомневался и в том, что в наше медийное пространство так или иначе ворвется и эта стихия. По большей части, конечно, через интернет и анонимно: из славной когорты тех, если можно так выразиться, *штатных* его злопыхателей, поименно нам известных, которые специализировались на публичных

Игорь ВИНОГРАДОВ — родился в 1930 г. в Ленинграде. Окончил филологический факультет МГУ. Литературовед, критик, публицист. Автор семи книг и многих статей по русской классической и современной литературе, по проблемам эстетики и культуры, социологии и религиозной жизни. С 1992 г. — главный редактор «Континента». Живет в Москве.

его «разоблачениях», вряд ли, был уверен я, кто-нибудь осмелится и над гробом предаться одному из главных удовольствий своей жизни.

Я и в этом не ошибся: во всяком случае, никого из тех, кто открыто и громко проявил себя в последние годы на поприще всяческой травли Солженицына, я в прощальной к нему очереди не заметил. На этот раз типовые глумления и проклятия отважились воспроизводить и оглашать у свежей могилы одни лишь интернетные анонимные храбрецы.

Но в те траурные дни даже и этот трусливый, ничтожный, но такой знакомый, такой привычно мерзкий, такой банально-тупой в своих злобных потугах анонимный вой был настолько отвратителен, что если бы у меня там, вдали от России, где я был, появилась возможность доступа в интернет и мне пришлось бы познакомиться со всей этой мерзостью уже тогда, у меня, боюсь, вряд ли хватило бы разумности просто отвернуться с презрением, а не ввязаться тут же, сходу, в яростную, но, конечно же, совершенно бессмысленную «полемику».

Дело в том, что тогда, в начале августа, я уже почти заканчивал работу над текстом о возможности христианской демократии в России, который как раз и должен был составить шестой выпуск «Дневника редактора», давно уже намеченный к публикации в готовящемся номере «Континента». Но, узнав о смерти Солженицына, я тут же, понятно, отложил все написанное в сторону: никаких сомнений в том, что выпуск этот должен быть отдан и будет отдан именно Солженицыну, у меня, естественно, и быть не могло. И вовсе не потому только, что уход его — это событие такой исторической значимости, без попытки хоть какого-то осмысления которого появление нынешнего номера «Континента» было просто немыслимо. Тем более что и сам «Континент» — и названием своим, и всей семнадцатилетней парижской своей историей, и вообще всем своим духом, всей стержневой своей направленностью — был в громадной степени обязан именно Солженицыну.

Но мой Дневник — это все-таки дневник хоть и ***редакторский***, но ведь в то же время и мой ***собственный***, сугубо и безусловно ***личный.*** А Солженицын столько значил для меня (как, понятно, и для многих, многих других) еще именно и ***лично***, что какого-то непременного выхода своего требовало — и имело право требовать — здесь и все то, что происходит в нас, когда умирает вдруг человек, почему-либо очень много значивший в нашей жизни и мы, провожая его в последний путь и навсегда прощаясь с ним, отдаемся естественной и властной потребности еще и еще раз вглядеться в тот особый личный след, который он, уходя, оставляет в нас, вновь осмыслить и пережить то, чем он для нас был. И этим как бы завершить некой очень весомой — хотя, конечно, и не последней — точкой жизненный сюжет наших с ним взаимоотношений... Все это тоже было для меня очень важно, может быть даже *более всего* важно, и я не знаю, как удалось бы мне отдаться прежде всего именно этому *своему*, *личному*, окажись я в водовороте всей той вызванной этой смертью информационной шумихи, всей той многоголосой лавины эмоций, слов и суждений — да, и очень точных, высоких, достойных, но и злобных, постыдных, темных, — которая заполняла в те дни и нашу прессу, и телевидение, и рунет. И которая, конечно же, то и дело втягивала бы меня в себя трудно преодолимым иску-

шением непременно откликнуться на тот или иной поразивший или возмутивший меня голос, с иным соотнестись, с другим схлестнуться, третий оспорить...

Но, повторюсь, я был далеко от всего этого, ничто меня не отвлекало, я был один на один со своими мыслями, со своей памятью, с моим *собственным* Солженицыным — тем, каким *я* его помнил, воспринимал, чувствовал. И я снова и снова перебирал в памяти весь тот долгий и сложный сюжет своих духовных с ним взаимоотношений, который выстроился в моей жизни с его в ней появлением. Я вспоминал, каким неожиданным и мощным потрясением обернулось для меня уже первое мое соприкосновение с этим удивительным явлением нашего времени, которое носит имя Александра Солженицына, когда я даже имени этого еще не знал и когда в 1962 году, в «Новом мире», где я еще не работал, но уже был постоянным автором, я, сидя в одном из кабинетов редакции, куда меня тайно заперли на два часа наедине со стопкой тонких желтоватых листов машинописи, озаглавленной «Щ-854», испытал шок не только от той ошеломляющей правды, которая вставала со страниц этого будущего «Одного дня Ивана Денисовича», но с не меньшей силой и от очевидного, поражавшего, громадного художественного таланта неведомого мне автора.

Вспоминал я и о том, с какой ревнивой опасливостью: а вдруг не подтвердится это первое мощное впечатление?! — приступал я к чтению «Матренина двора», появившегося через несколько месяцев в том же «Новом мире», и как уже без опасений, но с тем большим ревнивым пристрастием — не только с восторгом, но и с какими-то ужасно досадными, ужасно нежданными и нежелательными огорчениями — читал потом и «Случай на станции Кречетовка», и «Захара-Калиту», и самиздатские «Крохотки». А много позднее уже — и тоже по-разному, но тоже с неизменной страстной личной захваченностью — и «Раковый корпус», и «В круге первом», и невероятный «Архипелаг», и «Колесо», и «Жить не по лжи», и «Как нам обустроить Россию»...

И, конечно же, все время вспоминал я и все наши встречи — начиная с той первой (которая случилась, кажется, еще до того, как я вошел в редколлегию «Нового мира», то есть еще до 1965 года), когда в дверях кабинета Твардовского я однажды столкнулся с незнакомым высоким крепким человеком, энергичное безусое лицо которого было обрамлено рыжеватой шкиперской бородкой — то самое лицо, которое вы можете увидеть на фотографии, помещенной на обложке этого номера «Континента» (она была подарена мне Солженицыным через несколько лет после этой первой встречи, в дни его пятидесятилетнего юбилея). Нас познакомили, и острый, быстрый и цепкий взгляд его мгновенно и заинтересованно тотчас же меня сфотографировал: «Вот вы, значит, какой», — сказал он, улыбнувшись, что, понятно, не могло не польстить моему самолюбию: ага, значит, читал...

Вспоминал я и другие наши встречи, которых было не так уж много, но не так уж и мало — и когда я работал в «Новом мире», и позже, после разгрома журнала, но еще до высылки Солженицына на Запад. Вспоминал наш неожиданный телефонный разговор в 1988 году, когда меня впервые за 25 невыездных лет выпустили заграницу, в Париж, куда мы и полетели вместе

с Натаном Эйдельманом читать в Сорбонне лекции о современном состоянии русского общества и русской культуры и где Владимир Максимов, когда я был у него в гостях, неожиданно предложил позвонить из его квартиры в Вермонт, и я позвонил, и мы начали разговаривать с Натальй Дмитриевной, и вдруг как раз в этот момент случайно, как оказалось, спустился с верхнего этажа, где он в эти часы, как правило, безотрывно работал, Солженицын, и он взял трубку, и мы довольно долго проговорили — и о российских делах, и о начавшихся уже в это время в России публичных вечерах, посвященных его творчеству, и о «Красном колесе», и о многом другом...

Вспоминал я и то, как мы встречались и о чем говорили и после его возвращения на родину — эти встречи, как, впрочем, и все другие, тоже очень ярко запечатлелись в моей памяти, и когда-нибудь, если получится, я еще непременно расскажу о них. Тем более, что впечатления, вынесенные после некоторых, может быть, поспособствуют уяснению того *реального* образа Солженицына, обретение которого еще на долгие годы вперед останется, я уверен, одной из очень важных, исторически важных задач нашего российского общественного сознания и самосознания.

Но в тот раз, в те особые дни, когда перед лицом только что случившейся смерти, не такой уж, конечно, неожиданной — и возраст Солженицына был преклонный, и сам он был уже слаб, — но все равно неожиданной, внезапной, уже этой шоковой внезапностью своей заставлявшей мысли и память о нем вспыхивать только самым ярким, самым главным, я из всей череды этих встреч и впечатлений то и дело возвращался прежде всего к одному очень знаменательному нашему разговору, особенно резко запечатлевшемуся в моей памяти.

И вот о нем мне и хочется сегодня рассказать.

2

Встреча и разговор эти случились в январе 1974 года — буквально за несколько недель до высылки Солженицына из Советского Союза.

Напомню, что это было за время.

Прошло уже почти четыре года после разгрома «Нового мира». И уже два — как умер Твардовский, сломленный крушением величайшего дела своей жизни, гибелью своего любимого детища, которому он отдал с перерывами почти двадцать лет. С разгромом «Нового мира», с ликвидацией последних проталин недавней *Оттепели* честная литература и свободная ищущая мысль, конечно, не погибли и не исчезли, но пробивались к людям разве лишь узкими малозаметными ручейками, все чаще и чаще уже и подземными. Конечно, и в оттепельные-то времена все, что власть могла опасного для себя придушить, она душила не задумываясь. Но и для свежего воздуха немалые щели тогда все же оставались, и все же могли звучать даже и такие голоса, как голос Солженицына. С началом же так называемого *застоя*, особенно после августа 1968-го, задавшего уже необратимый алгоритм всему дальнейшему ходу нашего послеоттепельного существования, пространство нашей общественной жизни с каждым годом все быстрее превращалось в тот, если использовать известный герценовский образ последекабристской николаевской России, «*гладко убитый пустырь*», на котором не произраста-

ло уже почти ничего отрадного. Все живое замолкло — ушло на московские кухни, ему не было никакого иного выхода в той атмосфере маразма, которая сгущалась над страной и пригибала ее все ниже и ниже с каждым годом, с каждым днем...

И вот, каждодневно пребывая в этой беспросветной ситуации, все отчаяннее испытывая угнетающее чувство бессилия что-либо противопоставить нашему ничтожному, стремительно деградирующему, но все еще всесильному режиму, волочащему страну в пропасть, мы с моим близким другом, единомышленником и коллегой по «Новому миру» Юрием Буртиным пришли к выводу, что никакие формы сколько-нибудь действенного общественного сопротивления (кроме разве лишь чисто экзистенциального, личностно-бунтарского вызова), никакое слово протеста и правды, произнесенное вслух и рассчитанное на то, чтобы быть хоть как-то расслышанным обществом, в стране практически уже невозможны. И мы решили, что настало время вспомнить о Герцене, о его знаменитом «Колоколе» и «Полярной звезде» — о том, какое влияние оказали они на русские умы и в какой немалой степени способствовали тем великим переменам, которые начались в России после поражения в Крымской войне и смерти Николая I. Чуть забегая вперед, не могу не заметить в скобках, что мы ведь и не ошиблись, именно так поняв вызов самого времени, а как в воду глядели. Недаром уже в конце 1974 года как раз и вышел в Париже первый номер «Континента», созданного только что лишенным советского гражданства Владимиром Максимовым, — журнала, который очень скоро стал самым авторитетным эмигрантским органом сопротивления коммунизму и тоже сыграл совсем немалую роль и в его идейном крушении, и в зарождении тех исторических перемен, что начались в Советском Союзе. Причем начались — вот еще одна знаменательная историческая параллель! — тоже в результате очевидного поражения в холодной войне и после трех подряд смертей переживших свое время генсеков старой советской закалки, на смену которым пришел к власти выросший на либерально-социалистических идеях Оттепели молодой Михаил Горбачев...

Но я сейчас не о «Континенте» и не об этих параллелях и совпадениях, и в самом деле любопытных. А о Солженицыне.

Так вот, — к концу 1973 года мы с Буртиным пришли, повторяю, к выводу, что пора принять историческую эстафету Герцена и попытаться создать заграницей современный «Колокол», который поднял бы знамя открытого сопротивления нашему тоталитаризму. И тем спас бы и честь русской интеллигенции, русской свободной мысли и культуры. Мы очень тщательно обсудили эту идею и, конечно же, сразу связали ее с именем Солженицына, к этому времени бывшего уже нобелевским лауреатом, автором изданных за границей «Круга первого» и «Ракового корпуса» и давно уже — особенно после его прогремевших писем к Съезду писателей и к Патриарху и других дерзких вызовов режиму — обложенного со всех сторон гэбистской опричниной, исключенного из Союза писателей и лишенного всякого доступа к гласному слову. Мы считали, что кто-кто, а он-то как раз и может, и должен взяться за это нелегкое дело, только ему оно по-настоящему и по силам, его авторитетом и может быть поднято. И, в конце концов,

решили, что нужно прежде всего с самим Солженицыным об этом и переговорить.

И вот в конце декабря 1973 года, не помню точно — 27-го или 28-го, я — без всякого, естественно, предупреждения и звонка (что было бы в те дни просто глупо) — отправился к нему на квартиру в Козицком переулке — неподалеку от Института истории искусств, где я после изгнания из «Нового мира» отбывал своего рода административно-идеологическую ссылку. Было страшновато, и помню, как я попросил даже моего хорошего приятеля по Институту сопроводить меня до солженицынского двора, подождать там и, если я через час-полтора не выйду или он увидит, что меня кто-то куда-то уводит, сообщить об этом сразу же моей жене...

Александра Исаевича дома не было, но была Наталья Дмитриевна, и я оставил для него записку с просьбой встретиться со мной и Буртиным по некоему важному делу. Через день или два я снова зашел к Солженицыным и получил ответную записку (к сожалению, из предосторожности, может быть излишней, я ее тогда уничтожил, о чем теперь жалею). Содержание записки было такое: Солженицын писал, что, конечно же, он охотно встретится с нами, и назначал время и место — что-то около *восьми утра первого января* (!) семьдесят четвертого года во втором или третьем вагоне электрички, отходившей от Киевского вокзала.

В этом был весь Солженицын. 31 декабря он встречал, стало быть, с семьей Новый год в Москве, а уже в 8 утра 1 января собирался быть в электричке и ехать в Переделкино, где жил в это время на даче у Чуковских. Ехать работать...

И вот за полчаса до указанного времени мы с женой были уже на Киевском вокзале и ждали Буртина. Ждали долго, нервничали, но он так и не появился (как оказалось потом, по какой-то нелепой случайности сильно опоздал — то ли проспал, то ли застрял где-то в транспорте). И когда до отхода электрички оставалось совсем ничего, мы отправились на платформу и вошли в указанный вагон. На одной из скамеек действительно сидел Солженицын, места рядом были свободны, да и вообще вагон был, естественно, почти пуст. Мы подошли, сели рядом, но говорить в электричке о серьезных вещах было все-таки ни к чему, и мы стали беседовать на какие-то более или менее нейтральные темы, а наш с Буртиным, как сказали бы сейчас, *проект* я начал излагать, лишь когда мы вышли на станции Мичуринец и направились по заваленной снегом дороге в сторону Переделкино. Солженицын слушал меня очень внимательно, не отвлекаясь и не перебивая, лишь время от времени, извинившись, оборачивался к моей жене, которая, не желая мешать, деликатно шла в нескольких шагах позади, и предупредительно и галантно предлагал ей свою руку, чтобы помочь перебраться через очередной возникавший перед нами сугроб.

Наконец, я кончил. Реакция Солженицына меня изумила и даже несколько обидела. Я не ручаюсь за абсолютную точность его слов, но смысл услышанного передаю точно: «Боже мой, да что же это такое! — воскликнул он огорченно. — Вас я знаю, конечно, меньше, но ведь Буртин-то — он из самой глубинки, из народной гущи! И если даже такие люди бегут из России, значит, дело в стране совсем плохо!»

Я оскорбленно возразил, что мы собираемся вовсе не *бежать* из России, а заниматься делом, за которое именно ради России и пора, наконец, браться. И что, увы, серьезный журнал вольного русского слова нигде больше, как заграницей, вне России, просто не может быть создан. А такой журнал должен быть создан непременно. И кому же еще, если не ему, Солженицыну, лауреату Нобелевской премии, имя которого на Западе так много значит, сама судьба, а вовсе не мы, и назначает, можно сказать, осуществить это требование времени (напомню и подчеркну еще раз, что ни максимовского «Континента», ни «Синтаксиса» еще не существовало)! Так что дело тут вовсе не в *бегстве*.

На эти мои слова последовала реакция тоже очень неожиданная и изумившая меня еще больше. «Да понимаю я все, понимаю, не надо меня убеждать, — сказал Солженицын. — Но подождите немного, Игорь Иванович. Подождите! Вы же не знаете — а я ведь отправил недавно письмо нашим вождям. И должны же они как-то ответить, должно же что-то произойти! Я ведь им все там сказал!»

И он стал подробно, все больше увлекаясь и загораясь, излагать мне содержание этого ставшего вскоре широко известным письма — и то, как надо отказаться, наконец, нашим вождям от лживой коммунистической идеологии, если они хотят спасти страну от катастрофы, и как губит ее захватническая имперская политика, и то, какие срочные внутренние проблемы жизни страны ждут-не дождутся своего безотлагательного, наконец, разрешения...

Это длилось долго — что-то не менее часа, если не все полтора. Мы гуляли по пустынным улицам поселка, возвращались обратно, останавливались, снова шли — Солженицын энергично и страстно развертывал передо мною пункт за пунктом всю программу спасения России, изложенную им в этом удивительном его послании нашему всесильному Политбюро во главе с уже тогда начинавшим вползать в маразм Брежневым... И обращенный ко мне смысл и постоянный рефрен этой горячей и страстной его лекции-проповеди был все тот же, совершенно ясный и однозначный — вот видите, действительно ведь надо повременить, скоро все непременно изменится — вожди прочтут письмо, им нечего будет возразить, они поймут, что только в том, что он, Солженицын, предлагает, — спасение и для них самих, у них откроются глаза, и все пойдет по-другому... Во всем этом он убеждал меня так искренне, с таким вдохновенным блеском в глазах, с такой уверенностью, что все это действительно произойдет, что я, слушая его, просто не верил своим ушам, испытывая одновременно совершенно противоположные чувства. Я восхищался точностью иных его формулировок, верностью его анализа, серьезностью и продуманностью многих из тех предложений, что составляли его проект спасения России. И вместе с тем у меня, что называется, просто уши вяли от той наивности, на которую был, оказывается, способен этот человек, прошедший через то, через что он прошел, и знавший жизнь так, как он ее знал...

В самом деле, представить только, что наши вожди, которым Солженицын объяснял ненужность идеологии, — окажутся способны все это воспринять!.. Неужели он не понимает, ужасало меня, что страною верховодит банда абсолютно безыдейных и бездарных политических проходимцев, ко-

торые ни о чем другом и думать не думают, как только о сохранении собственной власти и которые разве лишь в привычной и «проверенной» («научной»!) марксистской идеологии только и могут еще находить какое-то легальное себе прикрытие? И это их-то пытаться убедить какими-то разумными доводами, призывать к ответственности за страну?!. Но одновременно с этим я невольно восторгался той безоглядной, какой-то почти мистической его верой в действенность своего Слова — верой, которая просто поражала и искренностью, и силой. Это было просто-таки что-то из давно канувшего в небытие века Просвещения с его возвышенным культом Разума и прекраснодушной верой в его всемогущество...

Расстались мы очень торжественно. На прощанье он сказал фразу, которая тоже меня поразила и врезалась в мою память. Прощаясь, он сказал: «Ну конечно, Игорь Иванович, я могу вас заверить, что, уж если окажусь на Западе, то выполню свой долг. Сделаю все, чтобы оттуда зазвучал голос правды. Я оправдаю ваше доверие»...

Этот неожиданный пафос, отдававший, как мне показалось, чуть ли не какой-то театральностью, удивил меня и заставил даже невольно улыбнуться про себя: в самом деле, — с чего бы это вдруг было как-то *заверять* нас, говорить об *оправдании* какого-то нашего *доверия*? Да, мы с Буртиным были сотрудниками Твардовского, да, были в то время довольно известны, но, положа руку на сердце, по сравнению с Солженицыным, со всем тем, что он уже прожил и пережил, через что прошел и что уже сделал, мы были ведь просто мальчишки, хоть и сорокалетние. Да и вообще мы не столько *возлагали* ведь на него какое-то *доверие*, сколько думали быть помощниками в том деле, которое именно он только и мог, как мы считали, возглавить...

Но потом, снова и снова вспоминая эти торжественные прощальные его слова, я понял, что здесь, в сущности, было что-то подобное тому, о чем рассказал когда-то Достоевский, вспоминая о своей первой встрече с Белинским, когда он, начинающий, никому до того не известный молоденький литератор был приведен перед светлые очи великого и страшного, как ему казалось, критика, И этот страшный критик еще и встретил его как-то «чрезвычайно важно и сдержанно». И Достоевский лишь сокрушенно подумал про себя: «Что ж, оно так и надо...» Но, вспоминает он, уже через минуту «все преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатидвухлетнего начинающего писателя, а, так сказать, из уважения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать»...

Вот и я думаю теперь, что торжественность прощальных солженицынских слов была связана прежде всего с их принципиальным смыслом и весь этот пафос *заверения* был обращен не столько к нам, сколько к той высокой миссии, которую Солженицын всегда сознавал как главное себе задание и перед которой он в этот момент и держал ответ. Так что, конечно же, он заверял в этот момент не нас, а в нашем лице самое Судьбу свою, ее новый зов, случайными вестниками которого мы в тот момент оказались...

3

Вот такой был разговор, такая встреча.

Почему я вспоминаю сейчас об этом? И почему именно к этому январскому новогоднему дню все время и чаще всего возвращала меня память в те первые дни после смерти Солженицына, когда волею обстоятельств я оказался надежно отрезан от всего, что писалось и говорилось в связи с этим в России, и ничто не мешало мне отдаться только собственным моим воспоминаниям обо всем том, что составляло сюжет моих внутренних с ним взаимоотношений?

Попробую объяснить, прибегнув опять к аналогии. И опять с помощью классики.

Бунин в книге «Освобождение Толстого», рассказывая о том, как он узнал о смерти Толстого, вспоминает:

«Газетный лист был в траурной раме. Посреди его чернел всему миру известный портрет старого мужика в мешковатой блузе, с горестно-сумрачными глазами и большой косой бородой... Был одиннадцатый час мокрого и темного петербургского дня. Я смотрел на портрет, а видел светлый, жаркий кавказский день, лес над Тереком и шагающего в этом лесу худого загорелого юнкера "в белой папашке с опустившимся пожелтевшим курпеем, в белой, грязной, с широкими складками черкеске и с винтовкой в руке"...»

И Бунин вспоминает те страницы из «Казаков», где герой повести Дмитрий Оленин, прилегший отдохнуть около логова старого оленя, следит взглядом за миллионами комаров, кружащих над ним, и думает о том, что «каждый из них такой же особенный ото всех Дмитрий Оленин» и что и сам он «нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то», а просто такой же комар или такой же олень, которые живут теперь вокруг него. Но что в то же время он и «рамка, в которой вставилась часть единого божества», что «все-таки надо жить наилучшим образом», и что «счастье в том, чтобы жить для других»...

«Многообразие этого человека,— продолжает Бунин,— всегда удивляло мир. Но вот тот образ, что вспомнился мне...— этот кавказский юнкер с его мыслями и чувствами среди «дикой, до безобразия богатой растительности» над Тереком... не основной ли это образ?.. «Некоторые живут, не замечая своего существования». Не некоторые — их столько же, сколько на земле комаров и оленей. А сколько замечающих? он же был из тех, что слишком замечают»...

Я люблю эти страницы «Освобождения Толстого». Мне кажется, что Бунин сумел здесь лучше, чем кто-нибудь другой, уловить действительно *основной образ* Толстого — образ человека, слишком и всегда, даже на вершинах самой полной «оленьей» растворенности в жизни, сознающего себя «рамкой, в которой вставилась часть единого божества». А потому — и «слишком замечающего» свое существование. Мне нравится и сама эта формула Бунина — ***основной образ***. Очень точное обозначение того стержневого, центрального духовного ядра личности Толстого, которое с предельной отчетливостью всегда и прежде всего вырисовывается перед нами на любом этапе его долгой и разной жизни, в любых ее ситуациях и поворотах.

Вот и я спрашиваю себя: тот образ, что вставал и встает передо мною, когда я вспоминаю серенькое январское утро на зимних проулках Мичуринца, когда я снова вижу перед собою эти сияющие вдохновенной верой глаза, это энергичное оживленное лицо совсем еще молодого, в сущности, Солженицына и снова слышу его быструю напористую речь, страстно убеждающую меня, что *скоро все изменится,* — не ***основной*** ли это его образ?

Для меня, во всяком случае, это именно так.

Потому что все, чем запомнилась мне эта встреча, все, чем и как в эти час-полтора раскрылся он передо мною, — все это собралось и сконцентрировалось, в конце концов, во мне в некое удивительно цельное и яркое единство, все предстало ярчайшим проявлением *самой сути* его личности, невероятно характерным и показательным для него.

И то, что уже утром 1 января, едва, можно сказать, встав из-за новогоднего семейного застолья, он уже мчался в свой трудовой затвор на дачу Чуковского, лишь на пути к которой было отведено время и для нашей встречи.

И даже то, как при всей несомненной погруженности его в нашу беседу и в свою проповедь, он был безукоризненно внимателен и предупредителен по отношению к шедшей с нами женщине, неизменно помогая ей перебираться через очередные снежные ухабы.

И, конечно же, то, как сразу же захватила и заполнила все пространство нашей встречи главная боль и главная страсть всей его жизни — его несчастная, его родная, его бесконечно любимая Россия — *и из нее бежать?!* — Россия, которую надо спасать и которую можно ведь спасти, — вот же он, простой и ясный план, как это сделать!..

И поразительное бесстрашие этого безумного послания к «вождям», отправленного в невероятной надежде, что проймут-таки их его неотразимые доводы, но ведь почти неминуемо грозившего — не мог же он не предполагать, по крайней мере, хотя бы вероятности этого! — и немедленным ответным карательным ударом! Что ведь всего через каких-нибудь полтора месяца как раз и произошло и в чем письмо, а не только публикация «Архипелага» за рубежом, тоже, не приходится сомневаться, сыграло свою роль...

И это замечательное *заверение* нас с Буртиным, что он *оправдает наше доверие,* — заверение, отдававшее даже каким-то чуть как бы комическим несоответствием своего торжественного тона и своей адресной обращенности...

И, наконец, эта поразительная, доходящая тоже до какой-то почти нелепой наивности вера в силу своего слова, в то, что оно способно перевернуть мир и вправить мозги даже таким прожженным паханам партийно-политической мафии, завладевшей Россией, как Брежнев и его ничтожные сообщники...

Да, рассчитывать на то, что они способны внять голосу какой-то *правды*, пусть хоть сверхубедительной, неотразимой, и броситься вдруг *спасать* Россию, которую они волокут вместе с собою в пропасть, — это, конечно, штука посильнее «Фауста» Гете. Такой наивности действительно можно, кажется, только диву даваться — откуда она в этом закаленном зэке, прошедшем огонь, воду и медный трубы?..

Но в том-то и дело, что оттуда же, откуда и сверхчеловеческая одержимость работой, и страстная погруженность в судьбу России как в свою соб-

ственную, и дерзко-безоглядное мужество его постоянных смертных вызовов чудовищному монстру коммунистического тоталитаризма, и неподдельное чувство некой высшей, едва ли не священной, обязывающей низко склонить голову, значимости того дела, которое вручено и доверено ему судьбой, и поразительная способность быть в то же время чутко внимательным ко всему, что происходит рядом с тобой с другим человеком, и, наконец, сама эта, действительно доходящая порой и до наивности, безоглядная вера в силу слова правды, в неотразимость доводов разума!

Откуда?..

Да из самого существа, самого корня натуры Солженицына, из самого ядра его личности.

Потому что в нем наша русская история и судьба неслучайно явила нам одно из самых ярких, предельно полных воплощений того отнюдь, конечно же, не редкостного, но ведь не такого уж и частого и всегда особого духовно-психологического типа личности, когда вся она, во всех своих жизнепроявлениях почти без остатка структурирована вокруг центра, лежащего не в собственном «я» человека, а в том, что выше его, что выходит за его пределы, что трансцендентно ему — в том, что он считает Истиной, Правдой, Смыслом жизни. А значит — и смыслом своего собственного существования, своим главным человеческим призванием, долгом и делом. Когда именно смысл этот, это призвание и долг и становятся той главной и, в сущности, единственной энергией, тем всегдашним стимулом и той стержневой пружиной, которыми определяются все его стремления, действия и поступки. Когда, как в «Накануне» говорит об Инсарове тургеневская Елена, уже **«не Я хочу, а ТО хочет»**...

Солженицын — это, конечно, прежде всего рыцарь и служитель Истины, без остатка ей преданный, ей себя вручивший. И без постоянного ощущения именно перед нею своего всегда стояния, именно ей всегдашней своей отданности просто не способный жить и дышать.

В этом — вся его суть. В этом — сама структура того духовно-психологического вещества, из которого он составлен. Сама его природа.

Но ведь люди такого покроя — люди действительно особые и редкие, Настолько особые и редкие, что в нас, людях обычных, при всех возможных наших дарованиях и талантах куда более типовых, сплошь и рядом вызывают если не полное непонимание, то уж во всяком случае некое недоуменное удивление. Хотя, если вдуматься, вызывают-то, как это ни парадоксально, чаще всего как раз потому, что при всей своей особности остаются тем не менее в чем-то тоже самыми обычными, типовыми людьми — со всеми свойственными человеческой природе типовыми механизмами и привычками. Они ведь тоже, как правило, склоны судить о других *нормальных* (с их точки зрения) людях, об их устройстве, чаще всего по самим себе, по *своей норме*. А поскольку для подлинного рыцаря Истины нет и не может быть ничего более *нормального*, более *естественного*, чем дорожить прежде всего Истиной, быть в ней и по мере сил своих ей служить, ему, понятно, очень трудно — да, наверное, просто и невозможно даже — представить себе, чтобы какой-то нормальный, вменяемый, разумный человек не захотел до конца разобраться в той или иной проблеме, если она почему-либо жизненно ему

важна, и не был способен прислушаться к тому, что говорят и объясняют ему люди, серьезно размышлявшие над ней. Ведь всем же дан *Разум* и все люди стремятся поступать согласно тому, что считают правильным — то есть считают *Истиной*! И если им открывается подлинная, *истинная* так сказать *Истина*, как же еще будут они поступать, если не претворять ее по возможности и в жизнь?!

Вот откуда неистовый проповеднический пафос Солженицына.

Вот откуда потрясающая его вера в силу своего слова.

И вот откуда даже и поражающая порою наивность его надежд на то, что он непременно будет услышан. Но, простите, как же он может быть не услышан? Ведь он же сумел разобраться, ему же Истина стала ясна! Почему же другие тоже не разберутся в ней, не поймут и не усвоят ее, если он раскроет ее перед ними и докажет неотразимыми, как дважды два, доводами, что она действительно такова? И что — разве те же вожди наши не люди, разве они не понимают хотя бы такую очевидную вещь, что если страна погибнет, им же самим конец? И разве не способны они усвоить, что надо делать, чтобы она не погибла, если им это объяснят и покажут?

Значит и надо объяснять, показывать, втолковывать, вразумлять, наставлять на путь истинный, взывать к разуму и совести! Не жалея сил, без устали, всей мощью врученного тебе дара слова!..

При всей порою очевидной, иногда чуть как бы даже и нелепой избыточности этой солженицынской веры в силу своего слова, сама она, эта поразительная, мощная, не желающая ни с чем считаться, ни на что огладываться, вера его — дар и свойство, конечно же, редчайшие, исключительные, благороднейшие, присущие только людям истинно пророческого склада. Ибо пророк и не был бы пророком, не обладай он такой верой и не будь он таким неистово упорным в безоглядной верности своему пророчески-проповедническому призванию. Весь Иерусалим уже тонет в пучине нечестия и зла, не слушая его, все рушится, ничто не помогает, а он все продолжает и продолжает обличать свой обезумевший народ и его властителей, взывать к их разуму и чести, жечь их сердца огненным словом своим Божиим...

Я думаю, иллюзии свои, связанные с «Письмом к вождям», Солженицын изжил, уже отправляясь под конвоем на Запад. Думаю, что в отношении Ельцина и Путина у него никаких особых иллюзий даже, может быть, и вообще уже не было.

Но все равно — как можно, если даже и не получилось с Брежневым, не попытаться все-таки сказать правду Ельцину? И уж тем более — не выступить перед Государственной Думой, где должны же быть и разумные, вменяемые люди? А Путин, изъявляющий вроде бы такую готовность прислушаться к его советам?..

Нет, не только завидная и счастливая своей высшей нужностью миру и людям, но едва ли и не сугубо трагическая по-своему судьба уготована всегда таким Избранникам Небес, как Солженицын. Каково, действительно, было видеть и сознавать ему, что для того «обустройства России», которое происходило все последние годы, ничего, ну буквально ведь ничего, кроме ловко подхваченных и тут же пущенных в демагогический оборот призывов к

«сбережению народа», так и не было воспринято из всех его обличений и предложений?

Я думаю, вряд ли настроение его в эти годы было поэтому таким уж светлым и оптимистичным. И вряд ли обошло его горькое чувство, что бой свой за ту новую Россию, какую он хотел видеть, он, что ни говори, проиграл. Чувство вряд ли во всем верное и точное, потому что тот бой, который вел он своим словом в умах и в сердцах миллионов, он выиграл.

И все же — понятное. И тем более горькое, что ведь сколько же ради этой чаемой новой России было пережито и принесено в жертву! Сколько пришлось вытерпеть, через какие только человеческие испытания ни пришлось пройти...

И, наконец, какими только ранами на сердце за все это ни расплатиться...

Ведь не стоит же забывать, что́ именно всегда было — да только и могло, собственно, быть, для христианина Солженицына, глубоко религиозного мыслителя, писателя и человека, — истинным.

Только и исключительно то, что озарено светом высшиего Божественного Смысла человеческой жизни. Смысла, который неотделим от любви к самой жизни, несущей в себе этот Смысл, и любви к самому человеку как Божию образу и подобию.

Но такой Смысл открывается только тому, у кого он рождается из самого сердца. И в самом сердце прорастает сквозь все его бесчисленные сосуды. А потому за все, чего требует сердце, пронзенное самим Христом, который Один только и есть **«ПУТЬ И ИСТИНА И ЖИЗНЬ»** (Ин14:6), пронзенное любовью к жизни, к ближнему и дальнему брату твоему, страданием и болью за него, приходится и расплачиваться самому сердцу. Сколько таких расплат выдержал Солженицын? Тем более тогда, когда — и мы знаем это — ему приходилось разрываться нестерпимым, кровоточащим, нечеловеческим, но неотвратимо неизбежным выбором между любовью к самым-самым близким своим и любовью к тем дальним, чьи боли и страдания он принял на себя...

Пусть посмеет кто-нибудь взять на себя право судить, как он должен был в том или другом таком случае поступить. На это способны, наверное, только те, кто сам никогда даже и близко не был поставлен у такой черты. Или те глубокие сердцеведы, которым он представляется этаким одержимым фанатиком, способным ради своей Идеи перешагнуть не глядя через самое жизнь — и свою, и других.

Но будь Солженицын таким, не обладай он сердцем, способным любить и страдать, остро и пронзительно отзываться на человеческую боль, трепетно чувствовать красоту и добро и страстно ненавидеть зло и смерть, он никогда не написал бы свой великий «Архипелаг», этот крик загубленных, расстрелянных, искалеченных миллионов, отправленных в безмолвие лагерного могильного небытия всепожирающим монстром российского коммунизма. Он никогда не смог бы чувствовать себя не просто Мечом, заговоренным рубить всяческую нечисть, но мечом в руке ***Божьей***. И он никогда не смог бы сказать о своей любимой России то, что сказал он:

«Мы должны строить Россию нравственную — или уж никакую, тогда и все равно».

Вот такой он, Рыцарь Истины. Истины Меча Божьего. И Истины любви, милосердия, сострадания и боли человеческой. Истины безоглядной веры в человеческий разум, в добро и красоту.

И Истины неутомимого каждодневного служения всей этой громадной, необозримой, неисчислимой в своих зовах и радостях, в страданиях и болях, этой манящей и пугающей Жизни нашего прекрасного и страшного Божьего мира, в котором нам выпало счастье и крест жить.

Вот такой вот — я настаиваю и убежден в этом — ***основной*** его образ.

4

Почему, однако, я так акцентирую сегодня именно этот личностный, собственно-человеческий (по Бунину — *основной*) образ Солженицына? Сугубо, так сказать, субъективную ипостась того целостного, общего его образа, за которым стоит вся полнота громадного культурного явления, символизируемого этим именем? И почему не пытаюсь, например, хотя бы в каких-то общих итоговых формулах выразить свое понимание и свое отношение прежде всего к тому реальному наследию, которое оставил он нам как художник, как историк, как публицист, как мыслитель?

Да уже потому хотя бы, что общие итоги эти более чем очевидны и уже, в сущности, общепризнанны. И за эти траурные дни они много раз уже были сформулированы и без меня. О них, кстати, прекрасно сказал в эссе, открывающем этот номер, и мой давний друг, член нашей редколлегии Жорж Нива, и я мало что мог бы к сказанному им добавить.

А вот вся та громадная конкретная, более основательная, глубинная работа по осмыслению наследия Солженицына, в которой оно нуждается, которой требует и ждет от нас, — работа эта во многом еще, в сущности, впереди. Она все еще предстоит нам, и она обязательно должна быть и будет проделана. Прежде всего потому, конечно, что это наша обязанность, наш долг перед самими собой. Перед своими собственными душами, если мы хотим, чтобы они действительно впитали и вобрали в себя все великое и ценное, чем век наш способен нас одарить и обогатить.

Но ведь это наш долг и перед Солженицыным. Ибо все, что он мог для нас сделать, он уже сделал. И теперь наша очередь — сделать для него все, чем мы можем ему отплатить. А отплатить ему можно и должно прежде всего тем, чтобы всегда пытаться прочесть и понять его действительно адекватно тому, что он хотел сказать и сказал нам. Это совсем не такое простое дело, в чем мы и убеждаемся всякий раз, когда входим в созданный им необъятный мир образов и мыслей и начинаем странствовать по нескончаемым, сложным, переплетающимся, переходящими из одного в другой грандиозным лабиринтам его «Красного колеса» и его «Архипелага», его художественной прозы и его «Теленка», его двухтомного исторического путешествия через сложнейшие *Двести лет*, проведенные *вместе,* и его колоссальной публицистики. Здесь нужен надежный факел, способный освещать нам путь и облегчать схватки с любыми минотаврами, которые могут нам там по дороге встретиться или померещиться, нужна крепкая и верная нить, способная вывести нас, в конце концов, на свет Божий...

Вот таким факелом, такой путеводной нитью как раз и может, и должен быть, мне кажется, именно тот *основной образ,* который явлен нам самой сутью его личности, ее стержнем, ее центральным человеческим ядром. Образ, без которого, если не держать его все время перед собою во всей его цельности, очень трудно порою не ошибиться, вглядываясь в многоразличные частные его отражения и отблески в творчестве Солженицына и пытаясь распознать их смысл — в полном соответствии со знаменитым толстовским заверением, что во всякой истории, рассказанной художником, нас прежде всего интересует сам автор...

Означает ли это, что неоспоримое человеческое величие Солженицына, заставляющее всякого порядочного человека низко склонять перед ним голову, делает Солженицына хоть в какой-то мере неприкасаемым для серьезной критики, спора и несогласия?

Да ни в коем случае! Напротив.

Потому что по-настоящему бережное, уважительное и достойное отношение к наследию всякого подлинного искателя Истины может состоять только в том, чтобы и стремиться именно к Истине как к первой и последней, высшей и безусловной ценности, цели и смыслу твоего соприкосновения с этим наследием.

А это невозможно, если там, где сделанное им тебя чем-то не удовлетворяет, ты не даешь себе труда продумать его аргументацию, выявить ее слабости и попытаться противопоставить ей или дополнить ее каким-то собственными доводами.

И если там, где тебе очевидна его неправота и ты можешь аргументировано это показать, ты не делаешь этого из чувства пусть самого искреннего, но все равно в данном случае совершенно ложного к нему почтения.

Потому что воистину все-таки — *Платон мне друг, но истина дороже.*

И потому, что воистину при всем великом своем уме и таланте Солженицын все же не бог, чтобы ни в чем и никогда не ошибаться, быть всегда правым, всегда убедительным.

А поэтому именно только такое — свободное, серьезное и ответственное — отношение к творчеству этого бесстрашного искателя Правды и может быть подлинным к нему уважением — уважением к тому делу, которое составляло весь смысл, все существо его жизни.

Но вот именно — *серьезное.* Обязательно *серьезное.* Обязательно *ответственное.* И вот на этом-то уровне ответственности и серьезности как раз можно и не удержаться, можно очень легко с него соскользнуть, забыв о том, с человеком какого калибра мы имеем дело. Ведь за примерами того, что получается, когда об этом не помнят или не хотят видеть, далеко ходить не надо. Их, к сожалению и к великому нашему стыду, кругом навалом — хоть пруд пруди. Даже за последние только годы — в связи с тем или иным выступлением или поступком Солженицына, пусть спорным, пусть даже ошибочным, — сколько же было наговорено о нем всякой мерзости и лихой валькирией нашей г-жей Новодворской; и известинским субботним громовержцем г-ном Соколовым, которому все едино, на кого снисходительно со своего верху поплевывать — на Политковскую ли, на Жириновского или на Солженицына; и г-ном Орешкиным, и бесчисленными

любителями отметиться на нашей сетевой помойке! И предатель-де он природный, сервильная подпольная душа которого вот и выдала себя, наконец, подлизыванием к власти, и антисемит зоологический, и патриот фальшивый — недаром своих сыновей из ненавистного ему вроде бы Запада в любимую свою Россию так и не удосужился почему-то вывезти...

Да уж: с кем-кем, а с Солженицыным у нас сплошь и рядом только то и делали, что подозревали, разоблачали, выводили на чистую воду, выискивали в его текстах слова, фразы, интонации, которыми он «проговорился» и «обнажился», невольно «выдал» свои «истинные» подпольные пристрастия и цели... Обличали его тайные неуемное тщеславие, срывали маску с ненасытного «демона» его безграничного эгоизма — и т. д. и т. п.

К сожалению, одним из вдохновителей этого повального азартного занятия стал, похоже, как это ни поразительно, как раз один из собратьев А. Солженицына по писательскому цеху — известный наш сатирик Владимир Войнович, выставивший его в своем романе «2001» на всеобщее посмешище в гротескном образе жалкого себялюбца, обуреваемого неуемной манией величия. Что, кстати, и послужило одной из главных причин разрыва нашей прежней с Войновичем тесной дружбы, о чем, видно, придется когда-нибудь все-таки рассказать, раз уж сам по себе факт этот все равно давно уже многим известен. Я, во всяком случае, никак не могу отделаться от впечатления, что именно он, наш известный русский писатель, заслуженный диссидент, весомостью своего имени как бы отменил тот естественный нравственный шлагбаум, который до него все же защищал вход на эту зыбкую территорию, слишком опасную для любого интеллигента, да и просто порядочного человека...

И сколько же в эту разверстую дыру ринулось сразу же ретивых энтузиастов психоаналитического диггерства, кто только ни отметился в качестве неутомимого исследователя подземных лабиринтов солженицынской души! Даже изощренный вроде бы в правилах и в этике литературной полемики видный наш критик и литературовед Бенедикт Сарнов, тоже давний близкий мой коллега и товарищ по общей нашей дружеской компании времен застоя, — и тот умудрился в своей книге воспоминаний, рассказывая о своем «разочаровании» в Солженицыне (на каковое имел, естественно, полное право), обосновывать это разочарование почти исключительно посредством все той же методы психоаналитического сыска.

Что же говорить о таких авторах, как господин Дейч или господин Бушин — они целые книги против Солженицына подобного рода психоанализом начинили! И ведь всё — мимо, всё — только к собственному их позору, всё только обнажает их собственный человеческий уровень — тот самый уровень *толпы,* любящей *унижение высокого,* выискивание *слабостей могущего,* который и вызвал в свое время знаменитую отповедь Пушкина — врете, подлецы, он, может, и мал, и слаб, но *не так, как вы, — иначе...*

Потому что у «высокого» и «могущего» само ядро личности *иное.*

И потому-то он и «могущий», потому-то и «высокий».

Да, Солженицын мог и заблуждаться, мог делать и неверные шаги, мог высказывать очень спорные мысли.

Но вот чего никогда не было и не могло быть в любых его высказываниях и поступках — это не то что перевеса, но, в сущности, даже и сколько-

нибудь весомого присутствия каких-либо иных, посторонних его служению мотивов. При всей зэковской его осторожности, закрытости, умении затаиться, замаскироваться, не выдать себя раньше времени в нем никогда не было и не могло быть ни малейшего двоемыслия, лукавства и неискренности во всем, что он говорил и делал, когда обращался к *миру и городу* со своим проповедническим Словом, с отрытой и выношенной им Правдой или со всегда ясной и четко обозначенной целью каждого своего поступка.

Этого, повторяю, просто не могло быть в нем *по определению* — по определению той его человеческой природы, которой он был наделен и все существо которой именно в том и состояло, что он нес свое призвание вестника истины, защитника жизни и меча Божия против всяческого зла и неправды и как свой крест, и как свое счастье. Как свое дыхание, как условие и единственный способ самого своего существования. И это — еще и еще раз повторяю, — настолько очевидно, настолько неотразимо подтверждено всей его судьбой, что не понимать этого — значит, и вообще не понимать в Солженицыне ничего.

Вот почему с ним невозможно хоть сколько-нибудь серьезно и достойно спорить ни с каких иных позиций, кроме тех, с которых всегда выступает он сам. Только — противопоставляя его уму, его опыту, его пониманию, его доводам и логике свои доводы, свою логику, свое понимание, свой опыт, свой ум. Только так: честно, в открытую и на равных. Если хватит силенок. Никакое «разоблачение», никакое «чтение в сердцах» тут никогда не пройдет. Оно всегда и заранее обречено на полный провал по причине полного отсутствия, полной призрачности того «потайного дна», которое отыскивается. Так что любая попытка вычитать у Солженицына не то, что он сам говорит, а то, что он якобы *на самом деле* думает и чувствует, неминуемо оборачивалась всегда и будет всегда оборачиваться не *его* унижением, а лишь самодискредитацией того, кто на это отваживается. Не очень лестным для такого чтеца обнаружением как не слишком завидного уровня его собственной человеческой природы, его человеческого масштаба, так и уровня его интеллектуальных возможностей. Раз уж он не способен, оказывается, увидеть и понять то, чего нельзя не увидеть и не понять.

Вот только это, собственно, я и хотел сегодня сказать — в предвидении того грядущего потока выступлений, докладов, полемических заметок, статей, книг и прочих способов прочтения, осмысления и толкования необъятного наследия Солженицына, который будет, несомненно, все больше и больше наполнять литературу о нем теперь, после его смерти.

Очень хотелось бы, чтобы работа эта была успешной и достойной. Чтобы она велась на уровне, не роняющем чести русской культуры, русской интеллигенции, русской мысли. Тем более, что перед теми, кто будет ее совершать, эту возможность открывает сам Солженицын.

Сам человеческий уровень этого большого русского писателя, этого неутомимого и бесстрашного подвижника Божьей Истины, Красоты и Добра.

Я заканчивал эти строчки, когда грянули уже сороковины Александра Солженицына. И мне очень хотелось рассказать там, за поминальным столом, то, о чем рассказал я на этих страницах.

Но в двух словах это было все-таки не выразить.

Так пусть непроизнесенная эта речь прозвучит все-таки на этих страницах именно как мое прощальное слово Александру Исаевичу Солженицыну на его сороковинах...

II. И еще одно слово Прощания...

К сожалению, весь выпуск нынешнего «Дневника» получается таким вот прощальным. Потому что недавно случилось и другое печальное событие (а по времени так и первое), которое я не могу обойти молчанием. 29 июня на 53-м году жизни умер бывший президент «Инкомбанка» Владимир Викторович Виноградов. Мы узнали об этом случайно — и только на следующий день после похорон. К сожалению, о смерти человека, которому «Континент» так многим обязан, никто из близких к нему людей нам не сообщил...

Я храню об этом человеке очень теплую и светлую память и хочу непременно об этом сказать.

Когда в 1992 году «Континент» переехал из Парижа в Москву, возникло множество проблем: журналу предстояло начинать новую жизнь в России, еще не имея здесь ни своей ниши, ни своего читателя. Ведь тот «Континент», который приходил до этого из Парижа, приходил в количестве очень небольшом и читателя имел очень специфического. Был, как говорится, широко известен в узких кругах. Более широкий читатель его, конечно, не знал.

Словом, проблема становления журнала была сложной во многих отношениях. И не только в содержательном плане. Мы оказались в достаточно трудном положении и со стороны финансирования издания. И, как и многие, кто попал тогда в сходную с нами ситуацию, вынуждены были искать спонсора, который помог бы журналу утвердиться на родной земле.

И вот тогда-то один из сотрудников редакции — Игорь Тарасевич — и вспомнил, что знаком с человеком, играющим одну из главных ролей в руководстве «Инкомбанка». Тарасевич созвонился с ним, и мы с Максимовым пришли к нему на прием.

Наше предложение «Инкомбанку» стать официальным спонсором «Континента» человек этот, не хочу называть его имени, воспринял, как мы поняли, положительно и даже с интересом. Он пообещал нам финансовую поддержку, и такая поддержка некоторое время действительно осуществлялась.

Однако не прошло и нескольких месяцев, как возникли трудности. Выяснилось, что наш меценат ожидал, оказывается, со стороны «Континента» каких-то ответных «бартерных» акций в смысле лоббирования интересов «Инкомбанка». Прежде всего, понятно, на Западе — через Максимова, который, как оказалось, должен был содействовать организации каких-то связей «Инкомбанка» с западными финансовыми структурами и т. п. И когда возникли эти сложности, я позвонил опять тому человеку и попросил о встрече, чтобы раз и навсегда объясниться по поводу такого рода с его стороны запросов и ожиданий, никак нами не предполагавшихся и вряд ли осуществимых.

И вот тут-то я в первый раз в своей жизни (потом-то это бывало, увы, не однажды) столкнулся с амбициозным гонором и культурным стилем «новых русских». Мне было не без язвительности отвечено: «А вы что же думаете: это так просто — взять и встретиться? Вот интересно, а на Западе Максимов тоже может вот так же запросто позвонить какому-нибудь банкиру и сказать ему: "Я бы хотел с вами встретиться"?»

«Ну хорошо, в таком случае, извините», — сказал я на это и повесил трубку.

Надо ли говорить, что такое неожиданное и пока что непривычное для меня проявление спеси наших новых «хозяев жизни» меня очень тогда удивило и возмутило. И я решил, что все наши отношения с «Инкомбанком» на этом прерываются, потому что ни в какой мере зависеть от настроения и прихотей спонсора я никогда не собирался и «Континент» на такой зыбкой основе строиться не мог. (Кстати, когда я чуть позднее рассказал об этом Максимову, он тоже жутко возмутился и заметил, что на Западе-то как раз любой журналист и тем более главный редактор известного журнала действительно может *запросто* позвонить любому банкиру и тот с готовностью с ним встретится — и это совершенно нормально.)

А потом произошло следующее. Все мои непосредственные контакты с «Инкомбанком» осуществлялись через Юрия Павловича Олейникова, руководившего отделом общественных связей банка. И вот он мне позвонил и, узнав о случившемся, заверил меня, что на это не надо обращать внимания и что все прежние договоренности остаются в силе. Не знаю, откуда у него была такая уверенность. Но думаю, что она была не спонтанна и не случайна. Потому что больше с тех пор я с моим заносчивым собеседником никогда не встречался и не разговаривал, а через какое-то время мне позвонили из приемной Президента «Инкомбанка» В. В. Виноградова и сказали, что Владимир Викторович хотел бы со мной встретиться. Это было удивительно, потому что я не просил и не искал с ним встречи. Кстати должен заметить, что человек этот вовсе не был моим родственником, как многие в то время думали, — это простое совпадение, что мы оказались однофамильцами.

И вот мы встретились, и разговор наш меня буквально поразил. Потому что в ходе его было совершенно четко и обозначено Виноградовым такое вот понимание тех отношений, которые, с его точки зрения, могли и должны были существовать между «Инкомбанком» и «Континентом». «Мы — профессионалы в области делания денег, — сказал Виноградов. — А вы — профессионалы культуры, профессиональные журналисты. Ваш журнал известен, мы его высоко ценим, хотим помочь его существованию и не имеем тут никаких претензий и пожеланий. Журнал — это ваше дело, делаете его вы, а мы вам только помогаем тем, чем можем помочь — деньгами».

И это была та четкая позиция, которая действительно выдерживалась на протяжении всех дальнейших лет сотрудничества «Инкомбанка» и «Континента» — на протяжении семи лет, с 92-го по 98-й — год, когда «Инкомбанк» пал жертвой дефолта. Нам был выделен определенный бюджет — достаточный для выплаты зарплат, гонораров, оплаты услуг типографии и «Союзпечати». Деньги эти в течение каждого года регулярно переводились

на счет «Континента» — в срок и безо всяких дополнительных условий. Должен заметить еще, что мы аккуратно вели всю бухгалтерскую документацию, но «Инкомбанк» и тут проявил удивительное к нам доверие, ни разу не потребовав от нас отчета в том, как мы тратим деньги. Впрочем, все наши счета и расходы по счетам шли через «Инкомбанк» же, так что работники его и без всяких наших отчетов могли видеть, как и на что уходит помощь нашего Генерального спонсора.

Словом, Виноградов действительно реально помогал нам: «Инкомбанк» издавал буклеты «Континента», устраивал наши встречи с общественностью, делал все, чтобы журнал действительно встал на ноги и укоренился на родной почве. И я вижу в этом высокое понимание президентом «Инкомбанка» и теми его сотрудниками, с которыми мы постоянно имели дело, национальной ответственности нового русского капитала за состояние нашей культуры — понимание того, что в новых условиях никому другому не под силу сделать то, чтобы культура, без которой страна погибнет, выжила.

И он делал это. И делал — во всяком случае по отношению к нам — так, что я до сих пор считаю: это был абсолютно идеальный вариант сотрудничества капитала с культурой, примеров чему в современной России я больше почти и не встречал.

Еще раз повторяю: за все время нашего сотрудничества ни разу не возникало такой ситуации, когда, как говорят, «*кто платит, тот и музыку заказывает*». **Ни разу**. «Музыки» нам никогда и никто не заказывал, и я глубоко благодарен судьбе за то, что она свела нас с этим человеком, которому не нужно было и не пришлось никогда объяснять, почему музыку мы всегда будем играть только свою. Его помощь нам всегда была действительно благородна и чиста.

За семь лет нашего общения я дважды брал интервью у Виноградова, и мы много говорили и о принципах либеральной экономики, и о той громадной социальной ответственности, которая лежит на плечах современного русского предпринимателя. Но я не был знаком с собственно профессиональной его деятельностью и не могу оценить качество его работы как президента «Инкомбанка». Я не знаю причин краха «Инкомбанка» во время дефолта — мне говорили, что отчасти это было связано и с ошибками в руководстве банком. Но я в этом не разбираюсь. Я знаю только, что Виноградов очень тяжело пережил крах своего детища и получил на этом инсульт, от которого так и не оправился.

И я сужу только о том, как строились отношений между нашим журналом и банком, который он возглавлял.

То есть о том, в чем он был безупречен.

И низкий ему за это поклон и светлая память.

Поправки

По нашему недосмотру в № 136 «Континента» в интервью Андрея ИЛЛАРИОНОВА допущен ряд опечаток.

Следует читать:

на **стр. 161** вместо «стоимость минимального потребительского *бюджета*» — «стоимость минимального потребительского *набора*»;

на **стр. 169** вместо «российские власти не захотели спасителя человечества» — «российские власти не захотели *сыграть роль* спасителя человечества»;

на **стр. 193** вместо «1 января *1997 года* была произведена деноминация рубля» — «1 января *1998 года* была произведена деноминация рубля».

Приносим извинения Андрею Николаевичу Илларионову и нашим читателям.

Корректор — *Ю. Н. Маслов*

ЛР № 066469
Подписано в печать 12.09.2008. Формат 60x90/16. Бумага типографская.
Гарнитура «Таймс». Печ. л. 33,00. Тираж 2800 экз.
Заказ № 1681

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

«КОНТИНЕНТ»

принимается во всех отделениях связи России.
Наши подписные индексы

71682 *(годовая подписка)*, **73218**

в красно-бело-синем каталоге «Роспечати»

В помещении редакции «Континента» (ул. Плющиха, 27, кв. 1) можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок – при условии получения выходящих номеров в редакции.

В редакции «Континента» можно приобрести также отдельные номера журнала прошлых лет.

В МОСКВЕ журнал «Континент» продается:

"BILINGUA" – Кривоколенный пер., 10 стр. 5; тел. 623.66.83

"КНИГА" – Нижняя Радищевская, 2; тел. 915.11.45

ЖУРНАЛЬНЫЙ КИОСК "НОВОЙ ГАЗЕТЫ" –
Страстной бульвар, 8 (рядом с выходом из метро «Чеховская»)

ЛИТИНСТИТУТ книжная лавка –
Тверской бульвар, 25; тел. 694.01.98

"ПИРОГИ" – Никольская, 19/21; тел. 621.58.27

"ПРОЕКТ ОГИ" – Потаповский пер., 8/12 стр. 2; 627.56.09

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "ЗНАМЯ" – Б. Садовая, 2/46; тел. 699.42.64

СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ книжный киоск –
ул. Покровка, 29, офис 38; тел. 623.03.80

"УМНЫЕ КНИГИ" – ул. Покровка, д. 27, стр. 1; тел. 916.28.14

"ФАЛАНСТЕР" – Мал. Гнездниковский пер., д. 12/27; тел. 749.57.21

ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА В ШУБИНЕ –
Столешников пер., 2; тел. 629.52.62

ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
НА УСПЕНСКОМ ВРАЖКЕ – Газетный пер., 15; тел. 962.05.63

В РЕДАКЦИИ «КОНТИНЕНТА» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ:

Аудиокнига Ольги СЕДАКОВОЙ «Две книги»

Издательство «АЗиЯ-ПЛЮС», СПб., 2008 г.

Аудиокнига включает в себя диск с авторским чтением стихов и музыкой композитора А. Вустина, а также книгу с текстами этих стихов, иллюстрированную фотографиями.

Книга Ольги СЕДАКОВОЙ «Музыка»

В книгу, изданную в «Русском міре» в 2006 году, вошли стихи, филологические и религиозно-философские эссе. Книга выпущена в серии «Литературная премия Александра Солженицына».

Книга Нелли БИУЛЬ-ЗЕДГИНИДЗЕ «Литературная критика журнала "Новый мир" А.Т. Твардовского (1958-1970 гг.)»

Издание Культурно-просветительского центра «Первопечатник», 439 стр. Докторская диссертация автора, защищенная на факультете славистики Женевского университета. Исследуется творчество ведущих критиков «Нового мира»: В.Я. Лакшина, Ю.Г. Буртина, И.И. Виноградова, А.Д. Синявского в контексте журнальной политики.

Книга Игоря ВИНОГРАДОВА «Духовные искания русской литературы»

Издательство «Русский путь», 2005 г., 672 стр. Автор предлагает галерею масштабных мировоззренческих портретов русских писателей и мыслителей XIX-XX веков от Лермонтова и Писарева до Солженицына и Искандера. Книга обращена к духовным проблемам нашего времени — прежде всего к проблемам того «открытого сознания», которое свойственно современным людям, в подавляющем большинстве своем живущим вне мира религиозной веры. Книга для всех духовно вменяемых наших современников, которые не утратили способности терзаться высшими загадками бытия.

Книга «ХРОНИКА КАЗНИ ЮРИЯ ГАЛАНСКОВА (в его письмах из зоны ЖХ-385, свидетельствах и документах)». *Составитель, автор вводной статьи и комментариев — Геннадий Кагановский.*

Книга выпущена издательством «Аграф». Поэт, мыслитель, подвижник Ю. Галансков погиб в мордовском лагере строгого режима в возрасте 33 лет на шестом году заключения. Его письма из-за колючей проволоки, а также другие материалы, сопряженные с кульминационным периодом жизни Галанскова (пребывание под следствием в Лефортовском изоляторе, судебный процесс, лагерные хождения по мукам), позволяют читателю составить представление об этой яркой неповторимой личности, о том времени и о том режиме, которые предопределили его мучительный путь.

Также имеются в продаже
остатки тиража некоторых номеров «КОНТИНЕНТА» с 1993 года

Звоните и приходите!

Тел. (499) 248.62.35 **Адрес:** ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

Когда мы затевали свой банк, мы тогда еще верили в какие-то идеалы, хотелось сделать что-то хорошее для страны, полезное для всех, что-то настоящее, большое, красивое, - а для этого научиться делу, стать профессиональными менеджерами.

В. Виноградов

2008
№ 3

«КОНТИНЕНТ» № 137, 528 стр., подписные индексы в каталоге Роспечати 73218 и 71682